

великая отечественная литература

ЛИДИЯ
ЧУКОВСКАЯ

ПРОЦЕСС ИСКЛЮЧЕНИЯ

издательство ЭКСМО

Лидия Корнеевна Чуковская

Процесс исключения (сборник)

Текст предоставлен правообладателем.http://www.litres.ru
Чуковская Л.К. Процесс исключения: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 5-699-20198-X

Аннотация

Проза Лидии Чуковской – зеркало ее жизни. Зеркало эпохи, преломленной сквозь призму взгляда русского интеллигента. Дочь Корнея Ивановича Чуковского, она выросла в семье, где чтили традиции русской словесности с ее верой в человека и в его право на свободу. Лидия Корнеевна не боялась больших и сильных чувств. Она обладала очень редким даром – мужественного слова. Точность, безукоризненность слова – ее оружие в борьбе за справедливость. Писала она без перевода на язык другого поколения. Чувство гражданской и моральной сопричастности охватывает и сейчас от любой из ее страниц. Лидия Чуковская недаром всю жизнь занималась Герценом. В ее открытых письмах и статьях чувствуются его уроки. В них та же сродненность с Россией и русской культурой, тот же пламенный темперамент, та же четкость и бескомпромиссность гражданской позиции. Однако в каждой своей статье, в каждой книге для Лидии Чуковской главное – не обличение палачей и приспособленцев, а возрождение нравственности, критерии которой, к несчастью, нами во многом утеряны. Лидия Чуковская все еще далеко впереди, она дожидается нас в иной, человечной и умной России.

Содержание

Повести 5
Софья Петровна 5
1 5
2 7
3 9
4 11
5 13
6 15
7 17
8 19
9 22
10 26
11 29
12 33
13 37
14 39
15 41
16 43
17 45
18 46
Спуск под воду 49
Воспоминания 105
Предсмертие 105
1 105
2 108
3 114
4 118
5 121
Памяти Фриды 123
1. Уносят 123
2. «У Чарльза Диккенса спросите»… 124
3. Мысль мыслей 127
4. Грозные очи 132
5. «Зубами» 136
6. «Гюгополис» 139
7. Граница боя 145
8. Тринадцатый подвиг Геракла 152
9. «Как сумасшедший с бритвою в руке…» 157
10. «Так и бывает» 160
11. Завещание 167
Процесс исключения 169
1 169
2 174
3 188
4 192
5 195

6 200
7 202
8 207
9 219
10 221
11 224
12 226
13 228
Глава дополнительная 229
1 229
2 230
3 233
4 239
5 241
6 243
7 252
8 257
От автора 263
Открытые письма 264
Михаилу Шолохову, автору «Тихого Дона» 265
Не казнь, но мысль. Но слово 268
Гнев народа 272
Прорыв немоты 278
Отрывки из дневника 279
Полгода в «Новом мире» (О Константине Симонове) 279
Л. К. Чуковская – К. М. Симонову{103} 313
К. М. Симонов – Л. К. Чуковской{106} 315
Борис Пастернак 316
Иосиф Бродский 341
Комментарии 366
Полгода в «Новом мире» (О Константине Симонове) 367
Борис Пастернак 377
Иосиф Бродский 379

Лидия Корнеевна Чуковская
Процесс исключения

Повести

Софья Петровна

1

После смерти мужа Софья Петровна поступила на курсы машинописи. Надо было непременно приобрести профессию: ведь Коля еще не скоро начнет зарабатывать. Окончив школу, он должен во что бы то ни стало держать в институт. Федор Иванович не допустил бы, чтобы сын остался без высшего образования… Машинка давалась Софье Петровне легко; к тому же она была гораздо грамотнее, чем эти современные барышни. Получив высшую квалификацию, она быстро нашла себе службу в одном из крупных ленинградских издательств.

Служебная жизнь всецело захватила Софью Петровну. Через месяц она уже и понять не могла: как это она раньше жила без службы? Правда, по утрам неприятно было вставать в холоде, при электрическом свете, зябко было ожидать трамвая в толпе невыспавшихся, мрачных людей; правда, от стука машинок к концу служебного дня у нее начинала болеть голова – но зато как увлекательно, как интересно оказалось служить! Девочкой она очень любила ходить в гимназию и плакала, когда ее из-за насморка оставляли дома, а теперь она полюбила ходить на службу. Заметив ее аккуратность, ее быстро назначили старшей машинисткой – как бы заведующей машинописным бюро. Распределять работу, подсчитывать страницы и строчки, скалывать листы – все это нравилось Софье Петровне гораздо больше, чем самой писать на машинке. На стук в деревянное окошечко она отворяла его и с достоинством, немногословно, принимала бумаги. По большей части это были счета, планы, отчеты, официальные письма и приказы, но иногда рукопись какого-нибудь современного писателя. «Будет готово через двадцать пять минут, – говорила Софья Петровна, взглянув на большие часы. – Ровно. Нет, ровно через двадцать пять, не раньше», – и захлопывала окошечко, не пускаясь в разговоры. Подумав, она давала бумагу той машинистке, которую считала наиболее подходящей для данной работы, – если бумагу приносила секретарша директора, то самой быстрой, самой грамотной и аккуратной.

В молодости, скучая, бывало, в те дни, когда Федор Иванович надолго уходил с визитами, она мечтала о собственной швейной мастерской. В большой, светлой комнате сидят миловидные девушки, наклонясь над ниспадающими волнами шелка, а она показывает им фасоны и во время примерки занимает светской беседой элегантных дам. Машинописное бюро было, пожалуй, еще лучше: как-то значительнее. Софье Петровне зачастую теперь доводилось первой, еще в рукописи, прочесть какое-нибудь новое произведение советской литературы – повесть или роман, – и хотя советские романы и повести казались ей скучными, потому что в них много говорилось о боях, о тракторах, о заводских цехах и очень мало о любви, она все-таки бывала польщена. Она стала завивать свои рано поседевшие волосы и во время мытья добавляла в воду немного синьки, чтобы они не желтели. В черном простом халатике – но зато в воротничке из старых настоящих кружев – с остро очиненным карандашом в верхнем кармане, она чувствовала себя деловитой, солидной и в то же время

изящной. Машинистки побаивались ее и за глаза называли классной дамой. Но слушались. И она хотела быть строгой, но справедливой. Она приветливо беседовала в перерыве с теми из них, которые писали старательно и грамотно, – беседовала о трудностях директорского почерка и о том, что красить губы вовсе не всем идет, – а с теми, кто писал «репитиция» и «коликтив», держала себя надменно. Одна из барышень, Эрна Семеновна, сильно действовала Софье Петровне на нервы: ошибка чуть ли не в каждом слове, нахально курит и болтает во время работы. Эрна Семеновна смутно напоминала Софье Петровне одну наглую горничную, служившую у них когда-то в старое время. Горничную звали Фани, она грубила Софье Петровне и флиртовала с Федором Ивановичем… И за что только такую держат?

Больше всех машинисток в бюро нравилась Софье Петровне Наташа Фроленко, скромная некрасивая девушка с зеленовато-серым лицом. Она всегда писала без единой ошибки, поля и красные строки получались у нее удивительно элегантно. Глядя на ее работу, казалось, будто и на бумаге написана она какой-то особенной, и машинка, наверное, лучше, чем другие машинки. Но в действительности и бумага и машинка были у Наташи самые обыкновенные – а вес ь секрет, подумать только, заключался в одной аккуратности.

Машинописное бюро было отделено от всего учреждения деревянной форточкой, покрытой коричневым лаком. Дверь была постоянно заперта на ключ, и разговоры велись через форточку. В первое время Софья Петровна никого в издательстве не знала, кроме своих машинисток да еще курьерши, разносившей бумаги. Но постепенно перезнакомилась со всеми. Миновали какие-нибудь две недели, и в коридоре к ней уже подходил поболтать солидный лысый, но моложавый бухгалтер: оказывается, он узнал Софью Петровну – когда-то, лет двадцать тому назад, Федор Иванович очень успешно лечил его. Бухгалтер увлекался лодочным спортом и западноевропейскими танцами – и Софье Петровне было приятно, что он и ей посоветовал записаться в их танцевальный кружок. С ней начала здороваться пожилая и вежливая секретарша директора, ей кланялся и заведующий отделом кадров, а также один известный писатель, красивый, седой, в бобровой шапке и с монограммой на портфеле, всегда приезжавший в издательство в собственной машине. Писатель даже спросил у нее однажды, как ей понравилась последняя глава его романа. «Мы, литераторы, давно заметили, что машинистки – самые справедливые судьи. Право, – сказал он, показывая в улыбке ровные вставные зубы, – они судят непосредственно, они не одержимы предвзятыми идеями, как товарищи критики или редакторы». Познакомилась Софья Петровна и с парторгом Тимофеевым, хромым небритым человеком. Он был хмур, говорил, глядя в пол, и Софья Петровна слегка побаивалась его. Изредка он подзывал к деревянному окошечку Эрну Семеновну – с ним приходил завхоз. Софья Петровна отпирала дверь, и завхоз перетаскивал машинку Эрны Семеновны из машинописного бюро в спецчасть. Эрна Семеновна следовала за своей машинкой с победоносным видом: как объяснили Софье Петровне, она была «засекречена», и парторг вызывал ее в спецчасть переписывать секретные партийные бумаги.

Скоро Софья Петровна знала уже всех в издательстве – и по фамилиям, и по должностям, и в лицо: счетоводов, редакторов, техредов, курьерш. В конце первого месяца своей службы она впервые увидела директора. В директорском кабинете был пушистый ковер, вокруг стола – глубокие мягкие кресла, а на столе – целых три телефона. Директор оказался молодым человеком, лет тридцати пяти, не более, хорошего роста, хорошо выбритым, в хорошем сером костюме, с тремя значками на груди и с вечным пером в руке. Он беседовал с Софьей Петровной какие-нибудь две минуты, но за эти две минуты трижды звонил телефон, и он говорил в один, сняв трубку с другого. Директор сам пододвинул ей кресло и вежливо спросил, не будет ли она так добра остаться сегодня вечером для сверхурочной работы? Она должна пригласить машинистку по своему выбору и продиктовать ей доклад. «Я слышал, вы прекрасно разбираете мой варварский почерк», – сказал он ей и улыбнулся. Софья Петровна вышла из кабинета гордая его властью, польщенная его доверием. Воспи-

танный молодой человек. Про него рассказывают, будто он рабочий, выдвиженец, – и действительно, руки у него, кажется, грубые, – но в остальном…

Первое общее собрание служащих издательства, на котором довелось присутствовать Софье Петровне, показалось ей скучным. Директор произнес коротенькую речь о приходе к власти фашистов, о поджоге рейхстага в Германии и уехал на своем «Форде». После него выступил парторг, товарищ Тимофеев. Говорить он не умел. Между двумя фразами он замолкал так прочно, что, казалось, никогда не заговорит опять. «Мы должны кон-стан-тировать…» – скучно говорил он и умолкал. «Наш производственный портфель…»

Потом выступила председательница месткома, полная дама с камеей на груди. Потирая и поламывая свои длинные пальцы, она произнесла, что ввиду всего происшедшего в первую очередь необходимо уплотнить рабочий день и объявить беспощадную войну опозданиям. Напоследок, истерическим голосом, она сделала краткое сообщение о Тельмане и предложила всем служащим записаться в МОПР. Софья Петровна плохо понимала, о чем речь, ей было скучно и хотелось уйти, но она боялась, что это не полагается, и строго взглянула на одну машинистку, пробиравшуюся к дверям.

Однако скоро и собрания перестали быть скучными для Софьи Петровны. На одном из них директор, докладывая о выполнении плана, говорил, что высокие производственные показатели, которых надо добиваться, зависят от сознательной трудовой дисциплины каждого из членов коллектива – не только от сознательности редакторов и авторов, но и уборщицы, и курьерши, и каждой машинистки. «Впрочем, – сказал он, – надо признать, что машинописное бюро под руководством товарищ Липатовой работает уже и в настоящий момент с исключительной четкостью».

Софья Петровна покраснела и долго не решалась поднять глаз. Когда она решилась наконец посмотреть кругом, все люди показались ей удивительно добрыми, красивыми, и с неожиданным интересом она прослушала цифры.

2

Все свободное время Софья Петровна проводила теперь с Наташей Фроленко. А свободного времени становилось у нее все меньше и меньше. Сверхурочная работа, а чаще того – заседания месткома, куда вскоре кооптировали Софью Петровну, отнимали у нее чуть ли не все вечера. Коля все чаще должен был сам разогревать себе обед и в шутку называл Софью Петровну «мама-общественница». Местком поручил ей собирать профсоюзные взносы. Софья Петровна мало задумывалась над тем, для чего, собственно, существует профсоюз, но ей нравилось разлиновывать листы бумаги и отмечать в отдельных графах, кто заплатил уже за нынешний месяц, а кто нет, нравилось наклеивать марки, сдавать безупречные отчеты ревизионной комиссии. Ей нравилось, что можно в любую минуту войти в торжественный кабинет директора и шутливо напомнить ему о его четырехмесячном долге, и он так же шутливо извинится перед терпеливыми товарищами из месткома, вынет бумажник и заплатит. Даже хмурому парторгу можно было безо всякого риска напоминать о долгах.

В конце первого года службы в жизни Софьи Петровны произошло торжественное событие. Она выступила на общем собрании служащих от имени всех беспартийных работников издательства. Произошло это так. В издательстве ждали приезда каких-то ответственных московских товарищей. Завхоз, лихой паренек с пронзительным пробором, похожий на офицерского денщика, целыми днями носился по издательству, на собственной спине таская какие-то рамы, и в самое неподходящее время напустил на машинописное бюро полотеров. Однажды в коридоре к Софье Петровне подошел хмурый парторг. «Партийная организация совместно с месткомом, – сказал он, глядя, по обыкновению, в пол, – наметила тебя… – он поправился, – вас… давать обещание от имени беспартийных активистов».

Работы накануне приезда москвичей стало множество. Бюро писало все какие-то отчеты и планы. Чуть ли не каждый вечер Софья Петровна с Наташей оставались на сверхурочную работу. Машинки глухо стучали в пустой комнате. Кругом, в коридорах и кабинетах, было темно. Софья Петровна любила эти вечера. Окончив работу, перед тем как из светлой комнаты выйти во тьму коридора, они с Наташей подолгу беседовали возле своих машинок. Наташа говорила мало, но прекрасно умела слушать. – Вы заметили, что у Анны Григорьевны (это была предместкома) всегда грязные ногти? – спрашивала Софья Петровна. – А еще носит камею, завивается. Лучше бы руки почаще мыла… Эрна Семеновна ужасно действует мне на нервы. Она такая наглая… И вы заметили, Наташа, что Анна Григорьевна всегда как-то иронически отзывается о парторге? Не любит она его… – Поговорив о предместкома и парторге, Софья Петровна рассказывала Наташе о своем романе с Федором Ивановичем и о том, как Коля упал под корыто, когда ему было полгодика. И какой это был хорошенький мальчик, на улице все оборачивались. Его одевали во все белое: белая пелеринка и белый капор. Наташе как-то не о чем было рассказывать – ни одного романа. «Впрочем, с таким цветом лица…» – думала Софья Петровна. В жизни Наташи были одни неприятности. Отец ее, полковник, умер в семнадцатом году от разрыва сердца. Наташе тогда едва исполнилось пять лет. Дом у них отняли, и они вынуждены были переехать к какой-то парализованной родственнице. Мать ее была избалованная, беспомощная женщина, они жестоко голодали, и Наташа чуть ли не с пятнадцати лет поступила на службу. Теперь Наташа осталась совсем одна: мать в позапрошлом году умерла от туберкулеза, родственница скончалась от старости. Наташа сочувствовала советской власти, но, когда она подала заявление в комсомол, – ее не приняли. «Мой отец был полковник и домовладелец, и, понимаете, мне не верят, что я могу сочувствовать искренно, – говорила Наташа, щурясь. – С марксистской точки зрения, может быть, это и правильно…»

У нее краснели веки каждый раз, как она рассказывала об этом отказе, и Софья Петровна поспешно переводила разговор на другое.

Наступил торжественный день. Портреты Ленина и Сталина вставили в новые рамы, собственноручно принесенные завхозом, письменный стол директора покрыли красным сукном. Московские гости – двое полных мужчин в заграничных костюмах, в заграничных галстуках и с заграничными вечными перьями в верхних карманах – сидели рядом с директором за столом под портретами и вынимали бумаги из туго набитых заграничных портфелей. Парторг в косовороточке и в пиджачке казался рядом с ними совсем невзрачным. Лихой завхоз и лифтерша Марья Ивановна то и дело вносили на подносах чай, бутерброды и фрукты, предлагали их гостям и директору, а затем уже и всем присутствующим.

От волнения Софья Петровна не в силах была слушать речи. Как завороженная смотрела она, не отрывая глаз, на колеблющуюся воду графина. По слову председателя она подошла к столу, повернулась сначала лицом к директору и гостям, потом спиной к ним, потом стала боком и сложила руки у пояса, как ее учили в детстве, когда она декламировала французские поздравительные стихи. – От имени беспартийных работников, – сказала она дрожащим голосом, и потом дальше все свое обещание о повышении производительности труда – все, что они составили вместе с Наташей и она выучила наизусть.

Вернувшись домой, она долго не ложилась спать, поджидая Колю, чтобы рассказать ему о собрании. Коля сдавал последние школьные зачеты и все вечера проводил у своего любимого товарища Алика Финкельштейна: они занимались вместе. Софья Петровна прибрала кое-что в комнате и вышла в кухню разжигать примус. «Какая жалость, что вы не служите, – сказала она добродушной жене милиционера, которая мыла посуду. – Столько впечатлений, это так много дает в жизни. Особенно если ваша служба имеет касательство к литературе».

…Коля явился голодный и промокший под первым весенним дождем, и Софья Петровна поставила перед ним тарелку щей. Облокотясь на стол против Коли и глядя, как он ест, она только что собралась рассказать ему про свое выступление, как – «знаешь, мама? – сказал он, – я теперь комсомолец, меня сегодня утвердили на бюро». Сообщив эту новость, он без передышки перешел к другой, набивая полный рот хлебом: в школе у них случился скандал. «Сашка Ярцев – этакий старорежимный балбес… («Коля, я не люблю, когда ты ругаешься», – перебила Софья Петровна.) Да не в этом дело: Сашка Ярцев обозвал Алика Финкельштейна жидом. Мы сегодня на ячейке постановили устроить показательный товарищеский суд. Знаешь, кого назначили общественным обвинителем? Меня!»

Поужинав, Коля сразу лег спать, и Софья Петровна тоже легла за своей ширмой, и в темноте Коля читал ей наизусть Маяковского. «Правда, мама, гениально?» – и, когда он дочитал, Софья Петровна рассказала ему о собрании. «Ты, мама, молодец», – сказал Коля и сейчас же заснул.

3

Коля окончил школу, наступило душное лето, а Софье Петровне все не давали отпуска. Дали только в конце июля. Ехать она никуда не собиралась, но весь июль жадно мечтала о том, как будет по утрам отсыпаться и как переделает наконец всю домашнюю работу, которую из-за службы никогда не успевала сделать. Она мечтала отдохнуть от барабанной дроби машинок, и подыскать Коле демисезонное пальто, и съездить наконец на кладбище, и позвать маляра, чтобы выкрасить заново дверь. Но вот отпуск наконец наступил, и оказалось, что отдыхать приятно только в первый день. Софья Петровна по служебной привычке все равно просыпалась не позже восьми; маляр за полчаса выкрасил дверь; могила Федора Ивановича была в полном порядке; пальто куплено сразу; носки зачинены в два вечера. И потянулись длинные, пустые дни, с тиканьем часов, разговорами в кухне и ожиданием Коли к обеду. Коля теперь целыми днями пропадал в библиотеке: готовился вместе с Аликом в вуз, в машиностроительный институт, и Софья Петровна почти не видала его. Изредка наведывалась усталая Наташа Фроленко (она замещала Софью Петровну в бюро), Софья Петровна с жадностью расспрашивала ее про секретаршу директора, про ссору предместкома с парторгом, про орфографические ошибки Эрны Семеновны. И про обсуждение в кабинете у директора повести того симпатичного писателя. Весь редакционный сектор собрался… «Неужели кому-нибудь может не понравиться? – всплескивала руками Софья Петровна. – Там ведь так красиво описана первая чистая любовь. Совсем как у нас с Федором Ивановичем».

Теперь уже Софья Петровна вполне соглашалась с Колей, когда он толковал ей о необходимости для женщин общественно полезного труда. Да и все, что говорил Коля, все, что писали в газетах, казалось ей теперь вполне естественным, будто так и писали и говорили всегда. Вот только о бывшей квартире своей теперь, когда Коля вырос, Софья Петровна сильно сожалела. Их уплотнили еще во время голода, в самом начале революции. В бывшем кабинете Федора Ивановича поселили семью милиционера Дегтяренко, в столовой – семью бухгалтера, а Софье Петровне с Колей оставили Колину бывшую детскую. Теперь Коля вырос, теперь ему необходима отдельная комната, ведь он уже не ребенок. «Но, мама, разве это справедливо, чтобы Дегтяренко со своими детьми жил в подвале, а мы в хорошей квартире? Разве это справедливо? скажи!» – строго спрашивал Коля, объясняя Софье Петровне революционный смысл уплотнения буржуазных квартир. И Софья Петровна вынуждена была согласиться с ним: это и в самом деле не вполне справедливо. Жаль только, что жена Дегтяренко такая грязнуха: даже в коридоре слышен кислый запах из ее комнаты. Форточку открыть боится как огня. И близнецам ее уже шестнадцатый год пошел, а они все еще пишут с ошибками.

В потере квартиры Софью Петровну утешало новое звание: жильцы единогласно выбрали ее квартуполномоченной. Она стала как бы хозяйкой, как бы заведующей своей собственной квартирой. Она мягко, но настойчиво делала замечания жене бухгалтера насчет сундуков, стоящих в коридоре. Она высчитывала, сколько с кого причитается платы за электроэнергию с той же аккуратностью, с какой на службе собирала членские профсоюзные взносы. Она регулярно ходила на собрания квартуполномоченных в ЖАКТе и потом подробно докладывала жильцам, что говорил управдом. Отношения с жильцами были у нее в общем хорошие. Если жена Дегтяренко варила варенье, то всегда вызывала Софью Петровну в кухню попробовать: довольно ли сахару? Жена Дегтяренко часто заходила и в комнату к Софье Петровне – посоветоваться с Колей: что бы такое придумать, чтобы близнецы, не дай бог, снова не остались на второй год? и посудачить с Софьей Петровной о жене бухгалтера, медицинской сестре. «Этакой милосердной сестрице попадись только, она тебя разом на тот свет отправит!» – говорила жена Дегтяренко.

Сам бухгалтер был уже пожилой человек, с обвислыми щеками, с синими жилками на руках и на носу. Он был запуган женою и дочерью, и его совсем не было слышно в квартире. Зато дочка бухгалтера, рыжая Валя, сильно смущала Софью Петровну фразочками «а я ей как дам!», «а мне наплевать!» – и у жены бухгалтера, Валиной матери, был и в самом деле ужасный характер. Стоя с неподвижным лицом возле своего примуса, она методически пилила жену милиционера за коптящую керосинку или кротких близнецов за то, что они не заперли дверь на крюк. Она была из дворянок, брызгала в коридоре одеколоном с помощью пульверизатора, носила на цепочке брелоки и разговаривала тихим голосом, еле-еле шевеля губами, но слова употребляла удивительно грубые. В дни получки Валя начинала клянчить у матери денег на новые туфли. «Ты не воображай, кобыла», – ровным голосом говорила мать, и Софья Петровна поспешно скрывалась в ванную комнату, чтобы не слышать продолжения, – в ванную, куда скоро вбегала Валя отмывать свою запухшую, зареванную физиономию, произнося в раковину все те ругательства, которые она не посмела произнести в лицо матери.

Но в общем квартира 46 была благополучной, тихой квартирой – не то что 52, над нею, где чуть ли не каждую шестидневку, накануне выходного, случались настоящие побоища. Сонного после дежурства Дегтяренко регулярно вызывали туда составлять протокол вместе с дворником и управдомом.

Отпуск тянулся, тянулся – между кухней и комнатой – и кончился, к большой радости Софьи Петровны. Зачастили дожди, желтые листья валялись возле Летнего сада, вдавленные в грязь каблуками, – и Софья Петровна, в калошах и с зонтиком, уже снова ежедневно ходила на службу, ждала по утрам трамвая и ровно в десять часов, облегченно вздохнув, вешала на доску свой номерок. Снова вокруг нее стучали и звенели машинки, шелестела бумага, щелкала, закрываясь и открываясь, дверца; Софья Петровна с достоинством вручала пожилой секретарше директора аккуратно сложенные, сколотые, пахнущие копиркой листы. Она вклеивала марки в членские профсоюзные книжки, заседала в месткоме по вопросам укрепления трудовой дисциплины и некорректного поступка одной машинистки с одной курьершей. Она по-прежнему побаивалась хмурого парторга, товарища Тимофеева, по-прежнему не любила председательницу месткома с грязными ногтями, втайне обожала директора и завидовала его секретарше – но все они уже были для нее своими, привычными людьми, она чувствовала себя на месте, уверенно, и, уже не стесняясь, громко делала замечания наглой Эрне Семеновне. И за что только ее держат? Нужно будет поставить вопрос на месткоме.

Коля и Алик выдержали экзамены в машиностроительный институт. Прочтя свои фамилии в списке принятых, они на радостях решили поставить в комнате радиоприемник. Софья Петровна не любила, когда Коля и Алик сооружали что-нибудь техническое у нее в комнате, но она сильно надеялась, что радио обойдется ей все же дешевле, чем буер. Окон-

чив школу, Коля затеял построить буер, чтобы зимою кататься на собственном буере по Финскому заливу. Он приобрел какую-то книжку о буере, раздобыл бревна, внес их вместе с Аликом в комнату – и не то что подметать пол, но и просто передвигаться по комнате сразу сделалось невозможно. Бревна оттеснили обеденный стол к стене, диван – к окну; они лежали на полу огромным треугольником, и Софья Петровна по сто раз в день спотыкалась о них. Однако все мольбы ее были напрасны. Напрасно объясняла она Коле и Алику, что жить ей стало так же неудобно, как если бы они привели в дом слона. Они строгали, измеряли, чертили, пилили до тех пор, пока не убедились с абсолютной ясностью, что автор брошюры о буере невежда и буера по его чертежам не построишь.

Тогда они распилили бревна и покорно сожгли их в печке вместе с брошюрой. А Софья Петровна расставила вещи по местам и целую неделю нарадоваться не могла простору и чистоте своей комнаты.

Поначалу радио тоже приносило Софье Петровне одни огорчения. Коля и Алик завалили всю комнату проволокой, винтиками, болтиками, дощечками; до двух часов ночи ежевечерне спорили о преимуществах того или другого типа приемника; потом соорудили приемник, но не давали Софье Петровне ничего дослушать до конца, так как им хотелось поймать то Норвегию, то Англию; потом ими овладела страсть к усовершенствованию, и каждый вечер они пускались перестраивать приемник заново. Наконец Софья Петровна взяла дело в свои руки, и тогда оказалось, что радио действительно очень приятное изобретенье. Она научилась сама включать и выключать его, запретила Коле и Алику к нему притрагиваться и по вечерам слушала «Фауста» или концерт из филармонии.

Наташа Фроленко тоже приходила послушать. Она брала с собой свое вышивание и садилась возле стола. У нее были умелые руки, она прекрасно вязала, шила, вышивала салфеточки и воротнички. Вся ее комната была уже сплошь увешана вышивками, и она принялась вышивать скатерть для Софьи Петровны.

По выходным дням Софья Петровна включала радио с самого утра: ей нравился важный, уверенный голос, повествующий о том, что в парфюмерный магазин № 4 привезли большую партию духов и одеколона, или о том, что на днях предстоит премьера новой оперетты. Она не могла удержаться и на всякий случай записывала все телефоны. Единственное, чем она не интересовалась совсем, – это были последние известия о международном положении. Коля усердно рассказывал ей про немецких фашистов, про Муссолини, про Чан Кайши – она слушала, но только из деликатности. Садясь на диван, чтобы прочесть газету, она прочитывала только происшествия и маленький фельетон или «В суде», а на передовой или телеграммах неизменно засыпала, и газета падала ей на лицо. Гораздо больше газет нравились ей переводные романы, которые Наташа брала в библиотеке: «Зеленая шляпа» или «Сердца трех».

8 марта 1934 года было счастливым днем в жизни Софьи Петровны. Утром курьерша из издательства принесла ей корзину цветов. В цветах лежала карточка: «Беспартийной труженице Софье Петровне Липатовой, поздравление в день 8 Марта. Партийная организация и местком». Она поставила цветы на Колин письменный стол, под полку с Собранием сочинений Ленина, рядом с маленьким бюстом Сталина. Весь день у нее было тепло на душе. Она решила не выбрасывать эти цветы, когда они завянут, а непременно засушить их и спрятать в книгу на память.

4

Шел третий год служебной жизни Софьи Петровны. Ей повысили ставку: теперь она получала уже не двести пятьдесят, а триста семьдесят пять. Коля и Алик еще учились, но уже недурно зарабатывали в каком-то конструкторском бюро: чертили. Ко дню рождения

Софьи Петровны Коля купил ей на собственные деньги маленький сервиз: молочник, чайник, сахарницу и три чашки. Узор на сервизе не очень-то понравился Софье Петровне – какие-то квадраты красные на желтом. Она предпочла бы цветы. Но фарфор был тонкий, хороший, да и не все ли равно? Это подарок от сына.

А сын стал красивый – сероглазый, чернобровый, высокий и такой уверенный, спокойный, веселый, каким даже в самые лучшие годы не бывал Федор Иванович. Всегда он как-то по-военному подтянут, чистоплотен и бодр. Софья Петровна смотрела на него с нежностью и неустанной тревогой, радуясь и боясь радоваться. Красавец собою, здоровяк, не пьет и не курит, почтительный сын и честный комсомолец. Алик, конечно, тоже юноша вежливый, работящий, но где уж ему до Коли? Отец его – переплетчик в Виннице, куча ребят, бедность. Алик с малых лет живет в Ленинграде у тетки, а та, видно, не очень-то заботится о нем: локти заплатанные, сапоги худые. Сам он щупленький, невысокий. Да и ума в нем такого большого нет, как в Коле.

Одна мысль неустанно тревожила Софью Петровну: Коле пошел уже двадцать первый год, а у него все еще нету отдельной комнаты. Уж не мешает ли она своим постоянным присутствием Колиной личной жизни? Коля, кажется, там в институте влюбился в кого-то: она искусно допрашивала Алика – в кого? как ее зовут? сколько ей лет? хорошо ли она учится? кто ее родители? Но Алик отвечал уклончиво, и по глазам его видно было, что на предательство он не способен. Софья Петровна выпытала у него только имя: Ната. Но все равно, как бы ее там ни звали и серьезная ли это любовь или только увлечение, – все равно молодому человеку в его годы необходима отдельная комната. Софья Петровна поделилась своими тревожными мыслями с Наташей. Наташа молча выслушала ее, потом покраснела и сказала, что да… безусловно… конечно… Николаю Федоровичу лучше было бы в отдельной комнате… но впрочем… вот живет же она одна… без матери… и что же? ничего!..

Наташа сбилась и замолчала, и Софья Петровна так и не поняла, что, собственно, она хотела сказать.

Софья Петровна обдумывала со всех сторон, как бы ей обменять одну комнату на две, и начала даже откладывать деньги на книжку, чтобы приплатить, если понадобится. Но вопрос об отдельной комнате для Коли неожиданно потерял свою остроту: отличников учебы, Николая Липатова и Александра Финкельштейна, по какой-то там разверстке направляли в Свердловск, на Уралмаш, мастерами. Там не хватало итээровцев. Институт же им предоставляли возможность кончить заочно. «Ты не беспокойся, мама, – сказал Коля, положив свою большую руку на маленькую руку Софьи Петровны, – ты не беспокойся, мы там с Аликом прекрасно заживем… Нам обещают комнату в общежитии… да Свердловск ведь и недалеко. Ты приедешь к нам как-нибудь… и… знаешь что? ты будешь нам посылки посылать».

С этого дня, возвращаясь со службы, Софья Петровна сразу же принималась пересчитывать Колино белье в комоде, шить, штопать, отглаживать. Она отдала починить старый чемодан Федора Ивановича. Теперь уже то весеннее утро, когда они вместе с Федором Ивановичем купили этот чемодан в магазине Гвардейского общества, казалось бесконечно далеким и каким-то ненастоящим утром из какой-то ненастоящей жизни. Она с недоумением взглянула на лист «Нивы», которым была оклеена поврежденная стенка: декольтированная дама с длинным шлейфом, с высокой прической поразила ее. Это тогда были такие моды.

Колин отъезд беспокоил и огорчал Софью Петровну, но она не могла налюбоваться на ловкость и аккуратность, с какой он упаковывал книги и большие блокноты, исписанные его отчетливым почерком, и сам зашил в пояс свой комсомольский билет. День отъезда все был через неделю и вдруг оказался завтра. «Коля, ты уже готов, Коля? – спросил Алик Финкельштейн, входя утром к ним в комнату, маленький, большеголовый, с торчащими ушами. – Что?»

Новая куртка топорщилась у него на спине, кончики воротничка загибались. Коля большими шагами подошел к своему чемодану и поднял его так легко, будто он был пустой. Всю дорогу на вокзал он чуть ли не размахивал чемоданом, а бедный Алик еле волочил свой сундучок, отдуваясь и рукавом куртки отирая со лба пот. Коротконогий, большеголовый, он казался Софье Петровне похожим на комический персонаж мультипликационного фильма. Тетка Алика не потрудилось, разумеется, приехать на вокзал проводить его, и они втроем – Коля, Софья Петровна и Алик – чинно прохаживались по платформе в сырой мгле вокзала. Коля и Алик с азартом обсуждали вопрос: какая машина выносливее и легче – «Фиат» или «Паккард»? И только за пять минут до отхода поезда Софья Петровна вспомнила, что она ничего, ничего не сказала мальчикам ни о ворах в дороге, ни о прачке. Сдавая белье прачке, надо непременно считать его и записывать… И ни под каким видом не есть в столовых винегрет – он часто бывает вчерашний, несвежий, и легко можно заболеть брюшным тифом. Она отвела Алика в сторону и вцепилась ему в плечо. «Алик, голубчик, – говорила она, – уж вы позаботьтесь, голубчик, о Коле…»

Алик смотрел на нее сквозь очки большими добрыми глазами: «Разве мне трудно? Я, конечно, буду приглядывать за Николаем. А что же?»

Пора было в вагон. Коля и Алик через минуту появились у окна. Коля – высокий, Алик ему по плечо. Коля сказал что-то Софье Петровне, но сквозь стекло было не слышно. Он рассмеялся, снял кепку и обвел купе возбужденным, веселым взглядом. Алик показывал Софье Петровне буквы пальцами. «Не…» – разобрала она и замахала на него рукой, догадавшись: «не беспокойтесь»… Боже мой, ведь дети, совсем дети едут!

Через минуту она шла по перрону назад, одна в толпе людей, все быстрее и быстрее, не замечая дороги и пальцами вытирая глаза.

5

После Колиного отъезда Софья Петровна еще меньше времени проводила дома. Сверхурочной работы в бюро всегда было вдоволь, и она чуть ли не каждый вечер оставалась работать, прикапливая деньги Коле на костюм: молодой инженер должен одеваться прилично.

В свободные вечера она приводила к себе Наташу пить чай. Они вместе заходили в гастроном на углу и выбирали себе два пирожных. Софья Петровна заваривала чай в чайничке с квадратами и включала радио. Наташа брала свое вышивание. В последнее время по совету Софьи Петровны она усердно пила пивные дрожжи, но цвет лица у нее не становился лучше.

В один из таких вечеров, уходя домой от Софьи Петровны, Наташа вдруг попросила подарить ей Колину последнюю карточку. – А то у меня в комнате только мамина карточка и больше ничья, – объяснила она. Софья Петровна подарила ей Колю, красивого, глазастого, в галстуке и воротничке. Фотограф удивительно схватил его улыбку.

Однажды, возвращаясь с работы, они зашли в кино – и с тех пор кино сделалось их любимым развлечением. Им обеим сильно нравились фильмы о летчиках и пограничниках. Белозубые летчики, совершавшие подвиги, казались Софье Петровне похожими на Колю. Ей нравились новые песни, зазвучавшие с экранов, – особенно «спасибо, сердце!» и «если скажет страна – будь героем», нравилось слово «Родина». От этого слова, написанного с большой буквы, у нее становилось сладко и торжественно на душе. А когда самый лучший летчик или самый мужественный пограничник падал навзничь, сраженный пулей врага, Софья Петровна хватала Наташину руку, как в дни молодости хватала руку Федора Ивановича, когда Вера Холодная внезапно вытаскивала маленький дамский револьвер из широкой муфты и, медленно его поднимая, целила в лоб подлецу.

Наташа снова подала заявление в комсомол, и ее снова не приняли. Софья Петровна очень сочувствовала Наташиному горю: бедная девушка так нуждалась в обществе! Да и почему, собственно, ее не принимают? Девушка трудящаяся и вполне предана советской власти. Работает прекрасно, прямо-таки лучше всех – это раз. Политически грамотная – это два. Она не то что Софья Петровна, она дня не пропустит, чтобы не прочитать «Правду» от слова до слова. Наташа во всем разбирается не хуже Коли и Алика, и в международном положении, и в стройках пятилетки. А как она волновалась, когда льды раздавили «Челюскин», от радио не отходила. Из всех газет вырезывала фотографии капитана Воронина, лагерь Шмидта, потом летчиков. Когда сообщили о первых спасенных, она заплакала у себя за машинкой, слезы капали на бумагу, от счастья она испортила два листа. «Не дадут, не дадут погибнуть людям», – повторяла она, вытирая слезы. Такая искренняя, сердечная девушка! И вот теперь ее опять не приняли в комсомол. Это несправедливо. Софья Петровна даже Коле написала о несправедливости, постигшей Наташу. Но Коля ответил, что несправедливость – понятие классовое и бдительность необходима. Все-таки Наташа из буржуазно-помещичьей семьи. Подлые фашистские наймиты, убившие товарища Кирова, не выкорчеваны еще по всей стране. Классовые бои продолжаются, и потому при приеме в партию и в комсомол необходим строжайший отбор. Тут же он писал, что через несколько лет Наташу, наверное, примут, и сильно советовал ей конспектировать произведения Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса. «Через несколько лет! – горько улыбнулась Наташа. – Николай Федорович забывает, что мне уже скоро двадцать четыре». – «Тогда вас примут прямо в партию, – сказала ей Софья Петровна в утешение. – И что такое двадцать четыре года? Первая молодость». Наташа ничего не ответила, но, уходя домой в этот вечер, взяла у Софьи Петровны том Колиного Ленина.

Письма от Коли получались регулярно, раз в шестидневку, накануне выходного дня. Какой он прекрасный сын – не забывает, что мама беспокоится, а мало ли у него там дела! Возвращаясь со службы домой, Софья Петровна еще на лестнице, в самом низу, доставала из сумочки ключик, шла по лестнице быстро и, добежав наконец до четвертого этажа, задыхаясь, отворяла голубой почтовый ящик. Письмо в желтом конверте уже ждало ее. Не снимая пальто, она садилась у окна и расправляла аккуратно сложенные листки блокнота. «Здравствуй, мама! – начиналось каждое письмо. – Надеюсь, что ты здорова. Я тоже здоров. Выработка на нашем заводе за последнюю шестидневку достигла…» Письма были длинные, но все больше о заводе, о росте стахановского движения, а о себе, о своей жизни – ни слова. «Ты подумай только, – писал Коля в первом письме, – и червячные, и фрезы, и даже броши – все у нас еще заграничное, за все золотом расплачиваемся с капиталистами, а сами никак не можем освоить». Но Софью Петровну не фрезы интересовали. Ей бы узнать: как они там питаются с Аликом, добросовестная ли у них прачка? хватает ли у них денег? И когда же они занимаются? по ночам, что ли? На все эти вопросы Коля отвечал крайне бегло и невразумительно. Софье Петровне так хотелось представить себе их комнату, их быт, их обед, что она по совету Наташи написала письмо Алику.

Ответ пришел через несколько дней.

«Уважаемая Софья Петровна! – писал Алик. – Извините мою смелость, но вы напрасно беспокоитесь о здоровье Николая. Мы кушаем совсем неплохо. Я с вечера закупаю колбасу и утром сам зажариваю ее на сливочном масле. Обедаем мы в столовке, из трех блюд, очень неплохо. Варенье, вами нам присланное, мы решили пить только с вечерним чаем, и таким путем его нам хватит надолго. Белье я тоже сдаю прачке по счету. Для занятий мы выделили специальные часы каждый день. Вы можете мне вполне поверить, что я все делаю для Николая, как его друг и товарищ, и стараюсь все для него».

Письмо кончалось так:

«Николай успешно разрабатывает метод изготовления долбяков Феллоу в нашем инструментальном цехе. Про него в парткоме на заводе говорят, что это будущий восходящий орел».

Конечно, восходит светило, а не орел, и Софья Петровна решительно не понимала, что такое долбяки Феллоу, – и все же эти строки наполнили ее сердце гордостью и восхищением.

Колины письма Софья Петровна аккуратно складывала в коробку из-под писчей бумаги. Там у нее хранились жениховские письма Федора Ивановича, фотографии маленького Коли и фотография малютки Карины, родившейся на «Челюскине». Туда же Софья Петровна положила и письмо Алика. Она испытывала нежность к Алику: он, несомненно, был предан Коле и так умел понять его!

Однажды, уже месяцев через десять после Колиного отъезда, Софья Петровна получила по почте внушительный фанерный ящик. Из Свердловска. От Коли. Ящик был такой тяжелый, что почтальон с трудом внес его в комнату и потребовал рубль на чай. «Швейная машина? – размышляла Софья Петровна. – Вот бы хорошо!» Свою она продала в трудные годы. Почтальон ушел. Софья Петровна взяла молоток и нож и вскрыла ящик. В ящике оказался черный стальной непонятный предмет. Он был заботливо засыпан стружками. Колесо не колесо, дуло не дуло, бог знает что такое. Наконец на черной спине непонятного предмета Софья Петровна обнаружила ярлык, написанный Колиной рукой: «Мамочка, посылаю тебе первую шестеренку, нарезанную долбяком Феллоу, изготовленным на нашем заводе по моему методу». Софья Петровна засмеялась, похлопала шестеренку по спине и, пыхтя, отнесла ее на подоконник. Каждый раз, как она взглядывала на нее, ей становилось весело.

Через несколько дней, утром, когда Софья Петровна допивала чай, торопясь на службу, в ее комнату внезапно влетела Наташа. Волосы ее, мокрые от снега, были растрепаны, один ботик расстегнут. Она протянула Софье Петровне мокрую газету.

– Смотрите… Я сейчас на углу купила… читаю просто так… и вдруг вижу: Николай Федорович. Коля.

На первой странице «Правды» Софья Петровна увидела Колино улыбающееся белозубое лицо. Фотография изменила и немного состарила его, но, безо всякого сомнения, это он, ее сын, Коля. Под портретом было написано:

«Энтузиаст производства, комсомолец Николай Липатов, разработавший метод изготовления долбяков Феллоу на Уральском машиностроительном заводе».

Наташа обняла Софью Петровну и поцеловала ее в щеку. «Софья Петровна, милая! – умоляюще сказала она, – пожалуйста, пошлемте ему телеграмму!»

Софья Петровна никогда еще не видела Наташу такой возбужденной. Да у нее и у самой тряслись руки, и она никак не могла найти свой портфель. Телеграмму они сочинили на службе, во время обеденного перерыва, и отправили после работы. Все поздравляли Софью Петровну; на службе ее поздравила с таким сыном даже Эрна Семеновна, а дома – даже медицинская сестра. Вечером, ложась в постель, счастливая и усталая, Софья Петровна впервые подумала, что Наташа, наверное, влюблена в Колю. Как это она раньше не догадалась! Хорошая девушка, воспитанная, работящая, только очень уж некрасивая и старше его. Засыпая, Софья Петровна старалась представить себе ту девушку, которую полюбит Коля и которая станет его женой: высокую, свежую, розовую, с ясными глазами и светлыми волосами – очень похожую на английскую открытку, только со значком КИМа на груди. Ната? Нет, лучше Светлана. Или Людмила: Милочка.

6

Приближался новый, тысяча девятьсот тридцать седьмой год. Местком принял решение устроить елку для детей служащих издательства. Организация праздника была поручена

Софье Петровне. Она кооптировала себе в помощницы Наташу, и работа у них закипела. Они звонили по телефонам на квартиры служащих, узнавая имена и возраст ребят; отстукивали на машинке приглашения; бегали по магазинам, закупая пастилу, пряники, стеклянные шары и хлопушки; сбились с ног, отыскивая снег. Самое важное и самое трудное было решить, какой подарок сделать кому из ребят так, чтобы не выйти из лимита и в то же время чтобы все были довольны. Из-за подарка девочке директора Софья Петровна и Наташа даже немного поссорились. Софья Петровна хотела купить ей большую куклу – побольше, чем другим девочкам, – а Наташа находила, что это будет бестактно. Помирились на хорошенькой дудочке с пушистой кисточкой. Наконец осталось купить только елку. Они купили высокую, до потолка, с широкими густыми лапами. Наташа, Софья Петровна и лифтерша Марья Ивановна украшали елку с раннего утра и до двух часов дня накануне праздника. Марья Ивановна развлекала их рассказами о жене директора; про самого директора она говорила, как в старое время: «они». Лифтерша подавала Наташе и Софье Петровне шары, хлопушки, почтовые ящики, серебряные кораблики, а Наташа и Софья Петровна вешали их на елку. Скоро у Софьи Петровны заболели ноги, и она уселась в кресло и, сидя, вкладывала в пакетики с конфетами записочки: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». Украшать продолжала одна Наташа. У нее были умелые руки и бездна вкуса: Деда Мороза укрепила она удивительно эффектно. Потом Софья Петровна вклеила кудрявую головку маленького Ленина в середину большой красной пятиконечной звезды, Наташа водрузила звезду на верхушку елки – и все было закончено. Они сняли со стены портрет Сталина во весь рост и заменили его другим – Сталин сидит с девочкой на коленях. Это был любимый портрет Софьи Петровны.

Три часа. Пора домой – полежать немного, пообедать и переодеться перед праздником.

Праздник удался на славу. Явились все ребята и почти все папы и мамы. Жена директора не приехала, но директор приехал и сам привез свою маленькую девочку, очаровательную крошку с белокурыми волосиками. Дети радовались подаркам, родители громко восхищались елкой. Только Анна Григорьевна, председательница месткома, обиделась, что сыну ее подарили барабан, а не оловянных солдатиков, как сыну парторга; солдатики стоили дороже. Она была в зеленом шелковом платье и даже декольте. Сын ее, долговязый неприятный мальчик, присвистнул, демонстративно ткнул барабан кулаком и прорвал его. Но все остальные были довольны. Дочка директора без устали трубила в свою трубу, подпрыгивая между колен отца, упираясь маленькой пухлой рукой в его колено и запрокидывая голову назад, чтобы видеть елку.

Софья Петровна чувствовала себя настоящей хозяйкой бала. Она заводила патефон, включала радио, показывала лифтерше глазами, кому поднести блюдо с пастилой. Ей было жаль Наташу, которая робко жалась к стене, бледно-серая, в своей нарядной, новой, собственноручно вышитой блузке. Директор, согнувшись, водил девочку вокруг елки и пугал ее Дедом Морозом. Софья Петровна с умилением смотрела на эту сцену: ей хотелось, чтобы Коля во всем походил на директора. Кто знает, быть может, годика через два и у нее будет такая же милая внучка. Или внук. Она уговорит Колю внука назвать Владлен – очень красивое имя! – а внучку – Нинель – имя изящное, французское, и в то же время, если читать с конца, получается Ленин.

Софья Петровна, усталая, опустилась в кресло. Пора бы уж и домой, у нее начиналась мигрень. К ней подошел представительный бухгалтер и, любезно нагнувшись, поведал странную новость: в городе арестовано множество врачей. Бухгалтер был лично знаком со всеми медицинскими светилами города: экзема его не поддавалась ничьему лечению, один только покойный Федор Иванович умел согнать ее. («Да, вот это был врач! Другие всё присыпают, мажут, а толку никакого…») Среди арестованных бухгалтер назвал доктора Кипарисова, сослуживца Федора Ивановича, Колиного крестного. «Как? Доктор Кипарисов?.. Не

может быть! И что случилось? Разве опять какое-нибудь… несчастье?..» – спросила Софья Петровна, не решаясь произнести «убийство». Бухгалтер возвел очи горе и отошел, ступая почему-то на цыпочках. Два года назад, после убийства Кирова (о! какие это были мрачные дни! по улицам ходили патрули… а когда ждали товарища Сталина – вокзальная площадь оцеплена войсками… улицы, переулки перекрыты… ни пройти, ни проехать), после убийства Кирова тоже было много арестов, но тогда сначала брали каких-то оппозиционеров, а потом «бывших», всяких там «фон-баронов». А теперь вот врачей. После убийства Кирова выслали как дворянку m-me Неженцеву, старинную приятельницу Софьи Петровны, – они в гимназии вместе учились. Софья Петровна была поражена: какое отношение m-me Неженцева могла иметь к убийству? Преподает в школе французский язык и живет, как все. Но Коля объяснил, что Ленинград необходимо очистить от ненадежного элемента. «А кто такая, собственно говоря, эта твоя m-me Неженцева? Ведь ты сама помнишь, мама, что она не признавала Маяковского и говорила всегда, что в старое время все было дешевле. Она – не советский человек…» Ну хорошо, а врачи? Они чем провинились? Подумать только – Иван Игнатьевич Кипарисов! Такой почтенный врач!

Ребята шумели в раздевалке. Софья Петровна в качестве хозяйки помогала родителям разыскивать рейтузы и ботики. Директор с девочкой на руках подошел к ней проститься. Он поблагодарил местком за прекрасный праздник. «Я видел в «Правде» портрет вашего сына, – сказал он ей улыбаясь. – Хорошая у нас смена подросла…» Софья Петровна смотрела на него с обожанием. Ей хотелось сказать ему, что он еще никакого права не имеет говорить о смене, – что такое тридцать пять лет? первая молодость! – но она не решилась. Он сам одел девочку и поверх шубки закутал ее в белый пушистый платок. Как он все умеет! Мать может спокойно отпускать с ним ребенка. Сразу видно – прекрасный семьянин.

7

В газетах ничего не писали про врачей и про доктора Кипарисова. Софья Петровна собиралась зайти к m-me Кипарисовой и все не могла собраться. Времени не было, да и неловко как-то. Она не видала Кипарисову года три уже. Как это она ни с того ни с сего вдруг зайдет?

В январе начали появляться в газетах статьи о новом предстоящем процессе. Процесс Каменева и Зиновьева сильно поразил воображение Софьи Петровны, но она с непривычки к газетам не следила за ним изо дня в день. А на этот раз Наташа втянула ее в чтение газет, и они ежедневно прочитывали вместе все статьи о новом процессе. Очень уж упорно заговорили вокруг о фашистских шпионах, о террористах, об арестах… Подумать только, эти негодяи хотели убить родного Сталина. Это они, оказывается, убили Кирова. Они устраивали взрывы в шахтах. Пускали поезда под откос. И чуть ли не в каждом учреждении были у них свои ставленники.

Одна машинистка в бюро, только что вернувшаяся из дома отдыха, рассказала, что в соседней с нею комнате жил молодой инженер, она даже иногда с ним по парку гуляла. Один раз ночью вдруг приехала машина, и его арестовали: он оказался вредителем. А на вид такой приличный – и не узнаешь.

В доме Софьи Петровны, в квартире 45, напротив, тоже кого-то арестовали – коммуниста какого-то. Комнату его запечатали красными печатями. Софье Петровне рассказал управдом.

Софья Петровна по вечерам надевала очки – у нее в последнее время развилась дальнозоркость – и читала вслух газету Наташе. Скатерть была уже кончена – Наташа вышивала теперь накидку Софье Петровне на постель. Они говорили о том, как, наверное, возмущен сейчас Коля. Да и не только Коля: возмущены все честные люди. Ведь в поездах, пущен-

ных под откос вредителями, могли быть маленькие дети! Какое бессердечие! Изверги! Недаром троцкисты тесно связаны с гестапо: они и в самом деле не лучше фашистов, которые в Испании убивают детей. И неужели, неужели доктор Кипарисов участвовал в их бандитской шайке? Его не раз приглашали на консилиумы вместе с Федором Ивановичем. После консилиума Федор Иванович привозил его домой попить чайку, посидеть. Софья Петровна видела его совсем близко – вот как сейчас Наташу видит. И теперь он вступил в бандитскую шайку! Кто бы мог ожидать? Такой почтенный старик.

Однажды вечером, прочитав в газете перечень преступлений, совершенных подсудимыми, прослушав тот же перечень по радио, они с Наташей так ясно представили себе оторванные руки и ноги, горы изуродованных трупов, что Софье Петровне сделалось страшно остаться одной у себя в комнате, а Наташе страшно одной идти по улице. В эту ночь Наташа ночевала у нее на диване.

Всюду, на всех предприятиях, во всех учреждениях собирались митинги, и в их издательстве тоже состоялся митинг, посвященный процессу. Предместкома заранее обошла все комнаты и предупредила, что если есть такие несознательные, которые хотят уйти до собрания, то пусть имеют в виду: выходная дверь заперта. На собрание явились поголовно все, даже работники редакционного сектора, которые обыкновенно манкировали. Выступил директор и кратко, сухо и точно изложил газетные сообщения. После него говорил парторг, товарищ Тимофеев. Останавливаясь после каждых двух слов, он сказал, что враги народа орудуют повсюду, что они могут проникнуть и в наше учреждение, и потому всем честным работникам необходимо неустанно повышать свою политическую бдительность. Затем слово было предоставлено председательнице месткома, Анне Григорьевне. «Товарищи! – произнесла она, опустила веки и смолкла. – Товарищи! – она сжала тонкие пальцы с длинными ногтями. – Подлый враг протянул свою грязную лапу и к нашему учреждению. – Все замерли. Камея опускалась и поднималась на полной груди Анны Григорьевны. – Предыдущей ночью арестован бывший заведующий нашей типографией, ныне разоблаченный враг народа Герасимов. Он оказался родным племянником московского Герасимова, разоблаченного месяц назад. При попустительстве нашей партийной организации, страдающей, по меткому выражению товарища Сталина, идиотской болезнью беспечности, Герасимов продолжал, с позволения сказать, «работать» в нашей типографии уже после разоблачения его родного дяди, московского Герасимова».

Она села. Грудь ее поднималась и опускалась.

– Вопросов нет? – осведомился директор, председательствовавший на этом собрании.

– А что они… сделали… в типографии? – робко спросила Наташа. Директор кивнул предместкома.

– Что сделали? – высоким голосом отозвалась она, поднявшись со стула – Я, кажется, товарищ Фроленко, ясно русским языком объяснила здесь, что наш бывший заведующий типографией Герасимов оказался родным племянником того, московского, Герасимова. Он осуществлял повседневную родственную связь со своим дядей… разваливал в типографии стахановское движение… срывал план… по указаниям родственника. При преступном попустительстве нашей партийной организации.

Наташа больше не спрашивала.

Вернувшись после собрания домой, Софья Петровна села писать письмо Коле. Она написала ему, что у них в типографии открылись враги. А на Уралмаше? Все ли там благополучно? Как честный комсомолец, Коля обязан быть бдительным.

В издательстве явственно ощущалось какое-то странное беспокойство. Директора ежедневно вызывали в Смольный. Хмурый парторг то и дело входил в бюро, отпирая дверь собственным французским ключом, и вызывал Эрну Семеновну в спецчасть. Вежливый бухгалтер, которому откуда-то всегда все было известно, рассказал Софье Петровне, что

партийная организация заседает теперь каждый вечер. – Милые бранятся, – сказал он, многозначительно усмехаясь. – Анна Григорьевна во всем обвиняет парторга, а парторг директора. Насколько я понимаю, предстоит смена кабинета.

– В чем обвиняет? – спросила Софья Петровна.

– Да вот… никак договориться не могут, кто из них Герасимова проглядел.

Софья Петровна ничего толком не поняла и в этот день ушла из издательства в какой-то смутной тревоге. На улице она обратила внимание на высокую старуху в платке поверх шапки, в валенках, в калошах и с палкой в руке. Старуха шла, выискивая палкой, где не скользко. Лицо ее показалось Софье Петровне знакомым. Да это Кипарисова! Неужели она? Боже, как она изменилась!

– Мария Эрастовна! – окликнула ее Софья Петровна.

Кипарисова остановилась, подняла большие черные глаза и с видимым усилием изобразила на лице приветливую улыбку.

– Здравствуйте, Софья Петровна! Сколько лет, сколько зим! Сынок-то ваш, верно, взрослый уже? – Она стояла, держа Софью Петровну за руку, но не глядя ей в лицо. Огромные глаза ее в смятении бегали по сторонам.

– Мария Эрастовна, – сердечно сказала Софья Петровна. – Я так рада, что встретила вас. Я слышала, у вас неприятности… с Иваном Игнатьевичем… Послушайте, мы ведь с вами друзья… Иван Игнатьевич Колю крестил… конечно, это теперь не считается, но мы-то ведь с вами старые люди. Скажите, Ивана Игнатьевича обвиняют в чем-нибудь серьезном? Неужели эти обвинения имеют под собой какую-нибудь почву? Я просто не могу, не могу поверить. Такой прекрасный, такой почтенный врач! Муж всегда уважал его и как клинициста ставил выше себя.

– Иван Игнатьевич ничего не сделал против советской власти, – угрюмо сказала Кипарисова.

– Я так и думала! – воскликнула Софья Петровна. – Я ни минуты в этом не сомневалась, я так всем и говорила…

Кипарисова мрачно смотрела на нее черными огромными глазами.

– До свиданья, Софья Петровна, – сказала она без улыбки.

– Когда Иван Игнатьевич вернется, зовите меня на пирог, – проговорила Софья Петровна. – Да что вы, право, такая расстроенная? Раз Иван Игнатьевич не виноват, значит, все будет хорошо. В нашей стране с честным человеком ничего не может случиться. Просто недоразумение. Смотрите же, будьте молодцом… Пришли бы когда-нибудь чайку выпить!

Кипарисова зашагала по панели, постукивая палкой о лед.

«Неужели и я так же постарела? – думала Софья Петровна. – Лицо черное, все в морщинах. Да нет, не может быть, я еще не такая. Она просто распустилась уж очень: валенки, палка, платок… Для женщины много значит не распускаться, следить за собой. Ну кто теперь носит валенки? Не 18-й год. Вот и выглядит на шестьдесят пять – а ведь ей не больше пятидесяти… Хорошо, что Кипарисов не виноват. Уж кто-кто, а жена знает. Я так и думала, что это просто недоразумение, и ничего больше».

8

На следующий день машинописное бюро спешно кончало полугодовой отчет. Все знали, что ночью, со «Стрелой», директор выедет в Москву, чтобы завтра доложить о полугодовой работе издательства в отделе печати ЦК партии. Софья Петровна торопила машинисток. Наташа писала, не отрываясь, весь обеденный перерыв.

В три часа отчет в четырех экземплярах лежал уже перед Софьей Петровной, и она аккуратно раскладывала его по четырем копиям. Не жалея зажимок, она ровненько скалывала листы.

А секретарша директора все не шла за отчетом. Софья Петровна решила сама отнести его в кабинет.

У полуоткрытых дверей директорского кабинета она столкнулась с парторгом. «Туда нельзя!» — сказал он ей, не поклонившись, и, хромая, прошел в другую комнату. Вид у него был встрепанный.

Софья Петровна заглянула в полуоткрытую дверь. Перед письменным столом на коленях стоял незнакомый мужчина и вынимал из тумбочки бумаги. Весь ковер в кабинете был усыпан бумагами.

– В котором часу будет сегодня товарищ Захаров? – спросила Софья Петровна у пожилой секретарши.

– Он арестован, – одними губами, без голоса, ответила ей секретарша. – Сегодня ночью.

Губы у нее были голубые.

Софья Петровна понесла отчет обратно в бюро. Когда она дошла до дверей бюро, она почувствовала, что у нее слабеют колени. Грохот машинок оглушил ее. Знают они уже или не знают? Они стучали, как будто ничего не случилось. Если бы ей сообщили, что директор умер, она была бы менее поражена. Она села на свое место и начала машинально снимать зажимки с листов. Вошел Тимофеев, открыв дверь собственным ключом. Софья Петровна впервые заметила, что, несмотря на хромоту, парторг держится очень прямо и походка у него мерная. «Простите!» – сказала она испуганно, когда он, проходя мимо, нечаянно задел ее плечом.

В половине пятого раздался наконец звонок. Софья Петровна молча сошла с лестницы, молча оделась и вышла на улицу. Таяло. Софья Петровна остановилась перед лужей, сосредоточенно обдумывая, как бы ее обойти. К ней подошла Наташа. Наташа уже знала: ей сказала Эрна Семеновна.

– Наташа, – начала Софья Петровна, когда они дошли до угла, где обыкновенно прощались. – Наташа, вы верите, что Захаров виноват в чем-нибудь? Да нет, какая чепуха… Наташа, ведь мы-то знаем…

Она не могла подобрать слов, чтобы выразить свою уверенность. Захаров, большевик, их директор, которого они видели каждый день, Захаров – вредитель! Это была невозможность, чепуха, *реникса,* как говорил когда-то Федор Иванович. Недоразумение? Но ведь он такой видный партиец, его знали и в Смольном, и в Москве, его не могли арестовать по ошибке. Он не Кипарисов какой-нибудь!

Наташа молчала.

– Зайдемте к вам, я вам сейчас все объясню, – сказала вдруг Наташа с необычайной торжественностью.

Они пошли. Молча разделись. Наташа вынула из своего старенького портфельчика аккуратно сложенную газету. Она развернула газету перед Софьей Петровной и указала ей подвал на вкладной странице.

Софья Петровна надела очки.

– Понимаете, дорогая, его могли завлечь, – шепотом сказала Наташа. – Женщина…

Софья Петровна принялась читать.

В статье рассказывалось о некоем советском гражданине А., честном партийце, который был командирован советским правительством в Германию с целью освоить применение недавно изобретенного химического препарата. В Германии он честно исполнял свой долг, но вскоре увлекся некоей С., элегантной молодой женщиной, сочувствовавшей якобы Советскому Союзу. С. нередко навещала гражданина А. у него на квартире. И вот однажды гра-

жданин А. обнаружил пропажу из бюро серьезных политических документов. Квартирная хозяйка сообщила ему, что в его отсутствие в комнате побывала С. Гр-н А. имел мужество немедленно порвать связь с С., но сообщить о пропаже документов товарищам мужества у него не хватило. Он уехал обратно в СССР, надеясь честной работой советского инженера загладить свое преступление перед Родиной. Целый год он работал спокойно и начал уже забывать о своем преступлении. Однако замаскированные агенты гестапо, проникшие в нашу страну, начали его шантажировать. Запуганный ими А. выдал им секретные планы того завода, на котором работал. Доблестные чекисты разоблачили окопавшихся агентов фашизма: нити следствия привели к несчастному А.

– Вы понимаете? – шепотом спросила Наташа. – Нити следствия… Наш директор, конечно, хороший человек, честный партиец. Но ведь и гражданин А., тут пишут, тоже был сначала честным партийцем… Всякого честного партийца может опутать смазливая женщина.

Наташа терпеть не могла смазливых женщин. Она признавала только строгую красоту и не находила ее ни в ком.

– Говорят, наш директор бывал за границей, – вспомнила Наташа. – Тоже в командировке. Помните, лифтерша Марья Ивановна рассказывала, что он привез своей жене из Берлина голубой вязаный костюм?

Статья сильно смутила Софью Петровну, и все-таки ей еще не верилось. То какой-то А., а то их Захаров. Выдержанный партиец, сам докладывал о процессе. И при нем издательство всегда выполняло план с превышением.

– Наташа, ведь мы же знаем, – устало сказала Софья Петровна.

– Что мы знаем? – с азартом заговорила Наташа. – Мы знаем, что он был директором нашего издательства, а больше ничего мы, собственно, не знаем. Разве вам известна вся его жизнь? Разве вы можете за него поручиться?

И в самом деле, Софья Петровна не имела ни малейшего представления о том, чем был занят товарищ Захаров, когда не председательствовал на издательских собраниях и не водил девочку под елкой. Мужчины – все, все до единого – страшно любят смазливых женщин. Какая-нибудь наглая горничная – и та может прибрать к рукам любого мужчину, даже порядочного. Если бы Софья Петровна не выгнала Фани вовремя – еще неизвестно, чем кончилось бы ее заигрывание с Федором Ивановичем.

– Давайте чай пить, – сказала Софья Петровна.

За чаем они припомнили, что фигура Захарова отличалась военной выправкой. Прямая спина, широкие плечи. Уж не был ли он в свое время белым офицером? По возрасту он вполне мог успеть.

Они пили пустой чай. Обе были так утомлены, что поленились спуститься в магазин за булкой или пирожными. «Завтра будет тяжело в издательстве, – думала Софья Петровна. – Словно покойник в доме. Что ни говори, а жаль директора». Она вспомнила полуоткрытую дверь кабинета и мужчину на коленях перед столом. Она только теперь поняла, что это был обыск.

Наташа собралась уходить. Она аккуратно сложила газету и спрятала ее в портфель. Потом налила себе в стакан кипятку и на прощанье стала греть о стакан свои большие красные руки. Они у нее были отморожены в детстве и всегда мерзли.

Вдруг раздался звонок. И второй. Софья Петровна пошла отворять. Два звонка – это к ней. Кто бы это так поздно?

За дверьми стоял Алик Финкельштейн.

Видеть Алика одного, без Коли, было противоестественно.

– Коля?! – вскрикнула Софья Петровна, схватив Алика за висящий конец его шарфа. – Брюшной тиф?

Алик, не глядя на нее, медленно снимал калоши.

– Тс-с-с! – выговорил он наконец. – Пройдемте к вам.

И он пошел по коридору, ступая на цыпочках, смешно раскорячивая свои короткие ноги.

Софья Петровна не помня себя шла за ним.

– Вы только не пугайтесь, ради бога, Софья Петровна, – сказал он, когда она притворила дверь, – спокойненько, пожалуйста, Софья Петровна, пугаться, право, не стоит. Ничего страшного нет. Поза-поза-поза-вчера… или когда это? ну, перед тем выходным… Колю арестовали…

Он сел на диван, двумя рывками развязал шарф, бросил его на пол и заплакал.

9

Нужно было сейчас же бежать куда-то и разъяснить это чудовищное недоразумение. Нужно было сию же минуту ехать в Свердловск и поднять на ноги адвокатов, прокуроров, судей, следователей. Софья Петровна надела пальто, шляпу, боты и вынула из шкатулки деньги. Не позабыть паспорт. Сейчас же на вокзал за билетом.

Но Алик, утерев лицо шарфом, сказал, что, по его мнению, ехать сейчас в Свердловск решительно не имеет никакого смысла. Колю как коренного ленинградца, лишь недавно проживающего в Свердловске, скорее всего отвезут в Ленинград. Уж не лучше ли ей повременить с поездкой в Свердловск? Как бы она с ним не разминулась! Софья Петровна сняла пальто, бросила на стол паспорт и деньги.

– Ключи? Вы оставили там ключи? – закричала она, подступая к Алику. – Вы оставили кому-нибудь ключи?

– Ключи? Какие ключи? – оторопел Алик.

– Боже, какой же вы глупый! – выговорила Софья Петровна и вдруг заплакала громко, в голос. Наташа подбежала и обняла ее за плечи. – Да ключ… от комнаты… в вашем, как его… общежитии…

Они не понимали и смотрели на нее бессмысленными глазами. Какие дураки! А горло у Софьи Петровны теснило, и она не могла говорить. Наташа налила в стакан воды и протянула ей. – Ведь он… ведь его… – говорила Софья Петровна, отстраняя стакан, – ведь его… уже, наверное… выпустили… увидели, что не тот… и выпустили… он вернулся домой, а вас нет… и ключа нет… Сейчас, наверное, будет от него телеграмма.

В ботах Софья Петровна повалилась на свою кровать. Она плакала, уткнувшись головой в подушку, плакала долго, до тех пор пока и щека и подушка не стали мокрыми. Когда она поднялась, у нее болело лицо и кулаком стучало в груди сердце.

Наташа и Алик шептались возле окна. – Вот что, – сказал Алик, жалостливо глядя на нее из-под очков своими добрыми глазами, – мы договорились с Натальей Сергеевной. Вы себе ложитесь сейчас спать, а утром идите потихонечку в прокуратуру. Наталья Сергеевна скажет завтра в издательстве, что вы прихворнули… или что-нибудь еще… что у вас ночью угар был… я знаю!

Алик ушел. Наташа хотела остаться ночевать, но Софья Петровна сказала, что ей ничего, ничего не надо. Наташа поцеловала ее и ушла. Кажется, она тоже плакала.

Софья Петровна вымыла лицо холодной водой, разделась и легла. В темноте трамвайные вспышки молниями озаряли комнату. Белый квадрат света, как согнутый пополам лист бумаги, лежал на стене и на потолке. В комнате медицинской сестры еще взвизгивала и смеялась Валя. Софья Петровна представляла себе, как Колю, под конвоем, приводят к следователю. Следователь – красивый военный, весь в ремнях и карманах. «Вы – Николай Фомич Липатов?» – спрашивает Колю военный. «Я – Николай Федорович Липатов», – с достоин-

ством отвечает Коля. Следователь делает строгий выговор конвойным и приносит Коле свои извинения. «Ба! – говорит он, – как я сразу не узнал вас? Да ведь вы – тот молодой инженер, портрет которого я недавно видел в «Правде»! Простите, пожалуйста. Дело в том, что ваш однофамилец, Николай Фомич Липатов, – троцкист, фашистский наймит, вредитель…»

Всю ночь Софья Петровна ждала телеграммы. Вернувшись домой, в общежитие, и узнав, что Алик выехал в Ленинград, Коля немедленно даст телеграмму, чтобы успокоить мать. Часов в шесть утра, когда уже снова задребезжали трамваи, Софья Петровна уснула. И проснулась от резкого звонка, который, казалось, был проведен прямо ей в сердце. Телеграмма? Но звонок не повторился.

Софья Петровна оделась, умылась, заставила себя выпить чаю и прибрать комнату. И вышла на улицу – в полумглу. По-прежнему оттепель, но за ночь лужи подернулись легким ледком.

Сделав несколько шагов, Софья Петровна остановилась. Куда, собственно, следует идти?

Алик говорил, в прокуратуру. Но Софья Петровна не знала толком, что такое прокуратура, и не знала, где она. А расспрашивать прохожих про это место ей казалось стыдным. И она пошла не в прокуратуру, а в тюрьму, потому что случайно ей было известно, что тюрьма на Шпалерной.

У железных ворот стоял часовой с винтовкой. Маленькая парадная возле ворот была заперта. Софья Петровна тщетно толкала дверь рукой и коленом. И нигде не видно было ни одного объявления.

К ней подошел часовой.

– В девять часов пускать будут, – сказал он.

Было без двадцати восемь. Софья Петровна решила не уходить домой. Она прохаживалась взад и вперед мимо тюрьмы, задирая голову вверх и поглядывая на железные решетки.

Неужели это может быть, что Коля здесь, в этом доме, за этими решетками?

– Тут ходить нельзя, гражданка, – сказал часовой.

Софья Петровна перешла на другую сторону улицы и машинально побрела вперед. Налево она увидела широкую снежную пустыню Невы.

Она свернула по улице налево и вышла на набережную.

Было уже совсем светло. Беззвучно, с поразительной дружностью, на Литейном мосту погасли фонари. Нева была завалена кучами грязного, желтого снега. «Наверное, сюда снег свозят со всего города», – подумала Софья Петровна. Она обратила внимание на большую толпу женщин посреди улицы. Одни стояли, облокотившись на парапет набережной, другие медленно прохаживались по панели и по мостовой. Софью Петровну удивило, что все они были очень тепло одеты: поверх пальто закутаны в платки и почти все в валенках и в калошах. Они притоптывали ногами и дули на руки. «Видимо, они уже давно тут стоят, если так замерзли, – размышляла от нечего делать Софья Петровна, – а мороза-то нет, снова тает». У всех этих женщин был такой вид, будто на полустанке, много часов подряд, они ожидали поезда. Софья Петровна внимательно оглядела дом, против которого толпились женщины, – дом обыкновенный, на нем никаких вывесок. Чего же они тут ожидают? В толпе были дамы в нарядных пальто, были и простые женщины. От нечего делать Софья Петровна прошлась раза два сквозь толпу. Одна женщина стояла с грудным ребенком на руках и за руку держала другого, повязанного шарфом крест-накрест. У стены дома одиноко стоял мужчина. Лица у всех были зеленоватые, – может быть, это в утренней мгле они казались такими?

К Софье Петровне вдруг подошла маленькая опрятная старушка с палочкой. Из-под котиковой, низко надвинутой шапки сверкали серебряные волосы и черные еврейские глаза.

– Вам список? – спросила старушка дружелюбно. – В парадной 28.

– Какой список?

– На «эл» и «эм»… Ах, извиняюсь, гражданка! Вы ходите здесь, так я подумала, вы тоже об арестованном.

– Да, о сыне… – с недоумением ответила Софья Петровна.

Отвернувшись от старушки, неприятно поразившей ее своей проницательностью, Софья Петровна отправилась разыскивать парадную дома 28. Мысль, что все эти женщины пришли сюда за тем же, за чем пришла она, смутно зашевелилась в ее душе. Но почему они здесь, на набережной, а не возле тюрьмы? Ах, да, возле тюрьмы не позволяет стоять часовой.

Дом № 28 оказался облупленным особняком почти у самого моста. Софья Петровна вошла в парадную – роскошную, но грязную, с камином, с огромным разбитым трюмо и мраморным купидоном без одного крыла. На первой ступеньке величественной лестницы, подложив под спину газету, а под голову – заиндевевший портфель, свернувшись, лежала женщина.

– Записываться? – спросила она, подняв голову. Потом села и вынула из портфеля измятую бумажку и карандаш.

– Да я, собственно, не знаю, – растерянно произнесла Софья Петровна. – Я пришла поговорить о сыне, которого по ошибке арестовали в Свердловске… Понимаете ли, просто как однофамильца…

– Говорите, пожалуйста, тише, – с раздражением оборвала ее женщина. У нее было интеллигентное усталое лицо. – Списки отбирают, и вообще… Как фамилия?

– Липатов, – робко ответила Софья Петровна.

– 344, – сказала женщина, записывая. – Ваш номер 344. Уходите отсюда, пожалуйста.

– 344, – повторила Софья Петровна и снова вышла на набережную.

Толпа все росла. – Ваш какой номер? – то и дело спрашивали Софью Петровну. – Ну, вам сегодня не попасть, – сказала ей одна женщина, повязанная платком по-крестьянски. – Мы-то еще с вечера записавшись… – Список где? – шепотом спрашивали другие… Было уже светло: наступил день.

И вдруг вся толпа кинулась бежать. Софья Петровна побежала со всеми. Громко заплакал ребенок, повязанный шарфом. У него были кривые ножки, и он еле поспевал за матерью. Толпа свернула на Шпалерную. Софью Петровна издали увидала, что маленькая дверь возле железных ворот уже открыта. Люди протискивались в нее, как в дверь трамвая. Втиснулась и Софья Петровна. И сразу стала: идти дальше было некуда. В полутемной прихожей и на маленькой деревянной лесенке толпились люди. Толпа колыхалась. Все разматывали платки, расстегивали вороты, и все пробирались куда-то: каждый искал предыдущий и последующий номер. А сзади все напирали и напирали люди. Софью Петровну крутило, как щепку. Она расстегнула пальто и вытерла платком лоб.

Переведя дыхание и привыкнув к полутьме, Софья Петровна тоже принялась отыскивать нужные номера: 343 и 345. 345 был мужчина, а 343 – сгорбленная древняя старуха. – Ваш муж тоже латыш? – спросила старуха, подняв на Софью Петровну мутные глаза. – Нет, почему же? – ответила Софья Петровна. – Почему именно латыш? Мой муж давно умер, но он был русский.

– Скажите, пожалуйста, а у вас уже есть путевка? – спросила у Софьи Петровны старушка-еврейка с серебряными волосами – та, которая заговорила с ней на набережной.

Софья Петровна не ответила. Она ничего не понимала здесь. Женщина, лежащая на лестнице, теперь какие-то глупые вопросы о латыше, о путевке. Ну при чем тут путевка? Ей казалось, что она не в Ленинграде, а в каком-то незнакомом чужом городе. Странно было думать, что в тридцати минутах ходьбы – ее служба, издательство, Наташа стучит на машинке…

Отыскав своих соседей, люди стояли спокойно. Софья Петровна разглядела: лесенка вела в комнату, и в комнате тоже толпой стояли люди, и, кажется, за этой комнатой была

еще вторая. Софья Петровна исподлобья поглядывала вокруг. Вот женщина с портфелем, в шерстяных носках поверх чулок, в плохоньких туфельках, – это та самая, которая лежала на лестнице. К ней и тут то и дело подходят люди, но она уже не записывает их: поздно. Подумать только, все эти женщины – матери, жены, сестры вредителей, террористов, шпионов! А мужчина – муж или брат… На вид все они самые обыкновенные люди, как в трамвае или в магазине. Только все усталые, с помятыми лицами. «Воображаю, какое это несчастье для матери узнать, что сын ее вредитель», – думала Софья Петровна.

Изредка по скрипучей узкой лесенке, с трудом протискиваясь сквозь толпу, спускалась женщина. – Передала? – спрашивали ее внизу. – Передала, – она показывала розовую бумажку. А одна, по виду молочница, с большим бидоном в руке, ответила – выслан! – и громко заплакала, поставив бидон, прислонившись головой к косяку двери. Платок пополз вниз, показались рыжеватые волосы и маленькие серьги в ушах. – Тише! – зашикали на нее со всех сторон. – Он шуму не любит, закроет окно, и все. Тише!

Молочница поправила платок и ушла со слезами на щеках.

Из разговоров Софья Петровна поняла, что большинство этих женщин пришли передать деньги арестованным мужьям и сыновьям, а некоторые – узнать, здесь ли муж или сын. У Софьи Петровны кружилась голова от духоты и усталости. Она очень боялась, что таинственное окошечко, к которому все стремились, закроется раньше, чем она успеет подойти к нему. – Если сегодня будет только до двух, нам с вами не попасть, – сказал ей мужчина. «До двух? Неужели до двух здесь стоять? – с тоской подумала Софья Петровна. – Ведь сейчас не больше десяти».

Она закрыла глаза, стараясь осилить головокружение. Мерно гудели тихие немногословные разговоры. – Вашего-то когда взяли? – Да уж третий месяц пошел. – А моего – две недели. – Скажите, вы не знаете, где еще можно навести справки? – В прокуратуре. Да нигде не говорят ничего. – А вы на Чайковской были? А на Герцена? – На Герцена военная. – Вашего-то когда взяли? – У меня дочка. – А на Арсенальной, говорят, белье принимают. – Вы кто, латыши будете? – Нет, мы поляки. – Вашего-то когда взяли? – Да уж полгода. – А какие номера там идут? Двадцатые только? Господи боже мой, как бы он в два не закрыл! Прошедший раз аккурат в два захлопнул!

Софья Петровна повторяла про себя, что она спросит: привезли ли Колю в Ленинград? Когда можно видеть судью – или кого там, следователя? И нельзя ли сегодня? И нельзя ли немедленно получить свидание с Колей?

Через два часа Софья Петровна следом за древней старухой вступила на первую ступеньку деревянной лестницы. Через три – в первую комнату. Через четыре – во вторую и через пять – следом за извивающейся очередью – снова в первую. Из-за спин она разглядела деревянное квадратное окошечко и в окошечке широкие плечи и большие руки тучного мужчины. Было три часа. Софья Петровна сосчитала – перед ней еще пятьдесят девять человек.

Женщины, называя фамилию, робко протягивали в окошечко деньги. Кривоногий мальчик всхлипывал, облизывая языком слезы. «Ну, уж я-то с ним поговорю, – нетерпеливо думала Софья Петровна. – Пусть сейчас же проведет меня к следователю, к прокурору или к кому там… Как много еще у нас в быту некультурности! духота, вентиляции не могут устроить. Надо бы написать письмо в «Ленинградскую правду».

И вот наконец перед Софьей Петровной осталось только трое. На всякий случай она тоже приготовила деньги: пусть Коля пока что не стесняет себя. Сгорбленная старуха дрожащей рукой передала в окошечко тридцать рублей и получила розовую квитанцию. Она вглядывалась в нее слепыми глазами. Софья Петровна торопливо стала на место старухи. Она увидела молодого тучного человека с белым опухшим лицом и маленькими сонными глазками. – Я хотела бы узнать, – начала Софья Петровна, согнувшись, чтобы получше видеть лицо человека за окошечком, – здесь ли мой сын? Дело в том, что он арестован по ошибке…

– Фамилия? – перебил ее человек.

– Липатов. Его арестовали по ошибке, и вот уже несколько дней я не знаю…

– Помолчите, гражданка, – сказал ей человек, наклоняясь над ящиком с карточками. – Ли́патов или Ле́патов?

– Липатов. Я хотела бы сегодня же повидаться с прокурором или к кому вам будет угодно меня направить…

– Буквы?

Софья Петровна не поняла.

– Звать-то его как?

– Ах, инициалы? Эн, эф.

– Нэ или мэ?

– Эн, Николай.

– Липатов, Николай Федорович, – сказал человек, вынимая из ящика карточку. – Здесь.

– Я хотела бы узнать…

– Справок мы не даем. Прекратите разговоры, гражданка. Следующий!

Софья Петровна поспешно протянула в окошечко тридцать рублей.

– Ему не разреше́но, – сказал человек, отстраняя бумажку. – Следующий! Проходите, гражданка, не мешайте работать.

– Уходите! – шептали Софье Петровне сзади. – А то он окошко захлопнет.

Софья Петровна добралась до дома в шестом часу. У себя она застала Алика и Наташу. Она опустилась на стул и несколько минут не в силах была снять с себя боты и пальто. Алик и Наташа смотрели на нее вопросительно. Она сообщила, что Коля здесь, в тюрьме, на Шпалерной, и никак не могла объяснить им, почему она не узнала, по какому делу он арестован и когда можно будет получить с ним свидание.

10

Софья Петровна взяла в издательстве двухнедельный отпуск за свой счет. Пока Коля сидит в тюрьме, разве может она думать о каких-то бумагах, об Эрне Семеновне! Да и не поспеешь служить: с утра до ночи и с ночи до утра надо стоять в очередях. Она подала заявление хромому парторгу: после ареста Захарова он был назначен временно исполняющим обязанности директора. Он сидел в том же кабинете, где раньше сидел Захаров, за тем же большим столом с телефонами; носил он уже не косоворотку, а серенький костюмчик из Ленинградодежды, галстучек, воротничок – и все-таки казался невзрачным. Софья Петровна сказала, что отпуск ей нужен по домашним обстоятельствам. Не глядя на нее, Тимофеев долго писал резолюцию красными чернилами. Он сказал Софье Петровне, что замещать ее на этот раз будет Эрна Семеновна, и приказал сдать ей дела. – А почему не Фроленко? – удивилась Софья Петровна. – Ведь Эрна Семеновна малограмотна и пишет с ошибками… – Товарищ Тимофеев ничего не ответил и встал. Ах, не все ли равно! Софья Петровна вышла из кабинета. Она торопилась в очередь.

Дни и ночи ее проходили теперь не дома и не на службе, а в каком-то новом мире – в очереди. Она стояла на набережной Невы, или на Чайковской – там скамейки, можно присесть, или в огромном зале Большого Дома, или на лестнице в прокуратуре. Уходила домой поесть или поспать она только тогда, когда Наташа или Алик сменяли ее. (Алика директор отпустил в Ленинград всего только на одну шестидневку, но он со дня на день откладывал свой отъезд в Свердловск, надеясь вернуться вместе с Колей.) Многое узнала Софья Петровна за эти две недели – она узнала, что записываться в очередь следует с вечера, с одиннадцати или с двенадцати, и каждые два часа являться на перекличку, но лучше не уходить совсем, а то тебя могут вычеркнуть; что непременно надо брать с собой теплый платок,

надевать валенки, потому что даже в оттепель с трех часов ночи и до шести утра будут мерзнуть ноги и все тело охватит мелкая дрожь; она узнала, что списки отнимают сотрудники НКВД и того, кто записывает, уводят в милицию; что в прокуратуру надо ходить в первый день шестидневки и там принимают не по буквам, а всех, а на Шпалерной ее буква 7-го и 20-го (в первый раз она попала в свой день каким-то чудом), что семьи осужденных высылают из Ленинграда и путевка – это направление не в санаторий, а в ссылку; что на Чайковской справки выдает краснолицый старик с пушистыми, как у кота, усами, а в прокуратуре – мелкозавитая остроносая барышня; что на Чайковской надо предъявлять паспорт, а на Шпалерной нет; узнала, что среди разоблаченных врагов много латышей и поляков – и вот почему в очереди так много латышек и полек. Она научилась с первого взгляда догадываться, кто на Чайковской не прохожий вовсе, а стоит в очереди, она даже в трамвае по глазам узнавала, кто из женщин едет к железным воротам тюрьмы. Она научилась ориентироваться во всех парадных и черных лестницах набережной и с легкостью находила женщину со списком, где бы та ни пряталась. Она знала уже, выходя из дому после краткого сна, что на улице, на лестнице, в коридоре, в зале – на Чайковской, на набережной, в прокуратуре – будут женщины, женщины, женщины, старые и молодые, в платках и в шляпах, с грудными детьми и с трехлетними и без детей – плачущие от усталости дети и тихие, испуганные, немногословные женщины, – и, как когда-то в детстве, после путешествия в лес, закрыв глаза, она видела ягоды, ягоды, ягоды, так теперь, когда она закрывала глаза, она видела лица, лица, лица…

Одного только она не узнала за эти две недели: из-за чего Коля арестован? И кто и когда будет его судить? И в чем его обвиняют? И когда же наконец кончится это глупое недоразумение и он вернется домой? В справочном бюро на Чайковской краснолицый старик с пушистыми усами смотрел в ее паспорт, спрашивал: «Как имя вашего сына? Вы мать? а почему жена не пришла? не женат? Липатов, Николай? следствие ведется», – и выкидывал из окошечка паспорт, и, прежде чем Софья Петровна успевала открыть рот, механическая дверца окошечка с треском падала сверху вниз и раздавался звонок, означающий: «Следующий!» С дверцей Софье Петровне разговаривать было не о чем, и, постояв секунду, она уходила. В прокуратуре мелкозавитая остроносая барышня, высовываясь из окошечка, говорила скороговоркой: «Липатов? Николай Федорович? Дело в прокуратуру еще не поступало. Справьтесь через две недели». На Шпалерной́ тучный сонный мужчина неизменно отстранял ее деньги и произносил: «ему не разрешо́но». Это было все, что она знала о Коле: другим деньги разрешо́ны, а ему почему-то не разрешо́ны. Почему? Но она уже понимала, что расспрашивать человека в окошечке – тщетно.

Зато она с жадностью расспрашивала Алика про то, как это было, как уводили Колю. И Алик покорно рассказывал опять и опять, что они уже спали, что вдруг раздался стук в дверь и вошел заведующий общежитием, а за ним комендант, а за ним кто-то в штатском и один военный. – Который был час? – спрашивала Софья Петровна. – Так примерно полвторого, – отвечал Алик и рассказывал дальше: комендант зажег свет, а штатский спросил – кто тут Липатов, Николай? – Коля испугался? – тревожно перебивала Софья Петровна. – Ни капельки, – отвечал Алик. – Он надел белье, костюм и просил меня завтра передать на заводе, что его по недоразумению задержали и он, может быть, несколько дней прогуляет… Так пусть на участке заменит его Яша Ройтман, это у нас комсомолец такой… – И неужели он ничего, ничего не взял с собою! – всплескивала руками Софья Петровна. Алик объяснял ей, что Коля ни за что не хотел взять с собой ни смены белья, ни полотенца, хотя прачка только-только принесла. «Зачем мне? ведь я завтра-послезавтра вернусь». – «Сильно советую взять», – сказал военный. Но Коля и ему повторил, что незачем: он завтра вернется.

– Вот что значит чистая совесть! – с умилением говорила Софья Петровна. – Но дадут ли ему там полотенце?

Алик послушно ждал Колю и день, и два, и три и только на четвертый решился ехать в Ленинград – выяснять обстоятельства. Он соврал директору, будто у него мамаша при смерти. И директор – парень свой, хороший – отпустил.

Софья Петровна осторожно выспрашивала Алика: не поссорился ли там Коля с начальниками? не нагрубил ли кому? не водился ли с кем-нибудь, кто потом оказался вредителем? или женщина, быть может, во что-нибудь его впутала?

– Ну, какая там женщина! – с легким раздражением отвечал Алик – Да и впутаешь разве Николая? Не знаете вы его, что ли? Про него директор так прямо и говорил, что это будущий мировой инженер…

Ах, конечно, конечно, Коля ни на что дурное не способен. Уж Софье ли Петровне не знать, что это за сердце, какая голова, как он предан советской власти и партии. Но ведь и без причины ничего не бывает. Коля еще молод, не жил один на свете. Восстановил там кого-нибудь против себя. Надо уметь обходиться с людьми. И Софья Петровна с неприязнью взглядывала на Алика: недосмотрел. Вот если бы Коля остался в Ленинграде, у матери на глазах, ничего бы с ним не случилось. Не надо было отпускать его в Свердловск.

Но и так, и так ничего не может худого случиться, уговаривала себя Софья Петровна. Каждый час, каждую минуту ждала она Колю домой. Уходя в очередь, она всегда оставляла ключ от своей комнаты в коридоре, на полочке, в старом условленном месте. Она даже суп горячий оставляла для него в духовке. И, возвращаясь, поднималась по лестнице торопливо, без передышек, как когда-то навстречу письму: вот она сейчас войдет в свою комнату, а Коля, оказывается, дома и никак не может понять, куда же запропастилась мама.

Одна женщина – в очереди – говорила прошлой ночью другой – Софья Петровна слышала: «Жди его, вернется! Кто сюда попал – не вернется». Софья Петровна хотела было ее оборвать, но не стала связываться. У нас невиновных не держат. Да еще таких патриотов советских, как Коля. Разберутся и выпустят.

Однажды вечером Алик, уговорив Софью Петровну полежать хоть часок, надел уже свою куртку, обмотал шею шарфом и простился: было 19-е, он шел занимать очередь на Шпалерной. – Я приду не позже двух, – сказала ему Софья Петровна с кровати слабым голосом. – Софья Петровна, хоть в пять, – ответил он бодро и вышел за дверь. Но почему-то вернулся. Он подошел к Наташе, сидевшей у окна с вязаньем в руках. – Как вы себе мыслите, Наталья Сергеевна, – спросил он, прямо глядя на нее из-под очков блестящими глазами, – там, в тюрьме, все такие же виноватые, как Коля? Что-то в очереди все мамаши сильно смахивают на Софью Петровну.

– Не знаю, – ответила, по своему новому обыкновению, Наташа.

Наташа и прежде была молчалива, но с тех пор, как арестовали Колю, она почти что совсем лишилась дара речи. На вопросы она отвечала: «да», «нет» или «не знаю». Казалось, спроси ее, как ее зовут, и она тоже ответит: «не знаю». Свободное от службы время она проводила у Софьи Петровны – стряпала обед, мыла посуду, подавала воду с валерьянкой – или в очереди. И все это не открывая рта.

– Что вы, Алик, – тихо сказала Софья Петровна. – Как вы можете сравнивать! Ведь Колю-то арестовали по недоразумению, а других… Вы что, газет не читаете?

– Э, что газеты, – ответил Алик и вышел.

В газетах как раз появились признания подсудимых на суде. Вчера в очереди Софья Петровна прочла целый лист из-за плеча стоящего перед ней мужчины. У нее болели ноги, ныло сердце, но газета была такая интересная, что, вытянув шею, она прочла ее всю. Подсудимые подробно рассказывали про убийства, про отравления, про взрывы – и Софья Петровна была возмущена вместе с прокурором. «Это как называется?» – со сдержанным негодованием спрашивал у подсудимого прокурор. «Подлость!» – сокрушенно отвечал подсудимый.

Нет, Софья Петровна недаром сторонилась своих соседок в очередях. Жалко их, конечно, по-человечески, особенно жалко ребят, – а все-таки честному человеку следует помнить, что все эти женщины – жены и матери отравителей, шпионов и убийц.

11

Прошло две недели. Алик уехал обратно в Свердловск на завод. Софья Петровна приступила к работе в издательстве, так ничего и не разузнав о Коле.

Женщины в очереди объяснили ей, что дело, по всей вероятности, в конце концов поступит в прокуратуру, а когда дело поступит в прокуратуру – можно будет пройти к прокурору. Он принимает не через окошечко, а за столом, и ему можно все рассказать.

А пока что оставалось одно – ходить на службу, подсчитывать строчки, улыбаться, распределять работу и под стук и звон машинок неустанно думать о Коле. Коля сидит в тюрьме, Коля в тюрьме. Среди бандитов, шпионов и убийц. В камере. На запоре.

Стараясь представить себе тюрьму и Колю в тюрьме, она неизменно представляла себе картину, изображающую княжну Тараканову: темная стена, девушка с растрепанными волосами прижимается к стене, вода на полу, крысы… Но в советской тюрьме все, конечно, совсем не так.

Алик на прощанье посоветовал ей никому не говорить о Колином аресте. – Мне нечего стыдиться Коли! – начала было гневно Софья Петровна, но потом согласилась с Аликом: другие-то ведь не знают Колю и могут невесть что вообразить. И ни на службе, ни в квартире она никому ничего не рассказала – только жене Дегтяренко, которая однажды застала ее плачущей в ванной. Жена Дегтяренко сочувственно вздохнула. – Что ж плакать-то, может, еще и вернется, – сказала она. – То-то, я смотрю, вы и днем и ночью бегаете, лица на вас нет.

Прошло пять месяцев со дня ареста Коли – зима уже сменилась весною и весна беспощадно жарким июнем – а Коли все не было. Софья Петровна изнемогала от жары, от ожидания, от ночных очередей. Пять месяцев, три недели и четыре дня, и пять дней, и шесть дней… Пять месяцев и четыре недели. А Коля все не возвращался, деньги ему все были «не разрешóны», и на службе у Софьи Петровны вдруг начались неприятности. Неприятности одна за другой.

Виновницей неприятностей была Эрна Семеновна.

Когда Софья Петровна вернулась на службу после двухнедельного отпуска, Эрну Семеновну оставили при ней помощницей: вычитывать переписанные рукописи. Софья Петровна полагала, что помощи от нее никакой: сама неграмотна! как она чужие ошибки исправит? но против распоряжения Тимофеева не пойдешь. И Эрна Семеновна вычитывала, а Софья Петровна молчала.

И вот однажды хмурый товарищ Тимофеев, позванивая ключами – он теперь всегда носил при себе все ключи от всех столов и от всех комнат, – остановил Софью Петровну в коридоре и попросил ее послать к нему после работы Фроленко. Софья Петровна послала Наташу к нему в кабинет, а сама осталась ждать ее в раздевалке, недоумевая, что бы могло товарищу Тимофееву понадобиться от Наташи.

Наташа вернулась довольно скоро. Серое лицо ее было бесстрастно, только губы будто немного дрожали. «Меня уволили», – сказала она, когда они вышли на улицу.

Софья Петровна остановилась.

– Эрна Семеновна показала парторгу мою вчерашнюю работу. Помните, большая статья о Красной Армии. У меня в одном месте написано Крысная Армия вместо Красная.

– Но позвольте, – сказала Софья Петровна, – ведь это простая описка. С чего вы взяли, что вас завтра уволят? Всем известно, что вы лучшая машинистка в бюро.

– Он сказал: уволят за отсутствие бдительности. – Наташа пошла вперед. Солнце било ей прямо в глаза, но она не опускала глаз.

Софья Петровна привела ее к себе, напоила чаем. Коли не было. Раньше, когда Коля жил благополучно в Свердовске, Софья Петровна не мучилась от того, что его с ней не было. Так, скучала немножко. А теперь каждая вещь в комнате вопила Софье Петровне в лицо, что Коли нету. На подоконнике одиноко чернела его шестеренка.

– Завтра я еще приду в издательство, но в последний раз, – сказала Наташа, прощаясь.

– Не говорите глупостей! – прикрикнула на нее Софья Петровна. – Не может этого быть.

Но оказалось, что может. На следующий день на стене, в коридоре, висел приказ об увольнении Н. Фроленко и Е. Григорьевой – бывшей секретарши директора. Мотивировкой увольнения Фроленко служило отсутствие политической бдительности, увольнения секретарши – связь с разоблаченным врагом народа, бывшим директором Захаровым.

Рядом с приказом висел большой плакат, извещающий, что сегодня, в пять часов дня, состоится общее собрание всех работников издательства. Повестка дня: 1) Доклад товарища Тимофеева о вредительстве на издательском фронте. 2) Разное. Явка обязательна.

Наташа, собрав свой портфельчик, сразу после звонка ушла, сказав всем вместе: «До свиданья». – «Всего хорошего», – хором ответили ей машинистки, одна только Эрна Семеновна не ответила: она поправляла прическу, ловя свое отражение в стекле окна. У Софьи Петровна было тяжело на душе. Она проводила Наташу до самой раздевалки. «Приходите вечером», – сказала она ей на прощанье.

Предместкома уже созывала всех в кабинет директора. Лифтерша Марья Ивановна вносила стулья. Софья Петровна вошла и села в первом ряду. Она чувствовала себя испуганной и одинокой. Зажгли верхний свет, задернули тяжелые шторы. Входили и рассаживались служащие. На всех лицах приметно было какое-то жадное и тревожное любопытство. – Что же вам, товарищи, особое приглашение посылать надо, что ли? – кричала в редакционном секторе предместкома.

Тимофеев стоял у стола, сосредоточенно перебирая бумаги.

Предместкома объявила собрание открытым. Лениво поднимая руки, ее единогласно выбрали председательницей. Товарищ Тимофеев откашлялся.

– Мы, товарищи, собрались сегодня для важного дела, – начал он, – для того, чтобы кон-стан-тировать в нашем издательстве преступное притупление бдительности и сообща обдумать, как нам ликвидировать его последствия. (Он говорил на этот раз уверенно, гладко, он даже почти не запинался.) В течение целых пяти лет тут у нас, перед самым носом, если можно так выразиться, у нашей общественности подвизался ныне разоблаченный враг народа, злостный бандит, террорист и вредитель бывший директор Захаров. Захаров уже лишен возможности вредить. Но в свое время он привел с собою целый хвост своих людишек, свою, с позволения сказать, свиту, которая вместе с ним образовала тут плотное гнездо и всячески способствовала ему в его грязных троцкистских махинациях. К стыду нашей общественности, захаровская свита не ликвидирована до сих пор. Вот тут передо мной, – он развернул бумаги, – вот тут передо мной находятся документальные данные, которые документально подтвердят вам об их грязном контрреволюционном деле.

Тимофеев замолчал и налил себе воды.

– Что показывают эти доку́менты? – начал он снова, утерев рот ладонью. – Вот этот доку́мент неопровержимо показывает, что в тридцать втором году, по личному распоряжению директора, без увязки с месткомом и отделом кадров, по личному, я повторяю, распоряжению директора, была принята на работу некто Н. Фроленко.

Софья Петровна вся съежилась на стуле, будто заговорили о ней.

– А кто такая Фроленко? Она – дочь полковника, владевшего в старое время так называемым поместьем. Что же, спрашивается, делала в нашем советском издательстве гражданка Фроленко, дочь чуждого элемента, принятая на работу бандитом Захаровым? Об этом нам расскажет другой документ. Под крылышком у Захарова гражданка Фроленко научилась чернить нашу любимую Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, устраивать контрреволюционные вылазки: она называет Красную Армию – Крысиной Армией…

У Софьи Петровны пересохло во рту.

– А бывшая секретарша Григорьева? Это – верная подручная директора, которой он вполне мог доверять во всей своей, с позволения сказать, деятельности… Как же могло случиться, чтобы вредитель и его прихвостни целые пять лет нагло морочили советскую общественность? Это, товарищи, могло объясняться только одним: преступным притуплением политической бдительности.

Товарищ Тимофеев сел и принялся пить воду. Софья Петровна с жадностью смотрела на воду: такая сушь была у нее во рту и в горле. Предместкома резко зазвонила в звонок, хотя все молчали и никто не шевелился.

– Кто хочет высказаться? – спросила она.

Молчание.

– Товарищи, кто просит слова? – еще раз спросила предместкома.

Молчание.

– Неужели никто не хочет сказать пару слов по такому жгучему вопросу?

Молчание. И вдруг – громкий голос от дверей, на который все повернули головы.

Это была лифтерша Марья Ивановна. До сих пор она ни разу не выступала ни на одном собрании. И вообще мало кто в издательстве слыхал ее голос.

– Пожалуйста, просим, просим, товарищ Иванова!

Лифтерша, грузно шагая, подошла к столу.

– Вот я тоже хочу сказать свое пролетарское слово. Тут насчет секретарши, это, граждане, правильно. Как, бывало, войдет в лифт в калошах – наследит, наследит – а ты вытирай за ей. Она наследит, а ты вытирай. И вверх ее вози, да еще вниз норовит на лифте съехать. Вверх по сту разов ездит, да еще и вниз ее спускай. А как ее не спустишь, когда она все норовит к директору присуседиться? Куды он, туды и она. Он в лифт – и она за им в лифт, он в машину – и она рядышком в машину. Это верно, что они в одну руку работали… Только я хочу и товарищу Тимофееву сказать – по-нашему, по-простому, по-пролетарскому – сколько разов ему, бывало, докладываешь: уйми ты ее, барыню! а ему хоть бы хны! никакого внимания не оказывал – махнет рукой и пойдет. Думаете, товарищ Тимофеев, лифтерша маленький человек, не понимает? Ошибаетесь! Нонче не старое время! при советской власти маленьких нет, все большие.

– Правильно, товарищ Иванова, правильно, – сказала Анна Григорьевна. – Кто еще, товарищи, просит слова?

Молчание.

– Можно мне, – тихо попросила Софья Петровна. Она встала, потом села опять. – Я хотела всего несколько слов, насчет Фроленко… Конечно, это ужасно, ужасно, то, что она написала… но ведь у каждого в работе бывают ошибки, не правда ли? Она написала не «Красная», а «Крысная» просто потому, что в машинке – это все машинистки знают – буква «ы» находится неподалеку от буквы «а». Товарищ Тимофеев говорил, что она написала *крысиная,* но ведь она написала *«крысная»* – а это немного не то… это не имеет нехорошего смысла. Просто описка. Фроленко – высокой квалификации работник и очень старательная. Это просто случайность.

Софья Петровна смолкла.

– Будете отвечать? – спросила у Тимофеева предместкома.

– Доку́менты, – отозвался из-за стола Тимофеев и постучал косточками пальцев по бумагам, – против доку́ментов не пойдешь, товарищ Липатова. *Крысная* или *крысиная* – это значения не имеет. Классово враждебная вылазка со стороны гражданки Фроленко налицо.

– Кто-нибудь еще хочет слова?.. Объявляю собрание закрытым.

Люди быстро расходились, торопясь домой. У вешалки, в раздевалке, уже слышны были разговоры: о том, что 5-й номер трамвая редко ходит и что в детском отделе Пассажа появились прекрасные рейтузы. Бухгалтер приглашал Эрну Семеновну покататься на лодке.

– Да ну вашу лодку! – говорила она, протягивая к зеркалу губы, как бы для поцелуя. – Вот в кино бы сходить.

О собрании, о вредительстве – никто ни слова.

Софья Петровна быстро, не замечая дороги, шла домой. Ей казалось, что, когда она придет в свою комнату и закроет дверь, голова перестанет болеть, все кончится, ей будет хорошо. В висках у нее стучало. Почему это так болит голова? – ведь на собрании, кажется, не курили. Бедная Наташа! Не везет ей в жизни! Отличная машинистка, и вдруг…

В комнате, на Колином столике, лежала записка:

«Уважаемая Софья Петровна! Я опять приехал. Яша Ройтман подал на меня заявление в комсомол, что я был связан с Николаем. Меня исключили из комсомола благодаря тому, что я отказался отмежеваться от Николая, и сняли с работы. Очень тяжело быть исключенным из рядов. Подойду завтра. Ваш Александр Финкельштейн».

Софья Петровна повертела записку в руках. Боже мой, сколько неприятностей сразу! С Колей, потом с Наташей, теперь с Аликом. Но Алик, наверное, сам виноват: наговорил там чего-нибудь на собрании. Он стал такой резкий. В день его отъезда, когда она опять спросила его осторожненько, не водился ли Коля с худыми людьми, он весь покраснел, как-то вжался в стенку и закричал на нее: «Да вы понимаете, что вы спрашиваете, или нет? Коля ни в чем не виноват, вы что – сомневаетесь, что?» Конечно, на самом деле ни в чем, смешно говорить об этом, но ведь подал же Коля какой-нибудь повод?.. Теперь, наверное, на собрании Алик надерзил начальству. Разумеется, он должен был заступиться за Колю – но как-нибудь осторожно, тактично, выдержанно…

У Софьи Петровны болела голова. Собрание для нее будто еще не кончилось. В ушах звучал голос Тимофеева. У нее теснило в груди – ей казалось, что это голос Тимофеева стесняет ей грудь. Лечь? Нет, не то. Она решила принять ванну.

Что-то было такое в словах Тимофеева, от чего она вся цепенела. Ей казалось, что, если принять ванну, это сразу пройдет. Она сама принесла дров из чулана и затопила колонку. Раньше дрова ей всегда приносил Коля, потом стал носить Алик, а после вторичного отъезда Алика в Свердловск носила Наташа. Ах, этот Алик! Он, конечно, хороший мальчик и предан Коле, но очень уж резкий. Нельзя так, сплеча. Не из-за его ли резкости и Коля сидит? Один раз в очереди, на Шпалерной, когда она сказала Алику, что деньги для Коли опять не приняли, он громко воскликнул: «бюрократы проклятые!» Он и в Свердловске, на заводе, так же мог себя держать.

Софья Петровна пустила воду, разделась и села в ванну – в белую широкую ванну, купленную еще Федором Ивановичем. Мыться ей не хотелось. Она лежала неподвижно, закрыв глаза. Как она теперь будет на службе без Наташи? И все эта Эрна Семеновна! Бывают же на свете такие завистливые, злые люди! Ну ничего, Наташа поступит на другое место, где-нибудь неподалеку, и они будут часто видеться. Скорее бы Коля вернулся.

Она лежала, глядя на свои руки, измененные водой. Неужели секретарша директора была вредительницей? Лучше не думать об этом. Какой сегодня тяжелый день. Собрание по-прежнему теснило ей грудь. Она лежала с закрытыми глазами, в тепле и покое.

На кухне кто-то потушил примус, и сразу стали слышны голоса и грохот посуды. Медицинская сестра, по обыкновению, произносила какие-то колкости.

– Я пока еще не сумасшедшая и не без глаз, – медленно говорила она. – Керосину я третьего дня самолично приобрела три литра. А теперь тут капля на донышке, псу под хвост. С некоторых пор ничего невозможно на кухне оставить.

– Кто у вас керосин брать будет? – басом отозвалась жена Дегтяренко. По голосу слышно было, что она стоит согнувшись – моет пол или плиту растапливает. – У всех своего керосина хватает. Я, что ли?

– Я не о вас говорю. В квартире кроме вас люди живут. Если уж один член семьи в тюрьме – то от остальных всего можно ожидать. За хорошее в тюрьму не посадят.

Софья Петровна замерла.

– Что ж, что сын в тюрьме, – сказала жена Дегтяренко. – Посидит, да и выпустят. Он не карманник какой-нибудь, не вор. Образованный молодой человек Мало ли теперь кого сажают. Муж говорит, многих теперь берут порядочных. А про него и в газете писали. Знаменитый ударник был.

– Ударник, подумаешь! Маскировался, вот и все, – сказал Валин голос.

– Овечка какая невинная нашлась, – снова заговорила медицинская сестра. – Нет уж, извините, пожалуйста, зря у нас не сажают. Уж это вы бросьте. Меня же вот не посадят? А почему? Потому, что я женщина честная, вполне советская.

Софье Петровне сделалось холодно в ванне. Вся дрожа, она вытерлась, накинула халат и на цыпочках прошла в свою комнату. Она улеглась под одеяло и сверху, на ноги, положила подушку. Но дрожь не унималась. Она лежала, дрожа, и смотрела прямо перед собой в темноту.

Ночью, часа в два, когда все уже спали, она встала, накинула на рубашку пальто и пробралась в кухню.

Она взяла свою керосинку, свой примус, свои кастрюли и все перенесла к себе в комнату.

Заснула она только под утро.

12

На другой день у дверей издательства ее поджидал Алик. Оказалось, что он и Наташа, ничего не сказав ей, чтобы она не беспокоилась зря, с утра заняли очередь в прокуратуре. Они стояли шесть часов, сменяя друг друга, и полчаса назад барышня в окошечке сказала им, что дело Николая Липатова находится у прокурора Цветкова. Тогда они заняли для Софьи Петровны очередь к прокурору Цветкову. В комнату номер 7.

Алик уговаривал Софью Петровну зайти домой пообедать, но она боялась пропустить очередь и шагала быстро, изо всех сил. Она шла спасать Колю. От того, что она скажет сейчас прокурору, зависит Колина судьба. Она шла, задыхаясь, и на ходу обдумывала свою речь. Она расскажет прокурору о том, как Коля мальчиком вступил в комсомол, почти что против воли матери; как старательно он учился и в школе и в вузе, как его ценили на заводе, как его похвалила ЦО «Правда». Он был замечательным инженером, честным комсомольцем, заботливым сыном. Разве такого человека можно заподозрить во вредительстве или в контрреволюции? Какой вздор, какое дикое предположение! Она, его старая мать, свидетельствует перед судьями, что это неправда.

Алик распахнул тяжелую дверь, и она вошла.

За последнее время Софья Петровна много перевидала очередей, но такой еще не видывала. Люди стояли, сидели, лежали на всех ступеньках, на всех площадках, на всех подоконниках огромной пятиэтажной лестницы. По этой лестнице невозможно было подняться, не наступив кому-нибудь на руку или на живот. В коридоре, возле окошечка и возле дверей комнаты номер 7, плотно, как в трамвае, стояли люди. Это были те счастливцы, кото-

рые уже простояли лестницу. Наташа горбилась у стенки под большим плакатом: «Выше знамя революционной законности!» Добравшись до нее, Софья Петровна и Алик остановились и вместе тяжело перевели дух. Алик снял запотевшие очки и начал протирать их пальцами.

– Ну, я пошла, – сразу сказала Наташа, – вы будете вот за этой дамой.

Софье Петровне хотелось рассказать Наташе про вчерашнее собрание и про то, как она выступила в ее защиту, но Наташина спина уже мелькала далеко, возле лестницы.

– Плохие дела Наталии Сергеевны, – сказал Алик, кивнув подбородком вслед Наташе, – на работу ее нигде не берут. Вроде как меня.

Оказалось, что Наташа успела уже побывать в нескольких учреждениях, где требовались машинистки, но никуда ее не приняли, справившись на месте предыдущей работы. Алик тоже, прямо с вокзала, зашел в одно конструкторское бюро, но, узнав, что он исключен из комсомола, с ним и разговаривать не стали.

– Волчий паспорт, так я понимаю, выдали нам. Ну и мерзавцы! И откуда это вдруг столько сволочи всюду набралось? – сказал Алик.

– Алик! – укоризненно произнесла Софья Петровна. – Разве так можно? Вот, вот, за резкость вас и из комсомола исключили.

– Не за резкость, Софья Петровна, – ответил Алик, и губы у него задрожали, – а за то, что я не пожелал отречься от Николая.

– Да нет же, Алик, – мягко сказала Софья Петровна, прикасаясь к его рукаву. – Вы молоды еще, уверяю вас, вы ошибаетесь. Все зависит только от такта. Вот я вчера на собрании защищала Наталию Сергеевну. И что же? ничего мне за это не сделали. Поверьте, меня замучила история с Колей. Я мать. Но я понимаю, что это временное недоразумение, перегибы, неполадки… надо перетерпеть. А вы уже сразу: негодяи! мерзавцы! Помните, Коля всегда говорил – у нас еще много несовершенного и бюрократического.

Алик молчал. На лице у него застыло упорное, упрямое выражение. Он был небритый, осунувшийся, с синевой под глазами. И глаза смотрели из-под очков по-новому: сосредоточенно и угрюмо.

– Я уже подал заявление в райком. А если и там не восстановят меня – в Москву поеду. Прямо в ЦК комсомола, – сказал он.

«Бедняга! – думала Софья Петровна. – Трудно ему будет, пока он без работы. Тетка, верно, уже сейчас попрекает его». И Софья Петровна, наклонившись к Алику, прошептала: «Вот выпустят Колю – вас и восстановят сразу». И улыбнулась ему. Но Алик не улыбнулся в ответ.

А до дверей прокурора все еще было далеко. Софья Петровна сосчитала человек сорок. Туда входили по двое – так как в комнате номер 7 принимал не один, а сразу два прокурора, – и все-таки очередь двигалась медленно. Софья Петровна разглядывала лица – ей казалось, что большинство этих женщин она уже видела раньше – на Шпалерной, или на Чайковской, или здесь же, в прокуратуре, возле окошечка. Возможно, что это те самые, а может быть, и другие. У всех женщин, стоящих в тюремных очередях, есть что-то одинаковое в лицах: усталость, покорность и, пожалуй, какая-то скрытность. Многие держали в руках белые бумажки – Софья Петровна знала уже, что это и есть «путевки» в ссылку. В здешней очереди слышны были все время три вопроса: «вы куда?», или «вы когда?», или «у вас была конфискация?».

Софья Петровна прислонилась к стене и на минуту закрыла глаза. Какая бессердечная, какая злая и глупая женщина – жена бухгалтера! Вообразить, что Коля – вредитель! Ведь она его с детства знала. Софья Петровна теперь никогда, никогда не переступит порога кухни. До тех пор, пока медсестра не попросит у нее прощения. Можно себе представить, как станет ей стыдно, когда Коля вернется! Софья Петровна все расскажет Коле – про его замечательных

друзей, Наташу и Алика (без них ей ни за что не справиться было бы с очередями), и про эту змею, жену бухгалтера. Пусть он знает, какие встречаются на свете мерзавки.

Открыв глаза, Софья Петровна обратила внимание на маленькую девочку, сидевшую на корточках возле стены. Девочка была в пальто, застегнутом на все пуговицы. «Как это у нас привыкли всегда кутать детей, – подумала Софья Петровна, – даже летом». И вдруг, вглядевшись, она узнала девочку: это была маленькая дочка директора Захарова. Девочка ерзала спиной по стене и хныкала, изнывая от жары. А высокая стройная дама в светлом костюме, за которой вот уже час стояли Софья Петровна и Алик, – это была жена директора. Конечно она.

– Ну что, цела еще твоя дудочка? – ласково спросила Софья Петровна, наклоняясь к ребенку. – Или кисточку ты уже оторвала? Помнишь меня? На елке? Дай я тебе ворот расстегну.

Девочка молчала, глядя на Софью Петровну круглыми глазами и дергая за руку мать.

– Что же ты? Отвечай тете! – сказала жена директора.

– Я знала вашего мужа, – обратилась к ней Софья Петровна. – Я работаю в издательстве.

– А! – сказала жена директора и как-то болезненно скривила губы. Губы у нее были подкрашены, но не по губам, а выше и ниже. Безусловно, красивая женщина – но теперь она уже не казалась Софье Петровне такой нарядной и молодой, как полгода тому назад, когда она приходила на минутку в издательство к мужу и в коридоре приветливо отвечала на поклоны служащих.

– Ну что ваш муж? – осведомилась Софья Петровна.

– 10 лет дальних лагерей.

«Значит, он-таки был виноват. Вот уж никогда б не сказала. Такой приятный человек», – подумала Софья Петровна.

– А меня вот с ней в Казахстан – в деревню или в аул, как там… Завтра ехать. Там я с голоду подохну без работы.

Она говорила громко, резким голосом, и все оглядывались на нее.

– А куда направили вашего мужа? – спросила Софья Петровна, чтобы переменить разговор.

– А я почем знаю куда. Разве они скажут куда.

– Но как же вы потом… через 10 лет… когда он освободится… найдете друг друга? Вы не будете знать его адреса, а он – вашего.

– А вы думаете, – сказала жена директора, – что хоть одна из них, – она махнула рукой на толпу женщин с «путевками», – знает, где ее муж? Мужа уже увезли, или завтра увезут, или сегодня увозят, жена тоже уезжает к черту в тарр-тарр-рары и понятия не имеет, как она потом найдет своего мужа. Откуда же мне-то знать? Никто не знает, и я не знаю.

– Надо проявить настойчивость, – тихо ответила Софья Петровна. – Если здесь не говорят, надо написать в Москву. Или поехать в Москву. А то как же так? Вы же потеряете друг друга из виду.

Жена директора смерила ее взглядом с ног до головы.

– А у вас кто? Муж? Сын? – спросила она с такой энергической яростью, что Софья Петровна невольно подвинулась к Алику. – Ну так вот, когда вашего сына отправят – тогда и проявите настойчивость, разузнайте его адрес.

– Моего сына не отправят, – извиняющимся голосом сказала Софья Петровна. – Дело в том, что он не виноват. Его арестовали по ошибке.

– Ха-ха-ха! – захохотала жена директора, старательно выговаривая слоги. – Ха-ха-ха! По ошибке! – и вдруг слезы полились у нее из глаз. – Тут, знаете ли, все по ошибке… Да стой

же ты, наконец, хорошенько! – крикнула она девочке и наклонилась к ней, чтобы скрыть слезы.

Между дверьми и Софьей Петровной стояли пять человек. Софья Петровна повторяла про себя слова, которые сейчас она скажет прокурору. Она со снисходительной жалостью думала о жене директора. Хороши мужья, нечего сказать! Натворят бед, а жены мучайся из-за них. Едет теперь в Казахстан, с ребенком, да еще очереди эти – тут поневоле нервная сделаешься.

– Знаете, я пойду с вами, – сказал вдруг Алик. – В качестве сослуживца и друга. Я расскажу товарищу прокурору, что в Николае мы имеем кристально чистого человека, несгибаемого большевика. Я расскажу ему о применении на нашем заводе долбяка Феллоу, которым мы обязаны исключительно изобретательности Николая.

Но Софья Петровна не хотела, чтобы Алик шел к прокурору. Она боялась его резкости: надерзит и все дело испортит. Нет, уж лучше она пойдет одна. Она уверила Алика, будто посторонних прокурор не принимает.

Наконец настала ее очередь. Жена директора открыла дверь и вошла. Следом за нею с замирающим сердцем вошла Софья Петровна.

У двух противоположных стен большой пустой полутемной комнаты стояли два письменных стола и перед ними – два ободранных кресла. За столом направо сидел полный белотелый человек с голубыми глазами. За столом налево – горбун. Жена директора с девочкой подошла к белотелому, Софья Петровна – к горбатому. Она уже давно слыхала в очередях, что прокурор Цветков – горбатый.

Цветков разговаривал по телефону. Софья Петровна опустилась в кресло.

Цветков был маленького роста, худой, в синем засаленном костюме. Головка остренькая, а горб большой, круглый. Длинные кисти рук и пальцы поросли черным волосом. Трубку от телефона он держал как-то не на человечий, а на обезьяний манер. Он вообще показался Софье Петровне до такой степени похожим на обезьяну, что она невольно подумала: если ему захочется почесать за ухом, он, наверное, сделает это ногой.

– Федоров? – кричал Цветков в трубку охрипшим голосом. – Это Цветков, здорово. Скажи там Пантелееву, что я уже все провернул. Пусть пришлет. Что? Я говорю – пусть пришлет.

А за другим столом белотелый полный человек с ясными фарфоровыми кукольными глазами и маленькими пухлыми дамскими ручками вежливо беседовал с женою директора.

– Я прошу переменить мне село на какой-нибудь город, – отрывисто говорила она, стоя перед столом и держа за руку девочку. – В селе я окажусь без работы. Мне не на что будет кормить ребенка и мать. По профессии я стенографистка. В селе стенографировать нечего. Я прошу послать меня не в село, а в город, хотя бы и в том же самом – как его? – Казахстане.

– Садитесь, гражданка, – ласково сказал ей белотелый.

– Вам что? – спросил Софью Петровну Цветков, оставив телефон и мельком взглядывая на нее маленькими черными глазками.

– Я о сыне. Его фамилия Липатов. Он арестован по недоразумению, по ошибке. Мне сказали, что его дело находится у вас.

– Липатов? – переспросил Цветков, припоминая. – 10 лет дальних лагерей. (И он снова снял трубку с телефона.) – Группа А? 244-16.

– Как? Разве его уже судили? – вскрикнула Софья Петровна.

– 244-16? Морозову позовите.

Софья Петровна смолкла, придерживая сердце рукой. Сердце стучало медленно, редко и громко. Стук отдавался в ушах и в висках. Софья Петровна решила дождаться, пока Цветков кончит наконец говорить по телефону. Она с испугом смотрела на его длинные волоса-

тые кисти, на усыпанный перхотью горб, на небритое желтое лицо. Терпение, терпение. И слушала стук своего сердца: в висках и в ушах.

А за противоположным столом белотелый прокурор мягко говорил жене директора:

– Напрасно вы расстраиваетесь, гражданка. Присядьте, пожалуйста. Как представитель законности, я обязан напомнить вам, что великая Сталинская Конституция обеспечивает право на труд всем без различия. Поскольку никаких гражданских прав вас никто не лишает – право на труд остается вам обеспеченным, где бы вы ни жили.

Жена директора порывисто встала и пошла к дверям. Девочка мелкими сбивчивыми шажками бежала за нею.

– Вы еще здесь? Чего ж вам надо? – грубо спросил Цветков, положив наконец трубку.

– Я хотела бы знать, в чем мог провиниться мой сын, – спросила Софья Петровна, напрягая все силы, чтобы голос у нее не дрожал. – Он всегда был безупречным комсомольцем, честным гражданином…

– Сын ваш сознался в своих преступлениях. Следствие располагает его подписью. Он террорист и принимал участие в террористическом акте. Вам понятно?

Цветков выдвигал и задвигал ящики письменного стола. Выдвинет и толчком задвинет. Ящики были пустые.

Софья Петровна мучительно вспоминала: что она еще хотела сказать? Но она все забыла. Да и в этой комнате, перед этим человеком, все слова были тщетными. Она поднялась и побрела к дверям.

– Как же я узнаю теперь, где он? – спросила она от дверей.

– Это меня не касается.

В коридоре ее ожидал верный Алик. Молча протискались они сквозь толпу по коридору, потом по лестнице. Молча вышли на улицу. На улице звенели трамваи, блестело солнце, толкались прохожие. Душному летнему дню еще далеко было до конца.

– Ну что, Софья Петровна, что? – тревожно спросил Алик.

– Осужден. В дальние лагеря. На 10 лет.

– Шутите! – вскрикнул Алик – За что же?

– Участвовал в террористическом акте.

– Колька – в террористическом акте?! Бред!

– Прокурор говорит: он сам сознался. Следствие располагает его подписью.

Слезы ручьем текли по щекам Софьи Петровны. Она остановилась у стены, схватившись за водосточную трубу.

– Колька Липатов – террорист! – захлебываясь, говорил Алик – Сволочи, вот сволочи! Да это же курам на смех! Знаете, Софья Петровна, я начинаю думать так, все это какое-то колоссальное вредительство. Вредители засели в НКВД – вот и орудуют. Сами они там враги народа.

– Но ведь Коля сознался, Алик, сознался, поймите, Алик, поймите… – плача, говорила Софья Петровна.

Алик твердо взял Софью Петровну под руку и повел к дому. У дверей ее квартиры, пока она искала в сумочке ключ, он заговорил опять:

– Коле не в чем было сознаваться, неужели вы в этом сомневаетесь, что? Я ничего не понимаю больше, совсем ничего не понимаю. Я теперь одного хотел бы: поговорить с глазу на глаз с товарищем Сталиным. Пусть объяснит мне – как он себе это мыслит?

13

Софья Петровна всю ночь напролет пролежала с открытыми глазами. Которая уже была это ночь со времени ареста Коли – бесконечная, бездонная? Она уже наизусть знала

все: летнее шарканье подошв под окном, крики в соседней пивной, замирающий зуд трамваев – потом недолгая тишина, недолгая тьма – и вот уже снова заползает в окно белый рассвет, начинается новый день, день без Коли. Где-то сейчас Коля, на чем спит, о чем думает, где он, с кем он? Софья Петровна ни секунды не сомневалась в его невиновности; террористический акт? бред! – как говорит Алик. Просто следователь попался ему слишком старательный, запутал и сбил его. А Коля не сумел оправдаться, он ведь так молод еще. К утру, когда опять рассвело, Софья Петровна вспомнила наконец то слово, которое вспоминала всю ночь: алиби. Она где-то читала про это. Он просто не сумел доказать свое алиби.

В первые часы на службе ей стало как будто немного полегче. Ярко светило солнце, и пыль клубилась в солнечном луче, и так деловито стучали машинки, и машинистки в перерыве бегали вниз, на улицу, и потом без конца сосали эскимо на палочках – все было так обычно… 10 лет! Днем, при солнечном свете, становилось ясно, что это чепуха. Она 10 лет не увидит Колю! Да почему же? Что за вздор! Не может этого быть. В один прекрасный день – и совсем скоро – все станет по-старому: Коля будет дома, будет по-прежнему спорить с Аликом о машинах и паровозах, по-прежнему чертить – только теперь уж она ни за что не отпустит его в Свердловск. Можно ведь и в Ленинграде устроиться.

В перерыве она вышла побродить в коридор – сидя, она боялась уснуть. В коридоре висела новая стенная газета. Перед нею толпились служащие. Софья Петровна тоже подошла почитать. Это был большой нарядный номер, с красными заглавными буквами и портретами Ленина и Сталина по обеим сторонам ярко-красного названия «Наш путь». Софья Петровна подошла к газете. «Как же могло случиться, чтобы вредители в течение целых пяти лет без помехи обделывали свои грязные дела перед носом советской общественности?» – прочла Софья Петровна. Это была передовая Тимофеева. На столбце рядом начиналась статья предместкома. Анна Григорьевна язвительно уличала Тимофеева в том, что выступление его на собрании было недостаточно самокритично. Если общественность проглядела вредительство, то первым за это должен отвечать товарищ Тимофеев, бывший парторг. Тем более что, как выяснилось, парторгу своевременно сигнализировали снизу: сигнализировала товарищ Иванова, давно раскусившая секретаршу своим пролетарским чутьем. Софья Петровна перевела глаза на следующий столбец. И прежде чем она поняла, что читает, у нее стало жарко в груди. Статья была о ней самой, о Софье Петровне, о ее выступлении в защиту Наташи. Автор, скрывшийся под псевдонимом Икс, писал:

«На собрании произошел возмутительный факт, за который, по нашему мнению, недостаточно дали по рукам. Товарищ Липатова выступила с настоящей адвокатской речью – и кого же она сочла необходимым защищать? Фроленко, полковничью дочь, позволившую себе грубый антисоветский выпад против нашей любимой Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Известно, что товарищ Липатова постоянно покровительствовала Фроленко, предоставляла ей сверхурочную работу, посещала с ней вместе кинотеатры и пр. и т. п. Теперь, когда издательству предстоит напрячь все силы честных работников, партийных и беспартийных большевиков, чтобы возможно скорее ликвидировать последствия «хозяйничанья» Герасимова – Захарова и К°, – допустимо ли, чтобы в этот ответственный момент в рядах работников издательства находились подобные лица? Выше знамя большевистской бдительности, как учит нас гениальный вождь народов товарищ Сталин! Выкорчуем с корнем всех вредителей, тайных и явных, и всех, расписавшихся в сочувствии к ним!»

Раздался звонок, возвещающий конец обеденного перерыва. Софья Петровна пошла к себе в бюро. Как это она раньше не заметила, что сегодня все смотрят на нее особенными глазами?

Вернувшись домой, она прильнула к подушке – к своему последнему прибежищу. И сон сразу сомкнул ей глаза. Она спала долго, ей снился Коля. На нем был пушистый серый свитер. Он привязал к сапогам коньки. И потом, низко наклонившись, заскользил по кори-

дору издательства. Когда она проснулась, за окном синели поздние сумерки, а в комнате горел свет. Возле стола шила Наташа. Видно было, что она шьет здесь уже давно.

– Сядьте сюда, поближе, – слабым голосом сказала Софья Петровна, облизывая губы, невкусные после дневного сна.

Наташа покорно перенесла свой стул к изголовью кровати и села.

– Вы знаете, Колю осудили, на 10 лет. Вам, верно, уже сказал Алик?

Наташа кивнула.

– Ах да, знаете? – вспомнила Софья Петровна. – Обо мне написали в стенной газете, будто я защищаю вредителей и мне не место…

– Алик арестован. Сегодня ночью, – ответила Наташа.

14

Если Софья Петровна ночью не спала – все часы и минуты суток были для нее одинаковы. Свет резал глаза, болели ноги, ныло сердце. Но если ночью удавалось заснуть, то самой тяжелой минутой, бесспорно, была минута, следующая после пробуждения. Открыв глаза и увидев окно, спинку кровати, свое платье на стуле, в первый миг она не думала ни о чем, кроме этих предметов. Она узнавала их: окно, стул, платье. Но в следующий миг где-то в области сердца возникала тревога, похожая на боль, и сквозь туман этой боли она вдруг вспоминала все сразу: Коля осужден на 10 лет, Наташу прогнали, Алик арестован, о ней написано, что она заодно с вредителями. Да, еще: керосин.

На работе она ни с кем не разговаривала больше. Даже бумаги, которые приносили ей для переписки, клала перед машинистками молча. И с ней никто не разговаривал. Сидя за своим столиком в бюро, она вглядывалась в лица машинисток, стараясь угадать: кто из них написал про нее в газете? Вероятнее всего – Эрна Семеновна. Но разве она умеет так гладко писать? И когда это она видела их с Наташей в кино? Ее они не видали ни разу.

Однажды, слоняясь в тоске по коридору, она чуть не столкнулась с Наташей. Наташа шла, как лунатик, ступая будто в темноте. – Наташа, что вы здесь? – испуганно спросила Софья Петровна. – Я прочла газету. Не разговаривайте со мною. Увидят, – ответила ей Наташа.

Вечером она пришла к Софье Петровне. Теперь она казалась возбужденной и говорила без умолку, перескакивая с предмета на предмет. Софье Петровне еще никогда не доводилось слышать, чтобы Наташа говорила так много. И она не вышивала, не шила на этот раз.

– Как вы думаете, Коля еще здесь, в городе, или уже далеко? – спросила она вдруг.

– Не знаю, Наташа, – со вздохом ответила Софья Петровна. – Ведь на Шпалерной его буква 20-го, а сегодня только 10-е.

– Нет, я не о том. А как вы чувствуете? – Наташа провела рукой по воздуху. – Он еще здесь, близко от нас или уже далеко? Мне кажется, далеко. Я вчера вдруг почувствовала: сейчас он уже далеко. Его уже нет здесь… А знаете, Софья Петровна, ведь лифтерша отказалась поднять меня в лифте. «Я не обязана поднимать всяких…» Да, Софья Петровна, вам необходимо сейчас же, завтра же, уйти из издательства. Обещайте мне, что вы уйдете. Милая, обещайте! Завтра же, хорошо?

Наташа коленями стала на диван, на котором сидела Софья Петровна, и умоляюще сложила перед ней руки. Потом она села к столу, схватила перо и сама написала заявление от имени Софьи Петровны. Она уверяла Софью Петровну, что ей необходимо уйти по собственному желанию, иначе ее непременно уволят за связь с вредителями – «это со мной», – улыбнувшись бледными губами, сказала Наташа – и тогда уже ни на какую новую службу ни за что не примут. Софья Петровна подписала заявление. Она и сама уже подумывала ухо-

дить. Страшно как-то стало в издательстве. От одного вида хромого Тимофеева со связкой ключей в руке ее пробирала дрожь.

– Но мне ведь все равно в Ленинграде не служить, – грустно сказала она. – Меня ведь все равно вышлют. Всех жен и матерей высылают.

– Как вы думаете, – спросила Наташа, беря с полки книгу и сейчас же ставя ее на место, – чем объясняется, что Коля сознался? Можно сбить, запутать человека, – я понимаю, – но ведь это в мелочах только. Как можно было так сбить Колю, чтобы он сознался в преступлении, которого никогда не совершал? Этого я, как хотите, не пойму. И отчего все признались? Ведь всем женам говорят, что их мужья признались… Всех сбили?

– Он просто не сумел доказать свое алиби, – сказала Софья Петровна. – Вы забываете, Наташа, что он так молод еще.

– А почему Алика арестовали?

– Ах, Наташа, если бы вы знали, какие грубости он говорил вслух в очереди. Я теперь уверена, что и Коля погиб из-за его языка.

Наташа собралась уходить. На прощанье она порывисто обняла Софью Петровну. – Что с вами сегодня? – спросила Софья Петровна. – Со мной ничего… Сидите, не вставайте, не надо! Как вы похожи на Колю, то есть Коля на вас… Вы подадите заявление завтра же, да? Не раздумаете? – спрашивала она, заглядывая Софье Петровне в глаза. – И потом – не забудьте, что 30-го «Ф», надо будет непременно передать Алику деньги, у него ведь ни гроша, а тетка побоится передавать… И потом, дорогая, умоляю вас – пойдите к врачу! Прошу вас! Ведь вы на себя не похожи!

– Что мне врач… Коля, – сказала Софья Петровна и опустила налившиеся слезами глаза.

На другой день с утра она вошла в кабинет директора и молча положила заявление на стекло стола. Тимофеев прочел его и так же молча кивнул головой. Увольнение ее было оформлено с необычайной поспешностью. Через два часа на стене уже висел приказ. А через три вежливый бухгалтер уже выдал ей полный расчет. «Покидаете нас? Ай-я-яй, нехорошо! Смотрите же, заглядывайте, не забывайте старых друзей».

В последний раз идет она по этому коридору. – До свиданья, – сказала она машинисткам после звонка, когда все с треском уже надевали покрышки на свои «ундервуды». – Всего хорошего! – хором, как Наташе недавно, ответили все, а одна даже подошла к Софье Петровне и крепко пожала ей руку. Софья Петровна была очень тронута: какая мужественная, благородная девушка! – Счастливо! – весело крикнула Эрна Семеновна, и Софья Петровна сразу перестала сомневаться, что именно Эрна Семеновна, и никто другой, написала ту статью.

Она вышла на улицу – в летний шум, в грохот. Вот и кончилась служба – кончилась навсегда. Она пошла было к дому, но скоро повернула к Наташе. Всюду на углах босые мальчишки сжимали в потных пальцах букеты колокольчиков и ромашек. Все благополучно, вот даже цветы продают. Но оттого, что Коля сидит в тюрьме или едет куда-то под громыханье колес, весь мир стал бессмысленным и непонятным.

Поднявшись – боже, как с каждым днем все тяжелее подниматься по лестнице! – поднявшись на пятый этаж, она позвонила. Ей открыла женщина, соседка Наташина, вытирая мокрые руки о передник.

– Наталью Сергеевну утром в больницу отправили, – шумным шепотом сказала женщина. – Отравилась. Вероналом. В Мечниковскую.

Софья Петровна попятилась от нее. Женщина захлопнула дверь.

17-й долго не шел. Прошли уже две девятки и два 22-х, а 17-й все не шел. Потом 17-й пополз медленно, еле-еле, подолгу задерживаясь у каждого светофора. Софья Петровна стояла. Были заняты даже все места для пассажиров с детьми, и, когда вошла девятая жен-

щина с младенцем, никто не пожелал уступить ей место. «Скоро весь вагон займут! – кричала старуха с клюкой. – Ездиют взад-вперед! Мы небось детей на руках таскали. Подержите, не помрете».

У Софьи Петровны тряслись колени – от испуга, от жары, от злого крика старухи. Наконец она вышла. Она почему-то не сомневалась, что Наташа уже умерла. Больница сверкнула ей навстречу всеми своими вымытыми стеклами. Она прошла в прохладный белый вестибюль. Возле справочного окошечка стояла очередь – три человека. Софья Петровна не решилась подойти без очереди. Справки выдавала красивая сестра в накрахмаленном белом халате. Возле нее, перед телефоном, в стакане стоял букет колокольчиков.

– Аллё, аллё! – закричала она в телефон, выслушав вопрос Софьи Петровны. Второе терапевтическое? – и потом, положив трубку: – Фроленко, Наталья Сергеевна, скончалась сегодня в четыре часа дня, не приходя в сознание. Вы родственница? Можете получить пропуск в покойницкую.

15

Девятнадцатого вечером, надев осеннее пальто, и платок под пальто, и калоши, Софья Петровна заняла очередь на набережной. В первый раз предстояло ей продежурить всю ночь бессменно: кто теперь мог сменить ее? Не было больше ни Наташи, ни Алика.

Софья Петровна одна проводила Наташин сосновый гроб через весь город на кладбище. В тот день долго шел дождь, и большое колесо колымаги плескало ей грязью в лицо.

Наташа лежала в могиле, в желтой земле, недалеко от Федора Ивановича. А где были Алик и Коля? Этого понять невозможно.

Она стояла на набережной всю ночь напролет, прислонившись к холодному парапету. От Невы поднимался мокрый холод. Тут впервые в жизни Софья Петровна увидела восход солнца. Оно встало откуда-то из-за Охты, и по реке сразу побежали мелкие волны, будто ее погладили против шерсти.

К утру у Софьи Петровны от усталости онемели ноги, она совсем не чувствовала их, и, когда в девять часов толпа кинулась к дверям тюрьмы – Софья Петровна не в силах была бежать: ноги стали тяжелые, казалось, надо взяться за них руками, чтобы приподнять и сдвинуть с места.

На этот раз номер у нее был 53-й. Через два часа она протянула в окошечко деньги и назвала фамилию. Тучный сонный человек поглядел в какую-то карточку и вместо обычного «ему не разрешоно» ответил: «выслан». После разговора с Цветковым Софья Петровна была вполне подготовлена к такому ответу, и все-таки ответ оглушил ее.

– Куда? – без памяти спросила она.

– Он напишет вам сам… Следующий!

Она пошла домой пешком, потому что стоять и ждать трамвая было ей труднее, чем идти. Пыль уже пахла жарой, она расстегнула тяжелое пальто и развязала платок. Казалось, прохожие разучились ходить: они наталкивались на нее то спереди, то сбоку.

Коля напишет ей. Она снова получит письмо, как получала когда-то из Свердловска. Раз сказали в окошечке, что напишет, значит, напишет.

Все последующие дни, не завтракая, не убирая постель, Софья Петровна с утра уходила искать работу. В газетах было много объявлений: «Требуется машинистка». Ноги сделались у нее, как тумбы, но она покорно ходила целый день по всем адресам. Всюду задавали ей один и тот же вопрос: у вас есть репрессированные? В первый раз она не поняла. – Арестованные родственники, – объяснили ей. Солгать она побоялась. – Сын, – сказала она. Тогда выяснилось, что в учреждении нет утвержденной штатной единицы. И нигде ее не было для Софьи Петровны.

Теперь она боялась всего и всех. Она боялась дворника, который смотрел на нее равнодушным и все-таки суровым взглядом. Она боялась управдома, который перестал с ней раскланиваться. (Она больше не была квартуполномоченной – вместо нее выбрали жену бухгалтера.) Она как огня боялась жены бухгалтера. Она боялась Вали. Она боялась проходить мимо издательства. Возвращаясь домой после бесплодных попыток найти себе службу, она боялась взглянуть на стол в своей комнате: быть может, там уже лежит повестка из милиции? Ее уже вызывают в милицию, чтобы отнять паспорт и отправить в ссылку? Она боялась каждого звонка: не с конфискацией ли имущества пришли к ней.

Она побоялась передать Алику деньги. Когда вечером, накануне 30-го, она приплелась в очередь – к ней подошла Кипарисова. Кипарисова наведывалась в очередь не только в свой день, но чуть ли не каждый день, чтобы узнать у женщин: нет ли чего новенького? кого уже выслали? а кто еще здесь? не переменилось ли вдруг расписание?

– Напрасно вы это делаете, вполне напрасно! – зашептала Кипарисова на ухо Софье Петровне, когда та рассказала ей, зачем пришла. – Дело вашего сына свяжут с делом его приятеля – и получится нехорошо, 58-11, контрреволюционная организация… Зачем вам это нужно, не понимаю!

– Но ведь там не спрашивают, кто передает деньги, – робко возразила Софья Петровна. – Спрашивают только – кому.

Кипарисова взяла ее за руку и отвела подальше от людей.

– Им незачем спрашивать, – произнесла она шепотом. – Они всё знают.

Глаза у нее были огромные, карие, бессонные.

Софья Петровна вернулась домой.

На следующий день она не встала с постели. Ей больше незачем было вставать. Не хотелось одеваться, натягивать чулки, спускать ноги с кровати. Беспорядок в комнате, пыль не раздражали ее. Пусть! Голода она не чувствовала. Она лежала в кровати, ни о чем не думая, ничего не читая. Романы давно уже не занимали ее: она не могла ни на секунду оторваться от своей жизни и сосредоточиться на чьей-то чужой. Газеты внушали ей смутный ужас: все слова в них были такие же, как в том номере стенной газеты «Наш путь»… Изредка она откидывала одеяло и простыню и смотрела на свои ноги: огромные, отекшие, как водой налитые.

Когда со стены ушел свет и начался вечер, она вспомнила про Наташино письмо. Оно всегда лежало у нее под подушкой. Софье Петровне захотелось снова перечесть его, и, приподнявшись на локте, она вынула его из конверта.

> *«Дорогая Софья Петровна!* – написано было в письме. – *Не плачьте обо мне, все равно я никому не нужна. Мне так лучше. Быть может, все наладится еще правильно и Коля будет дома, но я не в силах ждать, пока наладится. Я не могу разобраться в настоящем моменте советской власти. А вы живите, моя дорогая, настанет время, когда можно будет посылать посылки, и вы ему будете нужны. Пошлите ему крабов, консервы, он любил. Крепко вас целую и благодарю за все и за ваши слова на собрании. Я жалею вас, что вы из-за меня претерпели. Пусть моя скатерка лежит у вас и напоминает вам про меня. Как мы с вами в кино ходили, помните? Когда Коля вернется, положите ее к нему на столик, на ней цвета веселые подобраны. Скажите ему, что я никогда про него худому не верила».*

Софья Петровна снова положила письмо под подушку. А не разорвать ли его? Она тут пишет про настоящий момент советской власти. Что, если это письмо найдут? Тогда Колино дело свяжут с Наташиным делом… А быть может, оставить? Ведь Наташа уже умерла.

16

Прошло три месяца, потом еще три – наступила зима, январь, годовщина Колиного ареста. Через несколько месяцев будет годовщина ареста Алика и сразу за нею годовщина Наташиной смерти.

В день Наташиной смерти Софья Петровна побывает у нее на могиле. А в годовщину Колиного ареста некуда ей поехать. Неизвестно, где он.

Письма от Коли не было. Софья Петровна по пять, по десять раз в день заглядывала в почтовый ящик. В ящике иногда лежали газеты для жены бухгалтера или открытки для Вали – от ее многочисленных кавалеров, – но письма для Софьи Петровны все не было.

Второй год она уже не знала, где он и что с ним. Не умер ли? Могло ли ей когда-нибудь прийти на ум, что настанет время, когда она не будет знать: умер Коля или жив?

Она уже снова служила. От голодной смерти спасла ее только статья Кольцова в «Правде». Через несколько дней после этой статьи – замечательной статьи о клеветниках и перестраховщиках, понапрасну обижающих честных советских людей, – Софью Петровну приняли на службу в одну библиотеку: не в штат, правда, а вне штата, но все-таки приняли. Она должна была особым библиотечным почерком писать карточки для каталога: четыре часа в день, сто двадцать рублей в месяц. На своей новой службе Софья Петровна не только ни с кем не разговаривала, но даже не здоровалась и не прощалась. Сгорбившись над заваленным книгами столом, в очках, с седыми стрижеными волосами, падающими на очки, она высиживала на стуле свои четыре часа, потом поднималась, складывала карточки стопочкой, брала палку с резиновым кончиком, стоящую всегда возле ее стула, запирала карточки в шкаф и медленно, ни на кого не глядя, выходила.

Целая колонна крабовых консервов возвышалась уже на подоконнике в комнате Софьи Петровны, под ногами скрипела крупа, и все-таки ежедневно после службы она отправлялась закупать продукты еще и еще. Она покупала консервы, топленое масло, сушеные яблоки, свиное сало – всего этого было в магазинах вдоволь, но ведь когда Коля пришлет письмо, то или другое может как раз исчезнуть. А иногда рано утром, до службы еще, Софья Петровна брела на Обводный, на барахолку. Жестоко торгуясь, купила она там шапку с ушами, шерстяные носки. По вечерам, сидя в своей неряшливой нетопленой комнате, она сшивала из старых тряпок мешки и мешочки. Они понадобятся, когда нужно будет уложить посылку. Из-под кровати торчали фанерные ящики разных размеров.

Она теперь почти никогда ничего не ела – только чай пила с хлебом. Есть не хотелось, да и денег не было. Продукты для посылки стоили дорого. Из экономии она топила у себя не чаще раза в неделю. И потому дома всегда сидела в старом летнем пальто и напульсниках. Когда ей делалось очень уж холодно, она забиралась в кровать. В холодной комнате убирать было незачем – все равно холодно и неуютно, – и Софья Петровна не мела больше пол и пыль сметала только с Колиных книг, с радио и шестеренки.

Лежа в кровати, она обдумывала очередное письмо к товарищу Сталину. С тех пор как Колю увезли, писем товарищу Сталину она написала уже три. В первом она просила пересмотреть Колино дело и выпустить его на свободу, потому что он ни в чем не виноват. Во втором она просила сообщить, где он, чтобы она могла поехать к нему и увидеть его еще один раз перед смертью. В третьем она умоляла сказать ей только одно: жив он или умер? Но ответа не было. Первое письмо она просто опустила в ящик, второе сдала заказным, а третье – с обратной распиской. Обратная расписка вернулась к ней через несколько дней. В графе «Расписка получателя» стояло что-то непонятное, с маленькой буквы: «…ерян».

Кто такой этот Ерян? И передал ли он письмо товарищу Сталину? Ведь на конверте было написано: «В собственные руки. Личное».

Регулярно раз в три месяца Софья Петровна заходила в какую-нибудь юридическую консультацию. С защитниками беседовать приятно, они учтивые, не чета прокурорам. Там тоже очередь, но пустяковая, не больше чем на какой-нибудь час. Софья Петровна терпеливо ждала, сидя на стуле в коридорчике и опираясь обеими руками и подбородком на свою палку. Но ждала она зря. К какому бы защитнику она ни обращалась, каждый вежливо объяснял ей, что помочь ее сыну ничем, к сожалению, невозможно. Вот если бы дело его было передано в суд…

Однажды – это было ровно год один месяц и одиннадцать дней после ареста Коли – в комнату Софьи Петровны вошла Кипарисова. Вошла она не постучавшись и, тяжело задыхаясь, опустилась на стул. Софья Петровна взглянула на нее с удивлением: Кипарисова опасалась, как бы дело Ивана Игнатьевича не связали с Колиным делом, и потому никогда не заходила к Софье Петровне. И вдруг пришла, села и сидит.

– Выпускают, – хрипло сказала Кипарисова, – людей выпускают. Сейчас в очереди сама своими глазами видела: один из выпущенных пришел за документами. Не худой, только лицо очень белое. Мы его все обступили, спрашиваем: ну, как у вас там было? Ничего, говорит.

Кипарисова смотрела на Софью Петровну. Софья Петровна смотрела на Кипарисову.

– Ну, я пойду, – Кипарисова поднялась. – У меня очередь в прокуратуре занята. Не провожайте, пожалуйста, чтобы нас в коридоре никто вместе не видел.

Выпускают. Некоторых людей выпускают. Они выходят на улицу из железных ворот и возвращаются домой. Теперь и Колю могут выпустить. Раздастся звонок, и войдет Коля. Или нет, раздастся звонок, и войдет почтальон: телеграмма от Коли. Ведь Коля не здесь, он далеко. Он пошлет телеграмму с пути.

Софья Петровна вышла на лестницу и отворила дверцу почтового ящика. Пусто. Пусто в его нутре. Софья Петровна с минуту смотрела на его желтую стенку – как бы надеясь, что взгляд ее вызовет из этой стенки письмо.

Не успела она вернуться к себе и вдеть нитку в иглу (она шила очередной мешок), как дверь ее комнаты опять отворилась без стука и на пороге показалась жена бухгалтера и за ней управдом.

Софья Петровна встала, загораживая спиною продукты.

Ни медсестра, ни управдом не поздоровались с Софьей Петровной. – Вот видите! – сразу заговорила медсестра, указывая на керосинку и примус. – Обратите ваше внимание: целую кухню здесь устроила. Копоть, гадость, весь потолок закоптила. Разрушает домовое хозяйство. На кухне, с другими, не желает, видите ли, стряпать – гнушается с тех пор, как мы уличили ее в систематических покражах керосина. Сын в лагере, разоблачен как враг, сама без определенных занятий, вообще – подозрительный элемент.

– Вы, гражданка Липатова, – сказал управдом, оборачиваясь к Софье Петровне, – вынесите немедленно принадлежности на кухню. А не то в милицию заявлю…

Они ушли. Софья Петровна перенесла примус, керосинку, решето и кастрюли в кухню, на прежнее место, потом легла на кровать и громко зарыдала. «Я не могу больше терпеть, – говорила она вслух, – я не могу больше терпеть». И снова, высоким голосом, не сдерживая себя, по слогам: «я не мо-гу, не мо-гу больше терпеть». Она произносила эти слова так убедительно, так настойчиво, будто перед нею стоял кто-то, кто утверждал, что, напротив, у нее еще вполне хватит сил потерпеть. «Нет, не могу, не могу, невозможно больше терпеть!»

К ней вошла жена милиционера.

– Вы не плачьте, – зашептала она, укутывая Софью Петровну в одеяло, – да вы послушайте, что я вам скажу! Они не по закону поступают. Муж говорит: раз не выслали вас, значит, никто права не имеет притеснять. Да вы не плачьте! Муж говорит, многих сейчас выпускают – бог даст, и Николай Федорович скоро вернется… Ейная дочка выходит замуж – вот мамаша и нацелилась на вашу комнату. А вы не выезжайте, и все. Мамаша для дочки

нацелилась, а управдом для полюбовницы для своей. Вот они и передерутся… Да вы не плачьте! Я верно вам говорю.

17

Зимою сквозь двойные рамы уличные звуки по ночам почти не проникали в комнату. Зато квартирные шорохи и скрипы слышны были Софье Петровне всю ночь. Настойчиво скреблись мыши – как бы они не подобрались к салу, купленному для Коли. В коридоре скрипели половицы, и, когда мимо проезжал грузовик, вздрагивали входные двери. В комнате бухгалтера каждые пятнадцать минут важно били часы.

Коля скоро вернется. В эту ночь Софья Петровна не сомневалась больше, что Коля скоро вернется. Кипарисова говорит и милиционер Дегтяренко… Он должен вернуться, потому что, если он не вернется, она умрет. Раз невиновных начали выпускать, значит, и Колю скоро выпустят. Не может же быть, чтобы других выпустили, а его нет. Коля вернется – и как тогда будет стыдно медицинской сестре! И управдому. И Вале. Они глаз на него не посмеют поднять. Коля не станет даже и здороваться с ними. Пройдет мимо, как мимо стены. Когда он вернется, ему сразу дадут какую-нибудь ответственную службу – и даже орден! – чтобы поскорее загладить свою вину перед ним. На груди у него будет орден, а с медицинской сестрой и с Валей он не станет здороваться…

Под утро Софья Петровна уснула и проснулась поздно, только в десять часов. Проснувшись, она вспомнила: что-то вчера было хорошее, что-то она узнала хорошее про Колю. Ах да, людей стали выпускать из тюрьмы. И раз начали выпускать, значит, скоро и Коля вернется. И Алик. Все будет хорошо, все по-прежнему. Софья Петровна поймала себя на быстрой мысли: значит, и Наташа вернется. Нет, Наташа не вернется, но Коля – Коля уже едет домой, может быть, вагон его уже подъезжает к вокзалу.

Возвращаясь в этот день из библиотеки, Софья Петровна остановилась перед витриной комиссионного магазина и долго перед ней простояла. В витрине был выставлен фотографический аппарат «Лейка». Коля всегда мечтал о фотографическом аппарате. Хорошо бы продать что-нибудь и купить Коле ко дню его возвращения «Лейку». Фотографировать Коля научится быстро – ведь он такой умелый, такой сообразительный.

Весь день Софья Петровна была в приподнятом, радостном состоянии духа. Ей даже есть захотелось – впервые за много дней. Она уселась на кухне чистить картошку. Если приобрести для Коли фотографический аппарат – то вот затруднение: где он будет проявлять снимки? Необходима абсолютно темная комната. Ну, конечно, в чулане. Там дрова, но можно очистить место. Можно потихоньку часть своих дров унести в комнату и попросить жену Дегтяренко, чтобы и она взяла вязанку к себе – она не откажет – вот и очистится место. Коля всех будет фотографировать: и Софью Петровну, и близнецов, и знакомых барышень – только Валю и медсестру снимать ни за что не будет. У него составится целый альбом фотографий, но Вале и медсестре в этот альбом не попасть.

– У вас еще много дров в чулане? – спросила Софья Петровна жену Дегтяренко, когда та вошла в кухню за веником. – Вязанки этак три, – отозвалась жена Деггяренко. – Вы любите сниматься? Я очень любила в молодости, у хорошего фотографа конечно… Знаете что? Колю выпустили.

– Да ну! – вскрикнула жена Дегтяренко и выронила веник. – Ну вот, а вы убивались! (Она расцеловала Софью Петровну в обе щеки.) – Письмо прислал или телеграмму? – Письмо. Только что получила. Заказное, – ответила Софья Петровна.

– А я и не слыхала, как почтальон приходил. С этими примусами совсем оглохнешь.

Софья Петровна ушла к себе в комнату и села на диван. Ей надо было посидеть в тишине, отдохнуть от своих слов, понять их. Колю выпустили. Выпустили Колю. Из зеркала

смотрела на нее сморщенная старуха с зелено-серыми седыми волосами. Узнает ли ее Коля, когда вернется? Она вглядывалась в глубь зеркала до тех пор, пока все не поплыло перед нею, и она перестала понимать – где настоящий диван, а где отражение.

– Знаете, моего сына выпустили. Из тюрьмы, – сказала она в библиотеке сотруднице, писавшей карточки за одним столом с ней. Та до сих пор не слышала от Софьи Петровны ни единого слова, а Софья Петровна не знала даже, как ее зовут. Но ей необходимо было повторять свое заклинание. – Вот как! – ответила сотрудница. Это была неряшливая толстая женщина, вся осыпанная волосами и пеплом от папирос. – Ваш сын, вероятно, ни в чем не был виноват – вот его и выпустили. У нас не станут держать человека зря… И долго сидел ваш сын?

– Год два месяца.

– Что ж, разобрались и выпустили, – сказала толстая женщина, отложила папиросу и принялась писать.

Вечером, столкнувшись с Софьей Петровной в коридоре, милиционер Дегтяренко поздравил ее. – С вас магарыч, – сказал он, пожимая ей руку и широко улыбаясь. – А когда же Николай Федорович к мамаше пожалует?

– А вот проработает месяц-другой на заводе, потом поедет в Крым отдыхать, – он так нуждается в отдыхе! – а потом и ко мне. Или, может быть, я к нему съезжу, – ответила Софья Петровна, сама удивляясь легкости, с какой она говорит.

Она была радостно возбуждена, и даже ноги носили ее быстрее. Ей хотелось каждую минуту говорить кому-нибудь: Колю выпустили. Знаете? Выпустили Колю! Но некому было говорить. Вечером она вышла в магазин за хлебом и сразу встретила любезного издательского бухгалтера. Еще день тому назад, увидев его, она перешла бы на другую сторону, потому что все, что напоминало ей службу в издательстве, причиняло ей боль. Но теперь она приветливо заулыбалась ему.

Он галантно поклонился и сразу спросил:

– Слыхали наши новости? Тимофеев арестован.

– Как? – смутилась Софья Петровна. – Ведь он же… ведь он же всех и разоблачил… вредителей…

Бухгалтер пожал плечами.

– А теперь его кто-то разоблачил…

– У меня, знаете, радость, – поспешно сказала Софья Петровна. – Сына выпустили.

– Вот как! Примите мои поздравления. А я и не знал, что сын ваш был арестован.

– Да, был, а вот теперь его выпустили, – весело сказала Софья Петровна и простилась с бухгалтером.

Возвращаясь домой, она машинально заглянула в почтовый ящик. Пусто. Нет письма. У нее сжалось сердце, как всегда сжималось возле пустого ящика. Ни строчки за целый год. Неужели потихоньку ни с кем невозможно переслать письмо? Год и два месяца нету от него вестей. Не умер ли он? Жив ли он?

Она легла в кровать и почувствовала, что ни за что не заснет. Тогда она приняла люминал, двойную порцию. И заснула.

18

– Сегодня я получила еще письмо, – рассказывала в кухне Софья Петровна на следующее утро. – Представьте, моего сына директор завода назначил своим помощником. Правой рукой. Местком приобрел для него путевку в Крым – роскошная там природа, я бывала в молодости. А когда он вернется, он женится. На одной девушке, комсомолке. Ее зовут Людмила – правда, красивое имя? Я буду звать ее Милочка. Она ждала его целый год, хотя имела

много других предложений. Она никогда не верила про Колю худому. – Софья Петровна победоносно взглянула на жену бухгалтера, стоящую возле своего примуса. – И теперь он на ней женится – сразу, чуть вернется из Крыма.

– Внучат, значит, нянчить будете, – сказала жена Дегтяренко.

Медсестра даже бровью не повела. Но через минуту, когда Софья Петровна, сходив к себе за солью, снова вышла в кухню, медсестра сказала ей: «Здравствуйте!» – будто видела ее сегодня впервые. Первое «здравствуйте» за целый год.

У Софьи Петровны был выходной день, и она решила прибрать свою комнату. Если Коля еще и не на свободе, то ведь его должны освободить с минуты на минуту. Он придет, а в комнате такой разгром. Взглянув на себя мельком в зеркало, Софья Петровна решила, что ей необходимо снова начать завиваться. А то седые патлы висят. Женщина должна следить за собой до своего последнего дня. Она вытащила из-под кровати ящики и растопила ими печь. Фанера горела отлично, с веселым треском. Софья Петровна раздумывала: куда бы засунуть консервы, чтобы они не валялись на подоконнике? И к чему столько банок? Когда понадобятся, всегда можно в магазине купить.

Она решила вымыть окна и пол. Ноги у нее болели, как всегда, и поясница болела, но что же делать, надо потерпеть. Она разорвала мешки на тряпки.

Пока греется вода, надо вытряхнуть коврик. Софья Петровна вытащила коврик на площадку. В скважинах почтового ящика что-то темнело. Софья Петровна, тяжело ступая, пошла за ключом.

В ящике лежало письмо. Конверт был розовый, шершавый. «Софье Петровне Липатовой», – прочла она. Ее имя было написано незнакомым почерком. И ни адреса, ни почтового штемпеля – ничего.

Забыв коврик на площадке, Софья Петровна кинулась к себе. Села у окна и вскрыла конверт. От кого бы это?

> *«Милая мамочка!* – написано было в письме Колиной рукой, и Софья Петровна сразу опустила листок на колени, ослепленная этим почерком. – *Милая мамочка, я жив, и вот добрый человек взялся доставить тебе письмо. Как-то ты поживаешь, где Алик, где Наталья Сергеевна? Все время думаю я о вас, мои дорогие. Страшно мне думать, что ты, может быть, живешь сейчас не дома, а где-нибудь в другом месте. Мамочка, на тебя вся моя надежда. Мой приговор основан на показаниях Сашки Ярцева – помнишь, такой мальчик был у меня в классе? Сашка Ярцев показал, что он вовлек меня в террористическую организацию. И я тоже должен был сознаться. Но это неправда, никакой организации у нас не было. Мамочка, меня бил следователь Ершов и топтал ногами, и теперь я на одно ухо плохо слышу. Я писал отсюда много заявлений, но все без ответа. Напиши ты от своего имени старой матери и в письме изложи факты. Тебе ведь известно, что я Сашу Ярцева со времени окончания школы даже ни разу не видел, так как он учился в другом вузе. И в школе я с ним никогда не дружил. Его, наверное, тоже сильно били. Целую тебя крепко, привет Алику и Наталье Сергеевне. Мамочка, делай скорее, потому что здесь недолго можно прожить. Целую тебя крепко. Твой сын Коля».*

Накинув пальто, нахлобучив шапку, с грязной тряпкой в руках, Софья Петровна побежала к Кипарисовой. Она боялась, что забыла номер квартиры Кипарисовой и не найдет ее. Письмо она сжимала в кармане. Она не взяла с собой палку и бежала, хватаясь за стены. Ноги подводили ее: как ни торопилась она, до Кипарисовой все еще было далеко.

Наконец она вошла в парадную и из последних сил поднялась на третий этаж Здесь, кажется. Да, здесь. «Кипарисова М. Э. – 1 звонок».

Ей открыла какая-то девочка и сейчас же убежала. Пробравшись по темному коридору мимо шкафов, Софья Петровна наобум отворила дверь и вошла.

Кипарисова, в пальто и с палкой в руках, сидела посреди комнаты на сундуке. В комнате было совершенно пусто. Ни стула, ни стола, ни кровати, ни занавесок, один телефон возле окна на полу. Софья Петровна опустилась на сундук рядом со старухой.

– Меня высылают, – сказала Кипарисова, не удивляясь появлению Софьи Петровны и не здороваясь с ней. – Завтра утром еду. Все до нитки продала и завтра еду. Мужа уже выслали. На 15 лет. Видите, я уже уложилась. Кровати нет, спать не на чем, просижу ночь на сундуке.

Софья Петровна протянула ей Колино письмо.

Кипарисова читала долго. Потом сложила письмо и запихала его в карман пальто Софьи Петровны.

– Пойдемте в ванную, тут телефон, – шепотом сказала она. – При телефоне нельзя ни о чем разговаривать. Они вставили в телефон такую особую пластинку, и теперь ни о чем нельзя разговаривать – каждое слово на станции слышно.

Кипарисова провела Софью Петровну в ванную, накинула на дверь крючок и села на край ванны. Софья Петровна села рядом с ней.

– Вы уже написали заявление?

– Нет.

– И не пишите! – зашептала Кипарисова, приближая к лицу Софьи Петровны свои огромные глаза, обведенные желтым. – Не пишите, ради вашего сына. За такое заявление по головке не погладят. Ни вас, ни его. Да разве можно писать, что следователь бил? Такого даже думать нельзя, а не только писать. Вас позабыли выслать, а если вы напишете заявление – вспомнят. И сына тоже упекут подальше… А через кого прислано это письмо? А свидетели где?.. А как доказать?.. – Она безумными глазами обвела ванную. – Нет уж, ради бога, ничего не пишите.

Софья Петровна высвободила руку, открыла дверь и ушла. Она торопливо, но медленно брела домой. Нужно было закрыться на ключ, сесть и обдумать. Пойти к прокурору Цветкову? Нет. К защитнику? Нет.

Выкинув из кармана письмо на стол, она разделась и села у окна. Темнело, и в светлой темноте за окном уже загорались огни. Весна идет, как уже поздно темнеет. Надо решить, надо обдумать, – но Софья Петровна сидела у окна и не думала ни о чем. «Следователь Ершов бил меня…» Коля по-прежнему пишет «д» с петлей наверху. Он всегда писал так, хотя, когда он был маленький, Софья Петровна учила его выписывать петлю непременно вниз. Она сама учила его писать. По косой линейке.

Стемнело совсем. Софья Петровна встала, чтобы зажечь свет, но никак не могла отыскать выключатель. Где в этой комнате выключатель? Невозможно вспомнить, где был в этой комнате выключатель? Она шарила по стенам, натыкаясь на сдвинутую для уборки мебель. Нашла. И сразу увидела письмо. Измятое, скомканное, оно корчилось на столе.

Софья Петровна вытащила из ящика спички. Чиркнула спичку и подожгла письмо с угла. Оно горело, медленно подворачивая угол, свертываясь трубочкой. Оно свернулось совсем и обожгло ей пальцы.

Софья Петровна бросила огонь на пол и растоптала ногой.

Ноябрь 1939 – февраль 1940

Ленинград

Спуск под воду

Нравственность человека видна в его отношении к слову.
Лев Толстой

…II 49 г.

– Ну, вот вам и Литвиновка ваша, – сказал шофер, еще раз круто повернув лес и лиловый снег перед моими глазами. Когда я увидела финские домики, летящие навстречу, мне сделалось не по себе. После трех часов холода в поезде и часа в машине не такого конца путешествия мне хотелось. Там, верно, рукомойники в сенях, пахнет кухней, мокрые дрова возле печек – убогий, не любимый мною, дачный зимний уклад. Дует от дверей и от окон…

– Приехали!.. – Мой случайный спутник по санаторной машине, Николай Александрович Билибин, распахнул тяжелую шубу и нашарил у ног шофера портфель. Но машина шла дальше, стайка финских домиков, расступившись, убежала назад; еще поворот – и машина остановилась у подъезда большого каменного двухэтажного дома.

Девушки в белых халатах поверх ватников выскочили на мороз нам навстречу.

Мы переступили порог. Девушки уже несли чемоданы.

– Сюда, пожалуйста… Раздевайтесь, пожалуйста… – говорила нам полная дама с крашеными волосами и мушкой на розовом лице. – Аня, помоги же снять пальто. Видишь, товарищи замерзли… Чемоданы в 14-ю и 8-ю… Очень замерзли? Ничего, сейчас мы вас отогреем. Теперь вы дома… Сейчас мы вас зарегистрируем.

После регистрации документов полная дама – видимо, сестра-хозяйка, – плавно ступая впереди, повела нас обоих наверх по широкой, в два марша, лестнице. Ковры в гостиной, сверкающий рояль, сверкающий паркет – нет, это не дача, скорее благоустроенная гостиница. Тепло, тихо, гудит и позвякивает чуть слышно паровое отопление. Красная дорожка вытянулась во всю длину коридора. Тут, наверху, важная тишина, не нарушаемая звуками шагов.

Сестра-хозяйка открыла перед Билибиным одну дверь, передо мной – подальше – другую.

И вот я у себя дома. Из гостиной донесся мелодичный, глубокий звон часов, и сразу стало слышно мерное, трудолюбивое тиканье электростанции. Наконец я буду жить одна в комнате, впервые после войны. Как будто у себя дома, в Ленинграде. Сидеть за письменным столом, который не надо три раза в день превращать в обеденный. Работать в тишине. И мысль или догадка не будет переехана, изувечена чьими-то словами на кухне… Я приложила ладонь к синей трубе парового отопления: горячо.

В этих чужих стенах можно наконец опомниться, встретиться с самой собой.

Но по-видимому, встреча предстоит мне нелегкая, потому что я сразу же начинаю ее избегать. Сколько лет может быть этой даме? – лениво раздумываю я. Глаза с поволокой, золотая модная прическа, на пальцах кольца с зелеными квадратными камнями… Я думаю, она презирает коммунальные квартиры и служба в таком нарядном доме ей очень по душе. «Писатели – такой интересный народ! Конечно, есть и среди них грубияны, но в общем – свободная профессия, что ни говорите, облагораживает…» Сколько нашей хозяйке лет? Двадцать восемь? Тридцать восемь? Только по Москве она, вероятно, скучает и со случайной машиной все норовит съездить туда, сделать маникюр, побывать в театре. Наверное, здешний чистый воздух и лес в снегу надоели ей до смерти.

Я осторожно глянула в окно. Сумерки. Лес спускается в овраг – там плотный, улежавшийся снег, – за оврагом пригорок, и на него выбежали елочки, еще молоденькие, с желтизной, как цыплята, а впереди всех, наверху, самая хорошенькая, стройная и молодая. Добе-

жала первая до самого верха и стоит. А там, за елочкой, – деревня. «Кузьминское» – говорил шофер. Домишки словно нарисованы неуверенной детской рукой: две кривые линии крест-накрест – крыша, косой квадрат побольше – стены, косые квадратики поменьше – двери и окна.

Я зажгла свет. За окном все исчезло – и снег, и домики.

Я задернула шторы и обернулась. Теперь я с комнатой лицом к лицу. Вот где я буду жить 26 суток. Я оглядывалась медленно, с опаской, исподлобья. Синие стены, синие трубы, низкая широкая кровать, тумбочка, коврик, письменный стол… Я поскорее поставила на стол мою чернильницу и Катенькину карточку – водрузила свои знамена… Здесь, значит, и состоится встреча. В присутствии этого стола, этих темных штор и белых занавесок на окнах – наивных, как елочки за окном.

– Пора ужинать, – произнес молодой голос в коридоре. И более повелительно: – Ужинать пожалуйте!

Но я осталась у себя.

…II 49 г.

Я легла вчера рано и спала беспробудно, глубоко, до тех пор, пока свет не начал просачиваться сквозь шторы. Вскочила, боясь опоздать к завтраку. И правда, уже восемь. Но когда я, умывшись, спустилась в столовую, там было еще пусто. Длинная комната с небольшими ясными окошками и круглыми столами. Скатерти накрахмаленной тугой белизною перекликались с коркой снега в овраге за окном. Столики сверкали посудой и пирамидками салфеток, но в столовой – никого. Кажется, я первая. Нет, за дальним столиком в углу сидит молодая тоненькая темноглазая дама в брюках и изящно ложечкой разбивает яйцо.

Подавальщица, румяная на зависть, приветливо указала мне мое место, внимательно расспросила, что я буду есть, и быстро подала. Я вглядывалась в сверкающее чистотой окно: это все мое! Моя елка стояла на холме, такая трогательная в своей серьезности, – не может того быть, чтобы она сама не знала, какая она прелесть! Крыши домов, нарисованных детской рукой на пригорке, сегодня побелели и прижались к земле.

За моим столом было накрыто еще на два прибора, но я не стала дожидаться своих неведомых сотрапезников, быстро поела и марш на воздух, которым я не дышала сто лет.

Я оделась и пошла куда глаза глядят, прямо перед собой. У дома месиво грязи, дальше – рыхлый больной снег и только совсем вдали, в полях, ровная скатерть наста. Синий, как украинская хата, домик директора, сарай, собака на цепи. Заброшенность, промозглость, никчемность. Дальше! Серые тучи, серая даль, и сквозь черные сучья – желтое небо. Как это было бы пророчески страшно в Ленинграде – желтое небо и черные сучья, – а здесь это не знамение судьбы, а просто желтая заря. Я дальше, не глядя под ноги, мимо каких-то кур и чьего-то мерзнущего на веревке белья… Ах, вот оно что там! Березовая роща!

Будто и не было грязи возле дома. Тут снег лежит богатый, плотный, как в овраге под моим окном. И из глубокого снега тянутся к облакам березы…

Я перебралась через сугроб и пошла по тропинке. Кругом все было серое, зыбкое, насыщенное влагой. Березы росли семьями – по три, по две из одного корня, устремляясь вверх и чем выше, тем дальше отклоняясь друг от друга, как в неподвижном, но стремительном вальсе. Я закинула голову, остановившись, и сразу голова пошла кругом от этих ровно колеблющихся вершин и медленно движущихся серых набухших туч. Тучи обложили небо плотно, будто там, на небесной земле, они были сугробами. Я шла по тропинке, пьянея от мелькания, от кружения серо-белых стройных стволов, и меня мучила грусть, как во все минуты слишком ощутимого счастья… Ведь это отнимут. Я это отдам. Никто и отнимать не станет, а просто пройдет что-то непостижимое, что мы называем «время», на листке календаря окажется какая-то четверка или девятка, и по ее приказу будет подана к крыльцу машина, я начну укладывать чемодан, а роща станет больше не моя, вход в нее мне будет

запрещен… Так же в уютном доме будет в тишине слышно тиканье электростанции с пригорка, так же будут наливаться то убывающим, то крепнущим светом люстры и лампы, так же будут тянуться от снега к тучам березы, отдавая вершины ветру, – и это уже будет не мое. Кончено! Нельзя! Четыре на календаре. Пора.

Только что встретившись с рощей, я уже начала тосковать от неизбежной разлуки с нею.

Тропинка вилась и петляла. Березы послушно расступались, но это только для вида, чтобы заманить, а на самом деле тесней и тесней обступали меня, и тропинка вынуждена была пускаться на хитрости, чтобы, петляя, обходить их круглые семьи. Вверху шумел ветер. На ветках перекатывались и сверкали сияющие шарики почек. Почки? Зимою?.. Я вгляделась. Это были капли воды.

– Гуляете?

Мне навстречу шла крупная дама в брюках из-под шубы и с большой, окованной металлом сумкой под мышкой. От холода ее напудренное лицо полиловело, кожа под выщипанными бровями набухла. За ней лениво шел смуглый томный мужчина в лыжном костюме. В его красиво подстриженной бороде было что-то восточное.

– Ну, как Москва? – спросил он у меня, чуть поклонившись. – Стоит, слава богу?.. Вы, кажется, только сегодня приехали? А здесь такая дохлая скука…

– Это нелюбезно, Ладо! – сказала дама, щелкнув сумкой, как выстрелив, и я догадалась, что передо мной знаменитый кинорежиссер, недавно получивший Сталинскую премию за картину о родине Сталина, Гори, – Ладо Канчели.

Мы стояли на узкой тропинке, тесно сгрудившись, чтобы не оступиться в снег. Мне было стыдно за свой облезлый рукав. Меня спросили, как мне нравится здесь и кто это приехал вместе со мной – такой широкоплечий, в тяжелой шубе? и в какой меня поместили комнате? И наконец прошли.

Благополучные, нарядные люди! Я сразу подумала о своей старой шубе, о незавитых волосах и незакрашенной седине. Оказывается, здесь буду не только я со своей памятью и работой, наедине с лесом, небом и книгами, а я и чужие люди, да еще такие, которым скучновато и хочется поразвлечься. Я как-то не думала раньше об этом, когда ехала сюда – в одиночество. Не предусмотрела существования людей.

Я шла и шла вперед, а березы всё кружились. Вот-вот и меня закружат. Плотный, видимый воздух стоял между стволами. Чем-то эта роща напоминала мне Голландию, в которой я никогда не была. Все набухшее влагой, мутное, тяжелое, расплывчатое. На выставке картин Остроумовой-Лебедевой такой увидела я Голландию – тяжелой, размытой, влажной. И в Ленинграде бывают такие дни: не разглядишь с Университетской набережной золотого Исаакия на другой стороне реки.

Я повернула. Мне есть куда идти: сегодня я буду работать без телефонных звонков, без разговоров за стенкой, без обиды за Катю, которой негде приткнуться.

Я уехала – и теперь, вернувшись из школы, она может, не стесняя меня, решать задачи за столом.

Вон вдали уже веревка и корчащиеся рубахи. А за бельем ели и освещенное крыльцо дома.

Я остановилась прислушаться: жива ли тревога?.. Да, видно, от материнской тревоги не бывает отдыха; я могу и сейчас, под этот добрый круглый шум, пальцем показать, в каком месте сердца она живет. Здорова ли Катюша? Не поскользнулась ли, возвращаясь из школы? Не довела ли ее до слез учительница, которая требует, чтобы всё зубрили наизусть: «Надо выучить так, чтобы от зубов отскакивало». А Елизавета Николаевна… Но о Елизавете Николаевне лучше не думать…

Дом сиял мне навстречу огнями, раздевалка пахнула теплом, девушка-гардеробщица отложила книгу и помогла мне раздеться. Вся я была пропитана воздухом насквозь, с головы до пят. Нет, не только шапка, галоши, шуба, но и щеки, и грудь, и ноги – вся. Дом встретил меня городским надежным теплом труб, блеском паркетов и медицинскими заботами. Меня позвали к врачу. Потом – принять хвойную ванну. Потом принесли мне лекарство. И врач, и медицинская сестра, и беленькая курносая девушка, которую я застала у себя в комнате за уборкой, – все с сердечным участием относились к моим болезням, процедурам, питанию, плечикам в шкафу для моего единственного платья, цвету чернил, которыми я предпочитаю писать… Конечно, на самом деле все это их мало трогало, но хорошо, что ласковое притворство входит в их обязанности.

Это не то, что в миру.

Стоишь в домоуправлении, ожидаешь справки. Стула нет, сесть некуда. А девушка беседует с ухажером: обсуждается вопрос, пойдут ли они сегодня в кино. Паренек сбоку навалился на стол, дышит ей прямо в лицо, поигрывая бровями. Плененная этой игрой, она портит четвертый бланк, – а я все стою.

– Почему у вас нет стула для посетителей?

– Вы здоровый человек, можете и постоять. – И пареньку, передавая ему фотографическую карточку:

Ты поглядишь на это фото
И сразу вспомнишь оргинал.

– Но я не желаю стоять перед вами.

– Хоть лежите, мне все равно!

Нет, здесь не так.

Девушка, вытирающая на столе несуществующую пыль, осведомилась, не прийти ли ей убирать потом? Не мешает ли она мне сейчас? Ей, наверное, лет семнадцать – годика на три она старше Кати. Такая она тоненькая, беленькая, испуганная – с опаской вытирает чернильницу: чужая, писательская чернильница, разобьешь – хлопот не оберешься. Да и велено: когда пишут, не мешать. Курносым круглым личиком она похожа на купидона – того, бронзового, что выглядывает из-за стола лампы на рояле в гостиной. «Я вам не мешаю? Я могу опосля», – лепечет она.

…II 49 г.

До сих пор мне удавалось приходить в столовую раньше всех и я успевала поесть в одиночестве, но сейчас, когда, сделав утреннюю порцию перевода в тишине своей комнаты, я спустилась в столовую, за моим столиком сидели еще двое.

– Видите, как я о вас забочусь, – сказала мне Людмила Павловна совершенно с той интонацией, которую я придумала, идя в день приезда по коридору следом за ней. – Я посадила вас между двух интересных мужчин.

Интонация так точно совпадала с придуманной мною, что я ждала: не произнесет ли она также и изобретенные мною слова насчет облагораживающего воздействия свободной профессии? Но нет. Она расспросила меня, что я ем, чего не ем.

В столовой пышность Людмилы Павловны облечена в белый накрахмаленный халат. На минуточку она присела на свободный стул за нашим столиком, и при ясном свете чисто вымытого окна я увидела, что ей отнюдь не двадцать восемь и не тридцать восемь, а, наверное, все пятьдесят, что она страстно хочет выглядеть стройной, затягивается, но укрыть избыток жира не в силах.

Двое «интересных мужчин» – мой спутник по санаторной машине, Николай Александрович Билибин, и молодой лысеющий журналист, сотрудник «Литературной газеты», Сергей Дмитриевич Саблин.

Какие они? Сразу не поймешь, но веселые, приветливые. Во всяком случае, они безусловно достойны более молодой и элегантной дамы, чем я. Но и со мной они были вполне любезны, особенно Билибин.

Он сказал:

– Мы ведь с вами, хотите не хотите, Нина Сергеевна, близнецы: приехали в один день, доставлены с вокзала в одной машине, да и комнаты наши на одном этаже.

Что-то в его наступательной, развязной любезности мне не совсем приятно. Я еще в машине жалась от нее в угол, прислушиваясь к низкому, красивому, актерскому голосу. Он тогда все заговаривал с шофером, но я слышала, что он говорит для меня. И потому не отзывалась.

– На Украинском фронте, – рассказывал он теперь журналисту, – мы весною совершенно увязали в грязи. Развезло глину, нету хода машинам, что будешь делать? Завидовали колхозникам, те на волах отлично передвигались. Шоферы, как увидят волов, говорят: это, говорят, Му-Му-2… Машина марки Му-Му-2…

Журналист рассмеялся. Я – нет. Но Билибину непременно надо было добраться до меня.

– Над чем работаете сейчас? – спросил он, передавая мне капусту… – Кушайте, в ней много витаминов…

– Да так… – ответила я неопределенно, – перевожу.

У Билибина потертый пиджак, на ногах – валенки, но выглядит он, пожалуй, элегантнее молодого журналиста в светлом костюме и заграничном галстуке. Что-то в его медленных ленивых движениях, в крупных плечах чувствуется барское, холеное. У него широкие руки рабочего человека, а ногти отточенные, длинные.

Мужчины вежливо поджидали, пока я покончу с кремом. За соседним столиком слышалось щелканье сумки, хлопанье пробок и смех. Это кинорежиссер, несмотря на ранний час, угощал свою даму вином. Белый большой воротник на ее платье и пышные золотые кудри были гораздо свежее лица.

– Мало народу сегодня в столовой, – сказала дама, обводя комнату глазами. – Верно, спустились еще не все, кто живет.

– С кем живет? – нехотя спросил кинорежиссер.

Билибин рассказывал мне и журналисту о своем новом романе. (Я не читала и старых.) Роман посвящен сибирским угольным шахтам, технически прогрессивным способам разработки породы, внедрению механизации. С производственным конфликтом тесно переплетается семейный разлад. Роман уже почти принят в «Знамени» – просили только слегка расширить парторга…

– Вот сижу по шесть часов в день и расширяю парторга, – сказал Билибин, повернув ко мне большое лицо с высоким лбом и тонким носом и взглянув мне прямо в глаза спокойными желтыми глазами. – Затем и приехал.

Усмешки у него в глазах не было, но, хотя они и были открыты и глядели прямо на меня, мне показалось, что они прикрыты чем-то.

Я встала из-за стола. Мои собеседники проводили меня до дверей.

– А вы уже заметно посвежели, право, – сказал Билибин тоненькой темноглазой даме, которая шла нам навстречу. Она улыбнулась, показывая мелкие ровные зубы. – Не бойтесь, не бойтесь, не сглажу! У меня глаз добрый.

Я поднялась к себе.

…II 49 г.

Ночью я проснулась от стука сердца. Слезы текли по волосам и щекотали ухо.

Что-то случилось ужасное, но что – я не могла вспомнить. Вспоминался не самый сон, а лишь испытанный ужас.

Я лежу на широкой мягкой постели. Кровь толкается в уши, сердце все не может прийти в себя после обрыва.

Ночная тишина, плотная, черная, стоит кругом. Ее хочется тронуть рукой, попробовать на ощупь, как материю.

Света не зажжешь – электростанция по ночам не работает. Да и с этим ужасом в груди легче существовать так, без света.

Что это было? Сердце стучит в горле, в ушах, в висках, наполняет горячим стуком грудь и, кажется, комнату. Наверное, я снова видела Алешину смерть.

Но которую? Какую? В дороге? В лагере? На допросе?

Я ничего не знаю о его конце, и потому всякий пригоден для моего воображения.

Но с того разговора на каменной лестнице возле воды, того, осеннего, ко мне повадился сон про Алешину смерть на допросе. Сколько уж раз я видела во сне его смерть? Можно было бы точно сосчитать по дневнику, да с дневником я ведь всегда в разлуке… Можно и так сосчитать: началось это в сороковом году осенью, под мелким дождиком, когда одна моя подруга назначила мне внезапно свидание на набережной и мы спустились по ступенькам к черной воде, дышащей стужей, – тут, внизу, на этих плоских гранитных плитках у воды, тут надежно, никого, ничего, – и она рассказала мне про допрос со слов своей двоюродной сестры, а той под клятвой рассказал один человек, выпущенный в тридцать девятом. До тех пор мы, конечно, тоже догадывались, но не смели своим догадкам верить, а теперь догадка оказалась правдой, и мы узнали наверняка, почему все признаются и оговаривают друг друга. (Я еще спросила у нее в тот раз про палец: – Как ты думаешь, сколько минут ты можешь выдержать, если тебе дверью прищемят палец?.. – И она спросила в ответ: – А ты?) И вот с тех пор, вот уже, значит, скоро десять лет, и поселился в моих ночах этот сон: допрос и Алешина смерть на допросе.

Но сегодня было не то. Я вглядываюсь в глубокую тьму комнаты, будто в ней еще могут храниться очертания ускользнувшего сна.

Сегодня мне приснился другой какой-то Алешин конец. Какой же? В вагоне? Нет, не то.

И почему это мне все снится конец на допросе? Наверное, у них, у снов, уж такая повадка: привидится один раз – жди его опять и опять. Почему же всегда конец на допросе, Алешу ведь еще везли, отправляли куда-то… Как мне памятны числа! У окошечка тюрьмы, 5 января 38-го года, мне ответили: «Выбыл!» – «Куда?» – «Он напишет вам сам». А в прокуратуре через двое суток «10 лет без права переписки, с конфискацией… Освободится – пришлет письмо». Значит, после всех допросов было еще какое-то продолжение, а мне все снится допрос и допрос. Наверное, это потому, что во сне нельзя увидеть неизвестное: этап, лагерь. А я еще никого оттуда не встречала. Из лагеря. Это для меня ужас без цвета и запаха. Впрочем, для сна это не помеха. В сказках всегда являются сны и рассказывают. На то они и сны. У снов ведь свой обычай. Приходят, когда хотят, и показывают, что хотят. Взять, например, этот самый сон «Алешина смерть на допросе». Хоть мне и было рассказано, что это такое на самом деле, а вижу я совсем не то. Надо бы видеть так: стол, бумага, следователь, стул, лампа, ночь, и входят двое парней, чтобы бить. А вижу я каждый раз тяжелую черную воду, источающую холод, – воду и молчание. Да, вижу молчание: оно клубится, как пар. Клубы молчания. Это и есть Алеша на допросе. Какие-то люди палками подталкивают его к воде. Тоже молча. Он все ближе и ближе к краю гранита. Вот уже одна его нога сорвалась – сейчас сорвется вторая – и это и есть «Алешина смерть на допросе». Я вскрикиваю и просыпаюсь. Сердце грохочет, как колеса на железнодорожных стыках.

Но сегодня был какой-то другой Алешин конец. Другой ужас.

Я перевернулась на спину, и слезы потекли уже в оба уха.

Какая непроглядная тьма. Это она спрятала в свою утробу мой ускользнувший сон.

И вдруг он из темноты высунулся. Я вспомнила, отчего я проснулась. Сон был еще здесь, недалеко, еще не ушел из комнаты, потому, вероятно, я и успела схватить его.

Это не смерть Алешина, а возвращение. Ужас от его возвращения. Он возвращается, но не ко мне.

Такой сон тоже уже был раза два.

Оказывается, Алеша жив. Я узнаю об этом от постороннего человека, от какого-то неизвестного мне Алешиного друга. Я его не знаю, только знаю, что он Алешин друг. Мы стоим в Катенькиной детской – там розово-желтым пятном блестит паркет, и я во сне думаю, что это няня Эльви по случаю праздника натерла его сегодня суконкой. Алешин друг глядит не в лицо мне, а куда-то в сторону, и я по этому взгляду понимаю, что Алеша жив, друзьям известно, где он, но меня он видеть не хочет. Я виновата. Алеша меня осудил, приговорил к вечной разлуке. За что же?

Я ли о нем не старалась?
Я ли жалела чего?
Я ему молвить боялась,
Как я любила его!

Я лежу на низкой мягкой кровати. Черная глубокая тишина. Сердце стучит, словно я работала под куполом цирка, сорвалась – и упала в сетку.

Сегодня я поняла, в чем моя вина. Во сне поняла. Я жива. Вот в чем. Я живу, продолжаю жить, когда его палками затолкали в воду. Он воротился на минуту, чтобы меня упрекнуть. Вот про что я увидела сон.

…II 49 г.

В гостиной играют в карты и в шахматы, флиртуют, читают газеты и слушают радио.

«При своих», – доносится в коридор сквозь настойчивые интонации дикторской речи, – «Без одной». «Мизер». «Распасовка». «Еще партию?»

Я зашла туда прочитать газеты. Надо же газеты читать!

Билибин сразу оторвался от карт и подставил мне глубокое кресло. Я взяла «Правду». Сам он, кинорежиссер, темноглазая дама и журналист играли в преферанс. Приятельница режиссера сидела поодаль на низеньком кресле у приемника и делала вид, будто слушает радио. «Каждый новый том сочинений товарища Сталина входит неоценимым вкладом в идейное богатство человечества», – говорил диктор.

Что-то трогательное и наивное чудилось мне в тонкой шее темноглазой дамы, в золотой цепочке с камешком, уходившей в вырез платья… Такая хорошенькая, веселая, нарядная. Это не писательница. Это, верно, чья-нибудь жена.

Из чтения газет, как всегда, ничего у меня не вышло. Странное дело: я тщетно стараюсь читать их. Прочесть я могу, но узнать что-нибудь – нет. Буквы складываются в слова, слова в строки, строки в абзацы, абзацы в статьи, но ничто – в мысли, чувства и образы.

«Советская власть и победа колхозного строя избавили крестьян от бедствий, связанных с засухой. Партия и правительство придали борьбе с засухой всенародное значение. Великий план преобразования природы – новое проявление отеческой заботы большевистской партии, Советской власти о нашей Родине».

Читаю и вижу один только шрифт. Или стенографические слитные формы. «Всенародное значение» – два слова очень удобно сливаются в одно. Слитная форма «Великий план преобразования природы» – эти четыре слова тоже можно изобразить одним значком. Сколько уже лет я стенографисткой не работаю, но все еще невольно черчу в уме или на

колене слитные слова и предложения… Ничего не узнав о борьбе с засухой, я попробовала было почитать о шахматах.

«Как неотъемлемый элемент социалистической культуры, шахматы стали средством культурного воспитания колхозных масс».

Я попыталась вообразить себе каких-нибудь мальчиков и стариков и шахматные доски в избах, но мне это не удалось. Рука машинально чертила слитные формы: «неотъемлемый элемент» и «средство культурного воспитания». Значки. Термины. За ними ни избы, ни сугроба… Я отложила газету.

А может быть, я потому ничего не могу узнать никогда из газет, что, в сущности, хочу узнать только одно, а про это одно там как раз не пишут?

– Весною все-таки в санатории лучше, – сказала темноглазая дама, принимая от Билибина карты (он сдавал), – нет, не говорите, веселее все-таки, когда тепло. Каждую весну я чувствую, как во мне, вместе со всей природой, пробуждаются какие-то буйные силы…

Шея перестала казаться мне трогательной. Просто белая шея. Зато кинорежиссер очень оживился.

– В самом деле? – спросил он с интересом. – Что же именно вы чувствуете каждую весну?

Дама, сидящая возле приемника, повернула регулятор, и приемник резко взвыл, как сирена. – О боже! – вскричал Ладо. – Не трогали бы лучше, если не умеете!

Я развернула «Литературную газету». Билибин собирал карты. Видимо, они кончили играть. «Советская литература на подъеме», – прочитала я заголовок на первой полосе.

После списка «произведений, любимых народом», «обладающих огромной силой воздействия», я прочла абзац о Пастернаке, который чуждается великих свершений народа и предпочитает заниматься самокопанием.

– Ну, вот, видите, кроме карт, теперь и делать нечего, – говорила капризно темноглазая дама, – а весною – красота.

– Вы редко заглядываете в гостиную, – вкрадчиво сказал мне Билибин, поблагодарив партнеров и придвигая стул ко мне. – Все норовите в свою комнату пробежать побыстрее мимо нас, грешных. Нелюдимка.

Желтые глаза посмотрели на меня зорко, приметливо, как окликнули взглядом. Но в следующее мгновенье мне опять показалось, будто они закрыты.

Я объяснила, что работаю над очень трудоемким переводом, да и гулять мне доктор велит побольше, да и процедуры отнимают время. Просто некогда сидеть в гостиной.

– Но вы и гулять норовите все одна и одна, – сказал Билибин. – Вот если вы вправду не избегаете нас, возьмем с собой нашего славного Сергея Дмитриевича и пойдемте после ужина все вместе. Хорошо?

Нечего делать, после ужина мы так и отправились всем столом: Билибин, журналист и я… Вот, оказывается, чья была щегольская палка с набалдашником в виде волчьей головы и роскошная шуба с воротником из выдры: журналиста. Я много раз смотрела на нее, одеваясь, и думала: чья бы это? Вот он, значит, какой!

Мы зашагали по широкой асфальтированной дороге, потому что только вдоль дороги горят фонари. Было холодно, мы спускались с горы к ручью, взявшись под руки. Тихо, снежно, по-деревенски мирно – и только тиканье электростанции казалось неуместно городским. Но скоро я перестала его слышать. Тишиною были одеты темный лес вдоль дороги, овраг внизу, сверкающие звезды вверху. Мы шли в ногу по склону горы, стараясь не поскользнуться, спускаясь все ниже и ниже, все ближе и ближе к ручью. Мне хорошо было шагать с ними в лад, прятать зябнущие руки под их рукава и слушать их медленное тихое переговаривание. «Спички не забыли?» – «Говорят, завтра приедет много народу, мне Людмила Павловна сказала». – «И будут пробовать нового повара». – «Ну, надеюсь, крем, а не

повара». Молчание снега, деревьев, неба было такое властное, что сначала и нам хотелось молчать или если говорить, то мало и тихо. «У вас ноги не мерзнут?»

Деревья подступали к дороге темным, высоким, нестройным строем. Сплошная стена елей, а над ними – блестящая луна.

– Смотрите, могила, – сказал журналист и легко перепрыгнул через канаву, поближе к лесу.

Мы с Билибиным остановились.

Сергей Дмитриевич наклонился и тронул рукою – будто погладил по спине – белый, аккуратно прикрытый снегом невысокий овальный холмик.

– Здесь были большие бои, – сказал Билибин. – Зимою сорок первого… За столиком у окна сидит еврейский поэт с орденами, за третьим столиком. Видали? Такой седоватый, плотный. Векслер. Он здесь воевал, немцев выбивал из Быкова.

Мы постояли. Маленький холмик, прикрытый снегом, белел перед нами. Журналист перепрыгнул через канаву на дорогу обратно и снова взял меня под руку. Мы пошли дальше в полутьме, к которой уже привыкли глаза.

Под ногами застучал мост. На перилах ровненько и аккуратно длинной пухлой полосой лежал снег.

– Прислушайтесь, ручей слышен, не замерз, – сказал журналист.

Мы остановились. Я высвободила руки из-под их рукавов. Мы, каждый порознь, подошли к перилам.

– Нет, не слышен, – сказал Билибин.

– Нет, прислушайтесь, слышен, – упрямо повторил журналист.

Я прислушалась. Жаль было портить скатерку снега, но журналист уже все равно положил на перила палку, и я решилась испортить снег локтем. У журналиста, когда он, прислушиваясь, снял для чего-то очки, лицо оказалось доброе, ребяческое – словно и не его были эта фатоватая шуба и палка.

– Да, слышу, – сказала я.

– То да, то пропадает, – согласился Билибин. – Постоим немного.

Мы стояли, глядя на лес и друг на друга, слушая стук электростанции и пробивающийся сквозь него детский говорок ручья.

– Что сегодня у нас в газете? – спросил Сергей Дмитриевич. – Вы, кажется, читали? А я не посмотрел. Как отдых развращает! Собственную свою газету не читаю. Уже дней десять, честное слово.

– Ничего особенного, – ответила я. Мне подумалось, что дело тут, пожалуй, не в отдыхе. Присутствие леса, снега, елочки на пригорке – вот что запрещает читать газеты.

– «При музыке!» – вспомнилось мне.

– Кажется, Пастернака опять пробрали, – как бы в ответ на эту строку произнес Билибин. По его неопределенной интонации нельзя было понять, одобряет он, что поэта пробрали, нет ли.

– Кто? – спросил журналист.

– Не припомню фамилии. Цитирует стихи и говорит, что непонятно.

– И на самом деле, он как-то очень непонятно пишет, – с мягким укором сказал журналист. – Мне недавно жена вслух читала, так мы смеялись даже: ничего не понять. Как-то очень негладко у него получается. А уж если мы не понимаем, мы! то как же народу? – Он помолчал укоризненно. – Конечно, кто спорит, Пастернак очень талантлив, и аллитерации, и форма красивая, и все такое – но о смысле не думает. Заумь. Прочитайте хоть вот здешним девушкам – Ане, Лизе – из Быкова или Кузьминского: они ничего не поймут.

– Да, конечно, – быстро согласился Билибин.

Я заговорила не сразу. Мне надо было справиться с дыханием. Мне уже ненавистны были и добрые близорукие глаза журналиста, и осторожный голос Билибина, и то, что мы только что вместе молчали.

– А Баратынского, вы думаете, они понимают? – стараясь говорить медленно и тихо, сказала я. – Девушки из деревни Быково? А Фета? Вряд ли, ведь стихи для них совсем непривычная форма мышления. Что же, выбросим и классиков наших, немцам подарим их, что ли?! Потому что их не понимают Аня и Лиза, которые только вчера научились читать… И которых воспитывают на Долматовском… А вы-то сами понимаете так называемых классиков – Пушкина например? Вряд ли, просто привыкли со школьных лет думать, что он понятен… – Я не глядела на своих спутников и обращалась куда-то в пространство. – И почему мы воображаем, что способны всегда и во всем понимать поэта? Ведь он впереди нас. Он создан этим лесом, этим языком, этим народом и послан далеко вперед. Так далеко, что исчезает из глаз пославших. А наше назначение, тех, кто умеет читать, по мере сил своих стараться понять его и, поняв, донести это счастье до Ани, до Лизы… Мы же уклоняемся от свого долга и предаем… поэта и Аню… которая, поняв, могла бы стать выше себя… не она, так дети ее… Мы гордо говорим «не понимают!» – а чем тут, собственно, гордиться? «Надо быть заодно с гением», – писал Пушкин.

Я повернулась и одна пошла в гору. Все это как будто давно готовое бурлило у меня внутри и вдруг вылилось наружу от слов журналиста: «мы с женой читали вечером и смеялись». Столько самодовольства в этом «мы с женой»! Сотрудник «Литературной газеты» – тоже мне, ценитель поэзии! Мне было тяжко дышать от злости и от подъема. Я остановилась, чтобы подождать своих спутников и перевести дух. Издали я видела большие темные фигуры медленно, словно в темной воде, двигающиеся ко мне от моста. Наверное, оставшись одни, без меня, они пожали плечами и улыбнулись друг другу… Минуту назад смолчать мне казалось постыдной предательской трусостью, а сейчас уже стыдно было своих неумеренных слов. С кем я говорю! Чужие люди. Что это меня понесло откровенничать!

– Мы должны извиниться перед вами, Нина Сергеевна, – бодро сказал Билибин и взял меня под руку, – нехорошо было, некрасиво с нашей стороны так говорить о вашем любимом поэте. Но все-таки мы достойны снисхождения: мы ведь не знали, что вы его так любите… И я должен признать, что в ваших словах много верного.

Мне хотелось скорее домой, к себе, в тишину своей синей комнаты. Дом сиял нам навстречу городскими огнями. Мне уже неприятно было тепло их рукавов. Зачем я унизилась откровенностью перед чужими людьми? Мне хотелось быть одной. Я шла быстро, и они вынуждены были вместе со мной уторапливать шаг.

…II 49 г.

Сегодня счастливый день.

Я глубоко спала и утром, вскочив, еще босая, раздвинула шторы. За окном все блестело. Маленькая ель, взбежавшая на холм, была уже не зеленая, а белая. Алмазная зима началась!

Стараясь не презирать себя за вчерашнюю глупость, я быстро оделась и пошла завтракать. Оба мои спутника, свежевыбритые, веселые, уже сидели за столом. Сегодня они обращаются со мною так, будто я заряженное ружье: не задеть бы спуск. Это меня смешило. Неподходящая им досталась дама… Сегодня я изо всех сил вела себя вяло, ни разу не выводя разговора за границу таких тем, как прическа Людмилы Павловны, погода и меню. Мне передавали сливки, объясняли их полезность, добывали перец с чужого стола – и в каждом старательно любезном движении я видела испуг перед вчерашним. Не перед истиной моих вчерашних слов – нет, а просто перед излишне порывистыми, нервозными разговорами, которые в санатории по меньшей мере неуместны. Ведь все приехали сюда отдыхать, к чему же споры? Будем дышать воздухом и потреблять витамины! Достаточно мы все нервничаем в городе!

Сразу же после завтрака, когда Билибин и Сергей Дмитриевич погрузились в гостиной в мягкие кресла – курить! – я побежала в переднюю одеваться. Билибин поглядел мне вслед, но не встал.

Я одевалась быстро, опасаясь погони. Мне хотелось скорее туда, в сверкающую белизну – и одной. Отпуская позади себя тяжелую входную дверь на блоке, я уже слышала в передней их голоса. Студеный воздух ожег мне лоб, а когда я глотнула его, мне показалось, что я проглотила острый кусочек льда. Хотелось постоять на крыльце, чтобы сразу охватить взглядом студеный блеск, подаренный мне с такой удивительной прямотой и щедростью, но сзади настигали голоса, и я почти бегом перебежала площадку перед домом и мимо домика директора, мимо промерзшего белья – туда, в рощу. Оказавшись на тропинке между высоких пышных сугробов, я наконец остановилась и поглядела кругом. Хрупкое слово «сверканье» морщило мне губы. Как оно точно соответствует этому обледенелому узору ветвей! Сверканье. Слово ломкое, как тонкая, острая веточка. Как крохотные зеленые и синие искры, играющие в снегу у подножия берез. От него холодно зубам.

Я медленно пошла по тропе. Сняла перчатку, прикоснулась к сугробу. Сегодня он жесткий: колется его затверделая сверкающая корка. Словно вылепленные из белой тишины стоят вокруг березы. Вершины их уходят в небо. Кажется, хрупкие белые ветви, прикасаясь к небесному куполу, должны звенеть. Наверное, там, наверху, стоит легкий трепещущий звон.

Скрип шагов испугал меня: не мои ли приятели? Но нет, навстречу мне, по тропинке, шла девушка в платке, ватнике и валенках. От платка лицо кажется круглым. Краснеют яблоки щек.

– Здравствуйте! – звонко выговорила она и ступила в глубокий снег, отдавая мне тропинку. Кажется, если бы сама береза захотела поздороваться со мной, она произнесла бы приветствие этим морозным, звонким голосом.

Роща скоро кончилась. Далеко впереди на гребне холма зарылось в снег Быково. Перед ним снежной равниной лежали поля, за ним стоял лес. Блестящие, накатанные колеи саней бежали к деревне посреди поля.

…И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня, —

догадалась я вдруг, и мне стало ясно, что я впервые поняла эти стихи. Вот они про что, вот про что! А этот берег – это берег счастья. Последняя строка вызвала слезы на глаза – слезы, как все сегодня, как воздух, которым я дышала, были колючие.

…милый для меня!

Это о счастье он сказал, быть может, сегодняшнем, а может быть, уже утраченном, прошедшем.

*С*кользя по утреннему *сн*егу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И наве*ст*им поля пу*ст*ые,
Леса, недавно столь гу*ст*ые,
И берег, милый для меня.

Эти *ск* и *ст* и *сн* – это скользкий блеск санного пути, пересекающий поле. Сверканье полозьев. А милый берег – это память о счастье.

А может, берег этот оттого ему мил, что сейчас они увидят его вместе?

Я пошла санным путем, щурясь от слюдяного блеска. И вдруг подумала: здесь были немцы. Здесь они ходили, по этой дороге, из этой деревни в эту рощу, восемь лет тому назад. Я это знала и раньше, но удивилась этому так, будто только сейчас узнала впервые.

«И навестим поля пустые» – они этой строки не понимали, какое же право они имели ходить здесь, оставляя свои следы на снегу? Для них это было не поле и лес, а территория, местность.

«Навестим» – ведь навещают друзей, а Пушкин сказал это о поле и лесе. Деревья и река были для него как любимые люди.

Внезапно я очень устала… наверное, от белого блеска. Повернула обратно и, сбиваясь с дороги в снег, поплелась домой. Я смотрела только себе под ноги, а не на березы, не на сугробы – сверкающая тишина была слишком обильна, мне стало не под силу владеть ею.

И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».

…II 49 г.

Теперь я уже знаю, когда здесь в доме наступает тишина – когда не слышно ни щелканья домино в гостиной, ни плавных шагов Людмилы Павловны, ни навязчивого голоса радио. Одно только доброе, неутомимое тиканье электростанции. Это бывает три раза в неделю, по вечерам, когда наш культурник привозит новую кинокартину. Все уходят смотреть. В эти часы можно рискнуть спуститься под воду, не опасаясь, что каким-нибудь звуком или словом – как бывало в городе – тебя насильно выволокут на поверхность. Звонок телефона – кого это? Звонок в передней – не четыре ли раза? Перебранка на кухне, возле самых моих дверей. Елизавета Николаевна снова пилит тетю Дусю. Словно за ноги тебя тащат по лестнице вверх и ты лбом ударяешься о каждую ступеньку. Чем глубже я успеваю погрузиться, тем больнее и дольше меня волокут.

– Вы какой любите перловый суп? – спрашивает тетя Дуся. – Погуще или пожиже?

– Суп должен быть такой, какой он должен быть, – отвечает Елизавета Николаевна, и от этого величественного ответа у меня сразу начинается сердцебиение. В каждом ее слове и в каждом шаге видна душа грубая и беспощадная, никогда себя не стыдящаяся. Не стыдящаяся ни жестокостей, ни пошлостей. «Борщ характеризуется свеклой», – произнесла она однажды.

Всегда вспоминаю: была у меня как-то раз тяжелая мигрень, и Катенька просила тетю Дусю не греметь на кухне. Елизавета Николаевна обратилась за чем-то к Дусе, и та ответила шепотом.

– Что это вы все шепчете? – прикрикнула Елизавета Николаевна. – Говорите как человек.

Тетя Дуся объяснила ей: «Нина Сергеевна больна».

– *У меня* больных нет, – горделиво ответила Елизавета Николаевна, не понижая голоса. И пошла по коридору к себе в комнату, отчетливо стуча каблуками.

Никода не забуду, как во время войны другая наша соседка, несчастная многодетная женщина, у которой убили мужа, начала продавать свои жалкие вещички. Сунулась к Елизавете Николаевне с какими-то своими рубашками.

– *Я* таких рубашек не ношу! – ответила Елизавета Николаевна: рубашки были не импортные и не экспортные, а самые обыкновенные.

Кажется, только здесь, издали, я начинаю понимать, на чем основана ее гордыня. Всю жизнь она была ничем не примечательной мужней женой, потом ничем не примечательной вдовой. Всю жизнь у нее было два занятия: ездить по комиссионным и угнетать домработницу. Откуда же самоуверенность, почему она всегда держалась так, словно знает за собой какие-то великие заслуги: Галина Уланова и Анна Ахматова в одном лице? И не сословная, не кастовая спесь академической дамы, а глубокая убежденность в величии собственной персоны: *«Я* таких рубашек не ношу».

Детей у нее никогда не было; разумно хозяйничать – то есть шить, чинить, печь пироги, вовремя закупать ягоды и сахар для варенья – она не умеет; хозяйничать в ее представлении означает угнетать, преследовать и разоблачать домработницу.

– Что это вы принесли мне? – кричит она тете Дусе на кухне. – Ведь он пахнет – понюхайте! Глубже дышите, глубже! Ближе к носу, он не кусается! Я думала, посылаю на рынок опытную кухарку, а вы, как девчонка, приносите мне вонючего гуся…

– Я же не кухарка, Елизавета Николаевна, я вам наперед говорила. Я только так, по домашности умею. Площади, сами знаете, нет, в войну лишилась. А то я разве бы пошла по людям… И ничего он не вонючий…

– Не кухарка? А кем вы у меня служите, профессоршей? Не знаю, я вас нанимала как кухарку… Ступайте на рынок, продайте вашего гуся и принесите мне деньги. И не реветь мне, я вам не Виктор Петрович…

Виктор Петрович! Пять лет, как скончался, а неутешную вдову все еще мучает память о его доброте и мягком обращении с людьми.

Он был совершенно под ее башмаком. Даже Катюша, бывало, удивлялась и шептала мне: «Я бы ее побила!» Иногда он пробовал бунтовать, бедняга наш Виктор Петрович, но быстро сдавался и каялся. И мы слышали отчетливый, не стыдящийся соседей голос:

– Не скулить мне! Лучше печенку свою полечи, чем скандальчик устраивать! – и Елизавета Николаевна уходила в парикмахерскую, строго приказывая тете Дусе не бегать в ее отсутствие вокруг Виктора Петровича с капельками и полотенечками, а заняться делом: приготовить за неделю счет… Здесь, в отдалении от нее, припоминая ее прямую спину и гордо откинутую назад голову, я поняла наконец, что именно эта постоянная неминуемая, полная победа над одной душой внушала ей о самой себе такое высокое мнение. Ей покорялся один человек, всего лишь один, но зато целиком, без остатка, полностью. И этого для самоутверждения довольно.

Сколько спусков она испортила мне! Я потому и вспомнила о ней сегодня, что впервые после приезда попыталась спуститься. И даже здесь, за сто километров от нее, душа вспомнила насилие и грубость, и спускаться мне мешает уверенность, что там, в городе, Катюша, делая уроки, слышит из-за стены этот жесткий голос.

И все же сегодня первый спуск состоялся. Он был еще только пробный, недолгий. Я еще только примеривалась и убеждала себя не бояться… Я еще видела комнату. Я еще поглядывала на часы. Я еще вздрагивала оттого, что внизу хлопнула дверь. Непроницаемая толща воды, охраняющая душу от вторжения, еще не сомкнулась над моей головой, еще не стала между мною и миром.

Но теперь я уже верю: сомкнется.

… Не странно ли, что это погружение на дно вместе с Ленинградом, Катенькой, ночной Невой, что этот тайный, внятный только мне звук, возникающий от скрещения тишины и памяти, – что потом он с помощью чернил, бумаги, типографии обретет плоть и получит такое обыденное, общепринятое, всем доступное наименование: книга?

– Вы еще не читали «Спуска под воду?»

– Нет. А про что там, про работу водолазов?

– И не читайте, скучища.

– Неправда, непременно прочитайте! в этой книге что-то есть. Хотите принесу? Там никаких водолазов.

Книга… Она будет стоять на полке вместе с другими, ее будут брать в руки, перелистывать, ставить на место. Вытирать пыль – пыль с этой вот сегодняшней здешней тишины, сквозь которую ко мне возвращается Алешин голос и плач Кати-маленькой…

Книга была мною, замиранием моего сердца, моей памятью, которая никому не видна, как не видна, например, мигрень, болевая точка у меня в глазу, а станет бумагой, переплетом, книжной новинкой и – если я бесстрашно буду совершать погружение – чьей-то новой душой. В эту душу проникнет, созидая ее, Алешин голос и Катенькин плач.

«Это то же самое, – подумалось мне сегодня, – что роща. Да, да, березовая роща, которая сейчас шумит вершинами в небе, а потом сделается дровами, потом сгорит в печи – а потом – потом согреет кого-то, кто станет глядеть в жаркий огонь…»

Впрочем, все это вздор. В мой огонь никто не станет глядеть. Зачем же я погружаюсь? Ведь если моя добыча и превратится в рукопись – в бумагу и в чернила, – то в книгу она не превратится никогда. Во всяком случае, до моей смерти.

Зачем же я спускаюсь? Чтобы уйти от себя?

Нет, там, куда я ухожу, мне еще страшнее, чем здесь, на поверхности. Там тяжелые шаги солдат, уводящих Алешу, там наша лестница, по которой он спускался легким, быстрым шагом между ними, оборачиваясь на ходу, улыбаясь мне, чтобы я не боялась, там наша обитая войлоком дверь, которую я почему-то старательно закрыла за ними на все замки и задвижки, когда шаги были уже не слышны. (А к чему было закрывать, если они уже увели его?..) Там Катя-маленькая, которая не проснулась, когда он вынул ее из постели и в последний раз прижал к себе. Там бесшумные машины одна за другой, одна за другой гасящие свои фары у ворот тюрьмы.

Там – мой неотступный многолетний вопрос: каков был его последний миг? Как из живого они сделали его мертвым? Я уже не спрашиваю: *за что?* Я спрашиваю только: как? где? когда? И где сама я была в эту минуту? С ним ли? Думала ли о нем?

И где его могила? Что он видел последнее, когда жизнь покидала его?

Вот он идет по нашей лестнице вниз, среди солдат, и, оборачиваясь, улыбается мне, чтобы я не боялась. Что было дальше? Ворота тюрьмы. Их я знаю. Я стояла возле них. Потом – допрос. Это я тоже знаю. Наяву и во сне. А потом?

Нет, *моей* памяти никто не позволит превратиться в книгу. И гложущему меня вопросу.

Зачем же я совершаю свой спуск?

Я хочу найти братьев – не теперь, так в будущем. Все живое ищет братства, и я ищу его. Пишу книгу, чтобы найти братьев, – хотя бы там, в неизвестной дали.

…II 49 г.

Сегодня тревожный день. Быть может, и радостный, но тревожный. Будто я снова в миру, а не здесь, под охраной маленькой зеленой ели, в этой мнимой жизни.

За чаем журналист рассказывал литературные новости (он только что громко и долго говорил с Москвой). В Союзе ожидаются большие перемены. Руководство недостаточно твердо вело борьбу с космополитизмом. Секретарем будет теперь не Беленький, а Земской. И в издательстве «Советский писатель» ожидается смена редакторов… На мгновение лицо у Билибина потемнело, в глазах мелькнул настоящий, непритворный интерес.

– Не знаете, Тукманов остается? – быстро спросил он. (Тукманов – его редактор.)

– Кажется, да, – ответил Сергей Дмитриевич. – Во всяком случае, о нем мне ничего не сказали… А как подвигается ваша книга?

– Да вот каждое утро часиков с семи работаю… Исполняю задание редакции… Кое-где надо дожать, кое-где допроявить. Вот и стучу не покладая рук… Вам, Нина Сергеевна, не мешает стук машинки?

Ему непременно нужно добраться до меня – всякий раз.

– Нет, нисколько.

Странное у него лицо. В каждом повороте – другое. В профиль оно какое-то острое, ястребиное. En face – простоватое, даже чуть бабье. Сегодня я заметила, что у него две глубокие оспины – одна на подбородке, другая на щеке. Каждый раз нахожу что-нибудь новое. Брови у него короткие и косые, как ударения над глазами, придающие взгляду пристальность, зоркость.

Я поднялась и пошла одеваться. Мне пора было на прогулку – перед спуском. Обязательную ежедневную порцию перевода я сделала уже с утра, а когда все уйдут в кино, после чая, собиралась предпринять спуск. Если мне удастся донести до стола небо, снег и воздух, спуститься будет легко, скорее наступит счастливая ясность зрения. Но Билибин встал вместе со мною и отправился следом с такой неторопливой естественностью, как будто мы заранее сговорились идти гулять вместе. В передней он учтиво подал мне пальто. «Расширяешь парторга! – со злостью подумала я, снова заглянув в спокойные желтые глаза. – Довыявляешь… Шут».

– Я не помешаю вам, если пойду с вами? Мне врач настойчиво рекомендовал именно после чая, перед ужином.

– Нет, нисколько, – снова ответила я.

Мы пошли. Холодно, темно, скользко. Холод какой-то сырой. Ни звезд, ни луны. Билибин взял меня под руку. Мы молча шли по аллее к шоссе. Меня раздражало, что он молчит, и еще больше, что это молчание тревожит меня.

– А сказать по правде, Нина Сергеевна, я до сих пор не могу опомниться, – красивым голосом начал Билибин, когда мы, дойдя до фонарей на дороге, свернули направо и стали спускаться к мосту.

– От чего это? – спросила я, освобождая руку.

– От нашего тогдашнего разговора, здесь, на этом самом месте. Как вы тогда на нас с Сергеем Дмитриевичем сильно напали! Я потом хотел с моста в речку броситься с досады, что у нас с вами вкусы в поэзии не сходятся. Честное слово! Вы так любите этого Пастернака?

Голос его звучал очень сердечно и искренне. Только в каком-то звуке – даже не звуке, а призвуке – был чуть тронут педалью.

– Дело не в том, что я его так люблю, – терпеливо сказала я. – Мне не за него обидно, а за вас. Как легко вы отрекаетесь по чьему-то наущению от наших великих радостей…

– Но ведь, как говорится, на вкус и на цвет товарищей нет. О вкусах не спорят…

Я ожидала этого пустого возражения. И я не стала спорить – хотя, на самом деле: о чем же людям и спорить, как не о вкусах? Разве любовь к поэту, или ненависть, или, скажем, равнодушие к нему не идет от основ нашей души, разве она случайна? Разве не здесь водораздел, граница? На чем же лучше определяется дружество и вражество, даль и близость, если не на том, какие стихи и какие строки в этих стихах ты любишь?

– Знаете что, – вдруг сказал Билибин, – свернемте-ка по этой тропинке в лес. Смотрите, луна вышла. Большая, полная. Не бойтесь, темно не будет.

Мы свернули. Он снова взял меня под руку – твердо, крепко. Тропинка была узкая, и нам приходилось идти близко друг к другу. Желто-голубая луна удобно расположилась на ветке ели, словно и век тут сидела. Лужицы света колебались на крутых сугробах «Что за пошлейшая прогулка в лесу при луне, – подумала я, – с интересным мужчиной. Это и самой

Людмиле Павловне впору… О чем он сейчас заговорит? О поэзии мы уже поговорили. Пора о любви. В отвлеченно-философском плане, конечно… для первого раза».

Но он заговорил совсем не о любви. Прогулка развивалась не по канонам санаторного флирта.

– Смотрите, как здесь испорчен лес, – сказал он. – Вот вы, городская жительница, идете и думаете, что перед вами густой и прекрасный лес. А на самом деле деревья тут съедены.

Он вдруг оставил меня, перепрыгнул через канаву и, по щиколотку в снегу, остановился под высокой елью. В лунном свете, с распахнутой на груди шубой, он казался молодым. Лицо, освещенное луной, утратило морщины; исчезли оспины на подбородке и на щеке. Оно казалось одухотворенным, юношеским… Опять новое лицо.

Осторожно раздвигая ветки, чтобы не ссыпать на себя снег, он подошел к стволу. Потом снял с коры мох и растер его между ладонями.

– Видите? – сказал он, возвращаясь. – Это – решпигус. Лишайник такой. Сейчас его уже умеют истреблять, осыпая химикалиями с самолета. А раньше целые леса сводил. Видели вы когда-нибудь пень весь в пуху? Летом? Это оглодок, огрызок дерева, съеденного лишаем.

– Вы любите лес? – спросила я. – Или больше степь? А может быть, горы?

– Раньше любил лес… – Он, прищурясь, поглядел вокруг, на луну, на сугробы, на темные, не освещенные луной ветви елей – поглядел с наслаждением, медленно, словно папиросой затянулся… – И горы раньше любил.

– А теперь?

Он ничего не ответил.

– Кажется, уже пора домой, – сказал он. – Меня перед сном будут горчичниками обклеивать.

Мы повернули.

– А я и сейчас больше всего люблю лес, – заговорила я. – Но не такой и не ночью, а сосновый, в солнечный день. В сосновом лесу много неба – лес редкий и небо не только над головой, оно везде, куда ни глянь. Кажется, не сосны, а небо пахнет смолой.

Он молчал. Мы вступили в полосу темноты, и я не видала его лица.

– Живешь в городе, вечное сидение за столом, не видишь ни леса, ни неба, – жаловалась я, разговорившись. – Такая уж наша работа. А ведь трудно себе представить, какой прекрасной была бы жизнь, если бы вся наша работа была в лесу… или у моря, или в горах… если бы слова, которые мы пишем, рождались из кислорода… если бы бумага пахла хвоей… если бы крутом, когда работаешь, были рыжие валуны или рыжие сосны… Как у Толстого написано: «взглянешь кругом – горы… поднимешь голову – горы…» Подумайте: поднимешь голову от страницы – горы…

– А вы когда-нибудь трудились… в горах?

Он не изменил шага и так же твердо вел меня под руку. Но голос его изменил звук. Голос стал таким же беспримесно чистым и искренним, как в ту секунду, когда он спросил у журналиста, остался ли на месте тот редактор… Это был его голос, настоящий, непритворный.

– Вы когда-нибудь трудились в горах? – повторил он. – Нет, наверное. А я – годы. Хоть и лес кругом, а насчет кислорода там не очень. Неволей, конечно. В лагере. В шахтах. Вольнонаемные к верху ближе, в первых горизонтах, а мы в самой глуби – на девятом, десятом… У них вагонетки на электрической тяге, техника! А мы вручную откатывали. У них перфораторы, а мы кайлом рубили, по старинке. Они по шесть часов, а мы по двенадцать. Они ели, как люди, а нам хлеба четыреста в день – и все. Не выполнишь норму – получишь двести, еще не выполнишь – сто… и так до нуля. Порочный круг, или, точнее сказать, смертельный. Чем меньше получишь, тем меньше можешь сработать, чем меньше сработаешь, тем меньше получишь… Да что! Мертвецов другие ели: отрежут мышцу, сварят… Осторожнее, сук.

Он помог мне переступить через ветку, лежавшую поперек тропы, и снова повел меня вперед ровным прогулочным шагом. Я боялась: а вдруг не заговорит больше? И дверь в Алешину судьбу захлопнется опять. Я ждала голоса, слова, не видя ни луны, ни деревьев… Первый вестник оттуда! Мне хотелось поторопить, дернуть его за руку. Не молчи. Ты вестник. Я тебя слушаю. Не молчи!

– А дети! Там ведь и дети были – там рожденные. Иные до четырех лет ходить не выучивались, до пяти – говорить. Ручки, ножки – не как у людей. Да и мы, взрослые, тоже были на людей не похожи. Нарывы от голода, голодный понос. Скольких я там закопал! И Сашку. Три года я был бригадиром похоронной бригады. Сашка Соколянский – мне друг, брат. Мы с ним когда-то в гражданскую партизанили вместе, и вот – в тюрьме вместе. Если бы не он – мне бы конец: его как ни истязали, он на меня показаний не дал… Благодаря ему я пять лет получил, всего-то… Красавец, добряк, силач, только заикался немного. После следствия стал заикаться. Да и заиканье в нем милым казалось, детским…

Я с Сашкой хлебом делился. Грибы ему в черепушке варил. Там многие грибами отравлялись, особенно нацмены: они в грибах не разбираются, не лесные люди, наварят поганок – и на тот свет… Ну, а я старый лесовик, еще с партизанских времен в грибах понимаю, в травах… Я лесным варевом Сашку отпаивал… Да нет, не выходил… Своими руками бирку на ногу навязал, сам и похоронил его… Не в общей яме, а вот под такой старой елью в отдельной могиле, и знак вырезал на коре.

Я поглядела на ствол, освещенный луной, выискивая на нем знак.

Тропинка кончилась. Мы вышли на дорогу.

– У меня там муж погиб, – сказала я. – Не знаю где, не знаю отчего и когда. Он был ученый, специалист по крови. Врач. Объявили мне: «10 лет без права переписки», а вот уже 12, и никаких вестей! Может, вы его и хоронили, ваша бригада.

Мы стояли под фонарем на дороге и молча глядели друг на друга. Фонарь не луна, ничего таинственного нет в его свете. И снова стали видны морщины, впадины, складки на этом большом лобастом лице. И оспины – нет, следы нарывов… Полуотвернувшись, он смахивал снег с тяжелого воротника шубы.

– В тридцать седьмом?

– Да. С конфискацией. За мной потом приходили тоже, но я успела убежать. Дочку оставила родным и уехала… Вернулась, когда жен уже не брали… А вы не встречали… Не знаете… – решилась я, – где расположены были такие особые лагеря… без права переписки?

– Нет, – ответил он быстро, – таких не встречал.

То ли ему больше не хотелось рассказывать, то ли он заметил кого-то поблизости.

Мы пошли к дому. Впереди медленно брел человек.

– Ну как, взвешивались сегодня? – громко спросил Билибин у толстяка, с тяжелым сопением разматывавшего возле вешалки шарф. – Представьте себе, Нина Сергеевна, Илья Исаакович взвешивается каждый день: проверяет, не похудел ли наконец. Ну и что же показали весы? Преуспели сегодня? Сбросили кило этак пять?

Шарфу не было конца. Толстяк застенчиво улыбался. Даже усы улыбались застенчиво.

– Спасибо, Нина Сергеевна, что прогулялись, поскучали со мной, стариком, – бархатно пропел Билибин, и я ушла к себе.

…Сейчас я лягу спать. Тихо и тепло у меня в комнате. Елочки не видно за окном – тьма. Да и была бы видна, ей уж не вернуть мне покоя.

Первая весть об Алеше – и какая! Пусть Саша Соколянский не похож на него, а все-таки это тоже он. Суп из поганок. Общие могилы, как в Ленинграде, в блокаду… Поставил ли кто-нибудь метку на той сосне? Увижу ли я ее когда-нибудь?

Тикает, тикает электростанция. А где сейчас, что сейчас – Билибин? Курит он сейчас? Играет в шахматы с Ильей Исааковичем? Рассказывает военные анекдоты в гостиной?

Играет на бильярде с темноглазой дамой, которая начала учиться гонять шары, чтобы показывать гибкость своей талии? «Знаете, вы здесь прямо-таки расцвели, – говорит ей Билибин бархатным голосом, – есть такие цветы, которые расцветают зимой».

«И все это неправда, а настоящий голос знаю я одна», – думаю я, прижимаясь щекой к подушке.

…II 49 г.

Сегодня все опало и растаяло. Из окна холм показался мне неблагообразным, пестрым, пегим – бывают такие коровы. Ель на холме потеряла свою торжественность. Но когда, умудрившись позавтракать одной раньше всех и одной удрать на прогулку, я пошла по дороге к деревне, – я убедилась, что за городом, на вольной воле и в оттепель хорошо. Теплый ветер льнул к щекам. Я сняла рукавицы, и ветер ласково тронул мне пальцы. Ласковость его понравилась мне, и я не пошла в рощу, чтобы не расставаться с ним. В глубоких колеях дороги на Быково, в подернутых рябью лужах, синело небо, и по небу, словно бумажные кораблики, плыли облака. Теплый ветер гулял дорогой, полем и улетал тормошить влажные, торчащие на другой стороне оврага семейки берез. Я представила себе, как он срывает круглые капли с ветвей, как они катятся за ворот, и дрожь пробрала меня между лопаток. Я дошла до мокрого стога сена и повернула назад, не зная, куда теперь. Если бы взять в руки этот стог, обнять и выжать, из него потекла бы вода, как из губки. Ветер меня утомил. Я подумала о голубой скамейке на одной из дорожек неподалеку от дома и пошла туда. Но скамья оказалась занята. Подостлав газету, на ней сидел Векслер – тот самый еврейский поэт, седой, с орденами, о котором мне говорили, что он воевал в этих краях. Ветер пошевеливал какие-то бумаги возле него на скамье.

По-видимому, по моей походке ясно было, что я намеревалась присесть, – поэт вскочил и маленькими красными руками стал торопливо убирать бумаги, освобождая мне место. Я ему помешала, конечно, но после такой доброжелательной торопливости невежливо было бы пройти мимо.

У него молодые быстрые глаза, резкая седина и узкий запавший рот старика. Старость и молодость явственно борются на этом лице.

– Это мои стихи, – сразу объяснил он, видя, что я гляжу, как он поспешно запихивает бумаги за борт пиджака, все не попадая в карман. – То есть переводы моих стихов.

– Вы, видно, работали, а я вам помешала, – сказала я. Мне понравилось, что руки у него дрожали, касаясь листков. – Почитайте, пожалуйста, если вам не трудно читать на улице, здесь. Я стихи люблю.

Он посмотрел на меня с сомнением – как это так читать неизвестно кому с бухты-барахты? – но вынул бумаги. Старчески пошевелились губы. Молодо сверкнули глаза. Он развернул один листок.

– Нет, вы сначала прочтите мне по-еврейски, потом перескажите по-русски, а потом только прочитайте стихотворный перевод, – сказала я. – Тогда я лучше пойму.

Он снова пожевал губами. Читать ему, видно, хотелось, но он вглядывался в меня и раздумывал, стоит ли.

Однако начал.

Старческий рот исчез, остались смелые глаза человека, решившегося на отважный поступок: рассказать чужому о себе! Он читал по-еврейски, на идиш. Язык, всегда казавшийся мне безобразным, был в этом чтении прекрасен, как всякий, вероятно, язык, когда его слышишь не в хаосе, а в строю… Запинаясь, не находя слов, – я снова увидела впалый рот и посиневшие пальцы, – он начал по-русски пересказывать мне прочитанное.

Это были стихи о войне. О ночи командира, коммуниста, который наутро, чуть рассветет, должен послать в бой восемнадцатилетних, только что прибывших на фронт. Он знает, что где-то, на другом участке фронта, другой командир – такой же пожилой человек, ком-

мунист, как и он сам, – в это же утро пошлет в бой его восемнадцатилетнего сына… Пересказывая, подыскивая слова, Векслер, сам не заметив того, встал – и я вместе с ним, – и мы пошли мокрой колеей через поле к деревне. Он говорил – прозой пересказывая свои стихи – о предрассветной глубокой тьме и о лицах спящих; как прорезываются сквозь тьму на рассвете мальчишеские лбы, затылки, брови, скулы. И командир невольно среди этих лиц ищет сыновнее, хотя и знает, что сын за сотни километров. Я обходила лужи, а он, от волнения легко, хоть и неловко, перепрыгивал их. Произносил еврейскую строчку, потом подыскивал русские слова. Опять я оказалась у того же буро-зеленого мокрого стога. Мальчики построены, командир вглядывается в лица и в каждом пытается угадать судьбу и этого бойца, и своего далекого сына. Векслер видел, что рассказ его тронул меня, и, наверное, потому ходуном ходила его рука, когда он закуривал, отвернувшись от ветра.

– Ночь слышна в ваших стихах, – сказала я, – и горечь кануна. И даже сыновние черты проступают сквозь чужие лица. Хорошо очень, насколько я могу судить по звуку подлинника и по вашему пересказу. А теперь, пожалуйста, прочтите стихотворный перевод.

Он вынул листки. О, каким, оказывается, бывает некрасивым наш язык, как жестко напиханы в строки слова, как им не хочется стоять рядом! торчат в разные стороны! И ни ночи, ни отчаянья, ни надежды, ни спящих юношеских лиц – одни корявые строчки. Всего лишь слова, насильно втиснутые в размер, а не ночь, лица, канун, пространство между ним и сыном, скорбь.

Крыши низеньких быковских домишек приближались. Женщина в мужских сапогах, мокрая, в грязном платке, с хворостиной шла нам навстречу. Глядя на ее угловатое мокрое лицо, казалось, что солнца и ясной погоды уже никогда не будет. И снега не будет, и книг не может быть, и комнатного тепла… И никакие стихи не нужны.

Я взяла у него из рук листок и стала читать сама, объясняя ему уродство и бессилие каждой строки перевода. Мы повернули. Он жадно курил. Я попыталась сделать для него явственной сухость этого текста, тщетность точности, заставить расслышать мертвое стучание слов.

– Как вы говорите о стихах! – сказал он задумчиво и снова пожевал губами. – Вы, наверное, пишете сами.

– Нет, – солгала я. – Только люблю читать их.

– И никогда не писали?

– Никогда.

Он постоял.

– Вот бы мне такого редактора, – сказал он как-то хозяйственно и деловито. – Такого, как вы. По-еврейски мои стихи будут напечатаны в «Эмес», а по-русски – в «Новом мире», в «Знамени». Я и сам слышу, что у переводчиков выходит не то, а объяснить не могу… Недостаточно знаю русский… Видите эту могилу? – прервал он себя. – На этом месте погиб и здесь же похоронен мой друг, лейтенант Коптяев. Я хожу сюда каждый день.

Перепрыгнув через канавку, мы постояли возле ограды. Тут всюду могилы, куда ни пойдешь, – поначалу они незаметны, они неожиданно показывают свои круглые спины и треугольные обелиски из-за стволов берез или из-под ног, в поле. Эта была обнесена деревянной оградой, выкрашенной в голубенькую краску, – как перила мостика через реку, как беседка в дубняке возле дома. Вот почему, глядя издали, я не узнавала в ней могилы… За оградой стоял невысокий треугольник из дерева, такой же голубенький.

Мой новый знакомый снял шляпу. Лицо его под шевелящейся от ветра сединой приняло строгое выражение. Мне стало неловко. Сдвинув брови, я пыталась представить себе свист пуль, землю под коленями, под животом, под грудью, представить себе эту деревню, видную снизу, с земли, стук пулеметов – но мне не удавалось. Я видела только голубенький заборчик и смешноватого, рано постаревшего человека с напряженным лицом.

«А где Алешина могила? – подумала я, как всегда, как перед любым могильным холмом. – Там… где рассказывал Билибин?.. в горах?.. или в лесу?.. а есть ли там холмик?»

Я подумала о том, как изменил меня возраст. В детстве и в юности я была уверена, что могилы не нужны. А теперь – а теперь мне кажется: самое для меня главное в жизни – найти Алешину могилу.

– Что вы? Идемте! – тревожно спросил Векслер, словно услыхав мои мысли. Мы шли рядом, и он все время поглядывал на меня боком, поворачивая шею быстрым птичьим движением.

– Расскажите, как вы воевали здесь, – попросила я, чтоб он ни о чем не догадался. Вдруг посмотрит на меня пристальнее и увидит – что внутри!

Он стал рассказывать, где была расположена артиллерия, откуда наступала пехота, об атаках, о разведке. Говорит он с акцентом, с неверными ударениями. Я слушала очень старательно, следя глазами за пальцем, вглядываясь в холмы и рощицы и не понимая ровно ничего. Не из-за акцента, конечно, а из-за собственной глухоты к цифрам и топографии. Он говорил о километрах, о номерах частей и боевых операциях. Я кивала. И о сталинском плане разгрома немцев под Москвой, всю гениальность которого он осознал лишь недавно.

– У меня сын погиб, – сказал он наконец. Это я поняла. – На Украинском фронте. Восемнадцатилетний. Как раз в те дни, когда мы здесь возились с этим Быковым.

– Единственный?

– Да. Лютик Имя такое жена придумала. Знаете, такой есть цветок.

Мы пошли к дому.

– Будете слушать еще мои стихи? – спросил он, когда мы вытирали грязные ноги о проволочный половик на крыльце.

– Буду. Непременно.

Гостиная гремела радиоприемником, оживленными голосами, щелканьем домино о столик. Моя комната встретила меня ровно застланной постелью, темным деревом за окном, тишиной – но тревога, пробужденная вчера, не улеглась.

После вчерашнего разговора я еще не видала Билибина. Каким голосом заговорит он со мною теперь? Прислушиваясь к мелодичному бою часов в гостиной, я ждала обеда. Все мешало мне читать: часы на руке, и шаги в коридоре, и отдаленные голоса – все питало тревогу.

– Обедать пожалуйте! – сказала наконец Людмила Павловна сдержанным, но громким голосом где-то неподалеку от дверей.

В опустелой гостиной сидел кинорежиссер и, не мигая, смотрел в приемник, как в камин.

«Вредоносная деятельность последышей буржуазного эстетства, – услышала я, – свивших себе гнездо в кабинетах ленинградского ВТО, была разоблачена полностью».

Рядом со мною спускался по лестнице толстяк-гипертоник. Я увидела, что он вдруг поежился, передернул плечами (словно от холодных капель за шиворотом), и эта судорога невольно передалась и мне. Не знаю, от чего поежился он, а я от слов «свили себе гнездо»… Так и пахнуло на меня тридцать седьмым… Но на ходу я толком не разобрала, кто и где свил себе гнездо на этот раз.

Билибин и Сергей Дмитриевич уже сидели на своих местах. Билибин встал, поздоровался, отодвинул мой стул, сел опять.

– Гуляли? – спросил он любезно. – Ах молодость, молодость… советую вам заняться этим салатом… не то что я, старикан: все больше в комнате отсиживаюсь.

Я смотрела на него во все глаза. Значит, опять, опять он со мной, как раньше, точно и не было вчерашнего вечера!

– Про каких это критиков-эстетов передавали сегодня? – спросила я. – Что-то не разберу.

– Про театральных, – ответил Сергей Дмитриевич, нахмурясь. – Группу там какую-то выискали… Знаете, у нас, бывает, любят перегибать. По-моему, все это сильно раздуто. Среди театральных критиков есть настоящие марксисты, подлинные знатоки театра… Ничего порочного я в их статьях не нахожу. Зеленин, Самойлов… Знающие, талантливые люди. И они-то как раз и попали под удар… Безобразие!

Билибин поднес к моей тарелке салатницу: «Вы разрешите?» – и положил мне полную ложку.

Сергей Дмитриевич хотел еще что-то сказать возмущенное, но Билибин перебил его.

– Был у нас в полку повар, – быстро заговорил он, закладывая салфетку за ворот. – Просто артист, чудодей… Один раз подают мне на тарелке что-то непонятное. Нюхаю – вкусно, пробую – вкусно, а понять не могу. Спрашиваю: чем это, братец, ты меня кормишь сегодня? А это, говорит, товарищ майор, была еж…

Сергей Дмитриевич громко рассмеялся. Я – нет.

– Была еж, – повторил Билибин, глядя на меня желтыми глазами.

…II 49 г.

Сегодня в роще я увидела удивительную ель. Как я раньше не замечала ее! Она стоит величественная, могучая, в тесном кругу берез. В счастливом плену. Я рассмеялась вслух, увидев ее. Березы, будто нарядные девочки, водят хоровод вокруг елки. Всю свою жизнь справляют сочельник.

В роще нынче сыро, серо, вязко. Под ногами – голубоватая слякоть. Но здесь, на воздухе, даже слякоть красива – серебряная, жаль ее топтать. Оглядевшись и увидав, что я совсем одна, я начала читать стихи. Примерять звуки на эти березы, на этот ненадежный снег.

Я прикинула Пушкина, Пастернака, Некрасова, Ахматову. Да, всё отсюда. Всё сюда. «Всё так», как пишется при проверке телеграмм. Все слова растут из этой земли и, надышавшись здешним воздухом, тянутся к небу, как эти березы. Читая, я чувствовала не только прелесть стиха, но и то, как он изнемогает и радуется самому себе. Губы счастливы были встречаться со словами, слова с губами.

Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно,
Невесело солнце всходило:
В то утро свидетелем было
Печальной картины оно.

«Мороз, Красный нос» – сплошная музыка, потоки музыки, – не потому ли в детстве я плакала над каждой строкой? Взять обыкновенные слова «снегом кидала в окно» и сотворить из них симфонию!

Я услышала голоса позади и умолкла. Наверное, люди тоже слыхали меня – люди всегда слышат, когда я читаю стихи сама себе, и это им всегда смешно… Журналист с женой шли позади меня и нагнали.

Она приехала к нему на три дня погостить. Сегодня я уже видела ее издали. Высокая сильная женщина, наверное, красивая, если красота – это стройные ноги и сильный стройный стан. Она казалась особенно крупной, белозубой, сильной рядом с узкоплечим журналистом в очках. Мне некуда было свернуть, и дальше мы пошли вместе. Радость погасла во мне, прогулка была испорчена. Дальше у Некрасова там такие чудеса! Я боюсь и не люблю чужих и чувствую их всегда сразу.

– Это вы читали стихи? – спросила жена журналиста.

– Я.

– Кому же вы их читали? – спросила она, не умеряя быстрого и легкого шага и идя впереди нашей цепочки.

– Себе, – сказала я, – кому же еще?

Журналист мешковато брел позади нас. С тех пор как я увидела его лицо там, на мосту, я думала, что выдра и затейливый набалдашник, быть может, и случайны и не имеют к нему такого уж прямого отношения. Но теперь, когда я увидала ладную фигуру жены, сумку, надетую через плечо, услышала ее голос и смех, – я подумала: нет, и выдра, и набалдашник не зря. Имеют.

Жена приостановилась, вынула из кармана горсть семечек и протянула их мне на ладони:

– Хотите?

– Нет. Спасибо. Ногтями открывать – руки мерзнут, а зубами я не способна.

– Что вы! Ртом – самый смак. И как можно дальше плюнуть! – и, засмеявшись, выплюнула перед собой на тропинку горсть шелухи. Две-три черные скорлупки прилипли к стволу березы.

– А что это вы декламировали? – осведомилась она. – Есенина?

– Нет, почему же Есенина. Пушкина, Пастернака, Некрасова.

– Пастернак очень неясно пишет. Мы недавно с Сережей читали – помнишь, Сергуля, у Степановых? – так даже обхохотались все. Ничего не понять.

Я оглянулась на журналиста. Он шел, робко ссутулясь… Он понапрасну боялся: спорить я не собиралась.

Какая, однако, разоблачающая вещь – жена, думала я, идя позади стройных бедер и веселых плевков. Вот «ртом самый смак» – это представляется ему остроумием; а лошадиная сила и легкость шага – красотой; этот тупой смех – чистосердечием. В этих плевках он видит что-то непосредственное, милое, детское, а может – и близость к народу.

Мы вошли в дом. Супруга зорко проследила, куда и как повесили пальто, поставили боты и палку. Я пошла к себе.

По коридору один, куря, бродил Билибин.

– Гуляли? – спросил он бархатным красивым голосом. – На щеках у вас розы.

Я поглядела на него. Зачем он так со мной говорит? После леса! После того вечера!

Он сразу догадался, что взял неверный тон, и перестал улыбаться.

– Пойдемте после чая. Я постучу к вам. Можно? – спросил он, отбрасывая папиросу, как улыбку.

– Пожалуйста.

Я торопилась в ванну. Какое это наслаждение – горячая ванна после студеного воздуха, блестящий кафель, мутно отражающий очертания тела, запах хвои, охватывающий тело вместе с упругой водой! Если бы еще тишина – наслаждение было бы полным.

Но нет, в соседней кабине, отделенной от моей зыблющимся суровым полотном, я услышала голос темноглазой дамы – Валентины Николаевны. Не голос, а голосок.

– Долго мне еще? – Она шлепнула ладошками по воде. – А если я больше не хочу?

Мне стало смешно. Я сразу услышала по ее голосу, что говорит она не для меня и не для Гали – дежурной по ванной. Иначе зачем ей было быть такой хрупкой, ребячливой, плескающейся? И в самом деле, где-то неподалеку от нас кашлянул кто-то баском. Кажется, кинорежиссер.

В двух соседних кабинах – одной смежной со мною и другой последней в нашем ряду – беседовали, принимая ванну, двое писателей-приключенцев. Один приключенец-фантаст,

другой – приключенец просто. Я не раз видела их в гостиной, многозначительно молчащими над шахматной доской.

– У вас «Олимпия»? – спросил теперь один.

– Нет, «Корона» – новой серии, портативная.

Молчание. Сопение. Плеск воды.

– И сколько вы делаете страниц в день? – допрашивал приключенец просто.

– Ну, это зависит… – отвечал фантаст. – Если какие-нибудь описания природы – то можно и пятнадцать-двадцать сделать… Или психология героев, тогда быстро. А вот если что-нибудь техническое… тогда, конечно, медленнее идет. Труднее.

Замолчали. Обдумывают новый вопрос из области литературной теории.

Я услышала в кабине Валентины Николаевны бульканье. Она, видимо, открыла кран и напускала в ванну воду.

– Доливать горячую нельзя. Доктор не разрешает. Холодную сколько хотите, – строго сказала Галя.

– А если я хочу горячую? – говорила Валентина Николаевна и плескалась. – Пусть себе доктор сам в такой холодной купается, а я люблю погорячее. У меня такой характер: люблю все горячее.

Я еле удерживалась от смеха.

Я уже знала, что Валентина Николаевна, бывшая служащая Союза писателей (она работала в отделе кадров), недавно вышла замуж за лауреата Сталинской премии Заборова. Он сейчас кончает переговоры с прежней женой: кому останется дача, кому квартира; договорится и тогда приедет за Валентиной Николаевной. А пока она принимает ванны и кружит головы приключенцам и кинорежиссеру. Все они изза нее уже променяли шахматы на бильярд; а фантаст даже обещал изобразить ее в виде женщины будущего в своем романе.

– Люблю все горячее, – повторила Валентина Николаевна.

Однако приключенцы, занятые проблемами творчества, не отозвались на ее призывы. Подал голос только Ладо. Слов его я не расслышала, но Валентина Николаевна радостно закричала: «Ах, нахалитэ!»

– Ну, а когда кончаете рукопись, – расспрашивал приключенец просто, – показываете кому-нибудь или сразу в печать? Из литераторов кому-нибудь?

– Никому, – строго отвечал фантаст. – Все они эстеты, все до единого, уверяю вас. Массовый читатель – другое дело… Я сразу проверяю на массовой аудитории.

– А я показываю жене, – сообщил просто, – ни в каких этих институтах она не училась, но у нее от природы абсолютный вкус.

Я вернулась к себе. За окном метель штрихует воздух, мою елочку на холме и, наверное, ту ель в лесу – пленницу берез. Очень деловитым движением, всё в одну сторону, в одну, в одну. «Хорошо, что метель, – думала я, – а не слякоть. Нам хорошо будет идти по снегу».

Я прилегла после ванны и мгновенно уснула. Проснулась – метель утихла, заря розовеет на своем месте за окном. Скоро и она померкнет. Тогда настанет время, когда мы отправимся.

Чай пить я не пошла. Уселась за стол читать и ждать. И так как я не сомневалась, что он непременно придет, ожидание мое было легким. Я читала с интересом. И прислушивалась к шагам в коридоре. И одно не мешало другому.

Он придет сюда, в эту комнату, и сразу станет опять таким, каким был в лесу. И расскажет мне о потусторонней жизни еще и еще. Вестник! И как он мог – как у него хватило сил – пережить это! Спрошу, что помогло ему выдержать.

Шагов было много, но все не его. Я удивилась, что, оказывается, уже так хорошо знаю его шаги: тяжелые, но проворные и какие-то вкрадчивые.

Один раз мне почудилось – это они. Скрипнула половица у самой двери, а вместе со скрипом у меня упало сердце. Сюда? Нет, мимо.

Мне стало стыдно, что сердце упало.

Я взяла муфту, перчатки, шарф и пошла вниз одеваться. Пойду одна. Ему, значит, не хочется рассказывать дальше, или он просто забыл про наш уговор… Что ж, это понятно. Такие рассказы не радость.

По дороге я заглянула в гостиную – может быть, он там? Нету. Я сделала два шага вниз по лестнице – и вдруг, сама того не ожидая, вернулась и пошла по коридору к комнате номер 8…

Одинаковые двери. Я вглядывалась в номера: 4, 5, 6. А вот и 8.

Я постучала.

Ответа не было.

Может быть, номер не тот? Я отступила на шаг, подняла голову, глянула… Нет, тот.

Постучала еще раз.

Ответа не было.

Но изнутри мне послышался какой-то странный звук. Я толкнула дверь и вошла.

На низкой широкой постели, поверх одеяла, одетый, грузно лежал Билибин. Настольная лампа лунным светом освещала его лицо и широкую грудь. Подойдя ближе, я увидала, что глаза у него раскрыты и во всю силу глядят на меня, а одна рука свисает с постели. Он не двинулся, когда я подошла и остановилась над ним. Мне померещилось, что глядит он не на меня, а просто перед собой. Глаза казались неподвижными, черными.

Нет, на меня. Не шевеля головой, он следил за мной глазами, когда я ближе и ближе подходила к постели. – Вам плохо?

Что-то дрогнуло в его синих губах. Он что-то сказал мне, он произнес несколько слов, но не было слышно – каких. Он даже улыбнулся, и, как мне показалось, насмешливо. И оттого что при полной неподвижности он что-то силился сказать мне губами, и от неудачности этих попыток – мне было страшнее, чем если бы он застонал.

И этот лунный свет лампы у него на лице и руке!

Я взяла тяжелую руку и, осторожно согнув, положила ее ему на грудь. И сама испугалась своего движения: так складывают руки мертвым.

Я кинулась вниз, в дежурку, к врачу. Застала и докторшу, и сестру. По тому, как после моих слов обе они сразу, словно наперегонки, побежали вверх по лестнице, я поняла, что они гораздо лучше осведомлены о его болезни, чем я. «Отчего же это у него звонок в неисправности! – сказала одна другой на бегу. – Надо же, как раз у него».

Я уселась в гостиной – ждать. Так и сидела с муфтой на коленях, ожидая выхода врача. Сестра выбежала, потом вернулась – снова бегом! – неся с собою металлическую коробку, какие-то ампулы, шприц, – я все сидела, ожидая, когда выйдет врач.

«Зеленин (Зеликсон), – помолчав, сказало радио, – третирует советскую драматургию на том основании, что она преподносит якобы историю «смягченной и трогательной». Советская литература не устраивает этих тонких эстетов своим якобы примитивизмом».

Диктор мешал мне прислушиваться к звукам из комнаты напротив, но я не догадывалась выключить радио и сидела, машинально чертя пальцем на муфте слитные стенографические формы готовых понятий.

«Советский патриотизм, принципы социалистического реализма, – продолжал диктор, – не по нутру этим выученикам гнилого штукарства».

«Гнилого штукарства» – эти слова пришлось бы, пожалуй, написать каждое отдельно. Такой слитной формы еще не было.

Наконец докторша из его комнаты вышла.

– Что с ним?

– Приступ стенокардии. А звонок был испорчен… Ему повезло, что вы зашли как раз в ту минуту, – могло быть гораздо хуже. Сам он не мог шевельнуться… Камфару сделали, кордиамин сделали… Теперь нужен только покой. Сестра посидит у него, монтера я направлю. Вечером, если хотите, можете навестить, но с условием: не позволяйте ему много разговаривать.

Нет, я не позволю. Я только спрошу у него, что он пытался выговорить, когда я вошла.

Я вернулась к себе. Оставила наконец муфту, перчатки, кашне. Спустилась к ужину. За моим столиком сидел Сергей Дмитриевич с женой. «Что это с нашим соседом? Говорят, захворал, бедняга. Будете навещать – поклонитесь ему». – «И от меня привет передавайте, – сказала жена. – Я уж призналась Сергею: неравнодушна! Ногти полирует – такой стильный. Лоб – красота! Влюбилась в твоего писателя, хоть ты что».

Сергей Дмитриевич сообщил мне, что сам он, к сожалению, не сможет навестить больного: уезжает с женой через час в Москву.

– Что так? Ведь вы как будто не собирались.

– Да, знаете… совещание в редакции… Жена говорит: неловко. Надо выступать, хоть я и в отпуске. Редактор будет недоволен, если я отмолчусь.

– А совещание по какому вопросу?

– Да вот по поводу наших космополитических ошибок Конечно, некоторые перегибают палку, но нельзя не признать, что космополитические ошибки были… И в частности, в нашем отделе.

В девять часов я снова постучала к Билибину. «Войдите!» – сказал голос сестры.

Он лежал уже под одеялом, раздетый и укрытый до пояса, в белой рубашке, делающей еще шире его широкую грудь. Лампа освещала уже другое, не серое, не синегубое лицо. Глаза смотрели спокойно и зорко. По-ястребиному.

Он обрадовался мне, пригласил сесть.

– Так вы уж подежурьте у нашего больного, а я пойду поужинать схожу, – сказала сестра и вышла. – Если что – звонок.

– Жаба у меня, – сказал Николай Александрович глуховато. – Здорово схватила. Если бы не вы – быть бы мне на том свете. По-старинному «каюк», а по-теперешнему называется «инфаркт». Второй бы уже. И нитроглицерин ведь был возле, но я не мог пошевелиться…

– Что вы сказали мне, когда я вошла к вам тогда? Хотели сказать?

– Вот до чего доводит работа в горах, – произнес он почти по складам.

Мы снова посмотрели друг на друга, как в лесу, на тропинке – прямо, не опуская глаз.

…II 49 г.

Сегодня все еще метет, метет, и у метели трогательно озабоченный вид. Крестит, крестит, заметает следы. Будто говорит домишкам, елкам и нам: спите, дорогие, ничего, ничего, все пройдет, «все вздор один»…

Роща не хрустальная больше, а мягкая, уютная, разлапистая, пуховая. Вся в пышно взбитых сугробах.

На глубокой тропинке, усыпанной мягким, пушистым снегом, ни одного следа, и я ступала бережно, осторожно: первая. Снег обволакивает и душу, как тропинку, мягким. Колючки я отбрасывала, выкидывала: газетную галиматью о космополитах, память о Елизавете Николаевне, чей голос сейчас оскверняет воздух Катиного жилья. Покой сходит на душу от этой несверкающей, мягкой, пушистой белизны.

С утра, когда все еще спали, я легко спустилась под воду и работала долго. Уже труднее было не писать, чем писать. Память услужливо подавала мне лица, голоса, минуты. Потом, после завтрака, я отправилась в рощу. Писала я о страшном, а двигаться сегодня мне было легко; наверное, оттого, что я знала: в комнате номер 8 лежит Билибин и ждет меня. Он ждет, а я приду еще не скоро. Его ожиданием была до краев полна роща, и, бережно ступая по

тропинке, я слышала течение минут, которые он отсчитывает у себя в комнате. Что мне в этом человеке? Кто он мне? Я не знаю. Но я не сомневалась, что в часы, проведенные мною в роще, он чувствовал мое отсутствие – и от этого она сегодня такая затягивающая и мне так хорошо бродить. И думать – совсем не о нем. И даже не о вестях с того света.

Я остановилась посмотреть на березы. Они стояли в сероватом дыму, а вверху серое было нежно окрашено розовым. Я оглядела небо – может быть, где-нибудь еще лучится заря? Нет, откуда же ей оказаться здесь среди бела дня! Я вспомнила блоковское:

…Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.

Читая эти стихи, я всегда удивлялась: почему пурпурово-серый? Откуда? Разве пурпурово-серый бывает в природе? И сегодня увидела розовеющие серые вершины берез.

Отсюда я начала думать о Блоке, уже не о его русских березах, а о его русском пути, на котором он встретился со всеми нашими великими – с Толстым, с Достоевским, с Некрасовым, с Гоголем, – о том пути, который в России с небес поэзии неизбежно низвергает поэта на землю нравственности. За чертой горизонта, там, вдали, сходятся это небо и эта земля… Горе обретает там музыку, а песня – правоту.

Недаром славит каждый род
Смертельно оскорбленный гений.

И все, как он, оскорблены
В своих сердцах, в своих певучих…

Это Блок.

Я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви, —

сказал Маяковский, смертельно оскорбленный гений следующего поколения. Слово «коммунизм» означало для него справедливость, а без справедливости не могло быть ни любви, ни искусства, ни самого дыхания. Пути их похожи, как почти все русские пути, и концы похожи: земля, на которую оба они бросились с небес поэзии, разверзлась под ними пропастью и поглотила их.

Я глянула еще раз на березы. Серое стало гуще, розовое померкло.

Дома, у себя, я посидела возле трубы парового отопления, отогрела руки и ноги. И пошла к Билибину.

Выйдя из своей комнаты, я нос к носу столкнулась с Векслером. Мне не понравилась та растерянная, даже чуть жалкая улыбка, которой он встретил меня.

– Ну как? – спросил он. – Что это вас не видно? Вы на прогулку?

– Нет, – ответила я, – я уже вернулась. Теперь иду навещать Николая Александровича.

– А мне нельзя с вами?

«Я иду слушать то, чего он при тебе не расскажет! – хотела я ответить. – Я иду слушать вести *оттуда*. Вести об Алеше с другой планеты. При чем тут ты? Это *мне* поверил Билибин, а тебя он не знает».

– Доктор велел навещать его поодиночке, чтобы он не утомлялся, – придумала я. – У него был тяжелый сердечный приступ, вы знаете? Ему грозит инфаркт, при этом – второй. Сейчас с ним побуду я, а перед ужином вы зайдите.

Векслер отошел, маленький, старый, не то поклонившись, не то пожав плечами.

Я постучала.

– Приветствую! – загудел он. – Вспомнили-таки близнеца-соседа, зашли наконец навестить? Ну как сегодня, был мусс или нет? А мне не дают: желатин, говорят, вам вреден. Верь врачам – с голоду помрешь.

Я молчала, ожидая, когда светские интонации иссякнут.

– Это что же, вы *там* нажили болезнь сердца? – спросила я.

– Там. Инфаркт случился позднее, на войне, но началось все там. А какой я был здоровяк раньше! Вы бы видели!

– И все пять лет вы проработали в шахте?

– Нет, первые два – лесоповал, – проговорил он, опасливо покосившись на дверь и потом почему-то на потолок. – Сначала в лесу, а через два года шахта. Спасла меня война. В армии был, Берлин брал.

И шепотом начал рассказывать.

Не про Берлин. Не про Му-Му-2.

Наверное, о лагере ему не часто доводилось разговаривать, потому что говорил он с такою же ненасытною жадностью, с какою я слушала.

Это не был связный рассказ, а словно какие-то пятна бродили у него в памяти, проступали наружу и сейчас же делались зарубками в моей.

Теплушка. Сутками люди едут стоя. Мертвые падают на плечи живым.

В пересыльной – это еще в Москве – был знаменитый один надзиратель. Он баловался тем, что мешал заключенным спать. Толкнет кого-нибудь ночью в плечо, разбудит и заставит поднять с полу окурок. Или просто гаркнет над ухом. Так, для потехи. Ни для чего. Чтоб поглядеть, как человек подскочит.

Был один случай. Билибин тогда в лесу работал. Их уже построили утром, чтобы вести. Охраняли их солдаты и еще собаки. Овчарки. Собаки обучены бросаться на человека, если он сделает шаг прочь из колонны. Заключенный – был он, помнится, из Ленинграда – получил накануне письмо от жены. И наверное, в бараке не успел его прочесть или перечесть хотел, я не поняла. Он потихоньку вынул из кармана письмо и начал читать. Когда уже стояли в строю. Вдруг ветер выхватил у него из рук листок и понес. Он за ним, вон из колонны… тогда на него кинулась собака и загрызла его.

Билибин помолчал. Я тоже. Он устал сидеть, лег и вытянулся на постели во всю длину.

– Хорошо, что мне не был известен Алешин адрес, – сказала я. – «Без права переписки». Он не мог выронить мой листок. Его не могла из-за меня загрызть собака.

– Придвиньте ваше кресло сюда, – вдруг попросил Билибин.

Я придвинула. Голова его все глубже уходила в подушки. Я наклонилась. Торопливо и жестко, боясь причинить мне боль и жесткостью одолевая эту боязнь, Билибин объяснил – каким-то даже деловитым голосом, – что я неверно представляю себе Алешин конец. Его никуда не везли, ему не угрожали ни теплушки, ни собаки. Все кончилось гораздо раньше. По мнению Николая Александровича, «10 лет без права переписки» – это просто условное наименование расстрела. Чтобы не произносить у окошечка слишком часто «расстрелян», «расстрелян» и чтобы в очереди не поднимался плач.

– Всюду не очень-то нам позволяли переписываться, – сказал он. – Но лагерей таких особых – «10 лет без права переписки» – вовсе не было. И приговора такого. За это я вам ручаюсь.

Он опустил веки.

– Так лучше, – сказала я. – Без овчарок. Все равно там он не выжил бы. Он был очень сильный человек, и смелый, но неприспособленный… к… лесоповалу. Сильный, но слабый.

Билибин молчал.

Не знаю, что видел он, а я видела стену. Алешины последние шаги и солдат, ожидающих команды.

Ночью это было? Днем, при солнце? Где я была в эту минуту? Провожала ли его мыслью?

Только, кажется, сейчас все это делается совсем не так. Это что-то из девятнадцатого века: солдаты, стена. Сейчас по-другому.

Билибин открыл глаза. Услышав мои мысли, он сказал:

– Это делается внезапно. На переходе. В затылок.

Говоря, он уминал головой подушки. Наверное, он чувствовал в эту минуту свой затылок, как и я. Берега подушки расступились, и теперь лицо его лежало в глубине.

– Вот и всё, – сказал он. – Всё.

– Спасибо вам, что не пощадили себя и меня.

– Вы не плачете?

– Нет. Если вы… и другие люди… могли это пережить, то мне не пристало плакать.

– Приходите завтра пораньше.

Я протянула ему руку. Он медленно, трудно приподнялся на локте, тяжело поворотил на бок свое грузное тело и взял мою руку в свою. Поцеловал ее, потом посмотрел на меня и поцеловал еще раз.

Я ушла.

…III 49 г.

Итак, они его просто убили. И все мои тогдашние очереди в Ленинграде и в Москве были зря. И заявления. И письма. И просьбы о пересмотре дела. Все было – поздно. Когда я еще моталась от одного окошка к другому, Алеша давно уже лежал в земле.

Где они его закопали?

Убив его, они продолжали лгать мне долгие годы.

«Оснований для пересмотра нет». «Кончится срок, он напишет вам сам». «Сведений о смерти не поступало». И в последний раз, два года назад: «Может, жив, может, умер, а я почем знаю? Мы вам не ЗАГС, гражданка. Нам о смерти не сообщают. Обратитесь в ЗАГС».

Как это ни странно, ночь я спала.

Может, для Алеши и в самом деле так было лучше?

День выдался нерабочий, тревожный. Он, как на блюде, подавал мне всё новые и новые тревоги – и в газете, которую я прочла за завтраком, и на прогулке, и дома. Спуск сегодня не состоялся, встреча с Билибиным оказалась пустая… Тревожило все.

По дороге в столовую я разыскала в гостиной последнюю «Литературку» и, завтракая в одиночестве, прочитала ее от строки до строки.

Передовая: «Выше знамя большевистской партийности!»

«Надо признать, что журнал «Знамя» снизил идейно-художественное качество публикуемых материалов и напечатал ряд идейно-порочных и неполноценных в художественном отношении произведений с космополитическим душком и формалистическими вывихами».

Отчет о собрании в «Литературной газете», и там, среди других выступлений, выступление милого, мягкого Сергея Дмитриевича:

«Товарищи, я должен по-прямому, по-партийному признать, что с большим запозданием, только в последние дни, благодаря острой критике со стороны партийной печати спала с моих глаз пелена, возникшая благодаря приятельству».

Вторая полоса: «Космополиты из журнала «Театр»:

«Идеалист и формалист, матерый представитель компаративистской школы, яростный сторонник всего иноземного, профессор Шумилов (Шнеерман) злостно, на протяжении всей своей жизни протаскивал унижающие достоинство советского человека теорийки, засорял головы нашей молодежи антипатриотическими, антинаучными утверждениями».

На третьей полосе: «Космополит о замечательном советском актере»…

Сквозь чистое стекло я поглядела на маленькую елку, на сверкающую отлогую скатерть снегов – словно перекрестилась, прося защиты и помощи. Но слова статей кололи мозг, как давно застрявшие там занозы, впивавшиеся теперь глубже и глубже. «Идейка», «школка» – я все это уже читала. И «Выше знамя!» – только тогда было «бдительности». И «матерый» – только тогда чаще всего это был «двурушник» или «враг» (слитные формы: «Выше знамя большевистской бдительности!» и «матерый двурушник»). И этот до ужаса примелькавшийся дефис в определении «идейно-порочный» – даже этот дефис – оттуда… Слитные формы, кувыркающиеся в пустоте.

Я с трудом глотала творог. Мне казалось, что, если я отнесу газету обратно в гостиную, оставлю ее там, а сама уйду в рощу и надышусь чистым воздухом – отрава уйдет из меня, как уходит угар. Но в роще – встреча за встречей, одна горше другой. Все разные и все твердящие о чем-то одном, словно какой-то режиссер нарочно поставил их, желая усилить мою тревогу.

Мне навстречу шла девушка, которую я часто видела в коридоре, – уборщица или санитарка, не знаю. Совсем молоденькая, но постоянная хмурость старит ее. Сейчас перед нею, быстро семеня ногами, рысцой бежала девочка лет шести-семи. Все на девчонке не впору, с чужого плеча, с чужой ноги: большие валенки, большой, не по росту, засаленный, с оборванными пуговицами ватник, большой черный платок, повязанный крест-накрест, так, что узел приходится впереди, чуть повыше колен. Платок налезал ей на щеки, на лоб, то справа, то слева, и я, щурясь и вглядываясь, никак не могла разглядеть ее лицо… Обе они, взрослая и маленькая, увидав меня, сошли в снег, уступая мне тропинку, и маленькая совсем провалилась.

– Теперь домой пошла! – приказала сурово старшая девочке и быстро зашагала по тропинке к санаторию. – Напровожалась! Кому говорю – домой! Там Витька твой орет уже! Домой иди, слышишь?

Маленькая заморгала глазами, потянула носом, попробовала рукавом отодвинуть со лба платок.

Я взяла ее под мышки и переставила обратно на тропинку. Она смотрела вслед старшей, быстро шагавшей между берез.

– Сестра? – спросила я, наклонившись.

– Двоюродная, – охотно ответила девочка. – Наше фамилие Симаковы, а ихнее Ласточкины.

– А зовут тебя как?

– Лелька.

Она все стояла, глядя в спину сестре. Та уже подходила к корпусу. Лицо у девочки было синеватое, цвета снятого молока.

– Ну что же, давай знакомиться, Лелька, – сказала я. – Ты что же никогда не приходишь к нам? В гости? Твоя двоюродная где работает? Привела бы тебя в кино, у нас интересные картины бывают.

– На складу… А нам в корпус нельзя.

Она повернула и зашагала по тропинке обратно, и я за ней следом. Среди снегов, в черном платке, нескладная, спотыкающаяся, в огромных валенках, она была похожа на маленькое ожившее огородное чучело.

– А почему вам в корпус нельзя?

Лелька ответила, продолжая шагать и не поворачивая ко мне головы:

– Там писатели живут… А мы грязи натопчем. Людмила Павловна сказала: «увижу – уши оборву!» А Тонька сказала: «не бегай ты ко мне, еще из-за тебя с места сгонят».

– А твоя мама где?

– На картонажной работает. В Загорянке.

– А отец?

– Без вести.

Я постояла, посмотрела ей вслед. Она шла, черная среди берез, как маленький пенек.

– Леля, до свиданья! – крикнула я. Она попыталась повернуться, но запуталась в платке и крикнула не мне, а вперед: – До свиданьица!

Я пошла по боковой тропе. Белые пушистые подушки уютно разместились на черных ветвях. Иногда не понять было, на чем они держатся там: тоненькие голые ветки, и на этих прутиках целый пушистый шар! Расположился, едва прикасаясь к ветвям, и лежит как ни в чем не бывало. Маленькие елочки, тепло укутанные снегом, были похожи на детский сад, заботливо выведенный на прогулку… «А мы грязи натопчем!» занозой торчало у меня в сердце. И я со злобой посмотрела на полную даму в модном черном пальто и пуховом платке, которая двигалась мне навстречу. Это была Людмила Павловна.

«Вот легка на помине! Интересно, а из лесу она их не гоняет?» – подумала я.

Глядя на ее плавную походку, я вспомнила, как она недавно помешала мне работать. Когда все ушли в кино и наступила надежная тишина, которая продержится, я знала, около двух часов, – я села за стол «спускаться». И вдруг, когда ясно встал передо мною тот день, который я хотела вызвать из прошлого, – все зачеркнуло щелканье дверных замков в коридоре. Кто-то открывал двери комнат, входил внутрь, потом выходил обратно, запирал комнату и шел в другую. Щелкали запираемые и отпираемые замки.

С пером в руке я вышла в коридор.

В комнате напротив (где жила приятельница Ладо), перед зеркалом, во всем величии золотой прически, пышного бюста и необъятных боков, поворачиваясь то так, то этак, вполоборота ко мне стояла Людмила Павловна.

Хозяйки в комнате не было.

– Ах, я думала, вы тоже ушли, – сказала Людмила Павловна, слегка смутившись. – Сегодня интересное кино, все там, только тяжелое очень, я не пошла, я слишком переживаю… А у меня в жизни и так слишком много переживаний…

Она вышла в коридор и заперла за собой дверь.

– Запуталась я совсем, – пояснила она в ответ на мой вопросительный взгляд. – Тут в какой-то комнате зеркало есть, где я выглядываю потоньше немного, не такая солидная… Пока все кино смотрят, я хожу, ищу… Смешно, правда? Но женщина всегда женщина, даже в сорок лет, не правда ли, Нина Сергеевна?

«Не сорок тебе, а пятьдесят пять, – подумала я тогда. – И не только глядеться заходишь ты в комнаты, отпирая их своим ключом, когда хозяев нет дома».

Все это я вспомнила теперь, глядя на приближающуюся Людмилу Павловну. «Не худеешь, жиреешь», – злорадничала я. Но когда она оказалась шагах в десяти от меня, злость моя исчезла. Людмила Павловна плакала. Под одной рукой она несла какой-то тяжелый ящик, а другою утирала глаза, сжимая в комок маленький мокрый платочек… Наверное, она думала, что в роще не встретит никого, и дала волю слезам. А тут я. Снега, снега по обе стороны тропинки… Никуда не свернешь.

А ящик был, видно, тяжелый и неудобный, она еле тащила его, он колотит ее по толстому боку, а слезы текут обильно, и краска от ресниц прокладывает черные дорожки на бело-розовом лице.

– Что с вами, Людмила Павловна? Дайте я понесу немного… Ну хоть подержу… А вы отдохните… Вот поставим его сюда, на пень… Ничего ему не сделается… А вы сядьте сюда… Вот тут… Я смахну.

Я не знала, что делать и что говорить. Сгребла с широкого пня снег, бросила на него свою муфту и усадила на муфту Людмилу Павловну. Потом дала ей чистый платок Она высморкалась, вытерла слезы и, испуганно глядя на меня, на тропинку, на корпус, наконец заговорила. Шла она с почты. Говорила нескладно, шепотом, ерзая на своем пне и хватая меня за руки. Из ее объяснений я поняла, что у нее была младшая сестра («мы давно сироты, и я ее любила, как дочь») и эта сестра необыкновенно удачно вышла замуж («муж такой интересный – теперь таких нет… и прямо молился на нее… ревновал ее к стулу, на котором она сидела…»), а в тридцать седьмом его арестовали («вы слышали – тогда многих посадили профессоров, а он был профессор, невероятно культурный, теперь таких нет») и пропал, а ее отправили в лагерь. В прошлом году она вернулась – не в Москву, правда, в Москве им прописки не было, а во Владимир, там устроилась на работу («специальности нет, так она в ясли пошла») и жила прилично, тем более что Людмила Павловна регулярно посылала ей посылки. («Знаете, из Москвы нельзя, а отсюда, со станции, можно».) И вдруг вчера она получила повестку с почты, и сегодня ей вернули посылку. Надпись: «Адресат выбыл»… А одна женщина в очереди – у нее во Владимире мать – сказала, что там всех бывших ссыльных в одну ночь переарестовали и отправили куда-то на Север… («Она сказала такое слово… я забыла… совсем ума решишься от этих переживаний… как-то похоже на вторник – ах да, «повторники» – это значит во второй раз… тех, кто уже один раз был».)

Людмила Павловна умолкла. «Повторники», – стучало у меня в голове. Она молча сидела на моей муфте, покрывая мой носовой платок черными разводами туши.

– Вы здесь замерзнете, – сказала я, не зная, что говорить. – Идемте, я помогу вам донести ящик.

«Повторники». Их, тех же самых, выпустив, берут второй раз. Туда же.

Мы пошли.

«Значит, и Билибина могут…» – подумала я.

– Только несите адресом к себе, вот так, – попросила Людмила Павловна. – А то увидят адрес и сразу догадаются… Владимир – самое место ссыльных… В Москве им прописки нет, а там прописывали… А теперь всех оттуда… Я в анкете не указываю. Наш директор в прошлом году санитарку уволил: она мужа репрессированного не указала… Как вы думаете, опять начнут сильно сажать? И все из-за этих евреев!

– Что из-за евреев? – спросила я, остановившись.

– Да вы разве не читаете газет? – зашептала Людмила Павловна. – Опять там какой-то заговор, опять они что-то мутят, какие-то открылись космополиты. Они заговоры устраивают (родственники-то у всех за границей), а из-за них невинные люди мучаются. Разобраться-то трудно. Лес рубят – щепки летят… Из-за каких-то там беспаспортных бродяг, предателей родины, честные люди терпят. Вы думаете, органам легко разобраться, когда их так много?

Я чуть не швырнула ее ящик в снег, но что сказать – не нашлась. Как извлечь этот сор из ее бедного мозга? Вот, значит, зачем изрыгают газеты и радио свое навязчивое тупое вранье. Ведь это не стихийный антисемитизм, не тот, заново прилетевший к нам из фашистской Германии во время войны, когда в очередях снова заговорили: «евреи-то сыты», «евреи умеют устраиваться», и одна торжественная старуха-узбечка сказала при мне старухе-еврейке: «мои узбекские глаза тебя не видят…» Это не стихийное безумие, столько раз охватывавшее

в прошлом темных людей, это нарочито организуемый, планомерно распределяемый бред, бред с заранее обдуманным намерением. Я только сказала беспомощно: «Ну при чем тут евреи?» Мы дошли до крыльца одного из финских домиков: здесь жили служащие. Людмила Павловна плавно поднялась на крыльцо, я передала ей ящик.

– Вы очень любезны! – громко произнесла Людмила Павловна, будто отпуская проводившего ее кавалера.

Я постояла немного, не зная, куда теперь. Я так ясно увидела неизбежную связь: снова ложь, из-под которой снова хлынет кровь. Словно я рукой потрогала и ту и другую.

«Повторники»… Снова Билибин. Я вспомнила, что слышала это слово еще в Москве. Еще в прошлом году.

Домой мне было рано. Я пошла по дороге к шоссе, Я полагала, что на сегодня с меня хватит, но тот режиссер, который поставил мой сегодняшний день, решил иначе.

На середине спуска с горы меня нагнал и, пыхтя, пошел со мной рядом унылый толстяк-гипертоник. Нечего делать, я пошла медленнее – ему нельзя быстро ходить. Несколько шагов мы прошли молча.

– Какое у вас сегодня давление? – машинально спросила я.

– Не снижается, – ответил толстяк, – 190 на 110. Вот иду навстречу Екатерине Ивановне. Она обещала привезти из Москвы новое лекарство.

Екатерина Ивановна – это наш доктор.

– Вам, наверное, лежать надо, – сказала я, глядя на его уныло свисающие усы. Мы спускались с той же горы, что тогда, когда впервые пошли гулять вместе – Билибин, я, журналист. Только теперь было светло; лес, осыпанный снегом, казался приветливым, добрым; и потому тот темный вечер отошел далеко в прошлое. И еще потому, что тогда я совсем не знала Билибина, а теперь…

Я посмотрела на мягкий белый горб могилы, на мостик внизу… Могильный обелиск был увенчан большим снежным шаром.

– Вы читали сегодня газеты? – посапывая, спросил толстяк. – Наш Сергей Дмитриевич целую речь произнес…

– Да, ужасная гадость, – сказала я и попридержала толстяка за рукав, потому что он чуть не поскользнулся. – Вот обедаешь каждый день с человеком, человек как человек, и вдруг он начинает дудеть в одну дуду с негодяями… И сам он говорил мне, еще дня три назад, что эти критики – отличные знатоки театра…

– Что поделаешь… Жена, дети… – мирно, со вздохом, сказал толстяк. – Знаете, человек семейный не может рисковать…

Он остановился, задыхаясь, и начал перематывать свой грубый рыжий шарф – единственную теплую вещь на нем. Он был в плохоньком осеннем пальтеце. Короткие ручки подымались с трудом, лицо побагровело, глаза вытаращились. Мне хотелось помочь ему перевязать шарф, как мальчику, но я не решилась. «Как же он пойдет наверх, в гору, если с горы задохнулся?» – подумала я.

– А ваша жена в Москве? – спросила я, чтобы сказать что-нибудь.

– Нет, – толстяк справился с шарфом и снова заковылял вниз. – Ее немцы сожгли.

– Что? – крикнула я.

– Да, сожгли. В гетто. В Минске. И двоих детей. У нас было трое детей. Два мальчика и девочка. Гриша, Яша и Соня. Теперь у меня один остался сын, Яшенька. Сейчас он у тетки, пока я здесь лечусь. А так мы с ним вдвоем живем.

Мы дошли до мостика. Я не видела мостика. Сожгли, сожгли жену и детей. Как у Пушкина сказано? «Трещит затопленная печь… Приятно думать у лежанки». Я спихнула с перил большую белую подушку. Надо представить себе это ясно: жгут поленья и жгут детей. Но сердце не хотело, чтобы я себе это ясно представила… Толстяк стоял посреди мостика и гля-

дел вперед, в ту сторону, откуда ждал докторшу. Имена Гриши и Сони стесняли мне дыхание. Надо было сделать разговор обыкновенным, чтобы снова научиться дышать.

– В каком районе вы живете в Москве? – осведомилась я, как будто после того, как у тебя сожгли детей, район, где ты живешь, имеет какое-нибудь значение.

– На Красной Пресне.

Мы продолжали стоять.

– Ваш мальчик ходит в школу – Яшенька? – по-дурацки спрашивала я. Каждое мое слово казалось мне фальшивым. О чем можно говорить, о чем спрашивать отца, мужа после того, как у него сожгли жену и детей? Я и раньше знала, разумеется, что немцы сжигали евреев, но впервые видела человека, который пережил это. Толстяк отвечал наивно и очень доверчиво. Он рассказал мне, какие отметки у его единственного несожженного сына и как Яшенька сам утром застилает свою постель и кипятит чай.

– И что же… хорошая школа? – спрашивала я, боясь, что он замолчит и мне снова надо будет думать о Грише и Соне.

– Хорошая, – ответил толстяк. – Спортивный зал и горячие завтраки. Только вот… интернациональное воспитание там слабо поставлено… Мой Яша плохо выговаривает «р», и другие дети дразнят его.

Он сказал очень кротко: «другие дети», а не «мальчишки», и не произнес слова «антисемитизм», а именно так: «интернациональное воспитание поставлено слабо». Он задыхался не более, чем обычно, и круглые глаза таращились не более, чем всегда. Ну а с меня было довольно вопросов, простреленных затылков, собак, печей, повторников. Завидев издали вязаную шапочку нашей докторши, я решила, что на попечении Екатерины Ивановны могу оставить больного. Простилась – до обеда! – и пошла к дому.

Мне хотелось скорее, скорее к себе – нет, не к себе, а в комнату номер 8. Рассказать ему про все: про газеты, про Людмилу Павловну, про ящик, про толстяка и, если в силах буду выговорить, – про детей. Но когда я со слезами в горле вошла в комнату к Билибину, у него сидели фантаст-приключенец и Валентина Николаевна. Фантаст объяснял корни сионизма в нашей стране, которые необходимо выкорчевать. Билибин не стал спорить, а стал объяснять, что люди будущего будут питаться не супом с котлетами, не овощами и хлебом, а особыми питательными таблетками. Проглотишь таблетку – и сыт на весь день.

– Вот еще! Какие-то таблетки! А если я захочу пирожного? – кокетничала Валентина Николаевна.

– Скажете мне, и пирожное будет у ваших ног, – галантно отвечал Билибин. – Или, точнее, у ваших губок.

Я посидела только пять минут и заторопилась к себе.

После ужина я вышла на прогулку и одна спустилась по темной дороге к ручью. Опять наступал на дорогу темный лес, опять, как тогда, трудно было под ветвями елей разглядеть могилу. Овраг был залит лунным светом. Я постояла на мостике, вслушиваясь в стук электростанции. Что она вырабатывает здесь? Только ли ток? Не время ли? Отстукает еще тринадцать дней – и конец. Начнется Москва.

Сквозь тиканье электростанции я постаралась расслышать ручей. В тот первый вечер Билибин сказал: «То – да, то – пропадает». Я услышала чистый детский лепет воды. «Милый журчей», – подумала я и пошла домой. Сейчас я лягу. Может быть, с этим словом мне будет легче уснуть.

…А он еще измеряет давление! Ищет нового лекарства! Хочет выздороветь! Хочет жить, жить, жить, нося в себе память о детях, которых сожгли, как поленья. Каким же способом он убивает свою память, чтобы уснуть? А я каким? Я-то ведь живу с памятью об Алешиной последней улыбке, и сплю, и даже сегодня спала, узнав про затылок. И Билибин живет, помня, как навязывал бирку на ногу своему милому Саше. И зная, что в любую

минуту может попасть туда во второй раз – сделаться «повторником»: в первый раз ни за что ни про что, а во второй раз за то, что был там в первый.

У толстяка еще остался сын. А у меня Катюша осталась. Надо жить.

Нет, не одна Катюша. Будущие братья, которым я все расскажу.

...III 49 г.

С утра, вместо того чтобы работать, я села писать письма. Людмила Павловна вечером едет в город и обещала опустить. «Знаете… кое-что поискать по магазинам надо… мелочь всякую…» – объяснила Людмила Павловна в столовой, но я понимаю, что в Москве она хочет попытаться что-нибудь разузнать про сестру.

Села я за письма. Написала Катюше, стараясь, чтобы каждое мое слово передавало нежность, которую я испытываю при одном ее имени, и чтобы каждое было для нее талисманом, охранной грамотой. Хранило бы от бед и напастей. Во время войны она была маленькая и легче было ее беречь. Тогда она была только физически беззащитна; пошлость, грубость, доносительство не были страшны ей, от бомб ее можно было спрятать в метро, в трюме, в теплушке. Прижать к себе, укачать, укутать, увезти. Со мной она ничего не боялась. Держа меня за руку, она не боялась черной точки на небе между двумя белыми мечами, рева зениток в нашем дачном саду, щелканья осколков о предрассветные стволы сосен. Мама рядом. Что может быть надежнее? А теперь, даже если я рядом, как уберечь ее душу от ран?.. «Я тебе пару поставлю!» – кричит в школе учительница. Словно пару пива.

Мне захотелось написать не письмо Катюше, а кому-то всемогущему молитву о ней.

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Как Лермонтов – мальчишка, гусар – мог выносить в своей душе эту молитву, полную материнства? Впрочем, в нем ведь все – тайна.

Пробовала я написать и друзьям, но тут уж у меня ничего не вышло. «Я живу хорошо». А вести с того света? А Лелька? «Я много гуляю». Разве гулянье здесь – это в самом деле прогулки, а не «попытка что-то выудить из прорвы прожитой»? И то, что выудишь, того не доверишь почте.

«Ну, как твой перевод? Очень тревожусь за твою встречу с редактором», – писала я Тане Поляковой, задавая ей множество вопросов, только чтобы не писать о себе. Какие у нас могут быть письма! Вот приеду и расскажу все. С Таней мы сидели когда-то на одной парте, она все понимает, она помнит Алешу, и с ней я могу говорить обо всем. Других «понимальщиков», кроме нее, у меня не осталось. Катенька еще слишком мала. (А вдруг вырастет и тоже не будет понимать? Школа научит не понимать, газеты научат не понимать!)

Внезапно я услышала топтание мягких туфель и покашливанье возле моей двери. Секунда тишины. И стук.

– Войдите!

Я знала, что Билибин еще не встает с постели, что это не может быть он, и все-таки огорчилась, увидав не его, а Векслера.

В руках у него была папка с оборванными тесемками. Он был смущен и мрачен.

– Вы обещали слушать мои стихи, – сказал он, глядя в пол. – Но вас я нигде не вижу… Впрочем… вы писали… Я вас оторвал… Здесь, кажется, не принято бывать друг у друга в комнатах, но вы ведь навещаете Билибина… И я пришел.

«Билибин болен, а я нет», – могла я сказать, но сжалилась и не сказала. С удовольствием отодвинула от себя письмо.

– Послушаю! Садитесь, пожалуйста, и читайте.

Косясь на мое письмо, которое мешало ему, напоминая, что он пришел невпопад, он открыл папку и вынул стихи. Тут были подлинники, подстрочники и переводы. Он что-то искал, бранил сам себя, извинялся. Наконец начал. Сначала он читал стихотворение по-еврейски, потом пересказывал мне его по-русски, потом я брала в руки и сама прочитывала вслух перевод.

Стихи заставляли слушать себя – в них было много от его тревожных рук, ранней седины, моложавости. Серьезные, печальные стихи о войне.

Ни на чем в такой степени, как на беспомощности перевода, не видно, что стих создан не только и не столько из слов, мыслей, размеров, ритмов и образов, а из погоды, нервности, из тишины, из разлуки…

Хорошо здесь: и шелест и хруст;
С каждым утром сильнее мороз,
В белом пламени клонится куст
Ледяных ослепительных роз.

Тут каждая строка в серебре инея.

Поэзия – это и есть, наверное, то таинственное, что остается непереводимым после самого тщательного, самого музыкального перевода. Можно перевести слова и ритмы, но как перевести не названный в стихах иней?

Конечно, я не пыталась высказать эти туманные мысли слушавшему меня человеку. Он то садился, то вскакивал и все время потирал маленькие отмороженные синеватые руки. А я читала переводы вслух и, не говоря об их полной негодности, указывала, какая строка поестественней, поблагозвучней, какая понеуклюжей. Только и всего. Но и эта нехитрая операция поражала моего собеседника.

– Как вы понимаете стихи, – опять сказал он, опускаясь в кресло, словно от усталости. – Неужели вы не пишете сами?

– Я уже говорила вам, что нет.

Я добросовестно прочитала вслух все переводы до одного, кое-что на ходу исправила сама, кое о чем предложила попросить переводчика.

Он вскочил и стал укладывать свои бумаги в папку и преувеличенно благодарить. Пробовал связать узлом обрывки тесемок, но они были слишком короткие. Да и бумажки торчали.

Мне вдруг очень захотелось, чтобы он поскорее ушел. Потому что я понимала – как понимаешь такие вещи? – что ему не хочется уходить от меня и что я заняла в его жизни большое место – помимо своего желания и, быть может, вопреки его собственной воле. Что моя комната – для него – то же, что для меня номер 8. И что, расставаясь с нею, он испытывает боль разлуки… Тесемки ему не давались.

– Вы пойдете сегодня после чая гулять? – спросил он, оставив их наконец в покое.

– Не знаю еще… Какая будет обстановка: сердце, погода, работа, ванны…

Он хотел что-то сказать, но только пожевал губами, ничего не сказал и вышел.

А писем к отъезду Людмилы Павловны мне так и не удалось написать – только одно Катюше. Сразу после ухода Векслера ко мне пришла переменить постельное белье девушка, Лелькина «двоюродная», работающая «на складу».

Вяло читая, я на нее поглядывала. Я заметила, что, вешая на спинку кровати свежие полотенца, она, привстав на цыпочки, издали, краешком глаза, покосилась на книгу, лежащую у меня на столе. Это был «Замок Броуди».

– Вы эту книгу читали? – спросила я.

– Не, откуда же, – сказала она, натягивая чистую наволочку на подушку.

– А вообще много читаете? Или некогда?

– Неколи нам, да и взять негде.

– Библиотека здесь большая, – сказала я.

– Большая! – повторила она вдруг с такой насмешливостью, с такой давно накипевшей злостью, что мне сделалось не по себе. – Библиотекарша нипочем не дает деревенским.

– Ну а в Москву не собираетесь? Учиться? Там общежитие дадут.

– Дадут тебе! – ответила она презрительно. – Дадут, да не нам. Тут немцы полтора года стояли. Мы из оккупированной местности. Нам в городе прописки нету… Дадут тебе общежитие, как же!

Она схватила в охапку снятое белье и пошла к дверям.

– Вам сейчас сколько? Семнадцать? Девятнадцать? Так при немцах вам было восемь лет! Не больше! Столько, сколько Лельке сейчас! – закричала я. – Какое же это может иметь значение?

Она не удостоила меня ответом. «А ты что, с неба свалилась? – выражала ее спина. – Старая дура. Расселись тут, пишут! А чего пишут, и сами не знают».

И вправду – старая дура! Если бы при немцах ей было не восемь, а семнадцать, или двадцать пять, или тридцать, все равно, чем же она виновата, что армия, уходя, отступая, бросила их на милость врага – и какого! Гитлер не Наполеон. Их бросили, и они же теперь виноваты! Ведь это при Наполеоне годилось: пол-России отдать, а потом взять обратно: мирные люди целы. А ведь тут, отступая, оставляли Лелькину маму и Лельку впридачу, оставляли не кому-нибудь – убийцам. Лес и поле отнимешь обратно, а людей? Сколько таких вот Лелек и мам недосчитались после победы!

«Что народу-то!»

Убийц прогнали. А на Лельке клеймо: «была в оккупации». И она, и ее мама, и ее «двоюродная» теперь неполноценные граждане… От анкеты никуда не денешься; анкета – шлагбаум, опущенный перед их жизнями.

…После обеда я зашла ненадолго к Билибину. Он уже не в постели, а в кресле, за столом, за машинкой. Обрадовался мне, усадил, но я видела, что он хочет работать, и заторопилась к себе – и я ведь сегодня еще не работала. «А что, если показать ему… ту рукопись… куда я спускаюсь, – смутно подумалось мне. – Неужели при моей жизни ее прочтет только один человек: Таня Полякова?.. Быть может, на самом деле «понималыциков» гораздо больше, чем думаем я и Таня. Кому и понимать, как не ему? Он нам брат».

– Кончаю, – сказал он торжественно. – Последнюю главу пишу. Скоро буду конверт клеить, в издательство посылать.

И по лицу его скользнуло тревожное выражение – по этому спокойному, ястребиному лицу.

– У меня к вам просьба. Прочтете рукопись мою, когда я кончу? Векслер говорит, вы удивительно понимаете литературу…

– Конечно прочту. Это для меня радость, – сказала я. Мне хотелось продолжить: «будет снова как там, в лесу: я услышу ваш настоящий голос». Но сдержалась.

…III 49 г.

Сегодня с утра, после завтрака, я легко отработала норму своего перевода, приняла ванну, полежала и почитала после ванны «Замок Броуди» в светлой комнате, залитой ярким сиянием снега, сделала круг – до шоссе и обратно, – полюбовалась на затейливо разубранный инеем орешник в овраге и, чувствуя себя голодной, бодрой и почему-то не несчастной, спустилась к столу. Билибин уже сидел там, повязавшись салфеткой, и оживленно беседовал с только что вернувшимся из Москвы Сергеем Дмитриевичем. За столом сидел кто-то новый. Как только меня познакомили с ним – это Петр Иванович Клоков, критик, заведую-

щий, кажется, критическим отделом одного из московских журналов, – бодрость моя сразу пропала. Щуплый, с тупым лоснящимся бугристым лицом, в модных лакированных туфлях и в галстуке бабочкой, он сильно не понравился мне. Какой-то лощеный хам. Не понравилось, как он расшаркался передо мной, как прикрикнул на подавальщицу Лизу за то, что суп недостаточно горячий, как подергивал брюки, оправляя складку, как, опрокидывая рюмку, говорил мне: «Ваше здоровье»… За супом он и Сергей Дмитриевич принялись рассказывать московские литературные новости.

Разговор вертелся вокруг «Литературной газеты», «Советского писателя», комиссий Союза, редакций журналов. Билибин не говорил ничего, молчал или задавал вопросы и очень внимательно слушал своих собеседников, изредка взглядывая на меня из-под полуопущенных век. Клоков порадовал нас сообщением, что он работает сейчас над проблемами мастерства, но не на старом материале, а на новом: изучает стиль произведений Бубеннова, Первенцева, Ореста Мальцева. Сергей Дмитриевич мягко заметил, что хотя такую направленность статьи он считает безусловно правильной, но что форма у этих писателей, надо сознаться, несколько отстает от содержания. Потом Сергей Дмитриевич рассказал о речи главного редактора на совещании в «Литературной газете».

– Удивительно он сумел показать империалистическое зерно космополитских идеек. Вскрыть. Удивительно! Его речь мне просто глаза открыла на многое. Вот, например… Зеленин, хороший мой приятель…

– Это который Зеликсон? – ухмыляясь, перебил его Клоков.

– Да, так вот Зеленин, хороший мой приятель, мы с ним в армии вместе, а теперь вместе на даче живем, и я его часто печатал у нас в отделе… Не по приятельству, конечно, а просто, знаете, кандидат наук и репутация у него знатока…

– Да, это они все умеют – хвастать культурностью, – вставил Клоков.

– Я его печатал, не замечая, не желая замечать, что стоит за его любовью к Флоберу, Стендалю… И только после речи главного редактора мне стало ясно, куда он тянул. Я вспомнил один наш разговор за картами. «Без французов не было бы, пожалуй, психологизма Толстого», – сказал тогда Зеленин.

Сергей Дмитриевич серьезными глазами многозначительно оглядел стол.

– Понимаете? Не мировое значение нашего Толстого, а французы, оказывается, влияли на него!

– Да, они умели протаскивать, – сказал критик и вынул золотой портсигар. – Вы позволите? – обратился он ко мне. Щелкнул. Закурил. – Протаскивать антинародные идейки. И один другого тянуть тоже хорошо умели. У нас в журнале мой заместитель многих за собой тянул… целый хвост… Теперь его уволили и выговор ему дали. Да разве их одними выговорами отучишь? У них такая между собой спайка, будьте спокойны.

– Как фамилия? – зачем-то осведомился Билибин.

– Ландау. Я в отпуск – а он Мееровича напечатал. А Меерович хвалил этого… как его?.. Михоэлса, помните? Он напечатал, а мне теперь чуть строгача не вкатили… И я тоже… признаться, хлопал глазами… пока не разъяснила печать.

– А что же… собственно… вам разъяснила печать? – спросила я. У меня давно уже сильно колотилось сердце – в горле, в ушах. Так сильно, что секундами заглушало для меня голос говорящего.

– Все, – чуть пожал плечами Клоков. – Их антинародную деятельность. Их антипатриотическую сущность. Связи с Америкой. Глубокие корни, которые пустил сионизм.

– А меня, – сказала я с трудом и тихо, – когда я читаю газеты, поражает, напротив, что все, что пишут об этих людях, – явная неправда. Именно явность неправды и поражает, бросается в глаза. – Я хотела добавить: «и сходство слов со словами тридцать седьмого года», но Бог меня спас, я удержалась. – Не слова, а какая-то словесная шелуха. Пустышки. Знаете,

как младенцам дают соски-пустышки? Без молока… Так и эти слова: без содержимого. Без наполненности. Не фразы, а комбинации значков.

Билибин толкнул меня под столом ногою. Но остановиться я уже не могла. Хорошо, что хоть не назвала год.

– Ни одного полновесного слова. И потому сразу ясно, что ни Зеленин, ни его друзья невиновны.

– Явность неправды? – переспросил Сергей Дмитриевич. – Соски-пустышки?

– Нельзя, нельзя, Нина Сергеевна, проявлять мягкосердечие и ручаться за всех и каждого, – назидательно говорил Клоков. – Проявлять благодушие… В обстановке активизации международной реакции это крайне опасно, крайне.

Сколько раз слышала я это возражение в тридцать седьмом году! «Разве вы можете ручаться за всех? Разве вы их уж так хорошо знаете?» Разумеется, не знаю, ведь «враги» исчислялись миллионами. Как же мне за каждого поручиться? Но вот за фирму, производящую ложь, я ручаюсь. Разглядеть ее клеймо я всегда сумею. Конвейер патентованной лжи – сколько раз он уже пускался в ход на моем веку! как же мне его не узнать?

Особенно ненавистны в эту минуту были мне яркие запонки Клокова с крупными камнями. Он вилкой тыкал в хлеб, и они сверкали.

– Не можете же вы всех знать и за всех ручаться, – повторил Клоков, показав мне в снисходительной улыбке свои стальные зубы. – За всех. Не правда ли?

– Я не знаю, никогда и в глаза не видела ни одного из обвиненных, не только что всех, – сказала я. – Но в словах, которые о них пишутся, нет ни грана правды. За это я ручаться могу… и это сразу слышно… Ведь это готовые клише, а не мысли. Слышно по однообразию… по расстановке слов… по синтаксису… тону… интонации.

Клоков не рассмеялся мне прямо в лицо только потому, что ему недавно объяснил кто-то авторитетный: с дамами, в особенности за столом и в особенности если они круглые дуры, следует при всех обстоятельствах оставаться вежливым.

Сергей Дмитриевич смотрел на меня с состраданием и удивлением. Подумать только, по тону слов! не по смыслу, а по тону и расстановке слов отличить правду от лжи! Бывает же этакая чушь! Какую говорит ерунду, а еще переводчица, член Союза… Недаром она любит стихи… этого… заумного… Пастернака.

– Если вас не убеждают слова, – сказал Клоков, – то извольте: вот вам факты, подтверждающие антинародную деятельность некоторых нерусских националистических групп… группировочек… группочек… связанных с критиками-космополитами, так сказать, идейным – и не только идейным – родством. Закрыто третьего дня издательство «Эмес» и руководители арестованы. Чем вам еще доказать?

Я услышала стук отодвигаемого стула и оглянулась. К нашему столу подошел Векслер.

– «Эмес» закрыто?

– Да-с. «Эмес», – с достоинством отчеканил Клоков. – Именно «Эмес».

Он перестал есть и с каким-то особым самодовольством поправил галстук.

Векслер молча стоял перед нашим столиком.

– И руководители арестованы, – повторил Клоков.

– Что ж, товарищи, пора и по домам, – громко сказал Билибин. Все поднялись.

…III 49 г.

Кончила, кончила! Кончила свое писание! Не знаю еще, как оно будет называться, может быть, – «Фонари на мосту», а может быть, просто: «Дочка». Вот оно, написанное, переписанное, конченное, лежит передо мной. Я перелистываю страницы, исправляю нумерацию. Я его вклею сюда в дневник. Легче прятать одну тетрадь, чем две.

Я ничего не знаю о нем: какое оно? Если бы кто-нибудь прочитал и сказал мне!

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Фонари на мосту погасли все зараз, и, как всё в эту ночь, мгновенность и беззвучность их исчезновения показалась мне страшной. Очередь мною была занята еще с вечера: мой номерок 715. Пускать начнут с девяти часов, а сейчас еще и шести нет: трамваев еще не слышно. Женщины молча бродят по набережной вдоль промороженного парапета. Кажется, вся сила мороза внедрилась в эту звонкую гранитную стену; тронь – обожжешься. Тянется конец ночи, но наутро уже ни у кого нет надежды, хотя тьма бледнеет с каждой минутой и на плечах уже проступает белизна платков, на домах – очертания крыш и труб. Из грязных парадных, пошатываясь, закуривая, выходят женщины – они дремали там, на площадках второго и третьего этажа, на промерзших каменных плитах. Но вот над бледной громадой моста сверкнула первая зеленая искра, оттуда послышался трамвайный зуд – утро уже неоспоримо, – и в слабом растворе света стали видны зеленоватые лица и груды грязного снега, вываленного на лед. В домах уже загораются окна.

Когда пошли трамваи, народу сразу прибавилось. Приближаясь к условленной парадной, пришедшие вытаскивали из карманов, сумочек и варежек измятые номерки и предъявляли их самозванной хранительнице списка, и сейчас же вспыхивала злая перебранка: «мы здесь целую ночь мерзнем! – говорил кто-нибудь, – а вы заняли и греться ушли. А мы за вас стой! Вычеркнуть всех, да и всё!» – и в этих злых словах мне послышалось то же, что и в ночном всеобщем одиноком молчании: каждая думает, что ее-то Петю взяли зря, а вот у этой и этой муж – изменник родины, вредитель, шпион… Подальше от них, подальше.

Совсем рассвело. И я увидела, сколько тут женщин с грудными детьми. Дети кашляли и чихали на руках у матерей под белыми занавесками, скрывавшими лица, выгибались и покряхтывали в толстом тепле одеял, а матери, просовывая руки в тепло, тревожно ощупывали младенцев, покачивали, прижимали живые свертки к себе, уходили в парадные кормить.

К восьми часам все перебрались с набережной на улицу и, пугливо прижимаясь к стене и стараясь занимать как можно меньше места, стали очередью к высокой деловитой двери Большого Дома. Дверь была так далеко от меня, что я еле различала ее очертания. Передо мною стояла старуха-еврейка в двух толстых платках – сером и белом – и с заиндевевшими усами, а позади – молоденькая белокурая женщина с грудным младенцем на руках. Младенец был завернут как-то необыкновенно ловко, плотно и нарядно – одеяльце розовое, вязаное, тюль над личиком голубоватый, накрахмаленный, широкая атласная лента перехватывает ножки, а на матери вязаная шапочка, вязаные варежки в цвет – все, видно, сделано своими руками.

– Мальчик? – спросила я.

– Девошка, – ответила женщина, и я сразу угадала финку. – Поюсь, он ростудился, полен… Шетыре месяца ему.

Девочка чихнула под голубым накрахмаленным облаком – мать приподняла тюль, и я увидела розовое, почти как одеяло, нежное крошечное личико, такое нежное, что пылинка гари, севшая на щеку, кажется тяжелым черным камнем. Ресницы, как благословение Божие, лежат до половины

щек. Крохотное личико – а там, в одеяле, крохотные красные пяточки, крохотные пальчики с игрушечными ноготками и все ее чистенькое бархатное тельце.

– Закройте скорее, – сказала я. Страшно было думать, что к этому личику прикоснется мороз. – Вашего мужа давно?

– Ве нетели. Риехали ночью наша деревня русовики и сех мужчин увез. Мы финны…

Дверей еще не открывали, а утро уже разгорелось, сверкая морозным сиянием и снегом, и на улице становилось людно. Девочки-школьницы, по две, по три, шагали по нетронутому снегу бульвара, деловито и аккуратно, с туго заплетенными мамой косичками, в плотных валеночках, перешептывались и смеялись, а мальчишки прокатывались по ледяным проплешинам, глазея по сторонам. Один скинул ранец, подошел к скамейке и осторожно прилег на свежий бугор. Лег – и ему сразу стало скучно. Он вскочил и, отряхиваясь, долго рассматривал свое выдавленное на снегу отражение. Маленькие ребятишки, задирая головы и сбиваясь с шага, вглядывались в наши замерзшие лица и, споткнувшись, бежали догонять друг, друга… Вот и взрослые уже заспешили на службу. Из взрослых почти никто не глядел на нас и ни о чем не расспрашивал – потому ли, что все и без того знали, кто мы, или потому, что человек, торопящийся на государственную службу, вообще лишен любопытства. Только тетка с кошелкой и в очках, перевязанных веревочкой, вдруг, проходя мимо, спросила:

– Это за чем очередь-то, граждане?

Ей никто не ответил. Все смотрели в стену или себе под ноги.

– За чем стоите-то? – повторила любопытная тетка.

– А тебе завидно? – огрызнулся вдруг кто-то из очереди. – За горем стоим! Становись «кто последний – я за вами…».

Тетка ушла. Вопрос ее причинил мне страдание – более острое, чем вся морозная беспросветная ночь. Я почувствовала свою немоту. Я ничего не могла бы ответить ей. В эту ночь и во все предыдущие ночи и дни меня мучило не горе, а что-то худшее: непостижимость и неназываемость происходящего. Горе? Разве горе такое? У горя есть имя, и, если ты достаточно мужественен, ты окажешься в силах произнести его, но случившееся с нами лишено имени, потому что лишено смысла. Сон, кошмар? Нет, не следует клеветать на кошмары… Мне казалось, что голова у меня кружится и сердце медленно тяжелеет не от шестнадцати часов, проведенных на ногах, а от бесплодных усилий понять случившееся и дать ему имя. Мысль доходила до какого-то места, – кажется, это было то мгновенье, когда чужие руки шарили среди детских игрушек, ища оружие, – мысль упиралась в эти руки и в кубики, из которых по картинке получалась избушка на курьих ножках, а если все вместе разом перевернуть – большая белая коза; упиралась в эту козу – и дальше ни шагу. Я так же не могла шагнуть дальше, как не умею двигать ушами. Морщу губы и брови, и все без толку. Какое движение сделать, на какой мускул нажать?

Очередь передо мною наконец пошла: там, впереди, отворились тяжелые двери. Очередь тихо и с опаской втекала в огромный многооконный зал. Не было ни толкотни, ни шума, ни споров – одни пугливые взгляды. Это ведь не заплеванная лестница или коридор прокуратуры, не деревянные

кривые комнатушки перед справочным окошечком тюрьмы – это сам Большой Дом, наркомат, сама судьба. Еще не переступив порога, женщины торопливо отряхивали снег с платков и валенок, а переступив его, с такой боязнью глядели на массивные плиты пола, будто под каждой мог таиться люк. Боясь прислоняться к строгим, благородной осанки колоннам, они тихо переминались с ноги на ногу, переспрашивая друг у друга номера, и становились вдоль стен, щурясь на высокие прямые окна, чисто вымытые, ясно глядящие в белый день.

И сразу же в зале появился комендант. Он не вошел, а именно появился, как бы из-под пола театральной сцены. Со всей откровенностью провинциальной оперной безвкусицы он был загримирован тюремщиком. Ключи тяжело звякают у пояса. Кобура револьвера расстегнута. Туловище длинное, а ноги короткие, будто они не его, а заимствованы у кого-то другого. И над отекшим бессонным лицом, над желтизной нечистого лба – яркий голубой околышек фуражки. Появившись, он сразу принялся расставлять очередь, которая и без него стояла в полном порядке, покрикивая на женщин, как на лошадей, подталкивая их за плечи и хлопая себя по бедрам ключами.

– Эй, дамочки! Становись ровней! Одна за одной! Одна за одной! Матеря, давайте направо! Кому говорю? Женщины с детями – отдельную очередь! Дорогу матери и ребенку! Матеря пойдут через пятую! Пять дамочек – одна мать! Четверо пройдут – пятая мать, понятно? Входить будете по звонку… И откуда это вас нынче этакая уйма поднаперла!

Одни опускали глаза и отворачивались, стараясь не глядеть на него, другие робко, с жалкой развязностью улыбались ему и осмеливались задавать вопросы:

– Скажите, товарищ комендант, а нам здесь дадут справку… за что арестован… то есть в чем обвиняют, по какому делу?

– Скажите, товарищ комендант, а у меня примут заявление… у мужа третья стадия… туберкулез…

– Я исключительно извиняюсь, конечно, – сказала старая еврейка с усами, – а когда мужа будут высылать, нам дадут свидание, что?

Комендант становился к спрашивающим как-то боком и, хлопая себя по бедрам ключами, на всю тишину огромного зала зычно говорил:

– И зачем вы только сюда ходите? Только сами себя расстраиваете и работников отрываете от дела. Раз взяли ваших мужей, значит, не зря. Чего еще спрашивать? Честного человека зря не возьмут… А вы бы, дамочки, чем сюда попусту ходить – поискали бы себе других. – Он подмигивал. – Молодые, интересные гражданки.

Я все ждала, что сейчас, слегка переигрывая, он возьмет кого-нибудь двумя пальцами за подбородочек.

Молодая женщина с ребенком оказалась разлученной со мной; она стояла гораздо ближе к дверям, чем я, в особой очереди матерей с детьми.

Прием начался. Через каждые две-три минуты раздавался короткий, отчетливый, резкий звонок и кто-нибудь, прижимая к груди паспорт, как иконку, скрывался за дверью. Каждая из стоящих в очереди очень хотела бы увидеть ту, которая уже получила справку, чтобы, одолевая отвращение к жене шпиона, кинуться к ней и узнать, что ей сказали, но ни одна не возвращалась в зал: по-видимому, из комнаты, где выдавали справки, был особый выход на улицу… А новенькие все прибывали и прибывали. В зале

становилось все душнее и душнее, ноги у меня наполнялись водянистой тяжестью. Яркий свет окон резал глаза. Звонок раздавался каждые три минуты, каждые три минуты, и следующая женщина, как будто этот внезапный звук был проведен прямо ей в сердце, сразу переступала порог… Молодой женщине с ребенком было уже совсем недалеко. Я обратила внимание на то, что она как-то странно, на вытянутых прямых руках, держит перед собой девочку и, не мигая, упорно смотрит на высокую дверь. Но я не задумалась о ней и о ребенке, потому что и мне было уже недалеко до двери и настала минута окончательно обдумать слова, которые скоро я должна буду произнести.

Всю длинную ночь я откладывала мысли о том, что я сегодня скажу человеку, дающему справки, что спрошу у него и, главное, как я ему все объясню, – откладывала до того мгновенья, когда попаду наконец в тепло. Теперь же духота валила меня с ног. Но дальше откладывать было нельзя. Надо точно приготовить слова, чтобы в нужную минуту не растерять их. Нужно их вызубрить, потому что я по опыту знаю: чуть только я увижу лицо и глаза человека, сидящего за большим столом и перебирающего карточки с фамилиями арестованных, – чувство тщетности всякого слова неодолимо охватит меня. Это уже бывало не раз. И я опять уйду, не спросив о главном, не сказав и половины того, что я обязана сказать. Другие женщины умоляют, клянутся, настаивают, плачут, прижимая руки к груди. И если я хорошо подготовлюсь, заранее найду все слова, может быть, и я пробьюсь сквозь нежелание того человека слушать, и он сделает пометку у себя в блокноте или на карточке с фамилией…

Научная медицинская деятельность – раз. (Я вложила в паспорт характеристики последних Алешиных научных работ, написанные светилами медицинской науки.) Педагогическая деятельность – два. Практика – три…

Почему-то я не могу ничего вспомнить убедительного – такого, чтобы все сразу поняли, о каком человеке идет речь.

А звонок раздается все чаще и чаще, вот уже и молодая женщина с ребенком скрылась за дверью, вот уже у двери стоит дама в мехах, которая ночью, на набережной, хотела, но боялась заговорить со мной, вот уже старуха-еврейка позади меня шумно вздыхает и, забывшись, произносит что-то вслух по-еврейски… Но мне раньше, чем ей, а я так и не успела приготовиться… Следующий звонок мне, я стою уже у самой двери, я могу тронуть рукой ее коричневую лакированную поверхность…

Звонок.

Я нажимаю тяжелую ручку, и дверь отворяется с неожиданной мягкой податливостью. За дверью – не зала, не приемная с портретами и большим столом, как я ждала, глядя на бронзовую ручку, а какой-то закуток. И никого, ничего – ни стула, ни человека. Только кривая фанерная дверь с надписью «Выход здесь» да закрытое окошечко – такое, какие бывают на почте, – налево – в стене. Я подхожу к окошечку. Оно высоко. Чтобы дотянуться до него, я поднимаюсь на цыпочки. Я стучу. Фанерный занавес взвивается вверх. В раме окошечка – лысина, нежно-розовая, как жир ветчины, розовые дряблые щеки и торчащие по бокам розовой мякоти пушистые белоснежные усы.

– Я хотела бы узнать, – начинаю я, стоя на цыпочках.

– О ком справляетесь? – кричит розовая голова. – Имя, отчество, фамилия?

Я называю.

– Сами вы кто? Жена, сестра?

– Я жена.

– Документ!

Я протягиваю в окошечко паспорт, роняя на пол характеристики. И вдруг треск – и голова исчезает. Передо мною ни усов, ни лысины – снова гладкая фанерная доска. Я смотрю на нее и пытаюсь припомнить слова, которые надо сказать.

Фанера взвивается. Паспорт летит мне прямо в лицо.

– Дело вашего мужа, Пименова, Алексея Владимировича, ведется, – кричит голова. Фанерный занавес снова падает с треском, и я слышу, как в зале раздается звонок.

«Выход здесь» – написано на дверях. Ну, раз здесь, я и выхожу. Передо мною заснеженный дворик с прямыми усыпанными песком дорожками. Какое освобождение – глотнуть морозной чистой стужи! И увидеть елки и снег на ветвях. Я иду, сжимая в руке паспорт и бумаги, и перед глазами у меня плавают черные точки слабости. Мне кажется, я никогда не видела таких чистых расчищенных дорожек, такого яркого желтого песка. Красивый, даже уютный двор. Я беру горсть снега и засовываю его в рот. Выхожу на бульвар. Со скамеек уже сметены сугробы, на скамейках сидят няньки, а дети, с поднятыми до самых глаз воротниками – а поверх воротников шарфы! – в валенках – а на валенках калоши! – задыхаясь в толстых пальтишках, неподвижно, с растопыренными руками, не в силах повернуть шеи, маленькими пингвинами стоят возле скамей.

Черные точки одолевают меня, и я опускаюсь на пустую скамью.

– Что, он вам дал справку, что? – спрашивает у меня громким шепотом старуха-еврейка, усаживаясь возле и вцепившись мне в рукав.

Своим морщинистым, наступающим на меня лицом она заслоняет снег, детей и нянек.

– Дело моего мужа ведется, – отвечаю я.

– Моего тоже ведется, – говорит старуха. – Что там с него плести, что вести, что они с нас шпионов выстраивают? Муж мой был кристально чистый большевик…

И кристально чистая слеза ползет по глубокой морщине. Она встает и ковыляет к остановке трамвая. Я чувствую, что сейчас тоже заплачу – от боли в ногах, от яркого снега, от милых пингвинов (взнузданные шарфами, они все же умудряются нагибаться и копать снег), – я кручу шеей и вдруг, сквозь цветные шарики слез, вижу на соседней скамье финку с ребенком. Я не сразу догадываюсь удивиться тому, что девочка лежит не на коленях у матери, а рядом с ней, на голой промерзшей скамье.

– Что он вам сказал, что? – кричит ей старуха, ковыляя мимо. – Дело ведется?

Женщина ничего не отвечает ей, и старуха, подождав, идет дальше. А я поднимаюсь и бегу к женщине. Она глядит куда-то мимо меня, и я никак не могу поймать ее взгляда. На снегу возле скамьи лежит зеленая пушистая варежка.

– Мне нужно было снова постучать в деревянное окно, когда он захлопнул его, – говорю ей я и поднимаю варежку. – Сильно постучать, чтобы он открыл и выслушал меня. Он перед вами тоже захлопнул окно? И вы ничего не успели сказать ему? – спрашиваю я и подаю женщине варежку. Но она не берет ее. – Почему вы ребенка положили на скамью? Такой мороз!

– Дело ветется, – говорит мне финка, по-прежнему не глядя на меня и не беря у меня из рук варежку.

Я сажусь с ней рядом и осторожно кладу девочку к себе на колени. Все-таки у меня на коленях ей будет теплее, чем на скамье. Женщина даже головы не повернула. Я прижимаю розовый пакет к себе. Девочка не плачет, не выгибается в одеяле. Мне хочется просунуть в одеяло руку, тронуть ее ножки, но я боюсь впустить туда мороз.

– Вы давно кормили? – спрашиваю я. – Вам пора домой. Пора кормить. Где вы живете?

Она молчит.

– Его польше не надо кормить, – говорит она.

Я тихонько откидываю накрахмаленное покрывало.

Мертвое личико с полуоткрытым жалким ротиком и чуть мерцающим из-под одного века глазом лежит у меня на коленях.

– Она еще тогда помер, – говорит женщина. – Там. – И машет рукой в сторону здания, из которого мы вышли. – Но я не хотел потерять очередь матерей, хотел получить правка. Я очень любил мой муж.

Мы поднимаемся и поспешно, как будто нам есть еще куда торопиться, идем к трамвайной остановке. «Любила, – думаю я, – любила – прошедшее время». Я несу на руках тяжелого мертвого младенца. Девятка. Женщина коротко говорит мне:

– Дай! – берет у меня из рук девочку и входит в вагон.

...III 49 г.

Сколько дней я уже не писала дневник? Три? Пять? Не помню. Не знаю и знать не хочу. Стараюсь не знать, которое сегодня число. Дни уже идут под гору: туда, к отъезду, к концу, и я не хочу считать их.

Каждый день много часов проводим мы с Билибиным вместе – в роще, на шоссе, в еловом лесу, у меня в комнате, у него. Я все думаю: не прочитать ли ему про очередь и финку… Мы уже обменялись детством и юностью. Прошлое его совсем не похоже на мое: он ведь старше лет на десять, в 17-м году ему были все двадцать. Отец – генерал; он порвал с отцом еще мальчишкой, удрал из дому, что называется, ушел в революцию; недолго был студентом-юристом, сблизился с эсерами, в гражданскую воевал – против белых, против Деникина – сначала в партизанском отряде, потом в Красной Армии. Весь быт, вся обстановка другая; но детства наши странно похожи одинокостью, горечью: и у меня, и у него рано умерла мать, оба мы росли не дома…

В тридцать пятом начал писать и печататься, в тридцать седьмом – его арестовали.

Алешу в августе, а его в мае, весной.

Жизнь моя здесь за последние дни изменилась. Кроме пяти страниц перевода в день, я не делаю ровно ничего: писем не пишу, книг не читаю. Если я не с ним, я жду, когда настанет час нам быть вдвоем, когда кончатся мои процедуры и его писание. Мы надолго и далеко уходим вместе – он чувствует себя хорошо, он в силах ходить, – и люди, увидев нас, не заговаривают ни с ним, ни со мной и пропускают нас мимо себя в молчании, хотя Билибин резво машет шляпой и торопливо кричит:

– Гуляете? А не слишком ли вы легко одеты? Застегнитесь – мороз!

Роща уже не живет сама по себе, собственной тайной жизнью наедине со снегом, ветром, облаками, а существует для нас: отпечатывать на снегу наши шаги, то заметать их метелью, то наливать водою, перекатывать ветер над нашими головами, серостью или яркой голубизной неба изменять цвет его глаз. Охранять нас от всего мира и не мешать слушать друг друга.

Читать и писать я больше не могу и бывать одна под небом, звездами, деревьями тоже. Если хороша заря за лесом, у меня сжимается сердце: как принести ее ему? Каким словом? Если на мостике весело скрипит снег под башмаками – как донести этот детский звук, звук деревенского сочельника, до его комнаты? А вот стихи – стихи разлучают нас. В них мы не вместе. Он их не понимает, не любит. Он мне сказал: «Когда я был молоденький мальчик, шестнадцати лет, я тоже писал стихи». Значит, они для него так, шутки, игрушки. Но я все надеюсь, что еще вспомню чье-нибудь стихотворение, которое тронет его.

По моей просьбе мы с Николаем Александровичем навестили беднягу Векслера: после разговора с Клоковым он от огорчения расхворался. В самом деле, ведь «Эмес» печатал его стихи, и с редакцией тамошней он был близок… Да и не в этом дело, а во всей этой нарочно придуманной, искусственно раздуваемой гнусной антисемитской кампании. Он лежит; листочки стихов валяются повсюду, он в помятой пижаме, а френч с орденом как-то понуро, бесформенно повис на спинке стула. Лежа, Векслер перебирает листки, грызет карандаш и, судя по всему, старается благополучно осмыслить происходящее. (Я помню, я когда-то тоже старалась.) Сделать его понятным и даже приемлемым.

– Мы ведь не всё знаем, – говорит он, вздыхая. – Нам трудно судить, что правильно, что нет с точки зрения международной политики. Там, наверху, виднее. У них перспектива шире. Со сталинской высоты виден весь мир… Вот, например, ополчение. Я тогда не понимал, зачем было бросать в бой необученных, невооруженных людей? Ведь тогда сколько интеллигенции погибло! Она могла бы пользу приносить. И лишь через несколько лет я осознал всю гениальность сталинского плана обороны Москвы. Сталин бросил в бой необученных, а пока подоспели резервы. Москва была спасена.

«И уничтожение «Эмес» тоже необходимо для спасения Москвы? – хотела я спросить, но не спросила. – И клевета на критиков? И раздувание антисемитизма?»

Но я молчу. Не спорю. Билибин весьма вразумительно объяснял мне то, что, впрочем, я и сама знала: бессмысленность и рискованность споров на все эти темы. Например, к чему спорить с таким чурбаном, как Клоков? Это и опасно и безнадежно.

– Понять он все равно ничего не поймет, – пояснял мне Билибин, – а, черт его подери, еще и заявление напишет: «Такого-то числа, там-то, в присутствии таких-то, такая-то высказывала антипатриотические мысли, выражая недоверие партийной печати». И начнут нас, голубчиков, Сергея Дмитриевича и меня, тягать как свидетелей… И пойду я на вас показывать! – закончил он со смехом. – Нет уж, Нина Сергеевна, увольте! Нельзя быть такой несдержанной. Пощадите себя да и нас, грешных. Нельзя.

Оказывается, сам он, Билибин, попал в лагерь за какое-то лишнее словцо в приятельской компании. Кто-то донес – и пошло… Всех тягали. Один уперся, двое подтвердили. И сломана жизнь.

Векслер, разумеется, другое дело, с ним можно говорить, не опасаясь, но к чему же, настаивал Николай Александрович, мешать человеку придавать глубокий и таинственный смысл злобной бессмыслице, если таким способом ему легче сохранять душевный покой? Пусть.

У Векслера мы, впрочем, сидели недолго. Слишком уж явственным было его желание говорить со мною одной. Я поднялась. Он вскочил с дивана – в пижаме и в носках. Листки полетели на пол. Он кинулся их подбирать.

– Не нужны мне светские визиты, – мрачно сказал он мне, сидя на корточках и грозно глядя на меня снизу вверх. – Я хочу увидеться с вами, чтобы прочесть вам новые стихи.

Векслера мне, конечно, жаль, и я буду слушать его стихи – а вот от Клокова меня просто тошнит. Сам рассказал нам однажды за обедом, как в детстве, лет двенадцати, он учился стрелять: привяжет кошку к дереву и палит из ружья. «А то, когда она движется, то прыгнет, то побежит, трудно попасть», – объяснил он. «Недурная подготовка для профессии критика!» – подумала я… Я задыхаюсь от смеха и бешенства, когда он рассуждает о стихах.

– Не все и у классиков хорошо, – произнес он вчера. – Вот, например, у Некрасова: «В лесу раздавался топор дровосека». На самом деле так говорить неправильно: ведь стук раздавался, а не топор. Но ввиду того что Некрасов классик – мы ему прощаем.

Сегодня за обедом он прочел нам целую лекцию о любви.

– Из руководящих организаций, – сообщил он, – поступило разъяснение: напрасно наша печать – наша литература, – поправился он, – не уделяет достаточного внимания вопросам любви. Чувству любви пора занять в жизни и в литературе положенное ему место. Классики марксизма были не против любви. У нас до сих пор недостаточно учитывали, что любовь повышает энергию и эта энергия окрыляет человека на трудовые подвиги, которые, в свою очередь, можно повернуть на строительство коммунизма… Маркс, Энгельс, Ленин очень положительно расценивали любовь именно потому, что она стимулирует…

– Нина Сергеевна, – сказал мне умоляюще Билибин, когда мы после обеда вместе поднимались по лестнице, – прошу вас, поедем рыть канавы! Я чувствую, как во мне проснулась энергия! Ее необходимо повернуть.

От смеха я согнулась и еле добежала до своей комнаты.

Сейчас вечер. Я сижу у себя и жду Билибина. Он непременно придет. Тикает, тикает электростанция, отсчитывает наши минуты. Лампы то наливаются светом, то меркнут. Я жду знакомых шагов и пробую читать «Замок Броуди». Но что-то не читается мне. Вчера я видела Лелькину избу. Это поинтереснее всякого замка. Я взяла с собой пирог, конфеты, которые нам дают к чаю, и книжку русских сказок, случайно оказавшуюся в здешней библиотеке.

В Быкове всего девять домишек – было тридцать, да немцы в 41-м сожгли. Заборы, грязь, тощие козы с какой-то сбившейся паклей вместо шерсти. В избе у Лельки грязные тряпки, грязные крынки и во всю мочь над тряпками и немытыми детьми орет круглый рупор. Вид у комнаты такой, будто в ней только что побывали воры, все как есть вынесли, а оставшийся хлам разбросали: на полу осколок зеркала, на столе – засаленные подушки без наволочек. Лелька, босая, лохматая, таскает по комнате годовалого Витьку, подкидывая его повыше, а он все сползает. «Опираясь на огромную помощь партии и правительства, – сказала радиотарелка, когда я вошла, – в техническом оснащении сельского хозяйства, в текущем году в небывало короткие сроки…» Я выключила радио, посадила малыша на кровать и сунула ему в рот конфету. Лельке тоже – и начала читать ей сказку. Как она слушала! Руками, бровями, коленками, трущимися от нетерпения друг о друга, открытым ртом. Положила в рот кусок пирога и забыла жевать и глотать. Одна сказка была про перышко Финиста-Ясна Сокола, другая про злую царевну, обманом укравшую волшебную свирель у бедняка пастуха.

«В полночь прилетел Финист-Ясный Сокол, бился в окошко, бился, да только весь в кровь искололся, крылья себе порезал.

– Прощай, красна девица, – печально сказал он. – Если любишь – ищи, и, когда истопчешь три пары башмаков железных, изломаешь три посоха железных, изглодаешь три просвиры железных, тогда и найдешь меня.

Сказал и взвился в небо.

А девица хоть и слышит сквозь сон эти речи неприветные, а глаза разомкнуть сил нет».

Я кончила и заторопилась домой: пора на процедуры.

– Была бы у меня эта книжечка, – сказала Лелька, провожая меня до порога с малышом на руках, – я бы спать не ложилась – ее читала! День и ночь бы читала, глаз бы не перевела!

Ее речь звучала в лад со сказкой – это наново поразило меня.

– Да ты ведь и читать не умеешь.

– Выучусь! Я уже знаю «фы»!

Я надевала ботики. Лелька подтянула малыша повыше.

– Была бы я царевна, – певуче, по-бабьи, сказала она, – я не была бы злая… Я не отнимала бы у него эту дудочку, я бы только дунула в нее разок – так, для смеху… Я бы его, который мне дудочку принес, жалела…

…III 49 г.

Мы сидели на лесной поляне на пнях: я, положив на пень муфту, он – свою теплую шапку. Ветра нет, и солнце уже греет. Лес в зимнем уборе, но синие глубокие тени, голубое небо – это уже весна! Снег мягкий сегодня. Жаль, что я не умею лепить.

Сидит он без шапки, в распахнутой шубе, смотрит, запрокинув голову, в небо – и опять у него какое-то другое лицо. Малоподвижное, словно бы без выражения, а глаза неспокойные. И ветер шевелит редкие волосы над высоким лбом.

Взял горсть снега, мнет его.

– Наденьте шапку, простудитесь, – говорю я.

– А вы знаете, что Векслер влюблен в вас? – спрашивает Билибин вместо ответа.

– Пусть.

– Вы, кажется, думаете, что это так легко и приятно?

– Я о нем вовсе не думаю. Совсем не думаю никогда.

– А обо мне?

– Много.

– Он говорит, что вы сами – стихи, что вы сами – искусство, и невесть еще что.

– Мало ли какие глупости кто говорит. Мне это все равно.

Николай Александрович встал, надел шапку, закурил, сделав несколько шагов по поляне. От пня до кривой сосны, от сосны до пня. Потом он далеко отбросил папиросу и подошел ко мне сзади. Он поднял воротник моего пальто, и мягкий мех защекотал мне щеки и уши. Легонько отогнул мне голову назад, так что я снизу увидела его выбритый подбородок, губы и спущенные на меня пристальные блестящие глаза.

Я сильно помотала головой у него в ладонях.

Он опустил руки и отошел, а я расправила воротник. Потом он остановился прямо передо мною, заслонив ели и небо. В эту минуту он показался мне очень большим.

– Разрешите узнать, почему мне нельзя поцеловать вас?

Что я могла ответить! Я и сама не знала почему. Быть может, мне было неприятно то деловитое, предприимчивое движение, которым он предварительно отбросил папиросу… Не знаю.

Я встала, отряхнула шубу. Мы молча пошли домой. Я заметила, что елки в тяжелом снегу похожи на большие белые треугольники. У Билибина было злое лицо. «В самом деле, почему? – думала я. – Вот, испортила прогулку. Но ведь я не совсем виновата… Или не только я… Ведь не от моей воли это зависит… нельзя или можно…»

– Так и не откроете мне эту государственную тайну? – насмешливо спросил Билибин.

– Вы не сердитесь на меня, Николай Александрович, – сказала я. – Трудно объяснить. У Герцена где-то говорится: «Слово это плохо берет».

Неподалеку от санатория мы встретили Людмилу Павловну. Она вернулась утром, и я уже виделась с ней. Про сестру она ничего не узнала. «В прокуратуре народу – труба непротолченная и никакого толку не добиться». А вернувшись, она застала у себя на столе телеграмму откуда-то с Севера: сестра просит прислать свечи, спички, сахар… Живет где-то в

землянке. «Слава богу, – сказала я, – не в лагере, значит, раз может телеграфировать». – «А как вы думаете, – спросила меня Людмила Павловна в ответ, – никто не видал телеграммы?»

Сейчас она обдала нас ароматом духов и светской улыбкой.

– В лесу сегодня прямо сказка, – говорила она, оправляя пушистый платок. – Совсем как на сцене Большого театра.

Билибин, против обыкновения, не поцеловал ей обе руки и не стал уверять, что она стройна, как пальма.

– Что это Векслер разоткровенничался с вами? – спросила я, когда мы уже подходили к дому. – По какому это случаю?

– По-видимому, считает меня своим счастливым соперником. И может позволить себе жалобы и пени…

Мы поднимались на крыльцо. Я впереди, он сзади.

– А вы? – спросила я и повернулась к нему. Глаза наши были на одном уровне.

– Что – я?

– Вы-то сами – считаете себя его счастливым соперником?

– Соперником – да, но, как вам известно, не особенно-то счастливым… «Слово плохо берет», – передразнил он меня с искренней злостью. – Все-то вы умничаете, все-то цитируете…

Отворив передо мною тяжелую дверь, он стал веником на пороге охлестывать свои высокие охотничьи сапоги.

И вот вечер. За обедом, за ужином он был необыкновенно сух со мной. И после ужина, вместо того чтобы, как обычно, войти в мою комнату, сесть на низенькую скамеечку и отвечать молчанием или какой-нибудь новой страшной подробностью на мои вопросы, он прошел в гостиную и сидит там до сих пор, и, мне кажется, я отсюда вижу его крупные руки, сдающие карты. Иногда до меня доносится его уверенный голос. Мне хочется плакать. Да простит его Бог. Как было хорошо две недели назад: меня нисколько не беспокоило, сидит ли он в гостиной, нет ли. Чужой человек, пусть сидит, где хочет. И я могла ходить в рощу одна, не думая, увидев пурпурово-серый круг над березами, как принести его ему, могла совершать свой спуск – и читать стихи – и рассматривать людей – и писать письма… А сейчас?

А сейчас мое одиночество полно им. Как сильно он отбросил папиросу – тогда, на поляне!.. Простит ли он мне сегодняшний день?

…А впрочем, впрочем, на каком это глупейшем наречии мы вдруг заговорили: «соперник», «счастливый соперник», «несчастный соперник»? Соперник – в чем? Как мы могли унизить пережитое вместе до этих убогих словечек?

Человек – «система, замкнутая на себя», – и каждый одинок в своей системе. И вдруг – словно откидывается крышка лба – и ты видишь, что за этим лбом, за…

И после этого чуда он смеет говорить, что он не был счастлив! Тогда, вечером, на тропинке, и тогда, после сердечного приступа, когда он впервые рассказывал? Эти две недели, когда мы каждый день обменивались памятью? Он – не был!

…III 49 г.

Ночью я проснулась от резкого удара света по глазам. Подняла голову – большой белый луч лежал на сиденье стула, потом кинулся на стену и исчез.

Что это было?

Я услышала резкий стук щелкнувшей дверцы внизу.

Машина! Кто-то подъехал к дому на машине. Это был свет фар.

Ночью электростанция не работает. Мне нечего было зажечь. Я могла только лежать и в полной темноте слушать.

Я услышала, как осторожно прогудел блок, – открылась входная дверь. И опять прогудел – закрылась.

Значит, они уже в доме.

К кому же? За кем?

Но шагов не было. Во всяком случае, на нашем этаже. Может быть, это все только приснилось мне?

Глубокая, полная тишина стояла в доме.

Но минут через десять я снова услышала, как внизу, в вестибюле, прогудела дверь. Я вскочила и подбежала к окну. Раздвинула занавески. Ни зги, но ясно слышно, как заводят машину. А вот и свет – мутноватый, слабый – засеребрил иней на моем стекле… Кто-то сходит по ступенькам с лампой. Видны три – нет – четыре темные фигуры. Вот снова щелкнула дверца машины. Мотор. Фары: яркий свет на снегу.

И всё. И лампа толчками поднимается по ступеням крыльца, и снова гудит дверь на блоке.

Наверное, это была Людмила Павловна – с лампой. Директор нынче в городе.

Она живет не здесь, не в нашем доме, а в домике для служащих, финском. Они могли заехать за ней туда. И подвезти ее к дому. Должен же кто-нибудь отворить дверь, зажечь лампу, указать им комнату! Без шума. Тихо.

Чью?

Нет, не номер 8, не номер 8, ведь шагов в нашем коридоре не было.

Внизу: приключенец-фантаст, Векслер, Валентина Николаевна, приключенец-просто, Сергей Дмитриевич…

В эту ночь я видела, как побледнело окно, слышала, как кочегары спустились в кочегарку, как тихонько загудело паровое отопление, как электростанция издала первый спотыкающийся стук.

Я встала в семь часов и отправилась в подвал – в ванную. Мне казалось, если я вымоюсь вся, мне станет легче. Но сколько я ни терла лицо, плечи, руки – словно паутина тьмы и бессонницы лежала на них.

Из зеркала глянуло на меня лицо старой ведьмы.

Я надеялась встретить где-нибудь Людмилу Павловну – она сказала бы мне правду. Ящик сблизил нас. Прошла несколько раз по коридору, заглянула в гостиную… Нету… Пойти на склад, разыскать Тоню? Да нет, она вряд ли знает – ей-то ведь все равно… Кто для нее мы? Книг наших ей читать некогда, а прочтет – не поверит ни слову. Чужие никчемные люди, на которых надо работать. Господа. «Писатели».

« – Писатели, положьте трубочку!» – говорит телефонистка, соединяя.

« – У писателей бывает кино».

« – А писателям уже принесли почту?»

Ровно в девять часов я спустилась к завтраку.

Билибин, весь в черном, бледный, с синеватыми губами, стоял у стола, положив крупные руки на спинку стула.

Я подошла. Мы стояли друг против друга. Я была благодарна ему, что он не заставил меня ждать еще минуту.

– Значит, не вы? – сказала я. – Значит, не вы, не вы.

– А вы за меня боялись?

– Да.

– Скажите: я за вас боялась, – попросил он шепотом.

– Я за вас боялась, – повторила я.

– Дайте мне руку… Сказать?

Что-то пристальное было в его вопросе и желтом взгляде, устремленном на меня… А рука – холодная и сильная.

– Векслер.

Бедные листочки стихов, бедный орден, бедная седая несмышленая голова! Бедный Лютик.

Есть я не могла. Меня знобило. К счастью, никого, кроме нас, еще не было в столовой. Билибин заставил меня выпить горячего кофе. Мы вместе поднялись по лестнице, вместе вошли в мою комнату.

– Хороший человек был, – сказал Билибин с демонстративным участием.

Я заплакала от этого «был». Опять – прошедшее время, хотя человек еще жив! Билибин тихонько гладил меня по волосам.

– Уйдите, пожалуйста, – попросила я. – Мне надо лечь.

Он ушел.

А я лежу. Не стану сегодня вставать. Сердце стучит, не унимаясь, и от слез болит лицо. Пишу лежа.

...III 49 г.

Все утро мы бродили вместе по березовой роще. Купаются в высокой голубизне вершины берез. В роще просторно и светло, как в нашем общем доме. Кажется, сегодня была самая глубокая наша прогулка. Мы уже научились вместе молчать. Молчали мы о ночи, о Векслере, о «повторниках», о том, что во второй раз тридцать седьмой год пережить нельзя.

Посидели на скамье, поглядели на снежную равнину, на крыши быковских домиков. И побрели домой. Меня все время гложет мысль: а не показать ли ему «Без названия»? Выдрать из дневника и показать…

Я решила сделать это после, когда он кончит свою работу. Ведь чужое мешает писать свое.

После ванны и обеда я уснула. Проснулась – и, как всегда в это время, начала искать глазами светящуюся щель под дверью. Нет, не светится. И стука электростанции не слышно, хотя с половины пятого она всегда стучит. Может быть, я проснулась раньше обычного? Нет, дом на ногах. Тяжело ворочается какая-то суматоха: общий говор, беготня, сдержанное хлопанье дверей.

Натыкаясь в темноте на стулья, я нащупала халат и выглянула в коридор. В коридоре тоже было темно. Только квадратик окошка белел в конце его. И вдруг за окном, на снегу, дрогнуло и исчезло что-то розовое. Словно махнуло крылом.

Я подошла к окну.

Прямо передо мной, высоко и горячо, как костер, пылал финский домик. Пламя отражалось в пелене снега розовым нежным сиянием.

– Вы встали? А я собирался идти будить вас, – сказал мне Билибин, неслышно подойдя к окну в мягких туфлях. – Всего пятнадцать минут горит, и уже почти ничего не осталось. – Он взял меня за руку. Мы стояли у окна, касаясь плечами друг друга. – Какие тут пожарные! За тридцать-то километров! Момент – и нету… Молодежь здешняя сбежалась из Быкова, из Кузьминского с веселым криком: «Пии-сатели горят!» Не верите? Ей-богу. И никто пальцем не шевельнул. Стоят и смотрят… Загорелось от плитки.

– А людей там никого не было? В домике?

– Нет. Только вещи.

Он говорил как-то лениво и медленно. Уселся на подоконник, не отпуская моей руки, – словно по случаю пожара так оно и быть должно.

Розовое сияние вокруг облило его плечи, грудь, большую голову и мою руку у него в руке. Он не шевелился – только все сильнее сжимал мою руку.

– Чьи там вещи?

– Сестер медицинских, Людмилы Павловны. Она плачет и обещает взыскать стоимость с той сестры, которая оставила плитку.

Мне было хорошо стоять, глядеть на огонь, слушать его, подчиняясь его руке, и, может быть, от тьмы и внезапных высоких взлетов огня – немного страшно.

– Они так и кричали: «писатели горят»? – спросила я.

– Да.

– И Лелька тоже?

Он не ответил. Розовое сияние уже блекло, словно всасываемое снегом. За окнами тоже наступала тьма. Домик догорел.

– Когда дадут свет, – сказал Билибин, – я принесу вам свою повесть. Я кончил, пока вы изволили спать. Вот.

И он моей рукой шутливо и властно погладил себя по волосам.

...III 49 г.

Я прочитала.

Вчера мы стояли рядышком у окна. Вместе.

Обыкновенная рукопись, написанная на машинке. Но я никогда не забуду шрифта, никогда – лилового цвета ленты и хвостатой семерки в нумерации глав.

Никогда не забуду ни единого слова.

Сначала я все узнавала и всему радовалась. Звуки в лесу, звуки в шахте, под землей, в темноте. Время под землей и в лесу. Гудение лифта в шахте. Тишина десятого горизонта. Да, пишет он сильнее, чем рассказывает… И людей начала узнавать. Вот Саша Соколянский – здесь он Болтянский – красавец, умница, и заикание придает ему прелесть. Саша в повести шахтер. А это кто? С деревянным смехом? Ах, это, наверно, списан с надзирателя – того, что нарочно не давал заключенным спать, – у того был такой же деревянный смех… Вот как, он здесь инженер и, по-видимому, вредитель… И ребенок тут есть: хилый, болезненный, но это он потому такой, что его гнетет семейный раздор. А вот и главный герой, забойщик Петр. Его я что-то совсем не узнаю. Такого в его рассказах не было. И сюжет… Ну конечно, не мог же он для «Знамени» написать о лагере… Но зачем же тогда было брать те горы, тот лес, тех людей… Даже эпизод с письмом есть: человек перечитывает письмо от жены, листок выхватывает ветер – и человек гибнет, но не собака кидается, а, поспевая за листком, он сам падает, споткнувшись, в яму.

Соревнуются бригады шахтеров. Победа над фашистами вызвала небывалый размах трудового подъема. Вернулся с фронта к жене Федосье забойщик Петр. Федосья, которая раньше в шахте при лифте работала, за время войны идейно и профессионально выросла, как миллионы советских женщин, на чьи плечи легло хозяйство страны. Выдюжила! (В повести много народных словечек.) Пока Петр воевал, она работала, воспитывала детей и училась. Стала инженером. Борется за передовую технику. Не только перевела свою бригаду с кайлы на перфораторы, но съездила в Москву и добилась там угольного комбайна. Умная машина сама рубит, сама грузит, сама везет. Хватит работать по-дедовски! Федосья умело ведет агитацию. Петр недоволен: он привык к кайле и не хочет переучиваться. Ордена вскружили ему голову. Да и к старшему инженеру понапрасну жену ревнует. А ей инженер вовсе не нравится; напротив – она первая разоблачает его вредительство…

В шахте подъем, шахтеры стали на предоктябрьскую вахту, а в доме у Петра разлад, чуть не драки. «Папка, – говорит Петру болезненный пятилетний сынок, – ты мамку не трожь, а то я товарищу Сталину напишу. Он за нас заступится, он рабочего человека в обиду не даст». Ребенок после одной семейной сцены, в буран, на своих слабеньких ножках, падая и спотыкаясь, бежит к парторгу. Парторг пытается урезонить Петра, но Петр уперся. Тогда парторг поручает сердечно поговорить с ним бабке Марье, потерявшей на войне четырех сынов. Бабка нашла те слова, которые перевернули Петрово нутро. Петр повинился перед Федосьей.

«Его пальцы, свертывавшие козью ножку, дрожали… «Федосьюшка! – сказал он глухо. – Виноват я! Прости меня, дурака. Не туда свернул маненечко.. Старая меня на ум наставила».

Окончив, я долго сидела за столом, закрыв рукопись и разглядывая аккуратную папку. «Николай Билибин» написано было отчетливыми круглыми буквами. «Федосьина победа. Повесть».

Вот что он писал здесь – с семи утра. Вот зачем он приехал сюда, в тишину. Вот какой памятник воздвиг он своему другу. Вот о чем хочет он рассказать Тоне и Лельке, Векслеру и Людмиле Павловне.

До сих пор мне случалось испытывать в жизни горе. Но стыд я испытывала впервые.

Чувство стыда было такое сильное, что время остановилось. Как от счастья.

Шагов я не слышала. Раздался стук в дверь. Я знала, что это Билибин. Он всегда стучит легко, осторожно, самыми кончиками ногтей. Словно ходит на цыпочках.

Я не сразу отозвалась на стук. Надо было собраться с духом и с голосом.

– Войдите, – сказала я наконец. – Садитесь, пожалуйста.

Я указала ему на стул по другую сторону стола. Всегда в этой комнате он сидел на маленькой скамеечке возле меня. Он удивился, но сел.

– Вы трус, – сказала я. – Нет, хуже: вы лжесвидетель. – Он начал приподниматься. – Вы лжец. «Ты не чеченец, ты старуха…»

Он поднялся, распрямляясь. Не спуская с меня глаз, он, не глядя, протянул руку и нащупал папку.

– «Его пальцы, свертывавшие козью ножку, дрожали», – сказала я и тоже встала. – Все. Можете идти. Это все, что я могу сказать вам о вашей литературе… Прощайте. Почему у вас не хватило достоинства промолчать? Всего только промолчать? Ведь от вас никто этого не требовал… Неужели… из уважения к тем… кого вы засыпали землей… вы не могли как-нибудь иначе зарабатывать себе на хлеб с маслом?.. Чем-нибудь другим. Не лесом. Не шахтой. Не ребенком – тамошним. Не… заиканием вашего друга?

Он вышел.

…III 49 г.

Как мне вернуться в рощу – в ту, в какой я была в первый день? В ту, благостную, одаряющую меня покоем? Теперь уже мне не за что ее благодарить.

Теперь я прошу ее, прошу, а она мне ничего не дает. Сегодня она вся в подмороженном алмазном снегу. Но чем-то я населила ее таким, что теперь она не утешает меня и в ней уже не живет тишина.

Чем-то я перед ней провинилась, и она лишила меня своих утешений.

Теперь уже поздно каяться, звать ее на помощь. Послезавтра я уезжаю.

Как прожить эти двое суток под одной крышей с Николаем Александровичем? Обедать, завтракать… А потом еще ехать вместе… Впрочем, он, кажется, болен.

Сегодня утром я вошла в столовую с бьющимся сердцем. Но за столом сидел один Сергей Дмитриевич. Билибина не было.

– Заболел опять наш уважаемый коллега, вы уже были у него? – спросил меня Сергей Дмитриевич. – Пойдете – передавайте привет. Я тоже пойду. С сердцем у него, сестра сказала, опять плохо.

– Вот как? Нет, я еще не была.

Я сегодня ходила гулять три раза. По 45 минут каждый раз. Точно. Не давая себе поблажки. По часам.

После обеда пошла навстречу Лельке. Она в эту пору, подбросив брата соседям, бегает на станцию за хлебом. Встретила, отняла у нее сумку, засунула туда пирожки, яблоки, шоколад, проводила почти до самой деревни.

– А в Москве река есть? – спрашивает Лелька.

– Есть. Москва-река. Глубокая.

– А вам там по кеих?

– Не знаю. В городе купаться не позволяют.

– А на кой тогда река?

Худющая, востроглазая, быстрая. Прячет под черный платок замерзшие красные руки.

– Вы скоро уедете в Москву?

– Скоро, Леленька, скоро.

– А меня возьмете?

Остановилась, дует на руки и смотрит на меня большими глазами.

– Ну что ты, Леля! Как же я тебя возьму? Ведь тут твоя мама. Она дочку не отдаст.

– Отдаст! Она скажет: «Едь, Ольга, едь! Больно ты мне нужна. Нечего на шее сидеть». А я вам все буду делать… Я и посуду мыть умею, и банты наглаживать.

Стоит, смотрит на меня и с такой силой трет рукавом нос, словно хочет стереть его напрочь.

Я завязала на ней платок поаккуратней, присела на корточки и дыханием отогрела красные руки.

– Непременно пришлю тебе рукавички. Письма буду тебе писать. И книжку пришлю. Потом ты приедешь к нам погостить – ко мне и к Катеньке.

Я отдала ей сумку. Она повернулась и побежала к деревне – маленькое огородное чучело. Сумка била ее по ногам.

– А какую сказочку пришлете? Крылышко Ясного Сокола? И про дудку? – крикнула она, обернувшись еще раз.

Мне хотелось догнать ее, перекрестить, прошептать над нею какое-нибудь заклинанье. «Господь с тобой». И я сказала самой себе потихоньку: «Беги, моя добрая царевна, я про тебя не забуду».

Пошла полем обратно и спустилась к ручью. И с ним ведь проститься надо. Он не замерз, воркует, как голубь.

Вернувшись домой, я усадила себя за стол и заставила работать над переводом. В конце концов, все зависит от воли. «Главное, держать себя с руками», – говорила мне одна еврейская старушка в больнице… Заставила, но трудилась недолго. Потому что я вижу сквозь стены: по коридору, если пройти гостиную, есть комната, и в ней, на высоких подушках, лежит человек с синими губами и смотрит на дверь. От его двери до моей, я сосчитала однажды, девятнадцать шагов.

Но теперь они превратились в девятнадцать километров. Не менее. В девятнадцать веков.

…III 49 г.

Завтра я уезжаю.

Другое время у меня в комнате оттого, что завтра конец. Оно не тянется и не летит. Его просто негу. Оно выкачано, как бывает выкачан воздух.

Я сижу уже не в своей, а в чужой комнате. Это уже не мой долгожданный дом, а просто номер гостиницы, в котором послезавтра будет жить кто-то другой. И занавески уже ничьи – не мои, – чужие. Это просто уже небольшая зала ожидания, ну, скажем, на вокзале.

Сегодня мне не хочется ни гулять, ни работать, ни вылезать из халата к обеду. Так бы и лежала на диване безо всякого дела. Что уж тут! Все равно завтра конец… Однако был и обед, и мертвый час, и светящаяся щель под дверью, и заря на своем месте за окном – все, как двадцать пять раз. И даже Билибина я увидала опять.

Он меня не видел, а я его видела. Утром я гуляла. Отправилась недалеко, в елки. Там мы редко бывали вместе… Села на сырой полуоттаявший пень, натянула на колени полы

шубы. Он шел по тропинке – один, с шапкой в кармане, подставив лицо встречному теплому ветру. Сюда? Увидел меня? Сердце сжалось – от волнения, а может быть, от счастья. Нет, не сюда. Нас разделяли густые широкие ели. Он шел медленно, трудно, иногда отдирая от стволов мох и растирая его в ладонях. До мельчайших подробностей на ярком дневном свету было мне видно его лицо: желтоглазое, с синеватыми губами, с темной сетью морщин. Ветер шевелил легкие волосы над высоким лбом – как тогда, на поляне, – и я вдруг вспомнила: в день пожара он тронул моей рукой свою голову: какие у него мягкие волосы! как у ребенка! И как легко сейчас их перебирает ветер. Он шел, о чем-то думая, машинально растирая мох между ладоней, и вдруг остановился. Большая рука нашарила на груди пуговицу, расстегнула ее, он достал из внутреннего кармана – я знала что! нитроглицерин! – булавкой вытащил пробочку, высыпал на ладонь зерна, взял одно губами… Постоял, прислушиваясь к боли, и, повернувшись, медленно побрел обратно: домой. Теперь ветер ерошил волосы не надо лбом – над затылком… Наверное, пошел лечь.

«Наденьте шапку, простудитесь», – хотелось мне сказать, как тогда. «Постойте немного, не торопитесь, пусть утихнет боль», – хотелось мне сказать, как столько раз я говорила на прогулке. «Простите меня! – хотелось мне сказать. – Я не имела права судить вас; я, на которую никогда не кидались собаки, я, которая никогда не видела деревянной бирки на ноге мертвеца… Простите меня! Вы не желаете обратно: туда, на лесоповал, в шахты. Второй раз! Ваша повесть – ваш бессильный щит, ваша ненадежная ограда… Простите меня! Один инфаркт у вас уже был – болезнь дорого стоит, вам нужен заработок. А чем еще вы, инвалид, можете заработать? Только писанием. Писанием трафаретной лжи… Простите меня! Я не имела права требовать от вас правды, я-то здоровая – и то молчу. Меня по ночам не избивали в кабинете следователя. А когда вас били, я молчала. Какое же право я имею судить вас теперь? Простите мне мою окаянную жестокость, простите меня!»

Догнать – окликнуть – сказать?

Но я сидела неподвижно, изо всех сил натягивая на колени полы своей шубы, – и он удалялся, медленно и неотвратимо.

Уходил из моей жизни.

Я впервые видела его спину, его походку. Могучие плечи и слабо ступающие, словно подгибающиеся ноги. Медленно, неверно ступают ноги, шатко несут все его крупное тело: широкие плечи и большую голову…

Мне жалко было его – и себя было жалко, и всех. «Родина моя, Россия», – подумала я чьей-то чужой строкой. Его медленные плечи скрывались за деревьями. Еще можно нагнать, окликнуть, попросить прощения, он еще тут, мы еще вместе…

Прощай! Прощай!

…В сумерках, не в силах переносить свою чужую комнату, я снова вышла пройтись. Ни мороза, ни снега. Оттепель. Тает. Липкая грязь под ногами. Я вернулась, надела калоши и все-таки, хлюпая, пошла в рощу. В наш дом. Там снег лежал по-прежнему, но пахло сыростью. Громко кричали галки. Кругом шептало, капало, трудилось. Сугробы осели; их темная поверхность вся в каких-то ямках, в ноздрях. Роща сегодня неопрятная. Снег на ветках разложен небрежно, грязными клоками – словно вата на уже надоевшей рождественской елке. «Смывает наши старые следы, – подумала я, – вот и хорошо». Я чуть не упала, поскользнувшись на склизком коме земли. Одна нога увязла. Я с трудом вытянула ногу и отшвырнула от себя липкий ком.

Когда я умру, я стану таким вот комом. Он – тоже. Сколько об этом написано, сказано, думано – и понять все равно нельзя. Руки станут землей, и глаза, и рот. И память. И тревога. И грехи. И правда. И ложь.

И тогда, когда это наконец совершится, если кто-нибудь наступит ногой на комья, – им уже не будет больно.

…III 49 г. Москва

В 11 часов, после завтрака, курносенькая санитарка вынесла мой чемодан к машине. Людмила Павловна вышла на крыльцо проводить, Билибин тоже собрался ехать: значит, все-таки не заболел. Справился. Слава богу.

На прощанье Людмила Павловна отвела меня в сторону: «Ах, какой у вас шарфик – оригинальный… Сразу видно, что не наш… Неужели Мосторг?.. Так я вас очень, очень прошу, Нина Сергеевна, – она сжала мою руку – никому… ни словечка… неужели без очереди достали? Ну, это, прямо сказать, повезло!.. Ну, приезжайте к нам еще».

К счастью, ехали мы не вдвоем. Я села рядом с шофером, а на заднем сиденье рядом с Николаем Александровичем устроился толстяк-гипертоник. Давление снизилось до ста шестидесяти, он ехал к Яшеньке, домой, очень довольный… Что-то расскажет ему Яшенька? (А ведь когда я училась в школе – антисемитизма мы не знали. Мы привыкли смотреть на него как на что-то смешное, древнее, не нашего века – что-то вроде алебарды, например.)

…Тает, тает, как вчера. Только чуть-чуть припорошило ветви елей и дорогу легким снежком. Поля, березы, холмы, на которые взбираются елки, летели мне навстречу – и лиловатое месиво дороги.

В кузове, позади меня, мужчины курили и негромко беседовали. Голос у Билибина обычный: спокойствие, любезность. Я их не слушала. Мне бы выпрыгнуть, вернуться назад, в последний раз; один только раз пойти в рощу, глянуть, как березы водят хоровод вокруг елки. Как детский сад зеленеет под белым одеялом. Зайти в свою комнату, пока она еще не совсем чужая, глянуть в ее ясные окна.

Поздно. Этого уже не будет никогда. Вот уже виден вокзал.

Приехали! Шофер вытащил портфель гипертоника и чемоданы – легонький мой и тяжелый Билибина – на платформу. Купил и роздал нам билеты и на лету подхватил чаевые. Подошел поезд. Толкотня, суета, духота. Шофер втащил чемоданы в вагон: портфель гипертоника на полку, чемоданы под лавку. «Счастливо вам!» – и спрыгнул.

Поезд тронулся.

Я села в угол и закрыла глаза. Илья Исаакович и Билибин решали какую-то шахматную задачу, склонившись над «Огоньком». Их голоса сливались со стуком колес и с другими голосами.

В натопленном вагоне – молочницы, неподвижно сидящие возле своих бидонов и мешков; древние деревенские старухи; сопливые ребятишки; железнодорожники; инвалиды; пьяный парень, лежащий на лавке носом вниз, горбом белобрысого затылка вверх; какие-то молодые чернобровые девицы с намазанными губами, в зеленых вязаных шапочках и желтых варежках.

Все едут издалека, и все, кроме спящего, рассказывают что-то соседям, продолжают обстоятельное, за несколько станций начатое повествование.

– …Она у меня четырех курей съела. А перьё – в сундук Я там и обнаружила. Взяла у ней две подушки блином да самовар рваный… За курей.

– Свадьбу на ноябрьские справили. Хорошо, если пропишут его. Это надо руку в милиции иметь…

– А наша Зинаида за старого пошла. Мастер он, на железной дороге. За площадь пошла. У ей сын в детдоме от первого мужа. Так когда старик помрет, она сына домой. Мать, как ни говори, должна позаботиться… площадь…

– Сходил в нашу районную, там врачи не признают. И в платную, к профессору, тоже не признают ничего. Это, говорят, на нервной почве. А какая тебе нервная почва, когда – как дождь, так спину и ломит…

«Родина моя, Россия», – подумала я опять. И потихоньку стала разглядывать людей.

«А что там у них за… Внутри? Как туда заглянуть, породниться? За этими курями… за платной поликлиникой… за свадьбой… Что они видят, каждый в своей тьме, перед сном, смыкая веки?.. Если бы я могла вместе *с* ними спуститься под воду и увидеть то, что видят они. Вот это был бы настоящий спуск. Вместе с ними. В их память. Ну, хоть в память этого вагона. Всего. Сколько тут есть людей».

– В школу в четверг вызывали. Говорят, он у вас баловной. А я скажу, учительница молодая, несамостоятельная, ребята балуются, и он с ими…

– Богаты не богаты, но на жизнь они, будьте спокойны, больше нас с вами имеют. Перед праздниками давали не наш компот – болгарский, – вижу, она взяла пять кил… Люди по одному, а она пять тащит… Вот и считайте…

Через час поезд с яркого света вошел в полутьму московского перрона. Молочницы взвалили на плечи узлы, взяли в руки бидоны.

Толстяк повязался рыжим шарфом и, тараща глаза, снял с полки портфель. Билибин запахнул шубу, проверив, в карманчике ли нитроглицерин. Я сунулась было за своим чемоданом, но он вместе со своим уже подхватил и мой.

«Спорить не стану, – подумала я. – Чемодан легкий».

На перроне к нам подошла немолодая дама, с красивым, искусно подкрашенным лицом. Билибин поцеловал ей руку. «Ах да, жена, – вспомнила я. – Марина Августиновна. Ведь он рассказывал, что, вернувшись, женился. Контролерша в сберкассе, что ли?»

– Познакомься, Мариночка, – проговорил Билибин, тревожно взглянул на нее, а потом на меня. – Вот это моя очаровательная соседка, Нина Сергеевна, о которой я столько писал тебе. А это – мой партнер по шахматам, уважаемый Илья Исаакович… Ну, как ты находишь? Поправился я?

– Очень приятно, – сказала мне Мариночка, и я убедилась, что она не хуже его умеет делать улыбку. – Позволь, Николаша, я возражаю, таскать тяжести врач категорически тебе запретил.

Она властно вынула у него из рук оба чемодана и понесла их сама.

Я не стала отнимать. Следовало бы отнять свой, но мне было лень. «Пусть тащит, если ей нравится. Все равно», – подумала я.

На площади Билибин подозвал такси. Гипертоник простился с нами: ему близко, да и вещей никаких. Билибин отворил передо мною дверцу машины, и я села… Пусть!

– Вам куда? – спросила у меня Марина Августиновна с той же любезной улыбкой. Это делается просто: обнажить зубы и чуть-чуть прищурить глаза. Я сказала шоферу адрес.

Супруги ехали молча: ждали, пока я выйду.

Вот и площадь Маяковского, Пушкина… В Москве совсем нет снега…

Снег белеет там, в роще. А тут черно.

Пять минут осталось до дома.

До моего чужого дома. До Катеньки. Нет, она еще в школе. До Елизаветы Николаевны.

Машина остановилась у подъезда.

Билибин вышел, вынес мой чемодан, отворил передо мною дверцу машины.

– Не стоит, не стоит, пустяки… Дайте внесу на крыльцо. Спасибо за компанию. Кланяйтесь вашей милой дочке. Соскучилась она, воображаю! Вернется из школы, а мамочка дома – какой сюрприз! Всего наилучшего! Доброго вам здоровья!

1949–1957

Воспоминания

Предсмертие

1

На телеграфном бланке, протянутом мне моей собеседницей, было крупно выведено:

«Асеев и Тренев отказали в прописке».

– Нет, такую телеграмму посылать нельзя, – сказала я. – Вы же сами говорите, что Марина Ивановна в дурном состоянии. Да и подумаешь – высшая инстанция: Тренев и Асеев! Да и подумаешь, столица – Чистополь! Здесь прописывают литераторов всех без изъятия. Были бы невоеннообязанные.

– А вы с Треневым или Асеевым знакомы? Беретесь уговорить? Без них нельзя. В Чистополе они представляют Президиум Союза писателей.

– Здесь я почти ни с кем не знакома. Я ведь ленинградка, не москвичка… К тому же я не член Союза и не член Совета эвакуированных. С чего Асееву или Треневу меня слушать?.. А скажите, пожалуйста, вам понятно, какого черта они не желают прописывать Цветаеву?

– Как! – моя собеседница сделала большие глаза и перешла на шепот. – Вам разве неизвестно, кто она?

– Известно: Цветаева – поэт, очень своеобразный и сильный. Одно время была в эмиграции. Потом вернулась по собственной воле на родину. Ее муж и дочь арестованы. Она осталась одна с сыном. Ну и что?

– Тссс! – снова встревожилась моя собеседница. – Не говорите так громко. Мы не одни.

Мы и в самом деле далеко не одни. Тесное, душное помещение почты полным-полно.

Место действия – Чистополь. Небольшой городок на левом берегу Камы. Один из районных центров Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Центр не особенно центральный: 142 километра до Казани, 90 до ближайшей станции железной дороги. Время действия: конец августа 41-го года. Конец второго месяца войны.

Моя случайная собеседница, Флора Моисеевна Лейтес, женщина с ярко-черными волосами и в ярко-пестром платье, стоит в очереди к окошку, где принимают телеграммы, я же – к окну «до востребования».

Я прихожу сюда каждый день, но напрасно: ни от кого ничего. Никакого ответа на мои непрерывные письма.

С Флорой Моисеевной Лейтес я еле знакома. В Чистополь Московский Литфонд эвакуировал писательский детский дом, писателей-стариков, писателей-инвалидов, писательские семьи. Семьям ленинградских литераторов положено было вместе находиться под Ярославлем, в Гавриловом-Яме. Я же попала в Чистополь, а не под Ярославль потому, что война застигла меня не в родном моем Ленинграде, а в Москве, где я перенесла тяжелую медицинскую операцию. С первого же часа войны мною овладела неодолимая жажда вернуться домой, в Ленинград, но в июле 41-го с незарубцевавшейся раной, с постоянными болями в сердце пробираться в Ленинград – на буфере, на крыше вагона! – нечего было и думать. (Тем более что дорога «Москва – Ленинград» уже подвергалась налетам.) Когда мне стало чуточку лучше, меня, мою десятилетнюю дочь Люшу и четырехлетнего племянника Женю – всех нас троих под присмотром няни Иды – отправили из Москвы с другими семьями московских писателей в Чистополь.

Во второй половине июля немцы в своем рывке на Москву уже захватили Смоленск, Ельню, Рославль. Двигались они и к Ленинграду. В начале августа до нас доползли слухи, что они уже на подступах к Киеву. Москву начали бомбить еще при мне, Внуковский аэродром (в нескольких километрах от Переделкина) – тоже. «Последние известия», объявляемые в газетах и по радио, не всегда бывали истинно последними: власти с нарочитой замедленностью объявляли гражданам о сдаче очередных городов, и граждане, как это повелось издавна, питались преимущественно слухами. К тому же радиотарелки вещали только в некоторых учреждениях, только на главных улицах или площадях. Да и газеты опаздывали.

Основное мое занятие в Чистополе: кроме очередей за керосином или селедкой стоять в очередях за вестями – за письмами. В очередях все больше женщины, вестей они ожидают все больше из армии. Я хочу знать и не знаю, где сейчас оба мои брата: оба на фронте, но где? и живы ли? Уехали ли из Москвы мои родители – и куда? и не разбомбили ли их квартиру в Москве или эшелон по дороге? Где все мои друзья – ленинградцы? Эвакуированы или остались, и в каком вообще положении Ленинград? Бомбят ли его? Обстреливают?.. В Чистополе, кроме меня, ленинградцев нет, расспрашивать некого. А почта в параличе. Каждый день я волочу сюда ноги по черной грязи, липкой даже в жару. Плетусь, одолевая одышку, и считаю свои шаги или, для разнообразия, окна домишек – чет или нечет? будет письмо или нет? Какое-нибудь от кого-нибудь? А вдруг из Ленинграда?

Сегодня мой последний шаг был четный. Значит – будет.

Флора Моисеевна задает мне свои вопросы о телеграмме Цветаевой в самую неподходящую минуту: от меня до почтового окошка всего три человека. Я отвечаю ей, думая совсем о другом.

– Так что же, по-вашему, делать? – теребит меня Лейтес. – Телеграмму ей посылать, по-вашему, не следует, а делать-то что?

– Настаивать! Хлопотать!.. Елабуга небось такая же дыра, как и Чистополь. Что за разница Союзу писателей, где именно будет Цветаева жить? Была же она прописана в Москве или в Московской области, почему же ее не прописывать здесь?

Прописка в Чистополе для литераторов затруднений не представляла. Наш пароход отплыл из Москвы 28 июля, прибыли мы в Чистополь, с пересадкой в Нижнем, 6 августа, а дней через десять все уже были прописаны.

Сначала меня с семьей, как и всех новоприбывших, поместили в здании педагогического училища, превращенном в общежитие. Потом я сняла комнату неподалеку от Камы на деревенской улице, носящей громкое, но малоподходящее для русско-татарско-чувашского городка название: улица имени Розы Люксембург. Совет эвакуированных выдавал всем приезжим справку со штампом Союза писателей за подписью Асеева, Тренева и уж не помню чьей. Выдали справку и мне. Ищи себе комнату и отправляйся в горсовет, к Тверяковой. Та в свои приемные часы всегда на месте. Это доброжелательная и толковая женщина. Она расспрашивала, у кого дети, какого возраста, прикидывала, какой семье в какой избе будет удобнее: где какие хозяева, где хозяин пьет, где хозяйка сварливая, у кого корова, у кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она незамедлительно ставила штамп. Была бы справка. Писательских фамилий она, безусловно, не слыхала никогда ни единой. О Цветаевой она так же не слыхивала никогда ничего, как о любом другом литераторе, будь то Гладков, Чуковский, Лейтес или Александр Твардовский.

Нет, четное число шагов от избы до почты обмануло меня и на этот раз. Писем опять нет. Я отхожу от окна.

– А с Ляшко вы можете поговорить?

– С Ляшко? А он кто такой? Я никогда и в глаза его не видывала и не читала ни единой строчки.

Однако фамилия Ляшко – быть может, по совпадению окончаний? – напомнила мне о Квитко, о моем хорошем знакомом, поэте Льве Квитко, приехавшем в Чистополь на несколько дней навестить семью. Перед отъездом он обещал зайти ко мне. Поговорить о Цветаевой с Квитко – это разумная мысль. Он из тех, кто безусловно имеет вес в Союзе.

– Я попрошу Квитко, – говорю я, – а вы, очень советую вам, не посылайте пока телеграмму.

Флора Моисеевна пожимает плечами и кладет телеграмму себе в сумочку. Мы вместе выходим на улицу. Прощаемся: нам в разные стороны.

Итак, вестей нет, нет и нет. Нету писем. Вести же, сообщаемые нам в последние дни газетами и радио, таковы:

> «Правда», 18 августа, понедельник.
>
> От Советского информбюро. Вечернее сообщение.
>
> В течение 17 августа наши войска продолжали вести ожесточенные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили города Николаев и Кривой Рог. Николаевские верфи взорваны.
>
> 19 августа, вторник.
>
> После упорных боев наши войска оставили город Кингисепп.
>
> 21 августа.
>
> Ко всем трудящимся города Ленина.
>
> Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!
>
> Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть к Ленинграду.
>
> …Смерть кровавым немецким фашистским разбойникам! Победа будет за нами!»

Хотела бы я расшифровать строку: «Враг пытается проникнуть *к* Ленинграду». Проникнуть *к* нельзя. Проникнуть можно только *в*. В Ленинград? Значит, немцы уже вблизи, возле, вплотную? В Стрельне? В Колпине?

> «26 августа. Вечернее сообщение.
>
> В течение 25 августа наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили Новгород».

Оставили, оставили, оставили…

…что́ народу-то!
Что народу-то! с камнем в воду-то!

Приходит ко мне Квитко. Мне хочется разузнать у него, какие вести, помимо газетных, из Киева – он сам с Украйны, с Уманьщины родом, и Киев для него, верно, такая же боль, как для меня Ленинград. Квитко я знаю ближе, чем остальных здешних москвичей: он друг моего отца. Корней Иванович одним из первых заметил и полюбил стихи Квитко для детей, добился перевода их с идиш на русский язык, и Лев Моисеевич Квитко, после большого успеха своих стихов в русской поэзии, незадолго до войны перебрался в Москву. Теперь два-три дня пробыл в Чистополе: здесь жена его и дочь. Ко мне пришел накануне отъезда, расспросить поподробнее, что передать от меня отцу, если они где-нибудь встретятся.

Что передать? Чистополь – это настоящий капкан. Обрести здесь хоть какой-нибудь заработок безнадежно. Снабжение убогое, цены на рынке растут, а где работа? В Ленинграде я уже работала стенографисткой; писала кое-какие статьи; была редактором; могу быть корректором, но в Чистополе нет учреждений, нуждающихся в стенографистках, и уж, конечно,

никаких издательств. Я могу преподавать русский язык и литературу, но в здешних школах все места заняты здешними учителями. Семейству моему денег, лекарств и продуктов, взятых с собою из Москвы, хватит, по моим расчетам, месяца на полтора. А дальше? А дальше наступит зима, Кама на зиму станет, навигации конец, железной дороги нет, и из капкана не вырваться.

Письма ни от меня, ни ко мне не доходят, я не знаю, где кто; я просила Квитко во что бы то ни стало разыскать Корнея Ивановича, все рассказать ему, а потом сообщить мне телеграфно, где мои родители, живы ли братья?

Квитко вглядывался в детей и в меня, в нашу комнату, расспрашивал о здоровье. О Киеве я заговорить не решилась. Неужели – оставят? Оставят Киев?.. Я очень этот город любила, жил он в моем сердце, пожалуй, на втором месте после Ленинграда. Да и не только город: там отец, и мать, и брат моего покойного мужа. Успели ли выехать?.. Да нет, быть того не может, чтобы наши отдали Киев! Этого имени я в разговоре с Квитко не произнесла. Но о Цветаевой, о безобразии, творимом Литфондом, заговорила. Ведь не ссыльная же она, сказала я, а такая же эвакуированная, как все мы, – почему же ей не разрешают жить, где ей хочется? Ведь не прикреплена она к месту. Квитко потемнел. Этот человек редкостного душевного равновесия не любил сталкиваться с несправедливостью. Она мешала его открытому и веселому нраву, воистину детскому – тому, который так счастливо слышен в его стихах. Она становилась поперек его вере. Он всегда внушал себе и другим, что все будет хорошо, он любил в это верить, он этою верою жил… Лев Моисеевич обещал мне увидаться сегодня же с Асеевым, выяснить, в чем, собственно, дело, да и прямо, от своего имени, поговорить с Тверяковой. (Он был не только член партии, но и писатель-орденоносец – редкость по тем временам.) «Все будет хорошо! – повторил он несколько раз на прощанье. – Сейчас самое главное – каждый человек должен накрепко помнить: все кончится хорошо». Относилось это заклинание и к моим родным, и к войне, и к Ленинграду, и к Киеву, и к Цветаевой – и к самой жизни… Глядя на его сильные плечи, на крупные черты лица, чем-то, быть может, смуглотой, а быть может, щедростью улыбки, напоминавшие Пастернака, слушая его звучный голос, я на минуту поверила, что и впрямь все кончится хорошо.

(Лев Моисеевич Квитко был арестован в разгар «борьбы с космополитизмом», в 49-м году, и, после жестоких истязаний, расстрелян в 52-м. Думаю, он расстался с верой, что «все кончится хорошо», лишь в минуту расставания с жизнью.)

Я проводила его до ворот. Он обещал мне раздобыть все сведения о Корнее Ивановиче, увидать его или написать ему и непременно телеграфировать мне. Что же касается Цветаевой, он прямо от меня отправился к Асееву.

На следующий день я пошла искать аптеку: у Жени повысилась температура, глотать ему больно – по-видимому, ангина. Отправилась я добывать компрессную бумагу. Если не окажется в аптеке, зайду в писательское общежитие, там уж у кого-нибудь найдется. Там у меня завелось много новых знакомых, полузнакомых, четвертьзнакомых – недавних спутников по общему плаванию.

В этот день – думаю, было это 26 августа – и встретилась я впервые с Мариной Ивановной Цветаевой.

2

Было в Чистополе место, где неизбежно встречались все вновь прибывшие и прибывшие ранее: площадь перед горсоветом. Куда бы ни шел, а ее не минуешь. Иногда и нарочно завернешь туда. Там уж какую-нибудь новость и ухватишь: кого куда переселили из общежития; когда наконец выдадут керосин – а то здешние хозяева берегут дрова на зиму, своих

русских печей не топят, а у нас у всех керосинки; и, главное, главное – какие новости с фронта? Что означает: «враг проник *к* Ленинграду»? Немцы в Царском? В Стрельне?

Немцы уже ходят по Невскому? Черная радиотарелка вещала на той же площади горсовета: она часто портилась, но кто-нибудь уж, наверняка слышал последние известия.

Из общежития, где мне подарили компрессную бумагу, шла я назад через эту всезнающую площадь. Пусто. И тарелка молчит. Как вдруг кто-то меня окликнул.

Это была та же Флора Моисеевна Лейтес. Она шла об руку с худощавой женщиной в сером. Серый берет, серое, словно из мешковины, пальто и в руках какой-то странный мешочек.

– Познакомьтесь: Марина Ивановна Цветаева.

Женщина в сером поглядела на меня снизу, слегка наклонив голову вбок. Лицо того же цвета, что берет: серое. Тонкое лицо, но словно припухшее. Щеки впалые, а глаза желто-зеленые, вглядывающиеся упорно. Взгляд тяжелый, выпытывающий.

– Как я рада, что вы здесь, – сказала она, протягивая мне руку. – Мне много говорила о вас сестра моего мужа, Елизавета Яковлевна Эфрон. Вот перееду в Чистополь, и будем дружить.

Эти приветливые слова не сопровождались, однако, приветливой улыбкой. Вообще никакой улыбкой – ни глаз, ни губ. Ни искусственно светской, ни искренне радующейся. Произнесла она свое любезное приветствие голосом без звука, фразами без интонации. Я ответила, что тоже очень, очень рада, пожала ей руку и заспешила на почту.

Всю дорогу, шагая мимо шатких дощатых заборов, вспоминала я этот желто-зеленый взгляд и размышляла над этими неподходящими словами: «Будем дружить!» Разве мы девочки-школьницы, чтобы, увидавшись впервые, уславливаться: вот сядем за одну парту и будем дружить? А самое странное – я бы даже сказала, смешное! – это упоминание о Елизавете Яковлевне. Что могла Елизавета Яковлевна Эфрон обо мне рассказывать, да еще «много рассказывать», если встреча у нас с ней произошла одна-единственная и, мягко выражаясь, в высшей степени неудачная? Встретились мы в санатории Академии наук «Узкое», под Москвой. Я приехала вечером и оказалась за одним столиком с незнакомой дамой; завтра с утра ей уезжать. Полная дама, гораздо старше меня, лет пятидесяти, – и тем не менее настоящая красавица. Глубокие темные глаза, ровные белые зубы и какая-то особая прелесть в мягком голосе, в мягких движениях, в серьезном внимании к собеседнику. Мы сказали друг другу «Добрый вечер!» и, не называя своих имен, за ужином разговорились. Разговор сначала был самый пустой, незначительный – о здешних врачах, о погоде, о режиме, но, не помню почему, речь зашла о «художественном чтении» – о недавнем приезде какого-то чтеца, что ли. Я, с детства наслушавшаяся, как читают поэты, высказала нечто нелестное об актерском исполнения стихов. Я слышала Антона Шварца, Качалова, Яхонтова – и все они мне не нравились. «Они не доверяют стиху, – говорила я, – они думают, что к стиху надо еще что-то прибавить от себя: голосом, интонацией, жестом. А стих не нуждается в этом. Его надо только огласить, произнести, изо всех сил совершая вычитание себя, – вот как читал Блок, например. Он как бы перечислял слова – и только, с точнейшим соблюдением ритмического рисунка, разумеется… К тому же, – добавила я, – все это «художественное чтение» развращает слушателя, преподнося ему стихи в качестве некоего аттракциона, а на самом деле стих для поэта – плод глубочайшего сосредоточения, вслушивания – и восприятие должно быть результатом сосредоточенности». Моя vis-a-vis смотрела на меня молча, внимательно, даже как-то задумчиво, положив щеку на руку, словно посылая мне навстречу через стол очарование своих внимательных глаз. А наутро, когда она уже уехала, мне, в ответ на мои расспросы, объяснили, что это была наставница всех лучших актеров-чтецов, обучавшая их художественному чтению, режиссер, знаменитый педагог Елизавета Яковлевна Эфрон.

Помню, я тогда пришла в отчаянье от своей бестактности, резкости; я испугалась, что она приняла мою болтовню за преднамеренную грубость или за попытку учить ее уму-разуму.

И вот теперь от Цветаевой: «Я рада, что вы здесь, будем дружить, мне много рассказывала о вас Елизавета Яковлевна». Быть может, Марина Ивановна и сама не одобряет «художественное чтение» и по рассказу Елизаветы Яковлевны поняла, что я люблю стихи?

Писем не было. Зато из разговора в очереди на почте я узнала, что «после упорных боев наши войска оставили город Днепропетровск». Кто-то где-то слышал по радио.

На следующее утро, когда я, со стаканчиком меда в руке, возвращалась с рынка, на улице ко мне подбежала встревоженная девушка – совсем молоденькая, одна из чьих-то писательских дочерей (фамилии не помню) – и, подбежав, оглушила вопросом:

– Вы – член Совета эвакуированных? Совета Литфонда?

– Да нет же! Я вообще никто. Даже не член групкома. Я отправлена сюда потому, что я «член семьи писателя Чуковского».

– Господи, как не везет… Я думала, вы хоть член Союза. Тут нужен человек с именем. Но все равно. Идите. В помещении парткабинета заседает сейчас Совет Литфонда. Туда вызвали Цветаеву и там решают, пропишут ли ее в Чистополе. Она в отчаянии. Бегите скорей.

Чужая тревога повелительна. Я не стала объяснять, что и Цветаеву-то видела всего раз в жизни и для нее никто. Держа стаканчик перед собой, я заспешила в парткабинет. Не могу сейчас вспомнить с уверенностью, но, кажется мне, помещался он в том же здании горсовета и был для меня местом известным: туда, хоть и с опозданием, доставлялись газеты, и даже нас, беспартийных, пускали читать.

Я старалась идти быстро. Кроме сильно колотившегося сердца, очень мешал стаканчик: нельзя было уронить ни капли.

По дороге пыталась я придумать, что же все-таки произнесу, если меня, паче чаяния, на заседание литфондовского Совета пустят? Ничего, кроме мысли, уже высказанной мною Льву Моисеевичу: «Она ведь эвакуированная, а не ссыльная, и не лишена права передвигаться», – не лезло мне в голову. Но то, что я могла с глазу на глаз выговорить Льву Моисеевичу, стоило ли произносить публично? Упоминание о ссыльных или о правах только раздразнит начальство. Ах, доказательнее всего прочесть бы им вслух какое-нибудь из любимых моих цветаевских стихотворений (я знала тогда и любила немногое: сборник «Версты»). Неужели человек, создавший, написавший своею рукой такую мученическую и мучительную мольбу, такой упрек, такое воззвание к Господу Богу:

…Чем прогневили тебя эти серые хаты, —
Господи! – и для чего сто́льким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь…

Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. – Ох, и поют же
Нынче солдаты! О Господи Боже ты мой! —

неужели поэт, *прорыдавший* эти слова, не прописал себя на веки веков в великой русской литературе, а значит, и в любой точке российской земли? Ведь это то же, что хоть и шепотом, но с тою же силою проговорила тогда же – Ахматова:

Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня.

(Вот ведь несхожие, чуждые друг другу поэты, а стряслась с Россией беда, и два голоса одарили нас одной и той же молитвой. Вопль: «Нет, умереть!» Шепот: «До первой битвы умертвить меня».)

…Лестница. Крутые ступени. Длинный коридор с длинными, чисто выметенными досками пола, пустая раздевалка за перекладиной, в коридор выходят двери – и на одной дощечка: «Парткабинет». Оттуда – смутный гул голосов. Дверь закрыта.

Прямо напротив, прижавшись к стене и не спуская с двери глаз, вся серая – Марина Ивановна.

– Вы?! – так и кинулась она ко мне, схватила за руку, но сейчас же отдернула свою и снова вросла в прежнее место. – Не уходите! Побудьте со мной!

Может быть, мне следовало все-таки постучаться в парткабинет? Но я не могла оставить Марину Ивановну.

Пристроив стаканчик на полу, я нырнула под перегородку вешалки и вытащила оттуда единственный стул. Марина Ивановна села. Я снова взяла стаканчик. Марина Ивановна подвинулась и потянула меня за свободную руку: сесть. Я села на краешек.

– Сейчас решается моя судьба, – проговорила она. – Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру. Я чувствую, что непременно откажут. Брошусь в Каму.

Я ее стала уверять, что не откажут, а если и откажут, то можно ведь и продолжать хлопоты. Над местным начальством существует ведь еще и московское. («А кто его, впрочем, знает, – думала я, – где оно сейчас, это московское начальство?») Повторяла я ей всякие пустые утешения. Бывают в жизни тупики, говорила я, которые только кажутся тупиками, а вдруг да и расступятся. Она меня не слушала – она была занята тем, что деятельно смотрела на дверь. Не поворачивала ко мне головы, не спускала глаз с двери даже тогда, когда сама говорила со мной.

– Тут, в Чистополе, люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, а там – сплошь деревня.

Я напомнила ей, что ведь и в Чистополе ей вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе. Без водопровода. Без электричества. Совсем как в Елабуге.

– Но тут есть люди, – непонятно и раздраженно повторяла она. – А в Елабуге я боюсь.

В эту минуту дверь парткабинета отворилась, и в коридор вышла Вера Васильевна Смирнова, жена моего приятеля Вани Халтурина. С Верой Васильевной знакома я еле-еле, а с Ваней дружила издавна, еще в Ленинграде, еще чуть не со школьных своих времен.

Ваня переехал в Москву и женился на Вере Смирновой. Теперь он в армии, а Вера Васильевна здесь, живет неподалеку от меня, и я, бывает, забегаю к ней наведаться: нет ли письма от Вани.

Цветаева поднялась навстречу Вере Васильевне резким и быстрым движением. И взглянула ей в лицо с тем же упорством, с каким только что смотрела на дверь. Словно стояла перед ней не просто литературная дама – детская писательница, критик, – а сама судьба.

Вера Васильевна заговорила не без официальной суховатости, и в то же время не без смущения. То и дело мокрым крошечным комочком носового платка отирала со лба пот. Споры, верно, были бурные, да и жара.

– Ваше дело решено благоприятно, – объявила она. – Это было не совсем легко, потому что Тренев категорически против. Асеев не пришел, он болен, но прислал письмо *за.* («Вот и разговор с Квитко», – подумала я.) В конце концов Совет постановил вынести решение простым большинством голосов, а большинство – *за,* и бумага, адресованная Тверяковой от

имени Союза, уже составлена и подписана. В горсовет мы передадим ее сами, а вам сейчас следует найти себе комнату. Когда найдете – сообщите Тверяковой адрес – и все.

Затем Вера Васильевна посоветовала искать комнату на улице Бутлерова – там, кажется, еще остались пустые. Потом сказала:

– Что касается вашей просьбы о месте судомойки в будущей писательской столовой, то заявлений очень много, а место одно. Сделаем все возможное, чтобы оно было предоставлено вам. Надеюсь – удастся.

Вера Васильевна простилась и ушла в парткабинет заседать. А мы по лестнице вниз.

Я ничего ни от кого не слыхала ранее ни о грядущей столовой (какое счастье! керосин придется добывать только для лампы!), ни о месте судомойки, на которое притязает Цветаева. О, конечно, конечно, всякий труд почетен! И дай ей Бог! Но неужели никому не будет стыдно: я, скажем, сижу за столом, хлебаю затируху, жую морковные котлеты, а после меня тарелки, ложки, вилки моет не кто-нибудь, а Марина Цветаева? Если Цветаеву можно определить в судомойки, то почему бы Ахматову не в поломойки, а жив был бы Александр Блок – его бы при столовой в истопники. Истинно писательская столовая.

– Ну вот видите, все хорошо, – сказала я, когда мы спустились на площадь. – Теперь идите искать на Бутлерову, а потом к Тверяковой.

И тут меня удивило, что Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке.

– А стоит ли искать? Все равно ничего не найду. Лучше уж я сразу отступлюсь и уеду в Елабугу.

– Да нет же! Найти здесь комнату совсем не так уж трудно.

– Все равно. Если и найду комнату, мне не дадут работы. Мне не на что будет жить.

Я стала ей говорить, что в Совете эвакуированных немало людей, знающих и любящих ее стихи, и они сделают всё, что могут, а если она получит место судомойки, – то и она и сын будут сыты.

– Хорошо, – согласилась Марина Ивановна, – я, пожалуй, пойду поищу.

– Желаю вам успеха, – сказала я, освобождая свою руку из-под ее руки.

– Нет, нет! – закричала Марина Ивановна. – Одна я не могу. Я совсем не понимаю, где что. Я не разбираюсь в пространстве.

Я попыталась объяснить ей, что мне непременно надо побывать дома. Что у меня хворает Женя. Что вообще я должна побыть с детьми. Что должна донести до дому мед – он детям обещан, и они ждут его.

– Хорошо, – согласилась Марина Ивановна с внезапной кротостью. – Я пойду вместе с вами, подожду, пока вы будете там возиться, а потом мы вместе пойдем на Бутлерову.

Мы шли по улице Льва Толстого. Я вела под руку Марину Ивановну, а в другой руке держала стаканчик.

– Я знаю вас всего пять минут, – сказала Марина Ивановна после недолгого молчания, – но чувствую себя с вами свободно. Когда я уезжала из Москвы, я ничего с собой не взяла. Понимала ясно, что моя жизнь окончена. Я даже письма Бореньки Пастернака не захватила с собою… Скажите, пожалуйста, – тут она приостановилась, остановив и меня. – Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще сто́ит? Разве вы не понимаете будущего?

– Сто́ит – не сто́ит – об этом я давно уже не рассуждаю. У меня в тридцать седьмом арестовали, а в тридцать восьмом расстреляли мужа. Мне жить, безусловно, не сто́ит, и уж во всяком случае все равно – как и где. Но у меня дочка.

– Да разве вы не понимаете, что все кончено! И для вас, и для вашей дочери, и вообще.

Мы свернули в мою улицу.

– Что – всё? – спросила я.

– Вообще – всё! – Она описала в воздухе широкий круг своим странным, на руку надетым мешочком. – Ну, например, Россия!

– Немцы?

– Да, и немцы.

– Не знаю. Я не знаю, захватят ли немцы Россию, а если захватят, надолго ли. Я и об этом размышляю мало. Я ведь мобилизована. Мобилизованным рассуждать не положено. Сейчас на моем попечении двое детей, и я за них в ответе. За их жизнь, здоровье, покой, обучение, веселье.

Я рассказала ей, как, когда пароход наш еще совсем недалеко отплыл от Москвы и качался, весь темный, в черной тьме, неподалеку от какой-то ТЭЦ, – немцы налетели на ТЭЦ и начали бомбить. Бомбили они не пароход, не нас, а ТЭЦ, но бомба легко могла угодить и в нас. При каждом взрыве пароход вздрагивал – весь, от носа до кормы – весь вместе с нами. Я держала Женю на коленях, а Люшу за руку. Сказать по правде, боялась я отчаянно. Жила от вздрога до вздрога. Вспоминались слова Хемингуэя из романа «Прощай, оружие!»: «Сиди и жди, когда тебя убьют…» Сидела и ждала. «Насколько легче бойцам в окопах, – думала я тогда. – У них в руках винтовки, а не детские руки». Дети же не боялись, потому что привыкли верить, что если Ида и я рядом, то ничего худого случиться с ними не может. В темноте я читала им на память пушкинского «Гусара». Собственно, читала я для Люши – это ведь совсем не для четырехлетних! – но Женя заливался хохотом, хохотал до слез, я еле удерживала его у себя на коленях, хохотал так буйно, так безудержно, что даже взрослые, совсем не расположенные смеяться, – и те в промежутках между разрывами смеялись (не над «Гусаром» – над Женей). Сейчас и он и Люша знают уже всего «Гусара» наизусть. Четырехлетний Женя, ростом прекрохотный, с полуторагодовалого, а говорит длинными, законченными фразами, десятилетнему впору. В Чистополе хозяйские мальчишки (двенадцати и четырнадцати лет) смотрят на него, как на дрессированного лилипута, ходят за ним по пятам, а он читает им:

Понюхал: кисло! что за дрянь!
Плеснул я на пол: что за чудо?
Прыгну́л ухват, за ним лохань.
И оба в печь. Я вижу: худо!

Гляжу: под лавкой дремлет кот,
И на него я брызнул склянкой —
Как фыркнет он! я: брысь!.. И вот
И он туда же за лоханкой.

Я ну кропить во все углы
Сплеча, во что уж ни попало:
И всё: горшки, скамьи́, столы.
Марш! марш! – всё в печку поскакало…

– «Понюхал: кисло! что за дрянь!» – это стало теперь поговоркой у Люши и Жени, – сказала я Марине Ивановне.

Она слушала меня безо всякого интереса. Так подошли мы к моей избе. Я предложила ей зайти, взглянуть на детей, но она сказала: «Нет, я лучше покурю на завалинке», – и села у наших ворот курить.

Стакан с медом встречен был ликованием. Оказалось, Ида выстояла в очереди керосин, и дети были накормлены настоящим обедом: щи и макароны. Ида попробовала накормить и

меня, но от усталости я совсем не хотела есть: проклятая базедова и после операции давала себя знать слабостью, сердцебиениями. Прилечь бы! Я высунулась в окно и предложила Марине Ивановне пообедать.

– Нет, нет, – сказала она, пахнув на меня папиросным дымом. – А вы будете заниматься своими детьми еще не очень долго?

Я переменила Жене компресс, измерила ему температуру. Слава богу, почти нормальная. Наскоро спросила у Люши английские слова, которые были заданы ей по книге «Through the Looking Glass» – эту книгу (продолжение «Алисы в стране чудес» Carroll'a) сунул мне на прощанье в чемодан Корней Иванович. Все это я делала дурно, торопливо, наспех – меня подстегивало нетерпение Цветаевой.

Под укоризненным Люшиным взглядом я вышла на улицу. Марина Ивановна сидела, прислонившись к стене, а рядом с нею разложены клубки шерсти: белый, голубой, желтый. Я никогда таких не видывала. Словно это не шерсть, а нежный склубившийся дым – клубки, пушистые, мягкие, так и просились в руки, их так и хотелось гладить, будто цыплят, котят. Марина Ивановна вскочила, бросила папиросу в сторону, клубки засунула в свой мешочек и снова взяла меня под руку.

Я повела ее на улицу Бутлерова. (Великий русский химик родился в Чистополе.)

– Дети, дети, жить для детей, – заговорила Марина Ивановна. – Если бы вы знали, какой у меня сын, какой он способный, одаренный юноша! Но я ничем не могу ему помочь. Со мною ему только хуже. Я еще беспомощнее, чем он. Денег у меня осталось – предпоследняя сотня. Да еще если б продать эту шерсть… Если бы меня приняли в судомойки, было бы чудесно. Мыть посуду – это я еще могу. Учить детей не могу, не умею, работать в колхозе не умею, ничего не умею. Вы не можете себе представить, до какой степени я беспомощна. Я раньше умела писать стихи, но теперь разучилась.

(«Разучилась писать стихи, – подумала я, – это, наверное, ей только кажется. Но все равно – дело плохо. Так было с Блоком… незадолго до смерти».)

3

Мы шли по набережной Камы. Набережная – это просто болото, с перекинутыми кое-где через грязь деревянными досками. Мы то и дело отцеплялись друг от друга и шли порознь – я впереди, она за мною. Но в одном месте доски сдвоены, и мы снова оказались почти рядом. Слова Марины Ивановны напомнили мне о беспомощности Анны Андреевны – в последние годы я близко наблюдала ее быт в Ленинграде. Где-то она теперь, Анна Андреевна? Что с ней? Что с Ленинградом? Мне бы Люшу и Женю доставить своим родителям, а самой туда – там мое место. Уехала ли из Ленинграда Ахматова? Кто сейчас возле нее? Увидимся ли мы когда-нибудь?

(Откуда мне было знать: и двух месяцев не минует, как Анна Андреевна приедет сюда, в Чистополь, поселится у меня, и я поведу ее этой же дорогой, по этим же доскам, и скажу: «Вот здесь я шла с Мариной Ивановной». И умолкну, вспомнив продолжение.)

– Одному я рада, – сказала я, приостанавливаясь, – Ахматова сейчас не в Чистополе. Надеюсь, ей выпала другая карта. Здесь она непременно погибла бы.

– По-че-му? – раздельно и отчетливо выговорила Марина Ивановна.

– Потому, что не справиться бы ей со здешним бытом. Она ведь ничего не умеет, ровно ничего не может. Даже и в городском быту, даже и в мирное время.

Я увидела, как исказилось серое лицо у меня за плечом.

– А вы думаете, *я* – могу? – бешеным голосом выкрикнула Марина Ивановна. – Ахматова не может, а *я,* по-вашему, могу?

Я вовсе не думала, что она может. Я просто выговорила вслух – весьма некстати! – постоянную свою тревогу. Я и сама не могла бы – не будь со мною Иды, ее крестьянской выносливости, ее крестьянских умений (Ида была раскулаченная финка из-под Ленинграда), не будь у меня денег Корнея Ивановича и прочной надежды, что он вытащит нас отсюда раньше, чем Кама станет, – вызовет куда-нибудь, где найдется для меня самостоятельный заработок.

Полминуты простояли мы молча, – Марина Ивановна тяжело дышала после крика – потом двинулись дальше. Мне было стыдно: она так нуждалась в полноте участия! а я, своей мыслью *не о ней,* причинила ей боль. Мы свернули с набережной в узкую улицу. Нравилось мне это место более других: чище.

– Вот и Бутлерова, – сказала я.

– Какая ужасная улица, – сразу отозвалась Марина Ивановна. – Я не могу тут жить. Страшная улица.

– Хорошо, поищем другую. Но сейчас зайдем на минутку к моим знакомым, Шнейдерам. Посоветуемся. Вам они будут рады, за это ручаюсь. Они уже огляделись вокруг – посоветуют, где искать.

Ручалась я за Шнейдеров – Михаила Яковлевича и жену его, Татьяну Алексеевну Арбузову – с полной ответственностью, хотя знала их мало, или, точнее, недолго. С Михаилом Яковлевичем познакомилась я в 1939 году в Крыму, в одном из туберкулезных санаториев, где умирал – и вскоре умер – мой молодой друг, поэт и критик, Мирон Левин. Там лечился тогда и тяжко больной Михаил Яковлевич. (Специалист по кинодраматургии.) Он был чуть не вдвое старше Мирона, а потому и туберкулезный процесс развивался у него медленнее. Там, в уходе за Мироном, мы и подружились. Потом я уехала в Ленинград, и встретились мы снова уже во время войны, 28 июля 41-го года, на пароходе. Здесь он познакомил меня со своей женой, Татьяной Алексеевной (в прошлом женой Арбузова, в будущем – Паустовского). И Михаил Яковлевич, и Татьяна Алексеевна в трудном нашем пути поразили меня своей сердечностью, а Татьяна Алексеевна к тому же – энергией, спокойствием и физической силой. По правде сказать, если б не она – вряд ли благополучно завершилось бы наше путешествие. В Нижнем, при пересадке на другой пароход, оказалось, что даже с помощью Иды – она тащила на спине и в руках все наши вещи, да и Люша несла один чемодан – ни я, ни дети не в силах выбраться вместе с толпой и сквозь толпу с парохода на берег. Два потока – выходивших и валом валивших навстречу – крутили нас, толкали, швыряли. Я беспомощно моталась на нетвердых ногах, прижимая к себе Женю и держа за руку Люшу. (Сколько я видела потом в Ташкенте детей, потерявшихся при таких пересадках! Не под бомбами даже, а попросту в дороге! Станция, вокзал, пристань… Детей, разлученных с матерями на годы, а порой навсегда.) Вот тут и пришла мне на выручку большая, сильная, добрая Татьяна Алексеевна. Хотя она ничего не давала нести своему больному мужу, хотя сама волокла на плечах тяжелый тюк, – она вырвала у меня из рук Женю, вышла на берег, передала его Иде и еще раз успела возвратиться на наш пароход и вывести за собой сквозь толпу на берег меня и Люшу. А ведь суда – как эшелоны – двигались в ту пору без расписания, и каждая лишняя минута могла обернуться для нее разлукой с мужем.

И в Чистополе, в заботах о больном, харкающем кровью Михаиле Яковлевиче, она находила время и силы, чтобы забежать к нам и преподнести то мыло, то коробок спичек, то леденцы. Жили Шнейдеры бедно и трудно, надеяться тут на какую-нибудь работу и им было нечего, но я ни разу не слыхала от них ни единого жалкого слова.

Итак, я твердо знала, что веду Марину Ивановну к людям сердечным и деятельным, но и я не ждала такого приема, какой они оказали ей. Татьяна Алексеевна сразу и не без торжественности поблагодарила меня за то, что я привела к ней столь дорогую гостью. «Всю жизнь мечтала познакомиться с Мариной Цветаевой», – сказала она и точно пароль прочи-

тала строку: «У меня в Москве купола горят»… Освободив Цветаеву от пальто и мешочка и усадив ее за стол, Татьяна Алексеевна спросила:

– Скажите. Марина Ивановна, как вы могли в 16-м году провидеть близкую смерть Блока?

Думали – человек!
И умереть заставили.
Умер теперь. Навек! —
Плачьте о мертвом ангеле! —

Откуда взялось у вас такое предчувствие?

– Из его стихов, конечно, – ответила Марина Ивановна. – Там все написано.

Через десять минут на столе, застланном ослепительно белой наволочкой (в комнате все сверкало, как в хорошей больничной палате: Татьяна Алексеевна, добиваясь антисептики, мыла пол и окна ежедневно), на столе стояли: кипящий чайник, аккуратными ломтями нарезанный черный хлеб и, вместо сахара, – леденцы. Марина Ивановна пила большими глотками чай, отложив папиросу, а Михаил Яковлевич, умоляюще глядя на нее блестящими больными глазами, просил ее курить, не стесняясь его непрерывного кашля. Спокойно, весело, плавно двигалась по комнате полная светловолосая Татьяна Алексеевна, расставляя раскладушку и расправляя простыни. «Ни в какое общежитие мы вас больше не пустим, – говорила она. – Там грязно и тесно. Вы будете у нас читать стихи, потом обедать, потом спать. Утром пойду с вами вместе искать комнату – поближе к нам, – у меня на примете их несколько. Я здесь уже всех хозяев изучила… Стихи будете нам читать о Блоке, это мои любимые, а потом какие хотите… А найдем комнату – пропишетесь и съездите в Елабугу за сыном».

Марина Ивановна менялась на глазах. Серые щеки обретали цвет. Глаза из желтых превращались в зеленые. Напившись чаю, она пересела на колченогий диван и закурила. Сидя очень прямо, с интересом вглядывалась в новые лица. Я же, глядя на нее, старалась сообразить, сколько ей может быть лет. С каждой минутой она становилась моложе.

– Вы встретили меня с таким благородным радушием, – сказала Марина Ивановна, обращаясь к хозяевам дома, – что я чувствую себя обязанной рассказать вам свою историю.

«Начало неудачное, – подумала я. – Они – как и я – отлично знают, что Цветаева – зачумленная. И не по неведению встретили ее столь радушно».

Новыми для меня в ее истории были: отчетливость в произнесении слов, соответствующая отчетливой несгибаемости прямого стана; отчетливая резкость внезапных движений, да еще та отчетливость мысли, с какой она, судя по ее рассказу, понимала, как жестоко заблуждаются муж и дети, жаждущие возвратиться на родину. *Там* понимала, каково *здесь*.

– Сергей Яковлевич принес однажды домой газету – просоветскую, разумеется, – где были напечатаны фотографии столовой для рабочих на одном из провинциальных заводов. Столики накрыты тугими крахмальными скатертями, приборы сверкают; посреди каждого стола – горшок с цветами. Я ему говорю: а в тарелках – что́? А в головах – что́?

Спрашивала она уже не у Сергея Яковлевича, а, скорее, у нас, и эти настойчивые «что́?», нарушая мерность речи, выскакивали из ее уст с оглушительной внезапностью, как из бутылок пробки. – А в будущем – что?

Она досказала свою историю до дня ареста дочери, а затем мужа, то есть до осени 1939 года. Произнесла последнюю фразу скороговоркой и умолкла. И когда она умолкла, ни один из нас не решился просить о продолжении. Жестокостью было бы заставить ее договаривать.

– Прочитайте стихи к Блоку, – попросила Татьяна Алексеевна.

– Старье. Не хочу. Я вам прочитаю «Тоску по родине».

Я смотрела не на нее, а в окно. Не видя, лучше слышишь.

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно всё равно —
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что – мой,
Как госпиталь или казарма.

Мне всё равно, каких среди
Лиц – ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной – непременно —

В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведем без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться – мне едино.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично – на каком
Непонимаемой быть встречным!

Тут она замолчала. Это «Мне безразлично – на каком» произнесено было с великолепным презрением. Вызывающе. Со страстной надменностью. Стихотворение оборвала внезапно, словно недокуренный окурок отбросила.

– Не хочу. Простите меня. Я вам вечером почитаю что-нибудь другое, например, «Поэму Воздуха». Вы, верно, совсем не знаете моих поэм?

Нет, мы не знали. Что поэмы! В то время мы не знали девяти десятых Цветаевой. Не знали «Стола». Не знали «Куста». Не знали «Попытки ревности». Не знали – совсем не знали! – ее гениальной прозы. Все это, украденное у нас, хранившееся за тридевять земель, на протяжении десятилетий доходило только до редких избранных, а в самиздат и в печать начало пробиваться украдкой, урывками лишь во второй половине пятидесятых годов.

И только тогда, в пятидесятые, услышала я конец «Тоски по родине» и поняла, почему в отчаянье, в Чистополе, она не пожелала прочитать нам дальнейшие четверостишия. Ведь там, после всех неистовых отречений, после всех *не,* содержится в последнем четверостишии как бы некое *да,* утверждение, признание в любви.

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё – равно, и всё – едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина… —

если встает на пути рябиновый куст, то вместе с ним, вопреки всему выкрикнутому выше, встает и тоска по родине, – та самая, которую она столь энергично и презрительно только что объявила «разоблаченной морокой».

Пока Цветаева читала, я пыталась понять, чье чтение вспоминается мне сквозь ее интонации. Вызов, властность – и какое-то воинствующее одиночество. Читая, щетинится пленным царственным зверем, презирающим клетку и зрителей.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне без-раз-лич-но – на каком
Непонимаемой быть встречным!

Вспомнила! Маяковский. Когда-то, в детстве, в Куоккале, я слышала Маяковского. Он читал моему отцу «Облако в штанах». И так же щетинился пленным зверем – диким, не усмиренным, среди ручных.

Она обещала почитать еще – не сейчас, а попозже. Условились мы так: сейчас я пойду на телеграф и дам телеграмму в Елабугу ее сыну. Она продиктовала мне адрес и текст: «Ищу комнату, скоро приеду». Потом я зайду в общежитие, разыщу там некую Валерию Владимировну (Марина Ивановна ночевала в одной комнате с ней) и предупрежу ее, что сегодня Цветаева ночевать не придет. Пока Марина Ивановна будет отдыхать на раскладушке у Шнейдеров, Татьяна Алексеевна наведается неподалеку к знакомой хозяйке узнать о комнате. А в восемь часов вечера снова приду я – и тогда Марина Ивановна прочтет нам «Поэму Воздуха». Я же прочту последние из мне известных стихов Пастернака. (В Переделкине Борис Леонидович подарил Корнею Ивановичу «Иней», «Сосны», «Опять весна». Я тогда же переписала их в свою тетрадь и, уезжая, взяла с собою.)

На почте телеграмму я отправила быстро, а вот в очереди «до востребования» простояла долго. На моих глазах редкие, редчайшие счастливицы получали треугольник или квадратик, а большинству – и мне – ничего, ни от кого, ниоткуда. Это безвестие, это молчание – оно было красноречивее любой сводки. Ведь не могли же все умереть сразу или все забыть меня сразу! Молчание означало: всюду на нашей земле несмолкаемый грохот. Бомбы, пули, гранаты, орудия, танки.

4

Я вышла с почты, оглушенная неудачей. Я так ждала тогда вестей, а их не было. Я еще не понимала в ту пору, что безвестие – великое благо. Когда я выбралась, наконец, из Чистополя и вести градом посыпались на меня, они были такие: мой младший брат, Женин отец, убит под Москвой. Мой первый муж, Люшин отец, погиб в Ленинграде. Мои киевские родные, спасаясь от немцев, выехали из Киева с последним эшелоном – иначе погибнуть бы им в Бабьем Яру! – но гибель в виде тифа настигла их в пути: старики умерли на вокзальном полу маленькой железнодорожной станции. Мой Ленинград – обстреливаемый, взрываемый – вымерзал, вымирал, превращался в город-морг.

…Покинув почту, я с трудом припомнила, куда собиралась. Да, Марина Ивановна просила зайти в общежитие и там предупредить, что ночевать она останется у Шнейдеров. Но в общежитие мне идти не понадобилось: у дверей почты я встретила Валерию Владимировну и передала ей поручение. Она же в ответ сообщила приятную новость: Зинаида Николаевна Пастернак намерена приобрести у Марины Ивановны за 200 рублей клубки шерсти[1].

[1] Борис Леонидович находился в то время в Москве, а в Чистополь прибыл лишь во второй половине октября 41-го года.

Я поплелась домой. Признаюсь, меня туда не тянуло. В Чистополе меня удручала грязь. Нашу комнату мы кое-как обороняли, но двор, но кухня, но хозяйская половина избы? На потрескавшихся от зноя досках забора всегда сидят, лениво перелетая с места на место, жирные зеленые мухи. Ими, словно гнойниками, усеян забор. Во дворе грязь по колено: спасают досточки. Хлев сотрясается: это несчастная грязная корова чешет себе спину о стенки, будто не корова она, а свинья. Хозяйка надаивает молоко в грязный подойник. В кухне висят полотенца – и не какие-нибудь, а вышитые, – но хозяйские сыновья отирают о них не только руки, но, случается, прибегая со двора, и ноги. Обижаться грех: хозяева дружат с Идой, ласковы с детьми, мальчики угощают Женю и Люшу то морковкой, то репой прямо с огорода, но грязь, грязь наводит на душу тоску и уныние.

Стыдись: ведь это не кровь, а всего только грязь! Черная липкая грязь, а не кровь, уходящая в землю или лужами стынущая на камнях и асфальте.

Возвращаясь домой, я на набережной увидала старуху. Она стояла крестясь. Я посмотрела кругом: нет, церкви тут нет. Старуха молилась почтовому ящику. Упала перед ним на колени. (Он приколочен к прогнившему столбу.) Сыновья? Четверо сыновей под пулями неведомо где или один-единственный? Она хваталась руками за столб, пытаясь встать. Я помогла ей подняться. Провалившиеся глаза с черными обводинами – глаза, обезумевшие от ожидания. Похожи на те – в тюремных очередях.

Дома – благополучие. Я проглотила холодные макароны. Ида играет с хозяйкой в карты, и Женя, в шерстяных носках и с компрессом на шее, крутится возле. Люша занята штопкой: натянула чулок на большую деревянную ложку – хозяйкин подарок. Мы уселись с ней рядом на лавочку. Но пробыли одни мы недолго: Люша издали увидела шагающего к нам Петра Андреевича Семынина.

– Он двухголовый! Мама, смотри! – у него две головы!

По нашей улице, к нашей избе, шел мой приятель, поэт Петр Андреевич Семынин, не взятый ни в армию, ни в ополчение из-за болезни глаз. Он нес на плечах своего маленького сына. Опустив Сашу на землю, сел рядом со мною. Кто-то сказал ему, что я повела Цветаеву искать комнату, и он зашел спросить, отыскалось ли что-нибудь. Я рассказала, как обстоят дела.

– Знаете, на кого вы похожи? – сказала я. – Небритый, загорелый дочерна, да еще в черной рубахе с закатанными рукавами? Вы, когда несете вашего златокудрого красавца, похожи на ворюгу-цыгана, укравшего господского мальчика. Уж очень красив. Маленький лорд Фаунтлерой – не иначе. Только вот кружевного воротника не хватает и бархатной курточки.

Саша, молча выпросив у Люши деревянную ложку, молча колотил ею по скамье. Красивее ребенка я не видывала. Золотые кудри. Белое нежное лицо. Черные глаза, черные брови под золотыми кудрями и черные ресницы в пол-лица.

Петр Андреевич не улыбнулся в ответ.

– Что, сводка опять плохая? – спросила я.

Он кивнул.

– Такая, как вчера?

– Хуже.

Потом он рассказал мне о заседании Совета эвакуированных – он, оказывается, член Совета и был там. Сначала вызвали Марину Ивановну – она была приглашена заранее – и попросили объяснить, почему она хочет переселиться из Елабуги в Чистополь. Семынин считал этот вопрос бесстыдным, издевательским.

– Ведь мы не следственные органы, не милиция, ведь это уже не вопрос, а допрос! – повторял он мне. – Какое кому дело, почему и где она хочет жить? Марина Ивановна отвечала механическим голосом, твердила одни и те же заученные наизусть слова: «В Елабуге

есть только спиртоводочный завод. А я хочу, чтобы мой сын учился. В Чистополе я отдам его в ремесленное училище. Я прошу, чтобы мне предоставили место судомойки…» Она ушла, и мы приступили к обсуждению. Прочли вслух письмо Асеева: поддерживает просьбу Цветаевой. Потом самым мерзким образом выступил Тренев. Сообщил, что у Цветаевой и в Москве были, видите ли, «иждивенческие настроения»… Да ведь она не покладая рук переводила! Потом счел нужным напомнить товарищам, что время, видите ли, военное, а муж Цветаевой, видите ли, арестован и дочь – тоже; и опять – время военное, бдительность надо удвоить, все они недавние эмигранты, муж Цветаевой в прошлом белый офицер. Если правительство сочло нужным отправить Цветаеву в Елабугу, то пусть она там и живет, а мы не должны вмешиваться в распоряжения правительства… Омерзительная демагогия. Меня тошнит до сих пор. При чем тут правительство? При чем – военное время? Это просто Литфонд решил, что Чистополь переполнен, и начал заселять литераторами следующий город… Очень толково возражали Треневу Абрам Борисович Дерман, Вера Смирнова, ну и я сказал несколько слов… Потом проголосовали. Тренев остался в ничтожном меньшинстве, почти все голосовали *за*.

Петр Андреевич встал и снова поднял Сашу на плечи. Маленький лорд Фаунтлерой ни за что не хотел отдавать Люше ложку – молча, но неколебимо.

Отдал наконец.

Мы с Люшей проводили обоих до угла.

– Хорошо, что вы были там, – сказала я Петру Андреевичу на прощание. – Помогли управиться с Треневым.

– Все равно тошнит, – ответил Семынин.

Посидев еще немного с Люшей, я прихватила стихи Пастернака и отправилась к Шнейдерам. Кроме стихов я несла Марине Ивановне добрую весть: найдена покупательница на ее клубки. Но у Шнейдеров, куда я пришла ровно в восемь, ждал меня, к моему удивлению, неприятный сюрприз: Марины Ивановны там не оказалось. После моего дневного ухода она полежала там, отдохнула, пообедала, а потом заявила вдруг, что ей надо с кем-то срочно повидаться в гостинице. Татьяна Алексеевна ее проводила. К восьми часам Марина Ивановна обещала вернуться и заночевать. «Не заблудилась ли на обратном пути?» – спросила я. «Нет, она сказала, ее проводят».

Ждали мы до половины одиннадцатого. Михаил Яковлевич в пижаме лежал на своей коечке. Температура выше 38. Татьяна Алексеевна раза два выходила навстречу. Я видела, что Михаилу Яковлевичу невмоготу: красными пятнами жара пылало изможденное лицо. Мне было пора. После десяти в Чистополе глубокая ночь. Мы условились так: сейчас я уйду, а утром сбегаю в общежитие и узнаю: все ли благополучно, воротилась ли туда ночевать Марина Ивановна? И извещу Шнейдеров.

Утром я отправилась рано. На пороге общежития встретила меня та же Валерия Владимировна. Встретила словами:

– А я к вам.

Марина Ивановна ночевала в общежитии. Утром уехала срочно в Елабугу. Решила так: перевезти сына в Чистополь, комнату искать вместе и, найдя, окончить дело с Тверяковой.

«Что ж, это разумно, – писала я Татьяне Алексеевне, посылая к ней Люшу. – Сын лучше, чем мы, поймет, какая комната им нужна».

…Насколько я могу рассчитать, уехала Цветаева из Чистополя в Елабугу 28 августа. А через несколько дней все на той же почте, в очереди к тому же окошечку, услышала я страшную новость: приехал из Елабуги сын Марины Ивановны, Мур, явился к Асееву с письмом и сказал:

– Мама повесилась.

5

Марина Цветаева покончила с собой, как известно, 31 августа 41-го года.

Я сделала свою запись о встрече с ней уже после известия о гибели, 4 сентября. И четыре десятилетия в ту свою тетрадь не заглядывала. Так, иногда, если заходил при мне разговор о Цветаевой, рассказывала, что вспоминалось. Очень запомнила я мешочек у нее на руке. Я только потом поняла – он был каренинский. Из «Анны Карениной». Анна Аркадьевна, когда шли и шли мимо нее вагоны, сняла со своей руки красный мешочек. У Цветаевой он был не красный, бесцветный, потертый, поношенный, но похожий. Чем-то – не знаю чем – похожий. В Чистопольской моей тетради, после известия о самоубийстве, так и написано: «Я увидела женщину с каренинским мешочком в руках».

Перечитать старую тетрадь и вспомнить все досконально и по порядку побудили меня два документа. Один напечатанный, другой нет.

Начну с напечатанного.

Попалась мне в руки книга, выпущенная в Париже, под редакцией Г. Струве и Н. Струве в издательстве YMCA-Press: «М. Цветаева. Неизданные письма». Привожу отрывки из «Записной книжки» Марины Ивановны со страниц 629–631.

«Возобновляю эту записную книжку 5 сент. 1940 г. в Москве.

О себе. Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего – себя, своей головы, если эта голова – так преданно мне служащая в тетради и так убивающая меня в жизни. Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами – крюк…»

Тут остановимся. Повторим: «…я год уже (приблизительно) ищу глазами – крюк…»

Запись сделана 5 сентября 1940 года. Что же такое – год назад? 27 августа предыдущего года была арестована дочь Цветаевой, Ариадна, Аля, а 10 октября – муж, Сергей Яковлевич Эфрон. Вот с какого времени она начала искать глазами крюк. Со времени этих двух разлучений. Увели дочь – в тюрьму, в лагерь, в ссылку. Увели мужа – на казнь.

Читаем дальше:

«Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить – мерзость, прыгнуть – враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что я себя уже – посмертно – боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна… но, Господи, как я мала, как я ничего не могу! Доживать – дожевывать. Горькую полынь».

Прочитав эти слова «как я ничего не могу», я отложила книгу и прислушалась. Из дальней дали донесся до меня тот, прозвучавший на Каме, сорокалетней давности, крик:

– А вы думаете, *я* – могу?

Какая она была мужественная и как много она могла – не требуется доказывать: перед нами ее могущественная поэзия, ее проза, вся ее мученическая, мужественная жизнь.

Но и богатырским силам приходит конец. В эмиграции она была бедна и одинока, но ее хоть печатали. Дома же, кроме переводов, не напечатали после ее возвращения почти ничего. А конец – конец силам наступил, я думаю, осенью 1939 года, и мои скудные воспоминания следовало бы озаглавить не «Предсмертие», но «После конца».

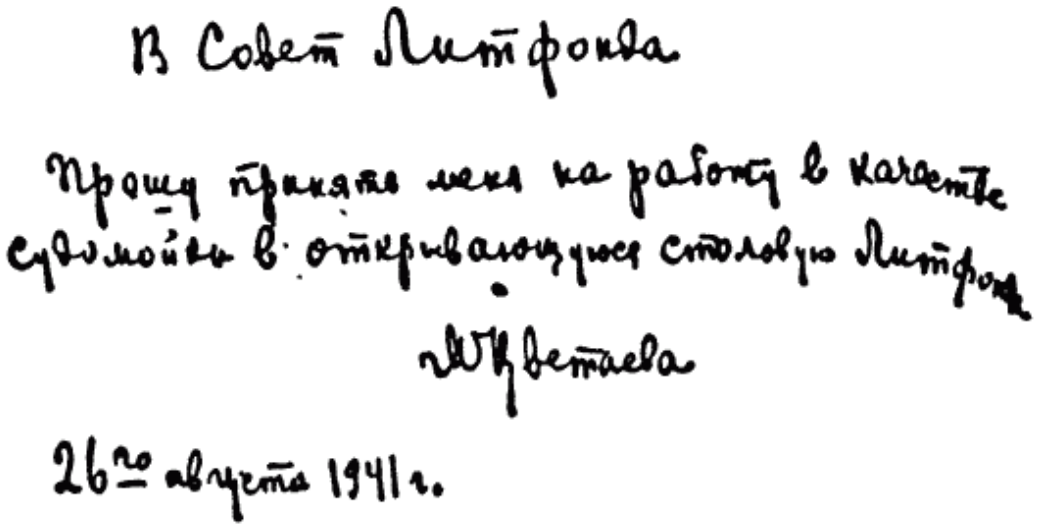
После ареста Али, после гибели мужа силам уже пришел конец, а тут после конца – война, эвакуация, безысходная нищета, новые унижения, Елабуга, Чистополь…

«Почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?»

Нет будущего. Нет России.

«Я когда-то умела писать стихи, теперь разучилась…» «Какая страшная улица…» «Я ничего не могу…» «Мыть посуду я еще могу».

…Второй документ не напечатан. По цепочке смертей и неожиданных наследований лег на мою ладонь листок. Легонький листок бумаги – даже не листок – половинка листка, вырванного из школьной тетради. Резким, отчетливым, размеренным, твердым почерком, словно попирающим ничтожную бумажонку, выведено на листке:



В Совет Литфонда

Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда.

М Цветаева

26-го августа 1941 г.

Столовая открылась в ноябре. Меня в это время в Чистополе уже не было. Кто получил место судомойки, на которое притязала Цветаева, мне неизвестно.

Октябрь – декабрь 1981 г.

Переделкино

Памяти Фриды

1. Уносят

Не плакать мне помогала Саша[2]. Еще в самую счастливую пору, когда Фрида была жива, здорова, весела, Саша, входя в комнату к матери после получасового отсутствия, бросалась ей на шею, словно после долгой разлуки: «Мамочка!» Наверное, для Саши Фрида всегда оставалась, как для грудного младенца, целым миром, воздухом, всем на свете. Разлука, даже коротенькая, была противоестественна: «Мама! Ты здесь?»

И вот теперь Фрида – здесь! – лежит в гробу, а Саша, разлученная с ней навсегда, глядит в ее лицо и не плачет.

Самые близкие не плакали – Галя и Саша, мать и брат, – как же было плакать мне?

И еще меня удерживало от слез сознание, что предстоит говорить, а если я заплачу, то не в силах буду сказать ни слова. Это было бы предательством – мне промолчать над Фридиным гробом. Нельзя. И я не плакала. Это давалось мне даже без больших усилий.

Назвали мое имя, люди расступились, и я прошла, как по тропочке, к Фридиному изголовью. Я заговорила и с облегчением услышала, что голос мой звучит спокойно. Опять, как с начала этого дня, я благословила свою близорукость – я не видела Фридиного лба, только груду цветов над бортом гроба, не видела со своего нового места ни Саши, ни Гали, ни Люши, ни друзей, ни матери, ни брата. Как всегда в минуты нервного напряжения, я почти утратила способность видеть. Хотя люстры горели, толпа стояла и дышала, я оказалась в темноте, пустоте и беззвучии, как бы один на один с Фридиной смертью. Я слышала, что у меня в голосе нету слез, – и их в самом деле не было: ни на глазах, ни в груди.

Но вот панихида окончилась. Все отговорили. Начали разбирать цветы, венки. Я все не плакала. Вышла в той же темноте, словно на ощупь, в вестибюль. Ко мне подошел Евгений Александрович Гнедин, и, чтобы двигаться увереннее, я схватила его за руку. Постепенно зрение стало возвращаться ко мне – в той мере, в какой оно вообще может еще возвращаться. И тут я увидала, что мимо нас несут гроб. Я разглядела опустившееся плечо и склоненную голову Володи Корнилова. И меня вдруг пронзила мысль: уносят Фриду.

– Что же это такое? – сказала я Евгению Александровичу. – Вы видите? Они ее уносят!

И вот в эту минуту все плотины во мне прорвались, и я заплакала, вольно и бесстыдно, уже не сдерживаясь, – и плакала на улице, в машине, на кладбище, плакала, не сдерживаясь и не получая облегчения.

Плакала я не о ней. (Может быть, потому и не сдерживалась.)

Плакала о себе. Пока Фрида была жива – и больна, – всем нам было не до своего горя. Думалось в те месяцы не о себе, а о ней, о жестокой казни, на которую невесть за что и невесть кем обречена она. Фрида в опасности. Фрида мучается. Фрида умирает. С каждым часом меркнут веселые, добрые, сияющие, какие-то даже удалые в своем веселом сиянии глаза. Из них теперь глядит беспомощность, одинокость, недоверие. Они теперь не яркие, а тусклые. «И ты не поможешь мне» – вот что тускленько, слабенько мерцает из-под трудно поднимающихся век. Да, и я не помогу. Никто из нас тебе не поможет – тебе, которая помогала нам всем, помогала с таким постоянством, что мы сложили шутливую поговорку: «Если не Бог – так Фрида».

---

[2] На этих страницах часто встречаются домашние имена родных и близких Ф. Вигдоровой. *Галя и Саша* – ее дочери; *Наталья* – внучка, дочь Гали; *Изя* – ее брат, офицер; *Елена Сергеевна* – ее свойственница, писательница И. Грекова; *Руня* (или Р. З.) – Руфь Зернова, писательница; *Раиса Давыдовна* — Орлова, писательница. – *Примеч. сост.*

Унесли гроб, унесли Фриду. О ее муках плакать уже было нечего, она не мучилась больше и ничего от нас не ждала. И я заплакала о нас – о тех, кто ее потерял, и о тех, кто ее никогда не узнает, не увидит живой. У людей отняли Фриду. Я плакала о девочках, о друзьях, о ближайших из близких, о матери и брате, о себе.

Горше всех, пуще всех, конечно, о себе. Это были эгоистические, себялюбивые слезы – о себе самой.

Каждый из нас знает, чем и кем была в его жизни Фрида. Что ушло из его жизни вместе с нею. Я постараюсь объяснить, что ушло из моей. Быть может, это окажется хотя бы отдаленно верным еще для кого-нибудь.

2. «У Чарльза Диккенса спросите»…

С гибелью Фриды из моей жизни ушла надежда. «Всё будет хорошо», «всё кончится хорошо» – такой надежды у меня больше нет.

Что, собственно, «всё»?

А вот то, что со мной случилось, что терзает меня. То, от чего я не сплю. О чем хочу и не могу написать. Горе моей жизни.

К каждому человеку когда-нибудь приходит беда. К каждому – пора одиночества. К каждому сознание непоправимой ошибки, неудачи, а иногда – надвигающейся гибели. Так вот, существование Фриды на земле для меня было залогом, что ошибка моя поправима, горестная неудача еще может обернуться радостью, и от болезни можно выздороветь, и от гибели спастись и спасти. Меня успокаивал и обнадеживал самый звук ее имени. Если я и погибну, то Фрида не даст погибнуть тому, что гораздо больше я, чем я сама, – исписанным мною листкам. Пока рядом была Фрида, которая плакала и смеялась, радовалась и печалилась вместе с нами, – «Стоило жить и работать стоило!»

Потому что – раз она здесь – «всё еще может быть хорошо».

Стоило задумывать. Стоило осуществлять задуманное. Стоило пытаться, пробовать. Стоило поступать. Стоило искать слово для того, что таится в памяти под спудом. Она была необыкновенно благодарной слушательницей: уже то, как она слушала, – исцеляло. «Покажу Фриде», «расскажу Фриде», «спрошу у Фриды»… Да и просто так, когда не в чем было исповедоваться и не о чем просить или спрашивать, – легче становилось на душе от ее кроткого, доверчивого, бережного к твоей ранености присутствия.

Р. З. однажды назвала Фриду диккенсовской девочкой, весело творящей добро. Это сказано метко. В книгах Диккенса встречаются героини, например, Флоренса из «Домби и сына» или Эстер из «Холодного дома», радующиеся тому, что они могут доставлять радость другим, живущие чужой радостью или чужим горем, как своим собственным, облегчающие чужую боль самоотверженно, умело и скромно. В самом деле, Фрида была им сродни. В ней была их милая непритязательность, их доброта, грация и тишина. Их уютность. Их домашность. Когда Фрида в зелененьких шерстяных носках, в пестреньком фартуке разливала на кухне чай или делала внезапно пришедшему гостю яичницу, вперед радуясь тому, что вот сейчас усталый, голодный и озябший человек поест и отогреется, а потом, на сладкое, она покажет ему Наталью; или когда она в своей большой, обдуманно-нарядной, уставленной цветами, книгами и игрушками комнате поливала цветы, а Наталья путалась у нее в коленях, вцепившись ей в юбку; или когда в гостях, съев с удовольствием и очень быстро стаканчик мороженого, она запрокидывала голову и, облизываясь, выговаривала сквозь смех: «Это было прекра-ас-но!» – и округлым движением потирала маленькие сильные руки, словно собиралась проглотить еще десять таких стаканчиков; или когда она, смущаясь, каким-то детски неловким движением протягивала в подарок какой-нибудь полюбившийся вам пустяк – записную книжку или сумочку, – она впрямь могла сойти за маленькую добрую фею

домашнего очага, весело и деятельно распространяющую вокруг тепло и свет. Можно сказать также, что Фрида была сродни не только диккенсовским героиням, но и самому Диккенсу: в жизни она творила то, что Диккенс придумывал в своих повестях, – превращала чужую беду в сказку с хорошим концом.

…Жила-была в Туле одна пианистка, вела в музыкальном училище преподавание по классу рояля. Она была одержима музыкой, проповедовала музыку, открывала музыку ученикам, а потому ее служебная жизнь сложилась так, как и складывается обычно у тех, кто одержим своим делом: ученики полюбили ее, а начальство возненавидело. К чему эти излишние страсти: Скрябин, Рахманинов, поездки, концерты, экскурсии? Отбарабанила свои часы, и ладно. Воспользовавшись доносом одного негодяя, ее сначала довели до попытки покончить с собой, а потом решили уволить. Несчастная женщина, никогда не видавшая Фриду, но читавшая ее статьи и книги, кинулась к ней за помощью, как кидались десятки оскорбленных людей. И Фрида принялась спасать эту жизнь, поколебленную, еле устоявшую, едва не оборвавшуюся в смерть. Она поехала в Тулу. Она пришла на заседание месткома, где разбиралось дело учительницы, – явилась перед лицо этих одичалых мещан, на эту рассвирепевшую коммунальную кухню, где единственным интеллигентным человеком была подсудимая. «Личная жизнь» учительницы взасос и взахлеб обсуждалась всей кухней. Молча, положив перед собой блокнот, Фрида от слова до слова записывала их чавкающие, хрюкающие выступления. «Подробности, мне бы подробности, – томно повизгивала кассирша, – позвать бы сюда молодого человека, да и расспросить».

– Товарищи, опомнитесь! – тихим голосом с краешка стола воззвала к ним Фрида. Но где там! Деятелей тульской музыкальной культуры не оторвать было от вкусного пойла. Нахлебавшись смачного навара из сплетен, они постановили: учительницу уволить. И уволили. А чтобы она не могла устроиться на другую работу, снабдили ее при увольнении позорной характеристикой.

Опасаясь новой попытки самоубийства, Фрида увезла женщину с собой в Москву. И поселила ее у себя дома. И неделями выхаживала ее, как больную. И написала статью в «Литературную газету». Статья была напечатана, и с помощью газеты Фрида добилась отмены позорной характеристики. И через некоторое время устроила учительницу на новую работу – в город Серпухов.

Женщина была спасена. Но всего только спасена – это еще недостаточно хороший конец, недостаточно ярко-счастливый, утоляющий горе с избытком – недостаточно хороший для диккенсовской повести, которую в жизни творила Фрида. В этом конце не хватает изобилия, праздника счастья. И пожалуй, диккенсовской щедрости в переплетении судеб.

…Жила-была в деревне Данки, под Серпуховом, в инвалидном доме, шестнадцатилетняя девушка Светлана Семенова, больная, полупарализованная, заброшенная. Однажды она написала письмо К. И. Чуковскому. Вот его суть:

– Помогите сделать так, чтобы мне разрешили ухаживать за моим другом Мишей. Он не только парализован, он почти ослеп. Я хочу читать ему книги и во всем помогать. Но мужские комнаты помещаются на втором этаже, а женские в первом. Носить меня на носилках некому, сама подниматься по лестнице я не могу, а поселить меня и Мишу вместе не разрешает директор.

Корней Иванович стал посылать Светлане деньги и книги, русские и английские (она мечтала научиться английскому языку), пригласил ее к себе погостить – и она приехала к нему на дачу в инвалидной машине вместе со своей подругой, такой же полупарализованной девушкой, как она сама; обратился в Институт Гельмгольца по поводу очков для Миши; написал директору инвалидного дома, поддерживая мольбу Светланы поселить их вместе. Однако письмо его не имело успеха. Тогда он рассказал историю Светланы Фриде. И Фрида

начала свое обычное дело: добиваться от горестной жизни, чтобы она обернулась повестью Диккенса, пусть хоть и горестной повестью, но с хорошим концом.

Фрида поехала в Данки. Познакомилась там со Светланой и Мишей, подружилась с ними. Одна из Фридиных приятельниц, по ее просьбе, стала ездить в Данки и принимать у Светланы зачеты по английскому языку. И тут учительница музыки, живущая уже не в Туле, а в Серпухове, поняла, что ей представляется необыкновенный случай сделать подарок Фриде, отблагодарить Фриду: она тоже может заботиться о Светлане и Мише, она может осветить музыкой их однообразное, тусклое житье… И она стала ездить в Данки, и играть для больных на рояле, и рассказывать им о Рахманинове и Стравинском.

Фрида с помощью газеты добилась, чтобы в инвалидном доме произвели ремонт. А когда туда на место прежнего пришел новый директор, она упросила его поселить Светлану и Мишу вместе, в одной комнате. Так исполнилась мечта Светланы: теперь она превратилась в Мишины руки, в Мишины глаза, у Миши и у нее началась новая жизнь. Вместе они занимались английским. Целые дни она читала ему вслух, и вместе каждую неделю они ждали из Серпухова учительницу музыки, которая играла им Шопена и Моцарта.

Но добрые силы, вызванные Фридой из жизненных недр, на этом еще не исчерпали себя. И праздничный, счастливый конец истории оскорбленной учительницы еще впереди.

…Жили-были в Тбилиси, в собственном доме, старики пенсионеры, потерявшие на войне дочь. Они прочитали в газете Фридину статью, статья тронула их, они послали в газету письмо на Фридино имя, в котором приглашали учительницу к себе – вместо дочери – пожить, отдохнуть, поесть винограда, отогреться. И в первый же отпуск учительница поехала туда, и поселилась у стариков, и прожила там месяц, и прислала оттуда две корзины благоуханных яблок одну Фриде, другую Светлане и Мише.

Это ли не счастливый конец? Но по законам диккенсовской повести в нем не хватало свадьбы. И вот в учительницу бурно влюбляется молодой инженер, уезжающий на Север, и она едет к нему, и выходит за него замуж, и через год Фрида протягивает мне фотографию младенца в нарядных пеленках и произносит гордым и даже каким-то задорным голосом, словно этот младенец появился на свет по мановению ее волшебства:

– Смотрите – какой! А зовут очень странно – Ювеналием. По дедушке.

(Но ведь и в самом деле она причастна к появлению этого младенца на свет. Ведь без ее спасательных усилий учительница давно покончила бы с собой.)

Да, и Диккенс, и Фрида знали толк в хороших концах… И разве каждый из нас не может припомнить десятки страшных сказок, обернувшихся хорошим концом благодаря тому, что Фрида своей стремительной, упорной, изобретательной добротой пробуждала в людском общежитии действие «круговой поруки добра» – той самой круговой поруки, могущественной, животворящей, о которой говорится в безымянных стихах:

Человечество живо одною
Круговою порукой добра.

Да, Фрида была работником добра и всех вокруг делала своими – и добра! – сотрудниками. Ступив в поле ее излучения[3], каждый незаметно и естественно становился звеном в создаваемой ею цепи.

Сколько мы помним рукописей, которые превратились в книги благодаря ее редакторской работе, или ее рецензии, или ее добрым интригам внутри издательства.

Сколько мы знаем случаев, когда она выручала людей деньгами, хотя сама зарабатывала деньги трудом тяжелым и постоянным, и никаких денежных запасов у нее не было. Она

[3] Слова Р. Д. Орловой.

отдавала свои – или собирала среди друзей – или даже втайне брала в долг под проценты. Но никогда не отказывалась выручить человека из петли безденежья в роковую минуту.

Сколько мы знаем больных, в чье выздоровление Фрида внесла свою долю заботы, устроив дежурства у этой постели и дежуря чаще всех, щедрее всех, легко, умело, точно, весело.

Сколько мы знаем людей, положенных жизнью на обе лопатки и поднявшихся благодаря ее энергии, ее заботе, выпрямившихся, нашедших для себя профессию, призвание, заработок, путь.

Сколько мы знаем людей, убереженных ею от одиночества.

Сколько сделала она не для других – для меня. Сколько я помню ее целительных слов, прозвучавших издали, из телефонной трубки, или вблизи, при свете ее глаз: сколько я помню ее слов, необходимых, болеутоляющих, своевременных, как скорая помощь, написанных на почтовом листке Фридиным крупным, твердым и веселым почерком; сколько я знаю ее поступков, совершенных для меня, без меня, потихоньку, в мою защиту или в мое утешение; сколько раз стучала она в мою дверь – и всегда этот стук означал, что явилась подмога, пришел совет, в дом вошла улыбка; сколько я помню блага, подаренного мне Фридой, внедрившегося мне в душу так глубоко и прочно, что оно давно уже стало не памятью о Фридином даре, а мною самой.

…Уносят Фриду. Плечи опущены под тяжестью гроба и горя. У меня нет больше Фриды. Нет надежды, что темный лес, в который меня загнала жизнь, расступится, и я выйду на залитую солнцем поляну.

– Прощай, моя скатерть-самобранка, мое наливное яблочко на серебряном блюдечке… Прощай!

3. Мысль мыслей

На протяжении нашей двадцатитрехлетней дружбы нам, конечно, случалось спорить, расходиться во мнениях. Расскажу об одном споре, постоянно возобновлявшемся, в котором, мне кажется, отчетливо проступает основная Фридина мысль. Ее мысль мыслей.

Я люблю Фридины повести, особенно «Черниговку», «Семейное счастье», «Любимую улицу». Я воспринимаю все Фридины книги – в том числе и те, которые не названы здесь, – как ее требование к нам, читателям: обороняйте людей, люди стоят защиты, а уж дети! берегите детство, щадите, уважайте детство, любуйтесь им, учитесь у него и спасайте детей: они беззащитны.

Таков для меня общий смысл, и даже не смысл, а больше: пронзительный звук Фридиных повестей. Звук ее голоса, в котором тонут голоса героев. В первых повестях голос ее звучит наивно, порою даже до сентиментальности; с годами он делается чище и тверже, мужает.

Высоко ценю я и Фридины статьи, всегда вглубь, всегда наперекор официальному слюнявому ханжеству, изнанка у которого одна: казарменная жестокость.

Но выше всего, сделанного Фридой, ценю я и люблю ее «Дневник» и оба ее блокнота: журналистский и депутатский. «Единственное, что в нашей власти, это суметь не заглушить голоса жизни, звучащего в нас», – писал о литературном творчестве Борис Пастернак. Полнее, чем где-нибудь, Фридин голос сливался с голосом жизни именно в ее дневниках и блокнотах. Тот тончайший, редчайший слух, тот замечательный художественный дар, которым ее наделила природа, именно здесь, в этих беглых, непритязательных и как бы случайных записях яснее, чем где-нибудь, являл свою силу. При всей своей беглости каждая запись в «Дневнике» – это крошечная новелла, художественно вполне завершенная; при всей своей интимности этот «Дневник» имеет интерес объективный и будет когда-нибудь читаться тысячами

людей, как любимая книга: герои «Дневника», маленькие и большие, будут любимы читателями не менее, чем герои «Тома Сойера», или «Алисы в стране чудес», или «Хижины дяди Тома». Из этого «Дневника» глядит лицо автора, проглядывает на отдельных страницах и лицо времени. Фридины же блокноты – это драгоценнейшие художественные документы эпохи: каждая запись – монолог или диалог из какого-то трагического фарса, идущего на сцене нашей действительности; монолог или диалог, подтверждающий гениальные прозрения Зощенко. (Я горжусь и никогда не перестану гордиться тем, что это я заставила Фриду серьезно, как к художественным, а не только интимным, семейным документам отнестись к своим дневникам и блокнотам, горжусь тем, что она садилась иногда рядом со мною за письменный стол, чтобы, читая вслух реплики героев, вместе проверять внятность, отчетливость интонации.)

И вот из-за этого моего пристрастия к Фридиным блокнотам и рождался обыкновенно наш спор.

Во Фридиной журналистской практике случалось, и нередко, что какой-нибудь диалог из блокнота перекочевывал в статью. Такое кочевье было, разумеется, совершенно естественно: ведь и делались-то эти записи чаще всего как основа для будущей статьи. Но за редчайшими исключениями, попадая на газетную полосу, диалог мгновенно линял, его слепящая яркость меркла, тускнела: редакторы, замредакторы, правщики, дежурные по номеру кидались на эту искру подлинной жизни и гасили ее с такой энергией, словно это была искра пожара. Недоглядишь – вспыхнет.

Меня уничтожение слова, полного жизни, верного жизни, каждый раз приводило в уныние и ярость.

– Как вы могли согласиться? – накидывалась я на Фриду, и без того измученную обороной своей статьи… Фрида, принципиальнейшая из всех журналистов, каждый раз, как статью ее ставили в номер, чуть ли не поселялась в редакции, ходила следом за гранками с этажа на этаж, из кабинета в кабинет, ни за что не позволяя уродовать, опошлять, искажать мысль и факты. – Как вы могли согласиться? Ведь я наизусть помню: в подлиннике этот диалог у вас гораздо сильнее! И томное мурлыканье кассирши, требующей «подробностей», и дремучая глупость этого дубины, физкультурника, который сам себя именует «товарищ» – «я здесь новый товарищ» – все это померкло, прилизано, причесано. Как вы могли согласиться?

– Но что же мне было делать? – устало спрашивала Фрида. – Им это не по нутру. Как раз то, что дорого нам с вами.

– Что делать? – переспрашивала я. – Немедленно брать статью обратно. Уносить домой и класть в ящик. Вот что делать! Ведь это вредительство: найти слово – все равно где, в собственном воображении, в памяти или в чужой речи, – найти точное слово и допустить, чтобы на ваших глазах сделали его приблизительным!

– Но человек-то важнее слова, – говорила мне Фрида. – Ведь статью-то я написала в защиту учительницы. Ну, унесла бы я статью домой – ну и выгнали бы учительницу с волчьим паспортом… Чтобы выручить человека из беды, стоит поступиться словечком.

Логика несокрушимая, и я соглашалась. Я соглашалась, но как-то всего лишь умом, а не сердцем. Новая Фридина статья, новое умерщвление жизни хотя бы в одной строке – и опять между нами тот же спор.

Фрида очень любила Цветаеву. Вымаливала, а иногда прямо-таки требовала у счастливых владельцев стихи и прозу Цветаевой, и переписывала, и хранила, и знала наизусть… Однажды я отдала перепечатать на машинке и подарила ей «Искусство при свете совести» – статью, которую, на мой взгляд, необходимо пережить каждому, кто работает в литературе. Фридочка долго не выпускала ее из рук, читала без конца себе и другим, восхищалась, сама переписала ее на машинке и раздарила экземпляры друзьям; но однажды сказала мне:

– Выводы из этой статьи для меня неприемлемы. И это вполне естественно: ведь Цветаева – поэт, и притом великий поэт, а я всего лишь учительница, журналистка. Там, в конце, помните? – она пишет, что перед судом человеческой совести врач, учитель, священник – выше поэта. Выше, потому что нужнее. И что перед этим судом – судом совести – она грешна. И только перед одним судилищем она может оказаться правой: если существует Верховный Суд слова. Помните?

Я помнила очень хорошо, но Фрида достала статью из ящика и прочитала последнюю главку вслух.

«Быть человеком важнее, потому что нужнее. Врач и священник нужнее поэта, потому что они у смертного одра, а не мы… За исключением дармоедов во всех их разновидностях – все важнее нас.

И зная это, в полном разуме и твердой памяти расписавшись в этом, в не менее полном и не менее твердой утверждаю, что ни на какое другое дело своего не променяла бы. Зная большее, творю меньшее, посему мне прощенья нет. Только с таких, как я, на Страшном Суде совести и спросится. Но если есть Страшный Суд слова – на нем я чиста».

– А я не знаю, что меньше, что больше и что важнее, – говорила мне Фрида. – Но для себя я выбираю ту должность, которую Цветаева называет человеческой: врач, учитель. Пусть я окажусь грешницей перед Страшным Судом слова. Лишь бы не согрешить перед человеком и собственной совестью.

Я пыталась объяснить ей, что противоречие это мнимое, вымышленное, что где-то долг учителя, врача и долг поэта совпадают, что искусство равновелико строительству жизни. Но объяснения мои были лишены вразумительности, потому что я и сама до конца не понимаю свою мысль. Не только другим, но и себе самой я не в силах ее объяснить. И всегда, пытаясь додумать ее до конца, я, как на стену, натыкаюсь на твердую формулу Блока: «Искусство с жизнью помирить нельзя».

Спор этот – и даже не спор, не разномыслие, а скорее некоторое разночувствие, вызываемое разницей в нашем воспитании (я выросла среди людей, главной, а может быть, и единственной ценностью жизни считавших искусство, и с детства приняла эту мысль, не задумываясь, как аксиому), – спор этот длился между нами почти что до самого Фридиного смертного часа.

(С некоторых пор, подсказанный ей мужанием ее таланта, ее писательской зрелостью, спор этот возник и длился внутри ее собственной души, вступая в противоречие с ее отзывчивостью, с ее добротой и приблизив, по моему глубокому убеждению, ее преждевременный смертный час…)

Как это ни странно, угадывался он где-то под спудом и в наших постоянных разговорах о «деле Бродского» – деле, которому было отдано Фридой столько сил и в котором ее друзья, и я в том числе, принимали в течение полутора лет ежедневное участие. Борьба за Бродского заставляла нас всех жить будто на качелях: вверх – вниз, снова вверх и снова вниз. Мы постоянно находились между надеждой и отчаянием: то нам объявляли, что Бродский будет свободен в ближайшие дни (и мы имели наивность верить и даже сообщать об этом Бродскому), то в городе становились известны слова, произнесенные главой правительства: «Бродский наказан слишком мягко, ему следовало бы дать не 5 лет ссылки, а 10 лет тюрьмы». Для Фриды эти воздушные ямы были особенно тяжелы: она всегда начинала любить тех, за кого боролась, а Бродского, без его просьбы и ведома, попросту усыновила, раз и навсегда приняла к себе в сердце, и я даже знаю миг, когда это усыновление совершилось: на первом суде. Сообщая мне – 22 февраля 1964 года, из Малеевки – о своем обращении к Генеральному прокурору СССР, Фрида писала:

«Что-то теперь будет?

Но что бы там ни было, что бы ни было, а я никогда не забуду, как он стоял в этом деревянном загоне под стражей. И может быть, все будет хорошо, и он выйдет на дорогу и станет большим поэтом, а я все равно не забуду, как он смотрел – беспомощно, с изумлением, с насмешкой, с вызовом – все разом.

А скорее всего никем он не успеет стать, его сломают. Поэту нужны нервы толстые, как канаты. Несокрушимое здоровье. А он болен. Ему не совладать с тем, что на него кинулось.

Зачем я пишу вам все это? Мне бы сказать вам что-нибудь хорошее[4], а я опять за свое».

Да, она опять за свое, опять и опять за свое. Боль, испытываемая Бродским, сделалась для Фриды живою, собственной болью, ни днем, ни ночью не покидавшей ее. Бессознательно и постоянно она требовала от каждого из нас – не словами и не слезами, а чем-то более властным, как может требовать поющая в оркестре скрипка – чтобы и мы, не отвлекаясь и не уставая, испытывали сосредоточенную и неутолимую боль. Оттуда же, из Малеевки, она писала мне, что поехала она туда напрасно, что ей и лыжи не в лыжи, и работа не в работу, и тишина и лес ни к чему, что всюду перед ней этот деревянный загон, этот беспомощный и сильный человек, эта стража… Сейчас я говорю не о сути дела, а о тех мелочах, в которых проявлялось личное отношение Фриды к Иосифу, мне они кажутся более существенными для понимания ее душевного облика, чем даже та звонкая, смелая борьба за него, которую она с таким упорством вела.

Она собирала его стихи, переводы, вчитывалась, вдумывалась в них, раздобыла где-то его портрет. Расспрашивая о нем друзей, она радовалась благородным чертам в характере своего подзащитного. Кто-то рассказал ей, что Бродского незадолго до ареста вызвали в райком комсомола и пытались «воспитывать». «Кто ваши любимые поэты?» – спросила у него дама-секретарь. «Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак», – ответил Иосиф. «А ведь ему легко было ответить: Маяковский, Твардовский, – говорила мне Фрида. – И не придерешься. И дело с концом… А он ответил правду. Почему эти воспитатели не ценят такую редкую черту: правдивость?» Когда совершился второй суд, когда чудовищно несправедливый приговор был приведен в исполнение и Бродский по этапу выслан в Коношу, – все мы, желая утешить и ободрить его, отправляли туда телеграммы. Фрида, отправив свою, спросила меня, что думаю телеграфировать я. «Пришлите список книг… – сказала я неуверенно. – Ведь ему зимовать там…» – «Ну, что вы! – огорчилась Фрида. – Получив такую телеграмму, он подумает, что вы с его изгнанием примирились. Что ему теперь остается только книги читать, а нам – только посылать ему книги». Я обещала придумать другую телеграмму. И когда я прочитала Фриде новый текст, что-то вроде «никогда не перестану опровергать клевету», Фридочка так прыгала вокруг меня, так радовалась и так дивилась этому нехитрому тексту, словно я у нее на глазах создала новый сонет Шекспира. «Мне бы так никогда не придумать, – наивно повторяла она, – какая вы умница, как я вас люблю. Интересно бы знать, сколько часов идет туда телеграмма? Получил он уже вашу или нет?» Узнав, что у Бродского нет пишущей машинки, она с нарочным послала в Коношу свою, уверив меня, будто у нее есть другая. И только после Фридиной кончины Галя рассказала мне, что никакой другой машинки у Фриды не было, эта была единственная, и подарили ее ей девочки, Галя и Саша, ко дню рождения на свой первый заработок…

Видя, как Фрида мается, как страдает от неудачи всех наших попыток, я пробовала утешать ее, в сотый раз перечисляла все добрые предзнаменования, а потом говорила:

– Фридочка, будет ли Иосиф свободен или нет, вы, своей записью, именно вы и именно этой записью, этим замечательным художественным документом, сделали неизмеримо много[5]. Не только для него, для его освобождения. Вы первая из наших писателей

[4] Я в это время лежала больная: у меня было кровоизлияние в сетчатку.

[5] Эта запись теперь опубликована. См. «Огонек». 1988. № 49, с. 26–30. – *Примеч. сост.*

докричались до мира, и ваш голос услышали все, кто жив еще. «Зову живых!» Сами вы рассказываете, как незнакомые люди на улицах пожимают вам руку. Запись, сделанная вами, благодаря художественной силе своей заставляет каждого пережить этот суд как оскорбление, лично ему нанесенное, и сделаться вашим союзником.

И вот тут-то снова поднимал голову наш постоянный спор.

– А мне этого и не надо, – сердито, упрямо, а иногда и со слезами в голосе повторяла Фрида. – Никакого этого значения в литературе или общественной жизни. Мне надо одно: чтобы мальчик был дома. И раз я этого не добилась, я испытываю только неловкость, когда люди невесть за что с благодарностью пожимают мне руку. Этой записью я надеялась спасти его. И не спасла.

Я повторяла ей опять и опять, что если Бродский будет спасен, то именно благодаря ее записи, что кроме четырех-пяти людей в Ленинграде, кинувшихся ему на выручку с самого начала травли, да четырех-пяти в Москве, которые тоже начали действовать сразу после гнусной статьи в газете, – все остальные, а их десятки, мобилизованы именно ее записью. Я пыталась объяснить ей, что запись – литературный шедевр, что она так же отличается от стенограммы, как живопись мастера от плохой фотографии; это портрет каждого свидетеля – отчетливый, незабываемый, резко очерченный; портрет судьи, общественного обвинителя; и, наконец, больше: это портрет самого неправосудия. Я делала опыты: показывала запись тем, кто сам присутствовал на суде, кому все было известно и без нее. Они читают и видят пережитое по-новому, и плачут и гневаются, как не плакали тогда. Такова власть искусства: воспитательная, познавательная, несокрушимая.

Фрида слушала меня неохотно, хмуро, без интереса. О, конечно, она – учительница, она – журналистка, гораздо лучше меня понимала, что такое воспитание в самом широком, истинно общественном смысле. Но при этом от каждой своей статьи в газете, от каждой судебной или иной записи она привыкла требовать прежде всего результата совершенно прямого, конкретного: чтоб выпустили человека из тюрьмы; чтоб дали человеку комнату; чтоб восстановили человека на работе… Прямого результата запись суда над Бродским, несмотря на все наши усилия, не давала, – а воспитательный смысл? а художественная ценность? – Бог с ними, – печально говорила Фрида.

В последние недели Фридиной жизни, или точнее в последние недели Фридиного умирания, когда она уходила от нас, покидала нас, или еще точнее: когда она покидала себя, лежа неподвижно на тахте в своей милой комнате, меня преследовал один и тот же сон… Возвращается Бродский. Я – во сне – набираю номер: АД 142–97. И говорю: «Сашенька, Иосиф вернулся, скажи маме… Сашенька, скажи маме…» И во сне думаю: как хорошо, что она успела узнать. Что я успела подать ей весть туда, на тахту, которая из веселой, мягкой обыкновенной тахты превратилась в два твердых, как камни, непостижимых слова: смертный одр.

Сон этот осуществился наяву, но, к великому нашему горю, неполностью. Бродский был освобожден через полтора месяца после Фридиной смерти. Он пришел ко мне. Мы вместе позвонили в Ленинград Анне Андреевне и его родным. Потом я сняла трубку и набрала номер: АД 142–97.

– Сашенька, Иосиф вернулся, – сказала я Саше, когда та отозвалась. Мы обе замолчали. Продолжения не было. Из горла ничего не шло на губы, с губ ничего в трубку. Я видела Сашу так же ясно, как если бы это был не телефон, а телевизор. Ресницы, волосы. Я видела пустую тахту. Я подумала: пойти разве на могилу, прошептать эти слова земле: Фридочка, Иосиф вернулся…

В двадцатых числах июля, дней за десять до конца, Фрида в последний раз спросила меня о Бродском. И странно, мне показалось потом, когда я перебирала в памяти мои последние к ней приходы, что этот разговор был тенью нашего старого разномыслия: «Бог с ней, с

литературой, был бы цел человек…» Когда я вошла, Фрида лежала спиною ко мне и лицом к стенке и, когда я села в кресло рядом с тахтой, – не повернула ко мне головы, не подняла глаз и поздоровалась со мной только морщинкой: это от усилия улыбнуться морщинка перерезала лоб.

– Ну как наш рыжий мальчик? – спросила Фрида медленно, словно бы по складам, «ры-жий маль-чик».

Дело стояло тогда на точке совершенно загадочной. Оно находилось у председателя Верховного суда РСФСР Л. Н. Смирнова, и в течение трех месяцев нам по телефону и лично отвечали на спрос, что решаться оно будет «через три-четыре дня». На письма же и телеграммы ответа вообще не было. Но все-таки у меня для Фриды была припасена хорошая новость: Евтушенко, сказала я, вернувшись из Италии, представил в ЦК, как водится, записку о своей поездке, и там, излагая содержание своих бесед с представителями итальянской интеллигенции, заявил, что «дело Бродского» наносит престижу нашей страны огромный ущерб, что Бродского необходимо выпустить и, главное, как можно скорее издать книгу его стихов – потолще той, какая издана на Западе. Там же он писал, что берется сам составить книгу и приготовить предисловие к ней.

– Книга Бродского! Вот бы хорошо! – сказала я.

Фридочка показала мне рукой, чтобы я с кресла пересела на тот угол тахты, с которого она могла видеть меня, не поворачиваясь, И подняла веки.

– Не до предисловия тут, не до книги, – сказала она легко, быстро, внятно. И затем снова с трудом, по складам: – Вы-пустили бы маль-чи-ка на во-лю. Кни-га – это по-том.

И закрыла глаза.

Книга – потом. На первом месте – человек.

Мысль мыслей.

4. Грозные очи

Да, конечно, во Фридиной душе жили и Джо, и Флоренса, и все светлые диккенсовские героини, самоотверженные, трогательные, умевшие и любившие любить. Но была в этой душе и другая струна, чуждая диккенсовским героиням, на которую я набрела не сразу и которую не могу назвать иначе, как струною суровости.

Фрида умела не только пожалеть человека, но и дать отпор, постоять за другого – и за себя. «Как хорошо, что вы обороноспособны», – сказала я ей однажды. Вот эта ее «обороноспособность» и явилась для меня неожиданностью. Сочетание доброты и силы почти никогда не было видано мною – разве что в характере Тамары Григорьевны. Я привыкла к тому, что, если человек добр, мягок, чист душевно, стало быть, он слаб, беспомощен, и все по нему ходят ногами. Фрида беспомощной не была. Ни в какой степени. И обидеть не позволяла – ни другого, ни себя самое.

Один раз я попросила ее зайти ко мне, чтобы посоветоваться о каком-то моем издательском деле. Не помню теперь ни дела, ни ситуации, ни рукописи, ни издательства, о котором шла речь. Помню, что я была раздражена, утомлена и предлагала какие-то резкости и крайние меры. Фрида же, со свойственной ей трезвостью и ясностью взгляда, советовала мне не торопиться, кого-то подождать из отпуска, с кем-то еще поговорить.

– Вечно у вас какие-то подходы! – сказала я Фриде, раздражаясь.

Фрида ничего мне не ответила и скоро, сославшись на срочное дело, ушла. Было это вечером. А утром я обнаружила у себя в почтовом ящике письмо. Пришло оно не по почте и, к моему удивлению, было от Фриды. «Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль». Холодно, сухо, колко и очень сурово Фрида спрашивала меня, что означала моя фраза: «вечно у вас какие-то подходы» и зачем же нам, собственно, общаться, если я думаю

о ней с неуважением? Тогда только я поняла, сколько серьезности вкладывает Фрида в свои отношения с людьми и какие это для нее ответственные слова: друг, дружба. Я схватила перо и от всей души попросила у нее прощения, объяснив, что дурацкие мои слова отражают только меру моей усталости в ту минуту, а вовсе не мою задушевную мысль о ней, – о ней, моем любимом друге, который давно уже стал для меня образцом прямодушия и чести.

В человеческих отношениях, в отношениях между друзьями Фрида не терпела никакого лицемерия, двуличия, того легкого, мелкого предательства, которое почти общепринято. И хотя она была человеком великого, можно сказать, музыкального такта и вовсе не имела обыкновения каждую минуту и по каждому поводу, не щадя чужих нервов и самолюбий, резать правду-матку в глаза, – она была правдива в каждом своем слове и ни на какое двуличие и ни на какое светское лицемерие неспособна: я бы сказала, в ней не было ни грана предательства. В словах, обращенных к друзьям, она всегда искала точного выражения своих мыслей и чувств. И той же чистоты требовала она от других. Приведу случай, поразивший меня своей неожиданностью. Однажды по просьбе знакомых Фрида занялась устройством судьбы одной молодой женщины – назовем ее Соней, – в самом деле бедствующей и в самом деле достойной всякой заботы, хотя бы по количеству свалившихся на нее несчастий: отец ее погиб в ополчении, отчим погибал в лагере, мать погибла, попав под трамвай. Сама она неудачно вышла замуж и, родив ребенка, рассталась с мужем. Литературно одаренная, образованная, хорошо окончившая университет, она тщетно пыталась поступить на службу: время – начало пятидесятых годов, происхождение – еврейка. Словом, случай этот был совершенно для Фриды – человек за бортом, человек в беде! Фрида вплотную занялась Сониной судьбой, достала для нее на дом какую-то литературную работу, сделала попытку помирить ее с мужем, навещала ее, брала с собой в концерты, баловала девочку игрушками и сластями. Диккенсовская героиня в действии, добрая фея Фрида в своем репертуаре… И вдруг позвонила мне и попросила разрешения срочно зайти – в рабочее время, среди дня – «на десять минут, по важному делу». Пришла. И произнесла краткую речь.

– Лидия Корнеевна, я вас очень прошу, я вас познакомлю с Соней. Смените меня, пожалуйста, на этом посту. Оставить ее одну нельзя – пропадет, нужен возле взрослый человек, а я с ней больше не желаю общаться.

Сказано это было с непреклонной решимостью.

– Что же она такое натворила? Ваша милая Соня?

– Ничего она не натворила… Вы знаете, я редко отказываюсь от людей, а от нее отказываюсь, начисто и навсегда. Не хочу ее видеть: она дурно отзывается о наших общих друзьях, даже о тех, кого любит. Этого я допустить не могу. А у вас с ней общих знакомых нет, вам будет легче… Терпеть не могу неуважительных слов за глаза. Да еще о близких.

И под каким-то предлогом привела Соню ко мне, и больше никогда с ней не встречалась, и слушала меня сухо и хмуро, когда я рассказывала ей о своих попытках устроить Соню на работу.

– Не выношу этой черты – смеяться за глаза над теми, с кем дружишь. Через это я переступить не могу.

Ее оскорбляла даже тень двуличия и двоедушия, нечистота, непрямота отношений, неполнота доверия или самоотдачи. Заступаясь за кого-нибудь, хлопоча о ком-нибудь, она была с этим человеком вполне, всей душой, всей мерой честности и веры. Я замечала не раз, что, оказавшись у нее в комнате, я мгновенно успокаивалась после любой передряги, словно самый воздух был там целителен, обращен ко мне, повернут ко мне, как обращена и повернута ко мне была вся полнота Фридиного внимания. Оставаясь всегда независимой в мыслях, поступках и чувствах, Фрида умела в то же время повернуться к человеку вполне, словно наклониться над его особенной болью. Воздух ее комнаты был чист от заноз и осколков стекла. Но этой чистоты, цельности чувств и, если можно так выразиться, честности

их, естественно, ожидала Фрида и от других. Не только ожидала – требовала. Вспоминаю, как однажды, получив из Ленинграда известие о тяжелой болезни сына одного из друзей, она бегала целый день по Москве, во всех буфетах покупая апельсины: мальчику разрешено было питаться одним лишь апельсиновым соком, а в Ленинграде фруктов вообще в эти дни не было. По телефону она условилась с ленинградцами, что апельсины доставит в Ленинград проводник «Стрелы». Отвезти корзинку на вокзал еще днем вызвалась Саша. Вечером я была у Фриды в гостях. Саша собиралась на вокзал неохотно, медленно, без конца искала под зеркалом шапочку, потом перчатки; потом, уже одетая, села в кресло с корзиночкой на коленях, раскинув руки. Ей, бедняге, сильно хотелось спать.

Фрида посмотрела-посмотрела на Сашу, и вдруг ее ласковые карие очи засверкали прямо-таки грозно. Голос зазвучал металлически. Я увидела ее учительницей в классе, пионервожатой перед строем, а может быть, и прокурором в зале суда.

– Раздевайся, – сказала она. – И ложись спать. На вокзал я поеду сама. Посмотри на себя в зеркало: с таким лицом не делают добрых дел!

Ей мало было того, чтобы Саша исполнила взятое на себя поручение и вовремя отвезла на вокзал апельсины. Ей надо было, чтобы Саша была счастлива представившейся возможностью помочь друзьям. От доброго поступка Фрида требовала полноты, щедрости – того, что делает поступок не только правильным, но и красивым. Она сильно чувствовала эстетику добра. Ей хотелось полюбоваться Сашиной радостью: «везу больному апельсины!»; увидев на лице у Саши недовольство и скуку, она оскорбилась. И хотя Саша после ее слов мгновенно полетела на вокзал, Фрида весь вечер не могла успокоиться.

Такой же взрыв негодования, такие же грозные очи я видела еще всего один раз. На этот раз Фрида была оскорблена неполнотой дружеского доверия. Это было уже совсем, совсем в другие времена – болезнь, больница… За несколько месяцев до болезни, когда Фрида еще была или, во всяком случае, казалась и считалась здоровой, Руня в один из своих приездов в Москву обиделась на нее, упрекнула ее в невнимании. Поссорилась с ней и уехала из ее дома, не помирившись. Обе они от этой ссоры глубоко страдали. Галя рассказывала мне, что, когда Руня ушла, так и не приняв Фридиных объяснений, – Фрида, оставшись одна у себя в комнате, громко зарыдала, а когда домашние вошли к ней, вскрикнула, не помня себя: «Уйдите все! Я потеряла Руню!» Фрида не была истеричной, рыдания и крики были у нее не в обычае. И потому Фридин крик сильно поразил близких. Говоря об этой ссоре со мной уже вполне спокойно и даже холодно, она объяснила:

– Конечно, я мучаюсь оттого, что у меня больше нет Руни. Но это не главное, главное вот что: если такой близкий человек, она ведь сестра мне, могла так мне не поверить, могла так поступить со мной, – значит, на свете все возможно.

Ссора с Руней подрывала ее веру в людей, в дружбу, в надежность и неколебимость человеческих чувств – ту веру, которой бессознательно она жила всегда.

– Ведь Руня меня знает, – говорила она с печальным недоумением. – И она могла мне не поверить! Что же это творится на свете?

К этому времени Фрида, пятидесятилетняя женщина, уже хорошо, казалось бы, знала, что бывает на свете. И все-таки дивилась Руниному поступку и не могла надивиться.

Видя ее мучения, я от души желала, чтобы они помирились. Хотела этого, конечно, и она сама, но – но вот тут-то я и увидала опять сверкнувшие на этот раз с больничной подушки Фридины негодующие глаза.

…Фрида лежала в больнице. О, какое это было страшное время – для всех нас! «После отчаяния наступает покой, – сказала мне как-то Анна Андреевна Ахматова, – а от надежды люди сходят с ума». Вот мы и сходили с ума… Для Фриды это время было сравнительно радостное: операция осталась позади, желтуха проходила, она с каждым днем чувствовала, как к ней возвращаются силы. Училась помаленьку сидеть, ходить, есть. Читала, начинала

писать. Ей сказали, что у нее воспаление поджелудочной железы, от которого ее будут лечить вливанием в вену какого-то заграничного лекарства. Она лечилась доверчиво и старательно. А мы знали, что Виноградов, вскрыв брюшину, до опухоли не дотронулся и близким сказал: «Рак неоперабельный, случай безнадежный». А мы знали, что он добавил: «Попробуйте 5-фторурацил, быть может…» Вот этим «быть может» мы и жили. Это и была та тень надежды, которая сводит с ума. Мне казалось, сама я живу какой-то призрачной, двойной, недостоверной жизнью. «Фрида погибает и погибнет» – с этой мыслью я ложилась и вставала. «Фрида выздоравливает, и с каждым днем ей все лучше» – это было то, что видели мои глаза. «Попробуйте… быть может…» – сказал, слегка пожав плечами, Виноградов. Что, если это «быть может» превратится в действительность?..

В эту пору сама я много болела и бывала в больнице у Фриды гораздо реже, чем мне хотелось. (Хотелось быть безотрывно, все время.) В дни, когда мне становилось лучше, я вставала и, сговорившись с Сашей по телефону, мчалась к Фриде. В мыслях моих она была погибающей, умирающей, и я мчалась на помощь. А примчавшись, видела обыкновенную Фриду, пожалуй, чуть-чуть похудевшую, веселую, радостную, выздоравливающую. Ее живой, милый голос, смеющиеся глаза, ее расспросы обо всех моих делах, о друзьях – подтверждали, что она здесь, с нами, Фрида, такая же, как всегда. Возле нее я мгновенно успокаивалась. И мы болтали, как прежде, то наедине, то вместе с Изей или Еленой Сергеевной.

В ту пору (по-видимому, это был февраль 1965 года) Фрида иногда из пустого врачебного кабинета звонила мне по телефону. Все интонации – твердые, ясные, звучные – были мне привычны, знакомы; все ее словечки, обороты речи: «да, это действительно я!» (в ответ на мой возглас: Фрида!) или: «это мне, как говорится, уже нелюбопытно!» – в виде укора кому-то; или осуждающе: «это мне уже ску-ушно слу-ушать» (длинное «у»). Я спрашивала, что принести ей в больницу. Она отвечала, подумав и с полной серьезностью: «Лучше всего, пожалуй, калачик». «И вареную рыбку». В ее произношении слово «калачик» звучало вкусно, аппетитно, чувствовалось, что ей его действительно хочется. Но и этот простой ответ, и обыкновенное слово «калачик» звучали для меня, будто откуда-то из потустороннего мира. «Говорит Фрида». «Говорит звезда». «Говорит тот свет».

«Рак неоперабельный, случай безнадежный», а Фрида веселым голосом просит меня с того света, чтобы я принесла ей калачик… Было отчего сойти с ума. И вот я бегу, задыхаясь, по больничной лестнице, сердце стучит в ушах, в горле, в животе – бегу Фриде на помощь, словно от моей поспешности действительно зависит ее спасение; третий этаж, коридор и еще коридор… сердце стучит так громко, что я не сразу сквозь этот стук научаюсь слышать Фридин голос. Фрида лежит в постели приветливая, улыбающаяся, правда, более слабая, чем в прошлый раз («Это заморское лекарство прямо-таки сбивает с ног», – объясняет она), слабая, но веселая, обо всем и обо всех расспрашивающая, рассказывающая о больных и врачах, – словом, через минуту я вижу прежнюю, нашу обычную Фриду. И калачик ей хочется поскорее съесть. Сама она взять его сегодня не может: у постели длинная колба с прозрачною жидкостью, откуда в вену Фридиной руки беззвучно течет 5-фторурацил.

– Это заморское лекарство, – объясняет мне Фрида, не подозревая, что я-то знаю об этой жидкости больше, гораздо больше, чем она. – Не обращайте внимания: оно пусть каплет, а мы будем разговаривать. Совсем не больно. Разрежьте калачик и намажьте его маслом, пожалуйста. Нож в тумбочке, а масло на окне.

Левой рукой она берет у меня калачик, весело жует, весело задает вопросы. Я стараюсь не смотреть на страшный бесцветный яд, колеблющийся в колбе – словно моя ложь, стоящая между нами, – стараюсь не видеть капельку крови на ватке, прилипшей к Фридиной руке. Она не знает, а я знаю, какими мучениями грозит ей этот бесцветный яд, эта отрава, эта наша последняя сумасшедшая надежда на ее жизнь. Поверх одеяла у стенки стопочка писем.

– Видите, сколько много? – говорит Фрида. – Слышали, как дети говорят: сколько много!

Она протягивает мне пачку конвертов. Я с удовольствием рассматриваю конверты, только чтобы не глядеть на отраву. На одном вижу обратный адрес: Р. Зернова.

– От Руни? – говорю я. – Получили?

– Да, – говорит Фрида. – И от Руни.

– Значит, вы помирились? – вскрикиваю я. – Вот чудесно!

И вдруг с подушки, из этих глаз, только что струивших приветливость, покой, ласку, – мгновенная молния гнева.

– Ничего чудесного нет! Не могу же я каждый раз ложиться под нож, чтобы Руня снова начинала мне верить!

Она нежно любила Руню и от души желала помириться с ней. Но в приступе миролюбия, внезапно охватившего Руню, она чуяла натяжку, нарочность, вызванную ее, Фридиной, тяжелой болезнью. А Фрида не хотела скидки на болезнь. Это ее обижало.

Ей-то было хорошо известно, по опыту собственной души, что такое полнота доверия. И она ждала ее и требовала от тех, кого любила… Ничто не могло ее ранить больнее, чем недоверие.

К счастью для них обеих, за месяц до Фридиной смерти полнота доверия была восстановлена: они помирились.

Но молния гнева, сверкнувшая мне когда-то с больничной подушки, много объяснила мне во Фридиной сути.

5. «Зубами»

Да, Фрида по природе своей, не в пример милым и трогательным героиням Диккенса, была вполне обороноспособна. К тому же она включала это качество в проповедуемый ею кодекс морали и чести.

Однажды, – это было очень давно, по-видимому, в начале пятидесятых, когда Фрида жила еще на Ермолаевском и работала над первыми частями трилогии, – я зашла к ней, чтобы поговорить о ее рукописи. Между нами возник спор по поводу одной главы. Там рассказывалось о драке детдомовских ребят – Мити Королева и Коли Катаева – с бандитами. Ребята ехали в поезде и приметили, как двое здоровенных парней, перемигнувшись, вышли на площадку следом за молоденькой девушкой. Митя и Коля бросились туда и поспели как раз вовремя: парни срывали с руки девушки часы. Митя схватился с одним. Коля с другим. Один бандит вышвырнул Колю из поезда, так, что тот сломал себе руку, другой ударил Митю кастетом по лицу и повредил ему глаз… К счастью, на помощь подоспел проводник. Ему удалось задержать бандитов. Устами своего главного героя, Калабалина, Фрида сурово осуждала тех педагогов, которые, наперекор Калабалину, полагали, что мальчикам не следовало ввязываться в эту драку: слишком уж неравны были силы.

– Я тоже не очень уверена, – сказала я осторожно, еще не понимая, куда ведет меня моя мысль, – не очень уверена, что детей следует обучать ввязываться во всякую драку.

Фрида взглянула на меня с интересом. Поджав ноги, она уютно сидела на тахте и толстыми шерстяными нитками штопала дыру в Сашином джемпере. Было тихо и тесно. Кто бывал у Фриды на Ермолаевском, тот помнит эти две крохотные узенькие комнатушки, из которых в одну можно было попасть сквозь тесноту другой, где даже самые необходимые вещи казались излишними; комнатушки, из которых в коридор потихоньку выносили один-два стула, чтобы гость мог беспрепятственно войти в дверь. Как размещались там, жили, обедали, спали, работали пять человек – для меня всегда оставалось тайной, особенно трудно было вообразить себе, как могли там писать свои книги двое профессиональных литерато-

ров. А ведь иногда, и даже очень часто, там жили еще и приезжие гости… Правда, Фрида толковала мне, что по ночам двери не очень-то нужны – на ночь приставляется к дверям койка, – вот и еще одно спальное место, и даже чертила на бумаге план, но мне ситуация все равно не становилась яснее.

На этот раз тут было на удивление тихо. Кроме Сашеньки и нас, дома никого, а Сашенька – черные косы и белые банты – смирно сидит за маленьким столом у окна в проходной комнате и делает уроки. В другой мы с Фридой, положив рукопись на тахту, рассуждаем о повести.

– Стоит ли учить детей ввязываться во всякую драку? – повторила я.

– Во всякую, конечно, нет, – ответила мне Фрида. – Но ведь тут ясно, на чьей стороне правда. Здоровенные бандиты отнимают часы у девушки.

Я ответила ей, что уголовный мир весьма организован, что, когда двое отнимают часы, на стреме стоит третий, что у нас существуют целые улицы, а говорят, и целые города, взятые бандитами под контроль, и хотя ясно, кто тут прав, кто виноват, но учить детей – детей, подростков! – с голыми руками кидаться на вооруженных ворюг – преступление. «Погибнут лучшие, вот и все, – сказала я. – Бандиты останутся невредимы. Следует ли посылать подростков на смерть или увечье? Спасенные часы стоят ли Колиной руки, Митиного глаза?»

– Дело тут не в часах, – ответила Фрида. – На человека напали бандиты. Оставить его без помощи, один на один с бедой?

В эту минуту в комнату ворвалась Сашка. Давно уже, приоткрывая дверь, она заглядывала к нам, стараясь сообразить, попадет ей, если она помешает, или нет? Убедившись, что мы не работаем, то есть не перелистываем рукопись и не пишем, а просто-напросто разговариваем, она решилась. Вбежала в комнату и кинулась на маленькую Фриду – толстая, кругло-глазая, большеногая, животастая, – именно кинулась: обнимать, целовать, тормошить. Затем и пришла.

Сначала она столкнула на пол рукопись, потом рабочую корзиночку с нитками и клубками; сев на пол, чтобы подобрать листки и нитки, толкнула столик, стоявший возле тахты, и с лампы слетел абажур. Всплеснув руками, она надела абажур на лампу, в отчаянии поцеловала Фриду еще раз и выбежала вон.

– До чего неуклюжа и огромна, – сказала Фрида сквозь смех. – Не по нашей жилплощади.

– Вот что, – сказала я. – Вот, например, ваша Сашка. Представьте себе, что она едет в трамвае, почти пустом… Ей сколько? Четырнадцать? Пятнадцать? Рядом с ней еще какая-то девочка. С этой девочки бандиты срывают часы. Должна ли Саша ввязываться?

– Непременно, – ответила Фрида, продолжая штопать. – Конечно, должна. А что же вы думаете, она должна как ни в чем не бывало катить дальше?

– Но с чем же она на них бросится? У мальчишек хоть кулаки есть… А она чем будет драться? Косами?

Фрида подняла голову, сверкнули глаза.

– Зубами! – ответила она мне с сердцем.

Белые крепкие крупные зубы разом перекусили нитку.

И я сразу вспомнила любимейший мой рассказ Пантелеева «Маринка». В начале войны, когда Маринка, маленькая героиня рассказа, была еще румяная, веселая, сильная, толстая, она со смехом грозилась: если немец посмеет войти к ней в комнату, она его зонтиком, она его лампой, она его калошей. В блокадную страшную зиму автор, живущий по соседству с Маринкой, зашел навестить ее. Маринка изнурена голодом, холодом, жизнь ее еле теплится под грудой одеял на кровати. И когда автор, продолжая старую игру, задает ей прежний вопрос: что бы ты сделала, если бы сюда ворвался немец? – она молчит, молча оглядывает комнату, как бы примеряясь, прикидывая…

«Казалось, она трезво рассчитывает свои силы: стула ей теперь не поднять, до лампы не дотянуться, полена во всем доме днем с огнем не найдешь.

Наконец она ответила мне. Я не расслышал. Я только видел, как блеснули при этом ее маленькие крепкие зубки.

– Что? – переспросил я.

– Я его укушу, – сказала Маринка, и зубы ее еще раз блеснули, и сказано это было так, что, честное слово, я не позавидовал бы тому фашисту, который отважился бы войти в эту холодную и закоптевшую, как вигвам, комнату».

Фрида, по-видимому, тоже вспомнила этот рассказ.

– Зубами, – повторила она. – Чем хочет. Но не сметь оставить человека в беде.

Я не думаю, что Саша Москвина, героиня «Любимой улицы» и «Семейного счастья», это Фридин автопортрет. Но не сомневаюсь: многие черты своего характера, и притом основные, Фрида подарила героине этих книг. Ключ к характеру Саши Москвиной, то есть к характерам их обеих, Саши Москвиной и Фриды Вигдоровой, – дан в разговоре между Сашей и доктором Королевым.

Дмитрий Иванович Королев – хирург, она – медицинская сестра в хирургическом. Они хорошо сработались и относятся друг к другу с высоким уважением. И вот однажды, когда они вместе идут после тяжелого операционного дня до метро, Саша Москвина спрашивает у Дмитрия Ивановича, почему это ему вздумалось пригласить ее на работу к себе в больницу? Прежде она работала в детской консультации и в качестве патронажной сестры навещала маленького Юру в той квартире, где жил Королев. Однако знакомы они не были, он никогда даже не видал ее. И вдруг Дмитрий Иванович подошел к ней в коридоре, представился и предложил перейти на работу в больницу, к нему в хирургическое, где освободилось место медицинской сестры… Теперь, когда они подружились, Саша Москвина решается спросить у доктора, чем было вызвано это приглашение?

Ответ Дмитрия Ивановича весьма примечателен. До приглашения он Сашу и в глаза не видал, но много слышал о ней от соседей по квартире, и все только хорошее: больная бабушка твердила, что Саша лечит лучше всякого доктора, а соседка Тоня – та прямо-таки повторяла каждое Сашино слово Королеву в назидание. Какое бы несчастье ни случилось с человеком (Королев недавно потерял жену), «нельзя глохнуть, если несчастье, умирай, погибай, а душа пускай будет жива», – повторяла ему Тоня Сашины слова.

Разговор между Дмитрием Ивановичем и Сашей Москвиной, идущими по улице, далее развивается так:

« – По-моему, это все не про меня, – сказала Саша. – Какой-то рождественский рассказ.

– Да, как в хрестоматии.

– И вы оценили меня за мои хрестоматийные достоинства?

– Вот тут-то и закавыка, Саша. Я вас терпеть не мог. Я думал: ну что она все время лезет не в свое дело, проповедует, поучает, пропагандирует. …Занималась бы своим делом, что ли. Ведь она патронажная сестра, а не Франциск Ассизский. И вот прихожу раз домой и вижу: во дворе ребята собрались и галдят. Что, спрашиваю, у вас такое? Они отвечают: патронажная сестра дала Гошке по морде. Какая патронажная сестра? Ну, та, которая из детской консультации ходит к Юрке Киселеву. За что, спрашиваю? И выясняется, что Гошка дразнил малыша, кричал ему: полтинник, полтинник! Так, кажется, дразнят безотцовских? А вы подошли и дали тому самому Гошке по физиономии. Было дело?

– Было.

– Ну, а тут как раз ушла из нашего отделения сестра… Рискну, позову эту самую Сашу, которую не знаю и даже никогда не видел. Вдруг повезет? После операции человека надо беречь, как… как хрустальную вазу, что ли… Ему надо сказать – дорогой. Или там – голуб-

чик, или еще какое-нибудь петушиное слово. Доктору – не обязательно. А сестре, которая выхаживает, – непременно.

– Значит, пока я выхаживала Юру и бабушку, вы меня терпеть не могли, а когда съездила человека по физиономии, вы меня оценили и поняли, что я умею говорить петушиные слова?»

Да, Фрида умела говорить петушиные слова, умела беречь человека, словно хрустальную вазу. Повторяю: даже воздух в ее комнате был особенный, проникнутый радостным вниманием к гостю. Для меня ее комната всегда была тем блаженным островом, где я могла дышать и двигаться, не опасаясь наступить на стекло или проглотить кусочек острого металла. Общение с Фридой как будто накладывало перевязку на больные места. Сколько петушиных слов сказано мне ею по телефону, с глазу на глаз, в письмах, слов, которых я никогда не забуду. Утоляющих боль.

Но я думаю часто: быть может, потому слова эти, нежные и простые, имели врачующую власть, что они были «обеспечены всем золотым запасом республики», как написано на деньгах, всем запасом Фридиного мужества, Фридиной способности, подобно Саше Москвиной, ответить на оскорбление человека – ударом; потому она умела исцелять, что нежность ее была сродни той, о которой сказано в стихах Александра Гитовича. «Ты, – говорит Гитович, обращаясь к великому художнику и его полотну, —

Научил нас, что сила становится доброй
И что нежность становится сильной».

6. «Гюгополис»

Но Саша Москвина, при всем своем сходстве с Фридой, все-таки беднее, чем ее создательница. У Фриды была еще одна черта, которую она хоть и подарила своей героине, но все-таки, на мой взгляд, недостаточно в ней культивировала: юмор. Именно эти сочетания – силы с нежностью, доброты с суровостью и серьезного, высокого, ответственного отношения к жизни с богатым и разнообразным чувством юмора – именно эти редкостные сочетания, причудливо совмещающиеся во Фридином характере, и делали ее такой пленительной.

Как она любила смеяться, как радовалась шуточной песне, пародии, эпиграмме! Она была первой ценительницей шуток, эпиграмм, смешных словечек работы таких мастеров, как Раскин, Паперный, Наталия Ильина, Казакевич, Светлов. Книги ее, особенно последние повести, проникнуты юмором насквозь, мы читаем их улыбаясь – над одной страницей улыбаемся светло, над другой насмешливо, над третьей со злостью. Катя и Аня, маленькие героини последних повестей, созданы не только страстной наблюдательностью талантливого педагога, для которого воспитывать было все равно что дышать, не только материнской любовью, но и способностью автора взглянуть на любимейших своих героев со стороны и ласково посмеяться над ними. «Дай хлебушка белого!» – на всякий случай говорит Катя, иногда в самых патетических местах, и мы смеемся. А для того чтобы создать Прохорову, медицинскую сестру Прохорову, злую тупицу в туго накрахмаленном халате, бессердечную, бесчеловечную, с восторгом клевещущую на доктора Королева по первому сигналу свыше, необходима была уже не насмешливость, а настоящая злость. Помните Прохорову? Ее «нельзя было ничем удивить, ничем растрогать или порадовать, ей нельзя было рассказать ничего интересного: она все знала наперед. И ответ у нее был один:

– Какие все ученые стали!

Еще она говорила:

– Я никогда ни у кого не занимаю, вот и у меня не просят.

И еще она говорила:

– Жить надо по средствам.

И еще:

– Не вижу я радости от замужества. Много радости – стирать мужские портки.

И еще:

– А зачем мне дети? Вырастут хулиганами. Или пьяницами».

Для того чтобы создать портрет этой бюрократки от медицины, этой мастерицы бесчеловечья в самой человечной из профессий, надо было обладать юмором уже не веселым, а суровым, угрожающим.

– «Доктор велел, чтоб Петров чаще отхаркивал, – говорит Саша Прохоровой, сдавая дежурство.

– Знаем.

– Не то придется делать трахеотомию.

– Слышали.

– Дмитрий Иванович велел позвонить ему в девять и сообщить, какая температура у Волковой.

– Это у бабушки с тромбозом, что ли?

– Да.

– Королев всегда что-нибудь придумает. Какая у Волковой может быть температура?! Ей восемьдесят восемь лет».

«Услышав стон, сестра Прохорова встанет, отложит вышиванье и войдет в палату.

– Чего вам, больной?

– Пить!

– Вам нельзя пить.

– Пить!

– Не капризничайте, больной».

Нет, от нее не дождешься петушиного – человеческого! – слова, ей никто не интересен и не жалок, никого она не бережет и не любит, она «исполняет свои обязанности».

Двойник Прохоровой – та особа в кудельках и кружевах, с розовыми ноготками на толстых пальцах, которая приходит в дом к Поливановым тоже для того, чтобы «исполнить свои обязанности», чтобы научить Сашу подать кляузу на мужа. Это уж бюрократка не от медицины, а от так называемой общественности. В наши дни бюрократ и мещанин – понятия однозначные, и обе они – медицинская сестра и общественница – прежде всего мещанки. Мелкое ненавистничество Прохоровой прикрыто исполнительностью и туго накрахмаленным халатом; страстная жажда сплетен у ее духовной сестры – модной кофточкой и борьбой за здоровую советскую семью. Помните? Сыпет, сыпет словами. Находит, что в комнате у Саши очень уютненько. Сетует, что из магазинов исчезло ленинградское мулине. Советует Саше поставить на полочку бархатные розы. Потом советует обратиться к общественности: «Напишите нам кратенькое заявление». Получив кратенькое заявление, гадина начнет лечить административными мерами Сашину душевную рану… Эта представительница общественности смешна и страшна; и – свойство настоящей сатиры – более страшна, чем смешна. Никогда не забуду, как Анна Андреевна Ахматова, прочитав Фридину запись заседания месткома в тульском музыкальном училище, сказала мне: «Это самое страшное, что я когда-либо в жизни читала». (Фридину запись суда над Бродским она прочитать не пожелала.) Многие записи в блокноте журналиста и блокноте депутата, сделанные как бы по случайному поводу, такие, как «За смертью Носова» или «Я член партии», – нельзя читать без смеха, и смех этот, как плуг, поднимает глубокие пласты современной жизни и заставляет глянуть глаза в глаза ужасу. Смеешься, читая блокнот, а захлопываешь его, содрогаясь от боли. «Ребеночек народился! Мальчик!» – кричит человек, которому некуда привезти этого

ребеночка вместе с матерью из родильного дома. Смешно объясняется с ним председатель, смешны первая, вторая и третья речь управдома. Фрида обладала чутким слухом к современной речи со всеми ее канцеляритами и мещанизмами, и слух к уродствам речи вел ее с поверхности явления вглубь.

«Остановлюсь на первом пункте, о количестве квартир, включившихся в соревнование за социалистический быт… Они выполняют пункты, чтоб сберегать спецфонд и соблюдать взаимоотношения.

Есть четыре семьи в хороших взаимных отношениях, люди стали более общаться, и мы должны афишировать, когда работает клуб и кинопередвижка, а то афиши нет, и люди не знают…

Нам некоторые говорят разные нарекания, и, конечно, извините за грубость, мы, конечно, много набракоделили. Но есть такие, что зря злорадствуют, и, если по-ихнему не вышло, то делают улыбочку. Вот Пахомова из дома шесть по Неждановой – она бегает в единственном числе и смотрит, что не так».

Смешно? Пожалуй. И невинно. Благодушно. А на следующей странице нас подстерегает ужас. Во Фридиных блокнотах сырой жизненный материал, схваченный на лету, записанный на слух, превращался в мощную сатиру:

« – Мы хоть и говорим о квартирах социалистического быта, но я должен сказать о подвале в доме шесть по улице Огарева. Этот подвал не сегодня-завтра обрушится. Будут жертвы. Людей надо немедленно переселять.

– Переселять некуда.

– А что мне людям говорить?

– Разъяснять надо. Агитировать и пропагандировать.

– Плохо!

– Что, то есть, плохо? Вы из какого государства приехали? Про что вы это говорите «плохо»?

……..

Внезапно дверь открывается, и в комнату вваливается пьяный:

– Нас каждую осень затопляет дерьмом! И дождем! И если нас затопит и убьет – вы все, все будете виноваты!»

И в писаниях, и в жизни Фриде присущ был именно юмор, разнообразный и глубокий, – острословие не было ей свойственно. В беседах с друзьями острила Фрида редко, а может быть, и никогда. Я помню ее пересказывающей чужие остроты, но собственных ее острот не припомню. У нее были свои излюбленные выражения, которые она часто употребляла, и среди них я не помню ни одного каламбура. Речь ее была проста. «Ну, это еще надо, как говорится, поварить в голове», – говорила она, задумавшись над каким-нибудь делом. В конце высказанных кем-нибудь и ею самой соображений, предположений она спрашивала, чтобы подвести итог. «Как же мы будем поступать?» Строго, деловито, рассчитанно. В ее речи сказывался навык журналиста, депутата, привыкшего обдумывать и, обдумав, действовать… «Как же мы будем поступать?» Но с каким очаровательным юмором пела Фрида песни – Галича или лагерные, тюремные! С каким юмором писала письма!

Вот одно из них, от 1 ноября 1964 года, полное грусти и юмора:

«Живу я в сутолоке и неразберихе. Мою двоюродную сестру Веру (дочку нашей тети Фани[6]) оставил муж. Тетя Фаня не ходила целую неделю. А мы тем временем опускались на дно: никто не готовил обеда, никто не покупал масла и сахара, некому было гулять с Наташей. Александр Борисович, похлебав нашего с Галей неквалифицированного супа, сказал:

[6] Тетя Фаня приходила помогать Фриде по хозяйству.

– Если так будет продолжаться, я буду вынужден настаивать, чтобы Сеня[7] вернулся в семью.

И, кажется, так оно и будет.

Когда он ушел, Верочка сказала:

– Я брошусь с пятого этажа.

Он ответил: – Ну и бросайся!

Она: – Я умру, если ты уйдешь!

Он: – Ну и умирай!

Тогда Вера сказала:

– Я пойду в твою парторганизацию!

И он вернулся!..

Александр Борисович очень доволен.

Мои девочки в смятении: зачем ей муж, вернувшийся под конвоем?

А я почем знаю? Мне жалко ее было, а теперь – нет… К чему я все это рассказываю? К тому, что тетя Фаня, видимо, с завтрашнего дня снова начнет ходить. И мы сможем уехать в Переделкино…

Меня мучает и угнетает, что нет никакого ответа на наше письмо. Оно получено, но ничего не сдвинулось[8].

Я думаю: а вдруг моя подпись испортила дело[9]? Вот тогда я тоже: с пятого этажа и прочее».

Письмо это сильно напоминает страницу из какой-нибудь Фридиной повести: та же легкость рассказа, свойственная Фриде как прирожденной беллетристке, та же легкость переходов, тот же юмор, то веселый, то горестный.

Писала она, случалось, письма и совершенно юмористические: письма-шутки, письма-пародии. Привожу одно – к Корнею Ивановичу. В статье об искусстве художественного перевода, напечатанной в «Литературной газете», он по ошибке выдал работу одной переводчицы за работу другой. Об этом его решила известить Фрида. А так как в своей статье он говорил о необходимости для переводчика изучать богатство родного языка и широко пользоваться синонимами, то она написала свое извещение так:

> «Дорогой (высокочтимый, бесценный, неоценимый, безмерно высокий) Корней Иванович!
>
> Мы с восторгом (наслаждением, упоением, без передыху, взахлеб) прочитали (усвоили, заглотали, втемяшили себе в башку) Вашу превосходную (блистательную, на большой палец, великолепную, мировецкую, отменную, лихую) статью, но хотели бы (жаждали, мечтали, имели такую думку, желали бы), чтобы Вы учли (взяли на заметку, благоволили заметить, зарубили себе на носу, намотали на ус), что наша обожаемая (любимая, дражайшая, милая нашему сердцу) Мария Федоровна Лорие никогда (во веки веков, отродясь, с младых ногтей) не переводила (не перелагала, не перевыражала, не перепирала) на язык родных осин (дубов, берез, кленов, развесистой клюквы) ни строчки Олдриджа. Это не мешает (не препятствует, не прекословит, не противуборствует) нашему высокому уважению (культу) Вашей особы (персоны, личности, божьего подобия, образины).

[7] Верочкин муж.

[8] Очередное наше заявление в защиту Бродского: на этот раз «поручительство».

[9] Это было в ту пору, когда начальство уже сильно злобствовало на Фриду за ее запись суда над Бродским.

Всегда Ваши, любящие Вас, читатели, почитатели, уважатели, любители, смакователи, заушатели».

Всю жизнь, до своей последней роковой болезни, Фрида отличалась изобилием физических и душевных сил. Они были отпущены ей не в обрез, а с избытком. Эта избыточность сил роднила ее с детьми и с людьми совсем юными. Она любила веселье шумное, молодое, с танцами, лыжными вылазками, вином: веселиться так веселиться! Однажды зимою, лет десять тому назад, мы вместе оказались в Малеевке. С раннего утра до обеда Фрида работала, потом в большой компании бегала на лыжах, а вечером танцевала в гостиной – не пропуская ни одного танца – до той самой минуты, пока старшая сестра не приходила гасить свет. А сколько, несмотря на даль, к ней приезжало из города друзей, сколько дней рождений своих старых и новых знакомых она успела за этот месяц отпраздновать! Когда она уезжала, я вышла проводить ее к машине: оказалось – провожает ее половина санатория: писатели, медицинские сестры, врачи, даже сам шеф-повар. «Постареет теперь наш дом, – сказал мне незнакомый человек, стоявший рядом со мной на крыльце, – уехала Фрида Абрамовна». И в самом деле, дом после ее отъезда потускнел, поскучнел, словно лишился ключа молодости, хотя в доме оставались женщины гораздо моложе, наряднее и элегантнее Фриды. Очарование ее было в непосредственной радости жизни; люди могли еще совсем не знать ее, но их влекла к себе эта круглоглазая, белозубая, чуть курносая улыбка, в которой светилось горячее оживление – то самое, которое так мило нам в детях: хорошо, что сегодня мороз! хорошо, что лыжи скрипят! хорошо, что музыка играет и можно танцевать вальс! – вот что говорила эта улыбка, и каждый чувствовал: а ведь в самом деле – хорошо! Избыток жизненных сил побуждал Фриду культивировать празднества, на которых можно было дать волю гнездившемуся в ней веселью: дни рождения, встречи Нового года, елку, с приездами ленинградских друзей, с маскарадом и лотереей и, уж конечно, с экстренным выпуском домашней стенной газеты, полной карикатур и всяческих пародийных причуд. Шутка, пародия неудержимо влекли ее к себе. При этом она, такая строгая ко всякому обидному, царапающему слову, обращенному к ней самой или к кому-нибудь в ее присутствии, обожала – я не могу подобрать другого выражения, – обожала, когда предметом вышучивания или пародии становилась она сама: ее повести, статьи или образ жизни. На последнем праздновании дня Фридиного рождения, 16 марта 1965 года в Переделкине, Саша за именинным столом исполнила песенку, сочиненную Еленой Сергеевной, где издевательски, на уличном блатном языке было изложено содержание Фридиных повестей. Громче всех, счастливее всех смеялась Фрида, закидывая голову, блестя глазами и сверкая зубами…

Вот как изложен был в песне трудный любовный конфликт в семье Поливановых:

И собрала тут Саша чемоданы,
«В деревню еду, ты меня не жди!»
А обе дочки – Катенька и Аня —
Стоят и плачут у мамы на груди!
Тут етот Митька сразу оклемался:
«Мол, не езжай, один я не могу!»
А Сашка, стерьва, бровью не поводит,
На поезд села и больше ни гу-гу.

Фрида нисколько не оскорблена была грубостью, с какой в этой песне изображены были сложные, тонкие психологические перипетии. Ее веселил этот неожиданный угол зрения:

Еще тут Репин зачем-то ошивался.

В чем было дело – сам я не видал.
Но говорили добрые соседи,
Что он в деревне к ней в окно сигал.

Фрида веселилась, и праздник ее был весел, хотя двойное чувство: радости и страха, наверное, томило в этот день не одну меня. Фрида в эту пору с каждым часом становилась видимо бодрее. Конечно, о танцах или лыжных вылазках не могло быть и речи, но вместе с пастерначатами она пускала кораблики в канавах и лужах, каждый день работала над своей повестью («Учитель»), с восхищением слушала стихи Тарковского, радовалась изречениям Натальи, ходила гулять с Сашей, Галей, Копелевыми, поднималась даже на могилу Пастернака – словом, выздоравливала. Иногда ходила она на прогулку и со мной: маленькая, в чужих громоздких валенках и сползающей на затылок шапке. Та же милая полуседая прядь на лбу, которую она все время пробовала пристроить под шапку… Она легко – гораздо легче меня – делала «большой круг» (улица Серафимовича, улица Горького, улица Серафимовича) и потом обычно заходила ко мне погреться. Скинув валенки, забиралась с ногами в плетеное кресло и натягивала на колени полосатую юбочку. Мы болтали, пили горячий чай из термоса, и я смотрела на нее во все глаза, проверяя, сомневаясь, радуясь, не веря себе. Такая ли она, как всегда? Совсем такая или не совсем? Кажется, совсем: темноглазая и белозубая, а сейчас еще и розовая с мороза. А что, если Виноградов ошибся, и опухоль не злокачественная, и Фрида останется с нами? Немножко похудела, пожалуй, и кисти рук будто бы стали длиннее, затылок уже, плечи – тоньше, но ведь это бывает и после любой операции. Не может сама достать с высокой вешалки шапку: «тянет шов». Ну, и это бывает после любой операции, и это скоро пройдет… Зато гемоглобин, по последнему анализу, стоит высоко (нас всех сильно утешал гемоглобин), и доктор в последний раз нашел, что в животе «ничего не прощупывается», «печень в границах».

– Я только теперь понимаю, – часто говорила в эту пору Фрида, – как здорово меня девчонки из болезни вытаскивали.

И день ее рождения в этом году был словно днем победы. Фрида, нарядная, хорошенькая, сидела рядом с Александром Борисовичем во главе стола. Съехались друзья, навезли подарков. С утра пришел Корней Иванович и поднес Фриде куплет:

От Москвы и до Аляски
Мне один соперник – Раскин.

За столом я сидела от Фриды по левую руку, и между нами не колебалась в колбе таинственная бесцветная ядовитая жидкость, а стояли обыкновеннейшие бутылки с вином. На полу и на подоконниках корзины с пышными цветами – вот эти корзины были, пожалуй, чем-то смутно неприятны, словно они напоминали о будущем, об ином – неизбежном – торжестве… Сергей Львович Львов (никто еще не знал, что через полгода он будет именоваться секретарем комиссии по литературному наследию Ф. Вигдоровой), Сергей Львович Львов исполнил рассказ о том, как, начитавшись Фридиных книг и статей, он дал себе слово никогда больше не проходить равнодушно мимо чужой беды – и какие смешные, неуместные и вредные последствия имело это решение. Все смеялись, и Фрида больше всех.

…У Люши в магнитофоне живет Фридин голос. Сначала песни, потом письмо… Это письмо Оттена к Фриде (не настоящее, а сочиненное Сашей и ею самой) есть, в сущности, веселая издевка не только над деловитым Оттеном, дающим Фриде разнообразнейшие и по большей части неисполнимые поручения, но и над нею же, над ее собственными постоянными хлопотами: добиться, чтобы Надежда Яковлевна Мандельштам была прописана наконец в Москве; чтобы одна переводчица была принята в жилищный кооператив; чтобы

в плане издательства «Советский писатель» была восстановлена книга одного уважаемого литератора, чьими-то интригами из плана вытесненная; поддержать своей рецензией молодого поэта; достать «Братья Маугли» для внука Бориса Леонидовича и т. д. и т. п. до бесконечности…

Вот что в виде оттеновского письма читает нам Фридин голос:

«Дорогая Фрида!

Должен Вам сообщить, что Вы меня удивили, и неприятно удивили. То я звоню, у Вас ячмень, то лихорадка… Этак у Вас завтра вскочит на левой пятке чирей, а из-за этого дела будут стоять: Манолис Глезос до сих пор в заключении. В артиллерийском училище в городе Калинине (Тверь) теорию воздушной стрельбы преподают невежды, которые не читали даже Кафки.

Затем, Фрида, ведь я не раз напоминал Вам, что Гюго хотел, чтобы после его смерти Париж переименовали в Гюгополис. Почему это еще не сделано? Это небрежность, и непростительная. Этого надо было добиться хотя бы ради памяти старика. Париж в трансе.

……..

Теперь, Фрида. Надо обеспечить две тонны бронзы скульптору Неизвестному. Давно уже не был за границей Евтушенко. По моим наблюдениям, ему нужно проветриться. Но с этим я Вас не тороплю. Можете заняться этим после Нового года.

Достаньте последний сборник стихов Рильке и пошлите его младшему дворнику дома № 17 по Пролетарской улице в Тюмени.

Не забыли ли вы, что пора выдать замуж секретаршу Эренбурга от первого брака?

С уважением

Ваш Н. Оттен.

P. S. Только что Елена мне сообщила, что Манолис Глезос вышел из заключения. Благодарю Вас. Ваш Н. Оттен».

7. Граница боя

Нет, в освобождении знаменитого грека Фрида не принимала участия.

Но она принимала самое деятельное участие в освобождении десятков людей. Многие обязаны ей свободой или облегчением участи.

Я помню – и никогда не забуду – ее поездку за сотни километров в лагерь к мальчику-девятикласснику, уличенному в воровстве; ее тамошний разговор с ним; ее переписку с ним; ее статью о нем в газете; и свет ее глаз в тот день, когда его освободили. Помню и хлопоты об Ивинской (единственные, которых я не одобряла). И о Серманах. И о юношах-моряках, которых травил антисемит-капитан. И о многих других.

Осенью 1964 года в Комарове я разговорилась по душам с одной пожилой дамой, писательницей. На прогулке она рассказывала мне о всяких гнусностях, творящихся в Ленинграде, и закончила свой рассказ так:

– А знаете, в Москве образовался настоящий пункт по спасению людей. Это Фрида Вигдорова. Нечто вроде спасательной станции для утопающих…

(Говоря об этом со мною, она не знала, конечно, что я давно уже дала Фриде прозвище: Двенадцать Подвигов Геракла – по имени одной книжки для юношества… «Фридочка, – говорила я, узнав об очередной операции спасения, – разве вы человек? Вы просто Двенадцать Подвигов.)

– По-видимому, Вигдорова занимает у нас место Короленко, – продолжала старая дама. – В другое время, в других условиях… Ну, конечно, статьи ее не могут обладать тою же силой: хотя бы потому, что цензура теперь более строгая. Но дело она делает то же самое – дело русской интеллигенции, главное изо всех возможных дел: вытаскивать тех, кто попал под колеса.

(Слушая ее, могла ли я думать, что через год это же сопоставление имен – Фрида и Короленко – я услышу еще раз, но Фрида его никогда не услышит. Эти имена произнесла во время гражданской панихиды Раиса Давыдовна над Фридиным мертвым лицом, над ее закрытыми глазами.)

Фридина гражданственность была самой высокой пробы: естественная, органическая. Вряд ли ей даже было ведомо, что ее ежедневные заступничества перед мелкой или крупной властью за людей, попавших под колеса, носят это традиционное высокое название. Короленко? Она удивилась бы, услышав, что она его дочь, дух от духа его, что она, Фрида, своею неустанною деятельностью исполняет ту миссию, какую взял на себя когда-то, в иные времена, защитник мультанских язычников, что она подняла затоптанную традицию русской интеллигенции, к которой принадлежала всем духом своим, всей своей сутью. Эти слова, традиция и миссия, показались бы ей, наверное, неуместно высокими, а быть может, рядом с ее именем, и смешными. Однако это она сама, Фрида, двадцатилетней девушкой придя в газету, попросилась работать «по справедливым делам»; это ее собственное определение своего места в жизни, – и так, работником справедливости, энергичным, изобретательным, веселым, смелым, не осведомляясь, к а к о й справедливости – большой или малой, социалистической или буржуазной – лишь бы справедливости! (которая столь же не нуждается ни в эпитете, ни в определении, как слово «правда») – проработала до самого своего смертного часа. Ее гражданственность была традиционна и в то же время ни у кого не заимствованна, ни из какой книги не вычитана (хотя в последние годы она пристально читала сочинения Герцена), была так же органична и естественна, как чувство юмора или собственного достоинства. Фридины мужественные поступки проистекали не из книг, а из любви: из того же источника, что и удар по лицу, нанесенный Гошке Сашей Москвиной – не столько из ненависти к хулигану (ненависть – на это Фрида не тратила силы), сколько из любви к Юрке Киселеву, которого она считала себя обязанной защищать. Обязанной: Фрида была неспособна к предательству… И заступаясь, и защищая, она неизбежно, безо всякого умысла и замысла, одной лишь неумолимой логикой обстоятельств приведена была к острому столкновению с начальством.

Осенью 1964 года начальство Союза писателей собралось исключить Фриду из Союза (и мы до сих пор не знаем, что, собственно, остановило этих высокопринципиальных товарищей, с такой энергией борющихся за чистоту писательских рядов); а летом 1965-го – дня за три, за четыре до конца, когда Фрида неподвижно и уже почти безмолвно лежала на своих высоких подушках, словно поднятая на крест, словно распинаемая болезнью, и вся горечь испытываемого ею страдания сосредоточилась в неузнаваемом, запавшем, синем, будто брезгливостью искривленном рте – дня за три или четыре до конца, в тишине ее умирания, прозвучал голос одного из крупнейших деятелей КГБ, знаменитейшего гонителя Пастернака. О Фриде он с негодованием сказал: «Вигдорова распространила по всей стране и за рубежом запись суда над Бродским…» И со свойственной ему меткостью литературных определений упомянул ее имя в числе писателей, которые *развращают* молодежь.

Фрида приближающейся смертью ограждена была от угроз и преследований. Но если бы она и была в эту минуту здорова, видела и слышала все, она не испугалась бы, и пункт по спасению людей, спасательная станция «Фрида Вигдорова» бесстрашно продолжала бы свою работу. Когда сделалось известным, что в Союзе начальство готовится ее исключать и уже подбирает для публичного шельмования кадры, один из Фридиных доброжелателей

посоветовал ей на время уехать из города, взять какую-нибудь дальнюю и долгую командировку и уехать.

– Я не заяц, я не побегу! – кратко и быстро ответила Фрида.

Я в то время находилась в Комарове. Узнав о готовящемся исключении, я уже заказала билет в Москву, но была остановлена успокоительной телеграммой от Фриды и Копелевых. Вслед за телеграммой пришло Фридино письмо, подтверждающее, что затея руководителей Союза увяла, не успев расцвести. Фридочка рассказывала:

«…я хочу, чтобы Вы поняли: я не волновалась. Не горевала. Не чувствовала ничего похожего на страх. Я только рада была, что у меня будет хоть минутная возможность сказать все, что я о них думаю. Кажется, не будет у меня такой возможности. Затихло. Ну и слава богу – скажу я, любя и жалея своих друзей. И бедного Александра Борисовича».

…В моей жизни нередко наступали полосы долгого физического и душевного упадка, когда со мною случалось именно то, что Саша Москвина считал самым дурным: глохла и слепла душа, уходя куда-то в себя или под землю, стараясь ничего не видеть и не слышать вокруг, и хотя бы этим временным отсутствием, глухотой, слепотой сохранить последние силы. Это была усталость, это был результат пережитой нами эпохи. Наглое, открытое, не стыдящееся себя самовластие, под которым мы жили в тридцатые и сороковые годы, учило одиночеству всех нас, в том числе и меня, вырабатывало навыки молчания и невмешательства. Множество людей, и среди них литераторы, жили по такому кодексу морали: зачем вмешиваться кому бы то ни было во что бы то ни было, —

Когда по-нашему не будет?

Не лучше ли сидеть дома и тихо работать? По крайней мере напишешь хоть и не вполне правдивую, но полуправдивую или четвертьправдивую книжку и заработаешь относительно честным трудом для себя и для своих близких маломало денег… А откроешь рот – и гибель неминуема – зряшная, пустая гибель. Это рассуждение имело некоторый смысл во времена Сталина, когда «гибель выла у дверей», когда общество было напугано до состояния обморока, да и не было, в сущности, общества, а были разрозненные, одинокие, утратившие понимание люди, пребывавшие в обмороке каждый в своей норе, пытавшиеся сохранить жизнь себе и близким… Но это же рассуждение – о молчании, о невмешательстве – сделалось совершенно неверным в пятидесятые годы, когда внезапный стук в дверь перестал обозначать: за тобою пришли, а значил: к жизни вернулся друг; когда люди начали между собой общаться, когда в стране, после прекращения сталинских зверств, начало робко, ощупью складываться общественное мнение, когда всякое произнесенное вслух открытое слово долетало до жадных слушателей, когда ненапечатанные рукописи начали распространяться по городу с такой скоростью, словно они в самом деле обладали ногами или колесами, когда с быстротой, какая может быть присуща только великой стране и великому народу, начала расти и набираться ума новая демократическая интеллигенция, создавая новую литературу и откапывая клады прошлого, зарытые глубоко в земле.

Все мало-помалу выходит из гроба,
Из тысячи тысяч гробов,
Поэмы и судьбы, —

писала я в эти годы[10]. На наших глазах мученичество, еще недавно глухое, бессмысленное, переставало быть бесплодным и глухим; оно облекалось в слово и уже одним этим при-

[10] В 1956-м. Напоминаю, что в девятнадцатом веке в России «шестидесятые» начались в 1858-м году, а в двадцатом

обретало жизненный и исторический смысл. Слово более не пропадало в пустоте – никакое, ни устное, ни письменное. Один раз, беседуя с Анной Андреевной Ахматовой в середине пятидесятых, я упомянула о том, что Борис Леонидович, на мой взгляд, сильно тяготится вынужденным своим молчанием: его не печатают, не дают выступать с эстрады. «Борис – чудак, – сказала Анна Андреевна. – Он не заметил, как переменилось время. Печататься, выступать… Какое значение имеет сейчас – печатают, не печатают? Стоит дать последнее стихотворение *одному* человеку – и на другой же день оно разойдется по городу в десятках экземпляров, и его прочитают все. И, напротив, почти все напечатанное скомпрометировано уже самим фактом своего напечатания».

Так обстояло дело со словом письменным. Устное тоже разносилось далеко даже с невысокой и заляпанной грязью трибуны Союза писателей.

Именно в это время я заново и как-то гораздо теснее прежнего сблизилась с Фридой. Она первая из моих друзей почувствовала и осознала совершившуюся перемену. Именно она, Фрида, никогда, ни в какие времена не предававшаяся безучастию, выводила меня в сороковые из свойственного мне сосредоточенного оцепенения, а уж в пятидесятые постоянно побуждала о чем-то громко заявлять, за кого-то заступаться, чего-то требовать. Побуждала собственным деятельным вниманием к окружающей жизни. Следя за происходящими в Союзе словесными битвами, она постоянно держала друзей, и меня в том числе, в курсе писательских выступлений и дискуссий на улице Воровского, в курсе всех чужих речей – реакционных и передовых, подлых, изворачивающихся, хитрых, прямодушных и гневных, доносительских и разоблачающих… Прослушав чье-нибудь выступление, я навсегда – или очень надолго – сохраняю в памяти этическую его направленность, его эмоциональную окраску; я убеждена, что нигде человек, со всеми своими задними мыслями, с фальшью или искренностью, не виден и не слышен столь ослепительно ясно, сколь на трибуне: там, вопреки его воле, становится прозрачным насквозь его двойное или тройное дно. Однако моя память, легко схватывающая знаки человеческой подлости или чистоты, быстро утрачивает фактическую сторону дела: что было раньше, что после, конкретное содержание каждой речи я забываю мгновенно. Фрида же кроме памяти на душевные качества обладала еще великолепной и журналистски натренированной памятью на всякий *факт,* на конкретные обстоятельства.

Ей была свойственна везде и всегда редкостная толковость. К тому же, догадавшись раньше многих о большом общественном значении публичных боев в Союзе писателей, она взяла себе за правило записывать все выступления и постоянно прочитывала свои записи друзьям, на ходу комментируя записанное, разъясняя нам, где проходила в тот день подвижная, змеящаяся граница боя, с которой она никогда не спускала глаз.

23 октября 1956 года состоялось обсуждение книги Дудинцева «Не хлебом единым». Когда оно было назначено, я собиралась в Малеевку. Фрида хотела, чтобы я непременно приехала оттуда на это обсуждение, я же сказала ей, что не приеду – не очень-то нравится мне этот роман. «Дело не в том, хорош ли, плох роман, – вздохнула Фрида. – Он – как лакмусовая бумажка; те, кто его бранит, – они в жизни по одну сторону, кто хвалит – по другую».

Дня через два после обсуждения – бурного, прошедшего при огромном стечении народа в ЦДЛ и на улице вокруг, Фрида прислала мне в Малеевку полный, подробный отчет. Не машинопись – оригинал. Помню большие листы, исписанные ее твердым, уверенным почерком. Помню в ее записи речь Паустовского – грозную речь прокурора, изобличающую злодейства и ложь бюрократии, страшный счет, впервые громко, вслух предъявленный интеллигенцией сталинскому режиму. Речь эта, с оказией присланная в Малеевку Фридой, ошеломила меня. Читая ее, я впервые подумала, что интеллигенция, как и литература, это

– в 1956-м.

прежде всего живая память народа; это – Нестор-летописец, запечатлевающий события и судьбы. Утрачивая интеллигенцию, страна тем самым утрачивает летопись, и власть получает возможность сочинять любые побасенки, выдавая их за историю. Радио и пресса вдолбят эти нравоучительные выдумки в головы взрослых; школа заставит выучить наизусть детей. И хотя от языка и стиля этих казенных, нравоучительных, сочиненных в канцеляриях и редакциях легенд за три версты несет ложью, как изо рта пьяного – водочным перегаром, на какое-то время эти сочиненные газетчиками и бюрократами умильные побасенки займут место истории, ибо Нестор отсутствует: он запуган, сбит с толку и не только не пишет летопись дальше, но и старые листки растерял… Паустовский говорил не о вымышленной, вызубренной, сдаваемой на всех экзаменах истории, а о настоящей истории народа (ибо гибель писателей, актеров, художников – это страница из истории народа). Помню слова, написанные Фридиным почерком, таким родным мне, будто это я сама написала: «Они убили Бабеля. Они убили Мейерхольда».

Фрида ценила мои выступления и делала все от нее зависящее, чтобы я выступала почаще. В те годы я была членом Бюро Детской секции – деятельность глубоко бессмысленная, потому что в Бюро у меня не было ни одного друга, и окружающие каждое мое слово встречали настороженно, со скрытой или явной насмешкой: «Мели, мели, все равно мы по-нашему сделаем, не по-твоему». Председатель, Мусатов, человек бездарный, некультурный и грубый, еле со мной здоровался. Сменивший его Кассиль был неизменно любезен, но толку от этого любезного спортсмена было так же мало, как от грубого дворника. В конце концов я перестала бывать на заседаниях, не желая потешать собою тамошнюю шваль. Но Фрида все равно находила мне в Союзе работу. Нередко в своем почтовом ящике я обнаруживала какую-нибудь книгу и коротенькую поспешную записочку от Фриды приблизительно такого содержания:

«Дорогой друг! (Иногда она писала: «Дружище!») Не можете ли Вы очень быстро прочитать эту книжку и, если она Вам придется по душе, прийти послезавтра на Президиум? Я просила прийти еще Z и X. Автор книги когда-то резко высказался против Суркова, и теперь его не принимают в четвертый раз, хотя человек он талантливый и (подчеркнуто) *очень хороший.* Если его и сейчас не примут – ему погибать: он живет всей семьей, впятером, в одной комнате, а квартиру ему не дают: «не член Союза». Я уже говорила о нем с таким-то и таким-то».

Жаль, что эти записочки у меня не сохранились. Но я хорошо их помню. Причины, почему не принимают того или другого Фридиного подопечного, часто менялись («еврейская фамилия»; или «он переводчик, а у нас стараются не принимать переводчиков»; или «поссорился с Соболевым»); беды – тоже («если не примут – им конец, потому что там бабушка больная, и поликлиника хорошая необходима»); менялись причины, беды, характеристики, но сущность Фридиной просьбы была всегда одна: вступитесь, помогите, позаботьтесь о человеке, которому худо, к которому несправедливы; вглядитесь в эту судьбу, прочитайте книгу… Я прочитывала, убеждалась во Фридиной правоте, шла на Президиум (однажды мне довелось поспорить там с самым главным антисемитом приемной комиссии, Алексеем Марковым) – и иногда, после выступлений всех мобилизованных Фридой друзей, Президиум объявлял человека принятым – к великой радости Фриды!

Почти каждое мое выступление в эти годы в Союзе было возбуждено, подготовлено, вынянчено ею.

Обе мы были участницами альманахов «Литературная Москва». Там, во втором томе, Казакевич напечатал мою статью, отвергнутую всеми журналами: «Рабочий разговор»; в третьем – впоследствии несостоявшемся! – томе должна была напечататься прелестная Фридина вещица, «Катя и Аня», которую, по просьбе Казакевича и Фриды, готовила к печати я. Обе мы сочувствовали этой смелой редакции; к тому времени Фрида была дружна с Каза-

кевичем. В марте 1957 года, прочитав в газете подлую и грубую статью Еремина о «Литературной Москве», мы решили непременно идти на пленум и непременно отвечать Еремину. Будущий автор «Перевертышей» выполнял свою обычную миссию: перевирая цитаты, искажая мысли, делал прямой политический донос на редакторов и авторов, при этом донос совершенно особенный: не начальству, которое само дало ему приказ донести и потому ни в каких доказательствах нужды не имело, а читателю, темной части читательской массы, в глазах которой следовало обосновать уже предрешенный всеми инстанциями конец альманаха.

На утреннем заседании мы сидели с Фридой рядом недалеко от трибуны. Не помню, выступала ли она утром или уже после перерыва, но во всяком случае раньше, чем я. Помню, что, как и на всех, кто поднимался на трибуну, я и на нее, такую для меня уже знакомую и привычную, взглянула тогда «свежими глазами», как бы впервые, и опять увидела ее такою, какой увидела и в самом деле в первый раз, в Ташкенте, в 1942-м – и то же было сейчас, как и тогда, бьющее в глаза впечатление от ее голоса, лица, улыбки, – чистоты, сдержанности, даже застенчивости и вместе с тем – силы. Да, Фрида выглядела на трибуне по-детски застенчивой, даже смущенной, словно ученица, впервые выступающая на школьном концерте, не знающая, куда руки девать под обращенными на нее взглядами, – и в то же время, как всегда, исполнена чувством собственного достоинства и решимости.

Сейчас на трибуне высказалась она очень коротко, определенно и ясно. В ответ на обвинение в том, будто авторы «Литературной Москвы» занимаются очернением нашей действительности, что хорошие стороны будто бы не показаны ими, а дурные подчеркнуты, Фрида сказала: «Неужели каждый раз, когда говоришь о каком-нибудь черном пятне, нужно непременно указывать, что рядом все остальное – сверкающе-белое? Если человек видит на улице Горького дым и пламя и кричит: «пожар!» – неужели, прежде чем закричать, он обязан перечислить те улицы и те дома, где все благополучно и пожара нет? К примеру, так: на улице Станкевича не горит, на улице Герцена не горит, на улице Чехова не горит, на Пушкинской и на Садовой не горит (в зале рассмеялись), а вот на улице Горького пожар! Если мы станем поступать так, то т. Еремин будет, по-видимому, вполне доволен, но я боюсь, что дом на улице Горького успеет сгореть».

Зал или, точнее, та часть зала, ради которой стоило подниматься на трибуну, – проводила Фриду дружескими и благодарными аплодисментами. Ее любили.

Фриде очень хотелось, чтобы говорила и я. Мне тоже хотелось, но чувствовала я себя в этот день плохо, шарахалась от света и звука и не была уверена в своих силах. Я сказала ей: в перерыве пойду домой, полежу, а там что Бог даст. Но Фридочке не хотелось меня отпускать. Она пошла вместе со мной; мы шли пешком, бульварами, присаживаясь на каждую скамью; и здесь на скамеечках Фрида выспрашивала меня и на ходу редактировала мою будущую речь. Она проводила меня до самых ворот, а через два часа заехала за мной в такси.

Мое самое сильное впечатление от собственной речи – люстра, свободно плавающая под потолком. Все плыло и колебалось в духоте, превращаясь где-то внутри, как всегда у меня, в гулкий, ухающий стук сердца; оно стучало в ушах, в горле, в животе и стуком своим заслоняло все звуки и даже мой собственный голос. Однако одобрительный отклик зала я чувствовала непрерывно – не ухом, не глазом, а кожей – какую-то нашу с ним общую теснящую и радующую тревогу. Когда зрение секундами прояснялось, я видела Фридину черную – тогда еще черную! – голову, склоненную над бумагой: она записывала.

Я прочитала вслух стихи Ю. Нейман и Я. Акима, злостно перевранные Ереминым, – прочитала их целиком, восстановив перед слушателями в истинном виде; спросила у Еремина, кто он такой, чтобы похлопывать по плечу Заболоцкого («Стихи Заболоцкого имеют право на существование», – снисходительно писал Еремин), предсказала Рябову (этот издевался над Цветаевой в «Крокодиле») и Еремину, что Заболоцкий и Цветаева войдут в исто-

рию как замечательные поэты, а имена Еремина и Рябова люди будут помнить только как имена гонителей: «Хоть бы о своем будущем подумали, – сказала я, – где-нибудь в собрании сочинений Цветаевой в примечаниях мелким шрифтом будет упомянут с нелестным эпитетом Рябов».

В ту минуту, когда я, совсем задохнувшись, на ощупь наливала себе воду в стакан, мне из президиума подали записку. Нечего было даже и думать читать: я не видела уже ничего, даже люстры.

Выговорив все, что мы приготовили вместе с Фридой, я сошла с трибуны (навстречу мне шел выступать Каверин), напялила пальто и выбежала на улицу. Фрида осталась в зале на своем посту: записывать. Я села на первую тумбу. Дышала, ловила ртом дождинки или хлопья – шел мокрый снег. Когда мне стало полегче, я, под фонарем, развернула записку.

«Я вас люблю. Ф.» – написано было крупным милым почерком.

Помню, я громко рассмеялась, сидя одна на тумбе.

Фрида была довольна моим выступлением. Запомнив мои слова о будущем Еремина и Рябова, она часто потом повторяла:

– Подонки тем и отличаются от людей, что они никогда не думают о будущем, даже собственном: только о выгоде для себя и притом сейчасной, сегодняшней.

И в обсуждении в Союзе моей книги «В лаборатории редактора» (1960) Фрида принимала самое сердечное участие, хотя и не выступала. Защищать меня не было нужды: обсуждение шло благосклонно. Однако, тихонько сидя в пятом-шестом ряду с блокнотом на коленях и записывая все выступления, Фрида в уме готовила мой ответ, мое заключительное слово. И каждые десять минут я на трибуне получала от нее записочку приблизительно такого содержания:

«Отвечая Z, не горячитесь, не стоит: конечно, он несет чепуху, но безвредную. Ее можете пропустить мимо ушей; а человек он хороший».

Или иначе:

«Известно, что Y, который сейчас так горячо соглашается с Вашими нападками на самоуправство редакторов, сам, когда был редактором, совершенно испохабил рукопись нашего друга X».

У Фриды в мозгу была устроена словно особая картотека: она отлично помнила, кто, как, когда и где выступал, кто и при каких обстоятельствах и в каком духе и даже какими словами высказывался. Да, она, кроме всего прочего, была на редкость толкова. На перевыборах я всегда садилась рядом с нею; она производила работу вычеркивания спокойно, уверенно, с большим удовольствием и ни у кого не справляясь; я же каждую минуту теребила ее. «Фридочка, а кто это Балашов? Что мне с ним делать?» Фрида мгновенно и безо всякого усилия обращалась к своей невидимой картотеке. «Балашов, – терпеливым шепотом объясняла она, – неужели вы не помните? Это тот подонок, который, когда Николаева давала отвод Грибачеву, крикнул…» Я вычеркивала Балашова. И, погрузившись в список, наталкивалась на очередного незнакомца, и снова осведомлялась у Фриды, и незримая картотека снова в одно мгновение выдавала мне нужную справку. «Нет, этого оставьте, – шептала мне Фрида. – Разве вы не помните? Когда началась травля «Тарусских страниц», он…» Я оставляла. Мы тихо сидели в углу и вместе делали свою работу.

Однажды случилось так, что я была очень занята и на какое-то предвыборное собрание не явилась. Фрида выговаривала мне: на этом собрании какой-то из крупнейших наших гангстеров прошел в правление большинством всего в один голос. «Вот видите, – корила меня Фрида, – если бы вы пришли, вы бы наверное его вычеркнули, и этого бы не случилось».

Зато как ликовала она, когда мне (сказать по правде, совершенно случайно) удалось на перевыборном собрании весною 1962 года добавить к списку восемь человек – и, таким

образом, восемь человек из официального списка, восемь самых что ни на есть махровых подонков провалились, к великому негодованию начальства.

Для Фриды – как, впрочем, и для меня самой – это было сюрпризом. По каким-то обстоятельствам мы не виделись с нею в дни, предшествовавшие собранию. На самое собрание я опоздала, и, хотя Сара Эммануиловна Бабенышева сразу через весь зал проводила меня к Фриде, которая, по обычаю, заняла для меня место рядом с собою, – мы не успели с ней обменяться и словом: председательствующий уже окончил читать список, составленный партийной организацией, и для порядка осведомился, нет ли у кого добавлений; человека три выкрикнули по одному имени; тут и я попросила слова и предложила восемь имен, которые и были внесены в список – ко всеобщему, и моему в том числе, удивлению.

Минутная удача (за которую впоследствии Московской организации писателей пришлось тяжело расплачиваться) привела Фриду в восторг, она рассказывала друзьям, как я встала и что я сказала, множество раз – до меня отовсюду доходили эти ее ликующие сообщения, – и один раз она просвещала несведущих даже при мне.

– Список уже оглашен… – Фрида таинственно понизила голос, как будто пересказывала «Пещеру Лейхтвейса». – И вдруг встает Лидия Корнеевна, очень благонравно просит у председателя слова, вынимает из сумочки какую-то бумагу и опять очень тихо и вежливо просит разрешения добавить к списку несколько имен. (Фрида выдержала паузу.) Председатель от этой тихости и вежливости совершенно растерялся и – разрешил. (Пауза.) И тут Лидия Корнеевна называет, уже очень громко, целых восемь фамилий! Воробьев, Турков, Огнев – всё порядочные люди. Их, некуда деться, включают в список, и… (радостный смех, круглые глаза) восемь подонков проваливаются! Такое (она жмурит глаза, словно вкушает мороженое), такое увидишь только в счастливом сне…

8. Тринадцатый подвиг Геракла

Тринадцатым подвигом Геракла, вершиной Фридиной спасательной деятельности, ее мультанским процессом было безусловно дело Бродского.

По ее просьбе я познакомилась с хулиганской статьей о поэте в «Вечернем Ленинграде»; по ее просьбе вместе с нею написала письмо в ЦК партии. По ее совету – письмо к одному из деятелей аппарата ЦК, которое она приняла как предисловие к своей записи.

Это дело войдет не только в биографию поэта, не только во Фридину доблестную биографию; оно войдет в историю общественной жизни нашей страны.

И не потому, что кто-нибудь его раздул, искусственно придал ему несоответствующее значение. Нет. И не потому даже, что в толстых пыльных папках сияют лучезарные имена Ахматовой и Шостаковича, что листы судебного дела украшены именами Чуковского, Маршака, знаменитых иностранцев. Не потому, как думали некоторые, что группа литераторов – Н. Грудинина, Н. Долинина, Е. Эткинд, В. Адмони в Ленинграде, Ф. Вигдорова, Е. Гнедин, Р. Орлова, Л. Копелев, я в Москве – боролись за освобождение Бродского каждый день, не давая никому остывать, отступать, забывать. Его и без нас не забывали; недаром за него вступились более пятидесяти молодых ленинградских литераторов; и целая группа геологов; и деньги для него собирала интеллигенция обоих городов; и ездили его навещать в Коношу не только близкие друзья, но и люди, никогда его в глаза не видавшие. Не мы, так называемые «защитники Бродского», своими хлопотами раздули это дело и придали ему такое значение; сама жизнь подняла и развернула над нашими головами, как знамя, требование освободить поэта.

Старики, пережившие царское время, увидели в деле Бродского пакостную отрыжку антисемитизма. Фрида просила меня рассказать обо всем Самуилу Яковлевичу; когда я пришла к нему, он лежал в постели, укрытый, после очередной медицинской процедуры. «Дело

Дрейфуса и Бейлиса вместе – вот что такое дело Бродского, – сказал он мне, прочитав статью в «Вечернем Ленинграде» и выслушав мой рассказ о лернеровских подлогах. – Когда я начинал жить – кругом была эта мерзость, и вот теперь, когда я уже старик, опять». Он завернулся в одеяло, сел, спустив с кровати ноги, снял очки и заплакал.

Людям среднего возраста, остро пережившим сталинские времена, дело Бродского напомнило судьбы раздавленных государством поэтов. В его лице мы защищали тех, кого когда-то задушили на наших глазах.

Молодежь, в особенности ленинградская, которая уже твердила наизусть стихи Иосифа Бродского, уже хмелела от его чтения, восприняла неправый суд как личное оскорбление – молодые ленинградцы говорили о суде над Бродским такими голосами, словно у каждого вырезали из груди живой кусок мяса.

Не было интеллигентного человека, которому дело это не наступило бы на какую-нибудь из любимых мозолей.

И всех вместе, людей любого возраста, присутствовавших на суде или только прочитавших Фридину запись, приводило в неистовство явное, наглое, демонстративное нарушение закона.

В деле Бродского, как гной в нарыве, собралась вся испорченная вонючая кровь общественного организма: полицейщина, ненависть бюрократов-мещан к интеллигентам (в особенности евреям), исконное неуважение к литературе. Недаром столь типичны, типичны, можно сказать, до махровости, все гонители Бродского: заведующий административным отделом ЦК т. Миронов, объяснявший К. И. Чуковскому, что Бродский хуже Ионесяна: тот *«только* разбивал людям топором головы, а Бродский вливает в головы вредные мысли»; первый секретарь Ленинградского обкома т. Толстиков, не удостоивший ответить писателям и ученым ни на одну телеграмму, ни на одно письмо в защиту Бродского, но зато нашедший время и средства сначала поощрить беззаконный процесс, а потом полтора года, проявляя неусыпную бдительность, деятельно мешать пересмотру беззаконного приговора; опытный мастер подлога и сыска, битый шпик, гепеушник Лернер; повелитель ленинградского Союза писателей, бывший поэт Прокофьев, ненавидящий молодых поэтов за то, что они, не в пример ему, молоды и голосисты, да еще осмеливаются петь не по придворным нотам; писатель-приключенец Воеводин, состряпавший подложную справку и отличающийся от шпика Лернера разве что беспробудным пьянством; судьиха Савельева, во время судебного разбирательства свободно и уверенно щеголявшая своим антисемитизмом, своим невежеством и, главное, сознанием полной своей безнаказанности… Тут каждая фигура из Гоголя, Салтыкова-Щедрина или Зощенко. Жизнь – великий художник, но и ей редко удается создать явление такой выразительности, такой безупречной законченности, как дело Бродского. Тут не суррогат жизни, а ее концентрат, сгусток; на этом суде столкнулись две силы, извечно противопоставленные друг другу: интеллигенция и бюрократия. О, насколько бюрократы вооруженнее интеллигентов: у них в руках пресса, то есть беспрепятственная возможность лгать, сбивать с толку обездоленных, необразованных, натравливать их на интеллигентов; в их руках – суд, они заранее приготовили приговор; у интеллигенции одно оружие: слово свидетеля, который не желает стать лжесвидетелем и чью речь никто не услышит за пределами зала, – если – если не Фрида. Если не ее школьная тетрадка и мужественное перо.

Главные герои этого спектакля, поставленного жизнью, Савельева – с одной стороны, и Бродский – с другой. Я давно уже думаю, что поэзия, истинная поэзия, сама по себе, по природе своей, даже вне зависимости от так называемого содержания, – есть самое антиполицейское, антифашистское, антинасильническое вещество, которое когда-либо и где-либо создавалось людьми. Произведение искусства уже само по себе есть торжество свободы. Бюрократия смутно чувствует это: Жданов воображал, что он не любит Ахматову, – в действительности он ненавидел тот способ мышления, противоположный его собственному,

который воплощен в любой настоящей поэзии, в том числе в великой поэзии Анны Ахматовой. «Зачем говорить обиняками?» – вот что смутно чувствует всякий бюрократ, пробуя слушать стихи. За поэтическим словом ему чудится что-то, какой-то второй смысл – и недаром. Этот смысл есть утверждение свободы. Поэзию он ненавидит смутно, как во сне; поэтов – совершенно отчетливо: за то, что они тоже власть. Какое же государство допустит, чтобы рядом с его властью существовала другая? Чем мощней, упорядоченней, централизованней государство, тем неистовей ненавидят государственные деятели своих соперников – поэтов. Тут ревность.

Бродскому на этом суде выпала почетная роль: представлять русскую поэзию. Жребий этот был вытянут им более или менее случайно; на его месте мог оказаться любой из талантливых молодых поэтов, которых в эту пору оказалось в России немало. Но надо отдать справедливость Иосифу Бродскому: вытянув этот ответственный жребий, он, человек с больными нервами, больным сердцем, только что перенесший тюрьму и психиатрическую больницу, провел свою роль на суде безукоризненно, с большим чувством достоинства, без вызова и задора, спокойно, понимая, какой державой он послан. Своими ответами он вызвал глубокое уважение к себе не только со стороны друзей, но и тех, кто раньше относился к нему с равнодушием или даже враждебностью. Помните этот диалог, мастерски запечатленный во Фридиной записи, диалог между обвинителями и Бродским, бесконечно повторяющийся и на первом и на втором суде, пронизывающий, словно красная нитка, весь процесс?

– Отвечайте, почему вы не работали?

– Я работал. Я писал стихи.

И опять:

– Объясните суду, почему вы в перерывах между работами не трудились?

– Я работал. Я писал стихи.

– Но это же не мешало вам трудиться?

– А я трудился. Я писал стихи.

В глазах мещан, бюрократов, газетных писак – словом, черни – это, конечно, не работа: писать стихи! Это ведь не то что состоять на государственной службе – как они, например. Добро бы еще он в Союзе состоял – члены Союза писателей приравнены к служащим, у некоторых и командировки, и машины, как у замов и завов; добро бы еще он умел стишками деньгу выколачивать – а то брюки мятые, сапоги рваные! Какой же он может быть поэт, когда он нигде не числится? И сам т. Прокофьев его терпеть не может? Небось т. Прокофьев хорошо разбирается, кто – кто: с ним сам т. Толстиков любит выпивать и закусывать.

Судья. А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский. Никто… А кто причислил меня к роду человеческому?

– А вы учились этому?

– Чему?

– Чтоб быть поэтом? Не пытались кончить ВУЗ, где готовят. Где учат.

– Я не думал… Не думал… Что это дается образованием.

– А чем же, по-вашему?

– Я думаю, что это… (*потерянно*) от Бога.

Савельева не унималась. Начальство приказало выслать Бродского из города как тунеядца. Законных оснований для высылки не было: во-первых, никакими нетрудовыми доходами он не пользовался, и, во-вторых, переводы Бродского появлялись в печати; но Савельева и помимо распоряжений начальства, сама от себя, ненавидела его с полною искренностью; в этом человеке, который имеет наглость нигде не состоять, она чувствовала какую-то силу, какую-то тайную власть: Маршак и Чуковский телеграфируют, Адмони и Эткинд произносят защитные речи, а у дверей суда – и это самое главное – толпятся девчонки и мальчишки и требуют, чтобы их впустили.

– А что вы сделали полезного для родины?

– Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден… я верю в то, что то, что я написал, сослужит людям службу, и не только сейчас, но и будущим поколениям.

– Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?

– А почему вы говорите про стихи «так называемые»?

– Мы называем ваши стихи «так называемые» потому, – с гордостью отвечает Савельева, – что иного понятия о них у нас нет.

(Какие же это стихи, если за них денег не платят? Какая же польза родине, если мальчишка не умеет позаботиться о собственной пользе?)

Сорокин. Можно ли жить на те суммы, что вы зарабатываете?

Бродский. Можно. Находясь в тюрьме, я каждый вечер расписывался в том, что на меня израсходовано 40 копеек. А я зарабатывал больше чем по 40 копеек в день.

– Но надо же обуваться, одеваться.

– У меня один костюм – старый, но уж какой есть.

Перечитывая эти простые слова, я всегда вспоминаю солдатскую койку, на которой спала в Комарове Ахматова, дырявое одеяло, которым она укрывалась в своем Фонтанном дворце, поношенные брюки Мандельштама, мешковину на плечах у Цветаевой… Словно все они стояли у него за плечами, когда он отвечал суду… А может быть, они и в самом деле стояли там, осеняя его своими крыльями? Кто знает?

Фридина запись запечатлела еще одну сцену, поставленную жизнью не в зале суда, а в коридоре, в день первого судилища. Накричав на Бродского, Савельева отправила его на медицинскую экспертизу в психиатрическую лечебницу с тем, чтобы выяснить, как написано было в постановлении, «страдает ли Бродский каким-нибудь психическим заболеванием, и препятствует ли это заболевание направлению Бродского в отдаленные местности для принудительного труда». В самом этом вопросе уже содержался ответ и приговор, вынесенный еще до разбирательства… Победоносную Савельеву поразило, что в коридоре ее встретили встревоженные лица. (В день первого разбирательства у дверей суда собралась толпою молодая интеллигенция Ленинграда; десятки прорвались в коридор.)

– Сколько народу! – громко и вызывающе сказала Савельева. – Я не думала, что соберется столько народу!

– Не каждый день судят поэта! – серьезно ответил ей чей-то голос.

– А нам все равно, поэт или не поэт!!

Я думаю, Савельева и тут говорила неправду. Ей было совсем не все равно – ей доставляло удовольствие лишний раз, с разрешения начальства, плюнуть в лицо интеллигенции – отправить поэта, о чьем даровании свидетельствовали на суде видные специалисты, о котором хлопочут Ахматова, Шостакович, Чуковский, Маршак, – отправить поэта на физическую работу: таскать камни и возить навоз. Савельевой было не все равно: она испытывала от мысли об этой перспективе большое удовольствие, наверное, не меньшее, чем Жданов, пытавшийся унизить Ахматову.

Количество интеллигентных лиц у дверей и в коридорах, явное сочувствие подсудимому пришлись не по душе организаторам процесса. В зал суда при продолжении разбирательства были заботливо свезены на специальных автобусах строительные рабочие – те полуграмотные обездоленные люди, которым легко внушить, будто в их бедности при тяжком труде повинны вот такие молодчики, как Бродский, бездельник и к тому же еврей… Интеллигенты, друзья Бродского, молодые и старые, тоже присутствовали, но в меньшинстве.

Среди этого меньшинства была и Фрида.

Наталья Григорьевна Долинина рассказывала мне впоследствии, что, когда читался приговор, бесчеловечный, беззаконный, невежественный, – Фрида стояла рядом с нею. По-

видимому, такого приговора она все-таки не ждала и до последней минуты надеялась на освобождение. Она держала Наталью Григорьевну за руку и с каждым словом приговора все сильнее и сильнее стискивала эту дружескую руку.

Фрида только что совершила свой очередной подвиг. Все время, пока длился процесс, не отрываясь и не уставая, в маленьких школьных тетрадках она записывала все, что происходило вокруг: речи, вопросы, ответы, возгласы в зале. Одна из этих тетрадок сохранилась – я с благоговением храню ее у себя и надеюсь когда-нибудь передать в музей… Маленькая тетрадка, такая, какие школьники покупают для «слов», исписанная Фридиным почерком. Почерк на удивление спокойный, а ведь на этом суде Фрида, быть может, впервые в жизни была вполне беззащитна. До сих пор, в каких бы она ни оказывалась трудных, ответственных, рискованных командировках, ей служил надежной охраной корреспондентский билет. Командировки же на процесс Бродского ей не дали ни «Литературная газета», ни «Известия». Она явилась в зал суда не как представитель печати, а как случайная посетительница, обыкновенная гражданка, то есть бесправное существо, не охраняемое никем и ничем от любого произвола. В этом же положении были все сидевшие вокруг, но Фрида, в отличие от них, – сражалась. Она исполняла свой долг – записывала! – под ненавистническим взглядом судьи, под злобными взглядами соседей. Помните вы это место Фридиной записи, где изображено, как толпа пытается заставить ее бросить перо? Незадолго до этой минуты из зала вывели ее друга, Евгения Александровича Гнедина, тоже приехавшего из Москвы ради Бродского и сидевшего рядом с ней. Он осмелился вслух возмутиться тем, что общественный обвинитель с грубой бранью отозвался о защитниках Бродского. Дружинники приказали ему удалиться из зала и препроводили в милицейскую машину, дежурившую у входа. Фрида продолжала писать. Затем был выведен дружинниками еще один Фридин знакомый за то, как сказано было в протоколе милиции, «что он чиханием пытался сорвать судебное разбирательство». Фрида продолжала писать. «Писатели! Всех бы вас из Ленинграда, все вы тут заодно!» – кричали ей соседи. Фрида продолжала писать. Она продолжала писать и после свирепого окрика Савельевой, обращенного к ней. Толпу бесило, что она молча и спокойно продолжает свое дело. Были в толпе и друзья, но чем здесь, в переполненном, взвинченном зале, под ненавидящими взглядами дружинников, специально подобранных Лернером, они могли бы помочь ей?

– Отнять у нее записи! – закричали из толпы, когда суд удалился на совещание.

Я так и вижу Фриду, маленькую, в толстом сером пальто и детской вязаной шапочке, – вижу ее в ту минуту, когда толпа хочет отнять у нее тетради. Вот она сидит среди зала, крепко сжимая тетради и ручку, – школьные тетради, запись – драгоценный трофей, драгоценное оружие, – слово, силой которого будет спасен человек.

Помните эту сцену?

– А вот вы, вы, которая записывали… Зачем вы это записывали?

– Я журналистка, – миролюбиво отвечает Фрида. – Я пишу о воспитании, хочу и об этом написать.

– А что об этом писать? Все ясно. Вот отнять бы у вас записи!

– Попробуйте! – грозно отвечает Фрида.

– А что тогда будет?

– А вы попробуйте отнять, тогда и увидите.

– Ага, угрожает! Эй, дружинник, вот тут угрожают!

– Он ведь дружинник, а не полицейский, чтобы хватать за каждое слово!

– Эй, дружинник! Тут вас называют полицейскими!

В эту минуту раздалось:

– Прошу встать! Суд идет! – и нападение прекратилось.

…Свои записи Фрида приводила в порядок в Ленинграде – в тихой квартире нашего с ней общего друга, Александры Иосифовны Любарской; в Москве – первоначально у себя дома, потом у меня за столом, вместе со мной. Чем больше я вчитывалась в этот документ, тем выше ценила его мощь. Казалось, нет на свете человека, даже если он бюрократ, – Руденко или Миронов или Смирнов, – который, прочитав эту запись, не понял бы, какая произошла вопиющая несправедливость. Покажи это Аджубею, и он совершит чудеса… Читая и перечитывая запись, Фрида вновь переживала случившееся.

– Как бы я сейчас себя чувствовала, если бы я не поехала, что бы мы теперь были! – повторяла Фрида – с радостью, с горечью, с гордостью.

Восклицание это относилось к крохотной заминке, происшедшей накануне ее вторичной поездки. Узнав от кого-то из друзей, позвонивших в Малеевку, что второй суд назначен на завтра, Фрида срочно выехала в Москву. Ей нездоровилось; заметив это, родные отговаривали ее от поездки, ссылаясь на безнадежность дела, на бессмысленность ее присутствия на суде. Мне позвонила Саша, потом Фрида сама. Фрида говорила со мной каким-то странным, не своим голосом, будто повторяя заученные слова. «Мне нездоровится, – сказала она, – но суть не в этом. Ведь ехать незачем: приговор предрешен, что я буду там делать?» – «Записывать! – сказала я. – Если вам нездоровится – ехать, конечно, не следует; ложитесь и вызывайте врача, но не говорите, что ехать незачем… Есть зачем: кроме вас, так никто не запишет. Были бы у меня глаза – записала бы я».

Фрида поехала, записала и теперь радовалась своим листкам так, будто это была не запись судебного процесса, а решение об отмене приговора. Она чуть не гладила их, чуть не целовала.

– А что бы вы сделали, – спросила я, дочитав до того места, где рассказывается, как от нее требуют, чтобы она перестала записывать, – что бы вы сделали, если бы они в самом деле попробовали эти тетрадки отнять?

Фрида ясно на меня поглядела. Она вернулась из Ленинграда потрясенная, измученная, а сейчас была уже такой, как всегда, спокойной и деятельной: работа над записью, поддержка друзей, планы спасения Бродского вернули ей силы. Снова из ее темных глаз лился яркий свет – недаром одна приятельница говорила о ее глазах: «Фрида подняла на меня свои фары».

– Что бы я сделала? – повторила она мой вопрос. – Если бы они попробовали отнять тетрадки? Не отдала бы! И все. Не знаю как, но не отдала бы!

– Зубами? – спросила я.

9. «Как сумасшедший с бритвою в руке…»

Когда говорят или пишут о Фриде, о ее повестях и статьях, о ее характере, часто встречается слово «жизнеутверждающий». Оно у нас вообще в ходу, общепринято. И может быть, именно поэтому вызывает во мне сопротивление. «Жизнеутверждающая философия»… «Жизнеутверждающий талант»…

Мне это слово, признаюсь, непонятно. Что, собственно, утверждается этой философией, этим талантом? Жизнь? Какая жизнь – любая, всякая? А разве человеку нужна эта любая жизнь – лишь бы жить? И разве не назначен человек для того, чтобы выбирать, отбирать, чтобы только человеческую жизнь удостаивать своим благословением? «Утверждение жизни»… Да и нуждается ли жизнь в том, чтобы мы ее утверждали? Жизнь – она небось посильнее нас с вами, она сама напирает, теснит, как жандарм лошадиным задом, без смысла и жалости, топчет копытами. Где нам ее утверждать! Были бы кости целы…

«Жизнеутверждающее искусство»… Вернее было бы сказать: жизнеоскорбляющее. Помню, в Ленинграде во время финской войны, зимою, люди долго не могли привыкнуть передвигаться по обледенелым улицам в тусклом, мертвенно-синем свете. Старались ходить

вдвоем, втроем, держась друг за друга. Страшно было идти, скользя, в ледяной темноте; да и бандиты работали – ножами, бритвами. Я шла одна по короткому глухому переулку. Не видно ни зги и скользишь. На углу заливается веселой опереточной музыкой радиорупор: над людьми, ломающими в темноте руки и ноги, над людьми, которых только что полоснули бритвой, над людьми, которые вынуждены идти на эту неправую войну, в этот неправый бой – на эту верную и зряшную смерть. Звенит, заливается над несчастным переулком оперное колоратурное сопрано: оно утверждает жизнь.

Помню первые дни большой – на этот раз правой – войны, океаны разлуки, моря сиротства. Стон стоял над страной; немота 37-го кончилась, вдовы и сироты обрели право плакать вслух. Стон был явственно слышен каждому, имеющему уши, но его прерывали, а в первые, самые черные дни покрывали и осиливали звеневшие из всех рупоров победоносные военные марши и веселенькие, легонькие маршики из оперетт. Это было еще одно дополнительное унижение и оскорбление. Так и звучат у меня в памяти первые дни и недели войны опереточным – жизнеутверждающим! – маршем над вдовьим воем. Так и осталось с тех пор у меня в сознании, что жизнеутверждающий марш – это ложь, ликующее, сверкающее и ухающее трубами издевательство над гибнущей человеческой жизнью.

Фрида? О, да, Фрида любила жизнь. Еще как! Эта любовь сияла в ее улыбке, влекла к ней ребятишек и взрослых, внушала друзьям счастливую бодрость.

Мне кажется, более всего на свете она любила маленьких детей. Она знала их во множестве, собирала и как превеликую радость показывала друзьям их фотографии – грудные и постарше, записывала детские слова, монологи и диалоги; дружила с детьми – ответственно и строго, по-учительски, и в то же время талантливо, весело, так что и со стороны было весело видеть ее вместе с детьми. Кажется, нельзя было доставить ей большего удовольствия, чем познакомить ее еще с одним младенцем или рассказать еще об одном. Да, Фрида любила детей, музыку, речку, лес, мороженое, лыжи; любила обновы (скорее по-детски, чем по-дамски), любила дружбу, любовь. Но я не хочу обозначать ее повести, статьи и ее деятельную доброту пошлым словом «жизнеутверждающие». Оно оттого в ходу, что, собственно, лишено точного смысла. О Фридином способе любить жизнь я скажу иначе. Дивное стихотворение Тарковского «Первые свидания», где мир поет и благоухает навстречу любви, кончается такими строчками:

Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.

Слыша эти стихи из уст автора, я запомнила их неверно. Я запомнила так:

А жизнь по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.

Поэтически это гораздо слабее, но мне недаром запомнилось так мне так понятнее. Тому, вероятно, виною моя биография и биография моего поколения. Что бы мы ни делали, какому бы ни отдавались самоотверженному чувству или бескорыстному труду, всегда за каждым из нас порознь и за всеми вместе гналась эта жестокая бессмыслица – действительность, среди которой мы живем – жизнь! – как сумасшедший с бритвою в руке… Арсений Александрович Тарковский при мне читал это стихотворение Фриде и нашим общим друзьям (это было в Переделкине, на даче) – и, быть может, потому, что оно впервые было услышано мною в Фридином присутствии, оно тесно сплетено у меня в памяти с нею, с ее слушающими глазами, и, мне кажется, точнее определить ее, Фридино, призвание в мире – нельзя: она спасала людей от бритвы, которую с неизбежностью заносил над шеей каждого этот

страшный сумасшедший – жизнь. Обороняла от новых ран. Заживляла старые, нанесенные раньше. Помогала человеку осуществить себя – ускользая от бритвы, вопреки бритве.

Фрида не только испытывала боль от чужой боли; она по натуре – и по убеждениям! – была осуществительницей, совершительницей, и чувствовала себя уязвленной, если видела, что пропало даром, не воплотилось, предано забвению, утрачено сделанное человеком благородное усилие, потерялся след человеческой судьбы или поступка, будь то произведение искусства, дерево или письмо. Фрида недаром была настоящей представительницей интеллигенции: она чувствовала, что культура – это связь между людьми, бережная охрана содеянного ими, всего, на чем остался след судьбы человеческой, поступка человеческого. Она была воплощенной памятью и потому могла стать – и стала! – воплощенной честью. Фрида никогда не была коллекционером, собирателем, но она сама говорила мне, что не в силах уничтожить письмо, стих, фотографию – почерк человеческий, лицо человеческое. Она умела и любила охранять, оберегать чужое благородное усилие. Сколько чужих архивов хранилось в ее папках, в ящиках специального шкафа – след чьего-то пути, чьего-то несчастья, счастья. Однажды я показала ей лежащее у меня в столе много лет письмо одного из моих ленинградских друзей, биолога, до войны сидевшего в тюрьме, а во время войны после бегства из немецкого плена (куда он попал тяжело раненный) угодившего в наш лагерь, в Сибирь. Этот молодой человек, талантливый ученый и поэт, полный необыкновенной энергии, бежал, как я после узнала, и из нашего лагеря; а накануне побега, окончившегося, по-видимому, расстрелом, прислал мне переписанные мельчайшим почерком свои стихи, – чтобы они не погибли с ним вместе.

Когда я показала их Фриде, они пролежали у меня в столе уже лет пятнадцать – на сгибах бумага пожелтела и протерлась. Помню, с какою бережностью прикасались Фридины руки к этим листкам! Она нахмурилась, увидев изъяны, нанесенные временем, и была недовольна моей нерадивостью. Она унесла письмо и стихи к себе, переложила каждый листок папиросной бумагой, сделала для них особую папочку и, кроме того, переписала стихи и письмо на машинке. «Вот теперь не пропадет», – сказала она мне деловито и радостно, возвращая оригинал и машинопись.

Если нельзя спасти человека, надо сберечь на земле его след – так она чувствовала наш, человеческий, долг… В ней не было ни грана предательства!

Фрида любила стихи и хорошо понимала их. Она говорила мне, что к искусству пришла с опозданием и к музыке раньше, потом – к живописи. и лишь позднее – к стихам. Но в последние десять-пятнадцать лет она уже разбиралась в стихах тонко и точно, как настоящий знаток и ценитель. Перепечатывала, берегла, радовалась, дарила: Мандельштама и Цветаеву, Ахматову, Тарковского, Самойлова, Бродского, Корнилова, Новеллу Матвееву. Никогда не забуду, как в последний раз – это было за семнадцать дней до конца – обрадовалась она новым стихам. Фрида лежала в жару, температура с утра была 39. Мы зашли к ней вместе с Раисой Давыдовной, – собственно, не к ней, потому что ей было уже очень худо, а к девочкам, чтобы разузнать у них, как прошла ночь, и взглянуть в их измученные, твердые лица. Но когда Галя сказала Фриде, что мы тут, она попросила нас зайти к ней – «по очереди, на минуточку». Я вошла первая. Фрида лежала на спине, с закрытыми глазами, с уже необратимо, непоправимо измененным лицом. Она лежала высоко на подушках и так неподвижно, что, когда под одеялом переместилась нога, я поймала себя на удивлении: двигается! Я села возле тахты на маленькую скамеечку и взяла ее за руку. Горячая рука. Фрида открыла глаза, дрогнули губы, пытаясь улыбнуться, и снова закрылись глаза. Вот так, не открывая глаз и еле шевеля губами, она спросила меня о Бродском. Я ответила «ничего нового», потом положила тихонько ее руку на одеяло и вышла. Постояла одна в темной передней, боясь, что, когда войду к Гале в комнату, дрогнет голос. Там были Раиса Давыдовна, Саша и Галя. Раиса Давыдовна пошла взглянуть на Фриду.

– Как хорошо, что вы приходите сюда и не плачете, – сказала мне Саша. – А то все возле мамы сдерживаются, не плачут, а здесь, у нас, сразу в слезы. Разве так можно?

– Нельзя, – сказала я, чувствуя, что сейчас зареву.

В эту минуту в комнату вбежала Раиса Давыдовна, схватила свою сумку и снова побежала к Фриде.

– Я сказала ей, что у меня с собою новые стихи Самойлова, – объяснила она на бегу, – и Фридочка просит прочесть…

Фридочка просит прочесть! Это было еще удивительнее, чем движение под одеялом.

Фрида любила стихи, литературу, но и в них всегда бессознательно – я замечала это много раз – искала отпечатка человеческой судьбы, следа подвижничества, которому она могла бы сочувствовать. Помню: она всю жизнь, как и я, мало знала и совсем не любила Алексея Ремизова. Но в начале шестидесятых годов, в Париже, где умер Ремизов, вышла книга его приятельницы Кодрянской с отрывками из его дневника, с описанием последних лет его жизни, слепоты, смерти. Прочитав книгу Кодрянской, Фрида долго не могла выпустить ее из рук и, читая мне отрывки вслух, объясняла:

– Вы понимаете, что она сделала? Спасла для нас его дневник – записи последних лет. Да и его самого много лет спасала, слепого, – читала ему, устроила у его постели дежурства… Без нее он погиб бы лет на пять раньше. И какой трогательный дневник!

Так и в литературе она искала – разыскивала бессознательно – след доблестного человеческого пути и материнского подвига.

10. «Так и бывает»

В своей лютой болезни Фрида почти до самого конца – до бессознания – оставалась собой. Менялись, худея, руки, тяжелели очертания лба, увядал и синел рот, но очертания души и характера оставались все те же – и даже до мельчайших подробностей.

Долго сохранялась, например, деловитость, толковость, свойственная Фриде всю жизнь, Так, недели за две до конца, Галюша сказала мне:

– Представьте, мама помнит номера телефонов. Если она видит, что я перелистываю книжку, ищу, – она спрашивает у меня фамилию и сейчас же говорит номер наизусть. Без ошибки.

Таким же безошибочным долго оставалось у больной ощущение времени. Летом Елена Сергеевна на месяц уехала в Комарово. Но не выдержала – вернулась в Москву раньше срока. Увидев ее у своей постели, Фрида, к этому дню уже с трудом выговаривавшая слова, не только обрадовалась, но и удивилась: она мгновенно поняла, что двадцать шесть дней пройти не могли еще.

– Вы здесь? Уже? – произнесла она.

Болезнеустойчивой, нерастворимой в жару оказалась и Фридина памятливая, деятельная доброта. Память сердца.

Для моей работы над книжкой о Герцене, для того чтобы справиться, не запутавшись, с огромным количеством выписок, заваливших мой стол, мне понадобились резинки – какими в аптеках перевязывают коробочки с пилюлями, и множество пестрых картонок – таких, какие обычно рассылает Союз в виде приглашений или поздравлений. Давно уже я просила Фриду собирать для меня резинки и картонки. Фрида копила их очень усердно и, случалось, протягивала мне свою добычу с ликующим возгласом:

– Целый ворох! Всех писателей обобрала!

К моему удивлению – и умилению! – не забыла она об этой моей давней просьбе и в больнице. Когда мы увиделись с ней впервые после ее операции (недели через две), она, еще

не ответив на мои вопросы о здоровье, пошарила под подушкой и протянула мне большой конверт: там лежали пестрые картонки и тонкие резиночки…

Болея, смертельно болея, Фрида оставалась верна каждой принятой на себя заботе и каждой своей присяге, малой или большой – все равно. Накануне операции она дала мне опустить в ящик с десяток деловых писем: она продолжала хлопоты о своих избирателях.

Весь ее внутренний мир оставался неразрушимым, сохранным, Фрида умирала и умерла, оставаясь собой.

…В июле 1955 года утонул Вова Смирнов, девятнадцатилетний мальчик, прелестный, талантливый, умный, добрый, сын наших с Фридой общих друзей – Веры Васильевны Смирновой и Ивана Игнатьевича Халтурина. Случилось это в Дубултах, где Вера Васильевна жила в Доме писателей с Вовой, а Фридочка – с Сашей и Галей. Однажды днем, после обеда, Галя разбудила Фриду словами:

– Мама, Володя утонул! – и я знаю, какою тяжестью легла Фриде на сердце эта утрата, как чувствовала она и понимала сиротство родителей.

18 июля 1965 года исполнялось десятилетие со дня Володиной гибели. 17-го я навещала Фриду. Было известно, что ей худо, очень худо, и, собираясь к ней, я, разумеется, и не думала напоминать ей о завтрашней горестной дате. Напоминать не пришлось.

Когда я вошла, Фридочка лежала на боку, свесив руки почти что до полу, покачивая ими и чуть слышно постанывая в такт этому качанию.

– Я буду мяукать, а вы не слушайте, хорошо? – сказала она, когда я уселась возле. – Мяукаешь – и почему-то легче. Нет, мне не больно, а просто жар, муть… Возьмите, пожалуйста, бумагу и карандаш, я вам продиктую телеграмму… Ведь завтра десять лет…

Она каждый год посылала в этот день телеграмму в Дубулты – послала и на этот раз.

У Пастернака написано:

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца…

Глядя на Фридино умирание, я поняла, что это значит: быть живым до конца…

Поразил меня – и не одну меня, конечно! – поступок Фриды с доктором Орлом.

Начиная со второй половины пятидесятых годов Фрида сделалась одной из самых неутомимых и умелых собирателей нашей передовой литературы. Собранным она, разумеется, делилась с другими, иначе она не была бы Фридой. Книги, журналы, рукописи, напечатанные и ненапечатанные стихи всегда отягощали ее вместительную хозяйственную сумку. Я уж и припомнить не могу числа и названий тех повестей, рассказов и поэм, которые я прочитала благодаря Фридиной заботе. «Я – книгоноша», – говорила она, вынимая из сумки то стихи Корнилова, только что напечатанные в «Новом мире», то повесть Гинзбург, еще не напечатанную нигде. И этому своему призванию она не изменила до конца. Наш общий друг доктор Эммануил Владимирович Орел перед отъездом в отпуск, летом 1965 года, зашел навестить Фриду. Тогда она чувствовала себя еще сравнительно бодрой, была на ногах и собиралась на дачу. В разговоре Фрида процитировала стихи Мандельштама. Эммануил Владимирович признался, что этого поэта знает мало. Фридочка произнесла несколько горячих слов о Мандельштаме и обещала познакомить Эммануила Владимировича с его поэзией. Прошел месяц. Эммануил Владимирович вернулся в Москву и снова навестил Фриду. Это были уже ее предсмертные дни. Говорить она уже не могла. Эммануил Владимирович сел возле тахты, и оба они молчали. Потом Фрида движением головы указала ему на свой письменный стол; он поднялся и подошел к столу – там лежала папка со стихами Мандельштама.

Была просветительницей, книгоношей и осталась ею «до самого крайнего края». Лежа в больнице, Фрида постоянно просила близких принести ей то книгу, то рукопись, чтобы ее любимые вещи прочитали новые друзья: врачи, сестры, больные из других палат. За неделю до смерти она попросила меня подарить экземпляр «Софьи Петровны» учительнице Анне Ивановне – ее любимой старой учительнице. Она осталась верна и своей любви к моей повести, и своей любви к старой своей воспитательнице. И своему обыкновению дружить между собой людей и книги.

Признаюсь, Фридина верность своим прежним обычаям и привычкам не только восхищала, но и страшила меня. У нас с ней было обыкновение ничего друг от друга не прятать. Что же будет теперь? Я боялась, она задаст мне прямой вопрос о своей болезни. Сколько раз, бывало, на протяжении более чем двух десятилетий нашей дружбы она приносила мне какую-нибудь горькую весть – о себе, обо мне, о ком-нибудь или о чем-нибудь близком, начиная словами: «Ведь у нас с вами не принято ничего друг от друга таить… Мы, как говорится, ничего не таскаем за пазухой… И я хочу вам сказать…» И вот в этой же комнате, когда она была еще на ногах и собиралась ехать на снятую Раисой Ефимовной и Сашенькой дачу, она как-то среди совсем постороннего разговора о «Новом мире», сидя в кресле, в розовом теплом халатике, вдруг сказала мне, прервав себя: «А хорошо так дружить, как мы с вами дружим… Надежно!» Надежно!.. А я ей все лгала и лгала и со страхом и малодушием ожидала минуты, когда она, прощаясь, потребует от меня правды. Или выговорит ее сама.

Что она скажет мне? Когда? Как? Окруженная заботливой, обдуманной, изобретательной ложью близких, имени своей болезни она не знала. Но чуяла силу ее. Что же скажет мне Фрида на прощание и что я скажу ей в ответ?

В марте 1960 года скончалась от рака Тамара Григорьевна Габбе. Мы были дружны с ней тридцать пять лет – вместе учились в институте, вместе работали в редакции у Самуила Яковлевича. Хотя она была старше меня всего на пять лет, ко мне она относилась по-матерински. Детей у нее не было, а человеком она была материнского склада и лет с тринадцати умудрялась относиться по-матерински даже к собственной матери. Фрида от души привязалась к ней. К Тамаре Григорьевне вполне применимы слова Толстого: «этого человека могли не любить только очень глупые или очень злые люди»… Блистательное и глубокое литературное дарование; ум, выработанный, образованный, сильный, я бы сказала – мужской; и талантливая, как все в ней – доброта… Когда Тамара Григорьевна скончалась, я переписала в отдельную тетрадь те страницы своего дневника, где рассказывалось о ее болезни и смерти, и подарила Фриде. А там у меня такая страничка:

> «28. II. 60.
>
> Она сидит, я пою ее чаем с ложечки. Слабенькая, еле держит голову. Я одной рукой пою, а другой поддерживаю спину.
>
> Проглотила две ложечки, взглянула на меня:
>
> – Вот так, Лидочка, и бывает. Так и бывает…
>
> И махнула рукой».

Когда я, в 1960 году, записывала эти Тусины слова, я не думала, что услышу их в другой раз – из других уст, в другой комнате, через несколько лет…

Это случилось 27 июня 1965 года. У Фриды болела нога – тромб, говорили ей, надо полежать, – она слегла, а еще через несколько времени начались рвота и жар. Дача отдалялась. Несмотря на жар, и тошноту, и муть, у нее еще хватало сил работать: она срочно подготовляла для нового издания свою трилогию. Это было еще только начало конца, но начало крутое, обрыв в новую и страшную стадию болезни, и она это почувствовала… Когда я вошла к ней в этот день, она попросила Галю придвинуть к ее тахте кресло, подождала, пока Галя уйдет, подождала, пока я усядусь, и вдруг подняла на меня глаза:

«Вот так и бывает, – выговорила она громко, свободно, отчетливо, даже с вызовом, – вот так, Лидочка, и бывает…»

И ударила меня глазами: не лги.

Себя я в это время не чувствовала, не слышала, не видела – меня попросту не было на свете! и из своего небытия я слышала только эти ее слова, видела этот ее требовательный сердитый взгляд. Я так до сих пор и не знаю, что я ответила ей и ответила ли вообще что-нибудь.

На другой день Фридочке стало полегче, температура упала, несколько часов не было тошноты – она приободрилась и, желая ободрить и утешить меня, жалея, видно, о вчерашнем жестоком прощании, сама – чего уже давно не бывало – позвонила мне по телефону и целых пять минут говорила со мною веселым, ясным голосом – про то, что сильно сокращает свою трилогию.

– Болтливая книга! – сказала она. – Надо писать короче. И как это мне друзья не говорили, что это растянуто? Правда, упрекаю друзей. Да, и вас. Вот увидите, новую я напишу по-другому: жестче, короче, без воды…

Она мечтала окончить свою новую книгу – «Учитель», а я уже не надеялась… «Вот так, Лидочка, и бывает, вот так и бывает», – двухголосое – звенело у меня в ушах.

…После Фридиной смерти девочки отдали мне папку с бумагами по делу Бродского. Она была в беспорядке – Фрида до последнего дня требовала, чтобы мы давали ей копии всех заявлений и писем, но сил раскладывать их по порядку у нее уже не было. Я занялась этим. Фрида всегда показывала мне письма Бродского к ней, поэтому я снова прочитала их. В одном Иосиф расспрашивал Фриду о том, как она себя чувствует, и между прочим поминал известное изречение индусской мудрости, гласящее, что причину всякой физической хвори надо искать в нарушении равновесия духа.

Я заново задумалась над этими словами. Что же, в самом деле, случилось с Фридой? Что случилось? – в духовном смысле, а не в медицинском? Чем был нарушен – и разрушен – ее трудный, но счастливый, гармонический мир? Ведь характер ее действительно поражал своею гармоничностью, каким-то постоянным, в горе и в радости, устойчивым равновесием духа. Чем же было поколеблено и нарушено это волшебное равновесие?

Дело Бродского?

Да, оно не только потрясло, но и утомило Фриду, как утомляет, высасывает силы постоянная, безотрывная и притом упорно не идущая на лад работа.

Немногие знают, что Фрида и несколько человек ее друзей те полтора года, пока длилось это гнусное дело, жили, словно поступив на какую-то нудную службу, и ежедневно, с утра, словно «вешали номерок» на некоем невидимом табеле. Это не было занятием между прочим, нет, это стало содержанием нашей ежедневности. Сознание, что уже столько месяцев, а вот уже и второй год! там, в Коноше, мучается человек, ставший для нас всех дорогим, не давало покоя. Ни праздников, ни воскресений, ни отпусков. Если и случалось кому-нибудь вырваться из Москвы, то не на отдых: междугородный телефон, авиапочта, нарочные, оказии. А вернешься в Москву – каждый день нужно звонить или идти туда, куда бумаги уже посланы; каждый день решать, куда писать снова, от чьего имени, как. По телефону об этом не скажешь – надо увидеться. Составить черновик. Ехать – за город, в больницу, или на дачу, или в Ленинград за чьей-нибудь подписью. Кто поедет?.. Завоевывая нового «защитника Бродского», надо показать ему Фридину запись и стихи Иосифа. Значит, перепечатка на машинке. Вычитка… Кто отвезет?.. Добиваясь приема у могущественного лица, надо искать путей к его секретарю или к кому-то, кто знаком со знакомыми секретаря, – то есть опять-таки с кем-то встречаться, кому-то дозваниваться… Мобилизовав десятки людей, Фрида тем самым опрокинула на себя сотни телефонных звонков и десятки встреч. Мы двигались в темноте, на ощупь; наши официальные корреспонденты и собеседники постоянно давали

нам ложные сведения, которые необходимо было проверять. А проверка – это снова знакомые знакомых, снова звонки, снова встречи – у себя дома, в чужом доме или на улице. Одна старушка пенсионерка, в прошлом – сотрудник прокуратуры, пронзенная Фридиной записью, из симпатии к нам и Бродскому, взяла на себя обязанность сигнализировать нам обо всех кочевьях «дела», со стола на стол, в Верховном суде. С ней кто-нибудь из нас виделся чуть не ежедневно… Вместе с нами действовали ленинградцы – требовались оказии в Ленинград, чтобы согласовывать усилия, сообщать друг другу новости. Опять звонки. Опять встречи… Писать или нет Микояну? Текст? Подписи? Да, кроме служения, тут была нуднейшая служба, «согласовывать и увязывать». Кроме патетической публицистики – писанина, канцелярская канитель, утомительная, бесконечная, как дурной сон…

Мешало ли Фриде жить депутатство?

О да, конечно! Это была кладь потяжелее, чем дело Бродского. Много тяжелее. Это были десятки и сотни судеб, в которые Фрида обречена была вникать, – настоящее «зрелище бедствий народных» – что ни голос, что ни посетитель, то беда, драма, трагедия, несчастье; а средств помочь никаких или почти никаких. В деле Бродского рядом с Фридой, вместе с Фридой действовали, работали, сочувствовали, огорчались и радовались друзья; в деле Бродского она ни минуты не была одна; в своем депутатстве, лицом к лицу с бедами, Фрида была, наоборот, одинока; хоть и не «одна среди людоедов», но «одна среди бюрократов».

Помните запись во Фридином депутатском блокноте, ту, из которой так ясны ее беспомощность и ее одиночество? К ней пришла женщина:

«Хрупкая, худенькая, плачет. Отец погиб на фронте. Мать (участница гражданской войны) у Ганнушкина. Брат – туберкулезный. Она – тоже туберкулезная.

– Я не могу жить. Лучше мне умереть. Все равно соседи сживут меня со света. Мы живем на квартирной кухне. Конечно, кухня нужна всем. Но что же мы можем поделать? Куда угодно, куда угодно, только бы из этой квартиры. У меня нет больше сил…

Несколько дней спустя состоялось заседание райжилуправления. Я просила включить эту семью в список 64-го года:

Я: – Они стоят на очереди с 58-го года и заслуживают, чтобы…

Куропеев: – Кто спорит? Конечно заслуживают. Но мы не можем ничего сделать.

Я: — Но мать в психиатрической больнице…

Куропеев: – Мало ли что… У нас психбольных в районе знаете сколько?

Я: – Но у дочери туберкулез…

Куропеев: – Мало ли что… Ведь не бациллярная же форма?

Я: – Но они живут на кухне…

Куропеев: – Мало ли что! У нас семь тысяч комнат признано нежилыми.

Я: – Но матери семьдесят четыре года…

Куропеев: – Если всем старушкам давать площадь, план никогда и не выполнишь.

Я: — Я прошу вас, я считаю, что…

Куропеев: – Вы просите в частном порядке, а мы в общем порядке. Мы – более правы. Рассмотрите вопрос в таком разрезе, ясно? А эмоции надо оставить!»

Но Фрида, несмотря на окрики начальства, не могла «оставить эмоции», и потому депутатство легло на ее сердце безмерною тяжестью. «С тех пор как я депутат, – говорила она мне, – и каждый день хожу по чердакам и подвалам, я возненавидела свою квартиру, свою комнату…» Да, эта кладь была для нее потяжелее любого другого отдельного дела. Дело Бродского она сама себе выбрала, а тут дела падали на нее со всех сторон, без разбора, выбора, спроса, и каждым она обязана была заниматься. Беды человеческие лились на нее потоком, словно ее посадили в бассейн и открыли все краны. После депутатских приемов она часто шла прямо ко мне – полежать, пообедать, отдохнуть – и приходила измятая бедами, нередко – плачущая. «Нынче мне пришлось опять ехать в Москву по депутатскому делу, –

сообщала она мне из Тарусы летом 1964 года, – и добро бы оно кончилось хорошо – так ведь нет: провалили. И мне так горько и худо: шла с заседания райсовета и ревела белугой прямо на улице». Страницы ее депутатского блокнота – при всем юморе, с каким сделаны некоторые записи, – ведь это ужас на ужасе, вопль на вопле. «И вы не захотите помочь, я знаю, и вы не захотите», – кричит, стоя возле Фридиного стола, женщина, которую изо дня в день избивают взрослые дети. На каждом приеме выслушивать крики, мольбы о помощи – и понимать, что при всех усилиях почти никогда ты не в состоянии помочь, – вот чем было для Фриды ее депутатство. И хотя кое-что ей все-таки удавалось, память о неудачах жгла ее.

В последние годы она уже не спала без снотворного. Дела депутатские утомляли, жестоко ранили ее – и дома ей доводилось отдохнуть далеко не всегда: Наташеньку, нежно любимую ею, пришлось как раз в эту пору взять из яслей, и большая доля забот о ней легла на Фридины плечи.

И все-таки, по глубокому моему убеждению, не это привело к дисгармонии. Не перегрузка, не бессонница. Ведь перегрузка – это перегрузка, а не противоречие внутри души.

Со всеми делами она постепенно справилась бы, у нее хватило бы, я уверена, душевной закалки и сил.

С Фридой в последние годы случилось другое – счастье или несчастье, не знаю.

Она встретилась со своей писательской зрелостью. А встреча эта для каждого писателя неизмеримо трудна.

Внезапно все написанное прежде теряет цену. Все кажется – иногда совсем несправедливо – никуда не годным, никому не нужным. Уверения друзей, читательские письма – не утешают более. Работать надо по-другому. Писать не о том, о чем раньше. Точнее. Кажется, я наконец-то знаю, о чем и как. И вот беда: столько лет я работала, столько лет училась писать, а писать мне стало не легче, а трудней.

Все это на моих глазах происходило с Фридой. Умение ее выросло в десятки раз, требовательность к себе – в сотни. Писать надо короче. Полнее. Без сантиментов. Строже. Точней. Что это значит – точней? Как добиться этой вечно ускользающей точности? Весь накопленный ею жизненный опыт, все, что было записано у нее в блокнотах и в памяти, все, что было продумано, понято ею, требовало от нее новой степени глубины, то есть в конечном счете нового градуса правды. Это и была та новая точность – и новая форма, – которую безудержно, отчаянно, страстно искала рука.

Душа требовала неотрывности труда, тишины. Той тишины, в которой душа – и рука – словно слушают чью-то диктовку. Той, о которой у Ахматовой сказано:

…Встает один, всё победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо…
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.

Уж на что Цветаева во всем противоположна Ахматовой, а и она – в той самой статье, вызвавшей размышления и несогласия Фриды, тоже пишет о тишине, в которую вслушивается поэт, о диктовке, которой повинуется его рука. «Дать уху слышать, руке бежать», – говорит Цветаева. Это, в сущности, тот же ахматовский «один, всё победивший звук», те же «просто продиктованные строчки».

Фрида никогда не была поэтом, и не для сравнения ее с Ахматовой, или Цветаевой, или с кем бы то ни было я пишу то, что пишу. Однако Фрида обладала большим художественным даром, и дар ее созрел. Это было видно, прежде всего, по ее блистательным записям. Для нее настала пора, когда, нахлебавшись жизни, художнику пора в тишину, в сосредоточенность, слушать уже не самую жизнь, а рожденный ею «один, всё победивший звук». Фрида дивилась себе – новой себе, по-новому ранимой, по-новому беспомощной. Давно ли умела она создавать статьи свои и книги в тесноте ермолаевской кипящей склоками коммунальной квартиры или на подоконнике в редакции под треск телефонов? Быстро, отчетливо, к сроку…

– Теперь, – говорила она мне с удивлением, – чтобы написать строчку, мне нужна тишина. И сознание, что никто не войдет. Не позовет. Не тронет. Ничего не потребует.

Да, зрелость писателя – труднейшая пора его жизни. Он чувствует себя перед Страшным Судом слова, перед тем самым, ранее отрицаемым Фридой, цветаевским Страшным Судом.

И она оказалась лицом к лицу с ним. И в прекрасной, просторной, уставленной зеленью и книгами комнате, за прекрасно оборудованным письменным столом ей стало не под силу писать. Потому что здесь ее все время отрывали, а она больше не могла отрываться. Все чаще уезжала она из дому, в Киев, в Ереван, в Таллин, чтобы вдали от Москвы, в тишине гостиницы или чужой квартиры запереться, ничего не видеть, не слышать – писать.

– Подумайте! – говорила она мне после одной из таких поездок. – Там, когда и позвонит телефон, я могу не пугаться: это не меня…

А дома, в Москве, ей мешал даже выключенный. Она понимала, сколько голосов и с какими бедами рвутся к ней по проводам.

Она не могла разрешить себе толком отдохнуть или, что то же, без всяких помех погрузиться в работу, в сон, как называла это состояние Цветаева. Для того, чтобы вовремя приходить на помощь людям, – надо, чтобы не только домашний, но и душевный телефон всегда был включен. Для того, чтобы писать – в самом деле писать, не на шутку, – необходимо, напротив, чтобы все провода, соединяющие человека с людьми, были временно отрезаны напрочь. Человек должен отплыть на необитаемый остров и там погрузиться на самую глубину тишины: «дать уху слышать, руке бежать».

Ведь пишется книга не только тогда, когда сидишь за столом и пишешь. Но и когда бредешь по дороге. И лежишь на диване, закинув руки за голову. И мешаешь на плите кашу, не видя, как она ползет через край…

Фрида хотела погрузиться в книгу, но не могла. И не только по внешним причинам – по внутренним. Оторваться от людей – это противоречило мысли ее мыслей, сердцу ее сердца, ее религии.

Книга в ней набухала, росла, разрывая ей душу. Новая книга, та, в которую она должна была вложить всю постигнутую ею правду.

Отдаться книге она не могла. Отплывешь на необитаемый остров, начнешь вслушиваться в «один, всё победивший звук», заслушаешься голоса, который диктует тебе слова, а жизнь – сумасшедший с бритвою в руке – возьмет да и прирежет кого-нибудь из самых тебе дорогих.

…Разрушил гармонию Фридин созревший художнический дар, потребовавший погружения в работу на другой – неприкосновенной – глубине. Она-то еще пыталась, могла, но ОН уже не мог, как прежде, примиряться с постоянной, бесперебойной деятельностью спасательной станции.

11. Завещание

Я знала, что Фрида страстно занята своей новой книгой, что она пишет ее, не оглядываясь на цензуру, что она вводит в нее материал, запечатленный в блокнотах. Знала я из ее рассказов, а потом и из прочитанной части, что главный герой книги – это учитель, переживший тюрьму и лагерь, и его бывший ученик, которого, вернувшись, он повсюду разыскивает, чтобы сказать ему какое-то свое заветное слово. Я знала, что по этой своей работе Фрида постоянно тоскует – «работать хочется до слез», – написала она мне однажды, – но *как* тоскует, *чем* стала для нее эта работа, мне открылось только в день операции, 14 января 1965 года.

В этот день на операционном столе должно было выясниться: какая причина вызвала желтуху, каково имя болезни. Камень в желчном протоке? Рентген не показывал камня. Киста аппендикса? Да, быть может, и киста, но профессор Виноградов предполагал рак поджелудочной.

Мы сидели в вестибюле больницы: Раиса Ефимовна Облонская, Нора Яковлевна Галь и я.

Перед нами ходили, вставали, присаживались и вставали снова – Саша, Галя, Исаак Абрамович.

Спустилась к нам знакомая докторша, объявила, что Фрида уже в операционной. Ушла. Спустилась снова: сделали еще раз, в последний раз, рентген. Камня нет.

Осталась одна слабая, слабейшая надежда: опухоль железы, но не злокачественная. Один случай из миллиона. Бывает.

Я смотрела на Изю и девочек, стоявших перед нашей скамьей. Фридины дочери и Фридин брат. Три варианта ее лица: бровей, глаз, ресниц, скул, волос. Держались они все спокойно. Галя была румяна, как всегда. Саша, как всегда, смугла и глазаста. Ни истерик, ни стиснутых губ и рук. Ни рисовки, ни позы. Спокойные, обыкновенные речи. Фридины дочери, воспитанные ее мужеством и ее чувством достоинства. Перед лицом самого горького горя, которое им когда-нибудь доводилось или доведется испытывать, они вели себя свободно, непринужденно, с большим непритворным мужеством.

Докторша вернулась в третий раз. Брюшина вскрыта, Виноградов прав: рак поджелудочной.

Я видела, как схлынул румянец с Галиных щек и, побелев, Галя стала более обычного похожа на Сашу и Фриду.

Все окружили докторшу: та что-то чертила на бумаге, объясняя, как расположена опухоль и почему к ней нельзя прикоснуться. А я осталась сидеть: все равно не увижу. А если и увижу, то – что?

Через минуту рядом со мной села Саша. Мы молчали.

Она опустила кудри и заплакала.

– Значит, мама не кончит книгу, – проговорила она сквозь слезы.

Сказала она это не помня себя, оглушенная бесповоротностью горя, а для моих ушей эти слова прозвучали Фридиным тайным признанием, будто это не Саша, а Фрида сама, под тяжестью объявленного диагноза, проговорила о заветнейшей из своих тревог.

– Значит, моя книга не будет написана! значит, я не кончу книгу!

Поправляясь, она на больничной койке продолжала работать над книгой. Работала над нею и в Переделкине, в тот счастливый месяц, когда она, и Александр Борисович, и Копелевы жили там вместе. Работала, снова оказавшись в больнице. Потом дома, у себя на тахте. Работала, пока болезнь не скрутила ее.

И не кончила книгу.

В одну из трудных ночей, когда ее особенно терзали тошнота и жар, она вдруг попросила Галю взять бумагу и перо и записать под ее диктовку: зачем учитель, вернувшись из лагеря, ищет своего ученика и что он хочет ему сказать.

Желая успокоить, ободрить ее, Галя ответила:

– Не стоит сейчас диктовать! Тебе станет лучше, и тогда ты напишешь сама.

Фрида послушалась. Лучше не стало. Под разными предлогами Раиса Ефимовна и Нора Яковлевна – друзья, которым всю жизнь Фрида привыкла показывать первым каждую свою строку, предлагали свои услуги для диктовки. Я тоже пробовала ее уговаривать. Я говорила ей: помните, Фридочка, в больнице вы мне один раз пожаловались, что из-за всяких лекарств позабыли целую, насквозь продуманную главу?.. Продиктуйте мне суть этой встречи, тогда уж не забудется, а потом напишете сами…

Но она не пожелала. Видно, надеялась: не забуду, выздоровею, напишу сама.

…Она не выздоровела, она умерла, а мы так и не узнали, в чем была главная мысль ее заветной книги – ее жизни! – та главная мысль, которую хотел передать своему ученику вернувшийся из ада учитель.

Сначала, даже рядом с Фридиной смертью, то, что мы не успели записать основу будущей главы, казалось мне большим несчастьем. Словно мы по неловкости и нерадивости утратили Фридино завещание.

Но потом я поняла, что ничего не утеряно, что Фридино завещание дано нам всей ее жизнью, и оно понятно и без тех страниц, которые мы не успели записать.

– Да, Сашенька, мама не кончит книгу. Мама умерла, и ее главная книга навсегда осталась неоконченной. Но каждый из нас должен заглянуть себе в душу и вспомнить и помнить всегда, что он почувствовал и понял, когда уносили гроб. Уносят Фриду! Герцен, посетив могилу жены, написал: «она не тут, она в груди». Фрида очень любила эти слова. Из нашей памяти никогда и никто не властен ее унести. Теперь она переселилась в нас и живет в нас, в родных и неродных, в каждом, кто понял, любит, помнит.

Вглядись в себя внимательней, напряженней, глубже – каждый, кто прочтет эти строки, гляди зорче! – разве она не там?

Москва – Переделкино
12.I–10.VII.66 г.
Москва, февраль 67 г.[11]

[11] Двадцать два года спустя Лидия Чуковская сделала такую запись:«“Памяти Фриды” имеет большой недостаток: тут всё правда, но не вся правда. Я писала эту книгу, обязавшись перед Галей в Сашей не писать ничего, что могло бы послужить помехой для переиздания Фридиных книг. И обещав не распространять написанное. Поэтому в этой книге отсутствует происходившая на моих глазах – и не без моей помощи – линия Фридиного освобождения от казенных лжей.Фридины повести – сантиментальная беллетристика. Она уходила от нее к мужественной документальной прозе – т. е. от разжиженной правдивости к страстной и строгой правде. К прозе ее вели ее записи, чуждые беллетристической полуправды. Два художественных произведения – запись о суде над генеральским сыном и над Бродским – порукой тому, что Фрида пришла бы и к правде и к прозе. На смену жалостливости безразборных дружб шла суровость, которая вела ее к уединению и к искусству. К тяжелому бремени от радостной легкости. Я уверена, что в конце 60-х – начале 70-х она была бы исключена из СП: ее публицистика была бы уже такой крепости, что со страниц “Комсомольской правды” сбежала бы в Самиздат. Да и без всякого “бы”: первая запись, положившая начало Самиздату, была речь Паустовского на обсуждении романа Дудинцева, вторая – процесс Бродского. Обе сделаны Фридой. Если буду жива, окончив 3-й том Ахматовой – возьмусь за Фридину книгу. 15/II 89».Но вернуться к «Фридиной книге» Лидия Корнеевна не успела. Книга осталась такою, какою была написана «по свежему следу», в 1966– 1967 году. – *Примеч. сост.*

Процесс исключения
Очерк литературных нравов

1

В декабре 1962 года мне широко улыбнулось счастье. Издательство «Советский писатель» заключило со мной договор на мою заветную книгу: повесть «Софья Петровна». Это повесть о тридцать седьмом годе, написанная зимою тридцать девятого-сорокового, непосредственно после двухлетнего стояния в тюремных очередях. Не мне судить, какова ее художественная ценность, но ценность правдивого свидетельства неоспорима. Я и до сих пор (1974) не знаю ни одной книги о тридцать седьмом, написанной в прозе *здесь* и *тогда*.

Быть может, она и существует под спудом, но еще не достигла нас? Будем надеяться…

В своей повести я попыталась изобразить такую степень отравления общества ложью, какая может сравниться только с отравлением армии ядовитыми газами. В качестве главной героини я избрала не сестру, не жену, не возлюбленную, не друга, а символ преданности – мать. Моя Софья Петровна теряет единственного сына. В нарочито искаженной действительности все чувства искажены, даже материнское, – вот моя мысль. Софья Петровна – вдова; ее жизнь – сын. Колю арестовали, ему дали лагерный срок; его объявили «врагом народа». Софья Петровна, приученная верить газетам и официальным лицам более, чем самой себе, верит прокурору, который сообщил ей, будто сын ее «сознался в своих преступлениях» и заслужил приговор «10 лет дальних лагерей». Софье Петровне твердо известно от самой себя, что никаких преступлений Коля не совершал и совершать не мог, что он до кончиков ногтей предан партии, родному заводу, лично товарищу Сталину. Но если верить самой себе, а не прокурору и не газетам, то… то… рухнет вселенная, провалится под ногами земля, прахом пойдет душевный комфорт, в котором ей так уютно жилось, работалось, аплодировалось… И Софья Петровна делает попытку верить *одновременно* и прокурору и сыну, и от этой попытки повреждается в уме. (Я, собственно, и хотела написать книгу об обществе, поврежденном в уме; несчастная, рехнувшаяся Софья Петровна отнюдь не лирическая героиня; для меня это обобщенный образ тех, кто всерьез верил в разумность и справедливость происходившего. «У нас зря не посадят». Если разуверишься, спасения нет; остается одно – удавиться.)

Обобщить виденное и пережитое Софья Петровна неспособна, и укорять-то ее за это – нельзя, потому что для мозга рядового человека происходившее имело вид планомерно организованной бессмыслицы; как осмыслить нарочито организованный хаос? Да еще в одиночку: стеною страха каждый прочно отделен от каждого, пережившего то же, что он. Таких, как Софья Петровна, множество, миллионы, но когда из сознания народа изъяты все документы, вся литература, когда подлинная история целых десятилетий подменена вымышленной, то каждый ум брошен сам на себя, на свой личный опыт и работает ниже себя.

…Долгие годы повесть моя существовала в единственном экземпляре: толстая школьная тетрадь, лиловые чернила. Хранить тетрадь дома я не могла: три обыска и полная конфискация имущества были уже у меня за плечами. Тетрадку мою приютил друг. Если бы ее у него обнаружили, его бы четвертовали. За месяц до войны я уехала из Ленинграда в Москву для медицинской операции; друг мой остался в Ленинграде; его по болезни не взяли в армию, и, как я узнала, оказавшись в Ташкенте, – он умер от голода во время блокады. Накануне смерти передал мою тетрадку сестре: «верни – если обе останетесь живы».

И вот я жива, и в руках у меня моя тетрадь. И умер Сталин, и состоялся XX съезд, и я дала мою тетрадь перепечатать на машинке, и мою повесть читают друзья. А после XXII съезда, в сентябре 1962 года, я предложила повесть издательству «Советский писатель»; все по правилам, все честь честью: в результате двух благоприятных рецензий повесть – в декабре – одобрена, принята, со мною заключен договор на принятую вещь; в январе 1963 года мне выплачивают 60% гонорара; в марте показывают готовые и принятые отделом оформления рисунки; рукопись вот-вот должна пойти в набор и превратиться в книгу.

Чудо!

Я видела, что издательство к моей повести расположено, что оно сочувствует ей и мне. Молодые редакторши, читая, плакали, и каждая просила экземплярчик для мамы и для мужа; художница исполнила рисунки с быстротой необычайной. Да что художница! Сама т. Карпова, главный редактор, правая рука самого директора, т. Лесючевского, та самая Карпова, от которой до тех пор на своем литературном пути я привыкла выслушивать одни лишь вежливые грубости, говорила мне теперь одни лишь грубые комплименты.

Единственное, чего потребовало от меня издательство: написать предисловие. Я написала.

Комплименты, расточаемые мне, искренние и неискренние, понятны были вполне. Скорость, с какой читали, рецензировали, готовили к сдаче в набор мою повесть, – тоже. Еще бы! Ведь «культ личности» разоблачен, тело Сталина вынесено из Мавзолея, и каждая газета, каждый журнал, каждое издательство обязаны хоть в малой мере «откликнуться» на «разоблачение массовых нарушений социалистической законности»: статьей, рассказом, стихами, повестью или романом.

Откликались! Карпова глубоко и сочувственно вздыхала, говоря о тяжелом прошлом, мудро и своевременно разоблаченном партией, – прошлом, которое никогда не вернется, и о «восстановлении ленинских норм партийной жизни». (Можно было подумать, будто нормы беспартийной жизни свято соблюдались всегда.)

И вдруг – одни почувствовали это ранее, я, отчетливо, в 63-м году, – кругом, все нарастая, поползли тревожные слухи: «наверху» перемена курса, неудовольствие, литература слишком уж углубляется в «последствия культа», надо говорить о достижениях, а не об «ошибках»; партия на XX и XXII съездах своими решениями все объяснила и все исправила; довольно, хватит. Уцелевшие возвращены из лагерей и тюрем, реабилитированы, им предоставлено не одно лишь жилье, и они даже, подумайте только, трудоустроены; родным погибших выданы справки о посмертной реабилитации сыновей, сестер, мужей; чего же еще? зачем же сыпать соль на раны? приступим к очередной посевной или очередной уборочной. «На энском заводе задута новая домна».

7 и 8 марта 1963 года состоялись разъяснительные встречи руководителей партии и правительства с интеллигенцией. Я – не того ранга интеллигенция, чтобы меня на высочайшие встречи приглашать; но в мае я получила другое приглашение: в издательство. Меня пригласил к себе заведующий отделом советской литературы т. Козлов и, с одной стороны, невразумительно-доброжелательно, с другой – непреклонно и категорически объяснил мне, что моя повесть хоть и принята, и сдана в производство, и даже на 60% оплачена, но напечатана быть не может.

Хотела было я зайти по этому случаю к самой Карповой, но ее не оказалось: то ли она болела, то ли была в отпуске или в командировке. Не помню.

Конечно, отказ издательства был для меня настоящим жизненным крушением, горем, но собственно к издательству претензий я не имела. Я видела, что многие работники искренне хотели опубликовать мою повесть. Но у нас ведь не редакции решают (в сколько-нибудь серьезных случаях), что издавать, а чего не издавать. Приказ есть приказ, запретная тема – запретная тема… Однако через некоторое время зашла я все-таки к главной поклон-

нице моей повести и главному редактору издательства «Советский писатель» т. Карповой. Села в кресло напротив нее. Спросила, как она полагает, долго ли будет длиться запрет.

– Странно, – сказала я, между прочим. – Ведь это как если бы об Отечественной войне предложено было напечатать три повести, три поэмы, три рассказа, три романа и – точка. «Не будем сыпать соль на раны!» – ведь в каждой семье убиты отец, или муж, или брат, или сын, а иногда по четверо в одной семье, и близким тяжело вспоминать о погибших. Но война длилась четыре года, а «культ личности» со своими «последствиями» – около тридцати. В каждой семье – отец, или муж, или брат, или жена, или сестра, а бывает, следа от целой семьи не осталось. Война – дело чудовищное, но можно понять ее причины и смысл, а вот смысл и причины «культа личности» и все, что этим «культом» вызвано, осмыслить много труднее. Тут каждый документ драгоценен для будущих поколений, для исследователей, в том числе и моя повесть.

– Я с самого начала говорила вам, – ответила без запинки Карпова, – что ваша повесть идейно порочна. Причины же и последствия культа опубликованием в газетах партийных документов достаточно разъяснены. Выступления Никиты Сергеевича и встречи руководителей партии и правительства с интеллигенцией внесли дополнительную ясность. Я же никогда не заблуждалась насчет вашей порочной позиции.

Карпова, главный редактор издательства «Советский писатель», в литературных кругах славилась своей патологической лживостью. Даже поговорка сложилась: «врет, как Карпова». Но прямая, наглая, бесстыдная ложь, сколько бы раз с ней ни встретиться в жизни, всегда ошеломляет наново. Об идейной порочности моей книги Карпова никогда не проронила ни слова. Напротив, более всех торопилась заключить договор и объявить «одобрение».

– Как вам не стыдно, – сказала я, растерявшись.

– Будьте еще благодарны издательству, – ответила Карпова, уткнувшись в бумаги, – что мы не требуем с вас деньги обратно. Государственные деньги на вашу повесть истрачены зря.

(Государственные деньги! Не ради денег писалась моя повесть в ту пору, когда вокруг меня, в моем родном городе, расстреливали каждого десятого, а может быть, пятого!)

Однако лгунья подала мне отличную мысль. Идею ответного удара.

– Деньги? – переспросила я, поднимаясь. – Деньги вы не вправе требовать у меня обратно. Этого не допустит закон. Принятую и одобренную к печати рукопись вы в любом случае обязаны оплатить полностью. Не я вам, а вы мне должны деньги. Я буду требовать их судом. Издательство переменило свои намерения? Пусть оно и будет оштрафовано, а при чем здесь автор?

– Попробуйте, попробуйте, – ответила мне Карпова в спину.

Через некоторое время я отправилась к юристу Союза писателей. Услышав, что рукопись моя была принята и одобрена, что к ней были приняты рисунки, что мне выплачены 60% гонорара, он определил мой иск как безусловно законный. Но тут же добавил: «Писатели обычно избегают судиться с издательством, потому что впредь оно перестает издавать их». Меня это не смутило. Я поехала в Управление по охране авторских прав, где один из молодых юристов, ознакомившись с копией договора, сразу согласился написать от моего имени жалобу в суд и представлять на суде мои интересы.

Время перед судом тянулось медленно. Судья вызвал меня и потребовал рукопись. Читал около месяца, если не более. Мнения своего не высказывал. Затем судебное разбирательство назначалось дважды и дважды откладывалось: не являлся ответчик. Я уж думала: все это неспроста. Наконец 24 апреля 1965 года заседание народного суда Свердловского района города Москвы при открытых дверях состоялось. Небольшой зал был полон. Судья вел дело сухо и точно, по-прежнему не говоря ни слова о повести. Юрист издательства «Советский писатель» был весьма многоречив. Он сообщил суду, что в повести обнаружен «идейный перекос», что раньше работники издательства, находясь «в угаре конъюнктуры

после XX и XXII съездов», не заметили этого перекоса, а теперь, в свете новых партийных решений, «взглянули на повесть другими глазами»; что повесть моя – всего лишь фотография, запечатлевшая одни лишь уродливые стороны нашей жизни; она лишь материал, из которого, поработав, можно было бы, пожалуй, создать «ударное, с ясных партийных позиций, произведение»; что повесть идейно неполноценна; что в издательство после опубликования «Одного дня Ивана Денисовича» хлынул поток произведений на лагерную тему, которому необходимо положить предел; что и Солженицына, может он нам сообщить доверительно, никто издавать более не собирается. «Да, да, он-то собирается, но мы не собираемся…» «Мы не сами поняли вредность темы, а нам указали: коммунистам печатать книги на эту тему нет необходимости, а главное, нет пользы…» В зале смеялись, перешептывались и, как я заметила, многие записывали[12]. «Если Чуковская это дело выиграет, – заявил напоследок юрист издательства, – это окажется дурным прецедентом». Юрист из охраны авторских прав был, напротив, очень краток. Он заметил, что мы не в Англии, что судопроизводство у нас не прецедентиальное, а закон об авторском праве ясен (он привел соответствующие пункты): рукопись одобрена, издательство в любом случае обязано выплатить автору все 100% гонорара.

Зал слушал его с сочувствием, судья – бесстрастно.

Несколько раз, после очередной речи многоречивого издательского юриста, судья приказывал мне:

– Отвечайте!

Я отвечала. Сказала я, в частности, что, если перестанут издавать Солженицына, это будет большой бедой для страны; что, впрочем, моя «Софья Петровна» и его «Иван Денисович» – повести, написанные о разных временах, в разное время и на *разные темы:* его – о лагере, моя – о «воле»; сказала я также, что если принята и одобрена моя повесть была «в угаре конъюнктуры после XX и XXII съездов», то не в угаре ли новой конъюнктуры договор теперь расторгается? И неужели решения XX и XXII съездов – это «угар конъюнктуры» – всего лишь?.. Я сказала, что если злодеяния прошедших годов могли совершиться, то не потому ли, в большой степени, что редакции газет, заваленные стонущими, плачущими, вопящими письмами, в которых родные молили вступиться, пересмотреть дела их близких, – лишены были возможности эти письма печатать? Редакторы не смели в угоду конъюнктуре. И действительно – кто бы в ту пору «осмелился посметь»? Подписать к печати подобный вопль значило тогда подписать себе смертный приговор.

Готовность редакций – всех! на всем огромном пространстве нашей страны, редакций всех газет, книг, журналов – всегда повиноваться дирижерской палочке стоящего у пульта дирижера, допускать или не допускать на свои страницы то или другое сообщение (например, о беззаконных арестах и пытках) – не есть ли одна из причин совершившегося? Я сказала: пусть моя повесть всего лишь фотография, а не живопись, но на этой фотографии запечатлен весьма существенный момент истории нашего общества, и повесть необходима всем, кто хочет задуматься над совершившимся.

Народные заседатели задавали ответчику вопросы, главным образом уточняющие даты «процесса прохождения». Судья был молчалив. По существу он задал юристу издательства всего один вопрос. Предоставив ему подробно обосновать утверждение, будто повесть моя «идейно неполноценна», судья спросил:

– А что, при заключении договора на принятую вещь, когда автору выплатили 60% гонорара, *тогда* повесть была полноценной?

[12] Одна из записей этого судебного разбирательства опубликована за границей в 1972 году – через семь лет! – в «Политическом дневнике». (Запись сделана Р. Орловой.)

Выслушав юриста издательства, юриста охраны авторских прав и меня, суд удалился на совещание.

Минут через двадцать:

– Суд идет… Прошу встать…

Зал встал настороженно.

– Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики…

Именем Российской республики народный суд Свердловского района постановил: издательство обязано выплатить автору все 100% гонорара ввиду того, что рукопись отклонена уже после одобрения.

Деньги были мне выплачены через несколько дней…

А повесть?

Над выпуском книг суд не властен.

Повесть, подхваченная Самиздатом, давно ходившая по рукам, перешла границу.

В 1965 году в Париже, в издательстве «Пять континентов», под другим названием («Опустелый дом»), с переменой имен некоторых героев (например, «Ольга Петровна» вместо «Софья Петровна») повесть была опубликована по-русски. Затем в Америке в двух номерах «Нового журнала» (1966, № 83 и 84, Нью-Йорк) под верным заглавием и без перемены имен тоже по-русски. Затем оказалась она переведенной на многие языки мира: я видела ее своими глазами по-английски, по-немецки, по-голландски, по-шведски и слышала, что существуют издания на других языках.

Благодарна Самиздату, заграничным издателям и переводчикам. Никакой шальной обыск по делу № 27, или 227, или 20227 не уничтожит теперь мое свидетельство. Конечно, давать моей повести другое заглавие (вместо имени героини – «Опустелый дом») не следовало; речь в моей книге идет об интеллигентном обществе, ложью доведенном до утраты сознания. Софья Петровна (Ольга Петровна тож) – представительница этого общества. Перемена названия в данном случае есть покушение на перемену замысла… Но как бы там ни было, я все равно благодарна.

Однако, испытывая благодарность, утоления не чувствую. Жду одного, хочу одного: увидеть мою книгу напечатанной в Советском Союзе.

У меня на родине. На родине Софьи Петровны.

Жду терпеливо: тридцать четыре года[13].

Я хотела бы подвергнуть повесть одному-единственному суду: моих сограждан, молодых и старых, в особенности старых, переживших то же, что выпало на долю пережить мне и столь непохожей на меня женщине, которую я выбрала героиней своего повествования, – Софье Петровне, одной из тысяч, виденных мною вокруг.

[13] Нет, сорок восемь. В 1988 году «Софья Петровна» опубликована в журнале «Нева», № 2, а затем в моей книге, выпущенной издательством «Московский рабочий».

2

XXII съезд партии принял решение воздвигнуть памятник невинно замученным – создать нечто вроде пантеона. Но решить решили, а исполнено не было. Напротив, как прекрасно разъяснил на суде в апреле 1965 года «ответчик», «нам, коммунистам», поминать случившееся «нет необходимости, а главное, *нет пользы*».

Что правда, то правда. Известный современный поэт давно написал (по другому поводу):

…штабелями
В снегу лежали не дрова…[14]

Написал поэт о блокадном Ленинграде. Но и в лагерях штабелями в снегу лежали не дрова. Естественно, ответчику отвечать за штабеля трупов неохота.

Памятник погибшим воздвиг пока что один А. Солженицын великой книгой «Архипелаг ГУЛаг» – писатель, изгнанный за свою упорную памятливость из пределов отечества. Те, кто в 1974 году изгнали из страны Солженицына, – уже в 60-х, а может, и ранее решили вычеркнуть из истории, вытравить случившееся из памяти поколений. Пусть мерзлая земля молча хранит мертвых, пусть вьюга заметет могилы, пусть их оплачет ветер. Но не слово.

Могучий «Реквием», плач Анны Ахматовой по загубленным жизням, до сих пор не прозвучал у нас на родине.

Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь[15].

…А ведь какая пошлая ложь – мысль, будто поминать и оплакивать означает растравлять раны. На самом деле это единственный известный человечеству способ лечения. Недаром Церковь создала для верующих бессмертные слова об усопшем, и панихида – это высокое утешение, не растрава; панихида бесцерковная – тоже. Произнести скорбное слово об ушедшем, о погибшем или загубленном – это не значит «сыпать соль на раны», это значит выплакать соленые слезы и утереть их.

…Приблизительно через четыре года после XX съезда и за год до XXII в «Правде» (29 апреля 1960) была помещена одна из глав поэмы Твардовского «За далью – даль». Касаясь «последствий культа», поэт писал:

Да, все, что с нами было, —
Было!
А то, что есть, —
То с нами здесь.

Нельзя считать эти четыре строки (в особенности две последние) удачными, богатыми мыслью. Они ниже Твардовского. Но в них, по крайней мере, содержалось признание: то,

[14] *Александр Межиров*. В блокаде // Поздние стихи. М.: Советский писатель, 1971, с. 191.

[15] «Реквием» опубликован в 1988 году в журнале «Нева», № 6.

что с нами было, – *было*[16]. А приблизительно годика через полтора после XXII съезда начал закрепляться новый вариант – уже не поэмы Твардовского, а фальсификации истории.

То, что с нами было, – того, оказывается, не было. Не отрицали нигде прямо, что оно было, но на этом месте – зияние, пауза, пропуск.

Мне постоянно приходили на память герценовские строки: «то, о чем не осмеливаешься сказать, *существует* лишь наполовину»[17].

Сначала «наполовину», потом на одну четверть, на одну десятую; потом пострадавшие и свидетели вымрут, а если вовремя заткнуть рот прессе (благо у всей нашей прессы рот *один!*), то новые поколения толком ничего и не узнают, и не осмыслят, и не выведут для себя из истории отцов и дедов никакого урока.

Расчет очень верный. Процесс выкорчевывания памяти шел и идет с полной неуклонностью, однако неравномерно, рывками: два шага вперед, три назад. Так, например, даже в 1972 году Краткая Литературная Энциклопедия еще ставила галочку: «незаконно репрессирован, посмертно реабилитирован». В других же изданиях уже в шестидесятые годы хотя писатели и пробовали иногда намекнуть на случившееся – попытки оказывались напрасными. Вот, например, книга Льва Славина «Портреты и записки» (1965). Очерк, посвященный жизни и творчеству писателя Виктора Кина. Абзац, который, по всей видимости, в конце должен был сообщать о его гибели, читается так:

«В те годы Кин… (напомню, он был корреспондентом ТАСС в фашистской Италии. – *Л. Ч.*)… в те годы Кин говорил, что он мечтает дожить до того времени, когда восставший народ вздернет Муссолини. Предсказание Кина сбылось. Но… сам он не дожил до его свершения. Он не мог *предвидеть того чудовищного, что случилось с ним самим»* (с. 106).

Что же такое случилось с ним самим? Его тоже вздернули, как Муссолини? А может быть, он заболел раком?

Попытка рассказать оборвана. Ответа нет. Следующий абзац (я убеждена: сделанный после насильственного пропуска) возвращает нас к огромному успеху романа Виктора Кина «По ту сторону». Начинается абзац с многоточия: знак пропуска. Биограф от судьбы Кина срочно переходит к судьбе его романа: судьба романа своим чередом, судьба автора – своим.

Напрасно думать, однако, что выкорчевывание из памяти народа всего пережитого началось так поздно, года через два после очистительных громов XXII съезда. Уже после XX, в самый разгар реабилитаций, Большая Советская Энциклопедия, сообщая в 1957 году, что грузинский поэт Тициан Табидзе был «вдохновенным певцом великих дел советского народа», а грузинский поэт Паоло Яшвили «воспевал героический созидательный труд» – не правда ли, как хорошо? – гибель этих вдохновенных певцов просто обходит молчанием. В скобках против обоих имен стоят даты рождения и «смерти»: (1895–1937). Сверстники. Погодки. Каждый из них, обращаясь к другому, мог воскликнуть: «Мой брат родной по музе, по судьбам», но в 1957 году, то есть через двадцать лет после их гибели и через год после XX съезда, от читателей Большой Советской Энциклопедии судьбы их были уже – или еще? – утаены: Табидзе в 1937 году расстрелян, а Яшвили загнан в самоубийство.

В 1958 году в статье, посвященной биографии Артема Веселого, через два года после XX съезда то ли редакция, то ли кто иной так *обрывает* рассказ о писателе:

«Но много поработать Артему Веселому уже не удалось. Его полная творческого нетерпения и труда жизнь *оборвалась* рано»[18].

От нетерпения?

---

[16] Курсив всюду мой. – *Л. Ч.*

[17] *А.И. Герцен*. Собр. соч.: В 30 т. Т. 7. М., 1956, с. 214.

[18] *И. Чарный.* Артем Веселый // Артем Веселый. Избранные произведения. Гослитиздат, 1958, с. 22.

А вот – о судьбе Бруно Ясенского. Вдова Ясенского, арестованного и погибшего в заключении, сохранила его рукописи, и в 1957-м, то есть после XX съезда и после реабилитации, Гослитиздат опубликовал двухтомник его сочинений. Вот как сообщает о гибели мужа во вступительной статье вдова:

«Заговор равнодушных» – роман, который не удалось Ясенскому окончить, в *связи с трагическими событиями в его жизни.* Преждевременная смерть унесла смелого и горячего коммуниста, талантливого писателя, прекрасного поэта».

Итак, трагическим событием в жизни Ясенского была его преждевременная смерть. Не инсульт ли? Людям горячим часто случается умирать от инсульта, или, как говорили в старину, от «удара»; погорячился, «кровь бросилась ему в голову» – и конец.

А может быть, кровь лилась из простреленной головы?

…Посмертная судьба Виктора Кина менялась на глазах, демонстрируя своей переменчивостью, какими извилистыми были пути заталкивания истории в небытие. Повторяю: процесс этот совершался неравномерно, зигзагами. Начался сразу; и необязательно, чем позднее – тем лживее; иногда наоборот. Например, как мною уже рассказано, Лев Славин в 1965 году сообщил, по крайней мере, в своих воспоминаниях, что с Кином случилось нечто «чудовищное», – а в 1961-м, то есть на четыре года раньше, в тот памятный год, когда Сталин был вынесен из Мавзолея, в год XXII съезда, – Б. Галанов, преподнося читателю биографию того же Виктора Кина, ни о чем чудовищном не упоминает[19]. (Многое, по-видимому, зависело не только от напора издательств, а и от отпора биографов.)

У Галанова выходит нечто благостное: умер человек и умер. Должен каждый человек когда-нибудь умереть. Это само собой разумеется. Где, когда, отчего – зачем огорчать читателя?

Семидесятые годы – уже почти сплошь эпоха неупоминаний. Либо о гибели в заключении не упоминается вовсе, либо жизнь погибшего превращена в жизнь путешественника.

Приведу пример виртуозного умения избежать слова «гибель».

Бетал Калмыков, первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома партии, в 1938 году был расстрелян. Затем реабилитирован, и ему – редкая почесть для расстрелянного! – на одной из площадей Нальчика воздвигнут памятник. Вот как сообщается о его гибели в очерке В. Чимарева и В. Комиссарова «Главное – впереди!» (мне представляется, у Калмыкова уже позади).

«Бегают по улицам Нальчика мальчишки и девчонки, для которых имя его история. И непонятно им *подчас*, почему их деды и бабушки *нередко* приходят к памятнику, установленному на площади, смотрят на бронзового Бетала, не вытирая слез»[20].

Вот тут бы Чимареву и Комиссарову самое место и объяснить недоумевающим мальчишкам и девчонкам, с чего это их бабушки и дедушки *нередко* расстраиваются, глядя на памятник. Какая могла быть правдивая, увлекательная и поучительная повесть! Но книга молчит. Будем надеяться, «подчас» пробалтываются бабушки и дедушки.

Это – способ умолчать о расстреле. А вот способ умолчания о ссылке и лагере.

Философ, лингвист, теоретик литературы, исследователь Достоевского и Рабле, автор теоретических работ о русском и западноевропейском романе, М. М. Бахтин провел несколько лет в ссылке в Казахстане. Сейчас он живет в Москве[21]. В честь его семидесятипятилетия в Саранске в 1973 году издан сборник статей «Проблемы поэтики и истории литературы». Юбиляру посвящена почетная первая статья, открывающая сборник. Но правдивого жизнеописания юбиляр не удостоен. В статье В. Кожинова и С. Конкина о его ссылке – ни

[19] *Б. Галанов.* Виктор Кин и его роман //Виктор Кин. По ту сторону. М.: Гослитиздат, 1961.

[20] Альманах «Прометей». М.: Молодая гвардия, 1972, т. 9, с. 19.

[21] 7 марта 1975 года М. М. Бахтин скончался. – *Примеч. 1975 года.*

звука. Просто Бахтин – очевидно, такой уж подвижный характер! – предпочел изучать историю русской литературы в глуши, подальше от центральных архивов и библиотек. Читаем:

«Вскоре после выхода книги о Достоевском М. М. Бахтин *поселился* на границе Сибири и Казахстана, в г. Кустанае».

Сам поселился. Поселил себя сам. Жил-жил в Ленинграде, взял да и переехал. В глушь – в Кустанай.

В № 9 альманаха «Прометей» за 1972 год напечатана автобиография П. А. Флоренского. Напоминаю: священник П. Флоренский, родившийся в 1882 году, – русский религиозный философ, писатель, богослов, историк православия; ученый-энциклопедист: специальностью Флоренского была и математика, и теория перспективы в изобразительном искусстве, и электротехника, и интерпретация библейских текстов на разных языках. Во вступительном очерке к автобиографии П. Палиевский указывает дату смерти – 1943 (кстати, не очень достоверную), но забывает указать причину: арест и заключение.

А поэт Осип Мандельштам пером А. Дымшица просто обращен в путешественника. Этакий поэт-непоседа. Жил в Петербурге; до революции побывал в Западной Европе, в Италии, в Париже, ну а потом принялся колесить по родной стране. На страницах предисловия А. Дымшица к тому «Стихотворений» О. Мандельштама, вышедшему после пятнадцатилетних мытарств в Большой серии «Библиотеки поэта»[22], рассказывается, что Мандельштам живал в Крыму, в Москве, в Петрограде, опять в Крыму, потом в Тифлисе, потом опять в Петрограде, опять в Москве, снова в Тбилиси, потом в Ереване, в Ростове, в Перми, в Абхазии, – потом, представьте себе, в крохотном городке Чердыни (на Каме), потом в Воронеже, – ну а потом, потом – «оборвался творческий путь Мандельштама». Комар носу не подточит – все правда. А что Чердынь и Воронеж были ссылкою, а умер Мандельштам арестованным и, после тюрьмы, в пересыльном лагере под Владивостоком, на творческом пути в тундру, – об этом предисловщик умалчивает. Хочу надеяться; потому и не выходил так долго – полтора десятилетия! – том стихотворений Мандельштама с отличным комментарием Н. Харджиева, что не могли подобрать литератора, который согласился бы умолчать истину: Мандельштам не *умер, он был убит* тюрьмою, ссылкою, этапом, лагерем.

Пушкин был убит – в 1837 году – императорским двором и Дантесом. Убит, а не *умер*. Так вот, хоть и без Дантеса, через сто лет Мандельштам в 1937 году тоже был *убит*, а не *умер*.

Подобная подмена – это, в сущности, вторичное убийство. И нашелся в конце концов человек, считающий себя литератором, у кого повернулась рука написать эту злодейскую ложь. Такой ценой – ценою извращения биографии поэта, вышли у нас на родине его стихи.

Мне скажут (и говорят): вот и прекрасно! вот и должно платить подобную цену. Не напиши Дымшиц своего окаянного вранья – не, получил бы советский читатель принадлежащего ему наследства: поэзии Мандельштама. А так? Что ж! Дымшица можно не читать, можно даже выдрать его предисловие из книжки, а стихи Мандельштама дошли наконец до читателей. Следует даже быть благодарными Дымшицу. Он в некотором смысле доблестно принес себя в жертву.

Быть может, говорящие – арифметически правы. (Впрочем, замечу: советский читатель получил самую малость тиража. Иноземный тоже. Куда делся тираж? «Загадочная картинка».)

…Не берусь судить о правоте людей, мыслящих арифметически. «Соглашусь умолчать о гибели Флоренского, зато мне удастся многое о нем рассказать». Правилен ли этот расчет? Честно отвечаю: судить не берусь. Надо мною подобная арифметика власти уже не имеет.

---

[22] *О. Мандельштам*. Стихотворения / Вступительная статья А. Л. Дымшица. Составление, подготовка текста и примечания Н. И. Харджиева /Л.: Советский писатель, 1973.

Я ведь тоже еще не так давно была печатавшимся советским литератором. Значит, в той или иной степени я соучастница общей лжи и общего молчания. Но для каждого человека наступает час, когда правда берет его за горло и навсегда овладевает душой. Общего для всех часа нет: «душа темна, пути лукавы». Со мной это случилось, когда в застенках моего родного города обильно полилась кровь. С опозданием я открыла глаза? Да, конечно: ведь не очнулась же я раньше, например в годы коллективизации; однако очнулась. Открыв глаза, я написала – хоть и «в стол», или, точнее, под землю, но все-таки написала – «Софью Петровну», повесть об ослепшем обществе. Через два десятилетия (после смерти Сталина, после XX и XXII съездов) я была, как и многие, обольщена надеждой. Значит, написано было когда-то не зря, значит, теперь будет опубликовано! Люди прочитают. Но надежда моя не осуществилась. Когда же я поняла, что у нас начинают снова отнимать память, я поняла и другое: ни за какие блага в мире я это выстраданное достояние не отдам. И людям буду мешать заново впасть в беспамятство. Пусть никогда больше не напечатают ни единой моей строки, пусть останутся неосуществленными дорогие мне литературные замыслы – но выкорчевывать из моего текста имена погибших и общее имя их гибели я ничьей руке не позволю. Никому, никогда. Не стану ни взвешивать, ни измерять, ни рассчитывать: что лучше? сказать хоть что-нибудь о погибшем человеке или не сказать ничего, раз о гибели нельзя?

Пусть каждый решает этот вопрос вопросов по-своему.

Для себя я решила.

Казалось бы, не бог весть какое трудное решение. А на деле, в наших условиях, оно нелегко – и не только из-за денег, которые вам выплатят или не выплатят, а морально. И не только когда речь идет о загубленных людях, но и о загубленных книгах. Всего лишь.

Сколько раз на собственном литературном пути я уступала, отказывалась по требованию редакций говорить в печати о дорогом и важном мне – читателю! Как все литераторы, я печаталась в рамках советской цензуры. А в этих рамках всякий литератор неизбежно превращается в некий арифмометр. Согласишься на уступку – и тебе разрешат произнести вслух нечто, представляющееся тебе чрезвычайно важным. Не согласишься – не дадут сказать ничего. Сосчитай, что разумнее. И я когда-то была арифмометром: рассчитывала – высчитывала. Для начала возьму пример, вовсе не касающийся гибели человека. Речь пойдет о гибели книги.

Случилось мне много писать о Борисе Житкове. Я убеждена, что такие его вещи, как «Дяденька», «Николай Исаич Пушкин», «Храбрость», «Про слона», «Механик Салерно», «Джарылгач», «Мираж», «Тихон Матвеич», «Мангуста», «Сию минуту-с!..», – это замечательная русская проза. А рассказ «Слово», появившийся посмертно, – шедевр[23]. О рассказах Житкова я много говорила в печати. Но были у него не только рассказы, был роман «Виктор Вавич», посвященный 1905 году, – роман, который автор, участник первой революции, почитал главным делом своей жизни. С конца двадцатых и до половины тридцатых я была дружна с Борисом Степановичем. Он читал мне «Вавича» вслух, по рукописи, главу за главой. Судьба у «Виктора Вавича» странная: при жизни автора отрывки из романа были опубликованы в нескольких номерах журнала «Звезда»[24] и отдельные части, I и II, в издательстве «Прибой» и в «Издательстве писателей в Ленинграде». Житков скончался (от рака легких, на воле) в 1938-м. Наконец в 1941 году издательство «Советский писатель» выпустило весь роман целиком. Выпустило? И да и нет. Формально – да; в действительности – нет. В «Книжной летописи» (1941, № 20) роман значится вышедшим. Значится-то значится, а до читателей не дошел. Время ко дню его выхода наступило крутое, военное, издательства срочно пересматривали не только принятые рукописи и планы на будущее, но и кипы уже отпеча-

[23] Журнал «Москва», 1957, № 5.

[24] 1932, № 6 и 7.

танных книг. «Нужна ли книга», хотя бы и отпечатанная, «сегодня», сейчас? Издательство послало «Вавича» на рецензию тогдашнему руководителю Союза писателей. Приговор был таков: не нужна. Книга хоть и талантливая, но «не полезна в наши дни»; она «страдает двумя крупнейшими недостатками, которые мешают ей *увидеть свет*, особенно в наши дни».

Приговор был приведен в исполнение: роман не увидел света. Из десятитысячного тиража просочилось наружу, по-видимому благодаря рабочим типографии, экземпляров десять – пятнадцать. Свет увидела не книга, а тайная рецензия, сделавшаяся явной[25].

Я всегда полагала, уверена и теперь, что роман Бориса Житкова «Виктор Вавич» – один из самых сильных романов в русской советской литературе «досолженицынского периода». Быть может, самый сильный.

Но роман этот не сделался достоянием читателей. Описание охранки и предательства для нас, видите ли, не современно!

В 1955 году я предложила «Литературной газете» статью «Утаенное наследство». В ней попрекала я главным образом Детгиз: издательство переиздает только рассказы Житкова для маленьких (слабейшие, на мой взгляд, из им написанных), а рассказы для подростков – замечательные богатством языка, лаконизмом, силой изображения, неожиданностью фабульных поворотов и глубиною и ясностью этического вывода – Детгиз, писала я, никак не соберется переиздать уже лет семнадцать. Почему этого своего наследия советский читатель лишен?

Статья моя была редакцией газеты принята, но при одном непременном условии: о романе «Виктор Вавич» ни звука. Почему? Неизвестно. Тайное еще не сделалось явным: «внутренняя» рецензия А. Фадеева еще не вышла наружу. Роман Бориса Житкова «Виктор Вавич» в 1941 году был по повелению свыше уничтожен – значит, и настаивать на его издании без нового указания свыше не следует. Тем более что он числится в вышедших – чего же вам еще?

Но ведь статья моя называется «Утаенное наследство»! О том-то я и пишу – об одном из случаев разорения русской культуры! Читатель не получил принадлежащего ему наследия!

Нельзя. Упреки по адресу Детиздата, что не переиздается много лет «подросточий» Житков, – это пожалуйста. А насчет необходимости в самом деле издать роман «Виктор Вавич», дать его читателям, а не библиографии – промолчите.

– Почему?

– Промолчите.

И я промолчала. Из соображений чистой и безусловной арифметики: если запрещено добиваться переиздания романа, мне надлежит добиваться хотя бы переиздания рассказов – тем более что при жизни автора они постоянно попадали под обстрел педагогов, всегда предпочитающих литературную гладкопись богатству мысли и своеобразию стиля.

Расчет чисто арифметический: если нельзя издать всего Житкова – пусть переиздадут хотя бы часть.

Ценою этой уступки да еще переменой заглавия статья вышла в свет[26].

---

[25] *Александр Фадеев.* За тридцать лет: Избранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве. М.: Советский писатель, 1957, с. 811–812.«Эта книга, написанная очень талантливым человеком, изобилующая рядом прекрасных психологических наблюдений и картин предреволюционного быта, страдает двумя крупнейшими недостатками, которые мешают ей увидеть свет, особенно в наши дни:1. Ее основной персонаж Виктор Вавич, жизнеописание которого сильно окрашивает всю книгу, – глупый карьерист, жалкая и страшная душонка, а это в соединении с описаниями полицейских управлений, охранки, предательства делает всю книгу по тону очень неимпонирующей переживаемым нами событиям. Такая книга просто не полезна в наши дни.2. У автора нет ясной позиции в отношении к партиям дореволюционного подполья. Социал-демократов он не понимает. Эсерствующих и анархиствующих – идеализирует.1941».

[26] Статья «Утаенное наследство» была напечатана «Литературной газетой» 29 января 1955 года под заглавием, которое утаивало ее смысл; редакция назвала мою статью не «Утаенное наследство», а «Вперед – в страну взрослых!». И я согласилась. Ведь *зато* этой статьей мне удалось добиться переиздания многих прекрасных рассказов!.. И такую ли еще уступчивость, всего лишь такую ли, проявляла я на своем долгом литературном пути! Вспомнить стыдно. В мою книгу «Дека-

Арифметика моя в применении к статье о Житкове сработала верно. Именно в результате газетной статьи Детгиз выпустил наконец сборник Житкова «Избранное», куда входили рассказы для подростков. Предисловие к «Избранному» написано было мной. (Его да еще документальные свои воспоминания «Экзамен» я считаю единственно ценным, что написано мною о Житкове. Но в воспоминаниях, при всей их документальности, о романе «Виктор Вавич» – ни звука, а в предисловии к «Избранному» – одна строка.)

В том же 1955 году то же издательство Детгиз выпустило толстую книгу «Жизнь и творчество Б. С. Житкова». Среди воспоминаний и писем, напечатанных в сборнике, опубликованы были и мои воспоминания («Экзамен»), и отрывки из многочисленных писем Житкова ко мне. Воспоминания мои сплошь построены на цитатах из писем, а в письмах – сплошь! – почти всюду, без исключений, речь идет не о чем ином, а о романе «Виктор Вавич». Но всюду, даже там, где упоминаются имена персонажей, искусно представила я читателю дело так, будто речь идет невесть о чем, о каком-то безымянном «произведении», над которым тогда трудился Житков. Об уничтоженной в 1941 году книге «Виктор Вавич» я не сказала ни слова. Моя работа поддерживала ложь, а не разоблачала ее. Мало ли о каких своих произведениях и о каких задуманных героях – Наденька, Санька, Таня – мог рассказывать в письмах ко мне Житков!

Арифметически мой расчет, повторяю, был верен. Роман не переиздали, но зато ценою умолчаний рассказы «удалось пробить». И «Экзамен», и отрывки из писем – вышли в свет. А моральный расчет – верен ли был? Сомневаюсь.

…Приблизительно после 1962 года я отчетливо поняла, что завязалась борьба, как всякая борьба в нашей стране, почти без звука, в шапке-невидимке. И такая, к которой арифметика неприменима, разве что статистика смертей. Уже не вокруг загубленной книги Житкова, а вокруг памяти о загубленных жизнях. Тогда-то я и дала себе свой скромный, неоглашаемый, тоже невидимый и тоже беззвучный зарок.

Лучше я ничего не скажу о погибшем, чем, рассказывая его биографию, умолчу о гибели.

Правильное это решение? Неправильное? Решайте сами.

«Все, что с нами было, – было», – говорили одни, чувствуя себя правдолюбцами. И ставили после этого правдивого утверждения большую, жирную, правдолюбивую точку.

Вот мы какие правдивые! Признаем: было!

«Всего того, что с нами было, вовсе не было, – говорили другие. – То есть, конечно, что-то нехорошее при Сталине было – перегибы, ошибки, – но партией все уже разоблачено. Вперед по ленинскому пути – к строительству коммунизма! Мертвых не воскресишь, и чем меньше разговоров о прошлом – тем лучше».

«Необходимо исследовать, что произошло, – говорили третьи, и я в их числе, – что́, почему и когда случилось, что привело к совершившемуся. Раны, не омытые слезами, гноятся. Ни шагу нельзя сделать вперед, предав совершившееся забвению».

В феврале 1968 года я написала статью «Не казнь, но мысль. Но слово», в которой попыталась найти точное выражение своему требованию.

«Я хочу, чтобы винтик за винтиком была исследована машина, которая превращала полного жизни, цветущего деятельностью человека в холодный труп. Чтобы ей был вынесен приговор. Во весь голос. Не перечеркнуть надо счет, поставив на нем успокоительный штем-

---

бристы – исследователи Сибири» (Географгиз, 1951) я разрешила редактору вставить строки, восхваляющие сталинскую Конституцию и сталинское индустриальное преобразование Сибири, хотя к тому времени я уже отлично знала цену и той и другому. Но я покорствовала общепринятой теории «наклеенной марки». Наклеишь марку (то есть *вставишь* казенные фразы) – письмо дойдет, а не наклеишь – твое письмо не доставят по адресу. А в моей книге – в моем письме к читателю содержится такой, казалось мне, ценный исторический материал: рассказано о культурной работе декабристов в Сибири. Ну, соглашусь помянуть лишний раз сталинскую Конституцию. И *зато*...

пель «уплачено», а распутать клубок причин и следствий, серьезно и тщательно, петля за петлей, его разобрать… Миллионы крестьянских семей, тружеников, выгнанных на гибель, на Север, под рубриками «кулаки» и «подкулачники». Миллионы горожан, отправленных в тюрьмы, в лагеря, а иногда и прямо на тот свет под рубриками «шпионы», «диверсанты», «вредители». Целые народы, обвиненные в измене и выгнанные с родных мест на чужбину.

Что же привело нас к этой небывалой беде? К этой совершенной беззащитности людей перед набросившейся на них машиной? К этому невиданному в истории слиянию, сплаву, сращению органов государственной безопасности (ежеминутно, денно и нощно нарушавших закон) с органами прокуратуры, существующей, чтобы блюсти закон (и угодливо ослепшей на целые годы), – и, наконец, с газетами, призванными защищать справедливость, но вместо этого планомерно, механизированно, однообразно извергавшими клевету на гонимых – миллионы миллионов лживых слов о ныне разоблаченных, матерых, подлых врагах народа, продавшихся иностранным разведкам?

Когда и как оно совершилось, это соединение, несомненно самое опасное изо всех химических соединений, ведомых ученым? Почему оно стало возможным? Тут огромная работа для историка, для философа, для социолога. А прежде всего для писателя. Это главная сегодняшняя работа – и притом безотлагательная. Срочная. Надо звать людей, старых и молодых, на смелый труд осознания прошедшего, тогда и пути в будущее станут ясней. И нынешние суды над словом не состоялись бы, если бы эта работа оказалась проделанной вовремя».

Если бы все мы, и я в том числе, не были приучены замалчивать или извращать по приказу: не одно, так другое.

«Отношением к сталинскому периоду нашей истории, вцепившемуся когтями в наше настоящее, – писала я тогда, – определяется сейчас человеческое достоинство писателя и плодотворность его работы»[27].

Эта статья – действие активное. Но еще до ее написания я совершила поступок, который даже и поступком не назовешь.

В середине шестидесятых годов, как я уже сказала, я дала себе относительно собственного литературного поведения свой скромный зарок. Чем чаще я видела, как удаляют из книг упоминания о насильственных гибелях, чем чаще возникали вокруг новые суды над словом, чем чаще на страницах газет появлялись прямые или косвенные утверждения, будто Сталин хоть, конечно, и зря расстреливал старых большевиков, но зато был выдающимся марксистом и внес ценный вклад в науку («это то же самое, – заметила однажды мельком Ахматова, – что признать: человек был людоедом, но зато отлично играл на губной гармонике»), чем более явственно в беззвучной борьбе между памятью и забвением побеждали циркуляры о нарочитом забвении, а с памятью чинилась расправа, чем чаще упоминания о гибелях выпалывались со страниц предисловий и послесловий, как вредный сорняк, – тем тверже становилось принятое мною решение: я никогда не позволю ни одному редактору и ни ради какой бы то ни было высокой цели вычеркнуть из моей статьи или книги хотя бы единую строчку, посвященную памяти погибших.

Сейчас, в середине семидесятых, на меня уже вообще никакая литературная арифметика не действует. Сейчас я уже не отдала бы и заглавия «Утаенное наследство» – потому что оно в самую точку, и в замалчивании горестной истории романа «Виктор Вавич» не стала

[27] Статья «Не казнь, но мысль. Но слово» разошлась в Самиздате в тысячах экземпляров. Она была напечатана во многих зарубежных газетах и передана несколькими радиостанциями мира. В 1976 году в Нью-Йорке издательство «Хроника» выпустило сборник моих статей и открытых писем под названием «Открытое слово». Там опубликована и указанная статья. Напечатана она теперь и в Москве – см. журнал «Горизонт», 1989, № 3, с. 44–48. – *Примеч. 1990 года.*См. также с. 487–493 настоящего издания.

бы участвовать. Тогда, в середине шестидесятых, литературная арифметика перестала действовать на меня всего лишь в одном пункте, но зато в самом главном.

Мой обет далеко не сразу отразился на моей литературной судьбе. Ведь занятия мои были разнообразны: далеко не в каждой статье или книге шла речь о погибших в тридцатые или сороковые. На литературной судьбе моей больше, чем данный мною обет, поначалу отражались открытые письма, адресованные мною во все советские газеты, но не напечатанные ни в одной: «Михаилу Шолохову, автору «Тихого Дона» (1966); «Не казнь, но мысль. Но слово» (1968); «Ответственность писателя и безответственность «Литературной газеты» (о Солженицыне, 1968); «В судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда УССР» – заявление по делу Рейзы Палатник (1971) и др.[28] В наших газетах их не печатали вовсе, перестукивал и распространял охотно один Самиздат. Если говорить о судьбе моих печатных (типографским способом) книг, то на нее сильнее повлияли, конечно, открытые письма, чем мой скрытый обет. С Самиздатом управиться трудно, ну, а дать насчет самовольного автора распоряжения по издательствам – легче легкого. Хочешь, чтобы тебя перепечатывали на машинке, – не будут тебя печатать в типографии. Примерно со времени моего открытого письма «Михаилу Шолохову» статьи и книги, прежде удостаивавшиеся лестного внимания советской критики, читателей и писателей, перестали переиздавать вообще. Да и новые издавать – тоже. Чудом вышла в 1967 году в альманахе «Прометей» глава из большой книги о Герцене: «Начало». На этом начале моя литературная деятельность, в сущности, кончилась (если не считать опубликованной в № 9 «Нового мира» за 1968 год стенограммы двух записанных мною бесед с С. Я. Маршаком).

Далее вступил в силу мой зарок. Он мешал публикованию моих статей или книг, даже в тех редких случаях, когда издательства еще обращались ко мне или были так милостивы, что соглашались рассматривать мною написанное.

Мне предлагали изъять страницу, полстранички, абзац, строку, и тогда моя работа, вся, за исключением строчки или абзаца, будет отправлена в типографию, напечатана, опубликована, а может быть, и похвалена. Но – если речь шла о погибших – я отказывалась.

…штабелями
В снегу лежали не дрова…

Приведу два примера – их было гораздо больше, но для наглядности хватит и двух.

В июле 1964 года скончался С. Маршак. Редакторской работе Самуила Яковлевича мною посвящена целая глава в книге «В лаборатории редактора». Естественно, что мне, знавшей С. Я. Маршака около сорока лет, проработавшей бок о бок с ним – девять, захотелось написать воспоминания о нем. В октябре 1966 года я их окончила. Прежде всего предложила свои мемуары в журнал «Детская литература». Там не пожелали даже прочесть: т. Бавина вежливо и обоснованно сообщила мне, что у них в портфеле материалу на десять номеров вперед. Так что и читать мои воспоминания не стоит. (Среди их сотрудников, по-видимому, множество людей, близко знакомых с С. Я. Маршаком в течение сорока лет.) Я не удивилась: со времени моей статьи «О чувстве жизненной правды»[29], посвященной ханжеству в детской литературе, вся казенная детская литература от меня отвернулась.

Гораздо более удивило меня успешное продвижение моих воспоминаний в издательстве «Советский писатель», в сборнике памяти С. Я. Маршака. В один прекрасный день (полагаю, это было осенью 1970 года) мне позвонили из отдела критики и литературоведе-

[28] См. сборник «Открытое слово». Сборник выходил дважды: в Нью-Йорке (1976) и в Москве (1991). См. также с. 481–508 настоящего издания. – *Примеч. сост.*

[29] Литературная газета, 24 декабря 1953.

ния и сообщили – приветливым юным женским голосом младшего редактора, – что воспоминания идут в набор. На следующий день тот же приветливый женский голос сообщил мне в трубку, что хотя воспоминания действительно идут в набор, но Борис Иванович Соловьев (заместитель т. Карповой) просит убрать полстраницы.

Всего два абзаца. Какие же?

Первый начинался так:

«В годы 1937–39, когда одни из товарищей Самуила Яковлевича были арестованы и исчезли – кто надолго, а кто и навсегда, он […] пытался – случалось, и с успехом – вступаться за несправедливо гонимых».

Второй кончался так:

«…Миновали годы. Со смертью Сталина начались возвращения и воскрешения. В «Литературной газете» в 1955 году Юрий Герман первый помянул добрым словом «ленинградскую редакцию», руководимую в тридцатые годы С. Я. Маршаком. «Будто отворили замурованную дверь», – говорил мне, прочитав эту статью, Самуил Яковлевич».

Вспомним ахматовское:

Что там? – окровавленные плиты
Или замурованная дверь…[30]

Когда два абзаца в моих воспоминаниях прочитал в 1970 году Борис Иванович Соловьев, ему захотелось, чтобы дверь снова была замурована.

В 1962 году в двери еще светилась щель и едва не проскочила в печать моя повесть; в 1963-м – почти точно такая же – почти та же самая – страница о разгроме редакции Маршака проскочила во втором издании моей книги «В лаборатории редактора»[31], а вот в 1970-м в сборнике памяти С. Маршака она уже напечатана быть не могла.

Время крепло, определялось.

Но и мое решение к этому времени уже вполне окрепло. Когда мне позвонила заведующая отделом критики и литературоведения Е. Н. Конюхова, уговаривая вычеркнуть или «смягчить» страницу в моих воспоминаниях, я отказалась и вычеркивать, и смягчать, и беседовать с Борисом Ивановичем.

Так и лежат у меня в столе мои воспоминания о Маршаке.

В 1966 году Ленинградское отделение Детиздата обратилось ко мне с просьбой: написать предисловие к повести о детстве, начатой некогда, в тридцатые годы, И. И. Мильчиком. Повесть посвящена девяностым годам прошлого века – то есть царскому времени. Когда я в середине тридцатых годов начала редактировать первые главы – И. И. Мильчик был уже пожилой человек с немалым жизненным опытом, хлебнувший при царе и каторжных тюрем, и сибирских ссылок; во время Октябрьской революции – член Совета Рабочих и Солдатских Депутатов Петрограда от Выборгской стороны; затем – заместитель директора одного из машиностроительных ленинградских заводов, член Общества политкаторжан. Крупный, осанистый, плечистый человек с ярко-синими глазами на всегда загорелом лице. Он обладал большим чувством собственного достоинства, которое не мешало ему, однако, сознавать в непривычной работе свою неумелость. Мы подружились и слушали друг друга с интересом. Глядя на его сильные плечи, на уверенные движения грубоватых, но точных рук, ощущая его самобытность и строгость, вспоминала я строки Блока из «Вольных мыслей» – те, где стих ведется о рабочих на пристани:

---

[30] *Анна Ахматова*. Эхо // Бег времени. М.; Л.: Советский писатель, 1965, с. 425.

[31] М.: Искусство, с. 323.

И светлые глаза привольной Руси
Блестели строго с почерневших лиц.

И. И. Мильчик с готовностью выслушивал мои пожелания, но принимал их строго, с большим отбором, критически.

Я узнала, что по своей дореволюционной профессии он токарь, теперь пишет историю дореволюционного подполья, живет постоянно за городом, где жена его, врач, ведает больницей, и что есть у них маленький сын, Миша. И. И. Мильчик был отличным рассказчиком, чем и пленил редакцию; пережил он и детский каторжный труд – чуть не с восьми лет непосильно работал в механической мастерской в Астрахани; потом – взрослый каторжный труд в Сибири (левый эсэр) и рассказывал о пережитом – нам в редакции – прекрасным русским языком, как истый волжанин. Моя редакторская задача была и проста и трудна: не дать ему в повести для детей сбиваться со своей живой речи в трафаретную, книжную – к чему он был несколько склонен в своих статьях и книгах для взрослых. Работа у него шла споро. Крутящееся под детскими руками непосильное колесо, доводящее до боли в спине, до отчаянья, до изнеможенья, до тщетных попыток к бегству; дружба с татарчатами; хозяин мастерской, городовые; веселое купанье на речке Шайтанке вместе с мальчишками и лошадьми; полицейский участок; холерный бунт – все ложилось на бумагу, не только увиденное автором, но пережитое им, а потому сохраняющее яркость красок и свежесть чувств.

Одну главу повести напечатал ленинградский журнал «Костер»[32].

В 1937 году Мильчик был арестован и погиб в заключении. И вот – через века! – стоит передо мною молодой человек, Михаил Исаевич, которого я никогда не видала; тот самый маленький Миша; ныне – высокий, худощавый, застенчивый; уже не волгарь, а ленинградец, уже не рабочий, а интеллигент, и просит меня не отказываться от предложения издательства: написать предисловие к сохранившейся рукописи.

Не назови он себя, я все равно узнала бы его: те же светлые глаза, приветливые сквозь строгость.

Сын просил написать о погибшем отце. Я не вправе была отказаться.

Я выполнила работу и послала ее в издательство к сроку. В своем предисловии писала я главным образом о детстве Мильчика, о колесе в механической мастерской, о встрече его с Маршаком – но не умолчала и об аресте.

Редакции моя работа понравилась, и повесть с моим предисловием должна была вот-вот пойти в набор.

В конце апреля 1966 года, около двенадцати часов ночи, на даче в Переделкине раздался междугородный подпрыгивающий телефонный звонок.

Меня попросил к телефону директор Ленинградского отделения издательства «Детская литература» Н. А. Морозов. Он сказал, что моя статья ему нравится, очень нравится, но он просит убрать один абзац.

– Какой же?

– Ну, там… вы понимаете… мы ведь издательство для детей, а детям не следует омрачать жизнь памятью о тяжелом прошлом.

Этот омрачающий детскую жизнь абзац в моей рукописи читался так:

«В феврале 1938 года И. И. Мильчика арестовали. Да и редакционный коллектив, созданный С. Я. Маршаком, был к тому времени уже разгромлен: кого арестовали, кого уволили».

[32] 1937, № 1.

Я ответила директору, что повесть Мильчика печатается ведь не для грудных младенцев, а для подростков, которым как раз очень полезно вовремя узнать историю своих отцов и дедов.

– Мы не имеем возможности, – ответил директор.

Тогда я попросила прислать мне мое предисловие обратно.

Вместо ожидаемой бандероли я, однако, получила письмо.

Привожу его полностью, лишь заменяя инициалами имя и фамилию редактора.

«Государственный Комитет Совета Министров РСФСР по печати.
Издательство «Детская литература», Ленинградское отделение.
28 апреля 1966 г.

Уважаемая Лидия Корнеевна!

Мне известно содержание телефонного разговора между Вами и директором Ленинградского отделения издательства Николаем Антоновичем Морозовым.

Как редактор, я очень сильно огорчена тем, что Вы не пожелали исключить из Вашей вступительной статьи к книге И. И. Мильчика «Степкино детство» один абзац и одну фразу из другого абзаца.

Я понимаю, что Вами руководит, но подумайте о читателях. Своим отказом печатать статью Вы лишаете их удовольствия познакомиться с Вашей хорошей, нужной статьей, гармонически связанной с самой повестью.

Лидия Корнеевна, подумайте еще раз о книге и о читателях.

Поздравляю Вас и Корнея Ивановича с первомайским праздником, праздником Весны и Радости.

С уважением Р. Ф.»

Помню, в этом благожелательном, заботливом письме более всего почему-то привели меня в бешенство слова «Радость» и «Весна», написанные с большой буквы.

Я отвечала так:

«5. V. 66 г.

Уважаемая Р. И-на!

Вы написали Ваше письмо очень искусно: прочитав его, всякий человек вообразит, будто спор между издательством и автором действительно идет, как у Вас сказано, всего лишь «об одном абзаце и одной фразе из другого абзаца».

Сущие пустяки: издательство просит автора отказаться от нескольких строк вступительной статьи, а капризный автор не желает. И из-за этого, пишете Вы, читатель будет лишен удовольствия «познакомиться с хорошей и нужной статьей».

По-видимому, такая Ваша скрытность относительно истинного содержания нашего спора объясняется тем официальным издательским бланком, на котором Вы ко мне обратились. Бланк со штампом издательства не выдерживает, видимо, прямого разговора ни о жертвах террора, ни об инструкции, обязывающей Вас вычеркивать всякое упоминание о них.

Но я – частное лицо, пишу на обыкновенной бумаге. И скрывать сущность дела мне незачем.

Спор между мною и Вами (издательством) идет не об «одном абзаце и одной фразе», а о крови человеческой и слове человеческом. Автор издаваемой Вами книги, И. И. Мильчик, замечательный писатель и мой

большой друг, член партии, человек из народа, старый рабочий, деятельный участник двух революций, был в пору сталинских зверств загублен, убит – вместе с миллионами других неповинных людей.

Должны знать об этом последующие поколения, дети и внуки погибших, или нет?

Я убеждена: должны непременно. Рассказать об этом – и не только в общей форме, но и на примерах конкретных человеческих судеб, прямой долг, дело чести тех, кто остался в живых.

Вы думаете – или обязаны думать – иначе.

Переубеждать Вас я не стану. Но и участвовать в новой лжи, прикрывающей молчанием пролитую кровь, я тоже не буду.

И. И. Мильчик погиб около 25 лет назад; 10 лет тому назад он был реабилитирован посмертно, и через четверть века, во вступительной статье, посвященной его книге и его славной биографии, мы лишены возможности упомянуть – бегло, вскользь, в «одном абзаце и одной фразе» – о его гибели.

Это чудовищно.

Вы делаете мне честь, называя мое предисловие «хорошим» и «нужным», но отказываетесь его напечатать, если я не сниму упоминания о гибели Мильчика. Между тем без этого упоминания «хорошее» и «нужное» предисловие сразу превратится в лживое, то есть тем самым в плохое и вредное. Новым поколениям людей, тем читателям, на чьи интересы Вы ссылаетесь, необходима правда – и правда не только о девяностых годах прошлого века, которым посвящена повесть Мильчика, но и о тех десятилетиях нашего века, когда погибали отцы и деды современных подростков. Давно известно, что история родной страны, правдиво рассказанная, – лучшее орудие воспитания подрастающих поколений. Я вовсе не позабыла о читателе, как предполагаете Вы: именно чувство ответственности перед ним запрещает мне соглашаться на то искажение истины, к которому Вы призываете.

Уважающая Вас Лидия Чуковская».

И тут начались главные мои мучения.

Все друзья на меня ополчились. И – еще горше – сын и вдова И. И. Мильчика. «Если останется ваше предисловие, объясняли мне, вы сохраните для других образ этого человека. Откажетесь – издательство ограничится краткой аннотацией. Образа человека не будет… Читатель же и без устраненного абзаца догадается, что случилось: укажите в скобках год рождения и «смерти».

Быть может, если бы мой отказ ставил под удар самое напечатанье повести Мильчика – я сдалась бы. Как сдавалась ради рассказов Житкова. Чужой труд, да еще публикуемый посмертно, да еще по желанию вдовы и сына, – это обязывает. Тут призадумаешься волей-неволей. Опубликованию чужой книги мешать грех, и, кусая губы, сдаешься. Но я была уверена, что книгу выпустят и без моего предисловия, а уж *своему* труду – я хозяйка. Нарушая «гармонию», я потребовала, чтобы мое предисловие было возвращено мне.

Его мне вернули.

Права ли я? Арифметика меня более не убеждает. Быть участником в истреблении памяти? Нет.

А повесть И. Мильчика, к моей радости, в 1966 году вышла. Вместо предисловия – аннотация. Краткая, на полстраницы, толково составленная справка об основных фактах биографии автора. Обо всех основных фактах, кроме насильственной гибели.

«…В феврале 1938 года жизнь И. И. Мильчика трагически *оборвалась*».

И ведь истинная правда. Не просто оборвалась, а трагически.
…Попал в авиационную катастрофу?

3

Не знаю, трагически или не трагически, но собственная моя литературная жизнь быстро шла к обрыву.

Труд продолжался и продолжается. Но возможности делиться плодами своего труда с читателем, то есть печатать написанное, – вот чего меня лишили.

В какой именно год, месяц, день; после опубликования в Самиздате и за границей какого из моих открытых писем; кем, когда, кому отдан был приказ не переиздавать и вообще не печатать мои статьи и книги, я не знаю. Мне известно лишь, что на партийных собраниях в Союзе писателей ныне покойный Аркадий Васильев (в прошлом чекист, затем писатель и секретарь партийной организации Союза; в 1965 году – «общественный обвинитель» на процессе Синявского и Даниэля), – так вот, мне известно лишь, что Васильев дважды требовал моего исключения: в октябре 69-го и в мае 70-го года. Однако запрета упоминать в печати мое имя – например, говоря о редакторской деятельности, – такого запрета не было, да и новую редакторскую работу иногда поручало мне какое-нибудь издательство. А Союз? А Союз все не исключал и не исключал и пробовал меня перевоспитывать.

Весною 1966 и весною 68-го года я в числе других членов Союза получила назидательно-укоризненные письма из Московского отделения. Признаюсь, оба они поразили меня. Я выросла в литературной среде, переписывалась на своем веку со многими литераторами, знаменитыми и незнаменитыми, начинающими и кончающими, прочитала, как и все мы, многие томы сочинений, где опубликованы письма литераторов XIX и нашего века, – но никогда не читала подобных писем от писателей к писателям. «Протокол № 10/35… Слушали… Постановили…» Бывало и в XIX, и в XX веке, что писатель обращался с официальной бумагой в какую-нибудь инстанцию или какая-нибудь инстанция – к писателю, но чтобы писатели обращались с подобной канцелярщиной друг к другу – такие бедственные происшествия неведомы мне. Когда-то, ребенком, случалось мне бывать среди художников, артистов, поэтов, писателей, ученых в «Пенатах», в мастерской Репина; позднее, подростком, после революции, в Петрограде, я жила в общежитии «Дома Искусств» и зимою двадцатого-двадцать первого годов незаконно проникала на собрания только что объединившихся «Серапионовых братьев»; бывала школьницей – вместе с товарищами – В «Доме Литераторов» и в переводческой студии «Всемирной Литературы»; однажды наблюдала заседание Коллегии издательства «Всемирной Литературы», состоявшееся на квартире моего отца (Манежный пер., 6, кв. 6) – какие зоилиады случалось мне слышать! какие насмешливые, негодующие или восторженные письма читать! но весною 1966 года и весною 68-го в двух письмах руководителей Союза писателей не было ни насмешки, ни восторженной похвалы, ни гнева – ничего, столь свойственного устному и письменному общению между литераторами, – одно пустомыслие, которое в сочетании с руководящей назидательностью всегда и всюду изъясняется на языке канцелярий.

Но брезжила все-таки в этом пустословии какая-то мысль?

Брезжила. Бюрократически осуждающая. Прежде чем попрекнуть безответственностью тех членов Союза, которые просили смягчить приговор Гинзбургу и Галанскову, а ранее предлагали выпустить на поруки Синявского и Даниэля, возвещалось:

«Факт обращения в партийно-правительственные инстанции является правомерным».

Читаешь и не веришь глазам своим – словно возглашается хартия вольностей. Подумать только, факт обращения – правомерен! Мы, граждане своей страны, литераторы, «мы не рабы, рабы не мы», – мы вправе, оказывается, обращаться с просьбами в партийно-правительственные инстанции! Новость оглушительная. Далее же руководители Союза писателей объясняют нам, что просьба просьбе рознь и что вот как раз наши просьбы: освободить на

поруки Синявского и Даниэля, смягчить приговор Гинзбургу, Галанскову и их сопроцессникам… вот как раз подобными просьбами тревожить партийно-правительственные инстанции нам, литераторам, не подобает.

Изложены назидательные упреки Секретариата по нашему адресу на таком – не смею сказать – языке (переберите все письма литераторов друг к другу, все эпистолярное наследие русской литературы – не найдете; не верится, что перед нами творение писателей, а не работников ЖЭКа):

«Секретариат… не может пройти мимо *того* обстоятельства, *что* по своему содержанию это заявление явно рассчитано *на то, чтобы* (того – что – на то – чтобы!) завуалировать *откровенно-неприкрытую* антисоветскую сущность… произведений Синявского и Даниэля».

Да ведь по-русски *неприкрытый* это и есть *откровенный*! Что же значит «откровенно-неприкрытая»? Обнаженно-нагая?

«Даже не считают *нужным должным* образом»…

Нужным должным!

Чудесно кончается одно из писем – сразу видно, что составляли его мастера русской прозы:

«*На основании всего вышеизложенного* Секретариат считает необходимым затребовать объяснений от членов СП, *связавших* себя с делом Гинзбурга, Галанскова и других, *путем* подписи ряда писем и заявлений, *с тем*…»

Синтаксическая катастрофа: связавших себя с тем? связавших себя путем? И кто же себя с кем связал этим путем? Секретариат с подписавшими защитительные просьбы? Писатели, подписавшие письма, связали себя с Секретариатом *путем* своих подписей?

Отступники родного языка! Кого вы смеете именовать отщепенцами!

…Весною 1968 года Секретариат счел «нужным должным» затребовать у «подписанцев» объяснений. Мне же досталось беседовать с одним из тогдашних секретарей Московского отделения т. Росляковым. Меня вызвали, и я послушно явилась. Разговор в кабинете с глазу на глаз. (Можно ли представить себе одного из «Серапионовых братьев», вызывающего на допрос другого брата; или одного члена Коллегии «Всемирной Литературы» – Блока или Ольденбурга, допрашивающих Браудо или Гумилева? или любого студиста студии «Дома Искусств»? Литературные дружбы – и распри! – не на допросах держатся.) Т. Росляков был вполне вежлив и даже мягок, а я все равно вспоминала не «Дом Искусств», а Большой Дом. Записи я не вела, привожу разговор по памяти. Речь шла главным образом об Александре Гинзбурге. Вот, мол, западная пресса именует Гинзбурга писателем, а какой он писатель? Ни одной напечатанной вещи. Вы читали его книги? Я ответила, нет, не читала, но отсутствие напечатанных работ ничего не доказывает: могут ведь и не напечатать талантливое, живое, а в столе у Гинзбурга я не рылась. Тогда т. Росляков, весело улыбаясь, спросил, известно ли мне, где работал интеллигентный Гинзбург незадолго до ареста.

– Нет. Мне известно, что его сначала лишили возможности учиться, а потом и работать. И арестован он за то, что собрал документы по делу Синявского и Даниэля.

– Он устроился на работу в артель по уничтожению мух, – давясь от смеха, сообщил т. Росляков. – А вы его защищаете, словно он интеллигент!

Я ответила, что если т. Рослякова лишат зарплаты в Союзе, да еще перестанут печатать, да еще не возьмут на какую-нибудь интеллигентную службу, то, быть может, и он окажется вынужденным приняться за какой-нибудь не особенного интеллектуальный труд; а в уничтожении мух я ничего зазорного не вижу. «И почему вы полагаете, – сказала я, – что писатели обязаны вступаться только за литераторов? только друг за друга? Короленко думал иначе. Пусть Гинзбург не писатель, а всего лишь член артели по уничтожению мух – всякий труд достоин уважения… Я уважаю Гинзбурга за то, что он собрал документы по процессу

Даниэля и Синявского. В прессе суд и подсудимые представлены были в умышленно искаженном виде – документы, собранные Гинзбургом, точны»[33].

Мирно побеседовав минут сорок, мы мирно расстались. Но через некоторое время я получила из Союза писателей еще одно интересное послание. Это уже было не письмо, не машинопись, а отпечатанный в типографии, в виде тонкой тетрадочки, «Информационный бюллетень Секретариата Правления Союза писателей СССР» (1968, № 6). Последняя страница: «Ответственный редактор К. Воронков». И последняя строка: «Информационный бюллетень» рассылается по списку». Никогда раньше я «Информационного бюллетеня» не держала в руках (этакий подпольный Самиздат Секретариата); что же это сейчас меня вдруг почтили? Перелистываю: «Собрание партийного актива творческой интеллигенции столицы». Нет, не то – я не партийный актив творческой интеллигенции. «Трибуна писателя». Нет, и это ко мне не относится: кто же меня пустит на трибуну? А, вот оно: «Осуждение политической и гражданской безответственности». И выше: «В Секретариате Правления Московской организации». Тут я уже вижу свою фамилию. Интересны рубрики: «строгий выговор с предупреждением и занесением в личное дело»; просто «выговор», не строгий, «с занесением в личное дело»; «поставить на вид»; «строго предупредить» и просто «предупредить».

Мелькают имена и выговоры, строгие и нестрогие.

Мне достался: «выговор с занесением в личное дело».

Что ж, я не в обиде. Галич, Копелев, Войнович, Искандер и Самойлов! и Корнилов!

Обижаться грех.

Но – удивляюсь. Ведь это писатели писателям «ставят на вид». Заразились писатели чиновничьей паршой и коростой.

И опять – неуместное видение прошедших годов: зима 1920/21-го, «Дом Искусств» (угол Мойки и Невского); оледенелый Петроград, лишенный дров, электричества, трамваев, а иногда и воды; сугробы и 20 градусов мороза за окнами; я – издавна и привычно голодная – в уголке, в комнате Слонимского в «Доме Искусств», где собрались «Серапионовы братья».

Впустил – и даже втащил меня сюда Лева Лунц – «Серапионов брат» и брат моей подруги, Жени Лунц, с которой я сижу за одной партой в школе (бывшее Тенишевское училище). Никто не обращает на меня никакого внимания; я здесь не в счет, школьница, мне тринадцать лет; сижу и сижу; помню Слонимского, Зощенко, Никитина, Каверина – а на койке теснятся плечом к плечу три молодые девушки, не мне чета, взрослые и красивые, им уже лет девятнадцать – двадцать; их зовут Зоя, Лида, Дуся… Я привычно, как и все, голодна и, как и все, радуюсь раскаленной трубе; на ногах у меня туфли, вроде лаптей, сплетены они из веревок – веревочные туфли, подшитые, вместо подметок, кусками занавески; но я не чувствую ни своей разутости, ни голода; я слушаю; все кругом представляются мне такими взрослыми, умными и такие непонятные слова говорят о литературе; и читают стихи (вот стихи я знаю не хуже их!), и с неистовством спорят – и тут же спор прерывается эпиграммой и хохотом! Как они потешаются друг над другом… Я не решаюсь вместе с ними смеяться; я не в счет – тихонько сижу в уголке и завидую взрослым девушкам.

Живут у меня до сих пор в памяти эти молодые люди, и эти скромно-царствующие девушки, и эта раскаленная дровами и спорами труба железной печурки. Разные дарования отпущены были этим людям, но как я благодарна им по сей день за то, что они назвали себя «братьями» (пусть это братство с годами распалось! оно все-таки существовало), и можно

[33] Работать в артели по уничтожению мух – в этом я ничего предосудительного не вижу и теперь. Но теперь я знаю, что Росляков солгал: накануне своего ареста Александр Гинзбург работал в Гослитмузее. – *Примеч. 1977 года.*

ли вообразить, чтобы один «Серапионов брат» ставил другому «на вид»? Или «объявлял выговор»?

Они умели писать друг на друга пародии; сочиняли – кроме повестей, романов, рассказов – эпиграммы; они были литераторы, то есть по природе не только творцы, но и яростные критики, спорщики, они умели вышучивать друг друга, а вот ставить друг другу «на вид» – не умели.

Бенкендорф делал Пушкину выговоры; но Бенкендорф был Бенкендорф и не строил из себя литератора (хотя кто его знает! может быть, пописывал стишки?), но нельзя вообразить, чтобы Пушкин «ставил на вид» Дельвигу или Баратынскому; или Чехов и Короленко – Баранцевичу или Щеглову.

Что такое «выговор с занесением в личное дело», если сравнить эту кару с расстрелом или лагерным сроком? Чушь, ерунда и чепуха. Но в ней проглядывает какая-то новизна, новая форма, новое содержание.

…13 февраля 1921 года, в Петрограде, девочкой четырнадцати лет была я на Бассейной, в «Доме Литераторов», на том пушкинском вечере, где Александр Блок прочитал свою знаменитую предсмертную речь «О назначении поэта».

Блок назвал «чернью» тех людей, которые в тридцатые годы прошлого века повинны были в гибели Пушкина. «Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, – сказал он в начале двадцатых годов нашего столетия, – которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам»…[34]

Мне было четырнадцать лет. Мало я тогда понимала. Я помнила наизусть всю блоковскую третью книгу, но смыслила не очень-то много.

Блок отделял чиновников от писателей. Чиновникам сделал он свое предостережение – чтоб не пытались они руководить таинственной силой, которая именуется поэзией.

Но что сами поэты и писатели с годами превратятся в чиновников и начнут объявлять друг другу выговоры «с занесением» или без занесения «в личное дело» – вот чего даже провидец Блок не предвидел.

[34] *Александр Блок*. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. М; Л., 1960, с. 160.

4

В 1967 году – значит, уже *после* моего криминального самиздатского письма Шолохову, но еще *до* криминальной самиздатской статьи о необходимости по винтикам разобрать и рассмотреть машину, десятилетиями убивавшую миллионы людей; уже *после* того, как за границей дважды вышла повесть «Софья Петровна», но еще *до того*, как мне был вынесен «выговор с занесением в личное дело», – в 1967 году Лениздат обратился ко мне с просьбой взять на себя работу над подготовкой к печати отдела поэзии в первом посмертном сборнике Анны Ахматовой. Название сборника – «Стихи и проза». Выбор издательства пал на меня, думаю я, потому, что, как это было широко известно в литературных кругах, последний предсмертный сборник Ахматовой «Бег времени» (1965) по ее просьбе помогала ей составлять я. Составлен он был богаче, чем вышел в свет; редакция добилась от автора разрешения изъять многие стихи тридцатых годов, «Реквием» и две из трех частей триптиха «Поэма без героя» («Поэма без героя» в «Беге времени» превращена в «Поэму без двух частей»), В сборнике существовал отдел «Поэмы», и там были помещены «Реквием», «Путем всея земли» и трехчастная «Поэма без героя». Составлялся «Бег времени» в Москве, а официальная редакционная работа с автором велась в Ленинграде. Арифметика тут была простая; перед Ахматовой поставили выбор: либо отказаться от «Реквиема» и двух частей «Поэмы», либо сборник не выйдет совсем.

Ахматова сначала говорила мне по телефону, что, если не дадут «Поэму» целиком, – она вернет аванс и расторгнет договор. Но потом согласилась: «пусть хоть это».

Как тут рассудить? Второе действие арифметики – вычитание. Наверное, это счастье, что Анна Ахматова, скончавшаяся в 1966 году, успела в 1965-м подержать в руках и раздарить друзьям урезанный и все же самый полный из всех когда-либо вышедших при ее жизни сборников. К тому же «Бег времени» – книга, с большим вкусом оформленная. (Художник – В. Медведев.) Неполная книга, но книга Ахматовой. Радость.

И вот Ахматовой нет, и мне предложено, уже без нее, подготовить к печати стихи в первом посмертном сборнике.

Предложение заманчивое. «Поэма» – все три части! Без «Реквиема» (но ведь на его изъятие и сама Ахматова соглашалась!), зато «Поэма без героя» – все три части! Впервые. Это представлялось мне особенно важным потому, что за границей «Поэма» печаталась «целиком» уже много раз, но каждый раз в наново перепутанном виде. А я могу, в силах, в состоянии дать окончательный текст. Могу, располагая экземплярами 1942 года, и затем с 1955-го по 1963-й, и поправками, сделанными позднее, включая мелкие, уже после «Бега». И еще подспорье: собственные мои «Записки об Анне Ахматовой». Записки эти я вела десятилетиями, и там указаны, в частности, даты и авторские мотивировки перемен в той или другой строфе или строке «Поэмы».

Я согласилась. Договор со мной заключили. После смерти Ахматовой многие ее стихи, вычеркнутые почему-то редакцией из «Бега времени», оказались напечатанными в наших журналах. Являлась, таким образом, возможность обогатить ими новый сборник. Трудностей в работе обнаруживалось, однако, с каждой неделей все более. Дело в том, что сборник этот, в отличие от всех предыдущих, был рассчитан издательством на широкие круги читателей, поэтому мне пришлось в изобилии делать разъяснительные примечания и к стихам, и к «Поэме». Не говорю уж о трудности в уточнении дат, которые Ахматова имела обычай расставлять весьма прихотливо. И мне никогда не справиться было бы со всеми выпавшими мне на долю трудностями, если бы не самоотверженная помощь друзей. (Много раз в течение жизни имела я возможность убедиться – и в самые черные годы! – что братство рядом; что каждый из нас дышит естественным воздухом братства, не замечая его; замечает, только

лишившись. Едва сосредоточишься щедро на любимом труде – братья окажутся возле. И недругов себе наживешь, но братья – рядом.)

У Анны Ахматовой было много друзей. Да, во все черные времена ее черной судьбы – много. В России существует, передается из поколения в поколение культ поэзии и поэтов. Иначе Ахматовой было бы не выжить, а ее стихам не сохраниться, ни в тридцатые, ни в сороковые годы… Я позвала себе на подмогу тех друзей Анны Андреевны, кому сама она любила читать новорожденные строки, с кем любила советоваться о своих многочисленных переводах, к чьей помощи прибегала, составляя свои журнальные циклы и сборники. И никто ни разу не отказал мне – ни в справке, ни в автографе, ни в книге, ни в рукописи, ни в совете.

По соседству со мной работали: К. Чуковский, автор предисловия к нашему сборнику, и Э. Г. Герштейн – составительница отдела прозы. Естественно, мы помогали друг другу.

Делились мы своими находками и с академиком Виктором Максимовичем Жирмунским, начавшим работать над подготовкой тома Ахматовой для «Библиотеки поэта», когда мы уже свою работу кончали. И он, в свою очередь, одаривал нас.

С издательством мы регулярно переписывались и перезванивались; случалось, издательский редактор Борис Григорьевич Друян приезжал из Ленинграда в Москву посоветоваться, а то и поспорить. Редакция изъяла «Стансы» – как изъяты они были из «Бега времени»; изъято было посвящение к «Последней розе» – И. Бродскому (редакция предпочла бы, чтобы посвящены были эти стихи какому-нибудь другому поэту). Пришлось пожертвовать посвящением… Но с издательством мы ссор избегали. Чувствуя свою ответственность не за свою собственную рукопись, где каждый сам себе хозяин, а за стихотворения Анны Ахматовой, которых так долго был лишен читатель, – я старалась с издательством ладить; спорила – но и на уступки шла. И двигались мы вперед во время работы хоть и не без убытков для книги, но без аварий.

Катастрофа ожидала нас впереди.

Работа была нами окончена. Издательство послало ее на рецензию академику Жирмунскому. Получив обстоятельную и положительную рецензию, редакция сдала рукопись в набор.

В июне 1968 года мы продержали одну корректуру – верстку; в феврале 1969 года вторую – сверку.

Книга была подписана к печати, и нам оставалось ждать только сигнальных экземпляров. А за ними – тираж.

Вместо этого раздался подпрыгивающий междугородный звонок, и знакомый голос Бориса Григорьевича Друяна, ленинградского редактора (правда, с каким-то незнакомым оттенком мертвенности), произнес:

– Книга остановлена на неопределенное время. *Без рассмотрения*.

Почему остановлена? Кем? Без чьего рассмотрения? Почему, зачем, отчего?

Никто не отвечал и не отвечает ни на чьи вопросы – ни директор издательства, ни главный редактор, ни редактор книги.

Да и как ответишь, если «без рассмотрения»? Не рассмотришь – не объяснишь.

Спрашивали мы, составители. Спрашивал ныне покойный академик Жирмунский. Спрашивали другие члены Комиссии по литературному наследию Анны Ахматовой.

Никакого ответа.

Из-за чего же – из-за кого же – книга остановлена? За что наказан читатель?

Из-за Ахматовой? Нет. Многие ее произведения, многие статьи о ней у нас печатают, и очень даже демонстративно.

Я полагаю, что книга Анны Ахматовой «Стихи и проза» зарезана из-за меня. «Без рассмотрения» – просто из-за моего имени.

К тому времени, как ахматовскому сборнику выходить, я из штрафного батальона оказалась уже переведенной в лепрозорий: многие мои статьи приобрели уже большую известность, и Союз писателей успел уже объявить мне «выговор с занесением в личное дело». Прокаженных печатать не принято.

Недавно Лениздат вернул мне мои примечания, мое маленькое разъяснительное предисловие и вступительную статью К. Чуковского.

Деньги тоже выплатили.

…А моя текстологическая работа, установленные мною тексты, даты, факты?

Кому-нибудь – пригодится…[35]

[35] Эти строки были написаны в 1974 году. А в 1976-м в том же издательстве вышел сборник Анны Ахматовой под тем же названием «Стихи и проза»; составителем отдела стихов вместо меня обозначен издательский редактор – Б. Г. Друян; автором предисловия вместо Корнея Чуковского стал Д. Т. Хренков, главный редактор издательства. Освобожденная не от плодов моего труда, но от моего имени, книга Ахматовой не только вышла в свет, но даже двойным тиражом, чему я. разумеется, рада. – *Примеч. 1977 года.*

5

В октябре 1969 года скончался мой отец. О своей утрате писать не стану. Опишу лишь военные действия против меня, предпринятые Союзом писателей немедленно после смерти Корнея Ивановича.

Я к этому времени была членом шести комиссий по литературному наследию – комиссий, образуемых Союзом каждый раз, как умирает кто-либо из литераторов. Я была членом комиссий по литературному наследию Анны Ахматовой, Н. П. Анциферова, Ф. Вигдоровой, Т. Габбе, Бориса Житкова, М. Ильина.

Но в Комиссию по литературному наследию Корнея Чуковского меня не включили.

Реально, практически, в данном конкретном случае, это «невключение» – звук пустой. Я провела под одной кровлей с моим отцом, в тесном общении с ним, не только детство и юность, но и многие последующие десятилетия. Моя память мобилизована. «Все мое – при мне». Но оскорбительная выходка Союза явственно показывает: во-первых – цель (разлучение, отлучение), а во-вторых – нравственный уровень изобретателей этой меры. Экзекуция на свежей могиле! До такой низкой низости не каждый способен упасть.

Впрочем, по сравнению с любой низостью всегда остается нижайшая. Можно падать еще ниже, и еще, и еще. Была бы цель, а яма безнравственности, в которую летит падший, – бездонна.

Цель обнаружилась быстро.

В последние дни своей жизни, в больничной палате, Корней Иванович продолжал, по обычаю своему, работать. Работал он над статьей «Признания старого сказочника». Статья предназначалась для газеты «Литературная Россия». Недели через две после похорон я с помощью друзей разобралась в черновиках и набросках и подготовила статью к печати. Послала ее в редакцию. И примерно через месяц заметила: статья Корнея Чуковского на страницах «Литературной России» не появилась.

Обычно это была самая жадная до его работ, самая настойчивая газета.

Я поручила разузнать по телефону, в чем дело.

Ответ т. Поздняева (главного редактора) последовал такой:

– Мы рады бы опубликовать… Но, к сожалению, не можем… Там стоит в конце пометка: «Подготовила к печати Лидия Чуковская».

Я попросила сообщить т. Поздняеву, что охотно отказываюсь от этой крамольной пометки. Лишь бы напечатали статью.

(Арифметика в действии; речь ведь идет не о моей, а о чужой рукописи. Вычтите, вычтите мою преступную пометку! Я согласна – лишь бы появилась предсмертная статья Корнея Чуковского, в которой критик анализирует стихи поэта, и этот критик, и этот поэт – одно лицо… Редчайший случай в литературе: автор во всеоружии своего критического мастерства анализирует собственные свои сочинения.)

Но мой отказ не удовлетворил редакцию.

Поздняев: Устного отказа Лидии Корнеевны недостаточно. Пусть она изъявит свою (!) волю в письменной форме.

Я – изъявила. С большим удовольствием. Написала в редакцию письмо и сохранила копию. Люблю письменную форму. Написано пером – не вырубишь топором.

Культура – отверделые следы благородных порывов человеческого духа, пересекающиеся, перекрещивающиеся, прокладывающие новые дороги в будущее. Бесстрашная память хранит эти следы, обороняет – где от пустодушия, равнодушия, а где от бесчинства. Но я полагаю, что и следы бесчинства необходимо беречь. (Иначе не будет понятно, что культура – не один лишь труд, но и борьба.) Разговор с Поздняевым ухнул бы в вечность,

а так след насилия, мелочной мстительности, бесчинства, запечатленный на бумаге – мое отрекающееся письмо Поздняеву, – сохранится. И когда-нибудь представит собой материал для изучения литературных нравов семидесятых годов в России. Мне разрешается подготовить к печати статью Корнея Ивановича. Но пометить: «Подготовила к печати Лидия Чуковская» – нет.

Я написала: «Узнав, что подготовленная мною к печати статья моего отца «Признания старого сказочника» не печатается в вашей газете только из-за упоминания моего имени, – заявляю, что я согласна свое имя как публикатора снять».

Получив мое письмо, «Литературная Россия» немедленно напечатала последнюю статью Корнея Чуковского[36].

Эти унижения не помешали мне, однако, продолжать начатые прежде работы. Наоборот, они как-то раззадоривали меня. С осени 1969 года на мои плечи легли новые дела и труды. Литературный секретарь Корнея Ивановича, его многолетняя помощница, Клара Израилевна Лозовская, вместе с нашими старинными друзьями и моей дочерью Еленой занялись разбором архива, охватывающего 1900–1969 годы; отверделый след русской культуры почти за две трети века; занялись описанием и каталогизацией библиотеки в пять тысяч томов. Я тоже принялась разбирать письма Корнея Ивановича, прежде всего ко мне – с 1912 по 1969 год. Кроме того, я предложила другим членам семьи: не занимать, а сохранять в неприкосновенности, без малейших перемен, те комнаты на переделкинской даче, где в течение тридцати лет жил Корней Чуковский. Три комнаты из пяти – те, в чьем обличье, убранстве запечатлены его вкусы, привычки, навыки, образ жизни. Сам он был весьма фотогеничен, выражен в каждом слове и каждом движении – голос, походка, руки, – эта выразительность присуща и его комнатам; письменному столу; книжным полкам, игрушкам, картинам, фотографиям; даже лавочкам и лесу за окнами, даже скворечнику на березе, где жили любимые им белки. Микромир, сложившийся за тридцать лет, так же отчетливо выражает его личность, как каждая его статья, фотография или звукозапись. Корнею Ивановичу свойственно было трудолюбие и неутомимая общительность – в его комнатах живет дух сосредоточенного труда и веселого, разнообразного, деятельного общения с людьми. Следы не одной лишь личности хозяина – след русской культуры. Сколько поэтов – молодых и старых, сколько лингвистов, филологов, переводчиков, сколько знатоков английской и американской литератур поднимались по ступеням этой лестницы! Сколько книг и писем прочтено и написано в этом кабинете, за этим столом; на балконе или в лесу! (Писал, положив листок на дощечку.) Сколько голосов, читающих вслух великие стихи и великую прозу, звучат в этих стенах и сколько пародий и шуток!

В 1969 году, 5 октября, Корней Иванович покинул свой дом для больничной палаты – вот такими, какими комнаты его остались, когда он в последний раз спустился по ступенькам своей лестницы, я и предложила семье оставить их. Не селиться в них. Оставить – за ним.

Не сразу научаются люди отучать себя трогать, передвигать с места на место, употреблять привычные вещи. Ведь только что все это еще было в движении.

Постепенно мы научились.

Но передо мною возник еще один долг: написать воспоминания о нем. Ведь не многие из живых помнят его молодым. Детей у него было четверо. В живых я одна. Я помню наше детство и его молодость. Мне и писать.

Я принялась за воспоминания. Задуманы они в трех частях, но самым спешным мне казалось написать о том времени, какого уже не помнит почти ни один человек: о жизни Корнея Чуковского в Финляндии, в Куоккале (ныне поселок Репино), между тысяча девятьсот двенадцатым и семнадцатым годами.

---

[36] См. «Литературную Россию» от 23 и 30 января 1970 года.

Эту первую, куоккальскую дореволюционную часть я и написала в 1970–1971 годах. Предназначалась она для сборника памяти Корнея Чуковского в Детгизе. Так и называлась моя работа: «Памяти моего отца». Составители сборника передали мне, что редакция Детгиза встретила мои мемуары радушно. Цензурных преткновений я не опасалась: речь в первой части идет о годах дореволюционных, и главным образом об играх Корнея Ивановича с маленькими детьми. Как он учил нас грести на неуклюжей рыбачьей лодке; как учил английскому языку; как мы вместе с ним носили воду из репинского колодца; как он читал нам в море стихи Баратынского, Некрасова, Тютчева. Действие происходит до семнадцатого года; я – маленькая, мне между пятью и десятью; возраст политически безответственный и вполне безопасный; и рассказать есть о ком (и все такие общепризнанные имена!): несмышлеными своими глазами вижу я Репина, Короленко, Леонида Андреева, Маяковского, Шаляпина…

(А куоккальская дача хоть и пуста, но жива еще; не рухнула еще, еще стоит; она тоже помнит их шаги и их голоса; этот узелок русской культуры, сплетенной из множества разнообразных нитей, еще можно спасти[37]… Кроме лиц, перечисленных мною выше, бывали там и Н. Гумилев, и Анна Ахматова, и Н. Евреинов, и Н. Кульбин, и Борис Григорьев, и Борис Садовской, и Тэффи, и Шкловский, и Иван Пуни.)

После истории с «Литературной Россией» я, разумеется, никакой своей работы газетной или журнальной редакции более не предлагала. Уж очень популярно т. Поздняев, можно сказать, по складам, мне все растолковал. Получив требуемое от меня письмо – снимите, мол, слова «подготовила к печати Лидия Чуковская», я сама об этом прошу вас, – он произнес нечто еще более вразумительное: «Совесть коммуниста не позволяет мне употреблять в газете имя Лидии Чуковской. Никто мне ничего сверху не указывает, но я сам не считаю возможным». Так сказать, действует не общепартийная, а персональная коммунистическая совесть т. Поздняева.

Однако вскоре сделалось ясно, в какой степени то, что двигало товарищем Поздняевым (не знаю, можно ли это назвать совестью), было лишено индивидуальности и самобытности.

Сначала произошло нечто волшебное, неправдоподобное, неслыханное. Редакция журнала «Семья и школа» пожелала ознакомиться с моими воспоминаниями о Корнее Чуковском. Решительно ни на что не надеясь (после немой гибели лениздатской ахматовской книги и красноречивых разъяснений т. Поздняева), ознакомиться редакции «Семьи и школы» с моими воспоминаниями я все-таки разрешила. Развернувшаяся далее феерия ослепила меня. В моих воспоминаниях пятнадцать глав. Мне позвонила Любовь Михайловна Иванова[38], тогдашний редактор «Семьи и школы», и произнесла слова о художественной силе моих мемуаров столь лестные, что приводить их неловко. Любовь Михайловна Иванова предложила опубликовать в слегка сокращенном виде все пятнадцать глав. Она находила их полезными для родителей, для учителей, для детей. Я, изверившаяся, тупо предлагала напечатать не пятнадцать, а всего одну главу, самую для меня дорогую: о том, как Корней Иванович читал нам в море стихи. Нет, лучше все пятнадцать. Нет, мне бы одну-единственную! Нет, лучше пятнадцать. Так мы торговались и торговались и наконец сошлись на семи главах. Они должны были пройти в трех номерах «Семьи и школы» – №№ 9, 10 и 11 за 1972 год.

И вот я, не веря глазам, держу в руках № 9 журнала – и там действительно напечатан первый отрывок из моих воспоминаний под заглавием «На морском берегу». Фееричность доведена до беспредельности: не только большими буквами набрано мое крамольное имя, которое т. Поздняеву запретила употреблять в печати его чуткая совесть, не только так прямо

[37] Уже нельзя; куоккальская дача сгорела дотла 1 сентября 1986 года. – *Примеч. 1988 года.*

[38] Ныне покойная. – *Примеч. 1975 года.*

и написано «Лидия Чуковская. На морском берегу», а в конце отрывка – «Продолжение следует», но даже помещен мой портрет! 1915 год, рисунок Маяковского[39].

А совесть-то у т. Поздняева оказалась отнюдь не персональной! И вообще не совестью, а циркуляром свыше.

В № 9 отрывок оканчивался словами: «Продолжение следует».

В № 10 несколько абзацев из следующей главы открывались словом «окончание».

Мне от души было жалко ответственного редактора Любовь Михайловну: она говорит автору ответственные слова, предлагает: печатать мемуары в трех номерах, а потом открывает редактируемый ею журнал и вместо «продолжения» внезапно читает: «окончание». Подмена совершилась без ее ведома. И Корнея Чуковского тоже было мне жаль: рассказано, как он учил нас, детей, становиться на четвереньки и лаять на собак, а вот как он учил нас понимать стихи, об этом умолчено. Известный писатель, критик, мемуарист, историк литературы, филолог, знаток русской поэзии, человек, всю жизнь радевший о «стиховом воспитании детей»; поэт, автор многочисленных стихотворных сказок; автор работ по теории перевода, мастер перевода; словом – Корней Чуковский, известный писатель и стихолюб, превращен в какого-то лихого затейника.

Я так до сих пор и не знаю: случился этот обрыв потому, что в 1968 году решено было кем-то «наверху» ничего моего не печатать, или потому, что как раз летом 1972 года за границей издательство имени Чехова напечатало мою старую повесть «Спуск под воду» (1949–1957). И «Голос Америки», сообщив об этой книге по радио, разбудил во всех редакторах всех газет и журналов Советского Союза одну и ту же персональную совесть.

«Памяти моего отца»… Он не был замучен в лагере, не был расстрелян. Последнее десятилетие его жизни прошло в достатке и славе. Однако была у него в жизни своя трагедия и своя борьба. Он был наделен редкостным даром: даром литературного критика, повышенной восприимчивостью к искусству слова. В десятые годы и в начале двадцатых не было в России ни одного сколько-нибудь значительного явления литературы, на которое не отозвался бы особенный, всегда узнаваемый голос Корнея Чуковского. Лучшие его статьи того времени – полемические, а иногда и парадоксальные – сквозь внешний анализ стиля ведут читателя внутрь, вглубь, к постижению духовной личности изучаемого автора. Статьи эти сами по себе – произведения искусства, главным образом – портретного. Однако к концу двадцатых годов литературным критиком Чуковский быть перестал. Время исключало самобытность в восприятии чего бы то ни было – в том числе и литературы, а тем самым и своеобразие критического жанра. Задача литературного критика сведена была правительствующей бюрократией преимущественно к популяризации очередных «партийных постановлений в области литературы». Корней Чуковский продолжал работать по другим своим специальностям, но до конца жизни остро и болезненно ощущал неосуществленность своего основного призвания… Десятилетиями участвовал он в борьбе за право детей на сказку – литературную и народную – и вышел из этой борьбы победителем. Сказка – вообще сказка – взята была властями под подозрение: руководящие неучи полагали, будто сказка мешает детям понимать реальную жизнь. Каждая из собственных сказок Чуковского, ныне рождающаяся заново вместе с каждым новым поколением детей, превратившаяся в фольклор, рассыпавшаяся на прибаутки, пословицы и поговорки, каждая из сказок Корнея Чуковского – от «Крокодила», «Мухи-Цокотухи» и до «Бибигона» – подвергалась в свое время гонениям и цензурным запретам.

Однако ни о его беде, ни о его борьбе я и не покушалась в своих воспоминаниях писать. О борьбе за сказку потому, что он сам написал о ней в книге «От двух до пяти», а о Чуков-

[39] См. «Маяковский-художник». М.: Советский художник, 1963, с. 30.

ском-критике потому, что, я уверена, о нем вспомнят и напишут другие, чуть только и это «утаенное наследство» будет читателю возвращено.

Я же в своих воспоминаниях собиралась припомнить то, что помню во всем мире я одна: свое детство и его молодую дружбу с детьми.

Но хозяйство-то у нас плановое: кому о ком вспоминать, что следует в памяти укоренить, а что из памяти выкорчевать, кто будет назначен в близкие Корнею Чуковскому, а кто в дальние, об этом не нам судить. Начальству виднее.

Мне о нем вспоминать – не положено.

6

Но ведь я не только мемуарист. Иногда меня тянет заговорить не только о прошлом, но и о настоящем.

Начиная с последних чисел августа 1973 года и на протяжении первой декады сентября в наших газетах велась систематическая травля Сахарова и Солженицына.

Она была давно ожиданной и по набору стереотипов совершенно заурядной. Кого только у нас не травили! Чьи только идеи не выворачивали наизнанку!.. Сахаров и Солженицын взяли на себя труд: самостоятельно осмыслить прошлое и современность, задуматься о будущем, да еще при этом, вместе с друзьями, взвалили себе на плечи защиту незаконно гонимых. Открытую, громкую. Ну как же было их не загрызть? Подвергают они сомнению законность, соответствие Советской Конституции того или другого приговора – стало быть, они антисоветчики. По-иному, чем газета «Правда», предлагают они вести борьбу за мир? стало быть, они жаждут войны… В каждом из них бьется своя, собственная, выработанная жизнью, а не из газеты вычитанная мысль, работает взыскательная, жестокая к себе, непримиримая, ищущая истины совесть – не циркулярная, своя – это подвижничество духовной работы ни в коем случае не может быть прощено. Если к совести присоединяется гениальность, а к гениальности мужество, то слово обретает огромную власть над людьми. Правящая власть не любит, чтобы над людьми являлась еще чья-то – органически возникающая, безмундирная. И до тех пор, пока почему-либо не считает возможным прибегнуть к прямому физическому насилию, – прибегает к отравлению людского сознания ядовитыми газами лжи.

Средства массовой информации, сосредоточенные в одних руках, дают для этой газовой атаки небывалые возможности. Ну как же людям, вдыхающим из каждого номера каждой газеты яд, не отравиться ложью и не возненавидеть Сахарова?

(Я считаю академика А. Д. Сахарова человеком, одаренным нравственной гениальностью. Физик, достигший огромного профессионального успеха, один из главных участников в создании водородной бомбы, – он ужаснулся возможным результатам своей удачи и кинулся спасать от них мир. Испытание новой бомбы людям во вред! Дело не в отказе от колоссальных денег и карьеры; нравственная гениальность Сахарова, даже если впоследствии он не создал бы Комитет прав человека, проявилась прежде всего вот в этом: одержав профессиональную победу, он понял не только пользу ее, но и вред. Между тем людям искусства и людям науки обычно ничто так плотно не застилает глаза, как профессиональная удача.)

В газетах осени 1973 года подвиг Сахарова был искажен и оболган. Человечнейшего из людей, безусловно достойного премии Мира[40], выставили на позор перед многомиллионным читателем как поборника войны.

Но, признаюсь, не это поразило меня, не это заставило схватиться за перо. Кого только и за кого только у нас не выдавала в случае нужды наша пресса!

Осенняя кампания семьдесят третьего года (не тридцать пятого, не тридцать седьмого-тридцать восьмого, не сорок шестого, не шестьдесят восьмого, а семьдесят третьего) против Сахарова и Солженицына поразила меня именами соучастников в преступлении.

Колмогоров. Шостакович. Айтматов. Быков.

Ведь это не какая-нибудь шпана, по первому свистку осуждающая кого угодно за что угодно. Это не какая-нибудь нелюдь. Это – людь.

Интеллигенция верит им: ведь «говорит сама наука», «говорит само искусство»! И верит не одна интеллигенция.

---

[40] Которой он и был удостоен через год после написания этих строк, то есть в 1975 году. – *Примеч. 1977 года.*

Знаменитыми своими именами деятели науки и искусства подтвердили клевету, соучаствовали в газовой атаке, цель которой – отравить сознание нашего народа новой ложью!

И лжесвидетельствуют они не под пыткой, не под угрозой пытки, не под угрозой тюрьмы, ссылки или какого бы то ни было вида насилия, а находясь в полной безопасности, по любезному приглашению телефонного звонка.

Вот что поразило меня. Вот почему – чтоб оказать первую помощь отравленным – я написала статью «Гнев народа»[41]. Вот почему я срочно вручила ее американскому корреспонденту: мне необходимо было, чтобы противоядие возможно скорее любыми средствами достигло отравленных.

Я понадеялась на радиостанцию «Голос Америки». Я не ошиблась. Статья моя достигла слуха многих миллионов обманутых моих соотечественников.

[41] См. с. 494–504 настоящего издания. Статья напечатана также в сборнике «Открытое слово» (М., 1991) и в журнале «Горизонт», 1989, № 5.

7

25 декабря 1973 года я получила письмо из Союза писателей.
Привожу его целиком:

> Уважаемая Лидия Корнеевна!
>
> Мне необходимо побеседовать с Вами. Прошу Вас быть в Секретариате у меня 28 декабря, в пятницу, к 14 часам.
>
> *Ю. Стрехнин*
> *Секретарь Правления Московской Организации СП РСФСР*
> *24 декабря 1973 года.*

В пятницу я отправилась. Со Стрехниным мне уже случалось беседовать в семьдесят втором году после опубликования в Америке моей книги «Спуск под воду». При всей учтивости моего собеседника – это был форменный допрос, ничто иное. На прощание, Стрехнин сказал: «Я надеюсь, наш разговор не сделается достоянием гласности?» – «Хорошо», – обещала я. Отчего обещала? Оттого что, сказать по правде, тогда мне было жаль Ю. Ф. Стрехнина; мне примерещилось, что, хотя допрос он вел искусно и твердо, он сам немножко стеснялся принятой на себя обязанности.

Сейчас я сожалею уже не о Стрехнине, а о своем обещании. Но как бы там ни было, дала слово – держу.

Вторичный вызов к Стрехнину, в декабре 1973 года, и потом вызов на Секретариат – это уже дело иное. Тут уж никакие обещания меня не связывают, и записи я вела, не скрываясь.

Мне хочется, чтобы читатель ознакомился с ними: они дают ясное представление о духовном уровне тех, кто мнит себя руководителями нашей литературы.

28 декабря 1973 года, ровно в два часа дня, я поднялась на второй этаж Центрального Дома литераторов и вошла в кабинет к Стрехнину. Он встал из-за письменного стола, поздоровался и предложил мне кресло. Я примерилась: кабинет маленький, окно большое, свету много. Я вынула из портфеля дощечку с наколотой бумагой, ярко пишущий фломастер и линзу. (Я могу писать, только приблизив бумагу к глазам, а читать только сквозь линзу.) Стрехнин сказал, что 14 декабря состоялось заседание бюро Объединения детских и юношеских писателей, на которое меня пытались пригласить, но не удалось, потому что не могли дозвониться. А вопрос там стоял серьезный: товарищи ходатайствовали перед Секретариатом об исключении меня из Союза.

Телефон мой работает столь прихотливо, что, быть может, детские писатели и впрямь пытались, но не могли дозвониться. Уже многие годы оба мои телефона – городской и дачный – приобрели способность самовыключаться и самовключаться. Не работает, потом начинает работать. Через два месяца после того, как детские писатели накануне 14 декабря 1973 года тщетно пытались с помощью телефона пригласить меня на свое заседание, – через два месяца, то есть 12 февраля 1974 года, между пятью и шестью часами, когда уводили в неизвестность А. Солженицына, – мой телефон очередной раз самовыключился. Я ни о чем не подозревала, мне надо было позвонить приятельнице, но, сколько бы я ни поднимала трубку, – бездна молчания. Ни гудков, ни писка. Через час телефон самовключился; Солженицын был уже арестован на квартире жены (улица Горького, 12); военная операция: восемь человек вооруженных милиционеров, а за ними сухопутная армия, морской и воздушный флот Советского Союза – все против одного человека, вооруженного одним лишь оружием: словом… военная операция была благополучно завершена, и заголосили телефоны по всей Москве, как колокола, возвещая несчастье.

Меня по самовключившемуся телефону известил друг. Я отправилась знакомой дорогой, дворами, с улицы Горького, 6, на улицу Горького, 12.

Лагерь? Расстрел? Высылка за границу?

Но день этот был еще впереди.

А сейчас Стрехнин любезно протянул мне протокол заседания бюро Детской секции от 14 декабря 1973 года. Я глянула – третий или даже четвертый экземпляр машинописи, недоступный моему зрению даже сквозь линзу. Стрехнин предложил огласить. Я поблагодарила. Начала конспективно записывать то, что слушала: выступления «детских писателей». Но тут вошел, представился и сел неподалеку от меня А. Медников. Стрехнин начал снова. Мне казалось, будто Медников все время крутил вокруг пальца какой-то ключ на веревочке. Может быть, мне это только казалось.

Стрехнин:

«Протокол заседания бюро Детской секции 14 декабря 1973 года. Присутствовали тт. Юрий Яковлев, А. Аренштейн, А. Медников, Андрей Некрасов, И. Токмакова, Николай Богданов и др.

Сообщение сделал **Юрий Яковлев**:

Лидия Чуковская пользовалась всеми благами, предоставленными ей государством. И в то же время порочит Советское государство. Она уже давно обязана была сама положить билет. Мы у нас в секции не видели ее лет двадцать.

Я (*перебивая*): Все граждане Советского Союза пользуются всеми благами государства, а не я одна. Вот вы, например, товарищи, получаете зарплату от государства, а также и гонорары. И вы, и Юрий Яковлев.

Стрехнин продолжает читать:

Воскресенская: Я много лет назад слушала выступление Лидии Чуковской. Она говорила, что надо заботиться не о пионерском знамени, а чтобы мальчики хорошо обращались с девочками.

Я: Я такого своего выступления не помню. Но я и сейчас думаю, что мальчики должны хорошо обращаться с девочками.

Стрехнин читает:

В.Медведев: У нас есть такие люди, которые любят играть на публику. Смелость на заграницу. С ними надо бороться.

Стрехнин продолжает читать:

В.Морозова: Необходимо отделить Корнея Чуковского и Николая Чуковского от Лидии Чуковской. Чтобы ее тень не падала на них. Ее выступление глупо и чудовищно.

А.Аренштейн: Эта дама для нас чужой человек Она все получает от государства, а сама ничего не делает.

Андрей Некрасов: Член Союза писателей обязан участвовать в строительстве коммунизма. Я читал заявление Лидии Чуковской и возмущен. Я ставлю вопрос об исключении ее из Союза.

И.Стрелкова: Еще в 1969 году покойный Аркадий Васильев ставил вопрос об исключении Лидии Чуковской из Союза. Но тогда у нее умер отец, и это заставило нас оказать ей снисхождение.

(«Да, уж чем-чем, а снисходительностью Васильев не отличался», – подумала я.)

Стрехнин читает:

А.Кикнадзе: Она пишет для того, чтобы привлечь внимание к себе. Но это никому не интересно ни у нас, ни за границей. Она хочет опорочить и советскую интеллигенцию, и советский рабочий класс.

Николай Богданов: Она пользуется именем отца и брата. А с отцом у нее были когда-то неприятности, потому что у нее тяжелый характер. Таким, как она, не место в Союзе.

Я (*Стрехнину*): Как же вы, Юрий Федорович, принимаете подобные протоколы и допускаете подобные собрания? Ведь это не обсуждение моей статьи, а обсуждение моих семейных дел! Как они смеют обсуждать мои отношения с отцом! У меня около трехсот писем моего отца – ими займутся историки литературы, а не Николай Богданов. Что это за уровень разговора в Союзе писателей – об отце, брате? А если я выйду на трибуну и буду обсуждать, как относится т. Иванов к своей жене?

Стрехнин: Почему вы предъявляете свои претензии нам? Ведь я вам читаю не свои слова, а протокол заседания секции. Выступления товарищей.

Я: А почему меня не пригласили на заседание секции и все это было без меня?

Стрехнин: Это действительно нехорошо. Но они не могли вам дозвониться…

Стрехнин продолжает читать. Читает, что сказала И. Токмакова.

И.Токмакова: Выступление Лидии Чуковской предательское. Она позорит звание писателя. Ей не место в Союзе.

Н. Дурова: Со мной был такой случай: кто-то из артистического мира предложил мне подписаться под письмом Лидии Чуковской в защиту Солженицына. Но я отказалась, хотя было уже много подписей.

Я: Это ложь. Никаких подписей, кроме моей, под письмом в защиту Солженицына не было, и я их не собирала. Я написала статью в «Литературную газету» сама, одна: сама подписала и сама отправила[42].

Стрехнин: Но она и не говорит, что вы предлагали ей подписываться. Мог предлагать кто-нибудь другой.

Стрехнин продолжает читать, что говорила Н. Дурова:

Н.Дурова: Я недавно была в Лейпциге. Там министр культуры ГДР назвал Лидию Чуковскую импресарио по клевете и фальсификации. Это правильно.

Я: Какой у них интеллигентный министр культуры! Слово «импресарио» знает.

Н. Дурова: Предлагаю лишить Лидию Чуковскую наследства. В той же семье растет великолепно подготовленная смена. На телевидении работает Дмитрий Николаевич Чуковский. На студии научно-популярных фильмов – Евгений Борисович Чуковский. И не хотелось бы, чтобы тень клеветнических выступлений их родственницы падала на эти имена.

Я: Отец мой не считал, что я бросаю тень на его имя. Если же мои родные стыдятся меня – у них есть отличный выход переменить фамилию. Я свою не отдам… И почему Дурова говорит только о Дмитрии Николаевиче и Евгении Борисовиче? У моего отца не двое, а пятеро внуков; среди них даже один доктор наук, который тоже великолепно работает. И много симпатичных правнуков. И замечательные невестки.

Но сколько бы их ни было и как бы хорошо они ни работали – «смена» тут слово неподходящее. Смены Корнею Чуковскому ни они, ни я представить собой не можем, потому что *писатель* незаменим, он *единственен*.

Я снова спрашиваю вас – как же вы допускаете, чтобы в руководимом вами Союзе происходили обсуждения на таком уровне? двадцать лет назад, худо ли, хорошо, но в Детской секции говорили о стихах и прозе, а сейчас о чужих семейных делах! И это – детские писатели, люди, призванные воспитывать детей! Это непристойно.

В. Медведев, а с ним и **Стрехнин:** Им никто не давал указания сверху, они говорят от души. Почему вы воображаете, что вы одна говорите от души, а все – по подсказке? Они говорят, что думают.

Я: Они все говорят одно и то же, одно и то же, одно и то же – значит, по подсказке. И все они говорят не о моей статье «Гнев народа», а только о семейных делах. Наверное, им

[42] Статья «Ответственность писателя и безответственность «Литературной газеты» (1968). См. сборник «Открытое слово», М., 1991, с. 40–53.

так велели. Ни слова по существу разбираемой статьи. Я не удивлюсь, если завтра прочту в «Литгазете» точное повторение за подписью экскаваторщика. Тоже от души.

В. Медведев: Очень может быть.

Стрехнин читает выступление Лиханова:

Лиханов: Нет, дело тут не в позе, как кто-то сказал. Выступление Лидии Чуковской – не поза, а чистая антисоветчина. И не первая. Она давно работает на заграницу. Она в своем письме называет имена лиц, которые здоровы, а их будто бы посадили в сумасшедший дом. Это неправда. Они действительно больные. У нас здоровых не посадят.

Сейчас заграничное радио слушают все, в том числе и молодежь. Надо оградить нашу молодежь.

Как Литвинов, Якир и Красин пользовались именами своих отцов, так Чуковская пользуется именем своего отца.

Я: Неправда! Литвинов ничем не пользовался и честно отбыл свой срок Красин просто однофамилец известного большевика, и ему нечем пользоваться. Якир и Красин – давно сломленные лагерями и тюрьмами люди, которые оговорили и предали многих честных людей. Никто не смеет меня с ними сравнивать.

А моего отца не уважаете – вы. Неужели вы думаете, что теперешний наш разговор – это форма уважения к моему отцу? Если бы писатели его уважали, они позаботились бы, чтобы переиздавались его критические статьи, его книги – «От двух до пяти», «Живой как жизнь», «Высокое искусство», «Чехов», «Современники», «Мой Уитмен», «Поэт и палач», «Александр Блок как человек и поэт», «Рассказы о Некрасове», – заботились бы о его книгах, а не обсуждали бы его детей и внуков. Что бы он пережил, если бы слушал заседание секции и наш сегодняшний разговор? Как вы думаете?

Стрехнин: Вы переходите на другую тему – вопрос о переизданиях.

Я: Да, перехожу. Но не на «вопрос о переизданиях», как выражаетесь вы, а на литературу. Потому что я в Доме литераторов, а не на склочной коммунальной кухне. Вы, Союз писателей, лишаете читателей книг Корнея Чуковского. Вы не дорожите ни литературой, ни читателями.

Стрехнин: Я продолжаю читать протокол:

Юрий Яковлев оглашает письмо Марии Павловны Прилежаевой, которая присоединяет свой голос к требованию исключения. «Лидия Чуковская – человек чуждый».

Постановили: просить Секретариат и Правление подтвердить наше мнение об исключении Лидии Чуковской из Союза писателей.

Принято единогласно.

Затем, продолжает читать Стрехнин, уже после постановления, выступил т. Кулешов, по-видимому опоздавший. А. Кулешов заявляет, что Лидия Чуковская как писательница – пустое место.

Стрехнин: Итак, Лидия Корнеевна, какие у вас к нам претензии? Их две, я так понял: что вас не пригласили на заседание бюро – раз, и что якобы не говорили по существу – два.

Я: Да, это так. Нельзя осуждать человека в его отсутствие – это раз, а уровень обсуждения самый низкий – это два. Ничего никто о моей статье «Гнев народа» не сказал, а либо только брань («антисоветчина»), либо забота о моих племянниках, которые являются достойной сменой моему отцу. Писателю – родственники – смена!

А. Медников: Откуда вы берете информацию об арестованных?

Стрехнин: Вы пишете: аресты, обыски, сумасшедшие дома. Откуда у вас такие сведения?

Я: Я, как и вы, живу у себя на родине. У меня на родине творятся беззакония. Я их вижу.

Стрехнин: Почему-то вы видите только беззакония.

Я: Нет, совсем не только. Но я слишком хорошо помню погибших раньше – в предыдущие десятилетия, – и потому меня остро интересуют погибающие теперь.

Стрехнин: Мы тоже хорошо помним погибших.

Медников: Откуда вы берете вашу информацию?

Я: Из жизни. От матерей, жен, сестер. Чтобы не видеть, надо заткнуть уши и зажмурить глаза. Это кругом. Одного моего знакомого, совершенно здорового, посадили в сумасшедший дом. А я знала, что он здоровый. В печати об арестах и обысках не пишут. Или пишут, извращая факты. У меня много знакомых, которые были на суде над Синявским и Даниэлем, над Литвиновым и его товарищами. Все было совсем не так, как изображала печать. Когда я могу, я пользуюсь официальными источниками – например, когда Лев Николаевич Смирнов, судья, выступал в Союзе писателей, я задала ему вопрос, что означает – юридически – слово «антисоветский»? Ответа я не получила[43].

Медников: Почему это происходит вокруг вас, а, например, возле меня не происходит ничего похожего?

Я: Не знаю… Вы живете где-то на острове и нарочно не видите… Кроме личных наблюдений я иногда узнаю что-нибудь от академика Сахарова. Он ведь тоже лицо официальное: председатель Комитета прав человека. Вот недавно был суд над его другом Шихановичем. Судили в отсутствие подсудимого, защищал адвокат, который подсудимого ни разу не видел. А дело Суперфина? Его матери недавно запретили с ним переписку. Родной матери. Понимаете?

В. Медведев: Я никогда никакого Суперфина не слышал. И с Сахаровым незнаком.

Я: Жалею о вас.

Стрехнин: Итак; вернемся к делу. Мы пригласим вас на Секретариат… Может быть, вы до тех пор подумаете и напишете объяснительную записку? Я нисколько не настаиваю, я всего лишь спрашиваю.

Я: Я никакой объяснительной записки писать не стану. Я ни у кого на службе не состою. Если меня пригласят в Секретариат Правления, я приду, но только на том условии, что о моих родных говориться не будет. В литературе родства не существует. Если существует – не фамильное. И кроме того, прошу учесть, что я живу то в городе, то на даче, – и предупредить меня надо заранее.

Если на Секретариате займутся моими семейными делами, то я немедленно уйду, громко хлопнув дверью.

Стрехнин: Скажите, пожалуйста, Лидия Корнеевна, а как ваша статья попала за границу?

Я: В прошлый раз в этой же комнате вы задали мне подобный вопрос о другой статье. Тогда я сказала: не знаю. Это правда. Теперь говорю: я сама пригласила к себе домой американского корреспондента и передала ему «Гнев народа» с просьбой опубликовать.

[43] Вопросы, переданные Л. Н. Смирнову на собрании писателей в марте 1966 года, – см. сборник «Открытое слово», с. 26–29.

8

4 января я получила повестку: явиться на заседание Секретариата Московского отделения Союза писателей РСФСР.

От письма Стрехнина она отличалась тем, что уже вовсе не походила на письмо. Там: «Уважаемая Лидия Корнеевна». Здесь уже просто «Лидия Корнеевна». (А если бы меня вызывали на Секретариат не РСФСР, а СССР – до какого градуса поднялась бы невежливость?) Там была подпись «Ю. Стрехнин». Как-никак, автограф писателя. Здесь – «Зав. протокольным отделом А. Любецкая». Очень похоже на вызов в милицию или в суд… Впрочем, в милицейской повестке стояло бы: «гр-ке Чуковской Л. К»… Трудно себе вообразить, чтобы, например, у «Серапионовых братьев» существовал протокольный отдел, и в этом отделе – зав, и они писали бы друг другу так: Каверину В. А.

Я нахожу, так оно и лучше. По крайней мере, сразу понимаешь, куда идешь.

Явиться: 9 января, в 2 часа дня, в комнату номер 8.

Я в указанное время явилась. Захватила с собою кроме фломастеров, линз и дощечки листы чистой бумаги для записи; напечатанное большими буквами прощальное выступление; а также список своих работ, сначала принятых издательствами, а потом без объяснений отвергнутых.

В вестибюле меня поджидали друзья. (Хоть и нет «Серапионовых братьев», а братство неистребимо. Не нами началось, не нами кончится.)

Поднялись все вместе на второй этаж, к дверям комнаты номер 8. У дверей сторож. Друзья мои (члены Союза) просили у членов Секретариата допустить их в зал. Нет. Друзья просили допустить хотя бы кого-нибудь одного, чтобы помочь мне разбираться в бумагах. Нет. Члены Секретариата Правления МО СП – это, видимо, какие-то помазанники Божии, а все остальные – серость, не им чета.

Вот когда и друзей моих будут исключать поодиночке из Союза, тогда и каждого из них по очереди допустят в святилище. А пока что – одну меня.

Я вошла. Большая комната в несколько окон. Большой стол. За стол, шумно отодвигая стулья, садятся люди. Некоторые – вдоль стен; их человек двадцать – двадцать пять. Сели. И мне, вижу, оставлено место – неподалеку от председателя. (Председательствует поэт С. Наровчатов.) Я села, начала раскладывать свои инструменты и бумаги и сразу поняла: беда. Комната очень большая, окна далеки от стола, я как ни устроюсь за столом – света мне не хватит. Настольных ламп нет, а верхний, если даже зажечь, недостаточен.

Я собрала все свое хозяйство, разложила на подоконнике и стала у окна.

Теперь свет падает щедро и на мою дощечку, и я могу писать и читать.

Но председательствующий не называет имен говорящих (все они тут люди свои, хорошо между собою знакомы, зачем называть), а я из своей дали не вижу лиц. Голоса узнаю, но лишь некоторые. Вынуждена то и дело бросать карандаш, подходить к председателю, спрашивать шепотом: «Это кто говорит?» Он отвечает, не поворачивая ко мне головы. (Поэтическая вольность. Поэт не обязан быть вежлив.)

Так я слушаю, читаю, говорю, спешу от окна к председателю и от председателя обратно к окну, тороплюсь записать, тороплюсь ответить; люди говорят, перебивая друг друга, иногда в два или три голоса сразу; может статься, запись моя в результате беготни и спешки не совершенно точна. (Надеюсь, велась стенограмма, она позволит обогатить и уточнить мой текст.)

Наровчатов (*объяснив, что собрались все члены Секретариата, кроме тех, кто представил для своей неявки уважительную причину*) открыл заседание.

Огласил повестку дня.

Пункт первый – обсуждение персонального дела Л. Чуковской.

Затем прием новых членов.

Затем план работы Секретариата в первом полугодии 1974 года; утверждение разных редколлегий (кажется, среди сборников назван был «День поэзии») и очень много пунктов, посвященных встречам писателей с рабочими; так, например, обсуждение темы «Герой девятой пятилетки»; планирование очерков и рассказов о заводских рабочих; выдача премий за лучшие произведения «на рабочую тему».

(Записала я не все – на повестке дня пунктов было больше.)

Затем Наровчатов предоставил слово для доклада т. Стрехнину.

Стрехнин поднялся и, стоя, сообщил, что 14 декабря 1973 года бюро Детской секции единогласно постановило ходатайствовать перед Секретариатом об исключении из Союза писателей Лидии Чуковской – ввиду ее недостойного поведения. Что после этого он, Стрехнин, совместно с товарищем Медниковым, беседовал с Чуковской. (Та часть беседы, которая касалась семьи, в его пересказе опущена.) Что я заявила им: «Статья «Гнев народа» передана мною американскому корреспонденту собственноручно». Что статья «Гнев народа» напечатана за границей в русской белогвардейской газете рядом с Галичем (я не поняла, рядом ли со стихами Галича или с его интервью; газеты не видела); что статья моя широко передавалась по иностранному радио на Советский Союз. *«Ввиду того, что все присутствующие хорошо с ней знакомы, – сказал Стрехнин, – обсуждать ее по существу нет необходимости»*[44].

«Вернемся к прошлому», – предложил Стрехнин и занялся перечислением моих проступков.

1966 – поддержка Синявского и Даниэля.

1967 – письмо Шолохову, передававшееся «на Советский Союз» по иностранному радио.

(Уточняю: мое письмо Шолохову написано было в мае 1966 года и послано (кроме шолоховского) по восьми адресам – в три отделения Союза писателей и в пять редакций советских газет).

1968 – статья, направленная в «Литературную газету», – ответ на статью против Солженицына.

1968 – поддержка Гинзбурга, Галанскова и других.

Секретариат Союза писателей вынес тогда Чуковской выговор.

1969 – телеграмма в Президиум Союза писателей с протестом против исключения Солженицына[45].

За границей Чуковская опубликовала две повести: «Опустелый дом» («Софья Петровна». – *Л. Ч.*) и «Спуск под воду».

Наша задача сейчас не в обсуждении открытых писем и повестей. Мы должны принять меры на основании нарушения двух пунктов устава Союза писателей: п. 2 и п. 10.

(Оба они, со всеми своими а, б, в – совершенно абстрактны и в любую минуту могут быть истолкованы как угодно. Устав требует, например, участия члена Союза в общественной деятельности. Но почему общественной деятельностью писателя считается, например, соучастие в чьем-нибудь исключении – по приказу Секретариата, – но не в защите кого-нибудь из товарищей, которыми Секретариат недоволен?)

---

[44] Мне представляется наоборот: обсуждать тогда-то и возникает необходимость, когда обсуждающие знакомы с предметом.

[45] Не записала и не помню: назвал ли Стрехнин среди моих преступлений также и мое письмо в защиту Рейзы Палатник, обращенное к Верховному суду УССР (1971). (См. сборник «Открытое слово», с. 59–64.) Телеграмма же о Солженицыне опубликована в том же сборнике на с. 57, и текст ее таков:*«В президиум Союза советских писателей СССР* Я считаю исключение Александра Солженицына из Союза писателей национальным позором нашей родины.*Лидия Чуковская.11 ноября 1969 года».*

Чуковская сама поставила себя в положение, несовместимое с членством в Союзе писателей.

Юрий Яковлев (*захлебываясь, глотая буквы, слоги, слова*): Мне трудно говорить, товарищи… Вы меня простите, но мне говорить слишком трудно… Во мне вся эта история вызывает глубокую горечь… Слишком глубокую… Вот недавно в Новосибирске наш советский подросток стрелял в нашего советского часового… Это ужасно, товарищи… В Новосибирске совершилось ужасающее преступление. (Я слушаю оратора с полным сочувствием. Тем более что один из воспитателей советского юношества – не кто иной, как сам товарищ Ю. Яковлев: это его книги каждую минуту издают и переиздают все советские издательства по всей необъятной Советской стране, на них воспитывается советское юношество. Как же ему не волноваться!) И вот, товарищи, когда по радио слышишь статьи, подобные статье Чуковской, начинаешь понимать, откуда берутся ужасные преступления. Передачи, подобные «Гневу народа», – вот их источник… Вы меня извините, я больше не могу говорить, я слишком взволнован.

Рекемчук: Название «Гнев народа» – это что же, *она* гневается от имени народа? Вы – представитель разгневанного народа?

Я: Напротив, я подчеркиваю в своей статье, что говорю ни от чьего имени, от одной себя, что я ничей не представитель. Ведь вы мою статью читали? Там это сказано. А название дано мною чисто иронически.

Редакции газет сначала организовывают гнев знаменитостей, тех, кому поверит читатель, а потом «гневные письма трудящихся». Имитация гнева. Опасная игра потому, что кончится она впоследствии истинным гневом. Я этого не хочу и боюсь и об этом своей статьей предупреждаю.

Рекемчук: В вашей статье – барское пренебрежение к народу, к рабочим, таксистам, хлеборобам.

О Солженицыне. Мы уже несколько лет имеем удовольствие читать его антисоветские, монархические произведения. И вы становитесь на те же классовые позиции! Под конец жизни вам льстит ваша скандальная известность!

Я: Почему же под конец? Я пока еще не собираюсь умирать.

Юрий Жуков: Я уважаю прежние статьи Лидии Чуковской. (Неувязка! По-видимому, т. Кулешов, заявивший 14 декабря, что я в литературе пустое место, – перевыполнил задание. Сам т. Юрий Жуков уважает мои прежние статьи!) Однако логика фракционной борьбы привела вас к защите всех антисоветчиков: Гинзбурга, Галанскова, Солженицына. Вы оскорбляете тех, кого вы отбрасываете.

Я: Кого же я отбрасываю?

М. Алексеев: Любопытно отметить, что *она* явилась сюда с ответами, заранее заготовленными на бумаге. Посмотрите, какая груда листов! Это напоминает мне заседание с Солженицыным. Солженицын тоже пришел со стопкой. И вот сейчас мы видим то же самое.

Все это уже где-то заранее согласовывалось и репетировалось.

Я поддерживаю предложение Детской секции: Чуковскую надо исключить.

А.Медников: Я прочитал много раз «Гнев народа». Эта статья вызывает чувство возмущения. Надо дать общую оценку Солженицыну, Максимову, Чуковской.

Их деятельность – проявление ожесточенной классовой борьбы.

Они ведут классовую борьбу в идеологии.

«Гнев народа» – целая цепь клеветы и оскорблений, адресованных писателям и народу. Это оскорбление власти: как будто власть строит стену между писателями и народом. Это оскорбление интеллигенции – в лице, например, Кожевникова. *Она* пишет, что его «спустили» на Сахарова и Солженицына… Ведь это собак спускают. Кожевников не собака, а человек.

Я: Конечно, Кожевников человек. Собаки не пишут статей – ни от души, ни со специальной целью ввести читателей в заблуждение.

А.Медников: «Гнев народа» – статья, оскорбляющая партию. Под конец это уж прямая угроза. В письме Максимова тоже содержалась угроза. После такой статьи, как «Гнев народа», нельзя быть не только членом Союза писателей, но и гражданином Советского Союза.

Н. Грибачев: С горечью думаешь о том, что Лидия Чуковская носит фамилию Корнея Чуковского. У меня эти два имени не укладываются в сознании рядом.

Я: Если вы так почитаете Корнея Чуковского – где все вы были, когда в нашей печати обливали его грязью?

Н. Грибачев: Сахаров – уважаемый физик, но в политике он жалкий либералишка. У Солженицына скопилась злоба из-за давних обид.

А что же у вас? Вы завидуете их славе на Западе?

Что такое Солженицын в литературе? В лучшем случае беллетрист среднего пошиба. В его писаниях можно найти две-три удачные страницы.

На международном рынке он спекулирует антисоветчиной, чтобы нажить себе состояние.

Он оплакивает царя-батюшку.

Я: Невозможно слушать, что вы говорите. Солженицын – и спекуляция! Где же он оплакивает царя? В «Августе четырнадцатого» Николай II изображен ничтожеством, и ничтожный царь и его бездарные генералы ответственны за гибель сотен тысяч людей, за гибель целой армии.

С. Наровчатов: Прошу не перебивать. Вам будет предоставлено слово.

Н. Грибачев: Благодаря усилиям правительства Советского Союза мир пришел к разрядке международной напряженности. В связи с этим обостряется классовая борьба, а с нею растет антисоветчина. В этих условиях все антисоветское, что поступает отсюда, щедро оплачивается на Западе золотом и славой. И вы дали себя втянуть в эту грязь? Вы думаете, что Би-би-си удастся свернуть наш народ с его пути? Ошибаетесь. Вы просто-напросто презренный поставщик материалов для антисоветской пропаганды.

Я: Импресарио, как выразился министр культуры ГДР.

Н. Грибачев: Вы ото всего далеки. Вы потеряли человеческое отношение к людям. Не только к нашим, советским, но и к тем, за рубежом, кто ведет благородную борьбу за прогресс.

Вас надо исключить и довести наше решение до широкой общественности. Вы считаете, что наш народ глуп.

Я: Напротив, у меня написано, что наш народ умен, но он не осведомлен, потому что вы намеренно лишаете его информации.

Н. Грибачев: Предложение Детской секции следует поддержать. Чуковскую необходимо исключить, и пусть «Литературная газета» позаботится о широких читательских массах. И другие газеты. Ее нужно выставить на позор перед народом.

А. Барто (*грудным голосом*): Я очень волнуюсь. Мне трудно говорить. Я вижу перед собой другую Лидию Корнеевну Чуковскую. Когда-то она проявляла критический пыл, вела наступление на художественно слабые вещи. В те времена я относилась к ней с уважением. Но теперь я разделяю горечь детских писателей… Чем объяснить, как может человек дойти до такой антисоветчины, до такой злобы? Мне хочется спросить у вас: почему вы такая злая! Откуда в вас столько злости? Я вчера прочитала «Гнев народа» – впечатление удручающее. Злость, злость, злость.

Кто-то: Логика фракционной борьбы.

А. Барто: Мне очень тяжело говорить. За вашими плечами мне видится тень, дорогая для меня и для всех нас, – тень вашего отца…

Хор (*общий одобрительный гул, в котором я с особенной отчетливостью различаю голос Лесючевского*): Корней Иванович! да… уважаем… любим… основоположник… классик… имя окружено почетом… высокая оценка… высокие награды… любимец советского народа…

Я (*Лесючевскому*): Вы, Николай Васильевич, имеете полную возможность выразить свое высокое уважение к Корнею Чуковскому: в издательстве, подведомственном вам, выпустить в свет хотя бы одну из его книг. Или хотя бы включить в план. Ведь не стали книги Чуковского хуже оттого, что он умер, – ни «Чехов», ни «Воспоминания», ни «Высокое искусство», ни «Живой как жизнь». А вот ни в одном плане ни одного издательства взрослых книг Корнея Чуковского – никаких, даже признанных, хвалимых – почему-то больше нет. Читатель постепенно лишается их.

Лесючевский отвечает что-то невнятное. Что-то вроде: «Это не от меня зависит», или: «Нет бумаги», или и то и другое вместе.

А. Барто: Вот у меня в руках пригласительный билет в Театр Образцова на спектакль по сказкам Чуковского. «Наша Чукоккала»… Прямое доказательство, как его любят и помнят.

Я: Представьте себе, какая странность, даже я получила пригласительный билет в Театр Образцова. Там Чуковского действительно любят и помнят. Детгиз печатает его детские сказки. А вот Союз писателей об издании его книг для взрослых не заботится. Повторяю: литература состоит из книг. Если вы ведаете литературой, то почему же не переиздаются ни «Живой как жизнь», ни «Воспоминания», ни «Чехов», ни «Высокое искусство» – книги Чуковского?

А. Барто: Мы любим и помним Корнея Ивановича. Он учил людей добру. Он своими сказками и всей своей личностью звал к добру. У меня сохранились четыре письма от него… и все четыре такие добрые.

Я: Представьте себе, какая странность: у меня тоже сохранились: двести девяносто четыре. Двести девяносто четыре письма от него – и все такие добрые – и даже до последнего дня.

Ю. Яковлев: Да, да, я видел письма Корнея Ивановича к Агнии Львовне собственными глазами! Они очень, очень добрые!

А. Барто: В своих письмах Корней Иванович хвалит мои стихи, благодарит меня. Он очень ценил мои стихи. Он был добрый человек. А вы – злая. Откуда в вас столько злобы? Опомнитесь, Лидия Корнеевна, подобрейте!

Я: Корней Чуковский был человек незлопамятный, это правда. Но мне, чтобы знать, как он относился к поэзии Агнии Барто, не требуются его четыре любезные письма. Между его и вашими стихами нет ровно ничего общего – его стихи растут из фольклора и классики; у ваших – другой источник. И вы, когда было приказано вести борьбу против народных стихов, помогали вытаптывать сказку, всякую сказку, в том числе и сказку Чуковского. Тем не менее Корней Иванович способен был к объективности, ценил некоторые ваши стихотворные удачи, особенно ваше умение выступать перед детьми с эстрады, владеть школьной аудиторией. И бывал благодарен вам, когда вы выступали в построенной им детской библиотеке или на его ежегодных праздниках – «Кострах».

Но вот что примечательно: вы, Агния Львовна, всю жизнь платили ему за добро злом, Ваша подпись украшает собою письмо против народных сказок и против сказок Корнея Чуковского, напечатанное в «Литературной газете» в 1930 году. Там много подписей, и среди

других – ваша[46]. В 1944 году против Корнея Чуковского выступила уже не «Литературная газета», а «Правда»: в «Правде» обозвали военную сказку Чуковского «несуразным *шарлатанским* бредом». Он был немедленно вызван в Союз. Для защиты? Нет. Союз никогда не защищает своих членов, – для расправы. (Не в этой ли самой комнате с ним и чинили расправу тогда?) В «Правде» говорилось, между прочим, что Корней Чуковский *сознательно опошляет* задачи воспитания детей в духе социалистического патриотизма… То же повторялось и на Президиуме. Когда Корней Иванович вернулся домой, я спросила: кто был ниже всех? Он ответил: «Барто».

А. Барто: (*пожимая плечами*): Я не понимаю… Что же, по-вашему, Корнея Ивановича и покритиковать нельзя? Мы все его уважаем, он, конечно, основоположник, но ведь у каждого писателя бывают неудачи… Покритиковали одну сказку – что ж тут такого…

Хор: Одну сказку… Уж и покритиковать нельзя… Литература движется вперед критикой… Советская литература всегда была сильна свободой критики… «Правда» покритиковала… Президиум покритиковал… Одну сказку…

(Какое неуважение к фактам, к литературной истории, какое полное пренебрежение к памяти, к документам! Не «одну сказку покритиковали», а не было ни одной сказки Чуковского, которую не запрещали бы. «Одну сказку!» «Покритиковали!» Слушая этот общий ханжеский гул, я вспоминала: мельком, не по порядку, на выбор: статью Н. Крупской против «Крокодила»[47], статью К. Свердловой под заглавием «О «Чуковщине», «Мы должны взять под обстрел Чуковского и его группу», – писала К. Свердлова, высмеивая тут же истоки «национально-народной» поэзии[48]. Вспоминались мне также статьи Д. Кальма, К. Флериной[49]; из года в год бесконечные нападки на «Мойдодыра», «Крокодила» и в особенности на «Муху-Цокотуху»… История всех этих преследований подробно изложена в главе «Борьба за сказку» в книге К. Чуковского «От двух до пяти»… Нет, вопреки истории они повторяют и будут повторять: «Одну сказку… покритиковали»… Борцы за свободную критику!.. Вспомнили бы резолюцию общего собрания родителей – не каких-нибудь там заурядных пап и мам, а кремлевских, собравшихся в детском саду при Кремле. «Мы призываем к борьбе с чуковщиной»[50]… Призыв этот был, разумеется, услышан и подхвачен. «Среди моих сказок, – пишет К. Чуковский, – не было *ни одной*, которой не осуждала бы в те давние годы та или иная инстанция…»[51]

И вот я дожила: «одну сказку… покритиковали…»)

Но все эти воспоминания, промелькнувшие у меня в уме под звуки общего гула, я опустила, а сказала только о том, о чем зашла речь, – о «критической статье» Юдина 1944 года.

Я: Есть люди, которые утверждают: критика – это лирика. Другие: критика – это наука. Но то, что было напечатано в «Правде» в 1944 году и что так горячо поддержал Президиум Союза писателей и с особым усердием Барто, – критикой никак не назовешь. Это бюрократический циркуляр, пересыпанный бранью.

А. Барто: Я не понимаю, Лидия Корнеевна, вы вообще совершенно отказываете людям в праве иметь собственное мнение. Вы требуете, чтобы все думали так, как вы. А я за свободу мнений. Я думаю, как Шостакович и Чингиз Айтматов, а вы – как Солженицын и Сахаров.

Я вас зову: опомнитесь! подобрейте!

---

[46] Литературная газета, 27 января 1930.

[47] Правда, 1 февраля 1928.

[48] Красная печать, 1929, № 9–10, с. 92–94.

[49] Литературная газета, 30 декабря 1929.

[50] Дошкольное воспитание, 1929, № 4, с. 74.

[51] *Корней Чуковский*. От двух до пяти. М.: Детская литература, 1968, с. 270.

Мне тяжело думать, что на светлую память о Корнее Ивановиче, учившем нас доброте, ложится ваша тень.

Я: Представьте себе, о том же оказалось тяжело думать и членам Детской секции. Ваши свободные мнения сработаны по общей шпаргалке, слово в слово.

Лесючевский: То, что здесь происходит, – чудовищно. *Она* пришла сюда и ощущает себя спокойно-враждебной. Агния Львовна обратилась к ней так трогательно, с такой задушевностью, а *она* в ответ еще пытается нам диктовать, навязывать свою антисоветчину. Мы взволнованы, потому что затронуто самое заветное для нас, святое, а *она* словно играет в какую-то игру. Антисоветизм в наши дни знамя реакции во всем мире, и вот в эту минуту человек выступает антисоветчиком!..

Я: Я уже давно пыталась добиться определения слов «советский» и «антисоветский». Эти понятия непрерывно меняются. Были, например, годы, очень долгие, когда писать доносы считалось «по-советски». Были годы, очень недолгие, когда, напротив, считалось «по-советски» спасать и устраивать на работу тех, кто вернулся из преисподней, куда был ввергнут доносами.

Понятия «советский» и «антисоветский» столь текучи, изменчивы и неопределенны, что даже вы, т. Лесючевский, крупнейший, можно сказать, специалист, и вы иногда ошибаетесь в определении. Так, в 1962 году руководимое вами издательство приняло мою повесть «Софья Петровна», в которой рассказывается о 1937 годе; в ту пору эта повесть сочтена была вашим издательством что ни на есть «советской», она разоблачала «культ»; через несколько месяцев приказано было сократить, притупить разоблачения культа, и мою повесть отвергли. В ней был срочно обнаружен «идейный перекос». Она оказалась уже не вполне советской… Сейчас в моем «персональном деле» та же повесть, некогда принятая вами, потом отвергнутая вами и напечатанная за границей, трактуется как «антисоветская»… Значит, даже вам, знатоку в определении антисоветчины, случается иногда ошибаться. Виноваты в своих ошибках не только вы, но и растяжимость понятия: не угнаться.

Лесючевский (*скороговоркой*): Ваша повесть никогда не была принята и одобрена издательством. У вас был всего лишь двадцатипятипроцентный, предварительный (!) договор.

(Распространено мнение: правда обезоруживает. Видно, не всегда это так. Наглая, открытая, себя не стыдящаяся ложь – публичная ложь под стенограмму лишила меня дара речи, обезоружила. Я, располагающая всем материалом, необходимым для опровержения лжи, я ответила нечто беспомощное: «Как вам не стыдно» и «Сохранились ведь документы». У меня кончился голос, это были не возражения, а лепет.

Интересно, какие шаги предпримет Лесючевский, если ему на глаза попадутся эти строчки? Найдет в архиве издательства и уничтожит положительные рецензии? И договор, где в соответствующей графе стоит слово «одобрена»? Прикажет суду уничтожить протокол заседания? Выгонит из редакции своего издательства всех знакомых знакомых тогдашних редакторов? Отравит всех присутствовавших на суде? Объявит решение суда – антисоветчиной? Всего можно ждать, кроме одного: прочитав эти строки, Лесючевский открыто заявит: да, в 1962 году повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна» в издательстве «Советский писатель» была *принята и одобрена*, к ней были сделаны рисунки, автору выплачены 60%, дающие право на 100, а позднее, весною 1963-го, когда приказано было всем издательствам умерить разоблачения Сталина, – отвергнута.)

Лесючевский: Сахаров и Солженицын – для Чуковской всего лишь повод. Она ненавидит советский народ. Народ для нее быдло.

(Я слышу, как он громко перелистывает бумаги – под его пальцами щелкают листы. Догадываюсь: это корчится моя статья.)

Лесючевский: Что здесь написано?.. Народ у нас, оказывается, управляется кнопками: нажмите кнопку, и он исполнит приказ. Власть управляет народом с помощью кнопок. (*Листы щелкают все громче. Из груди оратора вырываются вопли, стоны*.) Перед нами открытая антисоветчина. Мы должны дать ей отпор… Статья Чуковской оканчивается прямым призывом к бунту… Она угрожает нам: народ взбунтуется и сметет нас. И мы еще это обсуждаем… Чудовищно…

(Листки шуршат и щелкают. Лица Лесючевского из своей дали я не вижу, но вижу, что он хватается рукой за грудь.)

Хор (*главноуспокаивающие – Грибачев и Жуков*): Николай Васильевич! Коля! Ты не волнуйся… Не стоит она того… Вспомни: у тебя больное сердце… был инфаркт… надо щадить себя… тебе вредно волноваться… Да и о чем? Ведь это все фантастика… Выдумки… Бред… Никакого бунта…

(Видя, как они хлопочут, утешая Лесючевского, я испытываю желание предложить ему антиспазматические лекарства, которыми набиты мои карманы. Но не отваживаюсь.)

Голоса: Николай Васильевич! Дружище! Не волнуйся! Вспомни, дорогой, ведь мы страна победителей! Мы взяли Берлин! И ты расстраиваешься! Из-за чего? Из-за какой-то несчастной статейки. Стоит ли переживать? Ведь всем все ясно. Ее антисоветская позиция ясна. И не только ее. Кое-кто сочувствует. *Но мы и в сочувствующих вглядимся*.

Я: Не расстраивайтесь, Николай Васильевич, в моей статье никакого призыва к бунту нет. Вся моя статья призыв не к бунту, а к прекращению злостной умышленной дезинформации читателей. (*Обращаюсь к Стрехнину*): Юрий Федорович, прошу вас, огласите концовку моей статьи. Там никакого призыва к бунту, там говорится о том, чего я изо всех сил не хочу.

Стрехнин читает последний абзац моей статьи, опустив заключительную фразу:

«А вы, Кожевников и те, кто нажимает кнопки, вы, намеренно задувающие сияние лучших умов, которыми нас дарит родная земля; вы, возводящие газетную – железобетонную – стену между лучшими умами и «простыми людьми»; вы, пытающиеся повернуть историю вспять; вы, искусственно, механическим нажатием кнопки, вызывающие волны «народного гнева», предпочитая немоту любому слову, – смотрите, чтобы из-под земли не вырвался подлинный гнев, и тогда он, как лава, затопит не только вашу убогую стену, но – ничем не просветленный, не очищенный ничьей одухотворяющей, умиротворяющей мыслью – академика Сахарова, например, – он утопит в крови, без разбора, и виноватых и правых».

Я (*кричу*): Вы не дочитали до конца! Дочитайте до конца!

Стрехнин: «Хочу ли я этого? Нет. Этого я никому не желаю».

Последняя фраза, Лидия Корнеевна, ничего не меняет.

Я: Да ведь вся моя статья написана в предостережение насилию! Вся – для последней фразы! Перестаньте лгать! Это приведет вас же к беде!

Катаев: Я хочу поставить один вопрос: о порядочности. Вот уже года два *она* вступила в борьбу с Советским Союзом и с Союзом писателей. Почему *она* сама не вышла из Союза? Этого требует элементарная порядочность, которая ей, как видно, несвойственна.

Я: Никакой борьбы против своей родины я не веду и никогда не вела. А отчислить меня – не от Союза писателей, а от интеллигенции, опозорившей себя травлей Сахарова и Солженицына, – я попросила сама. В той же статье «Гнев народа». Прочитав имена интеллигентов под письмами в газету.

Кто-то: А вы, прежде чем передать свою статью за границу, предлагали ее какой-нибудь редакции здесь?

Я: Здесь? Где даже проредактированная мною рукопись моего отца не была принята к печати т. Поздняевым потому, что под статьей стояла пометка: «Подготовила к печати Лидия Чуковская»? Здесь, где не было напечатано ни одно мое открытое письмо? Где мне вернули мою ахматовскую работу – вернули *после* принятия, без объяснения причин? Для чего

же, кому и что я буду предлагать? Для новых издевательств? В журнале «Семья и школа» мои воспоминания о Корнее Ивановиче оборваны были на полуслове за то, что они – *мои*. После передачи по иностранному радио статьи «Гнев народа» те же воспоминания вышвырнули из детгизовского сборника. Без всяких объяснений. «Об этом не может быть и речи», – объявлено было составителям. Для чего ж я буду предлагать что-нибудь кому-нибудь? Для новых унижений?

А. Самсония: Я хорошо понимаю тех, кто подобно товарищам Лесючевскому, Яковлеву, Барто волнуется, прочитав статью Чуковской; понимаю я и тех, кто, прочитав, остается непоколебимо спокоен.

Наивно с нашей стороны было бы думать, что вы, Лидия Корнеевна, не понимаете, что делаете. Вас поддерживает оголтелая антисоветчина.

Войну Отечественную зачеркнуть не может ни Солженицын, ни Сахаров, ни вы. Мы великая страна, и ваши попытки жалки.

Вы воображаете, что вы герой? Вы возомнили себя фигурой? У вас жалкий вид! Вы жалкая личность! Вы порочите имя своего отца.

С. Наровчатов (предоставляет слово мне):

Я (*читаю приготовленный заранее текст*): Через несколько минут вы единогласно исключите меня из Союза. И я из числа членов Союза писателей перейду в другой разряд – в разряд исключенных из Союза. Это горько, потому что в Союзе писателей много людей талантливых, честных и чистых. И это лестно, если вспомнить, что к разряду исключенных принадлежали в свое время Зощенко и Ахматова, что исключенным умер Пастернак, что недавно вы исключили Солженицына, Галича и Максимова. Я не равняю себя с такими великанами, как Ахматова или Солженицын, но горжусь тем, что вы вынуждены применить ко мне ту же меру, что и к ним.

Сегодня вы приговариваете меня к высшей для писателя мере наказания – несуществованию в литературе. Начали вы разлучать меня с читателями, то есть не переиздавать мои старые и не печатать новые книги, уже давно. Сделать любого писателя вовсе не существующим и даже никогда не существовавшим вполне в вашей власти. Пресса в ваших руках – в руках президиумов, секретариатов и правлений. Вы перестали переиздавать мои работы о Миклухо-Маклае, о Герцене, о декабристах, о Борисе Житкове, мои критические статьи и книгу «В лаборатории редактора» – и вот в сознании читателей меня почти нет. Но ссылаться на мои книги до сих пор еще было кое-где, в малотиражных изданиях, разрешено. Теперь вы запретите и это. Хвалебные статьи о моих работах, печатавшиеся в советской прессе, будут отправлены в спецхран, то есть от читателя скрыты. После выхода в Америке моей старой книги «Спуск под воду» вы оборвали печатанье в журнале «Семья и школа» моих воспоминаний о Корнее Чуковском. После опубликования за границей моей статьи «Гнев народа» вы изъяли мои воспоминания о Корнее Чуковском из сборника Детгиза.

Исключением из Союза завершается приговор к несуществованию. Меня не было и меня нет. (На заседании бюро Детской секции т. Кулешов уже заявил, что меня не было, а читатель возразить возможности не имеет – негде.)

Но *буду* ли я? Всегда, совершая подобные акты, вы забывали и забываете и сейчас, что в ваших руках только настоящее и отчасти прошедшее. Существует еще одна инстанция, ведающая прошлым и будущим: история литературы. Вспомните: ваши предшественники травили годами и не печатали десятилетиями Михаила Булгакова, а теперь вы похваляетесь им на весь мир. Вспомните годы, когда был пущен в ход вами или вам подобными бранный термин «чуковщина». Вспомните: в 44-м году некто Юдин в газете «Правда» опубликовал статью: «Пошлая и вредная стряпня Корнея Чуковского». Тогда вы за Чуковского не заступились – напротив, усугубили травлю. А высшая инстанция через два десятилетия выне-

сла иной приговор. Юдин же, если войдет в историю литературы, то только как автор этой постыдной статьи. Других оснований у него нет.

Вам бы тогда защитить от Юдина – Корнея Чуковского, а вы вместо этого *теперь* охраняете Корнея Чуковского от меня.

История литературы, а не вы и на этот раз решит – кто литератор, а кто узурпатор.

В 1885 году Толстой писал Урусову:

«Да, начало всего слово: «Слово – святыня души… И слово это есть одно божество, которое мы знаем, и оно одно делает и претворяет мир».

Слово – дух! – от вас отлетело.

Таким словом руководить нельзя, даже имея очень сильные и очень длинные руки. Положение слова в нашей стране истинно отчаянное: если человек говорит что-то, не совпадающее с вашим сиюминутным мнением, его объявляют антисоветчиком; если за границей критикует кто-нибудь нечто дурное, совершающееся в нашей стране, – это объявляется вмешательством в наши внутренние дела. Так вы руководите. А словом, святыней души, руководить нельзя; таким словом можно увлекать, излечивать, счастливить, разоблачать, тревожить, но не руководить. Руководить можно только помехами слову, препонами слову, плотинами слову: изъять книгу из плана, изъять из библиотеки, рассыпать набор, не напечатать, исключить автора из Союза, перенести книгу из плана 74-го на 76-й, а бумагу присвоить себе или напечатать миллионным тиражом прозу Филева. Вот такой деятельностью вы и руководите. Мешать. Тормозить. Запрещать.

«Слово – святыня души. Оно одно претворяет мир». Ему помешать бессильны даже вы.

Несмотря на все чинимые вами помехи, на тридцать седьмой-тридцать восьмой год и на предыдущие, на сорок шестой, на сорок восьмой, на сорок девятый – пятьдесят первый, на пятьдесят восьмой, шестьдесят шестой, на шестьдесят восьмой и шестьдесят девятый, русская литература жива и будет жить.

…А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.

Чем будут заниматься исключенные? Писать книги. Ведь даже заключенные писали и пишут книги. Что будете делать вы? Писать резолюции.

Пишите.

Я начала читать заготовленное мною дальше – перешла к Сахарову и Солженицыну:

– Сахаровым наша страна и каждый из нас должен гордиться. Он первый заговорил о спасении человечества не войною, а единением народов; первый сочетал глобальные заботы с заботами о судьбе каждого отдельного человека. Каждая человеческая судьба для Сахарова – родная ему судьба. То, что сейчас именуется «борьбой за разрядку международной напряженности» – это идея Сахарова, из которой совершено горестное вычитание: борьба за отдельного человека.

Тут поднялся такой неистовый крик, что я уронила бумаги на пол. Нагнулась, чтобы подобрать, и уронила очки. Собрала бумаги в охапку, но разбирать, где какая страница, уже не могла.

А между тем, заговорив о Сахарове и Солженицыне, я хотела опять вернуться к основной теме своего выступления: «слово есть поступок», как утверждал Джон Рескин, слово – это и есть дело (отчего у нас и карают за слово более жестоко, чем за «дело»), как утверждал Герцен; я хотела напомнить своим собеседникам: слово истины непобедимо, а если победимо, то лишь временно. Я хотела огласить пророчество Чаадаева:

«Главный рычаг образования души есть без сомнения слово… Иногда случается, что проявленная мысль как будто не производит никакого действия на окружающее; а между тем – движение передалось, толчок произошел; в свое время мысль найдет другую, родственную, которую она потрясет, прикоснувшись к ней, и тогда вы увидите ее возрождение и поразительное действие в мире сознаний»[52].

Я хотела напомнить утверждения Льва Толстого:

«Истина, выраженная словами, есть могущественнейшая сила в жизни людей. Мы не сознаем эту силу только потому, что последствия ее не тотчас обнаруживаются»[53].

И – запись в толстовском Дневнике:

«Нынче думал… о том, какая ужасная вещь то, что люди с низшей духовной силой могут влиять, руководить даже высшей. Но это *только до тех пор*, пока сила духовная, которой они руководят, находится в процессе возвышения и не достигла высшей ступени, на которой она *могущественнее всего*»[54].

Наизусть я, естественно, этих цитат не помнила, листы, поднятые с пола, перепутались, рев стоял страшный, и силы мои, и время мое истекли, и вместо всех заготовленных выписок о неизбежной победе слова я проговорила напоследок:

– С легкостью могу предсказать вам, что в столице нашей общей родины, Москве, неизбежны: площадь имени Александра Солженицына и проспект имени академика Сахарова.

Молчание.

Кто-то: И переулок имени Максимова.

Громкий хохот.

Я (*потерявшись, замедленно*): И тупик Юрия Яковлева.

Кто-то: Все это мы завтра утром услышим по Би-би-си…

Кто-то: Зачем завтра утром? Сегодня вечером.

Я: А почему вы так боитесь Би-би-си? Мы – страна победителей.

Молчание.

Я, вообразив, что разговор окончен, что более ни читать, ни писать мне не придется, сунула бумаги, дощечку, линзу, фломастеры в портфель и, наконец, села. Села за стол, ожидая последнего акта – голосования.

Но я ошиблась.

Снова поднялся Стрехнин.

Стрехнин: Скажите, Лидия Корнеевна, известна ли вам эта бумажка?

Я: Какая? Не вижу отсюда, что у вас в руках.

Стрехнин: У меня в руках ваша доверенность, отобранная в таможне советскими таможенниками при обыске у одного интуриста. Доверенность на имя лишенного гражданства бывшего советского гражданина Жореса Медведева. Это ваша рука?

Я: Да, моя. В своей доверенности я поручаю Жоресу Александровичу Медведеву получать в заграничных издательствах все причитающиеся мне гонорары. И хранить их на Западе.

Кто-то: А зачем вам деньги на Западе?

Я: Не понимаю вопроса. Собственными гонорарами я, как каждый литератор, имею право распоряжаться по собственному усмотрению. Но это не секрет. Деньги на Западе нужны мне для того, чтобы Жорес Александрович посылал мне оптические приборы и глазные капли, которые в Советском Союзе не производятся.

---

[52] *П. Чаадаев*. Пять неизданных «Философических писем». Письмо пятое. Литературное наследство. Т. 22–24. М.: Жургаз, 1935, с. 49.

[53] *Л. Н. Толстой*. Полн. собр. соч. Т. 44. М.; Л., 1932, с. 374.

[54] *Там же*. Т. 55. М., 1937, с. 27.

При ваших, т. Стрехнин, тесных связях с таможней и другими подобными же, близкими литературе, организациями вы можете навести справку и удостовериться: ни одного доллара, франка или фунта стерлингов я из-за границы до сих пор не получила. Если сочту нужным – получу, но пока – нет. На мои западные деньги Жорес Александрович покупает в Париже и посылает мне сюда глазные капли. И вот это. (*Я повертела в руках большую линзу*.)

Кто-то *(кажется, Рекемчук):* А мы-то думали, вы там копите доллары на бла-го-твори-тельность.

Я: Нет, я не так великодушна, как Александр Исаевич. Это он откладывает свои гонорары на общественные дела. А я всего лишь себе на лекарства.

Кто-то: Медведев за рубежом здорово, говорят, разжился. Уж глазные капельки мог бы вам и на свои деньги прислать.

Я: Неприличное занятие – считать деньги в чужом кармане. Мне неизвестно, беден или богат Жорес Медведев. Скажу только, что в тот период времени, когда он еще не располагал моими гонорарами, он посылал мне линзы и лекарства на свои… И я ему за это глубоко признательна.

Стрехнин: Скажите, Лидия Корнеевна, вот вы упомянули в своих высказываниях имя Максимова. А вы читали его книгу «Семь дней творения»?

Я: Нет, к сожалению, нет. К сожалению, в последние годы я вообще очень мало читаю – только то, что непосредственно относится к моей работе… Но впечатление силы и правды произвело на меня письмо Максимова в Союз писателей. То, в котором он прощается с Союзом.

Кто-то: Это где он надеется на мальчиков с сократовскими лбами? Наморщив лбы, они пишут, пишут, пишут?

Я: Да. Я разделяю надежду Максимова на наших мальчиков. В сущности, только на них[55].

С. Наровчатов: Приступим к голосованию, товарищи! Есть предложение: исключить с широким освещением в печати. Других предложений нет? Голосуем.

(Все, кого я вижу, голосуют, сгибая правую руку в локте и чуть приподнимая вверх – словно прикладывая к козырьку.)

С. Наровчатов: Принято единогласно. (*Мне, впервые повернув ко мне голову*.) Вы – свободны!

[55] Письмо Владимира Максимова в Союз писателей от 15 мая 1973 года – письмо, в котором он спрашивал: «Почему в стране победившего социализма пьянство становится общенародной трагедией? Почему за порогом полувекового существования страны ее начинает раздирать патологический национализм? Почему равнодушие, коррупция и воровство грозят сделаться повседневной нормой нашей жизни?» – это письмо кончалось так:«Я прекрасно осознаю, что меня ждет после исключения из Союза. Но в конце пути меня согревает уверенность, что на необъятных просторах страны, у новейших электросветильников, керосиновых ламп и коптилок сидят мальчики, идущие следом за нами. Сидят и, наморща сократовские лбы, пишут. Пишут! Может быть, им еще не дано будет изменить скорбный лик действительности (да литература и не задается подобной целью), но единственное, в чем я не сомневаюсь: они не позволят похоронить свое Государство втихомолку, сколько бы ни старались преуспеть в этом духовные гробовщики всех мастей и оттенков.Со всей ответственностью – *В. Максимов».*

9

Свободна!

В самом деле, я стала много свободнее за эти два часа.

Мне не предстоит более – хотя бы номинально – участвовать в исключении из Союза лучших наших мастеров.

Не придется участвовать в грубо подтасованных выборах. Устраиваемых с единственной целью: «Вы там как хотите – все равно будет по-нашему»… Присутствовать на собраниях, где объясняет нам, что такое гражданская доблесть, – т. Карпова.

А главное: я никогда больше, до конца дней своих, не увижу в одной комнате такого множества, один к одному подобранных, падших людей. Большинству из них неоткуда было и падать. Но некоторые упали, скатились в эту бюрократическую трясину с высоты таланта. Ведь не откажешь в таланте ни Катаеву, ни Наровчатову. Ведь и Агния Барто человек несомненно способный – к сожалению, на все[56].

«Вы свободны!»

Отныне я свободна от всякого общения с писательскими президиумами и секретариатами. Писать без общения нельзя, читателей у меня отняли, но братья, среди пишущих и непишущих, остались.

Богата я братьями, есть мне на чье ухо и на чье сердце проверить новую страницу, строку, строфу.

Богата наша страна мастерами и экспертами повыше литературным классом, чем Яковлев, Рекемчук и даже сама Агния Барто. Жаловаться грех.

…Воздух братства охватил меня, чуть только я, свободная, шагнула за порог комнаты номер 8. Все два с половиной часа меня у дверей ожидали друзья. Теперь они усадили меня за столик, напоили горячим чаем и холодной минеральной водой. Человеческие лица после специально отобранных, волчьих. Я вглядывалась в эти светлые лица с тревогой и болью: полицейская фраза, произнесенная кем-то полчаса назад – кем-то, кто имеет наивность считать себя литератором, – фраза «да и в сочувствующих надо вглядеться» застряла у меня в мозгу.

Я вглядывалась. Со счастьем.

Вообще, если бы не эта фраза, – что, кроме счастья, могла бы я испытать в первые недели после исключения?

Пачки писем от незнакомых людей, услыхавших эту весть по иностранному радио. Каждое письмо – высокая мне награда и пронизывающий меня страх: перлюстрировали? скопировали? лишат моего корреспондента работы? (Такие случаи бывали после многочисленных откликов на мое открытое письмо Шолохову.)

Их – незнакомцев – я благодарю молча, в душе, но на их дорогие письма не отвечаю: боюсь. За них. Сказано ведь было:

«Да и в сочувствующих надо вглядеться»…

Но есть сочувствующие, чьи имена я могу назвать не только с гордостью, но и без страха: они сами открыто назвали себя, прислали письма в мою защиту на Секретариат.

Ни одно из имен (и писем) не было, разумеется, оглашено ни на заседании Секретариата, ни в печати. Ведь они были мне в поддержку, в защиту, поперек начальственной воле

---

[56] Даже на то, чтобы дать «литературную рецензию» по поручению КГБ. Даже в том случае, если эта «экспертиза» способствует каторжному приговору. По предложению следственного отдела КПЗ А. Барто накануне суда над Даниэлем и Синявским дала в качестве специалиста-эксперта отзыв на книги Ю. Даниэля. (Не в печати, разумеется.) В своей «экспертизе» она подчеркивала антисоветскую направленность творчества Ю. Даниэля, сетуя при этом о несомненной одаренности автора.«Опомнитесь, Агния Львовна, подобрейте!»

– зачем же доводить их до сведения читателей? Но выступили мои защитники открыто, их письма были посланы в Союз, распространились в Самиздате, многие были переданы по иностранному радио – это дает мне моральное право открыто назвать имена и процитировать письма.

Вот кто за меня заступился:

И. Варламова, Д. Дар, Л. Копелев, В. Корнилов, В. Максимов, Л. Пантелеев, А. Сахаров, А. Солженицын.

Мало?

Для счастья достаточно[57].

[57] Цитирую отрывки из писем, поступивших в Секретариат:Варламова: «Я глубоко уважаю Л. К. Чуковскую за ее прекрасные книги о Герцене и Маршаке, за ее плодотворную многолетнюю редакторскую деятельность…» Дар: «Я много лет знаю Л. К. Чуковскую как писателя выдающегося дарования, написавшую блестящие книги о Герцене, о редакторском труде, а также художественные и публицистические произведения, проникнутые высокой гражданской ответственностью, напряженным чувством нравственности и правды…» Копелев: «Книги Лидии Чуковской о Бестужеве, Герцене, Шевченко, Житкове, «В лаборатории редактора» и другие; ее статьи, очерки; ее новые, пока лишь частично известные работы – («Записки об Анне Ахматовой» и «Книга о моем отце») – и повести «Софья Петровна», «Спуск под воду» – это произведения… значение которых со временем только возрастает». Корнилов: Мне стало известно, что Московский Секретариат собирается исключить из Союза писателей Лидию Корнеевну Чуковскую, женщину, которую всегда отличали честность, талант, мужество. Л. К. Чуковская тяжело больна опасной болезнью сердца. Она почти не видит. И вы, мужчины, преследуете женщину, защищенную лишь одним личным бесстрашием. По-человечески ли это? По-мужски?» Максимов: «Очередной идеологический шабаш убогих бездарностей в Московской писательской организации завершился исключением из ее состава замечательной представительницы современной русской литературы Лидии Чуковской… Мир слышал голос Чуковской всякий раз, когда на наших глазах попиралась справедливость, и чутко на него откликался. Каждый из нас (я имею в виду писателей своего поколения) испытал на себе благотворное влияние ее бескомпромиссной и открытой борьбы за чистоту и обязывающую ответственность нашей профессии». Пантелеев: «Не слишком ли мы спешим? Вспомним Зощенко, Пастернака, Ахматову, Заболоцкого и многих-многих других, чья судьба на нашей совести». Сахаров и Солженицын – каждый по-своему! – подчеркнули, что мое открытое, демонстративное сочувствие к их деятельности явилось одной из причин обрушившихся на меня гонений. Сахаров: «Повод для исключения Чуковской – ее статья «Гнев народа». Статья написана в те дни, когда страницы всех советских газет клеймили меня как противника разрядки и клеветника. Среди тех, кто выступил в мою защиту, прозвучал сильный и чистый голос Лидии Чуковской. Ее публицистика – это продолжение лучших русских гуманистических традиций от Герцена до Короленки. Это – никогда не обвинение, всегда защита («Не казнь, но мысль. Но слово»). Как ее учителя, она умеет и смеет разъяснять то, о чем предпочитают молчать многие, защищенные званиями и почестями». Солженицын: «…не сомневаюсь, что побудительным толчком к нынешнему исключению писательницы Лидии Чуковской из Союза, этому издевательскому спектаклю, когда дюжина упитанных преуспевающих мужчин разыгрывали свои роли перед больной слепой сердечницей, не видящей даже лиц их, в запертой комнате, куда не допущен был никто из сопровождавших Чуковскую, – истинным толчком и целью была месть за то, что она в своей переделкинской даче предоставила мне возможность работать. И напугать других, кто решился бы последовать ее примеру. Известно, как три года непрерывно и жестоко преследовали Ростроповича. В ходе травли не остановятся и разорить Музей Корнея Чуковского, постоянно посещаемый толпами экскурсантов. Но пока есть такие честные бесстрашные люди, как Лидия Чуковская, мой давний друг, без боязни перед волчьей стаей и свистом газет, – русская культура не погаснет и без казенного признания».

10

Братство своим чередом, а циркулярные повеления – своим.

Едва исключили меня из Союза, как получил соответствующие распоряжения Детгиз. Редакция срочно вызвала составителей и потребовала, чтобы они вычеркнули: что вычеркнули? ведь мои воспоминания о Корнее Чуковском изъяты были из сборника уже давно, сразу после «Гнева» – что же еще можно вычеркнуть? Чего потребовать – еще?

А вот чего: изъять имя Лидии Чуковской из всех воспоминаний о Корнее Чуковском.

Вот еще чем можно заняться: задним числом устранить меня из семьи. Если мемуарист пишет: «дверь открыла Лидия Корнеевна», или «за столом сидела Лидия Корнеевна» – зачеркнуть. Я не открывала и не сидела. Меня не было.

Теперь осталась только одна еще мера: назначить в дочери Корнею Ивановичу кого-нибудь другого. Какую-нибудь другую особу, более подходящую для этой роли, по мнению Секретариата.

Шаг этот был бы тем более разумен, что, ведать не ведая о секретариатах, президиумах, редакторских, издательских и литфондовских намерениях и планах, рядовые и не рядовые советские граждане, взрослые и дети, постоянно, то поодиночке, то по двое, по трое, то целыми классами школ, то группами из институтов, повадились посещать дачу Корнея Чуковского в Переделкине, где я иногда живу. И хотя не я принимаю гостей, хотя двери нашего самодельного музея открыты как раз в те дни, которые я обычно провожу в городе, – я ненароком могу все-таки попасться им на глаза. Конфуз! Ведь меня нет и не было.

Затея моя – сохранить в неприкосновенности комнаты Корнея Ивановича – повернулась так, как мне и во сне не снилось: говоря по правде, сохранила я их, чтобы иногда приходить туда одной, как прихожу на могилу, – и снова видеть его стол, его халат, его радио, его книги… Так же тикают часы у него на столе, тем же строем стоит на полке Собрание сочинений Некрасова, в которое вложено им столько труда. Вот-вот и сам он войдет… И вдруг оказалось, что хотя Корней Иванович никогда не войдет в свою комнату, но людей, любящих его книги, желающих углубиться в историю русской культуры, людей этих гораздо более, чем мы помышляли. Нам пришло на ум записывать своих гостей, посетителей дачи Чуковского, только в 1972 году – и вот теперь, к концу 1974-го, оказалось, что с 1972-го по 1974-й прошли через его комнаты около шести тысяч человек! Это не точно мною сказано: «записываем мы». Записывают свои впечатления сами гости. Ни единого объявления в газете или где бы то ни было – но идут, и идут, и идут, приходят пешком, приезжают на поездах, на санаторных автобусах, в частных автомобилях. Идут взглянуть на акварели Репина, рисунки Маяковского и Бориса Григорьева, на карикатуры Анненкова; на собрание книг по Некрасову; на фотографии деятелей «Всемирной Литературы», на экземпляры книг Чуковского, исчирканные его ненасытной к труду рукой. Учителя, литераторы, дачники, библиотекари, академики, слесари, рабочие автозавода, пенсионеры, иностранные туристы, москвичи и приезжие граждане из разных городов, отдыхающие в местных санаториях – тут и интеллигенты, тут и рабочие – десятки, сотни, тысячи посетителей[58]. Дети, разглядывающие игрушки у него на столе. Тула, Владивосток, Воронеж, Ленинград, Япония, Англия, Америка, Москва, Дмитров, Тольятти, Рязань, Серпухов, Омск. Разные приходят в эти комнаты люди. Одни читали все книги Чуковского, все его статьи и исследования; другие – ровно ничего, кроме «Мой-

[58] В настоящее время через наш самочинный музей прошло уже более девяноста тысяч человек, вопреки попыткам руководящих деятелей Союза писателей выселить меня и мою дочь из Дома Чуковского (судебным порядком), музей закрыть, а дачу, с помощью бульдозера, снести с лица земли… В конце концов нас перестали активно преследовать, ожидая, пока дача развалится сама, но иск о выселении до сих пор обратно не взят, а даче статус музея не предоставлен. – *Примеч. 1988 года.*

додыра»; одни хотят увидеть книги на полках, письменный стол, другие – заводной паровозик и говорящего льва; третьи просто поглазеть, «как живут писатели», хороши ли обои, и, когда секретарь Корнея Ивановича Клара Израилевна Лозовская показывает им ящик, где годами хранились рукописи Некрасова, спрашивают: «а где хранятся фамильные бриллианты?» Разные к нему в гости приходят люди, но большинство с осознанным или бессознательным желанием подышать воздухом литературы, заполняющим до сих пор эти комнаты.

Воздух литературы – ведь он сродни воздуху братства (как и лесу, окружающему дом).

Разные в наших тетрадях живут записи. По большей части – признательность тем, кто сохранил дом, благодарность за доставленную радость узнавания. Но радость сочетается с тревогой, с грустью.

> «…Грустно только, что, несмотря на самоотверженные усилия близких Корнея Ивановича, которые помогают людям, любившим его и его книги, узнать побольше о его жизни и труде, – время оказывает разрушительное действие на дом, где он работал.
> *Семья NN*
> *г. Москва*
> *28/IX-74».*

Одно ли время?

Грустно – отнюдь не Литературному фонду, хозяину дома. Я, арендатор, вношу не одни лишь деньги за аренду. Я посылаю заявления. Литфонд, хозяин, обязанный в обмен на деньги заботиться о целости и благоустройстве дома, посылает комиссии. Комиссии признают, что просьбы мои основательны. Хозяин из года в год откладывает ремонт еще на год.

А братство – рядом. То придут специалисты-цветоводы и предложат посадить на могиле особые растения, не боящиеся тени, – своими руками посадят их. То школьники предложат расчистить лес, то солдаты воинской части распилят и сложат сосны, поваленные бурей в лесу.

Но гниют балконы, осел фундамент, крылечко отошло от стены; двери и окна перекошены… Хозяину это нипочем. Он ведь только называется «Литературный фонд», а вовсе не литературой он занят. Хозяин занят ремонтированием дачи хозяина: председателя Литературного фонда.

По степени заброшенности в Городке писателей с дачей Корнея Чуковского может соперничать – и сильно превосходит ее! – только одна.

Это дача Бориса Пастернака.

> Здесь все тебе принадлежит по праву,
> Стеной стоят дремучие дожди, —

писала Анна Ахматова о Переделкине, обращаясь к Пастернаку.

В самом деле, все весны, и зимы, и осени, и лета Переделкина, все здешние сугробы, сосны, рощи и дожди присвоил русской поэзии Пастернак. Вот из этих окон он глядел, вот эти рощи видели его порывистую походку, слышали его голос.

Но у Литфонда другая шкала ценностей. На могиле Пастернака люди постоянно читают стихи. Дом его стал местом паломничества для всей страны, для всего мира, дом, где четверть века жил и писал Пастернак.

Где он умер. Откуда гроб его вынесли на руках.

На восстановление *этого* дома у Литературного фонда средств нет[59].

---

[59] Эти строки были написаны в 1974 году. Через десять лет, 16 октября 1984 года, родные Бориса Леонидовича по требованию Литфонда были выселены, а вещи, не без повреждений, развезены по разным местам. К настоящему времени

дача передана в аренду Литературному музею, вещи поставлены на места, и 10 февраля 1990 года, к столетию со дня рождения Пастернака, музей начал работать. – *Примеч. 1990 года.*

11

Но меня снова отнесло в сторону от моего незатейливого рассказа. Ведь хотела я рассказать только о себе. Об исключении. Но ничего не поделаешь: понятие «я» вбирает в себя не одну лишь собственную биографию. А история моего исключения? Разве это только *моя* история? Не одну меня исключили из Союза писателей, лишая возможности печататься. Многих, глубоко преданных своей стране, довели до отъезда. В жизнь их разнообразно и мощно ворвалось – ворвался? – КГБ: обыски, изъятие рукописей и книг, угрозы арестовать; или – лишение научной степени, шантаж, слежка по пятам, проработки, открытые и закрытые. Да и не одним только литераторам ломают жизни, лишая любимого труда! Да и так ли еще ломают!

Так или не так, но если человек что-то любит, то всенепременно. Не люби, не люби, не люби. «Промолчи, промолчи, промолчи».

Способов заставить человека умолкнуть, если у него за любимое дело сердце болит, таких способов, кроме лагерей, тюрем и психиатрических больниц, достаточно. Лишить работы, сначала любимой, а потом вообще какой бы то ни было, – а потом осудить за тунеядство; не дать ученому защитить диссертацию, хотя она содержит существенное в его области открытие (на открытие плевать – вел бы себя смирно!); старого рабочего, высокой квалификации, пенсионера, обучавшего молодых, отвезти на машине из постели в милицию, из милиции в КГБ и там четыре часа орать на него: «Ты зачем вчера в столовой сказал: ребята, вы ругаете Солженицына, а сами его не читали?» – «Да ведь они не читали, товарищ полковник, а ругаются». – «Вот дадим тебе срок за хулиганство, тогда будешь знать!» – «Какое же хулиганство? Я же только сказал: не читали». – «А ты Яковлева в «Литгазете» читал? Там все написано. Изменников родины советским людям читать нечего…» (И нет ведь иностранных корреспондентов при этом интимном разговоре, как были на открытии художественной выставки в Москве, и делай с человеком, что хочешь… Некому теперь будет с любовью обучать железнодорожную молодежь – машинистов – эка беда! Другой найдется, благонадежный…) Раньше времени перевести видного математика на пенсию, хотя он еще полон сил и окружен учениками, вытолкнуть из института за то, что он защищал своего талантливого ученика, которому не давали дороги («промолчи, промолчи, промолчи!»); изгнать филолога из института за то, что в 1973 году он отказывается взять назад подпись под письмом 1968 года; а советская филология? ха-ха! начальству нет дела до филологий. Шахтер настаивает, что техника безопасности в его родной шахте требует срочного усовершенствования, не то могут погибнуть люди. Он предлагает разумный способ, но переоборудование назначено по плану не на этот год. Шахтер пишет заявление, подтверждает свою тревогу цифрами, фактами – нет. Он пишет заявление из инстанции в инстанцию, он любит своих товарищей и боится за них – вот-вот обвал или отравление. Никакого Солженицына он не читал, но он неугоден. Гнать его с работы, а упрется – ну разве не псих? Человек – инженер ли, садовод ли – обивает пороги годами, втолковывает, объясняет – и, если молод, убедившись, что пути ему нет, что осуществить любимый замысел, то, для чего он рожден, не удастся, – начинает мечтать об отъезде. Всякий отъезд – это утрата, потеря. Разорение русской культуры. Бескровное кровопускание.

И если поглубже изучить причины, по которым подверглись у нас на родине преследованиям и лишились работы десятки, сотни, тысячи людей – шахтеров, литераторов, физиков, педагогов, инженеров, геологов, рабочих, – причиной причин всякий раз окажется *слово*.

Человек, будь он инженер, литератор или физик, любящий свое дело и своих братьев по любви, не соглашающийся предать людей или память, – у такого человека более всего шансов завтра попасть в «диссиденты». До «диссидентства» доводит любовь. Рискнув открыть

рот в защиту тайги, или истребляемой в этой тайге редкой породы зверей, или в защиту отвергнутой книги, или удушаемой литературы – он завтра неминуемо окажется во вражде с начальством.

«Страшные последствия человеческой речи в России по необходимости придают ей особенную силу, – писал Герцен. – С любовью и благоговением прислушиваются к вольному слову, потому что у нас его произносят только те, у которых есть что сказать. Не вдруг решаешься передавать свои мысли печати (или Самиздату. – *Л. Ч.*), когда в конце каждой страницы мерещится жандарм, тройка, кибитка и в перспективе Тобольск или Иркутск»[60]. (Или Потьма.)

Битва любви с равнодушием наступает неизбежно и ведется незримо, а чаще всего и неслышно. «Не вдруг решаешься передавать свои мысли печати» (или собранию, – *Л. Ч.),* открывать рот, если слово числится главным проступком, какой может совершить человек В обязанности руководящего товарища любовь не входит, наоборот, входит равнодушие к той области культуры, которой он ведает. Любит ли директор издательства «Художественная литература» – литературу? Да он о ней и представления не имеет! От равнодушия до ненависти – один шаг. От Самиздата до Потьмы – рукой подать. Возненавидеть тех, кто любит, кто говорит, повинуясь своей любви, а не чиновничьим циркулярам, – ничего нет беззаконнее и закономернее.

Список деятелей, утраченных русской культурой, бесконечно растет. Те, кто вытеснили из страны Мстислава Ростроповича и Галину Вишневскую, – любят ли они музыку? Любят ли балет люди, вытеснившие из страны Рудольфа Нуриева, Михаила Барышникова и Наталию Макарову? Беспокоятся ли о расцвете физики те, кто сначала лишил работы, а потом заставил уехать В. Турчина? Привержены ли лингвистике те, кто ответственен за отъезд И. Мильчука? Кого и когда судить будем за отъезд историка А. Некрича? О литературе уж и не говорю: ненавидят литературу те, кто изгнал Солженицына, вытеснил из страны Бродского, Некрасова, Коржавина, преследуют Корнилова и Войновича. И это еще «сказка с хорошим концом»: отъезд или исключение из Союза писателей. А биологи, физики, врачи, писатели – за решеткой? А – *просто* люди, не таланты выдающиеся, а просто честные труженики, дорожащие не личным своим успехом, а успехом *дела,* поперечившие начальству и за это страдающие? А – тысячи верующих?

Щедрой рукой разбрасывает созидателей нашей культуры по сибирским лагерям или раздаривает Западу и Востоку безумное наше государство. Сталин некогда распродавал Эрмитаж. В этой растрате поражает, кроме равнодушия к искусству, к истории человечества и России, наивная уверенность, будто Эрмитаж со всеми своими Тицианами, Леонардо да Винчи и Рубенсами принадлежит ему, лично ему, т. Сталину, хочу распродам, хочу с кашей съем. Уморив в тундре миллионы ни в чем не повинных безымянных крестьян, Сталин подверг уничтожению и цвет интеллигенции: сотни талантливых людей – тех, кто уже успел проявить себя в науке или искусстве, – и тысячи неуспевших погибли в лагерях. Современные наши хозяева массовых облав на людей не ведут, но от Сталина, вместе со многими другими чертами, унаследовали наивную уверенность, будто люди искусства и науки принадлежат не народу, не земле, вспоившей их своими соками, а лично им, хозяевам страны.

У нас существуют законы, строго (хотя и тщетно) оберегающие государственную собственность. Каким законом защитить от уничтожения и разбазаривания нечто гораздо более ценное: духовные ресурсы России?

---

[60] *А. И. Герцен.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 7. М., 1956, с. 329–330.

12

9 января 1974 года Секретариат постановил исключить меня из Союза писателей «с широким освещением в печати».

Но «широкое освещение» нынче не в моде. Предпочтительнее расправляться втихую. Громкая расправа – как с Сахаровым, с Солженицыным – редкость. Она невыгодна: она пробуждает в людях не только организованный свыше «гнев», но и невидимое – неорганизованное – братство.

Какое последовало «освещение»? А никакого.

18 января 1974 года «Литературная Россия» поместила заметку под заглавием: «В Секретариате Правления Московской писательской организации». Перечислены оказались все вопросы, какие стояли на повестке 9 января, когда меня исключили. Один только вопрос в отчете пропущен: мое исключение.

Если бы я сама, собственной своею персоной, не присутствовала 9 января 1974 года при своем исключении, я узнала бы об этом январском происшествии только в марте – через три месяца.

Читатель же не знает и по сию пору.

В марте 1974 года я получила по почте «Информационный бюллетень» Союза писателей, ныне редактируемый т. Верченко. Присылкой этого бюллетеня, рассылаемого по особому списку, т. Верченко известил меня, что я исключена. На странице 24 сообщается, будто «в *ходе обсуждения* было установлено, что Л. К. Чуковская на протяжении ряда лет… занималась фабрикацией и пересылкой за рубеж клеветнических статей и других материалов…»

Вранье. Хорошо, что «Бюллетень» распространяется по списку, а читатель в списках не значится. А вдруг поверил бы кто-нибудь. Ни «на протяжении ряда лет», ни «в ходе обсуждения» никто и нигде не установил – да и не пытался устанавливать, – содержится ли в моих статьях и открытых письмах клевета, то есть заведомая ложь. Никто не установил – да и не пытался установить – ложности хотя бы единого из приводимых мною фактов. Верченко пишет, будто *в ходе обсуждения* (то есть 9 января 1974 года) выяснилось, что я переправляла свои «материалы» за границу. Опять вранье. Как уже видел читатель, о том, что прежние мои открытые письма переходили рубежи самостийно, через Самиздат, а в отличие от них статью «Гнев народа» я передала американскому корреспонденту *сама* – я и заявила *сама,* и не в ходе заседания 9 января, а еще на предварительном допросе у Стрехнина и Медникова 28 декабря 1973 года. Таким образом, 9 января 1974 года ровно ничего нового о передаче этой статьи за границу не выяснили, а о других не выясняли. Новинка на заседании Секретариата блеснула одна: оглашением моего частного письма к Жоресу Медведеву выяснилось, что руководители Союза писателей работают плечом к плечу с таможней и другими соприкосновенными литературе организациями. Но ведь и это не ново. Я лично не сомневалась в тесном сотрудничестве дружественных организаций и до 9 января 1974 года.

Однако «широкое освещение в печати» действительно последовало. И очень быстро: 12 января, в газете с многомиллионным тиражом «Советская Россия».

«Осветили» – но что?

Секретариат при мне постановил широко осветить мое *исключение,* а тов. И. Юрченко, автор статьи в «Советской России», широко осветил некоторые ценные бытовые подробности из жизни моей и моих друзей: кому сколько лет, у кого квартира в центре, кто в каком магазине покупает колбасу, но именно о моем исключении из Союза не обмолвился ни единым словом.

Верченко об исключении сообщил, но не в печати. Юрченко сообщил в печати, но не об исключении.

Мою статью «Гнев народа» Секретариат МО СП *по существу* обсуждать не пожелал. Статейку Юрченко, в которой он обливает грязью одного иностранного туриста, общавшегося в Москве не с теми гражданами, которых ему порекомендовал бы Юрченко, я тоже *по существу* обсуждать не желаю. Причины нежелания у нас разные: Секретариату ответить мне нечего, он не отвечает, он исключает. Мне – есть что ответить, но я вовремя вспомнила одно признание Герцена по поводу подобной статейки: «я не могу нагнуться до ответа». В самом деле, ведь я, как-никак, литератор, и до колбасной перебранки унижать литературу не подобает. Меня Юрченко преподносит читателю как некую даму, имеющую квартиру в центре Москвы (преступление) и дачу под Москвой (преступление), но в литературе малоизвестную. Что ж, это почти правда. Квартира – действительно в центре; сознаюсь. Дача у меня не собственная – арендованная; занимаю я в ней одну комнату – остальные обратила в музей своего отца, – но, сознаюсь, одну комнату на даче действительно иногда занимаю. В литературе, по утверждению Юрченко, я малоизвестна? Быть может, и так. Но не для известности живет литератор – на даче ли, в центре ли, на окраине ли, – если он литератор в самом деле. И не ради дачи и не ради квартиры он трудится. Применяя к литератору подобные мерки и с недоумением вопрошая: «Что еще этой даме надо?» (вообразите себе, Юрченко, кроме квартиры и дачи, мне надо, чтобы книги мои доходили до читателя!), этим недоуменным вопросом фельетонист выдает себя с головой.

Где бы ни была расположена квартира Юрченко, в центре ли или на окраине, – в дальней дали живет он от искусства. Таможенники, обыскивающие интуристов и читающие чужие частные письма, ближе ему, чем литераторы. И это естественно: Юрченко просто чиновник, которому другие чиновники предоставили газетную полосу, чтобы лишний раз напомнить читателям свежую мысль: если в стране нет колбасы – значит, ее поедают евреи, а если у интуриста отобрали частное письмо, значит, все иностранцы – шпионы. Полученное поручение Юрченко выполнил; я надеюсь, Верченко доволен.

По части же славы я могу утешить вас, Юрченко: щедро поделюсь с вами избытком своей малоизвестности. Желаю вам, чтобы ваша статейка обо мне вас прославила.

Каждый входит в литературу по-своему.

13

Процесс исключения продолжается – неслышно, незримо, неукоснительно. Скромные плоды моего труда подвергнуты уничтожению, где только возможно, – ради заталкивания меня в небытие.

А вместе с моим не щадится и труд соприкосновенный, дружественный.

В 1971 году скончался академик Виктор Максимович Жирмунский. Из подготовленного им к печати тома стихотворений Анны Ахматовой, из комментариев, на создание которых отдал он последние годы жизни, – вынимают – выстригают – вычеркивают весь некогда предоставленный ему мною материал. Как человек щепетильный, как ученый, для которого немыслимо привести любой самомалейший факт, вариант или дату без ссылки на источник, – академик Жирмунский в своих комментариях, разумеется, добросовестно ссылался на все использованные им работы, напечатанные и ненапечатанные, в том числе и на мои. Например, на мои «Записки об Анне Ахматовой», которые он изобильно цитировал.

Но я приговорена к небытию, меня не было и меня нет.

И вот – вырезываются фестоны из комментариев к ни в чем не повинному тому, подготовленному В. М. Жирмунским. Мне повезло – арифметически-этический вопрос, что лучше: снять ли комментарии Жирмунского совсем (как сняли его предисловие) или оставить хотя бы малую часть их, – нынче приходится решать не мне. Я от решения подобных вопросов, к великому моему счастью, уже освобождена… Чиновники уж сами озаботятся устранением моего имени из комментариев Жирмунского, а что этим элементарным арифметическим действием искажается и обедняется ценная, выполненная с искусством и любовью работа, до этого им и дела нет. До дела им никогда дела нет[61].

…Гниет капуста на овощных базах – почему же не гнить под дырявой крышей потолкам на даче Пастернака? Правдивое и талантливое предисловие к тому стихотворений О. Мандельштама заменено лживым и невежественным предисловием Дымшица. Кто сейчас растит молодых лингвистов вместо уехавшего И. Мильчука, кто заменит в биологии арестованного Сергея Ковалева?

Посторонним это все равно, на то они и посторонние. Музыке, биологии, лингвистике, физике, литературе. Любви они лишены. Они не растили капусту, гниющую на овощебазах, и не берегли ни стихов, ни поэтов.

Мелочным злопамятством и мстительностью заменены в них основы культуры: любовная творческая память, питающая своими соками ростки будущего.

…Словник Краткой Литературной Энциклопедии еще недавно содержал мое имя. Статья обо мне была уже готова и принята к печати.

После исключения из Союза меня и из Энциклопедии исключили.

Меня нет и никогда не было.

Но – буду ли я?

Лидия Чуковская

Написано в ноябре 1974 г.

Исправлено и дополнено в декабре 1977 г.

---

[61] Написано в 1974 году. Сейчас том уже вышел. (См.: Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы / Вступительная статья А. А. Суркова. Составление, подготовка текста и примечания В. М. Жирмунского. Л.: Советский писатель, 1976.) Все ссылки на мое имя из комментариев удалены.

Глава дополнительная

1

Сейчас этот вопрос, вызванный бурным отпором души, когда ее, еще живую, заталкивают в гроб, – представляется мне мелким и праздным. Успеть бы положить свой камень в общую кладку, только бы успеть – остальное несущественно.

Пусть камень мой останется незамеченным, неупомненным, а хотя бы и безымянным.

«Буду ли я?» – вопрос праздный: история поставила сейчас другой и гораздо круче – уцелеет ли, выживет ли русская культура, сохранится ли она, создаваемая братством работников (явных и тайных) и уничтожаемая чиновниками, иногда нарочно, со злым умыслом, а чаще и безо всякого.

Культура принадлежит тем из нас и только в той степени, в какой мы сами принадлежим ей – безотказно, безраздельно, бескорыстно и всецело. Хозяев же наших в этой одержимости не обвинишь. Если они чем и одержимы, кроме бдительной охраны самовластья, то разве что равнодушием.

В 1921 году скончался Александр Блок. Нынче у нас 1978-й. С умыслом или по равнодушию в тех комнатах, где он так страшно жил и так страшно умирал и умер, устроена – допущена – коммуналка? Жизненный и литературный путь Блока искажается с умыслом, ну а комнаты?[62] С умыслом или без умысла ничьей охране не подлежит, никем не оберегается комната Анны Ахматовой в Фонтанном дворце, вся – цитата из «Поэмы без героя», вся – след ее судьбы и ее поэзии? Сейчас еще живы люди, которые помнят эту комнату во всех подробностях и в тридцать седьмом-тридцать восьмом, и во время блокады, и после войны. Сколько стихотворений помечено: «Фонтанный Дом». Быть может, и вещи еще целы, и тот же клен простирает к окну черные руки.

Летом 1977 года мне не разрешено было даже издали взглянуть на это старое дерево. Мне не разрешено было войти в этот двор, который в гораздо большей степени принадлежит мне и любому из читателей и почитателей Анны Ахматовой, чем той хамке, никогда и имени ее не слыхавшей, которая вообразила себя хозяйкой и распорядительницей Фонтанного Дома. Сколько людей готовы были бы прийти сюда – и приняться за почетную работу: восстановить, спасти, сберечь и комнату, и старое дерево. И жизнь свою положить на то, чтобы неустанно открывать для других дверь в поэзию Анны Ахматовой![63]

Поражает это из года в год повторяющееся чудо: в каждом поколении являются новые люди, мечтающие добыть из-под земли заваленные мусором клады. Ахматова во второй половине пятидесятых годов со счастливым изумлением говорила: «Вот что значит великая страна. От них все упрятали, а они все отрыли».

Да, стихотворения Ахматовой знали наизусть в лагерях, и я сама видела книжку из коры, на чьих березовых страницах были выцарапаны ее стихи. В 1958 году, впервые после Постановления ЦК против Зощенко и Ахматовой, крошечным тиражом вышла книжка с немногими ее стихами. И сразу в ответ хлынул поток писем. От кого? От людей, которые в школах наизусть заучивали сквернословие Жданова. Но ахматовского слова они все равно не утратили и не из крошечной книжки 1958 года впервые узнали. В нашей стране противо-

---

[62] К столетию со дня рождения Александра Блока в квартире организован мемориальный музей. – *Примеч. 1990 года.*

[63] В настоящее время Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме открыт. Теперь уже и «Реквием», и другие ее запретные ранее стихи напечатаны, Ахматова признана великим русским поэтом, столетие со дня ее рождения праздновалось по всей стране очень широко. – *Примеч. 1990 года.*

стоит лжи и фальсификации стойкая намять, неизвестно кем хранимая, неизвестно на чем держащаяся, но упорная в своей кротовой работе.

И вопрос поставлен перед нами сейчас такой: продолжим ли мы эту работу? Выстоим ли мы или позволим порученному нам кладу навсегда уйти под землю?

Если мы литераторы, напишет ли каждый из нас, вопреки всем препонам, те книги, писать которые нам не разрешают, но которые написать наша обязанность? Каждому его долг известен, а вот осилит ли выполнить?

Исполнит ли свою обязанность, не унижаясь до арифметических расчетов, обережет ли друга, спасет ли труд – свой и братский?

2

После линчевания в Союзе, уже нисколько не рассчитывая на возможность печататься дома, я снова взялась за прерванную работу. Ведь не с самозванцев же – не с Лесючевских, Грибачевых, Жуковых, Медниковых, не с какого-то Самсония спросится на Страшном Суде, а с меня. С нас.

Но как доставлять читателю, ради которого я пишу, как доставлять ему то, что мною написано?

Самиздат? Самиздат существует и свое дело делает, но за последние года четыре он начал спадать, убывать, как вода убывает в реке. Люди уже не сидят ночами за своими машинками, перестукивая свои или чужие открытые письма, не собирают уже в складчину деньги, чтобы дать рукопись надежной машинистке и получить в собственность экземпляр объемистого труда. Читатель переменился: люди жаждут теперь не Самиздата, а Тамиздата. Чем это вызвано? Одним ли только страхом? Не думаю. Тюремные сроки за хранение и распространение положены одинаковые: что за «Сам», то и за «Там». Не берусь определить, по какой причине, но к Там'у читатель нынче проявляет больший аппетит, чем к Сам'у. Хорошо ли это? Вряд ли. У Самиздата было читателей тысячи, и весьма самоотверженных, у Тамиздата – всего только сотни, и весьма осторожных. И еще одно важное между ними различие, не в пользу Там'а: Самиздатом никто не спекулировал, Тамиздат же – предмет торговли на черном рынке и еще гораздо постыднее: торговли между знакомыми.

Но, так или иначе, мои работы последних лет, недолго пробыв в Самиздате, одни самостийно, другие по моей воле пересекли границу нашей родины и вернулись домой в глянцевитом обличье Тамиздата. В 1974 году в Париже, в сборнике, выпущенном издательством YMCA-Press, «Памяти Анны Ахматовой», опубликован отрывок из моих «Записок» о ней; в 1976 году в Нью-Йорке издательство «Хроника» напечатало сборник моих статей и открытых писем под общим заглавием «Открытое слово»; а позднее, тоже в 1976 году, в издательстве YMCA-Press вышел в свет первый том моих «Записок». Из мелких работ укажу: «Полумертвая и немая» – история одного автографа Анны Ахматовой (Континент, 1976, № 7)[64].

Сейчас я готовлю к печати книгу воспоминаний о Корнее Чуковском; второй том «Записок об Анне Ахматовой» (десятилетие 1952–1962) и эссе «Дом Поэта» – мой ответ на «Вторую книгу» Надежды Мандельштам[65].

Я работаю – начальство тоже не сидит сложа руки. Я нахожусь под надзором – тайным или явным он значится в соответствующей графе, мне неизвестно. Я определила бы его так: заметный.

---

[64] См. также «Горизонт», 1988, № 4.

[65] Воспоминания о Корнее Чуковском под заглавием «Памяти детства» опубликованы в 1983 году (Нью-Йорк) и в 1989-м (Москва).Второй том «Записок» вышел в Париже в 1980 году; работа над книгой «Дом Поэта» не окончена. – *Примеч. 1990 года.*«Дом Поэта» в незавершенном виде опубликован посмертно. См.: Лидия Чуковская. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Арт-Флекс, 2001. – *Примеч. сост.*

Каждого человека, который входит в подъезд нашего дома в Москве, спрашивают, куда и к кому он идет, а если он не считает себя обязанным отвечать, сопровождают до самых моих дверей. Это относится не только к иностранцам, которые у меня редки, но и к соотечественникам, в особенности молодым. Однако наиболее наглядный случай произошел с одной англичанкой. Русская по происхождению, она родилась в Германии, живет в Англии и по-русски не знает ни слова. Когда лифтер спросил у нее, куда она и к кому, она не поняла вопроса и нажала кнопку лифта. Он мгновенно загородил перед нею дверь, расставил руки, прямо-таки распял себя на двери. Не пробуя вступать с ним в борьбу, гостья отправилась по лестнице пешком. Живу я на шестом этаже. Она подымалась пешком с этажа на этаж, а он с этажа на этаж сопровождал ее в лифте. Удостоверившись, что гостья постучала именно в нашу дверь, он спустился вниз. Она же вбежала к нам перепуганная насмерть: «Я видела столько фильмов с погонями – гонятся за преступниками на автомобилях, самолетах, лошадях, подводных лодках, мотоциклах, моторках, яхтах, пароходах, вертолетах! Но чтоб гнались на лифте – вижу впервые».

9 мая 1975 года, в День Победы, была одержана полная победа над моей квартирой. Мы с дочерью были на даче. Пока мы отсутствововали, в нашей квартире милицией была взломана дверь и… что было далее, не знаю. Сколько человек, и сколько часов, и с какою целью пробыли у нас на квартире неизвестные лица, выяснить нам не удалось. Оставив замки взломанными, милиция опечатала двери и удалилась. Моя дочь заявила официальный протест против взлома. (Между прочим, наш дачный телефон известен; нас можно было вызвать и войти в квартиру при нас.) Однако начальник милиции не нашел в действиях своих подчиненных ничего, «нарушающего социалистическую законность». Я написала заявление для иностранных корреспондентов, но передавать воздержалась: вскоре арестовали физика Андрея Твердохлебова, и по сравнению с этой бедой взлом в моей квартире показался мне происшествием незначительным. Да ведь и в самом деле: никто не убит, никто не арестован, ничего не украдено: «пришли, понюхали и ушли прочь». Взломаны замки? Замки нам починили друзья.

На даче слежка за моим домом ведется не постоянно, а порывами. Порою возникают у ворот топтуны, а порою часами стоит таинственное такси, не берущее пассажиров. Гораздо хуже, что собственной машиной – старой «Волгой», доставшейся мне в наследство от отца, – пользоваться я не имею возможности. Водить ее сама я неспособна, а шоферов, которых приглашаю работать, неизменно вызывают в милицию или повыше: «Ты зачем туда вяжешься? Ты знаешь, кого возишь? Смотри…» И шофер (уже третий по счету) отказывается меня возить. Идти же до станции, на вокзал, пешком мне не под силу. И живу без машины, а ведь, в сущности, она была для меня инвалидной коляской.

Мешают моей работе находчиво, обдуманно. По слабости зрения писать я могу только черными фломастерами, а в московских магазинах они редкость. Мне посылали фломастеры из-за границы. Получаешь повестку, идешь на почту, платишь за бандероль двенадцать копеек, а в бандероли десять штук. Так я жила целый год. Начальство сочло необходимым вмешаться в это благополучие. Трижды я получила искалеченные фломастеры – у каждого бритвой аккуратно отрезан носик. Итого тридцать раз некто пустил в ход бритву. Из жалости к этому деятелю культуры я просила друзей более мне по почте фломастеры не посылать. Опять начальству морока: следи за интуристом, который входит в подъезд, поднимается в лифте или по лестнице и вручает мне фломастеры из рук в руки.

Но самые большие хлопоты доставляет властям моя переписка. Ее перлюстрируют, читают, фотографируют, обдумывая, какое письмо доставить, какое нет. Заграничная моя переписка перекрыта наглухо. Так, из одиннадцати писем, посланных мне в 1975 году из Рима, я получила одно. Из четырех писем, посланных мне из Иерусалима, – ни одного. Письма моих соотечественников тоже получаю с отбором. И – в лохмотьях. И – спазмами.

То сразу три, то неделями ни одного. Власти то сокращают переписку моей дочери, то мою. Вмешательство производится откровенно, грубо. 17 октября 1975 года моя дочь Елена получила два письма: судя по штемпелю на конверте и знакомому почерку, одно от нашего старого ленинградского друга, второе – тоже судя по штемпелю и почерку, от приятельницы с Кавказа. Вскрыв кавказский конверт, она, к своему удивлению, вынула оттуда письмо нашего ленинградского друга; вскрыв ленинградский (это уже при официальных свидетелях) – извлекла письмо от кавказской приятельницы. Прокуратура, куда она обратилась с жалобой о нарушении закона, гарантирующего гражданам тайну переписки, передала дело следователю; следователь вызвал мою дочь и посоветовал ей поменьше интересоваться законами. Письма вернул, даже не потрудившись исправить ошибку перлюстратора. На ее вопрос: «Кто же будет нести ответственность за содеянное?» – ответил:

– Вам отлично известно, что у нас есть инструкция, в силу которой мы имеем право читать письма обвиняемых.

– Разве я обвиняемая?

– Не придирайтесь к словам. Вы не обвиняемая, но подозреваемая.

– Разве я подозреваемая? В чем?

– Берите ваши письма и уходите, – ответил следователь.

Оградить двери от взлома, письма от вскрытия не в моих силах. Но пока что я еще чувствую себя в силах работать. Исполнять то, для чего живу. Вопреки помехам.

А они продолжаются. Мелкие, но частые. Я – «ни дня без строчки». Мне – «ни недели без пакости».

Летом 1976 года один из моих молодых друзей, уходя от меня, приметил за собою слежку. Назавтра ему предстояло отправиться в Ленинград. Слежка продолжалась и возле билетной кассы. Едва в Ленинграде он ступил на перрон, над ухом раздались два магические слова: «Гражданин, пройдемте». Он «прошел». Его обыскали. Ничего не обнаружив крамольного, отпустили на все четыре стороны.

Я этот опыт (уже долгий: не следует мне общаться с молодыми, их зачисляют в «подозреваемые») учла. В июне 1977 года, приехав в свой родной город, в Ленинград, я общалась только со старыми. Со своими сверстниками. Мы, как и полагается пенсионерам, идиллически дышали свежим воздухом в Летнем саду. Никакой слежки никто не заметил. Один раз, когда я сидела на скамейке, поджидая опаздывающего приятеля, ко мне пристала цыганка: «Дай погадаю». Я ее прогнала. «Женщина, за тобой враги по пятам ходят! – сказала она со злобой. – Они твой волос сожгли, твой след вынули». Пришел мой приятель, мы вместе посмеялись над вещаниями гадалки.

Не знаю, как насчет волоса. Но следом занимаются постоянно. Когда я вернулась в Москву, а из Москвы в Переделкино, мне с оказией была доставлена весть: в Ленинграде коекого из тех моих старых друзей, с которыми я общалась, потревожил Большой Дом. Тревога была несерьезная: сдать какие-то книги, которые я будто бы им привезла. Они отказались. Тогда им было возвещено: пусть помнят, что хоть сами-то они пенсионеры и их, так и быть, не тронут, но дети у них еще молодые и детей можно с работы согнать.

Родителей удобно шантажировать детьми, а детей – родителями.

В Ленинград я более не езжу. Подглядывание и подслушивание продолжается в Переделкине и в Москве. Глядят – с перерывами, слушают – постоянно. Какая это, наверное, унылая скука – подслушивать старушечьи разговоры, все больше о болезнях да о лекарствах, «все рюматизм и головные боли». Но слушают, пленку меняют…

Иногда, впрочем, и развлекаются. Звонок. Беру трубку. «Это Лидия Корнеевна?» – «Да». – «Желаю вам поскорее издохнуть».

Иногда так:

– Позовите Александра Исаевича.

– Его, к сожалению, здесь нет.
– Ну, ничего, не жалейте. Скоро мы его хлопнем, и вы на том свете увидитесь.

Обшарпаны стены.
Топтун у ворот.
Опасная стерва
В том доме живет.

Это про дачу Корнея Ивановича, где я иногда живу, написала Инна Лиснянская.

3

9 января 1974 года, претерпев обряд исключения, я заехала на городскую квартиру, чтобы принять ванну, отмыться от грязного папиросного чада, и, отмывшись, отправилась в Переделкино. В сумерках мутно тонули ворота, фонари, заборы. Но утром, если не случится ночью сердечного приступа, я надеялась выйти навстречу правдивости и чистоте сугробов, спуститься по шоссе к замерзшей речке, подняться, перейдя мост, на гору, на могилу Корнея Ивановича, – и оттуда, сверху, сквозь переплетение ветвей, увидать поле, уютно устланное снегом и с медленною плавностью поднимающееся вверх к даче Пастернака. Эта мягкая, добрая плавность всегда утешала меня.

Всю дорогу в машине, посасывая капли на сахаре, я усердно терзала себя неудачами своих ответов. Катаев спросил: почему, при моем неуважении к Союзу, я не вышла из него сама? Я должна была ответить: после того как исключили Солженицына, я написала в Союз: «Прошу вычеркнуть мое имя из числа членов». Но умный человек отсоветовал: «Что же! Они вас с удовольствием вычеркнут! А вы напишите такое, чтобы они вынуждены были собраться и выслушать вас». Тогда я послала телеграмму, что исключение Солженицына позор для нашей родины, и еще многое, – и вот наша беседа наконец состоялась… Как глупо ответила я на полицейский вопрос: «а зачем вам деньги на Западе?»… «А зачем вам деньги на Востоке?» – должна была я ответить допрашивающим, а я вместо этого дала им честный отчет о своих медицинских расходах. Экие, подумаешь, бессребреники! Все журналы, газеты, издательства у них в руках, все они члены редсоветов и редколлегий, все ежегодно переиздают и славят друг друга многотысячными тиражами, все получают многотысячные гонорары (а кое-кто еще и зарплату в Союзе) и не знают, видите ли, зачем деньги на свете! Ни на Западе, ни на Востоке деньги пока что не отменены, и не пахнет еще нигде их отменой… Ведь не чужие деньги получить уполномочивала я своею доверенностью, а – собственные, заработанные честным трудом… Надо было ответить: «Своими деньгами я вправе распоряжаться сама». И какой стыд, какое для меня унижение: документы, даты, факты, подтверждающие, что повесть моя была Лесючевским принята, – все у меня в руках, а я онемела перед его наглостью. И какой стыд: когда они все враз заорали, я уронила на пол бумаги, уронила очки, долго и без толку шарила по полу… Уронила – перед ними – себя.

В ту пору на даче, в одной из комнат нижнего этажа (верхний давно уже был обращен нами в неприкосновенный музей), жил Солженицын. Впервые поселился он в Переделкине по приглашению Корнея Ивановича, осенью 1965 года, когда я была еще едва знакома с ним, и с тех пор мы не один раз оказывались под одной кровлей, то в городе, то на даче, и при жизни Корнея Ивановича, и после конца. Жил он у нас, случалось, несколько дней подряд, случалось – неделю, а случалось – месяц: он то исчезал надолго, то появлялся опять. Наш кров всегда поджидал его; ключи от нашей квартиры годами оставались при нем. Обстоятельства менялись, но у нас он мог поселиться в любую минуту, при любых обстоятельствах, превознесенный или гонимый – все равно. Он поселялся; мы оказывались близко, рядом,

в городской квартире или на даче, – но каждый продолжал жить по-своему, следуя своему укладу, своему распорядку, своему, назначенному нам жизнью труду. Солженицын, где бы ни селился и куда бы ни бросала его судьба, всегда и везде оставался суверенным владыкой собственного образа жизни. Однако и такого высокого умения оберегать чужой ему или даже чуждый уклад я тоже не видывала. У него был всегда и везде свой жесткий и непререкаемый, расчисленный не по часам, а по минутам распорядок дня; у меня тоже определенный, часто нарушаемый болезнью, но тоже, хоть и не расчисленный, а свой. Ложился Александр Исаевич рано, потому что рано вставал. Однажды, около полуночи, я прощалась с гостями – и вот в передней, куда выходила дверь тогдашней солженицынской комнаты, я заговорила полушепотом, опасаясь разбудить спящего. «Если вы из-за меня будете мешать себе общаться с людьми, – сказал мне на следующее утро Александр Исаевич, расслышавший мои усилия, – я лишу себя возможности ночевать у вас». Со свирепой непреклонностью отвергал он любые наши попытки снять с него бытовые заботы. Живя у нас на даче, все для себя делал сам: стряпал, мыл посуду, убирал комнату. Последние три месяца в России Солженицын почти сплошь прожил в Переделкине, ненадолго отлучаясь в город, к семье. Жили мы в двух соседних комнатах, дверь возле двери, разделенные только стеною, но в комнаты друг к другу без чрезвычайной надобности не входили. Виделись редко, встречаясь только на «нейтральной зоне» – в столовой, в коридоре, в кухне, – и, встретившись, долгих бесед не вели. Долгая беседа (если только не о работе и не о том, что эту работу рождало) – это отдых, праздность, а Солженицын и праздность – две вещи несовместимые. Будто он в какую-то минуту – я не знаю за что и не знаю когда – сам приговорил себя к заключению в некий исправительно-трудовой лагерь строжайшего режима и неукоснительно следил, чтобы режим выполнялся. Он был сам для себя и каторжник и конвойный. Слежка его – за самим собою – была, пожалуй, неотступнее, чем та, какую вели за ним деятели КГБ. Урок рассчитан был на богатырские плечи, на пожизненную работу без выходных, а главным инструментом труда была полнота и защищенность одиночества. Вечная торопливость, которой на людях был обуян Солженицын (столь удивлявшая и сердившая его знакомых), была неистовой спешкой к средоточию и глубине: к выполнению урока. Поблажек он себе не давал, садился за труд ни свет ни заря. Иногда на холодильнике в кухне я находила краткую записку: «Если Вы освободитесь к девяти, послушаем вместе радио». Это означало, что сам он в этот день ранее обычного окончил урок и дает себе неожиданный отпуск минут на двадцать. Послушать, поговорить, расспросить, рассказать. (Иногда, заметив, что я собираюсь на кладбище, Александр Исаевич шел на могилу вместе со мною и потом, когда мы спускались по узенькой тропке между оград, где рядом вдвоем не пройти, удивлял меня зоркой заботливостью: вглядываясь в скользкую тропку, он предугадывал место, где я могу оступиться. Не прерывая разговора, он предупреждал меня – восклицанием, рукою, иногда секунда в секунду подставленным для опоры плечом.) Но общие наши выходы были редки. Конвойный выводил каторжника на прогулку обязательно и ежедневно, часа на два, на три, в любую погоду, но, думаю я, и на прогулке не освобождал от труда. Прокладывая новые лыжни в нашем заваленном снегом саду, шагая из конца в конец по протоптанной от забора до забора тропинке, Солженицын и на морозе продолжал свой труд – и, полагаю, продолжал не только в уме, но, вопреки морозу, и на бумаге. Нанизывал от края до края листа зернышки букв на туго, как тетива лука, натянутую веревку строки. По улицам писательского поселка он не ходил, разве что к поезду, а гулял на нашем участке среди великанов сосен. «Вам не надоедает ходить взад-вперед от забора к забору?» – спросила я у него один раз. «Нет, – ответил он, – я привык на шарашке».

И время завтрака, обеда, ужина он тоже не тратил зря: совмещал еду с деятельным, регулярным слушаньем и записью радио. Ел вдалеке от моей комнаты, на кухне, чтобы включенный приемник не мешал мне работать. Уезжая в город, прощаться в комнату ко мне не

заходил – тоже чтобы ненароком не оторвать от работы. А чтобы я не тревожилась внезапностью его исчезновения (время было тревожное, и случиться с ним могло что угодно в любую минуту), оставлял записку на холодильнике: «Я уехал» – дата и час. Возвращался внезапно, без предупреждения, иногда и без звука: выйдя в переднюю, я вдруг обнаруживала на вешалке его тулуп или куртку. И испытывала облегченье. Каждый раз я ловила себя на мысли: «Солженицын здесь, он работает, он здесь, с нами – значит, жаловаться нам на жизнь еще грех, еще все хорошо».

Иногда, встретившись со мною в коридоре или в столовой, Солженицын на бегу, на ходу задавал мне какой-нибудь внезапный вопрос, кажущийся случайным, но на деле – либо продолжение нашего давнего разговора, либо упорно и подспудно преследующей его мысли.

Однажды, войдя со двора в дом после долгой прогулки, обдав меня сквозь распахнутую дверь сперва морозом леса, а потом морозом тулупа, рукавиц, сапог, бороды, он быстро спросил – тут же, где застал меня, в прихожей: «Скажите, а у Пастернака вы поэму «Лейтенант Шмидт» любите?» Снял шапку, снял и повесил тулуп. «Люблю», – ответила я. «Очень?» – не без строгости переспросил он, сдвинув брови над ярко засиневшими среди морозного румянца глазами. «Очень».

Он еще раз глянул, проверяя надежность ответа, и прошел к себе.

В другой раз Александр Исаевич внезапно появился передо мною на кухне, где я следила за кастрюлей, чтобы не упустить молоко.

– Скажите, пожалуйста, Ахматова могла уехать из России в двадцатые годы? Имела возможность? Ей не разрешили или она не пожелала сама?

– Не пожелала сама. Все ее ближайшие друзья уехали, а она не уехала.

– Вы это наверное знаете?

– Наверное. Это ведь из стихов известно:

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.

– Только из стихов?

– Нет, и прямо. Она сама это говорила, рассказывая мне в тридцатые о двадцатых.

И опять, получив необходимую справку, он не продолжал разговора, а сразу ушел.

Временем своим он дорожил чрезвычайно. («Я на время лютый», – сказал он мне однажды.) Эта черта: страсть к экономии часа, минуты, секунды и ненависть к пустой растрате часов и минут – нисколько не раздражала меня, напротив – я любовалась ею и завидовала ей.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты – вечности заложник
У времени в плену.

Суетливая жизнь – тот же сон, которому не смеет предаваться художник, осознавший свою жизнь, по слову Баратынского, как «поручение». (Хуже сна: сон все-таки укрепляет.) Ахматова, говоря о сталинских палачествах, сказала: «Покойный Алигьери сотворил бы из этого десятый круг ада». Вот какое «поручение», среди многих других, принял на себя Солженицын. В последние годы жизни в России был он для меня уже не только тем писателем, который принес нам живую весть из преисподней, не только автором «Одного дня», «Матрениного двора», «Правой кисти», «Ракового корпуса», «В круге первом» – он был уже в моих глазах Алигьери, творцом «Архипелага ГУЛаг». «Мастерская человечьих воскрешений» – вот как назвала бы я его письменный стол, его комнату, его труд. В «Архипе-

лаге» поражает изобилие фактов, мыслей – и вместительность слова. По степени словесной емкости я могу сравнить «Архипелаг» Солженицына только с тремя шедеврами: с «Пиковой дамой» Пушкина, «Хаджи-Муратом» Толстого и «Архиереем» Чехова. В «Архипелаге» поражает разнообразие, даже разбросанность фактического материала и в то же время единство, строгость, точность возведенной постройки. Я хотела бы дожить до появления в литературе такого художественного критика, которому по силам оказалось бы исследовать суть этой небывалой мощи: емкости слова и упругости своевольного синтаксиса. Солженицын проводит читателя всеми кругами ада, опускает во мрак преисподней, заставляя нас, беспамятных, властью своего лирического эпоса (или эпической лирики?) пережить вместе с ним сотни и даже тысячи судеб. И – что еще важнее – осмыслить пережитое ими. И нами.

«Вечно он торопится…», «Всегда он смотрит на часы…» – говорили о нем с неудовольствием знакомые. Или даже так. «Вечно он занят *своими* делами, *одним* собою!» И это о человеке, взявшем на себя урок, от которого мы уклонились, о человеке, предоставившем голос (и какой голос, голос художника!) тысячам воскрешаемых им людей. За голосом тысяч звучал голос миллионов. Но вокруг Солженицына густой шепот: «Вечно он занят одним *собой*».

Собой!

А попробовали бы вы, болтающие праздно, каждый день заново спускаться в преисподнюю и со страшной своей добычей снова возвращаться на землю? И выводить из пережитого мысль за мыслью, судьбу за судьбою, лагпункт за лагпунктом – и возвести это колоссальное изваяние, этот величавый памятник на братской могиле за чертою вечной мерзлоты! Семью частями своей книги Солженицын создал литую форму – новую литературную форму, новую не только для русской литературы, но, смею думать, и для мировой. В критике она еще не нашла себе точного определения, как до сих пор еще поражает новизной и не находит себе точного определения форма «Мертвых душ», «Записок из мертвого дома» или «Былого и Дум»… Нет, никогда, во все девять лет своего знакомства с Солженицыным, в ту пору, когда я еще не знала об «Архипелаге», или в ту, когда уже знала о нем, не удивлялась я солженицынской «спешке». Да как же ему не спешить? Ведь и «Архипелаг» для него – это тоже еще не конец порученного дела, а отступление пред главной, предстоящей работой. Не из пустой прихоти надел он на себя вериги, не напрасно в разговоре с приятелями или даже с величавыми, осанистыми редакторами поглядывал на часы, не попусту, сам преследуемый и гонимый, гонял себя по всей стране, чтобы разыскать еще одного свидетеля, пережить еще чей-нибудь рассказ, проверить еще один факт. И, чужими – родными! – судьбами переполненный, – снова спешил за стол, в мастерскую человечьих воскрешений. Приглашая Солженицына осенью 1973 года к нам в Переделкино, мы понимали, конечно, что уберечь его от недругов – не в наших силах, но мы дали себе и ему слово оберегать его труд, его «спешку», его распорядок от вторжений любопытствующих и досужих – и даже от самих себя.

Я с гордостью надеюсь – мы свое слово сдержали.

«Вечно он спешит». Однако в тот вечер, 9 января 1974 года, когда я, после исключения, приехала на дачу, Александр Исаевич никуда не спешил. Он помог мне раздеться, и мы сели в столовой за стол друг против друга. Я вынула из портфеля свою кипу бумаг. «Закроемся от Катаева, – сказал, вскочив, Солженицын, – закроемся, закроемся от Катаева» – и с силой задернул обе половинки штор на большом, во всю стену, окне. (Окно нашей столовой выходит прямо на катаевский забор, сарай, дачу.) Александр Исаевич снова сел и ожидающе посмотрел на меня. Стол наш неширок, лицо Солженицына я видела ясно. Шрам, пересекая лоб, подчеркивает прямизну черт. Прямой нос, прямые волосы, прямой лоб – лицо как будто выпрямленное изнутри единым волевым усилием. Сосредоточенность углубляла шрам, и, чем глубже врезалась в лоб эта черта, тем отчетливее проступала основа лица, оно словно обнажалось, открывая голый и точный чертеж. Ничего лишнего. Одна основа.

За несколько дней до моего исключения Солженицын, ни о чем не сказав мне, принял особые меры: обратился с письмом к своим бывшим коллегам по Союзу писателей. Узнала я об этом много позднее. Привожу письмо целиком:

«6.I.74

Дорогая Сарра Эммануиловна!

Хочется спросить – не Вас, но, быть может, при Вашем посредстве до каких же пор писатели будут вести себя как куры – каждая покорно ждет, когда дойдет очередь резать ее, и беспечно не мешает резать других?

Чего же стоит такая «общественность» и чему же могут научить народ такие писатели, зачем они тогда и книги пишут? Неужели предстоящее, всем известное исключение Лидии Чуковской и Владимира Войновича пройдет беспрепятственно, без сопротивления (активного противодействия, а не пустых протестов вослед)? Если так, то, право же, достойная писательская общественность заслуживает презрения ничуть не меньшего, чем ее казенное руководство. Как-никак, а большинство-то – у нее.

Если с кем будете об этом толковать – можете ссылаться и на меня и это письмо показывать.

Жму руку

А. Солженицын».

Не зная тогда о существовании этого письма, я мельком удивилась настойчивости, с какой Александр Исаевич расспрашивал: сколько было человек в вестибюле, сколько поднялось со мною на второй этаж к комнате номер 8 (все!) и какие делались ими попытки войти…

– Но как же они могли войти? – удивилась я его вопросу. – У двери стоял страж. Они требовали, они просили, они посылали записки. Наровчатов не разрешил войти вместе со мною никому – даже Сарре Эммануиловне Бабенышевой, которая просила разрешения быть возле меня из-за моей полузрячести.

– Неужели друзья, все вместе, сколько их было, не могли силою открыть дверь?

– Да как же им было открыть? Дверь изнутри заперта на ключ, а снаружи – сторож.

– Надо было успеть прорваться – до!

– Тогда заседание просто не состоялось бы. Председатель догадался бы отложить. А в следующий раз у двери стоял бы не один сторож, а милицейский наряд.

Глубже сделался шрам. Солженицын не спрашивал более, а ожидал моего рассказа. Я попробовала было рассказывать подряд, роясь в своих записях. Но – не удалось. Явственно видна крупная нумерация страниц, но самая запись, сделанная стоя, трудно поддавалась расшифровке. И, отложив в сторону кипу бумаг, так сильно раздражавших и пугавших моих недавних собеседников, я начала рассказывать не по записям, а по памяти, по следу мучивших меня болевых точек – навстречу прочному, как обручем охватывающему мои слова, вниманию слушателя. Я пыталась передать фарисейство Агнии Барто, не постеснявшейся потревожить тень Корнея Ивановича в минуту расправы со мной, ее дерзость говорить от имени доброты, совершая зло; пыталась изобразить бездарно разыгранную, запланированную взволнованность Юрия Яковлева; находчивую ложь, ложь, ложь не маститого, а матерого Лесючевского; кощунство Жукова, в утешение страдальцу Лесючевскому помянувшего нашу победу; хамскую грубость Медникова, Самсония, Рекемчука; озверелость Грибачева; учтивое предательство Стрехнина, передернувшего мой текст к их услугам; отточенную ненависть Катаева…

Меня слушал шрам. «В чем сила этого человека? – думала я, сквозь свой рассказ невольно вглядываясь в живой чертеж напротив. – В способности сосредоточивать себя, всего себя, – не часть, а целое, все то, что мы называем «я», – собирать, сосредоточивать

себя, свое отдельное «я» на «я» другого. Сейчас он весь сосредоточен на мне и на моей боли. Полностью. Целиком. Он будто рычаг какой-то в себе поворачивает – рычаг-переключатель, – включает всю полноту внимания и потом выключает, когда ему пожелается. Если бы не обрел он это умение: всей сутью, всей основой своей воспринимать чужую боль – как мог бы он создать Матрену да в придачу и все население Архипелага? – сотни и сотни судеб, волей его проницательного внимания и памяти – схваченные, усвоенные, впитанные, запомненные, возвращенные к жизни и – рады мы тому или не рады – подаренные нам?»

– Катаев – о порядочности! – перебил он меня, когда я дошла до Катаева. Даже не перебил, а произнес как-то внутрь, в себя. – Конечно! Таков уж закон. Самый непорядочный и должен был поставить вопрос о порядочности. Впрочем, кто там из них – самый…

Я рассказывала. Солженицын слушал. Когда углублялась его работающая сосредоточенность – углублялся и шрам. А лицо все прямело, подчеркивая, заостряя черты…

С высоты его сострадания я смотрела на прожитый день. Что ж, он был нелегок. И сейчас нелегко. Чувство униженности минутами покидало меня, но возвращалось опять. Я рассказывала. «Вы жалкая личность! – кричал мне, развалясь на стуле, Самсония. – Вы думаете, вы – фигура? Вы – жалкая личность!»

– И я, Александр Исаевич, в самом деле оказалась жалкою личностью. После того как Лесючевский солгал и я не нашла ответа, а потом, когда я говорила последнее слово, все заорали, я уронила бумаги на пол, долго шарила по полу и еле-еле, кое-как собрала их.

– И никто не помог вам?

Он встал. Даже, пожалуй, вскочил.

– Никто. Конечно никто.

– Ни один человек?

Шрам перерезал лоб так остро, что каждая черточка подо лбом превратилась в острие. Не лицо, а нож.

– Ни один.

Он опять сел напротив.

– Я сейчас заплачу, – сказал он.

(Мне и до сих пор кажется, что я ослышалась. Но я не ослышалась. Он сказал это.)

Мы сидели друг против друга понурые.

Никто из нас, разумеется, не заплакал. Напротив: от радости, что рассказ мой окончен, напряжение разрядилось, мы даже посмеялись немного. «Коля! Дружище! Береги себя…»

– Неужели они даже до того дошли, что в утешение Лесючевскому поминали взятие Берлина?

– Дошли, Александр Исаевич, дошли!

Он весело и громко рассмеялся. Лицо из заостренного, ножевого, сделалось округлым, деревенским, даже, я сказала бы, простоватым. В России таких лиц очень много. Рассредоточенное лицо Солженицына похоже на лицо монтера, механика, недавно из крестьян. Даже и шрама словно не было. Разгладился.

Я тоже смеялась.

Солженицын встал. (Внимание выключено. Если бы он не владел переключателем, откуда бы взялось время превращать усвоенное в лирически преобразованный результат, в те книги, которые все мы читаем?) Рычажок-переключатель сработал исправно. Каторжанину пора было в барак, на вечернюю поверку. Пора, а то упустишь для работы завтрашнее утро.

Солженицын глянул на часы.

– Берегите листки! – скороговоркой выговорил он, подавая мне аккуратно сложенную пачку.

Это был уже другой человек – не вслушивающийся, а спешащий мимо.

Он снова быстро взглянул на часы и простился.

Пора, пора было к себе, хотя стрелки часов вряд ли указали ему, что жить и работать в России оставалось автору «Архипелага» недолго – ровнехонько один месяц и три дня.

Вряд ли часы протикали Александру Солженицыну строчку:

На пороге стоит – Судьба.

4

Хорошо, думаю я теперь, что судьбою Солженицына ныне оказалось изгнание. Насильнический этот, унизительный для русского общества противозаконный акт в конечном счете для нас выгоден. Ведь разлучить Солженицына с родною культурою не удалось все равно. Солженицын зачерпнул и унес с собою столько России – живи он в изгнании хоть сто лет! – России ему хватит. Пусть горько ему в разлуке с родной землей, но вся она у него с собою – я верю в это, вся, кроме помех. Он трудится – «готовит людям свой подарок», – огражденный наконец от гонителей. Безопасность и там относительная, но не находится он уже в прямом ведении такого опасного учреждения, как Комитет государственной безопасности. Уж если сверхмощная наша держава не могла без лесючевской истерики, без топтунов, без перлюстрации писем и подслушивания телефонов перенести мою скромную статейку, то как могла она перенести восставший на нее из гроба – из тысячи тысяч гробов! – «Архипелаг» Солженицына! Какая расправа ожидала бы автора этой великой книги, если бы его оставили здесь? Убили бы? Посадили в тюрьму? Загнали в ссылку? Вряд ли. С подобной расправой опоздали: от тюрьмы он был защищен мировой славой и Нобелевской премией. Спасибо миру и Шведской академии.

Спасибо за то, что сейчас, когда я пишу эти строки, Солженицын спокойно сидит за письменным столом и работает. И рукописи свои ему не приходится прятать. Оставили бы его здесь – ежедневно отравляли бы жизнь, как теперь ежедневно отравляют жизнь Сахарову. Шантажом, письменным и телефонным; ежедневным напоминанием о его поднадзорности: то ворвутся в квартиру, когда никого дома нет, выбросят из шкафа платье, вытрут о платье сапоги, разбросают книги и посуду и уйдут, ничего не взяв и оставив двери настежь. То искалечат стоящую у подъезда машину; то выключат телефон – и постоянно, методически, под разными предлогами, расправляются с его друзьями и помощниками. Не только с друзьями, но и с теми малознакомыми людьми, которые приходят к нему рассказать о своем горе и просить о совете и помощи. И не только с ними. Мне известен такой эпизод: в одном научном институте в Москве Сахаров произнес несколько слов над гробом своего покойного друга. Когда гражданская панихида окончилась, к Андрею Дмитриевичу подошел молодой человек – научный сотрудник института – и заговорил с ним. Беседа длилась минуты три, не более, но была замечена. На следующий день молодого человека вызвали к директору и потребовали письменных объяснений. Тот пожал плечами и отказался. Через несколько дней он был уволен.

Сахаров живет, окруженный минными полями. Неизвестно, когда, и кто, и на какой мине подорвется. Но каждая чужая рана – это рана ему. До одного инфаркта его уже довели – скоро ли доведут до второго? И скоро ли подорвется на неизбежной мине он сам?

Желаю ли я, чтобы Сахарова лишили родины? Во спасение от мины и инфаркта? Чтобы изгнали его, подобно Солженицыну, или попросту отпустили за границу на время, хоть на месяц отдохнуть от «Одного дня академика Андрея Дмитриевича»? Конечно, желаю. (О, как осиротеем все мы! да что мы, мы – «вольные», а те – в лагерях, тюрьмах, психиатрических лечебницах. – Все те, для кого Сахаров – последняя надежда, «Спасите наши души», «Save our Souls» – звучащее его голосом на весь мир.)

Осиротеем. Но разве я зверь, чтобы не желать ближнему своему, да еще такому, как Андрей Дмитриевич Сахаров, покоя, лечения, отдыха, оснеженных гор, картинных галерей и венецианских каналов? Не желать Андрею Дмитриевичу встречи со своим собеседником – миром – и, быть может, нового возвращения к науке, по которой он истосковался?

Осиротеем. Но сколькие уже, пренебрегая нашим сиротством, уехали, и сколькие уедут еще!

Хочу ли я, чтобы уехал и Сахаров?

…Торжественное заседание Академии наук СССР «в честь шестидесятилетия Великой Октябрьской революции». Сахаров приглашен. Он сидит в одном из первых рядов, недалеко от прохода. У него с собою записка: предложение правительству амнистировать политических заключенных, отменить смертную казнь, смягчить тюремный режим. Зал полон академиками, действительными членами, членами-корреспондентами, директорами научных институтов. Сверкают седины и ордена. На трибуне президент Академии наук, академик А. П. Александров, и другие высокопоставленные лица. Еще бы! Ведь праздник какой – Октябрьской революции исполнилось шесть десятилетий! Докладчик, академик Б. Н. Пономарев, член ЦК (кандидат в члены Политбюро), превозносит наши достижения. Сахаров тихо поднимается во весь свой высокий рост и делает шаг к проходу. Он хочет подойти к трибуне и передать в президиум свою записку. Но поперек его пути, между стульями внезапно возникает преграда: ноги. Сахаров со своей высоты молча разглядывает эту живую преграду. На фоне наших достижений ему все-таки удается, вопреки преграде, выйти в проход и сделать один шаг к трибуне. Тут его мгновенно окружают восемь человек Восемь богатырей – сотрудников КГБ. Зачем они здесь? В этом храме науки? А вот затем! Академик Сахаров, даже молчащий, страшен им. А вдруг, от имени своих подзащитных, он скажет что-нибудь на весь зал, на весь мир! Нет, он хочет передать записку – всего лишь. Но – сам. Но – прямо в президиум. А в президиуме – высокопоставленные лица. Разве это допустимо?! Сахаров стоит, окруженный чекистами. Один пытается вырвать у него бумагу из рук. «Не утруждайтесь, – говорит Сахаров, – у меня дома еще десять таких».

Зал принимает приветствие Политбюро ЦК.

Весь зал поднялся: оркестр заиграл государственный гимн. Весь зал стоит.

Наконец, гимн окончен. Опустела трибуна. Опустел и зал. Ни орденов. Ни седин. Пусто.

Тогда чекисты расступились перед Сахаровым: «Вы свободны».

– А что же академики… членкоры… доктора наук… – спрашиваю я у Андрея Дмитриевича, холодея. – Видели, как вас окружили чекисты?

– Видели.

– И они подошли… чтоб узнать… чтоб спросить… чтоб узнать, что будет с вами дальше?

– Нет.

– Но они смотрели, по крайней мере, чем кончится?

– Нет. Они смотрели в другую сторону.

– И ни один человек не попробовал к вам подойти? Хотя бы окликнуть вас?

– Ни один.

«Товарищи! – хочется мне закричать. – Мы – сверхмощная держава! – Мы – страна победителей! Мы первые создали спутник! Неужели – неужели – через шестьдесят лет после революции, через тридцать два года после победы над фашизмом мы не можем допустить, чтобы Андрей Дмитриевич Сахаров, действительный член Академии наук и лауреат Нобелевской премии Мира, лично подал записку своему президенту?» И что сказать об академиках, которые смотрят в другую сторону, когда их коллегу – оцепили? Один, сидевший рядом

с Сахаровым, даже закрыл лицо руками, едва лишь Сахаров поднялся. «Это он от стыда?» – спрашиваю я. «Нет, чтоб не попасть в свидетели».

Да, да, я горюю, когда люди уезжают. Но разве от таких коллег не пожелаешь – не то что отвернуться, это уж само собой, а убежать на край света? Уехать, убежать, чтоб больше никогда не видеть ни их ученых лиц, ни их срама!

5

– Значит, вы хотите, чтобы Андрей Дмитриевич уехал? Значит, вы *за* отъезды? А нам говорили, вы *против.*

– Я – против тех, кто незаконно присвоил себе право распоряжаться чужими судьбами. Каждый сам знает, где ему хочется жить постоянно или куда он хочет съездить на время. Я за право каждого на временную поездку и на постоянный отъезд.

Уехать имеет право каждый – по уважительной причине (гонимости) и безо всякой причины.

Тот, кто уже произнес неугодное слово и поплатился годами тюрьмы и ссылки, и тот, кто от неминуемой расплаты желает спастись. И тот еврей, который никогда не терял ни своей религии, ни своего языка и жил мечтами о неведомом, далеком, обетованном Израиле. И тот немец, которого тянет в родную Германию.

И тот русский еврейского происхождения, который давно уже в трех-четырех поколениях русский (по языку, по культурной традиции, по всему обиходу, по строю души и складу ума и, главное, по общей с нами исторической памяти), – тот русский, которого властители наши гипнотическими сеансами антисемитизма, на горе нам, заставили отпрянуть от России.

И тот – русский ли, грузин, литовец, армянин, татарин, кто желает работать и кого сначала, в наказание за правдивое слово, лишают работы, а потом судят за тунеядство.

И тот – русский или не русский (мне все едино), кто живет здесь в полном благополучии, кого никто не преследует, а он попросту желает людей посмотреть и себя показать. «Я молод, жизнь во мне крепка» – хочу путешествовать, двигаться! Право на отъезд, на поездку туда и обратно или право на эмиграцию – природное, неотъемлемое право каждого человека. Непререкаемое.

– А… Значит, вы, оказывается, *за* отъезды? А нам говорили – вы *против?*

– Поддерживая от души право каждого поступать, как разум и честь велит, я хочу напомнить всем – уезжающим и остающимся! – еще об одном безусловном праве. Неотъемлемом. Нерушимом. Непререкаемом. Я хочу напомнить о моем праве – плакать.

Горе той земле, для чьих детей, если они желают выполнить свое назначение, существует одна лишь мечта: отъезд.

Мы радуемся, когда вновь соединяются разъединенные семьи. Не оплакать ли нам разъединение дружб?

Ветви дружбы – ведь в их-то переплетении и густоте вьет и прячет свои гнезда культура. Ведь не в чиновничьих гнездилищах, где академика или писателя даже при ярком свете люстр не отличишь от гебиста, не там рождается и растет литература и наука. Рождается она в скромности привычного труда, в тишине, без юбилейных торжеств и салютов и дышит воздухом братства. Что удивительного, что академики не повернули голов, когда Сахаров оказался в оцеплении? Кроме литературы, науки, музыки, живописи существует еще культура дружбы, товарищества.

Жива ли она?

Власть делает все, чтобы ее уничтожить.

Мы должны делать все, чтобы ее сохранить.

От любви между мужем и женой рождаются дети. Но не всегда дети связаны с родителями более прочной связью: духовной. О, конечно, такое тоже бывает. Но далеко не всегда.

От дружбы, от излучаемого человеком тепла, неизбежно рождается духовный плод – общая память об общей боли и зов к общей работе. Жажда, не покладая и не разнимая рук, в память общего горя, общих утрат и надежд, сообща работать. Дружба – это тоже искусство, надо возрождать и беречь его. Юбилейные залы… ничего не было и нет противоположнее культуре, чем ковровые дорожки равнодушных, безличных, бесчеловечных чиновничьих коридоров и зал.

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит…

Крупными ли звеньями, малыми ли звенышками, но прочно связаны между собою этой золотой длящейся цепью люди, работающие под сенью родного дуба. Их хранит добрая зеленая листва, тоскливая песня, веселая сказка, и они благодарно хранят этот спасительный ствол, его корни и листья. Создают в новом веке новую песню, звено той же цепи, звенящее тоскою, утешением и новизной.

Каждый, уезжающий ныне из России, увозит с собою не только себя самого. Он увозит излучение тепла. Звенышко из золотой цепи. Он увозит пылинку будущего. Он разнимает братские руки. У остающихся руки опускаются – и между возникает пустота. Дотянуться одному до другого сквозь обступающую со всех сторон пустоту становится трудней и трудней, – распадаются звенья цепи, обрывается песня, сказка, дружба. Между одним звеном и другим обрыв, дыра, которую ни чугуном не скрепишь, ни лоскутом не залатаешь. Тут нужна человечья ладонь, щека. Отъезды разрывают живую, естественно сросшуюся, плодоносящую ткань.

Каждый отъезд имеет свое обоснование, свое право (не только юридическое, но и жизненно-веское), свою причину, свой безусловный резон, а все вместе они служат распаду.

Мне возразят, что плакать, собственно, не о чем, что уехавшие могут и там, и оттуда служить России: свидетельствовать истину о жизни нашего народа перед другими народами, не отступаться от здешних друзей и заступаться за них. Это так, это правда, и оно так и есть. Лучшие из тех, кого от нас оторвали насильно, лучшие любят и помнят. Любовь их деятельная: я знаю множество разумных и бесспорно полезных дел, совершаемых нам в помощь эмигрантами. Литература? Я верю, что и там и здесь будут созданы – и уже создаются! – книги, достойные великой русской литературы. Географически решать вопросы российской словесности столь же недопустимо, как и арифметически. Был бы труд бескорыстен и чист, а время уж само расставит и авторов, и их книги по росту и по полкам. Вне зависимости от географии. Сказал ведь Борис Пастернак:

Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Позорно – как там, так и здесь. Самоотдачей – или, напротив, – саморекламой можно заниматься с одинаковым успехом и там и здесь, в любой точке земного шара. И я желаю

уехавшим счастья в их самоотдаче… Однако я не думаю, чтобы кому-нибудь из уехавших выпало на долю то великое – хоть и беззвучное – счастье, какое выпало мне. И это потому, что отъезды служат распаду, а не единению. В декабре 1975 года шел и шел снег. Когда я поднялась на могилу Корнея Ивановича, она вся была засыпана снегом. Я целую подушку столкнула со скамьи, прежде чем сесть. В кустах можжевельника что-то темнело. Я взяла в руки мокрый конверт и вынула промокшую бумажку. Буквы текли по страницам, как слезы. Подпись размыта совсем, нечитаема, числа не видно, прочитывается только месяц и год: «XII. 75». Но слова хоть и текут, а ясны.

Я прочитала:

> «Спасибо Вам, Лидия Корнеевна, за то, что Вы, человек и писатель, одна из немногих настоящих писателей, оставшихся в России».

Напоминаю, что письмо это написано и получено мною в стране, где имя мое запрещено, где за каждую мою самиздатскую или тамиздатскую книгу человек рискует поплатиться тюрьмой, где не печатается ни одна моя новая строка; где из всех библиотек уже изъяты мои прежние книги, а из каталогов – названия.

Меня нет и меня не было. Хуже – я чума.

Удивительно ли, что, какую бы живую благодарность ни испытывала я к моим западным переводчикам, рецензентам, издателям – русским и нерусским, – ничто не сравнится с тем благоговением, с каким несла я домой этот заплаканный орден. Орден братства.

– Аа… а! Значит, вы все-таки *против* отъездов? – спрашивают после недолгого молчания мои собеседники.

– Нет, отчего же, я *за.* Я уже притерпелась. Пусть едут.

6

Но мне давно пора уже вернуться к своей теме: к исключению из Союза писателей. Обе темы связаны одна с другою, но все же моя у́же.

Памятен нам август 1946 года, речь Жданова перед писателями в Смольном. И постановление, и речь напечатаны во всех газетах. С ними в любую минуту может ознакомиться каждый. Это наша «Илиада» и «Одиссея», классический образец бюрократических постановлений об искусстве, – можно сказать, вершина жанра. Недаром оба документа годами и даже десятилетиями преподавались во всех школах России вместо российской словесности. Постановление не отменено по сию пору, хотя оба ошельмованных писателя печатаются, Ахматова даже и многотиражно[66].

Беспомощность официальной власти перед властью поэта стихами Ахматовой была не единожды провозглашена. Судьбою – подтверждена. Однако в 1961 году уже победившая Ахматова снова растолковала своим гонителям эту истину – на этот раз, можно сказать, по складам, прозой, в «Слове о Пушкине».

«После… океана грязи, измен, лжи, равнодушия друзей и просто глупости… как торжественно и прекрасно увидеть, как этот чопорный, бессердечный… и, уж конечно, безграмотный Петербург стал свидетелем того, что, услышав роковую весть, тысячи людей бросились к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались.

…Он победил и время и пространство…

…И это уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое»[67].

---

[66] Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года отменено на заседании Политбюро ЦК КПСС 20 октября 1988 года как ошибочное. – *Примеч. 1988 года.*

[67] См. в сб.: Анна Ахматова. О Пушкине. Л.: Советский писатель, 1977, с. 5–6.

Борис Пастернак подвергался разгромам в печати много лет, еще до своего исключения из Союза, в особенности бурно после того же исторического Постановления ЦК 1946 года. Сразу после Нобелевской премии, в 1958 году, его едва не лишили гражданства. Коллеги Пастернака обратились к правительству с просьбой выслать его за пределы страны.

Чтобы остаться дома, Пастернак отказался от премии.

Сохранилась ли стенограмма исключения из Союза писателей Зощенко и Ахматовой, я не знаю. Стенографический же отчет о расправе с Пастернаком сохранился. Подробная стенограмма опубликована за границей[68]. Я привожу ее краткий конспект. Документ интересен и сам по себе – «как люди в страхе гадки», интересен и тем, что реплики действующих лиц – это как бы шпаргалка для всех участников – соучастников! – подобных расправ в будущем.

«В ходе обсуждения» было установлено, что:

1) Борис Пастернак чужд советскому народу – и не только с той поры сделался чуждым, когда написал эту дурно пахнущую мерзость, этот поганый роман, «Доктор Живаго» (где оплевано все святое для нас, в том числе и Октябрьская революция), а вообще всегда был чужд – в своей эстетствующей, декадентской, индивидуалистической, камерной, комнатной поэзии. Был и остался чужд народу.

12) Пастернак не только чужд народу, но ненавидит народ и считает его быдлом.

13) Пастернак – враг народа.

14) Он скрывал свою враждебность под прикрытием извилистых эстетических ценностей. Между тем вся его поэзия – это восемьдесят тысяч верст вокруг собственного пупа. (Одно время, правда, некоторым отдельным товарищам виделось в поэзии Пастернака нечто даже революционное, когда он находился в окружении Маяковского. Но они проявили излишнюю снисходительность и близорукость.)

15) У Пастернака нож за пазухой – нож против народа.

16) Пастернак поставил большую пушку – обстреливать из этой пушки народ.

17) Недаром он всегда водился с иностранцами.

18) Роман «Доктор Живаго» – предательский акт, проповедь предательства и апология предательства.

19) Пастернак не с наших позиций отнесся к событиям в Венгрии.

10) Пастернак – литературный Власов.

11) Пастернак – соучастник преступления против мира и покоя на планете.

12) Пастернак – это война.

Каков же моральный облик этого предателя, поставившего большую пушку?

Моральный облик у него такой, какой и выясняется из всего вышесказанного:

11) Пастернак – опытный иезуит, лишенный чести, совести, порядочности. Под прикрытием юродства он ловко обстряпывал свои дела. Он ел наш советский хлеб, кормился в наших издательствах, получал все блага от нашего Советского государства, а сам предательствовал. Надеяться на его исправление нечего. «Собачьего нрава не переделаешь». Прав т. Семичастный, назвавший Пастернака свиньей. Виноваты мы, Союз писателей: мы были слишком добры к Пастернаку, слишком берегли его мнимый талант и слишком долготерпеливы.

2) Пастернак – жалкая фигура.

3) Пастернак – подлая фигура.

4) Пастернак – подлец.

5) Предательство свое (которое состояло из целой цепи предательств) он совершил за деньги.

---

[68] См.: Новый журнал, № 83, Нью-Йорк, 1966, с. 185–227. В наше время, в 1988 году, стенограмма позорного этого собрания опубликована в № 9 журнала «Горизонт». – *Примеч. 1988 года.*

6) Однако его новые хозяева вышвырнут его, и весьма быстро, как выеденное яйцо, как выжатый лимон.

7) Нобелевская премия по литературе, которую он получил, есть в действительности не премия, а оплата предательства. Эти сорок или пятьдесят тысяч долларов – это те самые знаменитые тридцать сребреников.

Главные задачи Союза писателей после того, как Пастернак будет изгнан из нашей страны, сводятся к следующему:

Задача первая: развеять легенду о необычайной порядочности и моральной чистоте Пастернака.

Задача вторая: развеять легенду о его необычайной талантливости.

Задача третья: вглядеться в его друзей и знакомых и во всех тех, кто курил ему фимиам. Спасти молодежь от его влияния.

Трудно определить, кто из производивших эту экзекуцию проявил наибольшую лютость. Каждый был хорош в своем роде. Софронов, Зелинский, Перцов, Ошанин, Солоухин, Полевой, Безыменский, Баруздин. Мягкое, женственное начало представлено было Валерией Герасимовой, Галиной Николаевой, Тамарой Трифоновой, Верой Инбер и Раисой Азарх. Дамы либо выступали с трибуны не добрее мужчин, либо из зала выкрикивали свирепые реплики. Они придирались к отдельным формулировкам резолюции: оскорбительность представлялась им недостаточной. Главным составителем резолюции был Н. В. Лесючевский; казалось бы, это имя – порука жесткости. Нет! Слово «изгнанник» – ах! для предателя это слишком мягко; «давно оторванный от народа» – ах! какая неточность! *всегда* оторванный. Вера Инбер: ах!

эстет и декадент – это слабо; эстетствующий декадент – определение всего лишь литературное, а к Пастернаку следует применять *иные* определения…

Борис Леонидович по болезни на собрании не присутствовал. Он прислал письмо. Оно не дошло до нас. Председательствующий. С. С. Смирнов письмо огласил, но стенографистки текст не записали. Дошли до нас всего две фразы, процитированные в выступлениях:

«Я не ожидаю, чтобы правда восторжествовала и чтобы была соблюдена справедливость.

Мне понятно, что вы действуете под давлением обстоятельств, и *я вас прощаю»*[69].

Пастернак своих гонителей простил. Святое право – прощать за себя. Но мы – имеем ли мы право прощать им его гибель? И простить его гибель – *себе?* Менее чем через два года, 30 мая 1960 года, Борис Пастернак скончался.

Союз писателей пожелал унизить Пастернака и в гробу. В обеих литературных газетах объявления о смерти помещены в издевательской форме: «Скончался Борис Леонидович Пастернак, *член Литфонда».*

Глядите, люди, какое милосердие! Мы разоблачили врага, но оставили его хоть и не членом Союза, но членом Литфонда! Литфонд оказывал ему при жизни медицинскую помощь, а после смерти известил читателей о его кончине. И даже выразил соболезнование семье.

А люди всё поняли и всё рассудили иначе.

«Граждане! 30 мая сего года скончался великий русский поэт Борис Пастернак. Похороны 2 июня в Переделкине, в 2 часа дня…» – такое объявление, написанное от руки, возникло тогда же возле дачной билетной кассы Киевского вокзала. Его сорвали. Оно самозародилось снова. Его снова сорвали. Оно возникло опять.

---

[69] Это письмо Б. Пастернака теперь опубликовано. В последнем абзаце сказано: «Я жду для себя всего, товарищи, и вас не обвиняю. Обстоятельства могут вас заставить в расправе со мной зайти очень далеко…» (журнал «Континент», № 83, с. 197).

«Граждане! 30 мая скончался великий русский поэт – Борис Пастернак…»

Вот вам и член Литфонда!

…«После этого океана грязи… лжи, равнодушия друзей и просто глупости… как торжественно и прекрасно увидеть… что, услышав роковую весть», сотни людей бросились на похороны поэта и через два дня его могила и его дом стали «святыней для его Родины».

Те стихи, над которыми столь лихо потешались высокоумные коллеги Пастернака, те самые стихи, эстетские, декадентские, камерные, комнатные, чуждые, чуждые, чуждые народу, – те самые стихи ежедневно произносятся вслух на могиле Пастернака – читаются по страницам книг, по листкам машинописи, а чаще всего по памяти. Ощущение такое, будто они просто растут там, на ветвях столетних сосен или на нежных лепестках шиповника, а зимою невидимыми буквами начертаны на снегу. Редко когда могила свободна от посетителей. Кто они? Разные люди приходят сюда. Темные, пьяные, шатающиеся по кладбищу от нечего делать, а чаще – те, кто знает наизусть каждую пастернаковскую строчку.

Разные люди посещают могилу Пастернака: молодые, старые, студенты, рабочие, профессора, писатели, врачи, учителя – из разных мест, ближних и дальних. Национальное их происхождение разное, но их общий язык – Пастернак. И потому общее их имя: Россия… Коварное это понятие – «камерность», «комнатность». Вот она как оборачивается, эта загадочная комнатность, – целой Россией! И более того, земным шаром. На могиле Пастернака часто бывают люди чужих земель. Индивидуалист – камерные, комнатные стихи, а глядишь – проложили себе дорогу к сердцам тысяч. Значит, в этом *одном* сердце умещались боли и радости тысяч. Связь между поэтом и читателем – таинственная связь, не менее таинственная, чем между деревьями и словами. Случается, громогласие не достигает ничьего сердца, а слово, произнесенное тихо и как бы про себя, из себя, совершает «назначение поэзии»: «кует сердца поэзией», как говорил Александр Блок. Вслушивается поэт в *свою* мысль, в *свою* душу, он одинок, он самобытен, он что-то там бормочет невнятное, вдалеке от всех, вдали от многотысячных стадионов, *свое* – а оборачивается оно не своим – а всеобщим, братским. Образующим между людьми то невидимое единение, которое именуется культурой.

Похороны Пастернака стали событием в жизни России: они объединили любящих. Сквернословие, устное и письменное, многотиражное и громогласное, не замутило любви.

ПОХОРОНЫ

Мы хоронили старика,
А было все не просто.
Была дорога далека
От дома до погоста.

Наехал из Москвы народ,
В поселке стало тесно,
А впереди сосновый гроб
Желтел на полотенцах.

Там, в подмосковной вышине,
Над скопищем народа,
Покачиваясь, как в челне,
Открыт для небосвода,

В простом гробу,
В цветах по грудь,
Без знамени, без меди

Плыл человек в последний путь,
В соседнее бессмертье.

И я, тот погребальный холст
Перехватив, как перевязь,
Щекою мокрою прирос
К неструганому дереву.

И падал полуденный зной,
И день склонялся низко
Перед высокой простотой
Тех похорон российских[70].

«День склонялся низко» перед этими похоронами, имя которых было: Россия… «И более полной, более лучезарной победы свет не видел».

Что же делали в часы лучезарной победы чиновники из Союза писателей? «Склонялись низко»? Каялись в своем преступлении? Нет. Составляли список литераторов, принявших участие в антисоветском мероприятии. «Вглядывались в окружение».

Нельзя сказать, чтобы руководство Союза писателей никаких уроков из случившегося не извлекло. За истекшие после гибели Пастернака двадцать лет продолжали истреблять литераторов, не стесняясь: расправились с Бродским, расправились с Даниэлем и Синявским, изгнали Солженицына, вынудили уехать десятки писателей и ученых. Беззакония – и разор – совершались беспрепятственно. Однако – не безгласно. Кроме казенных газетных статеек появилась им в ответ новая литература. Записи судебных бессудных расправ в шестидесятые годы стали доступны обществу благодаря совместным усилиям Самиздата, западных радиостанций и Тамиздата. Тем, кто в 1958 году называл Пастернака свиньей, подлецом и собакой, пришлось в 1966-м прочитать свои непристойные речи в нью-йоркском «Новом журнале». Да, подлец, и собака, и свинья, и продавшийся – все воспроизведено с помощью типографской машины и выставлено на обозрение и поучение миру, и все имена говоривших обозначены полностью. Конечно, беда не такая уж большая – сюда «Новый журнал» не доходит, а дойдет в одном или в двух экземплярах – можно объявить стенограмму антисоветской фальшивкой, а владельца крамольных экземпляров предать суду за хранение антисоветчины. И все. Память о собрании, на котором топтали Пастернака, приговорена к уничтожению; «на новом этапе», в 1965 году, автор постыдной резолюции, принятой на собрании 1958 года, он же – глава издательства «Советский писатель» Н. В. Лесючевский, уже выпустил в Большой серии «Библиотеки поэта» целый том стихотворений – кого бы вы думали? того самого предателя, подлеца, власовца, ненавидевшего наш народ и поставившего большую пушку. Каково-то Николаю Васильевичу, бедняге, издавать эти собачьи стихи? Подписывать договор с составителями? Схватился ли он, увидев сигнальный экземпляр изданного Большой серией тома, за свое больное сердце? Не думаю; «на прежнем этапе» приказано было клеймить Пастернака, он его и клеймил; «на данном» Пастернака издавать, а клеймить других.

А все-таки в шестидесятые годы, когда воскресло русское слово и, не помещаясь в рамках лесючевской цензуры (ни даже в рамках Твардовского «Нового мира»), – выплеснулось наружу тысячами машинописных копий, – невзлюбил Союз писателей исключать своих членов на многолюдных открытых общих собраниях. Осознали все-таки, что время другое, что у каждого исключенного непременно нашлись бы защитники. Вот почему «на новом

[70] *Владимир Корнилов*. Похороны // Возраст. М.: Советский писатель, 1967, с. 73.

этапе» стали исключать без общих собраний. Секретариат, Президиум; комната номер 8 – чем закрытее, тем надежнее, тем меньше шансов для стенограммы или записи вырваться на Запад, оказаться напечатанными или произнесенными по радио.

Солженицына – в тысяча девятьсот шестьдесят девятом – исключили в Рязанском отделении Союза писателей. Число собравшихся – 6 (шесть!) человек. Виднейшие прозаики Москвы явились тогда к секретарю Московского отделения Воронкову требовать общемосковского собрания. Куда там! К чему многолюдство? Решение шестерых рязанцев, молниеносно вынесенное ими по команде сверху, столь же молниеносно утвердил Секретариат.

«Бесстыдно попирая свой собственный устав, вы исключили меня заочно, пожарным порядком, даже не послав мне вызывной телеграммы, даже не дав нужных четырех часов – добраться из Рязани и присутствовать», – писал Александр Солженицын в своем заявлении Секретариату Союза писателей РСФСР 12 ноября 1969 года.

Он сразу понял нехитрую суть происшедшей перемены: на общем-то собрании уж наверное раздались бы голоса в его защиту (шестидесятые годы – не пятидесятые; более девяноста человек своими именами поддержали обращение Солженицына к IV съезду!). А главное, главное – на общем собрании непременно найдутся такие, которые запишут все происходящее. А почему исключали без него? Да потому, что он-то уж непременно записал бы. И тогда? Что ж тогда? Самиздат, корреспонденты, Би-би-си…

«Враги услышат», – продолжал в своем письме Солженицын, – вот ваша отговорка, вечные и постоянные «враги» – удобная основа ваших должностей и вашего существования… Да что б вы делали без «врагов»? Да вы бы и жить уже не могли без «врагов», вашей бесплодной атмосферой стала н е н а в и с т ь, ненависть, не уступающая расовой. Но так теряется ощущение цельного и единого человечества – и ускоряется его гибель»…

«Все-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, – это человечество. А человечество отделилось от животного мира – *мыслью* и *речью*. И они естественно должны быть свободными. А если их сковать – мы возвращаемся в животных.

Гласность, честная и полная *гласность,* – вот первое условие здоровья всякого общества – и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности, – тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти».

Так писал Солженицын в своем письме к Секретариату.

(Странная все-таки логика у этого Солженицына – странная и, безусловно, предательская. Недаром вскоре, когда в 1970 году ему присуждена была Нобелевская премия по литературе, выяснилось, что он (подобно Пастернаку – весь джентльменский набор тот же, установленный раз и навсегда) – 1) предатель, 2) литературный власовец, 3) ест наш хлеб, но ненавидит советский народ, 4) жаждет войны, 5) премия, которой его удостоили, – это вовсе не литературная премия, а плата за предательство – те самые знаменитые тридцать сребреников… Он продался нашим врагам – своим заокеанским хозяевам. Дышать с ним одним воздухом мы не в состоянии – пусть отправляется туда, где его купили; он вообразил себя фигурой, а между тем – он ничтожество; его выжмут, как лимон, и выбросят. Пока он был в окружении Твардовского, некоторым казалось, будто от него чего-то можно ждать, но… те, кто ожидали и курили ему фимиам… и создавали ему ореол… в них надо вглядеться).

Странный все-таки человек этот Солженицын! Требовать от руководителей Союза писателей заботы о гласности! Честной и полной! В то время как для руководителей Союза нет ничего ненавистнее открытого слова. А он вдруг возьми да и потребуй: «гласность, честная и полная гласность».

В ответ на призыв об открытости все закрытее и закрытее стали секретариаты и президиумы. Чем закрытее, тем меньше шансов попасться на зубок гласности. Закрыто исключали и Галича, и Максимова, и Корнилова, и Войновича, и Копелева, и меня – в Москве; в Ленинграде же – Эткинда. Забегая вперед, скажу: 25 апреля 1974 года профессор Е. Г.

Эткинд был уволен из Института имени Герцена, лишен научного звания и в тот же день исключен из Союза писателей. История его исключения и вынужденного отъезда из СССР подробно изложена им в книге «Записки незаговорщика»[71]. Об этом исключении я считаю должным сказать потому, что тут в общепринятом сценарии блеснула новинка. Отсутствие исключаемого? Нет, это случалось и прежде, и даже не раз. Единогласная трусость собравшихся? Этим тоже не удивишь: ведь состоят секретариаты и президиумы не из выбранных, а из подобранных людей. Новинкой при исключении Эткинда было, на мой взгляд, открытое участие в деятельности Союза писателей сотрудников КГБ: на заседании Секретариата присутствовали молодые люди из Большого Дома, и главной мотивировкой для исключения была справка оттуда же. Да здравствует гласность! Эту справку открыто огласил секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Г. К. Холопов.

Конечно, Секретариат Союза писателей и Большой Дом – организации родственные, но обычно родство это стыдливо прикрывалось и уж во всяком случае не демонстрировалось. «Творческий Союз» творил будто бы не только свои книги, но и суды и расправы – самостоятельно, в припадке творческого вдохновения. В случае же с Эткиндом никакой скрытности – все наглядно, открыто, все настежь! – и я от души приветствую этот новый этап.

Начинается откровенный документ, оглашенный на заседании Секретариата первым секретарем творческого Союза, так:

«В поле зрения КГБ Эткинд попал в 1969 году в связи с…»

Вот она наконец долгожданная, полная и честная гласность! Никаких тебе литературных игр: эстетство, декадентство, камерность, не отразил победное шествие и т. д. Сразу быка за рога: «В поле зрения КГБ Эткинд попал в 1969 году в связи с тем, что встречался *с* Солженицыным…»

Я полагаю, и этого вполне достаточно, чтобы исключить Эткинда из Союза и, лишив степеней и званий, вытолкать за границу. Но нет.

«В ходе проверки этих данных оказалось…» Оказалось: Эткинд был знаком с Солженицыным и даже, по всей вероятности, хранил одно время «Архипелаг ГУЛаг». Куда уж дальше? Но нет. Оказалось, что этот закоренелый преступник помогал молодым литераторам, поклонникам поэзии Иосифа Бродского, собирать и комментировать его стихи. Но и этого мало. «В ходе проверки» оказалось, что Эткинд отговаривал молодых людей еврейского происхождения уезжать в Израиль.

Вот какие зверские поступки успел совершить профессор Е. Г. Эткинд к апрелю 1974 года, попав в поле зрения КГБ в 1969 году. Трудно даже вообразить, до каких неистовств дошел бы этот рецидивист, если бы сотрудники КГБ его не разоблачили.

И никто из присутствующих – ни один из писателей, членов Секретариата, не встал, не перебил читающего и не спросил: да не ошиблись ли вы дверью, т. Холопов? Зачем вы предъявляете нам, писателям, малограмотную кагебешную справку, основанную на донесениях ваших филеров, на протоколах допросов, на отобранных при обысках частных письмах и дневниках? Читать чужие дневники и письма или слушать выдержки из них мы не желаем: среди порядочных людей это не принято. Да и о чем, собственно, свидетельствуют ваши «следственные материалы», преподносимые вами с такою торжественной важностью? О вздоре. Или, точнее, о естественных, общепринятых, обыденных литературных связях. Для литературы они не вздор, на них-то литература и держится, а мы не виноваты, что в ваших глазах все свободно образующиеся общественные связи, в том числе и литературные, есть уголовщина. Двое молодых литераторов собирали стихотворения Иосифа Бродского, комментировали их и приходили советоваться о своих комментариях к старшему – Е. Г.

[71] Книга вышла в Лондоне в 1977 году, в изд-ве «Overseas Publications Interchange Ltd».

Эткинду. Ну и что же? Это уж так в литературе спокон века заведено: собирать стихи и прозу, которые власть почему-либо не желает печатать, – собирать, хранить их и советоваться об их качестве и комментировании с кем кому пожелается. Слыхали вы такие слова: «культурная преемственность», «литературная школа»? Усвойте. Запомните… Далее в вашей справке написано: «В начале апреля сего года по одному из *уголовных* дел, возбужденных по фактам размножения и распространения документов…» Нет, извините, пожалуйста, уголовное дело – это убийство, грабеж, изнасилование, вымогательство, карманничество, воровство, кража со взломом, а размножение и распространение документов не может рассматриваться как дело уголовное… Впрочем, я согласна: смотря о каких документах речь? О фальшивых финансовых отчетах? О фальшивых векселях? О подложных доверенностях? Об анонимных письмах с угрозами? Из дальнейшего текста вашей справки выясняется, что в *ходе расследования* этого *уголовного* дела были произведены обыски, а в ходе обысков «изъят подготовленный для распространения *так называемый* пятитомник стихов Бродского». А-а-а! Так вот что – на вашем языке – уголовщина! Вот почему вы гордо заявляете на международных конгрессах, что в Советском Союзе «политических преступников нет, в тюрьмах сидят одни уголовники!» Потому, что собирать стихи неугодного вам поэта вы смеете именовать действием уголовным, собирателей и комментаторов – уголовниками! А почему пятитомник «так называемый»? На самом деле томов было три? Или шесть? Собиратели неточно назвали его пятитомником? «Так называемость» на самом деле вот в чем: создать пятитомник стихотворений поэта есть дело литературное, а вы смеете его называть уголовным. Уголовщина здесь «так называемая», а собирание стихов, которые тебе полюбились, хотя чем-то и прогневавших власть, есть дело литературное. Не смейте вносить путаницу в эти понятия. Собирать, хранить, размножать, распространять произведения искусства – дело братства, дело любви, к уголовщине оно отношения не имеет. Эткинд, видите ли, оставил какие-то пометки на предисловии к стихам Бродского! Карманник, форточник, грабитель! Да почитайте вы переписку между писателями девятнадцатого или двадцатого века в России, почитайте воспоминания о писателях – в России и не в России – и вы убедитесь: все они без конца совершали это преступление: делали пометки на чужих рукописях. Все – от Державина и Капниста до Максима Горького и Александра Блока. По собственному желанию выбирали себе, на разных стадиях работы, критиков и редакторов. Устное и письменное общение мастеров и подмастерьев между собой – это и есть воздух литературы. Для того чтобы литература цвела, ей не требуется роскошных гостиных и вестибюлей ЦДЛ; требуется только, чтобы посторонние лапы не лазили в письменные столы. Нету людей, в большей степени нуждающихся в ненарушимой уединенности, чем мы, литераторы, и нету людей, более нуждающихся в общении и в критике, чем мы. Когда книга издана, в свои права вступает читатель, но во время работы литератор сам отбирает себе критиков, наиболее беспощадных и честных. В те периоды, когда цензура в России свирепела – как свирепеет она в наши дни, – писатели, кроме ежедневных устных и письменных «пометок», еще и *хранили* запрещенные рукописи. Хранить помогали читатели. Эта связь – писатель, его друзья-писатели, взаимно критикующие друг друга, и читатель, вместе с писателями читающий, критикующий и *хранящий* литературу от бюрократического бесчинства, – эта волшебная плодоносящая связь никогда и ни на минуту не прерывалась в России. Если бы не этот, выработанный десятилетиями гнета обычай: *хранить* стихи и прозу, вопреки преследованиям, до нас не дошло бы множество произведений Пушкина, многие стихи Лермонтова (например, «Смерть поэта»), не дошла бы четвертая часть стихотворений Некрасова, треть стихотворений Ахматовой и т. д. и т. п. Этим своим уголовным обычаем – хранить «так называемые» стихи и «так называемую» прозу – русская литература взаправду сохранилась, выжила и жива до сих пор. Даже знаменитый подлец агент III отделения Фаддей Булгарин – и у того хватило ума сохранить для веков рукопись «Горя от ума» Грибоедова. А уж в двадцатом веке читателей научились так

жестоко преследовать и читатели в ответ так искусно научились хранить, как никогда. Хранили, случалось, не в сейфе, не под землей, не на чердаке или в подвале, а в самом надежном укрытии: в памяти. Даже прозу.

«Непризнание произведений Бродского в СССР *якобы* свидетельствует об отсутствии свободы творчества в нашей стране», – гласит справка из Большого Дома. А о чем, по-вашему, *не* «якобы», а на самом деле, свидетельствуют арест, постыдный процесс и ссылка Бродского? И преследование его друзей и его стихов до сих пор? О свободе чего бы то ни было или кого бы то ни было в нашей стране?

Ваши рассуждения по поводу документа, именуемого вами «письмом к молодым евреям» и вменяемого Эткинду в вину, носят уж совсем смехотворный характер. Да, уговаривал не уезжать. Ну и что? Сами же вы, КГБ, по пять, по шесть лет не разрешаете уезжать, мучаете граждан, желающих уехать отсюда в Израиль, в Париж или в Америку, не давая им виз и на целые годы лишая работы. «Эткинд призывал их защищать справедливость *дома».* А чему же, по-вашему, надо обучать молодых людей? Дома или не дома? Защищать несправедливость? Защитников несправедливости и без нас хватает. Вот если бы вы поменьше вмешивались в частную и общественную жизнь наших граждан, в религию, в литературу, в искусство, в науку – вот тогда лиц любого национального происхождения и любой профессии, жаждущих возможно скорее оказаться подальше от вас и навсегда покинуть нашу родину, стало бы гораздо меньше. От чего наша страна сильно выиграла бы… Займитесь-ка, уважаемые гости, своим прямым делом – охраной государственной безопасности, – а нас оставьте в покое.

Вот что, по-моему, обязаны были бы ответить члены Секретариата представителям Большого Дома, если бы они были не «так называемые», не «якобы», а в самом деле писатели. Но ничего этого члены Секретариата не сказали – ни поодиночке, ни хором. А так как никто из членов Секретариата этого не сказал, то все, что было ими сказано, интереса не представляет… Кончались их пустопорожние речи одинаково: «Эткинд своим поведением поставил себя вне Союза писателей». Что ж. Это еще не худшее из возможного. Оказаться за пределами Союза писателей или даже Советского Союза – участь все-таки более счастливая, чем целой организацией – Секретариатом – хотя бы на одну минуту оказаться органом «органов». Органом, созданным «органами» для расправы с литературой.

Эткинда исключали в Ленинграде в апреле. В Москве же, следующим после меня, 20 февраля 1974 года, как и предполагал Солженицын, подвергся исключению Владимир Войнович. Он по вызову Секретариата в комнату номер 8 явиться не пожелал. Вместо себя прислал письмо, мгновенно распространившееся в литературном кругу. Письма его – не менее виртуозные произведения искусства, чем повесть о солдате Чонкине или чинодрале Иванько. В будущее собрание сочинений Владимира Войновича они войдут наравне с его другою прозой, особым томом.

Я приведу отрывки из письма Войновича Секретариату: начало, середину и конец.

«Я не приду на ваше заседание, потому что оно будет происходить при закрытых дверях, втайне от общественности, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участия не желаю.

Нам не о чем говорить, не о чем спорить, потому что я выражаю свое мнение, а вы – какое прикажут».

«…Вы – союз единомышленников… Один ограбил партийную кассу, другой продал казенную дачу, третий положил кооперативные деньги на личную сберкнижку… За двенадцать лет своего пребывания в Союзе я не помню, чтобы хоть один такой был исключен.

Но стоит сказать честное слово (а иной раз просто промолчать, когда все орут), и тут же следует наказание по всем линиям: набор книги, над которой ты работал несколько лет, раскидают; пьесу запретят; фильм по твоему сценарию положат на полку. А за этим настанет

вполне прозаическое безденежье. И вот ты год не получаешь ни копейки, два не получаешь ни копейки, залез в долги, все, что мог, с себя продал, и, когда дойдет до самого края и если ты за эти два года слова неосторожного не сказал, к тебе, может быть, снизойдут и подарят двести-триста рублей из Литфонда, чтобы потом всю жизнь попрекать…»

«…Я работаю не меньше вас и не хуже вас. У меня есть читатели и зрители. Не стойте между ними и мной, и я в вашей помощи нуждаться не буду».

«…Ложь – ваше оружие. Вы оболгали и помогли вытолкать из страны величайшего ее гражданина. Вы думаете, что теперь вам скопом удастся занять его место. Ошибаетесь! Места в великой русской литературе распределяются пока что не вами. И ни одному из вас не удастся пристроиться хотя бы в самом последнем ряду».

Я сомневаюсь, чтобы это письмо на Секретариате было прочитано вслух. Но не сомневаюсь, что Владимир Войнович из Союза единомышленников был исключен единогласно.

18 марта 1977 года, следующим после Владимира Войновича, исключили Владимира Корнилова. В ответ на вызов он точно к назначенному времени явился в комнату номер 8, видевшую уже столько расправ. И вероятно, процедура эта и на сей раз прошла бы в том же прекрасно отработанном и давно окостенелом порядке (двурушник, жалкая фигура, предатель, продался), Корнилова закидали бы тою же, гладко обкатанной, бранью, если бы… если бы в промежутке между исключениями Владимира Николаевича Войновича и Владимира Николаевича Корнилова не произошло событие, потребовавшее свежих слов.

Убили Богатырева.

7

До сих пор я говорила о духовных убийствах. Теперь расскажу об убийстве прямом: о физическом уничтожении.

25 апреля 1976 года, в половине девятого вечера, Константин Петрович Богатырев, знаток русской и германской поэзии, талантливый поэт-переводчик, отдавший последнее десятилетие жизни переводам Райнера Марии Рильке, друг и горячий почитатель Бориса Пастернака и Генриха Бёлля, поэт-переводчик, удостоенный рекомендации в Союз Анной Ахматовой, – ранним апрельским вечером 1976 года Константин Петрович Богатырев возвращался из ближайшего магазина к себе домой, в один из многоэтажных корпусов писательского дома на Красноармейской. В руках у него была сумка с бутылкой сухого вина и каким-то печеньем. Не успел он сделать и двух шагов от двери лифта к дверям своей квартиры, как упал на пол, обливаясь кровью, с проломленной головой. Услышав крик, соседи внесли Константина Петровича в квартиру и вызвали «скорую помощь». «Скорая» доставила Богатырева в больницу. После пятидесяти двух суток тяжелых страданий Константин Петрович скончался.

В газетах ни о нападении на Богатырева, ни о смерти известий не последовало: у нас не принято сообщать об убийствах, если они случаются в Советском Союзе, а не в Штатах. Сообщать о смерти писателя и выражать соболезнование семье и друзьям покойного – принято. «Секретариат Московского отделения Союза писателей с глубоким прискорбием сообщает о смерти…» В эпитете перед словом «смерть» возможны варианты: безвременной, скоропостижной; возможно также: «после продолжительной и тяжелой болезни – имярек – скончался», и уж непременно: Секретариат «выражает глубокое соболезнование семье и друзьям покойного». Вот обычная формула в тех случаях, когда умирает писатель, член Союза. (Или даже, как мы видели, не Союза, а Литфонда – всего лишь.)

О смерти Богатырева, в нарушение обычая, «Литературная газета» нас не известила и никакого соболезнования никому – ни матери, ни жене, ни сыну, ни многочисленным друзьям – не выразила.

Эка беда! Не все ли равно? Ведь извещением убитого не воскресишь, а соболезнованием родных и друзей не утешишь. Но невольно задумываешься о причине молчания. Думается, причина та, что трудно составить подходящий к случаю текст. В самом деле, как быть? Секретариат «извещает о *смерти*... имярек… *последовавшей после тяжелой болезни»*? Не годится: два удара по черепу – это, как-никак, не болезнь. Написать «последовавшей после удара по черепу» нельзя, это значит – известить об убийстве. У нас убийств не бывает. (Конечно, случаются уголовные преступления: например, тот, кто собирает неугодные властям стихи, да еще комментирует их, тот – уголовник.) Как же, спрашивается, быть? Любимый выход – загнать случившееся в небытие, в немоту. И «Литературная газета» промолчала.

Однако замалчивание злодейства, как показывает опыт, никогда до добра не доводит. Оно доводит до самозародившихся или нарочно посеянных слухов. С того апрельского дня 1976 года, когда Константин Петрович, выйдя из лифта, упал в двух шагах от своей двери, мы нигде не прочли:

«В поле зрения КГБ (милиции? прокуратуры? уголовного розыска?) убийца писателя Богатырева, гражданин такой-то, попал в 1975 году, когда он…»

Выследить преступника, обнаружить и задержать его, доказать его вину и осудить за содеянное преступление – это, видимо, гораздо труднее, чем отправить в тюрьму молодого литератора, написавшего к каким бы то ни было стихам какое бы то ни было предисловие.

Розыски начались сразу. Работники следственных органов беседовали с родными, друзьями, знакомыми, соседями Константина Богатырева, с его первой и второй женой, с его сыном, с его матерью, стараясь выяснить, какова была подоплека убийства, основа для нападения. (Ограблен он не был, да и грабить у него было нечего; пьян тоже не был.) Допрашивали в больнице и пострадавшего, в те короткие минуты, когда сознание – или полусознание – возвращалось к нему. Убийц (или убийцу) он не видел, удары по голове были нанесены сзади.

К какому заключению пришло или на чем споткнулось и остановилось следствие?

«Гласность, честная и полная гласность»! А мы до сих пор, вплоть до февраля 1978 года, когда я пишу эти строки, не прочли ни в одной газете, не услыхали ни на одном собрании протокол, который начинался бы знаменательными словами:

«В ходе следствия установлено…»

Ведется ли следствие или прекращено? Что удалось установить «в ходе»? Неизвестно. Ни бывшим, ни теперешним членам Союза.

Когда гласности нет – люди питаются слухами. Самозарождающимися или распространяемыми злонамеренно.

Например, такими.

Лето 1976-го. Выйдя однажды за ворота своего сада, встречаю на главной аллее в Переделкине пожилую даму, переводчицу. Я ее не помню. Она говорит, что бывала когда-то по переводческим делам у Корнея Ивановича. Возможно. Кто только у него не бывал! Идем вместе. Теперь она приехала навестить кого-то из своих друзей в Доме творчества. Не зная, с кем говорю, – говорю о погоде. Лето нынче позднее, вишни еще не расцвели, а обычно в эту пору они уже отцветают… Внезапно моя спутница делает большие глаза и понижает голос:

– Вы слышали… Богатырев безнадежен… Сначала ему стало лучше… Откуда-то из Германии достали лекарство… Знаете, ведь он всегда был окружен иностранцами… Они и позаботились… Сначала ему сделалось лучше, а теперь – хуже… Вы слышали?

– Да, – говорю, – слыхала. Костя при смерти. Когда случилось несчастье, Лев Зиновьевич Копелев срочно дал знать Генриху Беллю, а тот срочно, самолетом, прислал сюда лекарство. Они ведь были друзьями: Бёлль и Богатырев. И Копелев… Ведь Богатырев германист. Бёлль с ним дружил, бывал у него, они переписывались.

– Да… Богатырев вечно был окружен иностранцами… Но, говорят, лекарство не помогло, он безнадежен… А вы слышали ли… (взгляд вокруг и полушепотом), вы слышали, теперь уже известно, кто его убил. Вы слыхали?

Я останавливаюсь. Она тоже.

– Нет, – говорю, – не слыхала. Значит, милиция напала-таки на след? Наконец-то?

– Его убили… сахаровцы.

– Кто-о?

– Сахаровцы… ну, знаете, те, кто поддерживает этого… академика.

– Да что вы за чушь порете! – говорю я, скорее удивленная, чем рассерженная. – Какая чушь! Академик Сахаров – и убийство. (В эту минуту я вижу ясно лицо Андрея Дмитриевича, глаза и крупный рот, слышу медленный голос, и мое первое желание – не прикрикнуть на свою собеседницу, а рассмеяться.) Вы что же, никогда не слыхали, что Сахаров – убежденный враг насилия? Как Мартин Лютер Кинг, как Ганди?.. Да и зачем ему убивать Богатырева? Они были в прекрасных отношениях… Что за чушь!

– А затем, – назидательно разъясняет мне дама, – затем убили, чтобы свалить на КГБ.

«Вы дура! – хочется мне закричать. – Вы несчастная, темная, оболваненная дура». Чтоб не сорвались эти грубые слова с моих губ, я поворачиваюсь и, не простившись, иду по аллее обратно. О, какое это любимое и несчастное место – это Переделкино! Ни поле, ни река, ни благоухание сирени, ни сосны – ничто не спасает здесь от злобы и глупости. Стоит только выйти из сада на дорогу – и уж непременно встретишься со зловонною ложью. «Иль в Булгарина наступишь…»

Чтобы унять сердцебиение, я начинаю думать о Сахарове. Не о его подвиге, не о судьбе, не о сути. А – «так». О его покое. Почему от него всегда исходит покой? Потому ли, что он всегда, даже на людях – один?

В речи Сахарова есть сдержанность, некая суховатость, сродни академической. И при этом нечто чуть старинное, народное, старомосковское. Он произносит: «удивилися», «испугалися», «раздевайтеся»… Говорит он замедленно, чуть сбиваясь в поисках точного слова. Перебивать Сахарова легко: каждый из нас говорит быстрее, чем он; но, пожалуй, не следует: перебивая, остаешься в проигрыше. Сахаров легко уступает нить беседы тебе, а сам, затихнув, углубляется в молчание. В мысль. Ахматова, и участвуя в общей беседе, случалось, слагала стихи. О чем бы ни велась беседа вокруг, Сахаров, кажется мне, думает что-то свое. Решает ли он в уме в это время задачи? математические, нравственные, философские? Не знаю. Но он и в шуме наедине со своей спокойной работой.

Я уже почти подошла к калитке.

Каждый раз, взглянув на Андрея Дмитриевича, удивляешься заново, что одна из главных профессий этого молчаливого человека: во весь голос говорить с целым миром. Свойственнее же ему – молчать и думать. Иногда кажется, что он, и присутствуя, отсутствует.

И вдруг, уже подойдя к своей калитке, я поняла, что я-то оборвала разговор, который обязана была продолжить. Имя! Имя сочинителя клеветы!

Я спешу обратно. Я должна нагнать эту клеветоносительницу раньше, чем она успеет скрыться за воротами Дома творчества!

(С того дня, как меня исключили из Союза, нога моя туда не ступает.)

Я успела.

– Кто вам это сказал? – кричу я, хватая даму за руку. – Сию минуту назовите мне имя!

Она не теряется.

– Я не обязана вам отвечать. Вы не следователь, а я, слава богу, не какая-нибудь арестантка. Уберите руку. Сказало одно лицо… мне передал муж… одно оч-чень, оч-чень осведомленное лицо из руководства Союза писателей.

18 июня 1976 года, через несколько дней после этого памятного мне разговора, Константин Богатырев скончался.

18 июня 1976 года два ближайших друга Богатырева, два Владимира Николаевича, Корнилов и Войнович, взявшись за руки, идут по двору писательского дома. Навстречу им Яков Абрамович Козловский, сосед по дому, не с лучшей стороны обрисованный Войновичем в «Иванькиаде».

– Яша, Костя умер, – говорит Корнилов.

– Ах, умер? – кричит Козловский. – Радуйтесь – умер! Вы же его и убили!

Войнович ответил не словами. Корнилов растащил их.

(Козловский еще попомнит эту встречу им обоим – и Корнилову и Войновичу, когда настанет день исключения Корнилова из Союза.)

Но пока что настает день похорон Константина Богатырева.

Переделкино. Опять Переделкино! Та же кладбищенская гора, увенчанная соснами над могилой Пастернака. Но как с тех пор – с 1960 года! – она горестно обогатилась могилами. На этом кладбище я знаю наизусть все надписи на крестах и надгробьях, все тропы, по которым спускаюсь зимою и летом. Иногда мне кажется, что я знаю даже тропы, проложенные над этим кладбищем вершинами сосен на небе.

Могилы спустились на горе вниз уже почти до самой Сетуни. Кладбище переполнено и считается закрытым. Но любимейшим русским поэтом Кости Богатырева, любимейшим из любимейших был Борис Пастернак. Где же и покоиться Богатыреву, как не на пастернаковском кладбище?

Друзья и родные выпросили, вымолили разрешение похоронить его там, у подножия горы.

Яма, как новая черная рана, чернеет у спуска к Сетуни.

Сколько народу собралось. Костю отпевают в переделкинской церкви и гроб несут на руках вниз, вниз, к черной яме неподалеку от реки.

Мне кажется, за гробом идет все население писательских московских домов и все население переделкинского Дома творчества и писательских дач. Богатырева любили. Вот-вот должна выйти книга его переводов: стихи Рильке, которого учителем своим почитал Пастернак…[72] В толпе провожающих узнаю также академика Андрея Дмитриевича Сахарова. А вот из начальства что-то никого не видать. Оно и лучше: нет официальных речей, все говорят по-домашнему, ласково, просто. Я стою у самого гроба. Костино черное, изнутри запекшееся кровью лицо; в тяжело сложенных руках – молитва; венчик на исстрадавшемся лбу. Вслушиваюсь в голоса говорящих. Все говорят с любовью, даже с нежностью. В особенности Айги, чувашский поэт, чью поэзию проповедовал Костя. Ни в одной речи не проскользнуло ни одной риторической, пустой, равнодушной или казенной фразы, ни одного пышного слова. Каждое слово – от сердца. Да, Богатырева любили. Говорят о его преданности литературе: русской и германской. Говорят о Костиной независимости, о его таланте, уме. И такой конец! Скоро будет опубликована книга, в которую им вложено было столько труда и таланта, но он уже не возьмет ее в руки.

Один Войнович печаль одолел гневом и, скорбя об утрате, гневом ответил на оскорбление, нанесенное ему и друзьям.

Говорил он решительно, энергически, твердо, даже вызывающе.

– Убийство Богатырева, – сказал он, – это еще одна попытка запугать интеллигенцию. При Сталине Богатырев был приговорен к смертной казни. Высшую меру наказания заменили ему двадцатью пятью годами. Сталин умер – и Богатырев просидел только пять.

---

[72] *Райнер Мария Рильке*. Новые стихотворения / Издание подготовили К. П. Богатырев, Г. И. Ратгауз, Н. И. Балашов. М.: Наука, 1977.

Недавно мы, друзья его, праздновали вместе с ним окончание того, предполагаемого двадцатипятилетнего срока. Но приведенным в исполнение оказался первый приговор: к смерти. Костю убили. Мы узнаём эту руку, этот почерк знаком нам…

…Речи кончились. Началось прощание. Родные и друзья по очереди склоняются над черным лицом.

Крошечная девяностолетняя Костина мать. (Зачем дожила она до этого часа?) Высокий юноша – тоже, как и отец, Костя, – в отличие от отца именуемый «маленький Костя», хотя редко встречаются юноши такого непомерно высокого роста.

Сегодня «маленький Костя» хоронит отца, завтра у него экзамен на аттестат зрелости.

Прощание. Вереница прощающихся. Яма. Поблескиванье, позваниванье лопат. Комья земли. Нет более Костиного лица. Округлый холм живых цветов. Здесь, на этом месте, когда-нибудь поднимется плита со стихами великого германского поэта, звучащими по-русски.

Я благодарна Войновичу за слово «мы». «Мы узнаём»… «Мы помним»… Верно или нет высказанное им предположение, но слова «мы», «нам» – дорогие слова. Может быть, и правда – интеллигенция еще существует? Не вся вымерла, не вся посажена, не вся в отъезде? Я оглянулась кругом. «Нас» много. Костя был рожденный литератор, он литературой дышал, и сколько литераторов с любовью пришли проводить его. Но когда толпа, истомленная жарой, редея, разбиваясь на ручейки, медленно потекла от могилы к шоссе (кто искать машину, кто к себе на дачу, кто на станцию) – стало видно, что «не нас» тоже много.

Мы медленно идем по освещенному солнцем краю косогора к шоссе. Справа, внизу, река Сетунь. Слева – кладбищенская гора, увенчанная соснами над могилой Пастернака. Между горой и рекой почти уже нету места: ограды, ограды, кресты, надгробья, плиты, памятники. Привалясь жирными спинами к оградам, руки в карманы, в цветных рубахах стоят пустоглазые парни. Им скучно. У них сонные лица. Все, что надо, они уже выслушали, высмотрели, они готовы к докладу, и до смерти охота в пивную, они, позевывая, привалились к оградам. Не было бы оград – без стеснения привалились бы к крестам, к надгробиям. Жара. Стоять тяжело; они полулежат на оградах.

Медленно, поределой толпой идем мы к шоссе. И вдруг позади меня ясный женский голос:

– Вот – поглядите на них! Они и убили.

У, как быстро распрямились и отклеились от оград жирные спины, как лихо завертелись шеи, как выбросились из карманов кулаки!

«Кто сказал?»

– А кто сказал?

Я не знаю, кто сказал. Я не знаю, кто убил. Но я знаю: до тех пор, пока убийство Богатырева не будет расследовано, раскрыто и предано гласности, – каждый день будут возникать новые версии. Сделать так, чтоб люди не думали, не размышляли, не высказывали свои предположения – на ухо друг другу или вслух перед толпой, – невозможно. И я тоже хочу поделиться с читателем открыто, вслух, вот какой небогатой идеей. Михаил Хейфец, написавший предисловие к «ущербным» стихам Иосифа Бродского (даже КГБ не называет их антисоветскими), – Михаил Хейфец был обнаружен, схвачен и приговорен к четырем годам лагеря и двум годам ссылки с необычайным проворством. Соответствующие органы предупредили страшное преступление: подумать только, если бы они вовремя не выследили преступника – ущербные стихи, чего доброго, дошли бы до читателя. Но благодаря их бдительности и проворству Михаил Хейфец на основании соответствующей статьи Уголовного кодекса четвертый год сидит в тюрьме. Почему же проявлена такая медлительность, когда дело идет о настоящей уголовщине, об убийстве? Почему третий год мы ждем, ждем и ни единого звука не слышим о ходе следствия? Не наносит ли такое положение вещей настоя-

щий ущерб нашему обществу: литератор за решеткой, а неведомый убийца – на воле? Не лучше ли наоборот?

Кто убил Богатырева?

Недавно выяснилось, что его вообще не убивал никто.

Как это – никто? Значит – Костя жив? Кого же мы хоронили? Может быть, приснились мне эти похороны?

Со дня похорон Богатырева (20 июня 1976) и ко дню исключения из Союза писателей Владимира Корнилова (18 марта 1977) возникла новая версия: Богатырева никто не убивал. Это и была та новость, которая овеяла свежестью очередное мероприятие в комнате номер 8. Что ж! Через несколько лет мы, быть может, узнаем, что никакого Константина Петровича Богатырева никогда и на свете не было, а те, кто осмелится утверждать, что он все-таки был, продались заокеанским хозяевам и занимаются фабрикацией антисоветских фальшивок.

8

Действующие лица: председатель – Ф. Кузнецов, члены Секретариата – Алексеев, Амлинский, Грибачев, Кобенко, Козлов, Козловский, Колесников, Куняев, Львов, Медников, Михайлов, Наровчатов, Прилежаева, Проскурин, Разумневич, Рекемчук, Самсония.

Исключаемый: Владимир Корнилов.

Место действия: Центральный Дом литераторов, комната номер 8. Время действия: 18 марта 1977 года.

Исключают Корнилова за то же, за что исключали всех, начиная с Пастернака: придя в отчаянье от невозможности вслух выговаривать свои мысли и чувства на родине, у себя дома, он начал публиковать повести, романы, стихи за границей. Это раз, это первая, главная, никому не прощаемая вина. Главная мука, на которую обрекают писателя. Задавись, умри, но не печатайся на Западе!.. Но укажите нам другую дорогу к родному читателю – не через Запад, а прямо! – и мы пойдем по ней! В 1974 году на Западе была опубликована повесть Корнилова «Девочки и дамочки». Она была когда-то, еще при Твардовском, принята к печати в «Новом мире», набрана, но прирезана цензурой. Это повесть о женщинах, рывших противотанковые рвы под Москвой в 41-м году. О неказистой и беспомощной гибели, в которой победа. Затем, снова не у нас, а на Западе, Корнилов опубликовал роман «Демобилизация»; техник-лейтенант, уже отслуживший немало, хочет вырваться из казармы – куда-то – он еще и сам не знает куда! но к живой человеческой жизни. Роман этот, на мой взгляд, следовало бы озаглавить «Мобилизация»; люди, падая, валясь на четыре ноги, снова поднимаются на две, и снова падают, и снова встают, и даже, случается, заставляют себя распрямляться. Это роман о духовной мобилизации.

На первый, поверхностный, взгляд проза Корнилова завалена – даже захламлена! – бытом. А глянешь глубже, поймешь: сквозь быт он ведет своих героев к бытию. От приниженности и даже скотства – к человеческому достоинству и чистоте. К человеческой любви – от той, что лишена человечности.

Роман появился за рубежом. А затем – в 1975 году, в № 5 журнала «Континент», появились и новые стихи Корнилова. Уж такие, уж такие «ущербные»: о расстреле Гумилева, например[73].

Кроме печатания на Западе вторая провинность Корнилова: заступничество. Он открыто, вслух не раз и не два заступался за преследуемых литераторов и нелитераторов.

---

[73] Теперь стихотворение В. Корнилова о расстреле Гумилева напечатано дома. См.: Новый мир, 1988, № 8, с. 161. – *Примеч. 1988 года.*

Самосуд начался. Разумеется, выяснилось быстро, что Корнилов – предатель, двурушник, продался заграничным хозяевам за деньги и не соображает, глупец, что по миновании надобности хозяева выжмут его, как лимон, и выбросят. Главный двигатель всех его поступков – не трагедия писателя, которого насильно разлучают с читателем, а тщеславие. Впрочем, пересказывать все перипетии самосуда я не стану: изобретательности никакой. Приведу немногое.

Наровчатов и **Михайлов** признаются, что когда-то находили стихи Корнилова свежими. Они не предвидели, как низко он впоследствии падет, и, грешным делом, хвалили его в печати.

Но уж при исключении – не до похвал.

Куняев: Я знаю Корнилова давно. Уже в его ранней поэме проявлялись сионистские тенденции. В нем самом я всегда замечал непомерное тщеславие. Ему хотелось прославиться. Он поднял руку на Советскую власть.

Грибачев, **Наровчатов** и **Амлинский** отметили, что Корнилов явно жаждет исключения из Союза и что сегодня происходит не исключение, а самоисключение.

Корнилов этого не опровергает.

Грибачев пророчествует, что близок день, когда Корнилов так же продаст своих нынешних заокеанских хозяев, как сейчас продал Советскую власть за тамошние заокеанские миллионы.

Рекемчук возмущен романом «Демобилизация».

– Это ужасный роман. Корнилов оскорбляет Советскую Армию. Я знаю, по чьему заданию написан роман. По заданию Солженицына!

(Солженицын, со дня своего отсутствия, неизменно присутствует при любом исключении.)

Медников: Мы все говорим об антисоветчине. Это неверно. Говоря о Корнилове, следует говорить об антикоммунизме.

Козлов: Мы слишком добры и долготерпеливы.

(Читатель! При исключении Пастернака чуть не хором раскаивались все в своей излишней долготерпеливости. При моем исключении тоже скорбели о своем затянувшемся милосердии. Исключают писателей разных, а мелют одно.)

…Женственное начало на этот раз представлено Марией Павловной Прилежаевой. Она сразу заявляет, что никогда не читала ни единой строчки Корнилова и вообще, идя на Секретариат, ведать не ведала, кого будут исключать.

Прилежаева: Сколько вам лет, чем занимаются ваши родители, есть ли у вас дети, женаты ли вы, на какие средства живете?

Корнилов: На эти вопросы я отвечать не стану. Это вопросы следственные, полицейские… Я-то ведь не спрашиваю вас, сколько вам лет.

Кузнецов: Вы, Владимир Николаевич, когда мы исключили Чуковскую, в своем письме в Секретариат обвиняли нас в грубости. А теперь сами грубы.

Корнилов: Ладно, скажу. Родился в Днепропетровске в 1928 году, женат, у меня есть дети, а родители мои пенсионеры.

Прилежаева: На какие деньги вы живете?

Корнилов: На заработанные.

Тут М. П. Прилежаева смолкла. Но изредка на заседании среди мужских речей раздавались ее женственные возгласы: – Ах, это ужасно, ужасно! Ведь у него есть дети! Они ходят в школу, они несут туда антисоветскую заразу. Что же будет с его детьми. Мы обязаны подумать о его детях! Если дети не верят ему – они проклянут своего отца! Это трагедия! Если же они воспримут его антисоветскую пропаганду – это тоже ужасно! Они будут ее распространять. Товарищи, мы обязаны подумать о детях.

Прерываемое материнскими воплями, заседание, однако, продолжалось.

Мих. Алексеев: Я хочу вас спросить, где вы были в 41-м году? Где был ваш отец?

Корнилов: Мне в 41-м году было тринадцать лет. Я был в эвакуации, в Сибири. А мой отец на фронте.

Мих. Алексеев: А я в это время был комроты… Я кровь свою проливал под Сталинградом! И вот какого поганца и мерзавца мы вырастили.

Разумневич: К нам давно ходят писатели и спрашивают, почему до сих пор не исключен Корнилов.

Корнилов: Назовите, кто к вам приходил и требовал моего исключения. Назовите имена.

Разумневич: Многие…

Корнилов: Назовите хоть одно имя!

Разумневич: Многие требуют. Например, вот тут сидит один мой друг… До чего эти диссиденты дошли! Они дерутся между собою, оспаривая первенство: кто первый начал порочить Советскую власть. А сами избивают детей. Вот до чего дошло!

Корнилов: Кто – избивает детей? Кто бьет детей? Назовите имя!..

Молчание.

– Вы лжете. Никто детей не избивает. А вот Богатырева убили, убили нашего товарища, писателя, члена Союза писателей. А ваш Союз палец о палец не ударил, чтобы вступиться и требовать раскрытия убийства.

Тут поднялся вой, вопль, визг.

Хор: Опять о Богатыреве! Что они все время о Богатыреве! Корнилов намекает, что Богатырева убил КГБ или Союз писателей. *А Богатырева вообще не убивали.*

(Читатель! Вот это и есть самая оглушительная новость, объявленная при исключении Корнилова. Предсказываю следующий этап: никакой Богатырев никогда и не жил на белом свете.)

Корнилов: Ваш секретарь Верченко сказал, что дело об убийстве Богатырева будет расследовано и убийцы наказаны строжайше.

А теперь вы говорите – не убивали?

Богатырева убили, а Союз писателей ничего не сделал, чтобы побудить власти найти убийц.

Тут и встал Козловский. Самое время свести счеты с Корниловым и Войновичем.

Козловский: Он говорил, он говорил про КГБ. Корнилов что, а вот Войнович! Это Войнович, мерзавец, его вовлек. Войнович и меня в своей «Иванькиаде» грязью облил. Он там и Турганова грязью облил. Он написал, будто Турганов до войны в Киеве восемнадцать переводчиков доносами посадил, а в Киеве до войны не было восемнадцати переводчиков. Войновича надо привлечь за клевету. А Турганов замечательный человек. А Корнилов говорил про КГБ.

Грибачев (*радостно*): Найдется еще один свидетель – и Корнилова можно будет привлечь к ответственности! и он получит не менее пяти лет…

Корнилов, когда ему предоставили слово, сказал:

– Если Союз писателей творческая организация, то состоять в ней я считаю возможным. Потому что я писатель. Принадлежность к Союзу не должна лишать меня права иметь свое собственное мнение и его открыто высказывать: права писать, о чем я хочу, и печатать, где хочу. Но если вы полагаете, что член Союза не имеет права на свое собственное мнение…

Хор: Советский писатель, советский писатель, не просто писатель, а советский…

Корнилов: Если вы полагаете, что член Союза не имеет права на собственное мнение, то в этом Союзе я состоять не могу.

С детского сада и до Союза писателей я никогда не был начальником. Я никогда не брал на себя право решать судьбу других людей. Но как писатель я не мог не бороться с несправедливостью. Я вам должен напомнить, что в истории русской литературы существуют две традиции: традиция писательского гуманизма и традиция аппаратно-чиновничьего вмешательства в литературу и в конце концов удушения ее. Очевидно, мы наследовали с вами разные традиции… Я одну, вы другую.

Крики: Он говорит прямо на «Голоса»… Вы говорите прямо на враждебные радиостанции…

Корнилов (*разрывая в клочки свой блокнот*): Я мог сюда не прийти. Но я сюда пришел. Я знал, что вы будете нарочно себя распалять, чтобы в конце концов сказать то, что вам велено. Но все-таки я сюда пришел. Пришел потому, что писатель не имеет права отказываться ни от какого жизненного материала, тем более от того, который сам плывет к нему в руки.

Вы любите нас учить, что надо окунаться в жизнь, ездить в творческие командировки?

Прекрасно.

Я никогда никаких творческих командировок не брал и считаю и вас прошу считать, что мой приход сюда, к вам, взглянуть на вас – это и есть моя первая и моя последняя творческая командировка.

…Следующим после Владимира Корнилова, 24 марта 1977 года, исключали из Союза писателей Льва Копелева.

В отличие от Владимира Николаевича, Лев Зиновьевич не воспользовался предоставленной ему командировкой в комнату номер 8. У Копелева за плечами арест во время войны, лагерь, шарашка; и пересмотр дела, и два суда, и гражданская реабилитация; и восстановление в партии, и новое исключение из партии… Прибавлять к накопленному опыту лицо Грибачева, голос Медникова, мысли Самсонии или Разумневича он не испытал потребности. На них и на им подобных – в армии, в тюрьме, на лагпунктах – он нагляделся вдоволь.

Лев Копелев отправил в Секретариат письмо. Приведу отрывки:

«Я не сомневаюсь в исходе вашего заседания и даже могу ясно представить себе, что именно будут говорить ораторы».

«Ритуал моего исключения призван лишь оформить фактическое отстранение от литературной работы, которому я подвергаюсь почти десять лет».

«Зачем нужны административные расправы с литераторами?»

«Неужели зачинщики этих расправ настолько оскудели памятью и воображением, что хотят заново разыгрывать старые трагедии, и не сознают, как сами при этом оказываются персонажами бездарных фарсов?»

(Не сознают, Лев Зиновьевич, не сознают. У бюрократии, как у всякого мещанства, памяти нет. Память – орудие преемственности, орудие духовной культуры. Они же вне культуры. Они посторонние. Союз писателей давно пора переименовать в Союз посторонних.)

Следующим после Льва Копелева исключили…

Впрочем, нет.

Эту грустную книгу о попытках вгонять писателей в небытие, исключать из литературы, из читательского сознания и памяти я хочу окончить победно и радостно. Нет, не только глубоким моим убеждением, что чем упорнее заталкивают писателя в несуществование, тем громче звучит его голос, тем вернее он побеждает. Я хочу закончить эту грустную книгу радостным известием об исключении из Союза писателей – кого бы вы думали? Когонибудь из нас? Нет. Об исключении Союза писателей из литературы. Известием об исключении всех этих секретариатов и правлений.

Георгий Владимов, автор повести «Большая руда», некогда напечатанной в «Новом мире», и романа «Три минуты молчания», тоже впервые напечатанного в «Новом мире»,

автор письма IV съезду писателей (одного из самых сильных писем, прозвучавших в защиту Солженицына, – и в тысячах экземпляров размноженного Самиздатом), автор повести «Верный Руслан», опубликованной за границей, член Союза писателей за номером 1471, – писатель Георгий Владимов сам сорвал с себя номер[74].

Привожу два отрывка из письма Георгия Владимова в Правление Союза писателей СССР:

> «…Как заведомо отвергаются проекты вечного двигателя, так должно отбросить все попытки руководить литературным процессом. Литературой управлять нельзя. Но можно помочь писателю в его труднейшей задаче, а можно и повредить. Могучий наш союз неизменно предпочитал второе, бывши – и оставаясь – полицейским аппаратом, вознёсшимся высоко над писателями и из которого раздаются хриплые понукания и угрозы – и если б только они!
>
> Не стану зачитывать присталинский список – кому союз, вернейший проводник злой воли властей предержащих, да со своей еще ревностной инициативой, первоначально *оформил дела*, обрек на мучения и гибель, на угасание в десятилетиях несвободы, – слишком длинен, более шестисот имен, – и вы оправдаетесь: это ошибки прежнего руководства. Но при каком руководстве – прежнем, нынешнем, промежуточном – «поздравляли» с премией Пастернака, ссылали – как тунеядца – Бродского, зашвыривали в лагерный барак Синявского и Даниэля, выжигали треклятого Солженицына, рвали из рук Твардовского журнал?
>
> И вот, еще не просохли хельсинские чернила, новые кары – изгон моих коллег по международному ПЕН-клубу. Да что нам какой-то там ПЕН, когда уж мы двух нобелевских лауреатов высвистели! И как не воскликнуть словами третьего: «Лучших сынов Тихого Дона поклали вы в эту яму!»
>
> Ну, может быть, хватит? Опомнимся? Ужаснемся?»

Далее Георгий Владимов говорит о Фадееве, который опомнился, ужаснулся и пустил себе пулю в лоб.

Но эта пуля никого не вразумила.

Он продолжает:

> «Вот предел необратимости: когда судьбами писателей, чьи книги покупаются и читаются, распоряжаются писатели, чьи книги не покупаются и не читаются.
>
> Унылая серость с хорошо разработанным инструментом словоблудия, затопляющая ваши правления, секретариаты, комиссии, лишена чувства истории, ей ведома лишь жажда немедленного насыщения. А эта жажда – неутолима и неукротима.
>
> Оставаясь на этой земле, я в то же время не желаю быть с вами. Уже не за себя одного, но и за всех, вами исключенных, «оформленных» к уничтожению, к забвению, пусть не уполномочивших меня, но, думаю, не ставших бы возражать, я *исключаю вас из своей жизни*. Горстке прекрасных, талантливых людей, чье пребывание в вашем союзе кажется мне случайным и вынужденным, я приношу сегодня извинения за свой уход. Но завтра и они поймут, что колокол звонит по каждому из нас и каждым этот звон

[74] Повесть «Верный Руслан» опубликована в Советском Союзе в 1989 году в журнале «Знамя», № 2; письмо IV съезду писателей – в журнале «Смена», 1989, № 22.

заслужен: каждый был гонителем, когда изгоняли товарища, – пускай мы не наносили удара, но поддерживали вас – своими именами, авторитетом, своим молчаливым присутствием.

Несите бремя серых, делайте, к чему пригодны и призваны, – давите, преследуйте, не пущайте. Но – без меня.

Билет № 1471 возвращаю.

Георгий Владимов
Москва, 10 октября 1977 г.».

«Я исключаю вас из своей жизни», – говорит Георгий Владимов руководству Союза писателей и без укора, без негодования и злобы зовет каждого литератора сделать то же. Оставаясь при этом в родном доме. На родной земле[75].

…Чем же должен кончиться «процесс исключения»? Исключением Союза писателей. Здесь, на нашей земле, это воистину Союз посторонних. Но произойдет это желанное исключение только тогда, когда *каждый* сам пожелает исключить Союз из своей жизни. Когда каждый писатель поймет, что держаться ему не за членский билет, а за братскую руку. Работать ему не для Союза писателей и не для его органов печати – рупоров лжи, – а работать в литературе во имя спасения обманутых.

Читатель найдет нас, прочтет, поймет, услышит – мы остаемся верны ему только тогда, когда остаемся верны себе.

«Совершим с твердостью наш жизненный подвиг, – писал Баратынский Плетневу в 1831 году. – Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия, а главное из них – унылость».

Каждому его поручение известно. Для того же, чтобы исключить из своей жизни – и глубже: из своей души! – и шире: из литературы! – Союз писателей со всей его гноящейся, смрадной ложью, нам, исключенным, не требуется, к счастью, ни сговора, ни собраний, ни резолюций. Это акт нашей личной воли. Каждого из нас поодиночке и всех нас – вместе.

Перед каждым перо и бумага. У каждого есть брат – любящий, правдивый, строгий, смелый. Он не покинул нас и, если мы окажемся того достойны, – не покинет.

Забудем о залах Центрального Дома литераторов. Научимся видеть в темноте: братство – рядом.

Октябрь 1977 – февраль 1978,
Москва – Переделкино

[75] В 1983 году Георгий Владимов, после двух инфарктов, постоянной слежки и обысков, вынужден был вопреки своему прежнему призыву покинуть Советский Союз.

От автора

Эта книга писалась в разные годы. Первая ее часть, автобиографическая, написана в 1974 году, непосредственно после того, как меня исключили из Союза. Вторая часть («Глава дополнительная») писалась в 1977–1978 годах, и речь в ней идет уже не обо мне одной. Кончается книга открытым письмом Георгия Владимова, который сам отказался от членства в Союзе. Владимов объявил, что *исключает Союз писателей из своей жизни* и зовет других, оставаясь на родной земле, последовать его примеру.

Этот призыв – будет ли он услышан или нет – я считаю весьма знаменательным. Если он найдет себе отклик, тогда и начнется истинный, естественный очистительный «процесс исключения».

Л.Ч.

12 марта 1978

P. S. Книга эта была издана в Париже в 1979 году в издательстве «YMCA-Press». Очерк литературных нравов шестидесятых – семидесятых годов. Сегодня у нас январь 1989-го. Миновало десятилетие – и какое! Изменились ли литературные нравы? И да и нет. Конечно да: не могли они не измениться – с 1985 года во весь голос заголосила гласность, еле слышен шепоток цензуры. Однако нет: ведомство, именуемое Союзом писателей, сохранено во всей своей антилитературной, грубой, бюрократической мощи. А потому, на мой взгляд, страницы книги сохраняют и по сей день не один лишь исторический интерес.

Пусть читатель отнесется снисходительно к изобилию новых примечаний. Рассказ остался нетронутым, а фактические перемены, продиктованные временем, пришлось указывать под строкой.

P. P. S. Еще через месяц – в феврале 1989 года – меня официально уведомили, что партком и Секретариат Московского отделения СП РСФСР единогласно – столь же единогласно, сколь исключали! – отменил свое прежнее решение от 9 января 1974 года, и, таким образом, я снова являюсь членом Союза писателей.

Л.Ч.

Декабрь 1989

Открытые письма

В правление Ростовского отделения Союза писателей
В правление Союза писателей РСФСР
В правление Союза писателей СССР
В редакцию газеты «Правда»
В редакцию газеты «Известия»
В редакцию газеты «Молот»
В редакцию газеты «Литературная Россия»
В редакцию «Литературной газеты»

Михаилу Шолохову, автору «Тихого Дона»

Выступая на XXIII съезде партии, Вы, Михаил Александрович, поднялись на трибуну не как частное лицо, а как «представитель советской литературы».

Тем самым Вы дали право каждому литератору, в том числе и мне, произнести свое суждение о тех мыслях, которые были высказаны Вами будто бы от нашего общего имени.

Речь Вашу на съезде воистину можно назвать исторической.

За все многовековое существование русской культуры я не могу припомнить другого писателя, который, подобно Вам, публично выразил бы сожаление не о том, что вынесенный судьями приговор слишком суров, а о том, что он слишком мягок.

Но огорчил Вас не один лишь приговор: Вам пришлась не по душе самая судебная процедура, которой были подвергнуты писатели Даниэль и Синявский. Вы нашли ее слишком педантичной, слишком строго законной. Вам хотелось бы, чтобы судьи судили советских граждан, не стесняя себя кодексом, чтобы руководствовались они не законами, а «революционным правосознанием».

Этот призыв ошеломил меня, и я имею основание думать, не одну меня. Миллионами невинных жизней заплатил наш народ за сталинское попрание закона. Настойчивые попытки возвратиться к законности, к точному соблюдению духа и буквы советского законодательства, успешность этих попыток – самое драгоценное завоевание нашей страны, сделанное ею за последнее десятилетие. И именно это завоевание Вы хотите у народа отнять? Правда, в своей речи на съезде Вы поставили перед судьями в качестве образца не то сравнительно недавнее время, когда происходили массовые нарушения советских законов, а то, более далекое, когда и самый закон, самый кодекс еще не родился: «памятные двадцатые годы». Первый советский кодекс был введен в действие в 1922 году. Годы 1917–1922 памятны нам героизмом, величием, но законностью они не отличались, да и не могли отличаться: старый строй был разрушен, новый еще не окреп. Обычай, принятый тогда: судить на основе «правосознания», – был уместен и естественен в пору Гражданской войны, на другой день после революции, но он ничем не может быть оправдан накануне 50-летия Советской власти. Кому и для чего это нужно – возвращаться к «правосознанию», т. е., по сути дела, к инстинкту, когда выработан закон?

И кого в первую очередь мечтаете Вы осудить этим особо суровым, не опирающимся на статьи кодекса, судом, который осуществлялся в «памятные 20-е годы»? Прежде всего, литераторов…

Давно уже в своих статьях и публичных речах Вы, Михаил Александрович, имеете обыкновение отзываться о писателях с пренебрежением и грубой насмешкой. Но на этот раз Вы превзошли самого себя. Приговор двум интеллигентным людям, двум литераторам, не отличающимся крепким здоровьем, к пяти и семи годам заключения в лагерях со строгим режимом, для принудительного, непосильного физического труда – т. е., в сущности, приговор к болезни, а может быть, и к смерти, представляется Вам недостаточно суровым. Суд, который осудил бы их не по статьям Уголовного кодекса, без этих самых статей – побыстрее, попроще – избрал бы, полагаете Вы, более тяжкое наказание, и Вы были бы этому рады.

Вот ваши подлинные слова:

«Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием», ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! А тут, видите ли, еще рассуждают о «суровости приговора».

Да, Михаил Александрович, вместе со многими коммунистами Италии, Франции, Англии, Норвегии, Швеции, Дании (которых в своей речи Вы почему-то именуете «буржуаз-

ными защитниками» осужденных), вместе с левыми общественными организациями Запада я, советская писательница, рассуждаю, осмеливаюсь рассуждать о неуместной, ничем не оправданной суровости приговора. Вы в своей речи сказали, что Вам стыдно за тех, кто хлопотал о помиловании, предлагая взять осужденных на поруки. А мне, признаться, стыдно не за них, не за себя, а за Вас. Они просьбой своей продолжили славную традицию советской и досоветской русской литературы, а Вы своей речью навеки отлучили себя от этой традиции.

Именно в «памятные годы», т. е. с 1917 по 1922-й, когда бушевала гражданская война и судили по «правосознанию», Алексей Максимович Горький употреблял всю силу своего авторитета не только на то, чтобы спасать писателей от голода и холода, но и на то, чтобы выручать их из тюрем и ссылок. Десятки заступнических писем были написаны им, и многие литераторы вернулись благодаря ему к своим рабочим столам.

Традиция эта – традиция заступничества – существует в России не со вчерашнего дня, и наша интеллигенция вправе ею гордиться. Величайший из наших поэтов, Александр Пушкин, гордился тем, что «милость к падшим призывал». Чехов в письме к Суворину, который осмелился в своей газете чернить Золя, защищавшего Дрейфуса, объяснял ему: «Пусть Дрейфус виноват – и Золя все-таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание… Обвинителей, прокуроров… и без них много».

Дело писателей не преследовать, а вступаться…

Вот чему нас учит великая русская литература в лице лучших своих представителей. Вот какую традицию нарушили Вы, громко сожалея о том, будто приговор суда был недостаточно суров.

Вдумайтесь в значение русской литературы.

Книги, созданные великими русскими писателями, учили и учат людей не упрощенно, а глубоко и тонко, во всеоружии социального и психологического анализа, вникать в сложные причины человеческих ошибок, проступков, преступлений, вин. В этой проникновенности и кроется, главным образом, очеловечивающий смысл русской литературы.

Вспомните книгу Федора Достоевского о каторге – «Записки из Мертвого дома», книгу Льва Толстого о тюрьме – «Воскресение». Оба писателя страстно всматривались вглубь человеческих судеб, человеческих душ и социальных условий. Не для дополнительного осуждения осужденных совершил Чехов свою героическую поездку на Сахалин, и глубокой оказалась его книга. Вспомните, наконец, «Тихий Дон»: с какой осторожностью, с какой глубиной понимания огромных сдвигов, происходивших в стране, мельчайших движений потрясенной человеческой души относится автор к ошибкам, проступкам и даже преступлениям против революции, совершаемым его героями! От автора «Тихого Дона» удивительно было услышать грубо прямолинейный вопрос, превращающий сложную жизненную ситуацию в простую, элементарнейшую, – вопрос, с которым Вы обратились к делегатам Советской Армии: «Как бы они поступили, если бы в каком-нибудь подразделении появились предатели?» Это уже прямо призыв к военно-полевому суду в мирное время. Какой мог бы быть ответ воинов, кроме одного: расстреляли бы. Зачем, в самом деле, обдумывать, какую именно статью Уголовного кодекса нарушили Синявский и Даниэль, зачем пытаться представить себе, какие именно стороны нашей недавней социальной действительности подверглись сатирическому изображению в их книгах, какие события побудили их взяться за перо и какие свойства нашей теперешней современной действительности не позволили им напечатать свои книги дома? Зачем тут психологический и социальный анализ? К стенке! Расстрелять в двадцать четыре часа!

Слушая Вас, можно было вообразить, будто осужденные распространяли антисоветские листовки или прокламации, будто они передавали за границу не свою беллетристику, а, по крайней мере, план крепости или завода… Этой подменой сложных понятий простыми,

этой недостойной игрой словом «предательство», Вы, Михаил Александрович, еще раз изменили долгу писателя, чья обязанность – всегда и везде разъяснять, доводить до сознания каждого всю многосложность, противоречивость процессов, совершающихся в литературе и в истории, а не играть словами, злостно и намеренно упрощая и тем самым искажая случившееся.

Суд над писателями Синявским и Даниэлем по внешности совершался с соблюдением всех формальностей, требуемых законом. С Вашей точки зрения, в этом его недостаток, с моей – достоинство. И однако, я возражаю против приговора, вынесенного судом.

Почему?

Потому, что сама отдача под уголовный суд Синявского и Даниэля была противозаконной.

Потому, что книга – беллетристика, повесть, роман, рассказ – словом, литературное произведение, слабое или сильное, лживое или правдивое, талантливое или бездарное, есть явление общественной мысли и никакому суду, кроме общественного, литературного, ни уголовному, ни военно-полевому, не подлежит. Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно судить уголовным судом за любой проступок – только не за его книги. Литература уголовному суду неподсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря.

Вот это Вы и должны были заявить своим слушателям, если бы Вы в самом деле поднялись на трибуну как представитель советской литературы.

Но Вы держали речь как отступник ее. Ваша позорная речь не будет забыта историей.

А литература сама Вам отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит Вас к высшей мере наказания, существующей для художника, – к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, отечественные и международные премии не отвратят этот приговор от Вашей головы.

25 мая 1966 года

В газету «Известия»

Не казнь, но мысль. Но слово
(К 15-летию со дня смерти Сталина)

В наши дни один за другим следуют судебные процессы: под разными предлогами – открыто, прикрыто и полуприкрыто – судят слово, устное и письменное; судят книги, написанные дома и напечатанные за границей; судят журнал, напечатанный на родине, но не в типографии; судят сборник документов, изобличающих беззаконие суда; судят выкрик на площади в защиту арестованных. Слово подвергают гонению как бы для того, чтобы еще раз подтвердить старую истину, полюбившуюся Льву Толстому: «Слово – это поступок». Наверное, слово и в самом деле поступок, и притом сокрушительный, если за него дают годы тюрьмы и лагеря, если целыми годами, а то и десятилетиями не в силах пробиться в свет, к читателю, великая поэзия и великая проза – романы, поэмы, стихи, повести, насущно необходимые каждому. Я бы сказала: необходимые, как хлеб, но на самом деле своей пронзительной правдой они нужнее, чем хлеб. И быть может, потому, что слово истины не в силах прозвучать, сделаться книгой, а через книгу и душой человеческой, что оно насильственно загнано внутрь, остановлено – быть может, потому с такой остротой ощущаешь искусственность, фальшивость, натянутость иных напечатанных, легко достигающих читателя слов.

Попалось мне недавно в журнале одно маленькое стихотворение. Оно сильно задело меня. Незначительное само по себе, оно выражает строй мыслей и чувств, весьма распространенных сегодня, и при этом глубоко ложных.

Начинается оно тревожащим сердце вопросом:

Несчетный счет минувших дней
Неужто не оплачен? —

а кончается утешающим выводом:

И он с лихвой, тот длинный счет,
Оплачен и оплакан.

Утешительность вывода – она-то и задела меня. Меньше всего нужны нам сейчас утешения и больше всего разбор прошлого, бередящий память и совесть… Если поверить автору, в нашем нравственном балансе после всего пережитого всё, слава богу, обстоит благополучно: концы сведены с концами. О чем же еще говорить?

А говорить есть о чем. Отношением к сталинскому периоду нашей истории, вцепившемуся когтями в наше настоящее, определяется сейчас человеческое достоинство писателя и плодотворность его работы.

Бывают счета неотвратимые – и в то же время неоплатные. Писать об оплаченном счете, когда речь идет о нашем недавнем прошлом, – кощунство. По какому это прейскуранту могут быть оплачены Норильск и Потьма, Караганда и Магадан, подвалы Лубянки и Шпалерной? Как и чем оплатить муки и гибель каждого из невинных – а их были миллионы! – *почем с головы?* И кто имеет право сказать: счет оплачен? Пожалуй, уж лучше бы нам не браться за счеты! Оплатить *такой* счет – это вообще никому не под силу по той простой причине, что человечество не научилось воскрешать мертвых.

А кто оплатит обманутую веру людей в заветные пять слов: «У нас зря не посадят»? веру: если Иваны Денисовичи сидят за решеткой – стало быть, они в самом деле враги. Надо сознаться, великолепно работала в прошлом машина провокации – радио, собрания, газеты, – столь четко и бесперебойно, что, случалось, даже честные люди становились оже-

сточенными гонителями невинных. Жены отрекались от мужей, дети от отцов, друзья от лучших товарищей. Ведь они, эти обманутые, тоже в своем роде жертвы.. Жертвы организованной лжи. Не применимы ли к ним слова, сказанные о других временах:

– Что ж, мученики догмата,
Вы тоже – жертвы века.

Чем же оплатить массовое, организованное душевредительство, разврат пера, распутство слова? Казалось бы, если и можно, то только одним: полнотой, откровенностью правды. Но правда оборвана на полуслове, сталинские палачества вновь искусно прикрываются завесой тумана. Она плотнеет у нас на глазах.

Жажда самой простой, элементарной справедливости осталась неутоленной. Вдовам погибших выданы справки, что мужья их были арестованы понапрасну и посмертно реабилитированы за отсутствием состава преступления. Хорошо. Такие же справки – об отсутствии состава – выданы тем из заключенных, кому посчастливилось уцелеть. Отлично. Они вернулись. Но где же те, кто был причиной всего пережитого? Те, кто изобрел составы преступлений для миллионов людей? Те, кто фабриковал одну за другой фантастические повести под названием «следственное дело»? Те, кто давал приказ чернить осужденных в газетах? Кто эти люди, где они и чем заняты сегодня? Кто, когда, где подсчитал *их* преступления, совершавшиеся обеспеченно, спокойно, методически – изо дня в день, из года в год? И *им,* этим преступникам, какие и кем выданы справки?

Видимо – никем, никакие, иначе не случилось бы, что изданием стихов ведает человек, повинный в гибели поэтов; что на торжественном заседании в президиуме красуется писатель, который писал преимущественно доносы; что пенсию за труды праведные получает седовласый почтенный старец, в прошлом – губитель Вавилова или Мейерхольда… Туман, туман!

Счет оплакан, говорится в стихотворении. Правда, пролились океаны слез. Но лились они украдкой, в подушки… День железнодорожника, День летчика, День танкиста – а где же День Траура по невинно замученным? Где братские могилы, памятники с именами погибших, кладбища, куда родные и друзья могут в поминальный день приходить открыто плакать с венками и букетами цветов? Где, наконец, *списки* тех, кто заказывал доносы, тех, кто исполнял эти заказы, тех, кто… но довольно. Над могилами уместны тишина и скорбь.

Нет, не об отмщении речь, я не предлагаю зуб за зуб. Месть не прельщает меня. Я не об уголовном, а об общественном суде говорю. Потому что хотя доносчики, палачи, провокаторы вполне заслужили казнь, но народ наш не заслужил, чтобы его питали казнями.

Пусть из гибели невинных вырастет не новая казнь, а ясная мысль. Точное слово.

Я хочу, чтобы винтик за винтиком была исследована машина, которая превращала полного жизни, цветущего деятельностью человека в холодный труп. Чтобы ей был вынесен приговор. Во весь голос. Не перечеркнуть надо счет, поставив на нем успокоительный штемпель «уплачено», а распутать клубок причин и следствий, серьезно и тщательно, петля за петлей, его разобрать… Миллионы крестьянских семей, тружеников, выгнанных на гибель, на Север, под рубриками «кулаки» и «подкулачники». Миллионы горожан, отправленных в тюрьмы, в лагеря, а иногда и прямо на тот свет под рубриками «шпионы», «диверсанты», «вредители». Целые народы, обвиненные в измене и выгнанные с родных мест на чужбину.

Что привело нас к этой небывалой беде? К этой совершенной беззащитности людей перед набросившейся на них машиной? К этому невиданному в истории слиянию, сплаву, сращению органов государственной безопасности (ежеминутно, денно и нощно, нарушавших закон) с органами прокуратуры, существующей, чтобы блюсти закон (и угодливо ослепшей на целые годы), – и, наконец, с газетами, призванными защищать справедливость, но

вместо этого планомерно, механизированно, однообразно извергавшими клевету на гонимых – миллионы миллионов лживых слов о ныне разоблаченных матерых подлых врагах народа, продавшихся иностранным разведкам? Когда и как оно совершилось, это соединение, несомненно самое опасное изо всех химических соединений, ведомых ученым? Почему оно стало возможным? Тут огромная работа для историка, для философа, для социолога. А прежде всего для писателя. Это главная сегодняшняя работа – и притом безотлагательная. Срочная. Надо звать людей, старых и молодых, на смелый труд осознания прошедшего, тогда и пути в будущее станут ясней. И нынешние суды над словом не состоялись бы, если бы эта работа оказалась проделанной вовремя.

Убийство правдивого слова — оно ведь тоже идет оттуда, из сталинских окаянных времен. И было одним из самых черных злодейств, совершаемых десятилетиями. Утрата права на самостоятельную мысль затворила в сталинские времена дверь для сомнения, вопроса, вопля тревоги и отворила ее для самоуверенной, себя не стыдящейся многотиражной и многорупорной лжи. Ежечасно повторяемая ложь мешала людям узнать, что творится в их родной стране с их согражданами, – одни не знали простодушно, по наивности, другие оттого, что им очень уж не хотелось знать. Тот же, кто знал или догадывался, тот обречен был молчать под страхом завтрашней гибели – не каких-нибудь там неприятностей по службе, безработицы или нужды, а обыкновенного физического истребления.

Вот какой великий почет был в ту пору оказан слову: за него убивали.

…На могилах погибших, сказала я, должна вырасти не новая казнь, не казнь их губителей, а ясная мысль. Какая же? Может быть, эта?

Уж раз мы выжили…
Ну что ж,
Судите, виноваты!
Все наше: истина и ложь,
Победы и утраты,
И срам, и горечь, и почет,
И мрак, и свет из мрака…

Нет, не эта. Рассуждение соблазнительное, но принять его нельзя. Оно служит запутыванию клубка, а не попытке его распутать. Истина и ложь не близнецы, и никому не удавалось быть мраком и светом зараз. В каждом конкретном жизненном положении кто-то светил, а кто-то гасил свет. И хуже: кто-то был злодеем, а кто-то жертвой.

Мы были молоды, горды,
А молодость – из стали,
И не было такой беды,
Чтоб мы не устояли,
И не было такой войны,
Чтоб мы не победили.
И нет теперь такой вины,
Чтоб нам не предъявили.

Здесь две неправды. Во-первых, такая беда, перед которой мы не устояли и от которой не спасли страну, была. Имя ей – сталинщина. Это раз. Что же касается вин, которые *теперь* будто бы кто-то, где-то, кому-то предъявляет, то хотелось бы знать: кто, где и кому? О винах, предъявляемых сегодня нашему вчера, что-то не слыхать… Приняли, подхватили:

Да, все, что с нами было, —
Было!

И глубже ни шагу.

А между тем изо всего, что «с нами было – было», естественно, растет ясная простая мысль. Она известна всем с изначальных времен, но нам придется воспринять и усвоить ее заново. Столетие назад Герцен изо дня в день повторял ее в «Колоколе»: без свободного слова нет свободных людей, без независимого слова нет могучей, способной к внутренним преобразованиям страны. «Громкая, открытая речь одна может удовлетворить человека», – писал Герцен. «Только выговоренное убеждение свято», – писал Огарев. Молчание же для них – синоним рабства, «склонение головы». Герцен писал о «сообщничестве молчанием». «Немота поддерживает деспотизм».

Судебные процессы последних лет – и последних месяцев – вызвали среди людей разных возрастов, разных профессий громкий отпор. В нетерпимости к сегодняшним нарушениям закона сказывается наболевшее негодование людей против самих себя, какими они были вчера, и против вчерашних тисков. За молодыми плечами нынешних подсудимых, нам, старшим, видятся вереницы теней. За строчками рукописи, достойной печати и не идущей в печать, нам мерещатся лица писателей, не доживших до превращения своих рукописей в книги. А за сегодняшними газетными статьями – те, вчерашние, улюлюкающие вестники казней.

«Освобождение слова от цензуры» – таков был один из девизов «Колокола». В последний раз «Колокол» вышел сто лет назад – в 1868 году. Столетие! С тех пор цензура сделалась менее зримой, но всепроникающей. Она располагает десятками способов, не прибегая к красному карандашу, заживо схоронить неугодную рукопись.

Пусть же сбудется освобождение слова от всех кандалов, как бы они ни назывались. Пусть сгинет немота – она всегда поддерживала деспотизм.

А память пусть останется вечной, неистребимой, вопреки будто бы оплаченному счету. Память – драгоценное сокровище человека, без нее не может быть ни совести, ни чести, ни работы ума. Большой поэт – сам воплощенная память. Приведу строки того поэта, который не пожелал расстаться с памятью не только при жизни, но и за порогом смерти:

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

Память о прошлом – надежный ключ к настоящему. Перечеркнуть счет, дать прошедшему зарасти бурьяном путаницы, недомолвок, недомыслей? Никогда!

Впрочем, если бы нам и изменила память, сегодняшние суды над словом и сухой треск газетных статей донесли бы до нас знакомый запах прошлого угара.

Но сегодня – это сегодня, не вчера. «Сообщничество молчанием» кончилось.

Февраль 1968 года

Гнев народа

…Москва. 1958. 1 ноября. Пастернак только что получил Нобелевскую премию по литературе. Писатели исключили его из Союза. На страницы газет хлынули письма трудящихся. «Правильное решение». «Лягушка в болоте». Экскаваторщики, нефтяники, инженеры, учителя, слесаря.

Я – в такси. За рулем нескладный мальчик лет девятнадцати. Узкоплечий, узколицый, малорослый, только руки, крутящие баранку, огромны.

Я сижу рядом с ним, а между нами, на сиденье, газета. Думать я могу только о Пастернаке. Речи писателей, статьи и письма в газетах и мой собственный грех: отсутствие мое там, в Союзе – когда его исключали, – моя немота. Пытаюсь укрыться в стихи. В его стихи. Но и из его стихов на память идут только гибельные.

…На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси…

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути…

Это – «Гамлет», чуть более десятилетия назад. А вот и давние, излюбленные мною с юности:

…Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и лед.
Утром спугни с мочажины озерной.
Цельсь, все кончено! Бей меня влет.

Вот оно и сбылось. Целятся. Влет… Конец это уже или только начало конца?

И вдруг, как в дурной мелодраме – или, точнее, так, как бывает только в действительной жизни, – шофер оборачивает ко мне свое узкое лицо:

– Читали, гражданочка? – Он скашивает глаза на «Литературную газету». – Один писатель, Пастер, кажется, фамилие, продался зарубежным врагам и написал такую книгу, что ненавидит советский народ. Миллион долларов получил. Ест наш хлеб, а нам же гадит. Я, вот этими руками, – мы стояли под красным светом, и он на секунду оторвал руки от руля, – я на комбайне. Для него убирал хлеб. А он, гадина…

Честные рабочие руки снова ухватили баранку. Зеленый. Поехали. Между мною и моим собеседником на сиденье газета: несколько прямоугольных листов. Председатель колхоза имени Ленина из села Гуляй-Борисовка «с радостью встретил сообщение о том, что Пастернак лишен высокого звания советского литератора». Старший машинист экскаватора из Сталинграда тоже доволен: «Нет, я не читал Пастернака, – сообщает он. – Но знаю: в литературе без лягушек лучше». Письмо так и озаглавлено: «Лягушка в болоте».

Непрочная вещь бумага. Ее можно смять одной рукой и выбросить за окно. Разорвать или сжечь.

Но она была между мною и моим собеседником как железобетонная стена. В его глазах великий поэт, чью поэзию и прозу я любила с отрочества, был всего лишь тунеядцем, задаром поедающим хлеб.

– Пастернак, а не Пастер, – сказала я через стену. – Все, что вам о нем говорят и пишут, – неправда. Вас обманывают. Это великий русский писатель. Он никого не предал. Он любит вас. Он сказал о вас в своих стихах:

…Превозмогая обожанье,
Я наблюдал боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря…

Шофер не услыхал ни единого слова. Между нами стена. Мы сидели рядом, по-прежнему разделенные всего лишь листками бумаги. Но голос мой сквозь нее не долетал до соседа.

Мы приехали. Взглянув на счетчик, я протянула шоферу деньги.

– Что Пастер, что Пастернак, разницы нет, – сказал он. – Вы, гражданочка, грамотные, а газет не читаете? Не надо мне ваших двадцать копеек, я чаевых не беру.

И он вернул мне мою монету таким гордым, непреклонным движением, словно это были по крайней мере двести фунтов стерлингов, предлагаемые ему за предательство иностранной державой.

Мне припомнился этот горестный случай сейчас, в начале сентября 1973 года, когда на страницы газет снова хлынул организованный гнев трудящихся – в который уж раз! – на этот раз против двух замечательных людей нашей родины: Сахарова и Солженицына.

…1968 год. Москва. Декабрь. Радостный день. Александру Солженицыну исполнилось пятьдесят лет. Преследования против него уже начались, но еще исподволь. Союз писателей еще не исключил его, но уже не празднует. Сотни читателей напечатанной и ненапечатанной прозы Солженицына посылают ему поздравительные телеграммы в Рязань. Я тоже.

«Вашим голосом заговорила сама немота. Я не знаю писателя более долгожданного и необходимого, чем Вы. Где не погибло слово, там спасено будущее. Ваши горькие книги ранят и лечат душу. Вы вернули русской литературе ее громовое могущество».

Могущество, которое возвратил Солженицын русской литературе, для Союза писателей обуза. Оно ему не по плечу. Союз советских писателей – административное учреждение, созданное, чтобы управлять. Могущество неуправляемо. Оно управляет само.

…1969. Ноябрь. Солженицын исключен из Союза административными средствами, президиумами да секретариатами, даже без собрания Московской писательской организации, которым был почтен Пастернак. В самом деле, при чем тут московские писатели? Ведь Солженицын – рязанский. Там его и исключили. Рязанского масштаба писателишка. Мелочь, из-за которой москвичам и собираться не стоит. Однако, хоть и немногие, кое-кто вступился за эту мелочишку. Среди двадцати трех человек протестовала и я. Телеграфировала в президиум Союза, что считаю исключение Солженицына национальным позором нашей родины.

…1973. Сентябрь. Травля академика Сахарова, а заодно и Солженицына, который в 1970 году получил Нобелевскую премию, вызвал этим против себя разнообразные гонения и все-таки имеет мужество защищать других.

Стройными рядами выступают на страницах газет академики, писатели, скульпторы, композиторы, художники. Тут же – отклики «простых людей», трудящихся, организованный взрыв стихийного народного гнева, которому приказано иметь вид естественного извержения вулкана.

Само собой разумеется, что никто из гневающихся и возмущающихся не имеет об академике Сахарове, об его поступках, предложениях и мыслях ровно никакого понятия. В метро и троллейбусах ведутся разговоры о каком-то негодяе Сахаревиче, который жаждет войны. А быть может, он и не Сахаров вовсе, а на самом деле Цукерман?

Где ты сейчас, мой старинный собеседник, узкоплечий мальчик-шофер с честными рабочими руками? По-прежнему ли ты веришь газетам? Ненавидишь ли ты сейчас академика Сахарова по газетной подсказке, как в пятьдесят восьмом году по той же подсказке искренне возненавидел Пастернака, а в другие годы и теперь – Солженицына? «Я не читал Пастернака, но знаю: в литературе без лягушек лучше». «Я не читал романы Солженицына, но возмущен…» А может быть, за это время, мой бывший собеседник, водитель такси, ты отрезвел, догадался, что, прежде чем возмущаться ими, надо *знать их* и думать обо всем на свете самому, собственным своим умом – не газетным.

Звуконепроницаемая стена, методически, злонамеренно воздвигаемая властью между создателями духовных ценностей и теми, ради кого эти ценности созидаются, с 1958 года и особенно с 1969-го выросла и укрепилась. Стена, наглухо отделяющая «простой народ» от его пророков и мучеников.

Стена возведена прочная, железобетонная.

Она ничуть не ниже и не безвредней Берлинской. У Берлинской стены, отделяющей одну часть города – и народа – от другой, при попытке через нее перебраться охрана открывает стрельбу. Каждый выстрел гремит на весь мир и отзывается в душе каждого немца и не немца. Борьба за душу «простого человека», за право, минуя цензурную стену, общаться с ним, ведется в нашей стране беззвучно. Когда-то об этом беззвучии написал Мандельштам:

Мы живем, под собою не чуя страны.
Наши речи на десять шагов не слышны.
А где хватит на полразговорца —
Там припомнят кремлевского горца.

«Кремлевский горец», Сталин, умер, но дело его живет. Массовые облавы смертью его прекратились. В тюрьмах и лагерях сидят теперь не десятки миллионов ни в чем не повинных людей, как при Сталине, а тысячи виновных. И вина у всех у них одна и та же: слово. Через стену, воздвигнутую газетной ложью, стену между задумавшимися и беззаботными, слово не проникает. Кричи! Ни до кого не докричишься; разве что до сотни человек сквозь дыру, просверленную в стене Самиздатом. Дыру эту сейчас, в наши дни, усиленно замуровывает КГБ – обысками, тюремными сроками и плевками газет. Если и докричишься, вопреки укрепленной стене, до кого-нибудь, то всего лишь до сотен, а население нашей страны около двухсот пятидесяти миллионов. И они возмущены – не теми людьми, кто пулеметною очередью неправосудных судов, тюрьмами, лагерями, ложью укрепляет стену, преграждающую дорогу правде – а теми, кто пробует, напрягая ум, душу и голос, до них, своих соотечественников за стеной, докричаться.

Мели, Емеля! Гуляй, Борисовка! Сотрудники газеты сами придут или позвонят тебе на дом и, подделываясь под «народный слог», сами сочинят за тебя твой гнев и твое возмущение. Тебе остается только подмахнуть бумажку. Ты и подмахиваешь.

Первыми выступили, осуждая академика Сахарова, деятели науки, искусства и литературы. К ним я обращаться не стану. Они образованные, начитанные, они прекрасно знают истинную цену и Солженицыну, и Сахарову, и, главное, самим себе. На них тратить слова не стоит. Подпись Шостаковича под протестом музыкантов против Сахарова доказывает неопровержимо, что пушкинский вопрос решен навсегда: гений и злодейство совместны. Гений и предательство. Гений и ложь. Члены Академии наук, члены Союза писателей и прочих «творческих союзов» – и в первую очередь те, кто дергает их за веревочку, – продумали всё отлично, они ведают, что творят, они понимают, почему и чем Сахаров и Солженицын, каждый на свой лад, им помеха.

К ним, к писателям, художникам, музыкантам, артистам, ученым, обращаться мне незачем. Им и без моего разъяснения известно, где правда. Худшие из них – профессиональные предатели, давно уже не имеющие никакого отношения ни к науке, ни к литературе или искусству; лучшие – талантливы, любят литературу, искусство, науку, но полагают, что «нельзя терять связи с читателем» (зрителем, слушателем) – сподручнее продать слово; полагают, что, если они не подпишут подготовленный начальством документ, издательства перестанут печатать их научные труды, повести, рассказы, стихи; раскидают набор уже принятой научной статьи или повести; не выпустят за границу с концертом; закроют выставку картин. И тогда? что же тогда станется с бедной литературой, наукой, с бедным искусством – и с ними? Они не домысливают: нельзя без конца вырезывать фестоны из собственного сердца – оно перестает плодоносить. Не знаю, как в математике или в музыке, но в литературе – в слове – нельзя. Пишите ваши повести, ваши стихи и рассказы, печатайтесь! Вас больше нет.

Мое обращение не к вам, а к тому мальчику за баранкой, который когда-то, не прочитав ни единой строки Пастернака и нетвердо зная его фамилию, – твердо верил, что Борис Пастернак ест наш хлеб, ненавидит наш народ и продался зарубежным врагам.

Вряд ли ты услышишь меня, но я обращаюсь к тебе. К так называемому «простому человеку». Он вовсе не прост и уж вовсе не глуп, но он несведущ. Он введен в заблуждение. Неведение его роковое. И для него, и для нас.

«Гнев и возмущение» против академика Сахарова выражает казенными словесами доктор технических наук В. Сычов в газете «Известия» от 30 августа. Присоединяется к нему вскоре сборщик-механик М. Власов. Торопятся и донецкие шахтеры. От их имени выступает в «Правде» 3 сентября бригадир комплексной бригады на комбинате «Донецкуголь». Возмущены и ленинградцы: кроме М. Власова рабочие Кировского завода в лице своих бригадиров – двух Героев Социалистического Труда и одного лауреата Государственной премии. Сильно горячатся в Ростове-на-Дону.

«Когда я прочитал в газете о поступке, а сказать вернее, об антисоветской выходке академика Сахарова, – пишет газосварщик Т. Ольховой, – то возмутился до глубины души. Ну, думаю, очутись я на той самой пресс-конференции, где Сахаров клеветал на нашу страну, я сказал бы ему «пару ласковых».

Это – в газете «Советская Россия». Воображаю, как был доволен сотрудник газеты, подыскивавший настоящее «народное» выражение: «пару ласковых».

Не отстают и колхозники. Они «до глубины души возмущены непорядочными действиями академика Сахарова» (Правда, 4 сентября). Рядовые, а среди них и сановные: Герои Труда и депутаты Совета.

Народ «возмущен до глубины души». Еще бы! Ведь писатель Вадим Кожевников еще 30 августа на страницах газеты «Известия» разъяснил колхозникам и шахтерам, комбайнерам и токарям, будто Сахаров – слушайте! слушайте! – кощунственно потребовал «вмешательства империализма во внутренние дела своей страны и братских социалистических стран».

Ну как же было не возмутиться всему советскому народу. Я и сама возмутилась бы, если бы не знала, что такое Вадим Кожевников… Я не могу подобрать определения его имени и его поступку (разве что назвать его начальником охраны у Берлинской стены, а слова его – пулями, расстреливающими людей, ищущих единения со своими соотечественниками). Кожевников трехмиллионным тиражом сообщил читателям, будто академик Сахаров зовет на нашу землю интервенцию. Как же тут не возмущаться?

Позволю же себе и я сказать, что на самом деле совершил и к чему на самом деле зовет академик А. Д. Сахаров. Тунеядец ли он и зря ли ест хлеб, выращенный честными

руками колхозников, убранный честными руками комбайнеров, или слова Кожевникова кощунственная ложь, преступление с заранее обдуманным намерением.

Знаменитый советский физик, действительный член Академии наук СССР, А. Д. Сахаров трижды Герой Социалистического Труда и дважды лауреат Государственной премии изобрел для Советского государства водородную бомбу.

Таким образом, товарищи рабочие и колхозники, он не ел даром хлеб, а трудился и дал в руки Советскому государству мощнейшее оружие в мире.

Получив в качестве премий огромные деньги, он полтораста тысяч из них пожертвовал Советскому государству – на Онкологический институт и Красный Крест.

Слышали вы об этом?

Но если он создал бомбу – быть может, он все-таки любит войну?

Нет, товарищи колхозники, рабочие и советские служащие!

Человек сердечного ума и думающего сердца, Андрей Дмитриевич Сахаров возненавидел бомбы и всякое насильничество. Обращаясь к Советскому правительству, к народам и правительствам на всем земном шаре, он первым стал раздумывать вслух о том, что названо ныне «разрядкой международной напряженности». Он написал несколько больших статей, известных всему миру, кроме тебя, товарищ советский народ, статей, в которых пригласил народы земного шара, вместо того чтобы накапливать бомбы – накапливать мысли: как спасти человечество от угрозы войны? голода? болезней? вымирания? как спасти природу, человечество, цивилизацию от гибели?

Он совершил нечто более значительное: задумался и о судьбе конкретного человека, каждого человека, отдельного человека – и прежде всего о судьбе человека нашей родины. Это – его особенная заслуга, потому что раздумывать о судьбах всего мира, как бы ни были важны твои мысли, легче, чем выручить из беды хотя бы одного человека. Ведь кроме бомб, болезней и голода всюду на нашей планете, а на нашей родине в частности, существуют в изобилии тюрьмы, лагеря, и – это уж наш, родной, советский вклад в дело палачества! – сумасшедшие дома, куда насильно запирают здоровых.

Вместе со своими друзьями академик А. Д. Сахаров организовал в точном соответствии с Конституцией Советского Союза Комитет прав человека. Комитет этот зарегистрирован при ООН, международной организации, в которую входит Советский Союз.

Никогда, ни разу, ничем, ни на йоту ни он, ни его товарищи не нарушили советский закон. Напротив, они стали защитниками людей, осужденных вопреки советскому закону, и разоблачителями тех, кто наш закон нарушает.

Стоп. Вот тут академик Сахаров с товарищами и сделался помехой власти. Законы существуют писаные и неписаные. У нас действует один неписаный закон, тот, который сильнее всего свода наших законов вместе взятых, тот, от которого власть не отказывается никогда; у нас существует лишь одно преступление, которого власть никогда и никому не прощает; этот единственный, соблюдаемый строжайше закон: каждый человек должен быть сурово наказан за малейшую попытку самостоятельно думать. Думать вслух.

Вот за что был спущен на Сахарова Кожевников, а следом за Кожевниковым – механическим нажатием кнопок – «гнев народа».

Сахаров не менее других радовался смягчению международной напряженности, им же, его же плодотворными мыслями и подготовленному. Но при этом он счел своим долгом предупредить обрадованных: смотрите, чтобы под шум банкетов, сопровождающих встречи на среднем, высоком и высочайшем уровне, не заглохли голоса тех немногих людей в нашей стране, которые не желают примириться со зверством.

Галансков умер в лагере. Григоренко медленной казнью ежедневно казнят в тюремном сумасшедшем доме. Амальрик в заключении перенес менингит – его следовало немедленно помиловать, а ему, когда он отбыл свой срок, дали новый. Разве это не равняется для него

смертному приговору? Я перечисляю судьбы, случайно оказавшиеся в поле моего зрения. Обыски и аресты идут сейчас повсюду – от Черного моря до Белого… Москва, Ленинград, Киев, Одесса. В сумасшедших домах сводят с ума здоровых. Против беззаконий и зверств поднял свой голос академик Сахаров. За это его называют антисоветчиком.

Разве слово «советский» означает – беззаконный и зверский?

От чьего имени я обращаюсь к своему несуществующему читателю? От имени всего советского народа, как один электрик? От имени рабочего класса, как один шахтер? Или от имени карусельщика и газосварщика?

Нет. Я не присваиваю себе подобного права. Не знаю, кто дал его им… Говорю ли я от имени советской интеллигенции? Тоже нет. Ведь и Свиридов, и Леонид Мартынов, и Энгельгардт, и Быков, и Кукрыниксы, и Чингиз Айтматов – люди, несомненно, интеллигентные, а они выступили против Сахарова, защитника гонимых. Значит, не вправе я причислять себя к интеллигенции. Кого-нибудь пора от интеллигенции отчислить – либо меня, либо их… Протестую ли я от имени «инакомыслящих», как называют за границей преследуемых у нас протестантов? Нет, я говорю от самой себя, от одной себя; «инакомыслящие» не поручали мне говорить от их имени; да ведь и организации у нас такой нет: «инакомыслящие». Самое слово представляется мне неточным. Чтобы мыслить «инако» – надо, чтобы у того, от кого ты отличаешь себя своей «инакостью», существовала какая-нибудь мысль. Но стереотипное газетное пустословие не есть мышление. И преследование Самиздата, «Хроники текущих событий», Сахарова, Солженицына, сотен других – это не назовешь идейной борьбой – это есть попытка тюрьмами и лагерями снова загнать голоса в немоту.

...Я вижу и слышу Андрея Дмитриевича Сахарова, четыре часа под проливным дождем упорно стоящего перед закрытыми дверьми открытого суда, где подбирают уголовные статьи для наказания за мысль, и с кроткой настойчивостью повторяющего в лицо охраннику одни и те же слова:

– Я – академик Сахаров… Член Комитета прав человека… Я прошу допустить меня в зал…

Его не пускают. Ведь он не только физик; он и его друзья – знатоки советских законов; он может, выйдя из зала суда, рассказать людям, как законы эти нарушаются. Он может нарушить главный закон нашей жизни; не тот, который записан в Конституции, а главный, неписаный, – закон сохранения немоты.

Слышали вы об этом, актеры очередного «народного гнева?» На страницах газеты вы заявляете, что не в силах «словами выразить свое возмущение»… Потому и не в силах, что в вашем «возмущении» нету и грана подлинности, что оно вызвано системой механических кнопок.

А вы, Кожевников, и те, кто нажимает кнопки, вы, намеренно задувающие сияние лучших умов, которыми нас дарит родная земля; вы, возводящие газетную – железобетонную – стену между лучшими умами и «простыми людьми»; вы, пытающиеся повернуть историю вспять; вы, искусственно, механическим нажатием кнопки, вызывающие волны «народного гнева», предпочитая немоту любому слову – смотрите, чтобы из-под земли не вырвался подлинный гнев, и тогда он, как лава, затопит не только вашу убогую стену, но – ничем не просветленный, не очищенный ничьей одухотворяющей, умиротворяющей мыслью – мыслью академика Сахарова, например, – он утопит в крови, без разбора, и виноватых и правых.

Хочу ли я этого? Нет. Этого я никому не желаю.

7 сентября 1973 года

Прорыв немоты

Я полагаю, что выход в свет в 1973 году новой книги Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» – событие огромное. По неизмеримости последствий его можно сопоставить только с событием 1953 года – смертью Сталина.

В наших газетах Солженицына объявили предателем.

Он и в самом деле *предал* — не родину, разумеется, за которую он честно сражался, и не народ, которому приносит честь своим творчеством и своею жизнью, а Государственное Управление Лагерей – ГУЛаг – *предал гласности* историю гибели миллионов, рассказал с конкретными фактами, свидетельствами и биографиями в руках историю, которую обязан знать наизусть каждый, но которую власть по непостижимым причинам изо всех сил пытается *предать забвению.*

Кто же предательствует?

XX съезд партии приоткрыл над штабелями трупов окровавленный край рогожи. Уже одно это спасло в пятидесятые годы от гибели миллионы живых, полумертвых и тех, в ком теплилась жизнь еще на один вздох. Хвала XX съезду. XXII вынес решение поставить погибшим памятник. Но, напротив, через недолгие годы, злодеяния, совершавшиеся в нашей стране в еще никогда не виданных историей масштабах, начали усердно выкорчевывать из памяти народа. Погибли миллионы людей, погибли все на один лад, но каждый был ведь не мухой, а человеком – человеком своей особой судьбы, своей особой гибели. «Реабилитирован посмертно». «Последствия культа личности Сталина». А что сделалось с личностью, – не с тою, окруженною культом, а той – каждой, – от которой осталась одна лишь справка о посмертной реабилитации? Куда она девалась и где похоронена – личность? Что сталось с человеком, что он пережил, начиная от минуты, когда его вывели из дому, – и кончая минутой, когда он возвратился к родным в виде справки?

Что́ стоит за словами «реабилитирован посмертно» – какая жизнь, какая казнь? Приблизительно с 1965 года об этом приказано было молчать.

Солженицын – человек-предание, человек-легенда – снова прорвал блокаду немоты; вернул совершившемуся – реальность, множеству жертв и судеб – имя, и главное – событиям их истинный вес и поучительный смысл.

Мы заново узнали – слышим, видим, что это было такое: обыск, арест, допрос, тюрьма, пересылка, этап, лагерь. Голод, побои, труд, труп.

«Архипелаг ГУЛаг».

Москва,

4 февраля 1974 года

Отрывки из дневника

Полгода в «Новом мире» (О Константине Симонове)

28/XI 46

Совсем редакционный день.

В два, как условились, меня принял Симонов. Сначала дал список поэтов, у которых надо добыть стихи не позже 15 декабря – по три от каждого – лирические и «без барабанного боя».

– Я хочу сделать подборку: «в защиту лирики». В конце концов двадцать поэтов вряд ли обругают, а если обругают, то редактора – что ж, пусть…

Потом дал мне папку:

– Сядьте в уголке и разберитесь в этих стихах – я уж совсем запутался.

Я села в углу, за шкафами, где корректоры. Стала разбираться. Отобрала кое-что получше. Сунулась снова к Симонову.

– Мы с вами послезавтра запремся и всё почитаем, приходите. А сейчас я должен торопиться домой: сегодня день моего рождения.

– Поздравляю. Сколько же вам лет?

– Тридцать один.

У него хорошая, легкая и с светской выправкой фигура и лицо приветливое и скорее красивое – но какое-то плоское.

Он ушел, а ко мне кинулась крашеная редакторша, ведающая стихами.

– Я хочу с вами посоветоваться…

И надавала мне целую гору стихов.

Вот сижу, читаю.

Уже часов двенадцать, должно быть.

Очень болит голова. Но мне интересно. Попадаются и хорошие стихи. Но пометки редакторши на полях и одна рецензия Сашина{1} чудовищны по темноте и неверности. В рецензии за «неряшливость» обругано то, что по установке своей простовато. Значит, первоначальный отбор стихов – в очень ненадежных руках.

Завтра понесу всё советоваться к Тусе{2}.

Маленькая черта неприятная.

Прочтя список поэтов – в котором рядом с именами почтенными стоят Долматовский, Матусовский и пр. чушь – я сказала:

– Разрешите мне, Константин Михайлович добавить к этому списку два имени: Маршака и Семынина{3}.

Он разрешил, но о Семынине сказал:

– Ну, это вряд ли.

Неужели у него настолько нету слуха. Стыдно быть недоброжелателем поэта.

1/XII 46

Трудно писать. Я лежу. Температура 37.8. И главное, один глаз не видит, будто муть какая-то перед ним или пятнышко. Всё кажется, что стекло очков запачкано, я протираю, но без толку. Снимаю их совсем – невозможно писать. Надеваю – опять нельзя. Концы строк загибаются.

Сегодня уже не так мучительно: я часов восемь читаю стихи – они написаны более крупным шрифтом.

К 15-му надо подборку стихов.

В субботу я была у Симонова, просидела в редакции целый день, добилась всего: и того, чтобы он слушал толком, не отрываясь, и того, что принял все мои предложения по стихам, и отменил рецензию Сашина – и того, что крашеная редакторша весь день смотрела мне в рот – и того, что Раковская{4}, передавая мне чью-то рукопись, ядовито сказала:

– Так как вы теперь ведаете стихами, то…

Под конец я все и всех путала: спутала Николаеву с Некрасовой (фамилии), Жарова с Уткиным{5}. Ушла с пудом новых стихов под мышкой – Ушаков, Заболоцкий (переводы), Шубин{6} и пр. и пр. Я уже знала, что больна, но крепилась.

4/XII 46

Кровоизлияние в сетчатку правого глаза.

Нельзя ни читать, ни писать по крайней мере месяц.

Звонил Симонов. О здоровье: «Если вам что-нибудь будет нужно – мы вам устроим». И тут же сказал, что пришлет мне рукопись Героя Советского Союза Борзенко{7}.

Он не может себе представить, что я действительно больше не чтец.

И я не могу.

Дома беспокойства и разговоры о санатории.

Условились с Симоновым встретиться послезавтра.

5/XII 46

Весь день лежала.

Потом Тусенька. Читала мне стихи для «Нового Мира». Укрепила меня в моих намерениях насчет Ушакова.

Потом заехал С.Я., веселый и напористый, как бывало, и повез меня к себе.

Читал много своего. Правил перевод «Веселых нищих»{8}.

Я попросила стихов для «Нового Мира» – лирических. Дает, но мне не понравилась фраза: «Может быть, Симонов мне бы сам позвонил»? С ним, как всегда, будет много хлопот, но игра стоит свеч.

Да. Был Борзенко с колоссальной рукописью. Симонов сказал ему, что, если мне понравится, – будут печатать, нет – нет. «То, что она думает, то и я думаю», – сказал он. Ого!

Это не точно (!) и это зря.

Я сказала, что буду читать только через месяц. Он все же оставил рукопись.

Высокий, очень красивый и, кажется, неумный, т. е. элементарный…

Сашин мне эту рукопись бранил – но верно это или нет? вот вопрос.

Глазу явно хуже.

6/XII 46

День неудач. Все через силу и все зря.

К половине первого пошла в «Новый Мир». Люшенька меня провожала, несла папки со стихами. Но Симонов не пришел, хотя и назначил мне в это время. Не пришел и не позвонил.

Нивинская сразу увела меня в соседнюю комнату и стала читать поэму Ковынева{9} – очень плохую, выдавая ее за хорошую. А это просто острословие, вне всякого лирического чувства. Умирает ребенок – глаза его автор сравнивает с потухающими окурками. Экий прохвост.

Сама Нивинская понимает мало, но дает себя убеждать. Не любит Твардовского, любит Ушакова. А что можно любить в Ушакове – в этой искусственности, в этом холоде? Глупости.

Пришла домой смертно усталая. Что-то еще со мной, кроме глаза. Но что?

Пришла, полежала и решила обзвонить по телефону поэтов, от которых журнал ждет стихов для лирической подборки. Начала, конечно, с Пастернака, ожидая радость.

А дождалась другого. Оказывается, Симонов обещал Борису Леонидовичу аванс за прозу – десять тысяч рублей. Это было уже две недели назад. И с тех пор ему не позвонил. И Б. Л. просит ему передать, что если журнал не окажет ему этой материальной поддержки, то он не даст ни строки стихов.

Легко сказать – передай. Я всячески желаю уладить этот конфликт, желаю, чтобы Борис Леонидович получил десять тысяч (даже если журнал не может печатать его прозы – все равно: для русской культуры они не пропадут даром), желаю, чтобы были стихи, – но как не хочется звонить, дозваниваться – ух!

Я ему оставила в редакции записку – авось позвонит сам.

Затем я безо всякой охоты позвонила Алигер, Инбер, Исаковскому, Антокольскому. Дамы были со мной величаво сухи, мужчины приветливы – особенно почему-то Антокольский.

Очень тоскливо и страшно.

Хоть бы кто-нибудь мне что-нибудь читал.

7/XII 46

Симонову я наконец дозвонилась. Я доложила ему о Пастернаке. Он сказал, что хотел заплатить Пастернаку деньги, но не вышло и что он даст их ему только в январе. Казалось бы, скажи Пастернаку сам, и обиды бы не было, ан нет. Я позвонила Борису Леонидовичу и доложила. Он благодарил со свойственными ему преувеличениями.

10/XII 46

Днем приходила Ивинская со стихами, с целой уймой. Часть с резолюцией Симонова «показать Чуковской». Трудно было слушать так много подряд.

12/XII 46

Туся действительно пришла. Мы разобрались в стихотворном хозяйстве. Как она отчетливо слышит и отчетливо называет беду. Я вот сразу поняла, что Пагирев{10}, которого рекламирует Симонов – не поэт, но не умела сформулировать. Она же *мне* все объяснила – но я не уверена, что это можно объяснить Симонову.

13/XII 46

Вижу как будто лучше – зато целый день болит голова.

Спасаюсь только пирамидоном.

Утром внезапно, без звонка, пришел Заболоцкий. Поговорили с ним о его переводах Гидаша{11}. Потом он читал свои стихи. Хорошие. И я радовалась.

А Симонов в Смоленске, и все дела стихотворные без него стоят.

14/XII 46

Веселый день, интересный.

Вижу лучше – и кругом, и буквы. Значит, это правда, что скоро я буду видеть, как прежде.

Звонок из «Нового Мира», что меня вызывает Симонов.

Я туда. Мороз – но я не успела сильно замерзнуть.

Симонов без пиджака, в белоснежной рубашке и какой-то мудреной не нашей жилетке, с трубкой, окруженный людьми – сразу попросил меня в кабинет.

Там был Кривицкий и еще кто-то.

Речь пошла о моей работе и о деньгах.

Я поняла: это Лелька{12}.

Мне предложено получать ставку зав. стих. отделом – 1200 р. и быть им. Прозы не читать, а только работать с отдельными авторами – оплата по соглашению.

Что ж, это разумно. Я согласилась.

– Над стихами будем работать мы вдвоем, – сказал Константин Михайлович. – Ивинская только путает. А пока меня не будет – вы одна. Проверьте, как подготовил Сашин переводы болгар. И как он готовит подборку молодых.

Я вышла. Мы условились, что к восьми я приеду к нему домой. Я сразу заказала по телефону машину.

В большой комнате курили, по-бабски ругались секретарша с Ивинской и ждала Некрасова. Она сразу кинулась ко мне.

– Вам передали мои стихи?

– Нет еще. Но это потому, что я болею.

Я пошла к Ивинской выслушать ее. Через секунду подошел Симонов.

– Лидия Корнеевна, я уже давно прошу т. Ивинскую дать вам стихи Некрасовой. Она талантливый поэт, и я хочу, чтобы вы, Лидия Корнеевна, выбрали целый цикл.

– С удовольствием, – сказала я.

Ивинская пришла в ярость.

– Я и так дала бы вам стихи ее! Я сама знаю! Зачем она жалуется Симонову!

Я попыталась угомонить ее, а потом кинулась к Некрасовой, которая плакала.

Она всех изводит, но ей хуже всех, конечно. Она – поэт.

Я пришла домой возбужденная и вызвала машину. Но позвонил Симонов, что его отъезд в санаторий откладывается до 19-го и поэтому мы лучше встретимся в понедельник утром.

Мне весело. Пусть всё это кончится худо, но весело начинать новую работу, узнавать новых людей.

15/XII 46

Днем – Ян Сашин со средненькими болгарскими переводами. Один я убила, другой велела поправить. Разговор был мирный{13}.

Как-то будет при подборке молодых?

Редакция: Симонов просил, чтобы я присутствовала, когда Кривицкий будет слушать Заболоцкого.

16/XII 46

Нет сил писать. А надо, хоть конспективно.

Сколько раз я еще воскликну: зачем я пошла в эту яму? От Герцена, от сумерек библиотечных окон? К этим чужим, клыкастым?

Утром на машине – к Симонову, домой.

Маленький кабинет с дамскими нарядными вещами. Вазы, красное дерево – комиссионный магазин.

Одно хорошо: соломенный Дон Кихот, привезенный из Америки. Прелестный.

Страшная крашеная мадам с тупой, злой улыбкой, в небесно-голубом халате. Еле здоровается, входит во время работы, ищет какие-то ключи.

Ей противно, что с утра чужие люди.

Симонов приветлив, мягок, любезен. Это, видно, в нем органическое: мягкость.

За окошком какие-то амбары, склады – только зима спасает от скуки, притушив.

Первые сорок минут он слушал живо, хорошо. Мы много прочли и сделали. О, конечно – это – не чтение стихов, а только накладывание резолюций, но иногда они накладываются верно.

Потом случилось то, чего я боялась: он прочел свои стихи. О любви. О Японии.

Я ужасно смутилась. Я сказала:

– Тут еще много работы.

В сущности, это и было самое точное. Действительно, в каждом из них есть нечто живое, что могло бы быть доведено до хорошего. Но сказала я это как-то неуверенно, не так.

Он ушел завтракать. Я отказалась. Позвонила в «Новый Мир», предупредила, что в три явлюсь слушать Заболоцкого.

Симонов вернулся вялый – от кофе ли, от жены, от чего ли еще. Я сразу чувствую это. Заторопилась. Когда он провожал меня и искал мне перчатки, Валентина Васильевна{14} уже что-то опять орала о ключах – и я торопилась ужасно. Он послал со мной шофера… поехала в «Новый Мир», не занеся книги, – было уже почти три. Приехала: Заболоцкий только что ушел. Ему не сказали, что я приеду для него. Он посидел-посидел и уехал.

А живет он за городом.

Правда, он оставил свою поэму… Ай да аппарат, секретари.

Нужно срочно вызвать несколько поэтов, с которыми Константин Михайлович просил меня поработать – нет ни адресов, ни телефонов.

Пришла домой разбитая, злая. Знаю, что не буду спать.

Глазу лучше. Сама разобрала поэму Заболоцкого. Рябит немного. Поэма великолепная{15}.

17/XII 46

Все болит. Заснула поздно, встала рано.

К трем часам решила позвонить Симонову: знала, что он будет в «Новом Мире». Хотелось продвинуть поэму Заболоцкого.

Все удалось, и, хотя все удалось, – мне очень противно.

Я пришла. Симонов был занят. Потом меня позвали в кабинет – там Симонов, Кривицкий, до ужаса похожий на Мишкевича{16}, и кто-то на диване, кого я не могла разглядеть. Но с дивана дуло злым, темным. И вообще при обсуждении стихов не должно быть чужих – переносчиков.

Симонов прочел сам [поэму Заболоцкого]. Прочел хорошо. Вчера он отозвался об этой поэме не очень восторженно – сегодня, кажется, она ему понравилась. Он сказал:

– Человек восемь лет был *там*... Надо его печатать.

– В первом номере, – сказала я.

Он взял перо.

– Места нет, – сказал Кривицкий.

– Уберем Яшина{17}, – сказала я.

– Да, да, – перенесем его, – сказал Симонов.

– Там есть недопустимая строка, – сказал Кривицкий.

– Какая? – прислушался Симонов.

– Вождь и господин.

(Это о природе, о власти человека над природой){18}.

Симонов согласился. Я не возразила.

– И виола, – сказал с дивана мерзавец, и я узнала по голосу К.

– Да, да, – сказал Симонов.

– Какая виола? – спросила я, озадаченная.

– Да, это не надо, – сразу согласился Симонов.

Я не стала спорить, хотя замечание крайне глупо. Присутствие К. душило меня.

Я оставалась в редакции, пока поэму перепечатывали и пока при мне ее не отправили в набор.

То-то будет рад Н. А. [Заболоцкий]. Он сегодня утром мне звонил и говорил, что поэма для него главное.

А о виоле я еще подумаю. Уговорю Константина Михайловича или позвоню ему.

В четверг у меня приемный день.

19/XII 46

Глазу худо, худо, как в первый день.

Яшин, Тушнова, Гидаш, Заболоцкий, Сашин, Гудзенко.

Г[удзенко] – нахальный мальчишка, способный, избалованный, наглый.

Яшин – мил, прост, доброжелателен, но плохой поэт.

Тушнова – хорошенькая, талантливая, сдержанная, холодная. Сделает большую карьеру, т. к. умеет не только быть поэтом, но и писать стихи.

В ней есть прелесть глубины, но и роскошь ее учителя, Антокольского. И холод.

Гидаш – добродушен, мил, с хорошей улыбкой.

Заболоцкий – ленинградский, и из-за его плеча: Леня Савельев, юность{19}.

Некрасова.

Дозваниваюсь второй день к Константину Михайловичу, чтобы защитить виолы и, кроме того, спросить, дадут ли без него обещанные деньги Пастернаку. Но не могу его поймать. А надо.

21/XII 46

Симонов на мой звонок через секретаря передал, чтобы я пришла к четырем в редакцию.

Хорошо. Я скоро тоже научусь беседовать с ним через секретарей и при помощи резолюций.

Я пришла. Он был облеплен людьми. Я немного посидела с Ивинской, которая явно тупа, и глупа, и груба. Пока пытаюсь ее учить. Но это зря. Если бы она хоть бумаги могла хранить, хоть корректуру читать – мелкий шрифт.

Меня позвал Симонов.

– У меня есть пять минут, – сказал он.

– Хорошо.

Я была готова. Я сказала ему – если у вас нет возражений против мысли, которую выражает Заболоцкий о хоре светил и цветов, – почему вы возражаете против силы выражения его мысли? А *виолы* усиляют – им действительно откликается следующая строка.

Кол*ок*ола, ви*ол*ы и гитары
Им нежно от*кли*каются с земли.

– Я никогда не обращаю на это внимание, – сказал он.

«Ну так пишите тогда статьи и не трогайте стихов», – надо было ответить, но я смолчала.

Поэма была за мной.

– Передайте Заболоцкому, – сказал Константин Михайлович, – что Симонов просит его переделать кусок, чтобы не было архаизмов: виолы, лилеи…{20} А вы, Лидия Корнеевна, можете продолжать высказывать свое мнение, – прибавил он зло, – так как это не повредит вашему доброму имени.

– Я не о добром имени своем хлопочу, – сказала я.

– Но разве вы забыли, что было с «Торжеством Земледелия»?{21} И можете поручиться, что из-за этих архаических строк не будет того же?

– Нет, не могу. Но что угодно может быть из-за любых строк – не только этих.

Затем разговор перешел на Пастернака.

Я спросила, заплатят ли Пастернаку аванс, обещанный ему, без Симонова.

Тот дал при мне распоряжение и добавил:

– Не знаю, как Борис Леонидович, – но *моей* этике не соответствует просьба о деньгах с угрозой не дать стихов – угрозой *мне,* после всего, что *я* для него сделал. Я бы на его месте так не поступал.

– Дай бог, вы никогда не будете на его месте.

Он стал собирать бумаги в свой желтый роскошный портфель. Я ушла. О, кажется, теперь я начинаю его постигать. Он хочет быть благодетелем и чтобы ему были за это благодарны. А люди не хотят благодеяний. Они хотят уважения по заслугам. Поэму Заболоцкого надо печатать не потому, что он восемь лет был в лагере, а потому, что поэма его хороша. Пастернака Симонов обязан сейчас поддержать, а не оказывать ему милости – *обязан,* потому что он поставлен хозяином поэзии и Пастернак в его хозяйстве – первая забота… А если Борис Леонидович и не вполне справедлив к нему, то как можно сейчас требовать от Бориса Леонидовича справедливости?

Поэма Недогонова. Человек способный, бесспорно. И Твардовский, и Маяковский, и Некрасов – и боек, и кругл, и идилличен. Ему обеспечена Сталинская премия{22}.

22/XII 46

В «Новый Мир» – отдать Гидаша в набор. Чтобы он скорей получил деньги. В машинку.

24/XII 46

Глазу лучше, лучше! Пятнышка передо мной почти нет и буквы не расплываются. И я полегоньку читаю.

Симонов не звонит. Сердится? Болен? Занят?

Меня подмывает написать ему письмо – о стихах. Чтобы разъяснить основу и снять недоразумение со звуками. Не в звуках самих по себе дело, а в мобилизации всех подспудных сил языка на осуществление замысла поэта. Все должно на него работать – и звуки тоже.

Я даже набросала черновик письма – но послать ли? Не будет ли это также письмом к К. и прочей мрази?

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…{23}

В два часа должен был быть Недогонов. И подвел – не явился. Вероятно, он звонил, когда меня не было, хотя мы условились, что он явится без звонка. А я на час забегала в «Новый Мир». Сдала в набор Гидаша. Я хочу ввести свои порядки – в хранении и исправлении рукописей.

Кроме того, написала довольно язвительное письмо Кривицкому в ответ на его атаки на Гидаша.

Потом разбиралась в папке стихов. Адалис (которая уже кидалась на меня; волчья улыбка; страшный напор, а поэма ее пустота и бездарность и надо придумать причину отказа умно и политично){24}.

25/XII 46

Рискнула. Послала сегодня письмо Симонову.

Был Лейтин – я его вызвала, чтобы сделать поправки к Фининбергу{25}, которого уже давно решено было печатать – да невозможно было добыть адрес Лейтина. А теперь, кажется, в № 1 опоздали. Это жаль – и стихи и перевод первоклассны. Добыла у него интересного тувинца – как раз необходима литература братских народов.

Завтра у меня прием.

26/XII 46

Спала плохо, на приеме была шальная. Сама читала стихи и натрудила глаз. Были: Белинский (способный, но подозрительно похожий на Рейсера, только красивый и умный)[{26}], Лейтин – больной, забитый; Сашин – интригующий, корректный, хитрый, трусливый и нагловатый вместе. Видя, что к Симонову послали курьера, я вложила туда записку о Фининберге – но ответа не последовало. А мне очень хочется напечатать этот стих – и хорош, и старику подмога.

Вечером Ивинская и Сашин уговорили меня пойти на вечер одного стихотворения, и я сдуру согласилась. Трудно, холодно было идти. Накурено, душно в зале. Тридцать девять стихов! Я на третьем уже ничего не понимала. Кажется, интересна З. Шишова[{27}]. Голоса долетали до меня как из рупора – я никого не видела без очков, хотя сидела близко. Кажется, интересен был Светлов – про ангелов[{28}].

27/XII 46

Радость. Симонов позвонил. Выдержал экзамен и позвонил сам – т. е. не рассердился на письмо, которое ведь было «учительное». И еще радость. Ему понравился приложенный к письму Зыбковец[{29}], и он сказал, что напечатает его. И еще радость: он согласился, что не надо никакой «подборки молодых», что это неважно – молодые или старые, – а просто в двух номерах будут лирические стихи: во втором – тех поэтов, которые начали в 30-х годах, в третьем – тех, которые начали в 40-х. И Симонов будет во втором. Это очень умно и положит предел всяким нареканиям и обидам – за отнесение к молодым. Нет, прав Леля – в этом товарище нечто есть.

О письме сказал: «получил и прочел с большим удовольствием».

То-то.

А день был усталый, сонный, сбитый с ног. Вот и сейчас уже давно бы мне спать, а только сейчас наступила тишина и можно наконец лечь. А именно сейчас хочется наконец писать и думать – в тишине. Но нельзя.

Встала поздно. Некрасова, назначенная на два часа, явилась раньше – и я не смогла пообедать с Люшей, проводить ее. Читали с ней ее стихи, отбирали. Она очень талантлива, явно. Но в стихах у нее самое сильное – вещи, природа, а не люди, только не люди. И думаю, и в жизни она людей не видит и не знает. Не верит им.

Потом – в «Новый Мир», по мелким, нудным делишкам.

28/XII 46

Днем был Лейтин. Он, конечно, ремесленник – но очень умелый. Так жаль, что Фининберга мне сорвали!

Потом дома читала стихи, данные мне Ивинской. Боже, до чего она ничего не понимает! Пошлейшие стихи преподносит мне как открытие.

Но ничего, если пройдут глаза, я со всем справлюсь, всюду поспею, и к Герцену моему[{30}].

Завтра, может быть, увижу Тусю и покажу ей Адалис. Надо придумать формулу отказа. Это непросто.

Сегодня сама читала Маяковского. «Флейта-позвоночник», «Про это», Маяковский векам[76], «Облако» – какие вещи.

Вчера Симонов еще сказал по телефону:

– Не ставьте мне каждое слово в строку. Поймите, что, когда я отступаю в мелочах, – я делаю это, чтобы наступать в главном.

---

[76] Вероятно, подразумевается поэма В. Маяковского «Во весь голос», где есть такая строка: «Мой стих пройдет через хребты веков». – *Примеч. сост.*

Пусть так. Но почему у него в двенадцатом номере плохие стихи Долматовского, ужасные, вялые, пустые?{31}

29/XII 46

Завтра тяжелый день. Попробую повидать Симонова и уговорить его вместо жидких стишков Яшина дать в № 1 стихи С.Я. (это бы наверное вышло, если бы С.Я. дал их давно, как я молила, – но у него ведь болезнь: он не может расставаться со стихами и дал только сегодня). Посмотрим. Я делаю это не для С.Я., а для номера: Недогонов, Заболоцкий и Маршак – тогда всё было бы на высоте.

30/XII 46

Утром позвонил Симонов, вызвал на два – смотреть подборку лириков к № 2. Пошла. Довольно спокойно читали с ним и Ольгой Всеволодовной. У него есть вредная тенденция брать и дрянь – только бы взять у всех, никого не обидя. Подписал сегодня к печати ужасно дрянные стихи Щипачева и Жарова{32}. Я протестовала как-то недостаточно. Буду еще.

Опять тяжкий и бессмысленный разговор о Пастернаке. Тут уж я высказалась вполне что, мол, Пастернак не может быть справедливым и ему, Симонову, надо самому позвонить Борису Леонидовичу и «помириться».

– Да ведь он меня обидел, а не я его. Что же я буду первый звонить.

– Потому вы первый, что вы годами моложе его на двадцать лет, а положением – старше в десять раз, – сказала я.

Вот как я обнаглела.

Маршака в № 1 он не дает – зато и Яшина снял, слава богу. Так что две превосходные поэмы, плохие болгары и никакой плохой лирики. И то хлеб.

Затем он показал мне свою статью, идущую в № 1. Там для меня неожиданности. Когда-то, ругая ему рецензию Сашина, я сказала мельком: «Все мимо, как в безобразной статье Трегуба об Алигер». И вот, оказывается, он написал ответ Трегубу{33}.

Статья правильная и даже не без остроты и благородства, но *беглая* (хотя и длинная), недостаточно монументальная.

Завтра – еще раз к нему, кажется, в последний. А потом он уедет, и всё останется на мои руки.

Невероятно то, что он обещал статью «В защиту лирики», под которую все и дают стихи, а теперь, по случаю болезни, ее не пишет.

31/XII 46

Происшествий много.

Ночью – так около часу или позже, – только я задремала, меня разбудил звонок Симонова. Возбужденный, злой голос сказал:

– Лидия Корнеевна, мне звонил Пастернак. И я с ним поссорился. И я хочу перед отъездом дать вам насчет него некоторые распоряжения.

Он знал, что завтра (т. е., значит, сегодня) мы всё равно увидимся, – но не мог дождаться. Так его взбесил Б. Л.

– Я зол. Потом перестану, но сейчас зол. Разговор был скверный. И распоряжение мое вам такое:

15/I Кривицкий выпишет Пастернаку деньги. 16/I пригласит его для подписания условия. Об этом вы ничего не должны ни знать, ни говорить Пастернаку. Это дело Кривицкого. От вас же я требую следующего: если Пастернак, вне зависимости от договора и денег, даст вам стихи 15-го – вы сдадите их в набор. Если же нет, если он принесет их 16-го – вы их не примете.

И, извинившись за поздний звонок, – бросил трубку.

Это распоряжение, а не беседа *о* – поэтому я демонстративно молчала. Но настанет время, и я скажу ему всё про это. Сейчас говорить было бесполезно.

Но как это безжалостно относительно меня! Как же это я, три раза прося у Бориса Леонидовича по поручению Симонова стихи и постоянно изливаясь в любви, – 16-го скажу ему, что я у него стихов не беру!

И как это неумно. Что он, воспитывать Бориса Леонидовича хочет, этике его учить? Он решительно не понимает, что выдавать Борису Леонидовичу деньги, устраивать дела Бориса Леонидовича у Храпченко, Александрова и пр.{34} – есть его *обязанность* перед русской культурой, перед народом. Он делает это как одолжение, за которое Пастернак должен быть благодарен. Он, очевидно, не любит и не ценит его как поэта. Не понимает масштабов.

Долго я не могла уснуть.

Сердилась я и на Бориса Леонидовича, которому совершенно не следовало ссориться с Симоновым. Не из-за чего и не для чего, в сущности. Если Симонов ему и не благодетель, то во всяком случае – дурного он ему тоже не сделал и хотел хорошего.

Теперь надо просить Тусю дать совет. Как быть. Не исполнить приказа Симонова было бы бесчестно. Ответить Борису Леонидовичу отказом, если он принесет стихи позже назначенного срока, я не могу.

Подумаем.

Мешает мне также и то, что Б. Л. на днях в одном телефонном разговоре сказал мне, что участвовать в подборке ему не хотелось бы, т. к он не верит в количество и пр…. Ах, так, значит, не из-за денег, а просто не хочет. Зачем же было раньше мне этого не сказать.

*** * ***

Днем мы встретились. Я была зла как собака и сразу кинулась на Симонова. Не по поводу Пастернака. Об этом он еще первый заговорит со мной. И услышит. А по поводу того, что до Нового Года из-за идиотского недоразумения не выписали денег Заболоцкому, хотя выписали Гидашу. Это он мгновенно исправил, и с удовольствием. Затем, пока мы еще были с ним одни, я его обругала за принятие паршивых стихов Щипачева. Он отменил свою резолюцию. Затем заговорили о принципе подборки – о том, что меня беспокоит более всего. В это время уже вошли двое противных – учтивый и лживый Ян Сашин и Кривицкий, да еще Агапов{35}. Моя мысль о том, что принцип постройки неясен, – ни в ком не встретила сочувствия. Они не понимают, что такое постройка, т. е. единая *музыкальная,* а не механически стучащая фраза. Симонов предлагает стихи во втором и третьем номерах делить по возрастам поэтов: 30-е и 40-е годы. И это, по-моему, неинтересно и внешне. Я бы знала, как их разделить и организовать, *если* бы они все были в наличии. Но когда они все будут в наличии? Пока имеется только процентов тридцать пять.

Алигер прислала стихи – и среди них одно, к моему удивлению, хорошее. Но, кажется, труднонапечатаемое.

5/I 47

Вот сколько дней я не писала.

Все эти дни – поэты дома, поэты в редакции. Лица, лица и стихи.

Я очень во многом разобралась за эти дни.

Чувствую себя значительно лучше, хотя, как всегда, и не совсем хорошо.

1-го я позвонила Борису Леонидовичу и поздравила его с Новым Годом. Ни слова не спросила о стихах, о Симонове. Но он сам сказал:

– Знаете, я звонил Симонову. Сначала я его поблагодарил за хлопоты и пр. А напоследок сказал ему грубость. Он мне стал жаловаться, как трудно вести сейчас журнал, как много

подводных камней и мелей и пр. Я ему говорю: так что же вы об этом не пишете? об этих трудностях? какой же вы после этого редактор, общественный деятель?

* * *

Недогонов. С умными, прекрасными глазами, кожа да кости. Мороз в 24 градуса – на нем летнее пальто и тапочки. Этого невозможно терпеть. У него двое детей. Говорят, он пьянствует. Наверное, это правда. И под этим предлогом ни Союз, ни журнал ничего для него не делают.

Кондырев. Этот поплоше – хотя и не без способностей.

Шубин. Противен. Неинтересен.

Гинзбург. Способная, но комнатная. И навязчивая{36}.

Необыкновенно неприятный, с грязными глазами и мокрыми руками, Мартынов. Вычурная бездарность.

Милый и умный Кронгауз{37}.

* * *

Ивинская делает вид, что «обслуживает» меня – при полном безделии. Ей нельзя поручить, конечно, не только того, что имеет отношение к поэзии, но прочесть корректуру или дозвониться кому-нибудь – тоже. Вечно бегает по своим делам или флиртует.

* * *

15-го я должна послать Симонову в Кисловодск подборку. Туся обещала помочь построить. Стихи хорошие есть – Смеляков, Недогонов, – но мало{38}. Кстати: Алигер дала три стихотворения, из которых два заурядны, а первое («У меня еще один денек») – превосходно{39}. Я удивилась. Но первое она боится печатать… Я видела ее дважды: стареющая девочка, старенькая пионерка. Деревянная, некрасивая, сухая. И говорить с ней трудно: нет контакта.

Вчера я видела ее у Лели. Там она была очень разговорчива, но также как-то бесконтактна.

Мы вместе ехали в машине назад.

* * *

Сегодня в «Лит. Газете» Ермилов ругает Платонова и заодно Симонова, который поместил его рассказ в «Новом Мире»{40}.

Рассказа я не читала.

7/I 47

Ольга Всеволодовна с грудой плохих стихов. Сидела до бесконечности, сплетничала. Утомила меня ужасно.

Хорошие стихи Антокольского. А я ведь не любила его всегда. Видно, то, что у него в столе, много лучше того, что печаталось. Но трагическая нота – без которой поэзия и невозможна – как ее защитишь? К счастью, она в тембре голоса, а не в слове.

8/I 47

Звонит Борзенко. А я не могу добраться до его рукописи.

Все время думаю о подборке.

Готовлюсь к завтрашнему приемному дню.

Опять был Недогонов. Удалось его накормить, сунуть 100 р. и папиросы и выудить два хороших стихотворения для подборки.

Поправки к поэме он принес не весьма. И как странно, что в стихах еще много вялых строк. Я думала, он зрелее.

И конечно, очень не прям.

9/I 47

Еле поспела к трем часам в редакцию. Там – Недогонов с последними поправками, милый толстый калека Кронгауз, приведенный ими довольно нудный Ойслендер, полуспособный Рощин{41} и, главное, письмо от Зыбковца. Письмо строптивое, но стихи хорошие, я рада.

Ойслендер сказал: – Мне рассказали, что в «Новом Мире» начали *говорить о стихах.* Меня печатают часто, но со мной никто не говорит. Вот я и пришел. Можете не печатать, но поговорите.

Отвыкли люди.

13/I 47

В редакции – Ойслендер, Рощин, Наровчатов. Говорю, прельщаю. Спасение, что Кривицкий болен и потому свободен его кабинет. В ушах гудит, и глаз режет.

Думаю 15-го мне подборки не отослать, потому что Алигер не принесла поправок и многие.

14/I 47

Семь часов у Тихонова!

Стихи (странные; никакие; иногда – хорошие); рассказы о Югославии; потом, к счастью, – обед и водка, иначе бы мне не выдержать.

Он попросил, чтоб я прочла ему стихи. Собранные. Я читала. Замечания были меткие, но иногда (редко) – требует точности там, где всё на другом. Симонова он, по-видимому, не очень любит. Это осторожно. Весело смеялся над Щипачевым. С ним у меня вкусы, пожалуй, больше совпадают, чем с Константином Михайловичем.

Но интересно не это. Я только в середине беседы поняла, почему он хотел послушать стихи.

Читаю ему Маршака, не говоря, кто.

– Отгадайте?

– Ахматова? Нет…

Потом догадался.

Потом, в конце.

– А почему же статья К. М. [Симонова] будет называться «В защиту лирики»? Что же здесь такого защищать? Тут все благополучно… Я думал, вы хотите взять под защиту лирику, которую хают…

То есть он боялся, что мы затеяли защищать Анну Андреевну и, скажем, Бориса Леонидовича. А потом, убедившись, что подборка серенькая и благополучная, – решил дать свои стихи. Дал очень хорошие пьяные Любляны – и похуже{42}.

С. Я. звонит – хочет взять свои стихи из подборки, чтобы дать потом цикл. Понятно: у него три чисто лирические стиха и он боится дать их неприкрытыми, не подперев «значительной темой».

Все понятно. И скучно.

Но я не осуждаю их. Они такие, какими могут быть.

15/I 47

В редакции с Сашиным и Ольгой Всеволодовной. Сашин, в последнюю минуту, сдался – и принес мне стихи своих «молодых». Он хотел делать отдельную подборку. И – игнорировал мою. Я перестала напоминать, просить. И вот он явился – любезен, точен, хитер.

Отобрали кое-что. Но сегодня уже не послать Константину Михайловичу, как было обещано. Не всё переписали, да и письма моего еще нет.

Трудная Алигер принесла поправки. Не все.

16/I 47

Сдала. Кривицкий (который выздоровел) обещал как-то отправить самолетом.

Утром писала письмо, пока было еще тихо. Двенадцать страниц.

Пишу ему – а какой будет ответ – не понять. Темно, темно.

Была в редакции. Заговорила о деньгах, что было очень противно, – я хотела, чтобы они сами вспомнили. Сказала Кривицкому, что хотела бы, чтобы сами помнили.

Львов – с неприятным лицом.

Замятин – милый и талантливый, но топорный и ничего не воспринимающий{43}.

Очень голодная Мочалова{44}.

Да, в редакции – Ковынев. Говорят, он сумасшедший.

Придя домой, я сразу кинулась читать его поэму.

Мертвечина и пошлость.

20/I 47

Денег не выдали. Велели позвонить завтра.

Утром я возилась с хозяйством. Потом читала накопившиеся стихи. Надо отдать справедливость Симонову: он мне давно говорил, что у Мочаловой следует что-нибудь выбрать, так как она талантлива; и он прав.

Я выбрала. Набросала рецензию на Борзенко.

23/I 47

Грязный, страшный день.

Прием в редакции.

Прием! Ни комнаты, ни стола, грохающая в спину дверь.

Я чувствовала себя униженной и бессильной.

Говорила с Мочаловой, потом с Межировым. В сутолоке, так что бессмысленно, хотя я и была хорошо подготовлена.

Заболоцкий. Все-таки прелестную музыкальную строфу он испортил. Читали гранки. А тут еще Кривицкий и Борщаговский{45} отозвали его и потребовали еще порчи. И без меня. И Заболоцкий почти согласился. А я обозлилась и решила не спустить.

Пастернак. Давно я его не видела. Постарел. Поседел, облез. А лицо всё – уже не глаза, а только рот.

Безумствовал.

Что делать со стихами? Как быть? Правда, выход есть. Кривицкий вызвал его только 20-го по поводу денег, а Ивинской он сказал, что разрешает дать стихи – раньше.

Но не только в этом дело. Я не пойму, что лучше для него.

Межиров – юноша с огромными голубыми глазами пятилетней девочки.

Он рассказал, что у Недогонова беда, жена больна, и есть уже совершенно нечего – нет картошки, едят один кисель.

Я решила поговорить с Кривицким. Но это мне не удалось в этот проклятый день.

Там заседание – опять что-то вынимают (в третий раз!), из 12-го номера.

Я оставила ему записку с протестом по поводу Заболоцкого и просьбой о Недогонове.

Теперь лежу дома и читаю гранки поэмы Недогонова.

Симонов молчит. Это тоже худо.

24/I 47

В одиннадцать вдруг явился Семынин. Я встала, оделась, умылась и почти накричала на него, больного. Потому что Люше негде делать уроки, а он пришел совершенно не в пору, сидит, курит, читает стихи.

Ушел. Пришла Ивинская с целой грудой сплетен и стихов.

Вся пересохшая внутри, я пошла в редакцию, где встретилась с Недогоновым, чтобы показать ему гранки.

Кривицкий выписал ему деньги.

Неразлучные пираты – Сашин и Раскин. Пираты – паяцы{46}.

Щипачев с еще одним стишком. Седой и непочтенный. С ним Златова{47}, которую я не узнала сослепу. Неловкий разговор.

Стихи чудовищные.

Надо опять писать Симонову, что-то решать с Пастернаком.

25/I 47

Утром встала рано, хотя еле держалась на разбухших, нарывающих ногах. И написала большое (не очень) письмо Симонову, приложив стихи Мочаловой, Гудзенко и Пастернака (два; за третьим надо идти к нему – третье из имеющихся у меня никак не подобрать). В письме написала очень сухо о Пастернаке – цифрами, – он, мол, был у Кривицкого 20-го, а нам позвонил, что разрешает печатать стихи 17-го… Насколько я понимаю, это значит, что стихи у него взять можно. Мне, мол, эти расчеты трудны, т. к. я отношусь к Пастернаку коленопреклоненно и пр., но распоряжение выполняю точно.

К концу страшного после недосыпа дня, мне позвонила Зинаида Николаевна{48}, что прибыл пакет и письмо от Симонова. Мне его доставили. Письмо длинное, но лохматое, спешное, без знаков препинания, «выполнить полностью» и пр. И там ему некогда, и там спешит! Милое, доброжелательное, иногда умное и всегда – поверхностное. Непременно хочет Щипачева, Жарова – да еще добавить Кумача{49} и пр. Давать в алфавитном порядке. «Моментальная фотография» современной поэзии… А зачем так безвольно? Зачем не подборка, а безразборка? К чему щелкать фотографическим аппаратом в ту секунду, когда человек чешет правой рукой за левым ухом?

Зарезал несколько хороших стихотворений (мало, правда!) и вставил довольно много плохих.

Сейчас сижу, сортирую, соображаю, кого вызвать, где что поправить.

В письме поразительный абзац:

«Александр Юльевич [Кривицкий] мне сказал, что 15-го с Пастернаком всё сделано. *Теперь надо просить у него стихов.* Я не могу. Выручайте!»

Конечно, это мило, что, приняв несколько ванн, он сменил гнев на милость. Но зачем же давать обратные распоряжения. *Теперь!*

И как неловко, что я ему сообщила числа не те, какие ему сообщил Кривицкий. Он подумает, что я лгу. А 15, 16, 17-го Кривицкий в самом деле был болен и не бывал в редакции. Конечно, он мог ему позвонить домой.

Боже, какая чушь.

26/I 47

Хотела дать себе отлежаться, но с утра явился Семынин, поднял меня, сидел, курил, говорил по телефону, выселив из-за стола Люшу, – и моя радость встречи с ним сменилась злостью. Я ведь просила его несколько раз, и устно и письменно, не приходить без звонка – а это уж такое наплевательство.

Дал перевод из сербского короля, который нельзя печатать; а стихов не дает.

Фадеев снова хлопочет о его поэме.

Целый день писала письма поэтам, излагала резолюции Симонова, утешала, приглашала и пр.

21/I 47

С утра в редакции. Мне Кривицкий назначил свидание в двенадцать утра, чтобы поговорить о сдаче в набор стихов, чтобы выслушать общие указания Симонова и пр. Но не пришел.

Я же, ожидая его, делала глупости: говорила с Долматовским и читала свои стихи Ивинской.

Долматовский оказался еще глупее, чем я представляла себе его по стихам. Пустые красивенькие глаза. Попросил посмотреть некоторые стихи и, прочтя Фо[ло]мина, сказал:

– Собачина{50}.

Обругал Пастернака.

Свои обещал «поправить мигом».

Ивинская быстро улепетнула на рынок продать мыло. Не делает она ровно ничего. Она работает (очень неквалифицированно) в день полтора часа, самое большое; я – четырнадцать, пятнадцать, а получаем мы одинаково: 1200 р.

На площади встретила Заболоцкого и вернулась с ним в редакцию опять.

Он решил исполнить оба требования Борщаговского и Кривицкого, хотя от одного я отбилась. Как он боится, бедняга; и – прав.

«Исправил» он хорошо; и виолы хорошо; но с лилеями беда: заменил хвощей – ночей, а хвощ по звуку это борщ и никак не верится, что он издает какое-нибудь пение… Я собственноручно восстановила лилеи и буду снова объясняться с Симоновым – если Заболоцкий до его приезда не найдет чего-нибудь хорошего для замены{51}.

Он читал мне великолепные переводы грузина, а потом своего «Скворца». «Скворец» – поразителен{52}. Но в подборку не дает – и опять-таки прав.

28/I 47

К четырем часам – к Эренбургу, с письмом Симонова.

Нет уж, пусть Пушкин ходит к Эренбургу, а я не пойду.

Сух, угрюм, недоброжелателен – не то ко мне, не то к Симонову, не то к «Новому Миру», не то к целому миру вообще.

Ни одного лишнего слова. Только дело. Пока говоришь, он сидит мешком, глядя в пол, ничем тебе не помогая.

Стихов не дает. Их у него нет. Симонов думает, что его журнал чем-нибудь будет отличаться, – напрасно. Будет та же серость. Ничего не дадут: вот ведь и Платонова не дали напечатать. Рассказ Платонова для Платонова – не лучший, но в журнале – из лучших… То же и со стихами станет.

Я немного пролепетала что-то про подборку.

– А Мартынов у вас будет?

– Да.

– Он – единственный интересный из молодых.

Ах так! Значит, ты – совсем неинтересный. Хоть и старый.

Оттуда в редакцию. Сдала Ивинской прочитанный самотек. До семи часов ждала Кривицкого. Комбинация такая: для сдачи в набор нужна его резолюция. То есть симоновской и без него достаточно – но тех экземпляров нельзя отдавать, где Симоновым написано «в набор»; надо другие – значит, нужны его резолюции. Это очень жаль, потому что он будет заново смотреть и цепляться.

Он спросил о Пастернаке. Я ему показала «Март», в котором совершенно уверена. И вдруг: это невозможно.

– Почему?

– Навоз! Всему живитель! Да это же целая философия!

Я ужасно разозлилась и наговорила резкостей.

Сказала Кривицкому, что он, наверно, вообще не любит стихов.

Он сообщил, что любит Ахматову, Лермонтова, Тютчева и что Пастернак гений, но…

Вошел Дроздов. Этот чинуша мне давно не нравится. Кривицкий дал ему прочесть стихи Пастернака.

– Это – издевательство, – сказал Дроздов{53}.

Кривицкий прочел Зыбковца.

– Плащаница – нехорошо, – сказал Дроздов.

Я объяснила.

– Это – только *бытовая* правда. А не общая, всенародная.

Боже, как мне стало скучно.

Теперь сижу, выдумываю строки для Кронгауза, который завяз.

Звонил Пастернак. Что он хочет перед сдачей посмотреть стихи. «Я от Недогонова (!) узнал, что вы собираетесь печатать и очень вам благодарен» (! как будто можно было сомневаться, что *я* решу печатать!). Мы условились, что я буду у него в субботу.

Ох, нелегкая это работа
Из болота тащить бегемота.

29/I 47

С утра в «Новый Мир» говорить с Мартыновым о поправках к его стихотворению и о новых.

Не знаю, чувствует ли он, как я его не люблю.

Я стараюсь быть очень с ним вежливой и мягкой.

Странной он души человек. Вычурный какой-то, придуманный.

Туся думает – судя по стихам и внешности, – что он – плохой человек А я не знаю, не уверена. Но ни грана поэта нет в его стихах, и мысли его о поэзии тоже какие-то – не дикие, не странные; а пустые и вычурные.

На правку он почему-то соглашается очень легко. Дал новые стихи, из коих я отобрала два, чтобы послать Симонову.

Плохие стихи. Он дал мне сборник своих поэм, который мне хвалил Симонов.

Поэмы – чудовищное недоразумение. Какие-то исторические анекдотцы, рассказанные безголосым раешником.

29/I 47

Прием. Урин, Некрасова, Наровчатов, Коваленков, Фоломин{54}.

Глупый, самодовольный и бездарный Урин.

Талантливый Наровчатов с упорным красивым лицом. Недаром С. Я. мне о нем говорил.

Некрасова. К счастью, встретились мы утром, в кабинете у Кривицкого было пусто, и у меня хватило сил на длинный разговор. Мы вместе переделали «Кольцо», которое я хочу послать Симонову вместо забракованного им «Гостеприимства»{55}. Она идет на поправки, когда они близки ее замыслу, когда они не извне, а с ее позиций. Когда же они внешние – она, молодец, не сдается. Дрожат руки и на глазах слезы. Несчастная, замученная, голодная, немытая, затравленная. Я не думаю, чтобы она была психически больна, – скорее нервно. Говорит:

– Я больше не хожу в Союз писателей. Там все надо мной смеются и хотят посадить в сумасшедший дом.

Будь они прокляты, обидчики поэта.

А она твердый человек, тоже выносливый.

Я не рассчитала своих сил и позволила после приема еще прийти ко мне домой Кронгаузу для общего разговора о его книжках. Книжки мне не понравились, я хотела сказать ему что-то существенное, но от усталости и мигрени плела невесть что.

5/II 47

Вот сколько не писала.

Придется писать конспективно.

Вчера была в «Новом Мире» с одиннадцати до семи. Шесть часов работала с Капусто{56}.

Потом – противный, глупый разговор с Кривицким о стихах. Очевидно, я что-то сделала не так: нужно было обойтись без Кривицкого и можно было. А я запуталась в трех соснах. Ну, впредь [буду] умнее. Он задержал до приезда Симонова некоторые стихи, которые я непременно отстою. Основная же масса пошла в набор.

Самое главное – в субботу была у Пастернака. Впервые я у него в городе. Холодновато, порядок, просто, картины на стенах. Было тихо и пусто, только кухарка гремела кастрюлями в кухне. Кажется, впервые мы были так, один на один, и он говорил со мной пристально и с интересом.

Как он жив – как молод – какой огонь в глазах и как восемнадцатилетне движется – и как постарел.

– Конечно, может быть симбиоз с действительностью. Это – чаще всего. И – второй путь, который неинтересен, потому что все это уже написано у Пушкина{57}. А есть еще третий – помимо всего, поверх всего.

О Симонове:

«Мне нравятся его аппетиты. Остальные хотят только ЗИС, а этот – и Америку, и Японию – ненасытимо».

Пригласил на четверг к Юдиной слушать его прозу! Он дал мне с собой на день статью о Шекспире. Статья гениальна, как «Охранная грамота». Хочется всю переписать или выучить наизусть.

В понедельник, как условились, зашел за статьей в «Новый Мир». Мы посидели за столом. В этот день – препоганая статья Фадеева, где опять он скучно лягает Пастернака (и Платонова){58}. Я спросила Бориса Леонидовича:

– Что, он не любит ваших стихов и вас? Почему он так упорно занят этим?

– Ах, почему? Нет, любит. Не знаю, не знаю… А я нарочно показываю, что не желаю с ним знаться. Летом какие-то помещичьи голоса у меня на участке: Шуня{59} с гувернером… Я открыл окно и нарочно закричал: «Эй вы, фадеевские! Тут и без вас люди живут!»

Скоро он ушел, обернувшись на меня от дверей.

Завтра целый вечер буду слушать. Только бы поспать сегодня, чтобы ничего не болело!

В редакции на днях – два часа разговоров с Мартыновым, который мне тяжел и противен («Смердяковское в нем», – сказал Пастернак) и который плохо перевел милого Гидаша.

Завтра будет письмо от Симонова по поводу моей второй посылки ему: Мочалова, Пастернак и др. Была телеграмма. Жду неприятного письма.

Талантлив, интересен Наровчатов. Непременно хочу его продвигать…

7/II 47

В «Новый Мир». Ольга Всеволодовна ушла гулять с Пастернаком с тем, чтобы зайти ко мне. Звоню домой – они уже ушли. Жду Кривицкого. Устраиваю ему сцену – со всей отче-

тливостью и злобой. Выручаю стихи в набор. Он подписывает – но намекает, что остановит в другой стадии.

Да, в редакции письмо от Симонова. Неприятное, как я и ждала. О числах ни слова. Рассуждения о стихах Пастернака – хотя и мягкие и деликатные, но в сущности кривицкие:

он споткнулся на том же навозе в «Марте» и на «всё сожжено» в «Бабьем лете». Что, мол, сожжено? Господи, ясно что – раз речь идет о лете. Не Красная же площадь и Николаевский мост.

Он просит меня просить Пастернака переставить строфы в «Марте» и заменить *всё* в «Бабьем лете». Ну нет, этого не будет… Я попрошу Константина Михайловича договориться с Кривицким, Дроздовым и пр. окончательно и потом передам их решение Пастернаку – но предлагать поправок я не буду. Пусть берут или не берут… Борис Леонидович звонил вечером, благодарил за письмо.

Приехал бы уж Симонов поскорее.

10/II 47

К одиннадцати часам поплелась в редакцию. Холодно, пусто, ко мне явились совершенно никчемные автора.

Потом пришла Ивинская и наговорила кучу сплетен о том, что Кривицкий обижается, что мы считаем его врагом стихов и обвиняет нас в формализме.

Этого надо было давно ждать.

Где ему понимать, что Жаров – искусство бессодержательное, а «Март» Пастернака – содержательное.

Меня тошнило и от ее слов, и оттого, что мою позицию защищает – *она,* с кем я никак не связана.

Затем было счастье: Борис Леонидович, обещавший прислать мне «Рождество» и долго хваливший меня за то, как я эти стихи определила (в моем письме), – прислал их не мне, а Ивинской. И я прочла эти гениальнейшие из гениальных стихов{60}.

12/II 47

Дома – письмо от Симонова. Просит читать рукопись о Майданеке{61}.

13/II 47

В редакции: Ховкин [Ю. Яковлев] (плохая поэма){62}; Некрасова. Больной, своевольный, не глядящий в глаза, не то некрасивый, не то с прекрасным лицом Смеляков.

16/II 47

Хотела дождаться Симоновского звонка, но потом позвонила ему сама: уж очень многие люди ждут моего с ним разговора.

17/II 47

Два раза в редакции.

Утром – Сашин с польской подборкой. Груда сомнительных польских стихов в весьма посредственных переводах. Особенно плох Мартынов, который, увы, был тут же.

Переводы из польских поэтов похожи на то, как если бы Маяковский был переведен на польский язык, а потом обратно на русский.

«И очень много конских морд» (одним словом, «Полтава»){63}

Среди дня я ушла домой, пообедала, посидела и к шести вернулась в редакцию, на свидание с Симоновым.

Он пришел – загорелый, посвежевший, молодой – веселый, доброжелательный, мягкий – почти обаятельный. Поискал свободного стола, сели мы втроем: он, я, Ивинская. Он на угол:

– Семь лет без взаимности.

Выслушав мой предварительный доклад о подборке и о новых людях, он решил взять с собой – на дачу – всю груду стихов. Обещал отдать в четверг. Он тоже будет принимать в четверг, когда и я.

Выслушав мой отчет об Антокольском, о Пастернаке, об Алигер, он на несколько минут задержался у нашего стола.

– Мое положение особенно трудное, – сказал он. (Мы коснулись Платонова.) – Многие не любят меня, считают, что я вознесен не по заслугам и пр. И будут делать мне пакости. Но *мне* не могут пока – так будут крыть людей, которых я печатаю в журнале. Это мешает мне быть особенно смелым. А зато другие будут в обиде, что я не такой смелый… Но каков подлец Ермилов! Этот товарищ схлопочет от меня по морде. В том же номере, где поносит Платонова, делает передо мной реверанс…

– Что ж Ермилов, – сказала я. – Это ведь только псевдоним. Ведь и «Правда» повторила его версию, и «Культура и Жизнь»[{64}].

– Разве «Культура и Жизнь» тоже? – спросил он.

– Да, – сказали мы в один голос с Ивинской.

Странно, что он этого не знал.

– Прочтя Ермилова, я немедленно послал в «Новый Мир» телеграмму: заказать Платонову другой рассказ.

18/II 47

Из вчерашнего разговора с Симоновым примечательно еще то, что он сказал:

– Если бы у меня были только стихи, то и меня бы здорово хлопнули. Но у меня были и другие вещи.

И еще:

– По-моему, товарищи должны бы *научиться* писать в стол.

Чудак человек!

19/II 47

Пришла домой – позвонил Кривицкий: он был у Симонова на даче и Симонов просил передать мне, чтобы завтра к одиннадцати часам я пришла в редакцию.

Худо дело. Очевидно, они на даче *вместе* смотрели стихи. Так.

20/II 47

Так.

«Мы пришли к выводу, что стихов хороших все-таки мало. И решили давать не по три, а по одному».

Я не была готова к этому, а когда я не готова, то и беспомощна. Я не сказала ему, что это – удар по хорошим стихам, а не по плохим: плохие все равно останутся, а хороших становится меньше.

Алигер, Смеляков, Наровчатов.

Далее он изложил мне их резолюции.

Я очень протестовала на Наровчатова.

Кокетлив, товарищ, кокетлив. Он долго восхищался «Свечой» Пастернака; потом толковал, что ее нельзя дать; потом сказал, что сам позвонит ему. Потом:

– Я, может быть, для того и затеял всем дать только по одному, чтобы Пастернаку было не обидно.

Потом опять говорил о своем сложном положении:

– Ну как печатать людей, если потом тебе не дадут возможности их защищать?

– И все-таки, – сказала я, – хотя люди и их судьбы – это очень важно, но у нас есть забота более серьезная: литература.

Но это не дошло.

И не может дойти. И может, и не права я, а самое важное, в действительности, чтобы люди были живы. И сыты. И веселы.

Я сегодня в отчаянье. От всего вместе. От Кривицкого. От Симонова. От Капусто. От глаза. От того, вероятно, что не работала – ни над Пантелеевым *моим*{65}, ни над Герценом.

Успела внушить Симонову, что надо непременно помочь Семынину, который завтра придет к нему на прием.

21/II 47

От последнего разговора с Симоновым, от его кокетливого задора и внутренней слабости – до сих пор тошно на душе.

24/II 47

Когда я уже собиралась домой, приехал Симонов. Я обрадовалась ему. Вчера Кривицкий вручил мне стихи Васильева, Софронова и прочей дряни с предложением что-нибудь выбрать. Я сказала, что уже читала и выбрать ничего не могу{66}.

– А Симонову показывали?

– Нет.

– Покажите.

– Зачем? Я ему показываю то, что одобряю, или то, в чем сомневаюсь. А тут я уверена: не годится.

– Все-таки покажите.

Сегодня я показала – при Кривицком же. Симонов во всем согласился со мной, только Васильева всё же одно стихотворение отобрал.

– Через мой труп, – сказала я.

– Мне непременно надо одно его напечатать.

– Почему?

– Он мой личный враг.

Ох! Опять благородство.

Петровский. Одержим лингвистико-шовинистическими идеями, но дал хорошие стихи, стихи поэта{67}.

Забыла записать: Недогонов уже неделю в психиатрической лечебнице. Я рассказала Симонову. Он сначала вспылил: «терпеть не могу пьяниц», – но все-таки написал в больницу письмо на депутатском бланке и прислал мне с Музой Николаевной{68}.

Симонов, должна признаться, имеет способность выводить меня, хотя бы ненадолго, из мрака.

25/II 47

С утра пошла в редакцию для двух неинтересных встреч: с Вержейской, с Захарченко{69}. Ивинская принесла дурные вести: вчера Фадеев выступал с докладом на Сессии в Институте Мировой Литературы и громил Пастернака. Очень как-то [слово вырезано. – *Е. Ч.*]: школка, немецкое; переводит удачно только сумбур чувств, а не политическое и пр.; «не наш», «пропащий»… Придя домой со всем этим сором в душе, я позвонила Борису Леонидовичу. Хотелось услышать его голос. Боже мой, теперь и переводить ему не дадут, ведь это – голод… Разговор был сначала незначительный, потом он сказал фразу, из которой я поняла, что он еще ничего не знает.

– Я звонил к одному из Александровских людей, Владыкину; спросил его: можно ли мне затеять с Чагиным однотомник и можно ли устроить открытый вечер? Мне показалось, он выслушал благожелательно…{70}

Интересно, как теперь поступит Симонов с Пастернаком.

27/II 47

День без конца. Прием без конца. Люди без конца. Стихи без конца. Сутолока без конца.

Прием у меня и у Константина Михайловича.

Толпа поэтов в проходной.

Симонов на репетиции и неизвестно, когда будет.

Уходят, ждут, приходят, звонят – и, ожидая, читают стихи мне.

Гранки начала подборки. Шрифт, который расковыривает мне ранку в глазу.

Наконец, Симонов приехал. Начал принимать. И сразу позвал меня (я подумала: как Маршак Тусю) и началось трудное: чтение и обсуждение стихов с листа. Матусовский. Ушаков. Кирсанов. Наровчатов. Казин.

Целый день в редакции Некрасова. Целый день ждет Симонова: чтобы выпросить денег и прочесть стихи. Я с утра приняла ее первую; показала гранки; выслушала десять стихотворений; условилась, как, когда будем отбирать. Угостила завтраком. Но она не ушла, ждала. Она умна, талантлива, хитра и неприятна. В ее детской прямоте много хитрости и кокетства. Когда, наконец, ей удалось зайти к Симонову, она успела пожаловаться ему 1) на то, что Кривицкий не дает денег;

2) мне не нравится одна строфа в *политическом* стихотворении… Симонов обещал гарантийное письмо в Литфонд.

Но не в этом дело. Произошло следующее.

Некрасова сидела, ожидая, где-то в кресле – как мне казалось, на другом конце комнаты. У моего стола сидела Алигер. Я показывала ей гранки стихов – и протянула гранки «Мальчика» Некрасовой. Та вдруг:

– Этой идиотки?

– Она вовсе не идиотка.

– Неправда! Она идиотка! Я знаю наверняка! Терпеть не могу шизофренической поэзии! Если вы станете ее защищать, я с вами поссорюсь.

– Прочтите.

Она прочла «Мальчика» и согласилась, что это очень хорошо.

Вдруг подошла Некрасова.

– Мне очень нравится ваш лексикон, товарищ Алигер, – сказала она.

О, как это непереносимо{71}.

29/II 47

А сегодня мерзко. Всё, с начала до конца.

Я как-то проспала и в то же время не выспалась. Встала с головной болью. Собиралась в редакцию к двенадцати, но пришлось спешно бежать к одиннадцати, потому что у меня была книжка Сельвинского, которая понадобилась Симонову, пришедшему спозаранку.

Я примчалась – однако он долго был занят бухгалтерскими делами.

Пришел Ошанин, вызванный Кривицким, хотя ни я, ни Симонов его не звали.

Стараясь быть возможно мягче, я объясняла ему, что он не лирик.

Он старался быть весьма корректным, но все же успел мне сообщить, что мое мнение – вкусовщина и что ему жаль, что Симонов из *моих* рук получил его стихи.

Что я могла ответить на это. На первое – ничего, на второе – тоже, потому что не могла же я ему сказать, что Симонов говорит о нем: «бездарен, как стол», «тринадцать лет знаю – и ни одной строки» и пр.

Он вышел и заговорил у окна с Ивинской.

Ивинская сообщила: он говорил сквозь слезы.

Когда вошли ко мне Симонов и Кривицкий, я сказала, что Кривицкий виноват, что незачем было звать Ошанина и мне сейчас совершенно бесплодно его огорчать.

Кривицкий, как всегда, не понял слова «бесплодно» и стал объяснять, что нужно быть смелым и прямым.

Смелым! Но в данном случае – для чего? Разве человек, пишущий пятнадцать лет, поверит, что он не поэт?

Симонов мягко, но твердо сказал Кривицкому, что приглашать поэтов без нас – не следует.

Кривицкий отравил бы меня, если б мог.

И отравит когда-нибудь.

Но Симонов недвусмысленно всячески «поднимает» меня.

Потом Ольга Всеволодовна доложила, что приходил Ковынев и сказал, что мы все интриганы, а Симонов обещал напечатать его поэму. Я спросила Константина Михайловича, правда ли это? Он вспылил, схватил перо и написал:

– Ввиду того, что Вы сказали, что я обещал напечатать Вашу поэму, которой я не читал, – я читать ее не буду.

И дал записку Ольге Всеволодовне, не желая слушать никаких объяснений.

А мне хотелось, чтобы он выслушал и чтобы прочел.

Но говорить толком как-то нельзя было. Все – наспех, под звон телефонов. И хотя и благородно, но каждую минуту с оглядкой на Кривицкого:

– Саша, это я верно сделал?

Потом показал мне свои последние стихи: На день рождения{72}.

Со второй половины они совсем хорошие – с подспудной грустью, – и потому мне легко было хвалить их – и легко было бранить первую строфу, очень плохую.

3/III 47

С утра была в редакции, работала с Уриным, Ойслендером.

Потом Ивинская уговорила меня пойти на совещание молодых, послушать «руководящие» доклады. Я согласилась, желая сама, своими ушами послушать о Пастернаке.

Кировский дом пионеров. Капусто с пылающими щеками. Мы втроем в бельэтаже – опоздали, – Фадеев уже говорит. За столом как-то кучей президиум: Михайлов{73}, Маршак, Тихонов, Федин. Впервые я увидела Фадеева (видела в Казани, спала рядом на стульях, но тогда не разглядела). По-моему, очень неприятное лицо с хитрым и злым ртом и белыми глазами.

Говорит с темпераментом, умело, но, по существу, плоско и неумно. О Пастернаке мягче, чем я думала (говорят, ему сверху приказали слегка поприкрутиться), не по первому разряду, а по второму, но в достаточной степени гадостно. О немецкости – нет, о чуждости – тоже нет, но индивидуализм, бергсонианство, ничего, кроме 905-го и Шмидта{74}, невнятица, не может ничего дать молодежи и пр. пошлости. (Странно: я уже всё просто забыла и мне смерть как скучно вспоминать.)

В перерыве мы спустились вниз. В вестибюле Алигер, Тушнова, Недогонов, Наровчатов – множество всякого народа. Мы пересели во второй ряд. Доклад Перцова о поэзии. Нескладно, приблизительно, невнятно, бездарно. Тоже о Пастернаке. «Вот в 46-м году вышло «Избранное». Что же позволяет себе поэт печатать в этом «Избранном?» (Жду с замиранием сердца: что же?) Строфы, которые так трудны, что пробираться через них – не окупающийся труд». И цитирует совершенно понятное легкое об Урале («без родовспомогательницы» и пр.){75}.

Если бы я взялась за это нехорошее дело, я бы исполнила его лучше. Мало ли у Пастернака действительной зауми?

Затем – доклад Симонова о драматургии.

Он должен был докладывать о поэзии, но уклонился.

Я должна признаться, что говорил он умно, и элегантно, и благородно – ни на кого не кидаясь.

4/III 47

Встала сегодня в девять – и вот только сейчас, через двенадцать часов, смогла сесть за стол в Библиотеке, писать, думать.

…Днем решила пойти в редакцию в надежде увидеть Симонова и показать ему «Окраину» Семынина{76}, которую я хотела бы дать в № 3. Дождалась его. Но он забежал на секунду и меня не принял: между репетицией и поездом, едет в Ленинград, весь черный от устали.

6/III 47

Страшный поток людей и гранок – страшный – державший меня часов семь – без еды – в грохоте дверей, в куреве – нет, не могу – в физическом и душевном ужасе.

Ивинская приносит газету, где ругают Пастернака{77} и почему-то настойчиво требует, чтобы я зашла к Музе Николаевне.

Иду, после всего.

Муза Николаевна радушна, поит кофе. Муж ее литератор – кажется, нуден. Затея Ивинской: пригласить Бориса Леонидовича читать к Музе Николаевне.

Я звоню ему, приглашаю.

Чувствую во всем этом какую-то фальшь и глупость.

Сейчас пришла домой. Завтра – Симонов, который, оказывается, улетает в Англию. Вот почему он такой вытаращенный. Без конца составляю список дел к нему. Хочу показать ему «Окраину» Семынина – ему понравится, может быть, – и тогда Кривицкий с его резолюцией вынужден будет пустить.

7/III 47

А я с утра в редакцию – там уже ждет Симонов, запершись с Кривицким. Меня принимают; по движениям, по лицу, по голосу Симонова вижу, что он не в духе, замучен, холоден, на какой-то другой, чужой волне. Говорит отрывисто, официально… Передает мне стихи ленинградцев – рывками – и вдруг – вскользь:

– Знаете, Пастернака мы не будем печатать.

Так.

– Только позвоните ему перед отъездом, К.М., – говорю я. – Скажите сами.

Он как-то неопределенно кивает.

А Кривицкий взрывается:

– Незачем тебе звонить… я не ждал от него… крупный поэт… что он дал за стихи? ни одного слова о войне, о народе! это в его положении!

– Мне жаль, – говорю я, – что мы просили у него стихов.

– Нисколько не жаль! Просили, а печатать не будем! Нечего стоять перед ним на задних лапках!

– Разве *не* просить у него стихов – значит, стоять на задних лапках?

– Товарищи, товарищи, не надо, у нас еще много дела, – морщится Симонов.

Я ставлю еще один роковой вопрос: о Бирман{78}. Кривицкий добился, чтобы ее не печатали, и теперь не хочет даже, чтобы ей заплатили. Я говорю о неприличии. Симонов велит платить. Кривицкий возражает.

Даю Семынина. И на минуту – счастье. Симонов читает с увлечением, с радостью, очень артистически – смеется – и Кривицкий смеется – и я на эту минуту, на одну, люблю их обоих.

Симонов произносит о Семынине целую речь – о его нужде и таланте, – забывая, что слышал он ее от меня же. Ну, это пусть.

Аудиенция окончена. Я ухожу из кабинета в грязь и суету приемной, где мне негде сидеть, где нет чернил и пр.

Поток людей сквозь поток гранок. Мне бы унести гранки в тишину, посидеть, подумать – но нельзя: № 2 идет спешно. А тут грохот, спешка.

Услышав новость о Пастернаке, Ивинская начинает реветь и ревет весь день, бездельничая, отказывая всем, ничем не помогая мне, – и я испытываю к ней отвращение.

Скоро двенадцать.

Написала письмо Симонову о Пастернаке. Надо успеть передать.

8/III 47

Была в редакции. Люди, гранки второго номера, верстки № 1.

Борщаговскому (который почему-то имеет право вмешиваться) не нравится Недогонов. Он, кажется, милый человек, но:

– Лидия Корнеевна, что значит «тишиной оглушены».

– Почему «перегоревший небосклон»{79}.

Вот поди объясни ему.

Один ответ: понимаете, это стихи! это стихи, а не газетная статья.

Милая, но чем-то меня раздражающая Спендиарова{80}.

Муза взялась передать Симонову мое письмо. Думаю, на этот раз уж он рассердится.

10/III 47

Позвонит ли Симонов Пастернаку?

Вьюга. Погода нелетная. Думаю, он сегодня не улетит.

Утром работала над Герценом.

Потом – в редакцию, добывать подпись Кривицкого для всяких стихов – последних для подборки, в частности для одного отрывка из поэмы Семынина, который он наконец надумал дать. (Мне удалось под «Окраину» уже добыть ему деньги.) Но Кривицкого нет – провожает Симонова. (Ну, значит, Симонов не позвонит Борису Леонидовичу.)… Держит его за горло, как бульдог.

12/III 47

Режим работы, режим сна – ха-ха!

Сегодня в три должна была прийти работать Эмма Григорьевна. Но в 2.30 мне в редакцию из-за поляков. Прихожу – меня Наталья Павловна (зав. производством){81} оглушает новостью:

– № 1 сильно сокращен, нет бумаги – сняты болгары, латыши и Заболоцкий.

С тех пор 7 (семь!) часов борьба с Кривицким из-за Заболоцкого.

Он не против, но: за снятие Стонова ему влетит{82}, за снятие критики и библиографии тоже, а за снятие Заболоцкого – нет, и он снимает его, хотя там всего четыре страницы.

Уже истощив все доводы, я нахожу неожиданного союзника в Агапове, который горячо отстаивает эту поэму как событие в литературе. Кривицкий уходит – Агапов обещает мне звонить ему вечером.

Даже Дроздов обещает помочь.

Вечером – не заходя домой, – придумав новые доводы, иду к Кривицкому в «Красную Звезду»; убеждаю, хитрю, молю; при мне звонят о том же Дроздов и Агапов; Кривицкий неколебим («не мог щадить он нашей славы»{83}) и только обещает, если ему удастся выхлопотать где-то еще два листа – тогда напечатать его.

А в № 2 нельзя – там лирика занимает всё место.

Как я устала, устала.

Пастернак, Заболоцкий.

По живому.

Мне еще предстоит звонить Борису Леонидовичу.

Я бы хотела лучше пойти к нему, но нет возможности.

Завтра прием. Послезавтра Капусто и Кривицкий.

13/III 47

Писать не могу. Встала в семь, проснулась в пять. С утра в редакции. Заболоцкий идет. Сегодня его уже печатают.

Целый день сидела в редакции и правила, клеила гранки подборки.

Сдала. А в верстке ее начнут резать.

Телефон не работает… письмо Пастернаку.

16/III 47

Вчера позвонил Пастернак. Благороднее нельзя было ответить на мое жалкое письмо. Он же еще меня и утешал.

«Всё это пустяки… Важно то, что Вы меня уважаете и я никаким другим не буду… А я сейчас очень рад. Я узнал недавно, что издательство (какое-то английское название) выпускает переводы русских классиков (перечисляет), а из советских (sic!) только два: я и Блок. Я эти переводы видел и, знаете, чему обрадовался – я думал, что у меня многие стихи вокруг рифмы, а смысла не имеют никакого – но оказалось, что в переводе без рифм, где один прозаический подстрочник, – смысл всё равно есть». (?!)

18/III 47

Тяжело писать, а надо.

Симонов когда-то – когда я еще только пришла в редакцию, – отдавая мне переводы Мочаловой, исполненные по его заказу, сказал:

– А те, которые не подойдут, надо будет оплатить в 50%-ном размере. Она очень бедная женщина…

Два ее перевода я забраковала, два вытянула.

Когда она спросила меня о деньгах, я, для подтверждения, зашла к Кривицкому, рассказала ему о желании Симонова и спросила, когда ей можно обещать деньги:

– Когда будем платить по № 1.

Я так и сказала ей – глухой, больной, голодной.

Теперь идет разметка по № 1. Я звоню Кривицкому.

Чудовищный разговор. Ничего не помнит, ничего не было, ничего не обещал. «И не берите на себя, пожалуйста, инициативу в денежных делах».

Это мне месть за Бирман, которой он вынужден, по моей инициативе, платить.

Лгун и интриган из породы Мишкевича{84}.

* * *

Длинный разговор с Раскиным, который тоже – по своей линии – возмущен Кривицким.

Эта крыса всех сгрызет.

Не стала бы я с ним вообще разговаривать – но – подборка. Не миновать разговора.

Я дам ему почувствовать обиду.

19/III 47

Утром – Семынин. Он теперь гораздо бережнее меня расспрашивает о здоровье – или мне кажется так? Чудные штуки люди! Он пришел, сел и сказал буквально:

– Я решил печататься в «Новом Мире» в каждом номере…

Господи! Хоть бы в одном протащить…

20/III 47

Вечером пришла Ольга Всеволодовна с целым ворохом сообщений о Кривицком.

Позвонил Раскин: ему сказала Наталья Павловна, что Кривицкий решил сократить подборку на лист.

Я решила предложить перенести ее в № 3, чтобы дождаться Симонова. А во 2-й номер сдать то, что у нас готово для № 3… Иначе никакая антология не получится и никакой лучший отбор тоже: ни то ни се.

Не желая говорить с Кривицким после его грубости, я попросила Ольгу Всеволодовну позвонить ему и спросить, когда будет обсуждение подборки.

Он ответил ей грубо, одним словом: извещу.

Так.

А все-таки Бирман уплачено, а все-таки Заболоцкий идет, а все-таки Мочаловой и Лейтину тоже уплачено будет, а все-таки я уже научилась добиваться своего.

Говорили опять о предстоящем чтении Пастернака у Кузько{85}. Хозяин глуп и плосок. Общество неизвестно. Положение перед «Новым Миром» щекотливое. Ответственность перед Борисом Леонидовичем большая и ложится на меня (в его глазах), хотя я нисколько не была инициатором, а только согласилась принять участие.

Не жду хорошего.

21/III 47

Девять часов подряд вычитывала с Ольгой Всеволодовной корректуру подборки.

Глаз болит.

Много плохих стихов – Васильев, Рывина, Луконин{86}.

Интересно, что придумает Кривицкий. По сведениям моей тайной агентуры – он хочет не сокращать подборку, а пустить ее подряд, не с отдельной страницы каждого. Ну, это еще не худшее. Только бы уцелели Семынин, Недогонов, Светлов, Тушнова, Наровчатов, Некрасова, Зыбковец…

Что за пакость – Кирсанов.

26/III 47

Не знаю, как держусь на ногах.

С утра в редакции, чтобы выяснить, нет ли ошибок в сданной мною вчера корректуре.

В ответ – грубый скандал, учиненный мне ни с того ни с сего Натальей Павловной и, в ее защиту, Кривицким.

Будет ли исправлена ошибка или назло не будет – так и не ясно.

27/III 47

Приемный день в редакции. Ойслендер, Ховкин [Ю. Яковлев], и еще, и еще.

С Натальей Павловной не разговариваю. Так и не знаю, исправит ли она грубейшую опечатку на рифме (у Тихонова!) или же назло оставит так. Во всяком случае о ее бюрократизме и грубости буду говорить с Симоновым.

Вечером написала заявление Кривицкому насчет несогласия моего с тем, что подборку дали сплошняком, в подверстку. Прочла заявление Семынину, который сейчас мой союзник и собирается говорить с Симоновым о неспособности Кривицкого вести журнал.

Я буду с Симоновым тоже о многом говорить: о грубости Кривицкого, о том, как он тиранит Ольгу Всеволодовну, о его защите наглого поступка со мной Натальи Павловны. О том, что он всех теснит и все от него хотят подальше. (Вчера мне жаловался на него Замошкин{87}. Вообще в редакции его все дружно ненавидят.)

8/III 47

Кривицкий непременно будет сокращать подборку, и непременно – за счет лучшего, и сделает это самым неуважительным образом: без меня. Ну, ладно, обо всем поговорим, настанет время.

1/IV 47

…Зашла на минуту в «Новый Мир» – глянуть на сигнал № 1 и успокоить Ольгу Всеволодовну насчет намерений Кузько.

В номере – Недогонов, Заболоцкий. Опечаток, кажется, нет, все пристойно.

Ольга Всеволодовна сообщила мне – со слов Заболоцкого, что ходят слухи, будто «Новый Мир» закрывают.

Оно бы и по заслугам. № 1 – в апреле. И злой клоп Кривицкий, всех давящий своим преувеличенным чувством субординации… Как будто субординацией держится такое живое, страстное дело, как журнал!

4/IV 47

Ну вот и развязка истории с подборкой. Боже, какой чудовищный по напряжению день. Капусто. Как всегда – утомительно и бесплодно.

И бесконечно долго.

Во время работы с ней мне позвонил Асеев. Очень мягко спросил:

– Лидия Корнеевна скажите, почему не идет моя «Горная Идиллия».

– Как не идет! Она подписана к печати.

– А т. Кривицкий говорит, что она не идет.

– Это значит, что он снял ее…

Звоню Кривицкому.

– Ведь вы обещали мне, что сокращать подборку мы будем вместе.

– Я никогда вам этого не обещал…

Как я всегда *удивляюсь* лжи. Уже до сорока лет дожила, и всё она меня ошарашивает каждый раз. Он не обещал! Обещал и лично, и по телефону раза три.

– Александр Юльевич, в какое положение вы ставите меня перед авторами. Я только что сказала им, что стихи идут, а потом оказывается, что они не идут…

– А вы никогда не должны говорить, что они идут. *Над вами есть еще люди…*

Одним словом, в сотый раз – всяк сверчок знай свой шесток.

От Ивинской (на которую он накричал за ее вопрос, что осталось в подборке) я узнала, что снят Асеев, Антокольский, мой милый Зыбковец, мой Семынин («Облака»), неприятный Луконин, Гитович, Ушаков.

Зыбковцу я писала, что он идет, Антокольскому говорил всякие приятности Симонов, насчет Гитовича он дал мне строжайшее распоряжение – непременно печатать (при Кривицком), у Луконина *мы просили* стихов.

Он не считается не только со мной, но и с Симоновым.

А я шутом гороховым не буду ни у кого.

Непременно буду говорить с Константином Михайловичем об этом способе работать, об этом понимании субординации.

Сорок телефонных звонков.

5–6/IV 47

Ну вот опять ночь, опять после Пастернака.

Теперь я уже не сомневаюсь, что мы вчера присутствовали при чтении «Войны и Мира».

Это «Война и Мир» нашего времени, на этом будут расти наши дети.

Это великая книга великого народа. И задача теперь в том, чтобы он ее дописал, чтобы его не сломали раньше. Только это. Бог с ним, с печатанием.

…Явилась нарядная Ивинская, и я отправила ее с машиной за Борисом Леонидовичем. Потом за мной зашел приглашенный мной Семынин и потом Эмма Григорьевна{88}. И мы отправились.

Нельзя сказать, чтобы я с легким сердцем шла на это дорогое свидание в чужом, неизвестном обществе, о котором мне известно, что Кузько глуп и пошл, Муза не литературна, а гости – кто их разберет. Но волноваться было поздно.

Мы столкнулись у лифта – Борис Леонидович с Ивинской и мы.

Он в летнем очень некрасивом старом рыжем пальто и широкополой, не идущей ему шляпе.

В его присутствии меня все режет. Плохие фотографии на стенах. Японские трофеи Музы Николаевны – безвкусные тарелки – американский ширпотреб – «под Японию», который она ему – ему! – показывает. Новые, только что вышедшие книги, отточенные карандаши и квадратики бумаги, *нарочито* разложенные на общем столе в комнате Кузько; тупое неинтересное лицо его молодой сожительницы (бывшей воспитанницы Музы Николаевны).

Мы довольно долго ждем опаздывающего Агапова.

Большинство мне незнакомо. Очень подозрителен по части глупости и пошлости человек, одетый под англичанина, в каких-то полуспортивных брюках.

Семынин забился в угол, у него измученное больное лицо. В последнюю минуту пришел хорошенький неглупый и неуместный Зильберштейн{89}. Тушновой нет. Эмма Григорьевна, у которой было все время очень чистое лицо, сидела возле меня.

Борис Леонидович сидел за отдельным столиком, под лампой.

Он начал говорить об искусстве. Я многое записала стенографически. Главная мысль была, что проза – наиболее совершенная форма словесного искусства. Это – театр, но тут нужен не драматург, а прозаик.

Потом он начал читать.

Будто все окна открыли, будто я вступила в какую-то новую, легкую и светлую жизнь.

Я слушала вторично и еще отчетливее понимала величие.

И стихи – стихи его героя.

Те самые, которые могли бы сделать «Новый Мир» литературой. «Март», и «Бабье лето»; и – бессмертная – Звезда Вифлеема («Рождественская Звезда»).

И тут разразился один из гостей. Он сказал сразу то, что, как объяснял мне по телефону Борис Леонидович, его больше всего огорчает: *стихи лучше.* Между тем они не лучше. «Медный Всадник» *не лучше* «Войны и Мира», а для восприятия – легче как более конденсированная форма искусства. Боже, что кричал сытым голосом пошляк. Борис Леонидович мельком сказал что-то такое о Маяковском, пошляк сказал: «Весь Маяковский не стоит одного этого стиха».

Самодовольный голос.

Во время чтения он иногда восклицал с места: «вот это великолепно».

Я готова была его убить.

Я старалась скорее увести Бориса Леонидовича – я сама многое бы сказала – но тогда заговорили бы и идиоты, и мне хотелось только поскорее его увести.

Мы шли втроем по Тверской – по холоду, – он под руку с Ивинской и я на пристяжке.

Он был прелестен и жалок. Он будто не знает, что гений, и хочет, чтобы это ему повторяли. Он лепетал что-то, что собирается мириться с Фадеевым, потому что сын сказал ему, что ему кто-то сказал, что, если будет установлено, что он дурно влияет на молодежь, – ему капут.

А я думала о том, что после гениальной прозы можно уже не драться с Кривицким, а просто идти помимо него, куда-то выше.

6/IV 47

Утром звонил Семынин, говорил очень умно и тонко о романе; я его переадресовала к Борису Леонидовичу.

7/IV 47

Константин Михайлович приедет 10-го. Готовлюсь к разговору с ним – обстоятельному, полному, обо всех делах журнала.

8/IV 47

Решила дать отдых глазу и целый день проваландалась: днем ходила по второстепенным делам, вечером у меня без конца сидела Ивинская.

В промежутке – звонок от Кривицкого. Совершенно идиотский. Семынин в № 3 не идет – его потеряла Наталья Павловна, он не набран. Предлагаю немедленно прийти, принести экземпляр – нет, поздно. В № 3 будет один Гидаш, Семынин переходит в № 4.

9/IV 47

С утра я потащилась в «Новый Мир» – из-за пертурбации с № 3 и 4. Поэма Семынина, которой должен был открываться № 3 – утеряна Натальей Павловной; а теперь набирать заново – поздно. Очень мило.

Кривицкий как-то добрее и со мною, и с Ольгой Всеволодовной. Однако на свой манер. Он вошел в комнату, где я была одна, и сказал:

– Если хотите, я могу сейчас вам сказать, что изъято из подборки.

– Теперь поздно, – сказала я, – теперь уже я могу из напечатанного узнать.

Но он все же сообщил.

Я спросила, как будет с авторами, когда он известит Антокольского и др.

На это он сообщил мне, что никого не извещает, так как еще *до печати* будет советоваться с Симоновым.

Это интересная новость. Однако успеет ли Симонов прилететь. Теперь, говорят, – 13-го.

10/IV 47

Зачем я разговариваю с Кривицким? Он, как опытный провокатор, вечно вызывает меня на разговоры, а потом хамит.

Сегодня у меня приемный день.

Кроме Кушнерева{90}, никого интересного.

Снова разговор с Кривицким, вызванный им, и очень знаменательный.

Я проиграла свою пластинку насчет отсутствия в редакции коллективной работы, обсуждения рукописей и пр.

На это он ответил:

– Редакция не дискуссионный клуб и не салон. А если вам хочется устроить салон – то Муза Николаевна предоставляет для этого удобное помещение поблизости от «Нового Мира».

И еще:

– Как это вы говорите, что никогда не слыхали в редакции *литературных* разговоров? Симонов тратит на работу с вами пять-шесть часов в день, а иногда дни и ночи…

До каких гипербол доводит ревность!

Все-таки этот умный человек очень глуп и плосок, кроме всего прочего.

* * *

Пришла домой – на столе «Культура и Жизнь» с подвалом хвалебным о Недогонове и шпильками по адресу редакции. «Неряшливые фразы», «слабые места» и пр.{91}. Что ж, пусть. За Недогонова я рада. Только бы это не значило, что Заболоцкого будут ругать.

12/IV 47

Симонов прилетел. Кривицкий торчит у него. (Сведения от Музы Николаевны.)

Затребует ли он к себе подборку?

Воображаю, как информирует его Кривицкий{92}.

13/IV 47

Звонила Константину Михайловичу – тщетно. От Музы Николаевны знаю, что он готовит доклад, смотрит «Русский вопрос», устраивает банкет актерам{93}. Когда еще до меня дойдет очередь. А у меня полные руки стихов, вопросов, жалоб.

14/IV 47

С утра в «Новый Мир». Шевелева, Ойслендер, Кронгауз, Капусто. Ольга Всеволодовна с новой сплетней. Чинуша Дроздов сказал ей:

– Ну что, уже наябедничали хозяину? Нет? А мы уже сообщили ему всё, и ваша карта бита.

Так лакеи и горничные говорят в передней у большого барина, а не порядочные люди.

С барином же я беседовала секунду по телефону, и он мне назвал час (завтра), когда я могу ему позвонить, чтобы условиться, когда мы увидимся, – по редакционным делам. О других же делах я с ним не говорила, т. к. это было из редакции, у всех «на слуху». Но ему дозвонился Раскин и сказал, что нам троим нужен сепаратный разговор. Он обещал.

15/IV 47

День содержательный – и даже какой-то весенний, – и по-весеннему теснит где-то возле сердца. И не понять – хорошо или плохо, или только тяжко.

С семи начала звонить Константину Михайловичу в «Новый Мир», по условию. Он вдруг сказал, что с текущими делами я могу прийти сейчас. Я схватила заветную папку с подготовленными циклами и помчалась. Очень весенняя улица – холодно, сухо, зеленоватое небо, огни при свете – что-то не ленинградское, нет, но как отзвук забытого гимна. Константин Михайлович вышел мне навстречу из кабинета – располневший, приветливый, любезный, неторопливый. В кабинете был, конечно, Кривицкий. – Что Вы так располнели? – спросила я. – Пито много было, – сказал Константин Михайлович. – И скучно очень.

Кривицкий сказал, что удаляется на пятнадцать минут.

– Чтобы утешить вас с нашими отношениями с Пастернаком, – сказал сразу Константин Михайлович, – я хотел вам сказать, что я звонил ему и на днях встречусь и подробно буду с ним говорить. Я привез ему привет от его сестры и посылку из Англии.

Боясь, что Кривицкий вернется с минуты на минуту, я поспешила просить Константина Михайловича назначить мне свидание у него дома – мне и Раскину и Сашину. Он назначил в семь часов в пятницу.

Очевидно, он подборку изуродованную видел и благословил. Он мне сказал только:

– Зыбковца, Лидия Корнеевна, мы напечатаем в новых голосах. Очевидно, это мне в утешение.

Вернулся Кривицкий. И объявил, что нужно немедленно сдавать материал в № 4 – потому что стихи, перемещенные (из-за него) в № 4, возвращаются в № 3. (И Семынин в том числе…)

– Понимаешь, Константин, нельзя же, чтобы в № 3 отдел был представлен одним Гидашем!

Затем я передала Константину Михайловичу заветную папку и ушла.

Я торопилась в этот вечер на другое свидание – с Пастернаком.

Легкий, веселый, весенний, какой-то возбуждающий вечер.

Но чуть я уселась напротив Бориса Леонидовича за круглым, накрытым белой скатертью столом, в тишине пустой квартиры, в мутном блике картин, – меня сразу охватило чувство усталости и, главное, ненужности моего прихода.

Борис Леонидович надел очки, взял карандаш и бумагу.

Я читала какие-то десять стихотворений, потом поэму.

Прежде чем начать, я просила, чтоб он не был снисходительным – как бывала ко мне и другим, например, Анна Андреевна. С ее высоты всё хорошо.

Заговорили о ней, и в сторону он сказал:

– Стихи ведь непонятно чем измеряются. Ахматова, как и Мандельштам, и Гумилев, думает, что есть «ремесло», «уменье». А я думаю, что… – и он заговорил о глубине и о раскрытии человека, о личности.

Я читала, он помечал что-то на листках.

Я совсем не волновалась. Только мне казалось все ненужным; скучным и почему-то было все равно, что он скажет.

Он сказал:

– Вот и не правы мы оказались в начале разговора. Те ваши стихи хороши, где не только глубина, а есть и форма, и довоплощенность, и красота.

Такими он назвал «Вишни», «Но пока я туда не войду», «И все-таки я счастлива…», «В трамвае», «Свернула в боковую тьму…» – и «Поэму», а в других отмечал отдельные удачи: «Мертвая – равная», «И зорче мы видим глазами…»{94}.

Обо всем он говорил доброжелательно и, вероятно, искренне, но во мне совсем не было радости, и я все время думала: «надо, надо бросить стихи».

(Как он сам у Скрябина о музыке{95}.)

Потом сидели, ели невкусный торт, разговаривали. Мне он казался очень усталым, очень обиженным, замученным. Рассказал о Крученыхе, который пришел его уговаривать написать какое-то заявление, о Зинаиде Николаевне, которая выступает в обычной презренной бабской роли: «ты губишь Леничку» и пр…. Потом говорили о Риме, о христианстве, и меня поразило сходство с Герценом и жаль стало, что он его не знает: такое родство (как у всего великого). Потом о народе, о неверности этой мерки «народ понимает» – «народ не понимает».

Я сказала:

– Лучше бы мериться на Чехова, например. *Понял бы* Чехов или нет? Потому что Чехов есть *орган* понимания русского народа – *он,* а вовсе не пассажир метро.

Он чудно сказал:

– Конечно, все для народа и через него и от него. Но вы правы… А я, когда чувствую себя признанным, когда слышу отклик, – вот тогда я чувствую себя в долгу и хочу уметь в остаток жизни заслужить это незаслуженное мной признание.

Говорил еще о всяких своих намерениях, которые иначе не назовешь, как бредовыми: пойти к Фадееву, прочесть ему кусок из романа…

Он верит, что кто-то его будет беречь, он повторил несколько раз: «Ивинская сказала, что Замошкин сказал, что печатать можно. Как вы думаете?»

Бедняга! Стоит мне на минуту подумать о Кривицком… Или Ермилове.

16/IV 47

Нудные мысли о предстоящем разговоре с Симоновым, тяжелом.

На меня будет очень влиять обстановка, телефоны, m-me.

Но я выучу все наизусть, чтобы не сбиваться.

Да, вчера Борис Леонидович сказал:

«Мне необходимы такие чтения, как было. Для меня это наслаждение, почти физическое, чувственное. От лиц, от лампы и стола в комнате, от улицы, по которой мы шли».

17/IV 47

Нет, кажется я не в силах продолжать.

Мне недостаточно того сознания, что, не будь меня, – не было бы в № 1 Заболоцкого, в № 3 – Семынина, в № 2 – Некрасовой, Фоломина – тех островков поэзии среди моря риторики, фальши, мертвечины, которые мне удалось оборонить, возвести. Я, кажется, не согласна платить за них такой дорогой ценой, как платила сегодня.

А на что же я рассчитывала, смела рассчитывать? На какой рай?

Сегодня день редакционный – приемный – собирался быть очень спокойным. Я пришла, сидел один Ойслендер. Потом я взялась кое-что читать. Появился Симонов. Он сразу осчастливил меня двумя сообщениями: что едет в Ленинград и поэтому наше свидание отменяется, что стихов, данных ему, не прочел, а будем сейчас срочно читать вместе, так как надо сдавать срочно № 4 и № 5. Я вошла к нему. Началась скороговорка. Читал он как-то недоброжелательно и даже один раз сказал колкость. Забраковал несколько стихотворений, не *чудесных,* но вполне достойных печатанья. Упорно вчитывался в Гудзенко, когда мне хотелось, чтобы он прочел Семынина, Некрасову. Кривицкий входил и выходил. Вдруг Константин Михайлович объявил перерыв на сорок минут. Я не удивилась – думала, срочные дела – и ушла. Но через час он позвал меня и сказал:

– *Мы* решили в № 5 стихов не давать вовсе – потому что ничего особенно хорошего я не вижу тут, – а в № 4 дадим Карпенко{96} – он хотя бы свежий…

Во-первых, – каков поворот, решать, когда я сижу в редакции, но без меня – это новость! До сих пор он очень демонстративно всегда звал меня, когда речь шла о каких-нибудь стихах. Во-вторых, зачем говорить, да еще при Кривицком, что стихи плохи, – раз он не прочел лучшего, что я ему дала?

Одним словом, тот, по-видимому, накачал его здорово, налгал обо мне с три короба и решено меня «подсократить» и «поставить на место».

Уходя из редакции, Симонов подошел ко мне проститься и сказал: – Чуть я приеду, мы поговорим.

Но я уже не знаю, желать этого свидания или нет. Очевидно, тот нашел, что ему сказать про меня… Нет, все-таки я свое скажу.

А там – как хочет. Шутом не буду и у царя небесного, не только что у Симонова.

Неприятности следовали дальше.

Только что Симонов удалился, ко мне подошел Кривицкий и спросил:

– Как зовут Львова?

– Николай, – бодро ответила я.

Оказывается, Михаил – и опечатка, глупейшая, по моей вине, – опечатка в подборке{97}.

Кривицкий был довольно милостив, на мои ламентации великодушно отозвался:

– Ну что ж, со всяким бывает, – очевидно, решив, что с меня на сегодня довольно.

22/IV 47

Что за отвратительные, тупые, бездеятельные, нуднейшие дни.

Симонов изволил прибыть, но не изволил пригласить. А я, признаться, целый день ждала звонка от него.

26/IV 47

Ну вот, основной нарыв, кажется, вскрыт – или, по крайней мере, находится в периоде вскрытия.

Все было так, как я ждала, – то есть почти до точки. В ночь, предшествующую разговору с Симоновым, я не спала совсем – не было часа. Не спала не только от волнения, а потому что за день до этого была у Туси, поздно легла и выбилась из сна. Поняв, что не засну, я стала пробовать репетировать свою речь. Она изводила меня своей длиной, кляузностью, беллетристичностью. Побившись, я бросила. Было утро. Папа дал мне книжку – вызвать машину. Я заехала за Яном, а потом за Раскиным. Ян был бледен, томен (он поздно ложится), но, как всегда, как-то не по возрасту величав; Раскин живее. Мы приехали в пустой Союз. Константин Михайлович недолго заставил себя ждать. Мы вошли в огромный кабинет с печкой в изразцах и с бронзовым медведем на столе: я все пыталась понять, на чьем столе был точно такой же. В ту минуту, как Константин Михайлович предложил мне начать, – позвонил Кривицкий. Я начала говорить. Я не понимала, как он слушает, и у меня несколько раз срывался голос. Я говорила, перескакивая и чувствуя, что говорю слишком долго, что

Раскин и Ян ждут, когда я кончу и наступит их очередь. Когда я уже кончала – снова позвонил Кривицкий, главный герой моего повествования. Потом секретарша доложила, что академик Шишмарев{98}, которому назначено в одиннадцать, уже ждет. Значит, я одна говорила час! Симонов заторопился. А я рассказала почти все, о нравах Кривицкого и редакции, но до критики журнала не дошла. Симонов стал настаивать, что надо перенести разговор. Мы просили – сегодня же. Мне было ужасно неловко перед Яном и Раскиным. Симонов сказал: – В воскресенье я могу заехать к Лидии Корнеевне, когда буду проезжать с дачи в центр. У меня будет час времени. – Я в смятении согласилась… Отпуская нас, Константин Михайлович сказал:

– Я буду отвечать подробно и обо всем подумаю. («То есть поговорю с Кривицким?» – пронеслось у меня в голове.) Пока скажу только вот что. Вы, Лидия Корнеевна, говорите о коллективе и пр. Но вы – единственный человек в редакции, который высказывает мне *свое* мнение; Дроздов и Замошкин заглядывают мне в глаза, желая угадать, что думаю я, – поэтому их мнение мне неинтересно.

Раскин усадил меня в трамвай, и я поехала в редакцию – Симонов поручил мне поговорить с некиим Костериным{99}.

Ко мне кинулась Ивинская, потом Муза Николаевна, которая со мной чрезвычайно дружит и сообщает мне последние сведения о разговорах Симонова с Пастернаком или Кривицким.

Я пришла домой, повеселев, – как бы ни решился вопрос о моей работе в «Новом Мире», – он решится, и со смутным сознанием, что мне придется встретиться с Кривицким и это окажется не очень приятно…

Сегодня с утра я была в редакции из-за одного проезжего автора.

Сегодня у Симонова в редакции был прием. Раньше, слушая стихи, он всегда звал меня – сегодня нет. (Правда, меня в редакции не было – но мог бы позвать.) Вечером мне звонил Кронгауз и сообщил две любопытные черточки. Во-первых, когда он – Кронгауз – обратился с каким-то вопросом к Кривицкому, тот ответил: «Я стихами не занимаюсь. Обратитесь к Симонову». Демонстрация это, результат разговора с Симоновым – или просто так? Во-вторых, Константин Михайлович сегодня вместо того, чтобы принимать за закрытой дверью, как министр, – уселся в большой комнате за круглый стол и беседовал со всеми вместе – совсем как в том «дискуссионном клубе», о котором я ему вчера внушала. Ох, внушаемый он человек и это вовсе не хорошо – принимая во внимание окружение.

Ну что ж еще стоящее? На днях был у меня Николай Алексеевич Заболоцкий, читал свое – «Орган»{100} и переводы из грузин (Орбелиани, Чиковани). Мы вдруг с ним разговорились, вспомнили нашу молодость, стихи, эпиграммы – тех, кого уже нет, – кто с таким шумом и блеском входил когда-то в *нашу* редакцию – с таким артистизмом, – и мы бросали работу, валясь от смеха…

Но приятнее всего мне было то, что, когда я спросила его, читал ли он «Рождественскую Звезду», он ответил:

– Я был ошеломлен ею. Это стихотворение, каких немного в русской литературе. Его надо повесить в рамку и каждое утро снимать перед ним шляпу.

Главный поганый разговор все-таки уже позади.

27/IV 47

Ну вот и finita. Снова захлопнулось окно, которое чуть-чуть было приоткрылось в жизни. Прощайте, Константин Михайлович.

Пришел Ян – и убежал к воротам ждать Раскина и Константина Михайловича. Скоро вернулся с Раскиным, но без Константина Михайловича. Мы ждали, сердясь за барское опоздание. И вот наконец – лифт и стук. Он вошел – в диковинной куртке, запыхавшийся, стира-

ющий пот – он перепутал номер корпуса и квартиры и долго искал во дворе. Он сел за мой стол – внимательный, добрый, простой, – будто совсем никуда не торопится, будто нет ни Кривицкого, ни Валентины Серовой, будто здесь он привычный и милый гость. Заговорил Раскин. Он говорил о Кривицком очень резко и прямо, ничего не смягчая. Ян молчал. Потом я сказала несколько слов о неинтересности прозы в журнале. Потом взял слово Симонов.

Он очень подробно и дружески рассказал нам о том, какие романы закуплены им для журнала. (Не бог весть какие.) Потом сообщил, что в журнале каждые две недели будут производиться собеседования. И о планах и текущих делах. Потом погоревал, что в редколлегии нет единства и находятся такие члены, которые уверяют, будто прав не он, а Ермилов. «Моя статья, может быть, и плохая, но разве не ясно, что ею я веду борьбу за человеческое отношение к литературе против хамского».

Потом он стал отвечать на наши претензии. Сказал, что Кривицкий был в очень тягостном положении из-за того, что у журнала вдруг отняли бумагу (будто мы так глупы, что этого не понимаем). Никак не оценил его поведение, никак не осудил его. Сказал Раскину и Сашину, что теперь будет заниматься их отделом *сам* и им не придется иметь дел с Кривицким. Они просияли.

– Теперь я хочу сказать вам, Лидия Корнеевна, – сказал он. – Мне, признаться, было очень горько слушать вас. Пригласил вас в журнал я, и отвечаю я – а в вашем рассказе я услышал, что много тяжелого вам приходится переживать. Мне это больно (sic!). Я думаю, мы с вами сделали ошибку – надо было вам работать на прежних основаниях. Я возьму у вас отдел, а вы будете работать при мне, в качестве моего личного консультанта, читая стихи и прозу, работая по моей просьбе с авторами и пр.

Я не сказала ничего. Но я уже знала, что откажусь, – сразу же знала, в первую секунду.

А – ему горько, ему больно, что меня унижал и портил мою работу Кривицкий, – ну так дай по рукам Кривицкому, зачем же ты увольняешь меня?

А – ты борешься за достоинство литературы против хамства, – почему же ты не гонишь Кривицкого, а гонишь меня?

А – ты оказывается лицемер и ханжа, – ну хорошо.

Он поднялся. Поднялись и Раскин и Сашин – веселые, пошли провожать его. Он нежно и почтительно поцеловал мне руку и ушел – со свитой.

А я кинулась к столу писать письмо – но в эту минуту пришел дорогой Алексей Иванович{101}, принесший мне свои воспоминания о Горьком для «Нового Мира».

Мы посетовали с ним – он ушел поздно, – а я села писать письмо и написала.

Скорее бы только, скорее. Завтра он на несколько дней уезжает на дачу – поспеть бы.

Вот он, Лелин друг, защитник благородства и чести, бесстрашный и мужественный.

28/IV

Заснула в три, встала в шесть. Переписала письмо. Кончила править Зильберштейна, который обещал сегодня приехать за рукописью из Узкого и не приехал, к счастью, – о, к счастью, я без ног, без глаз, без сил… Созвонилась с Музой Николаевной, она обещала в четыре быть у себя дома, а в шесть отвезти письмо Симонову. Позвонила Раскину и прочла ему письмо – он не ждал ничего подобного, он думал, что все в порядке. Был удивлен, а письмо хвалил – особенно указание на то, что спор с Кривицким – это тот же спор с Ермиловым. Вызвала Тамару{102}, чтобы посоветоваться, – и она одобрила разрыв и хорошо проредактировала письмо. В самом деле – не только с точки зрения чести, но и практически уходить необходимо: ведь Кривицкий все равно не оставит меня в покое, и если сейчас он не располагает никаким оружием против меня, кроме отсутствия субординации, то в дальнейшем он схватится за другое – и мы ученые, знаем, за какое оружие хватается Мишкевич. Ну, вот.

Жаль мне людей, для которых мое присутствие в «Новом Мире» было светом, надеждой – Семынина, Заболоцкого, Ойслендера, Кронгауза, Зыбковца, Мочалову, Левика. Жаль мне бедные росточки поэзии, которые я холила… И все-таки «всё так».

Еще звонят по телефону люди о стихах – и я лгу им, не говорю о своем уходе.

Но это – недолго, недолго.

А Муза меня подвела. Я пришла, еле волоча ноги, к четырем к ней – сидела битый час с Кузько, – а она не явилась. Вечером позвонила мне, что ее задержал Константин Михайлович, что он уже уехал – без моего письма! – и что она отвезет его ему на дачу послезавтра.

Вечером опять позвонил Раскин «просто так», то есть выразить сочувствие.

Л. К. Чуковская – К. М. Симонову{103}

28/IV 47

К сожалению, я вынуждена отказаться от нового Вашего предложения. Разумеется, мне совершенно все равно, в каком именно звании читать стихи и прозу для «Нового Мира»; Вам я всегда рада помогать, потому что направленность Вашей деятельности представляется мне благородной – но то, что Вы отстраняете меня от заведывания отделом именно сейчас, – означает в данной ситуации, что Вы, возвратившись в журнал, санкционировали «линию» т. Кривицкого относительно меня и моей работы, – я же с такой оценкой всего происшедшего согласиться никак не могу.

Разумеется, рассказывая Вам обо всей, с моей точки зрения, неправильной и ложной системе поведения А.Ю., я ни на минуту не рассчитывала, что в результате моего рассказа Вы отстраните его от работы в журнале; прочность Ваших дружеских и рабочих с ним связей известна достаточно хорошо; но я, признаться, надеялась, что эта прочность не помешает Вам быть справедливым и Вы найдете ясное и громкое слово, которое даст всему свое название, всё поставит на место и всё разрешит. Оказалось не так. Что ж поделаешь, верно, Вам иначе нельзя. А жаль: в моих спорах с т. Кривицким я и по-человечески и принципиально права – не менее права, чем Вы в Вашем споре с Ермиловым, – и, в сущности говоря, это тот же самый спор – о чести и достоинстве литературы и литераторов.

Всего хорошего, Константин Михайлович, желаю Вам счастливого труда и благодарю за доброе расположение ко мне, которого я не могу не ценить…

29/IV 47

Звонил Пастернак.

На что я буду жить? На что?

Жаль, что Константин Михайлович получит мое письмо только завтра.

30/IV 47

Утром – звонок от Музы Николаевны.

– Приходите немедленно. Письмо ваше не передано, и я сомневаюсь, нужно ли его передавать.

– Почему?

– Быть может, это значит ломиться в открытую дверь или бежать с тонущего корабля. Константин Михайлович не на даче, он здесь, его экстренно вызвали…

Я – к ней. Резкое солнечное холодное утро. Чего только я не передумала по дороге! Подборка? Заболоцкий? Из-за стихов, на которых я настаивала, закрывают журнал?

Или все это не через меня, но закрывают журнал?

Муза сообщила, что прямо от Константина Михайловича она ничего не знает, но по репликам его и Кривицкого, который при нем неотступно, уловила, что Константин Михайлович очень расстроен, что его вызвали для каких-то объяснений по «Новому Миру», что кто-то недоволен – не то Жданов, не то А.(?){104}, что Кривицкий произнес:

– Ну что ж, будем вместе работать в другом месте.

Ах, как я огорчилась, что письмо мое опоздало. Теперь надо пережидать, – а кто его знает, когда оно выяснится всё? А я хочу скорее, скорее на волю, раз уж так…

* * *

Муза Николаевна сегодня рассказывала, как Кривицкий спаивает Симонова, таскает его по кабакам, ссорит с хорошими людьми.

3/V 47

Теперь уже пора, ничего не ожидая, передать Симонову моё письмо.

Я позвонила Музе Николаевне, и она обещала мне сделать это.

Несколько раз звонил Леля. Он очень обеспокоен всем происшедшим и, вероятно, недоволен мной.

4/V 47

Константин Михайлович весь день был в редакции. Ему нужны кое-какие стихи, которые до сих пор у меня. Я уже дней пять рвусь все отдать Ивинской, а она не берет: «что вы, Лидия Корнеевна, Константин Михайлович непременно уговорит вас остаться!» Как бы не так! Сейчас он просил их к завтрему добыть у меня… Вот и ответ на письмо!

Вечером я пошла к Музе Николаевне со всякими пакетами. Там была Ивинская. Мы пили чай, болтали. Муза Николаевна огорченная, бедняга: Константин Михайлович холоден к ней, держит только «на телефоне»; она видит тут происки Кривицкого – что весьма возможно. Кривицкому, конечно, у Симонова нужен *другой* человек, *свой* человек.

Говорят, Константин Михайлович 29-го был с Фадеевым у Сталина{105}.

Да, к вечеру, когда я вернулась из библиотеки, состоялась крупная неприятность. Явился Семынин с новостями: Фадееву не понравилась «Окраина» и он предупредил, что ее наверное будут сильно бить. Семынин от меня позвонил Константину Михайловичу; тот величаво сказал, что вещь ему нравится и Фадеев не прав. Молодец! Но Семынину от этого не легче.

Но эта вещь даже Кривицкому нравилась. Вот и разберись в этом талмуде.

Каменщиком быть, маляром. Господи!

7/V 47

Утром звонил Леля и сообщил о разговоре, который был у него вчера с Константином Михайловичем. Лелька выражал свое сожаление по поводу инцидента со мной. Константин Михайлович говорил, что я «кристально чиста, правдива» и пр., что он получил от меня письмо, в котором я совершенно права и что он пишет мне в ответ очень большое письмо. Но он, мол, ничего не мог поделать, не мог поступить иначе. (!) Леля сказал ему, что мне не надо было, очевидно, с самого начала поручать организационных дел (тут он не прав, так как без этого, при постоянном отсутствии Симонова в редакции, было не обойтись), на что Симонов ответил, что даже Кривицкий признает, что у меня блестящие организационные способности.

Странное впечатление произвел на меня этот разговор. Мне, кажется, было бы легче, если бы Симонов порочил меня. А то: я чиста, я благородна, и все же меня выгоняют, как пешку… Что же ты сам за ничтожество! Ведь политических обвинений Кривицкий еще против меня не выставил – значит, если бы Симонов действительно хотел меня оставить, – он нашел бы способ…

Интересно, получу ли я действительно письмо от него?

16/V 47

Утром письмо от Симонова В одном конверте – два письма. Одно – ответ на мое первое, второе – на записку о Капусто.

Ответ – учтив, даже ласков, и совершенно легковесен.

* * *

К. М. Симонов – Л. К. Чуковской{106}

Дорогая Лидия Корнеевна!

Я прошу у Вас прощения, что так долго не отвечал на Ваше письмо. Причина тому не сознательная невежливость моя, а какое-то внутреннее желание оттянуть с этим делом, поискать выхода, каким все-таки всё могло бы «образоваться».

Я несколько раз передумал Ваше письмо и пришел к выводу, что, серьезно говоря, Вы, конечно, правы, и то, что я предлагал Вам, это полумеры, которые, в конце концов, ни к чему хорошему и не привели бы.

Мне остается от души поблагодарить Вас за всё, что Вы сделали, за Вашу большую и дружескую помощь мне. Прошу Вас так же искренне принять эти слова, как искренне я их говорю.

Глубоко уважающий Вас

Ваш *Константин Симонов.*

16 мая 1947 года

Борис Пастернак

Первая встреча[77]

1939. Лето. Я приехала из Ленинграда в Москву хлопотать о Мите{107}. Такси в Переделкино, где никогда не была. Адрес: «Городок писателей, дача Чуковского – сначала шоссе, потом что-то такое направо, налево». В Городке таксист свернул не туда, запутался, приметы не совпадали – непредуказанное поле – и ни одного пешехода. Первый человек, который попался мне на глаза, стоял на корточках за дачным забором: коричневый, голый до пояса, весь обожженный солнцем; он полол гряды на пологом, пустом, выжженном солнцем участке. Шофер притормозил, и я через опущенное стекло спросила, где дача Чуковского. Он выпрямился, отряхивая землю с колен и ладоней, и, прежде чем объяснить нам дорогу, с таким жадным любопытством оглядел машину, шофера и меня, будто впервые в жизни увидал автомобиль, таксиста и женщину. Гудя, объяснил. Потом бурно: «Вы, наверное, Лидия Корнеевна?» – «Да», – сказала я. Поблагодарив, я велела шоферу ехать и только тогда, когда мы уже снова пересекли шоссе, догадалась: «Это был Пастернак! Явление природы, первобытность».

6 февраля 1947

…Пришла с работы домой, стала собираться слушать Пастернака[78]. В шесть позвонил Борис Леонидович, чтоб я спускалась. Голос отчаянный. Я спустилась. В машине Алпатовы{108} и Ольга Всеволодовна{109}. Едем минут двадцать. Огни, и московская бессмысленная дорога, которую даже снег не красит.

Борис Леонидович в машине говорит неустанно – но нет, сейчас я уже и не пробую вспомнить.

Когда мы подъехали к какому-то стандартному безобразию, выяснилось, что никто толком не знает адреса, хотя Пастернак и Алпатовы тут бывали. Борис Леонидович все говорит о бензоколонке, от которой будет пятый дом. Выходит, суетится, торопится. Он очень сегодня нервен. Наконец Алпатов все разузнал, и мы подъехали к дому, а потом прошли по тропе, сбиваясь в глубокий снег.

Комната. В тесноте сидят люди, которых я не вижу. Возглас «Лида!» – это Николай Павлович Анциферов{110}, остальных не вижу[79]. Страшная духота от неумеренного центрального отопления, форточка не помогает, тошнота от духоты, теснота, сижу на скамеечке, и затекают ноги, больному глазу больно от лампы, стоящей возле Бориса Леонидовича, пахнет керосином (это вчера травили клопов, но недотравили: они явно ползают по стенам).

Борис Леонидович говорит много лишнего, страшно ощущает духоту, тесноту, суетливость полной хозяйки дома, которой негде суетиться; он стирает со лба пот.

Наконец начал.

Нет, еще слова и слова о романе. Точно могу записать немногое: «Такого течения, как то, которое представляет у меня Николай Николаевич, в то время в действительности не было, и я просто передоверил ему свои мысли».

Читает.

---

[77] Запись сделана в 1962 году по памяти.

[78] У Марии Вениаминовны Юдиной.

[79] Н. П. Анциферов всегда звал меня по имени; он был моим учителем в Тенишевском училище.

Все, что изнутри, – чудо. Чудо до тех пор, пока изнутри. Забастовка дана извне, и хотя и хорошо, но тут чудо кончается. Читает горячо, как будто «жизнь висит на волоске»[80], но из последних сил.

Не понимаю, какие люди кругом. Мучаюсь духотой, кровь стучит в больной глаз, и глаз наливается болью. Передо мною все время это горячее лицо и какой-то, может, кажущийся, но вполне ощутимый, его поворот ко мне. Он как-то читает не только всем вместе, но и мне.

Хозяйка, топчась и задевая спиной, плечами и ногами окружающих, самоотверженно и приветливо разносит бутерброды и, к счастью, вино.

Никто не говорит ничего интересного, а я просто молчу.

Борис Леонидович ждет слов; торопится домой и хочет, напротив, не уезжать, а оставаться и пить; хочет говорить и хочет, чтобы говорили другие. То, что говорит он, так же гениально, как стихи и как лучшие страницы романа, но я все роняю, все теряю: всего слишком много для моего страха забыть.

Глаз колет зайчик от зеркала.

Какая-то седая дама (судя по выговору, актриса) произносит какие-то вялые пустяки.

Борис Леонидович читает стихи из романа.

«Рождество»! «Рождество»!

Читает, как всегда, с интонациями, для меня неожиданными.

Назад еду в машине Весниных{111}.

И вот я дома. И пишу ему письмо.

5 апреля 1947

5 апреля 47-го года Борис Леонидович, читая роман у Кузько{112}, произнес небольшое предисловие. Мне удалось записать его речь стенографически:

«Я думаю, что форма развернутого театра в слове – это не драматургия, а это и есть проза. В области слова я более всего люблю прозу, а вот писал больше всего стихи.

Стихотворение относительно прозы – это то же, что этюд относительно картины. Поэзия мне представляется большим литературным этюдником.

Я, так же, как Маяковский и Есенин, начал свое поприще в период распада формы, – распада, продолжающегося с блоковских времен. Для нашего разговора достаточно будет сказать, что в моих глазах проза расслоилась на участки. В прозе осталось описательство, мысль, только мысль. Сейчас самая лучшая проза, пожалуй, описательная. Очень высока описательная проза Федина, но какая-то творческая мета из прозы ушла. А мне хотелось давно – и только теперь это стало удаваться, – хотелось осуществить в моей жизни какой-то рывок, найти выход вперед из этого положения. Я совершенно не знаю, что мой роман представит собой объективно, но для меня, в рамках моей собственной жизни, это сильный рывок вперед в плане мысли. В стилистическом же плане – это желание создать роман, который не был бы всего лишь описательным, который давал бы чувства, диалоги и людей в *драматическом* воплощении. Это проза моего времени, нашего времени и очень моя.

Летом просили меня написать что-нибудь к блоковской годовщине. Мне очень хотелось написать о Блоке статью, и я подумал, что вот этот роман я пишу вместо статьи о Блоке. (У Блока были поползновения гениальной прозы – отрывки, кусочки.)

Я подчинился власти этих сил, этих слагаемых, которые оттуда – из Блока – идут и движут меня дальше. В замысле у меня было дать прозу, в моем понимании, реалистическую, понять московскую жизнь, интеллигентскую, символистскую, но воплотить ее не как зарисовки, а как драму или трагедию».

12 мая 1947

---

[80] Неточная строка из стихотворения Ахматовой «Муза».

Вечером позвонил Б. Л. Он и вчера звонил мне, но был крайне возбужден, устал и невнятен. Он сказал, что читал у Кончаловских, где должно было быть много народа. И не пришел *никто,* кроме Иванова с Комой, причем Иванов был недоволен романом{113}. Все это он произносил весьма сбивчиво, голосом измученным.

Это вчера. А сегодня он звонил мне потому, что я вчера послала ему поэму[81]. О, если бы на кухне не кричали и я могла бы записывать параллельно или хотя бы запоминать! Но именно от напряжения, от усилия ничего не забыть я и не в силах помнить. На этот раз я поверила голосу его и спокойным словам и теперь счастлива. На этот раз он говорил искренне: тут, конечно, щедрость, но, хочется верить, и искренность. Постараюсь записать хотя бы крохи, обрывки, пусть без связи, но зато – точно.

«Аскетическая, протестантски-скромная, но всюду свободная и смелая вещь».

«Это лучше стихов. Там только отдельные строки, а тут все: и «хранитель холода», и Нева, и «унеси же его, унеси», и ящик».

14 мая 1947

Пастернак – мне о разговоре с Симоновым в «Новом Мире». (Я уже там в это время не работала.)

Б. Л.:

– Я ему говорю: «Неужели вы не понимаете, что я беспартийный не случайно? Что же вы думаете, у меня ума не хватает, чтобы подать заявление в партию? Или рука правая отсохла? Неужели вы меня хотите заставить на пленуме это объяснять? Ну что же, я объясню, потом меня сотрут в пыль и вы будете иметь удовольствие при этом присутствовать…» Единственные были в нашем разговоре человеческие слова, это о встрече Симонова с моей сестрой в Англии. Она пришла к ним, когда их принимали в Оксфорде. Вошла женщина и с нею два мальчика. Симонов сказал: «Два *красивые* мальчика». И они говорят по-русски. Вот это меня потрясло… Значит, она их научила по-русски… Они родились и выросли там.

Далее:

– Я запретил Зине рассказывать мне обо всех запугивающих сплетнях и вообще разговаривать на эту тему. Я принялся за переводы и роман.

Ивинская показала мне письмо Гольцева к Пастернаку{114}. Плоское, убогое, деревянное: «Ты – человек глубоко советский, и нападения на тебя Перцова{115} и Суркова{116} меня не удовлетворяют. Ты советский, и я тебя люблю. Но ты дал повод врагам тебя хвалить. Ты подарил мне стихи из романа, которые можно истолковать как отклик на современность – и поэтому ты должен теперь выступить с присущей тебе искренностью» и т. д.

Сколько, однако, людей толкают сейчас Бориса Леонидовича под руку! Из письма Гольцева следует, на мой взгляд, одна-единственная несомненная истина: так как на свете много Гольцевых и того больше Кривицких – нельзя раздавать направо и налево ненапечатанные стихи.

17 июня 1947

День начался счастливо: звонком Бориса Леонидовича. С отвычки – голос его, доброта, щедрость его и гениальность каждый раз кажутся чудом. И возраст – юность бьет ключом. И опять это мучение: не могу, не умею записать поток речи слово в слово.

Сейчас он переводит Петефи в каких-то огромных количествах, потом возьмется за «Короля Лира». А роман отложен. Это его гнетет. Я придумывала утешения. «Ведь вы не просто так работаете над переводами, ведь это ради романа, вы зарабатываете себе возможность писать свое, не отрываясь». Утешение, конечно, слабое: внутри роман пишется уже

[81] Речь идет о моей поэме «Отрывки», напечатанной в 1978 году в сборнике: Лидия Чуковская. По эту сторону смерти (Paris, YMCA-Press), а в 1992-м в сборнике «Стихотворения», вышедшем в Москве в издательстве «Горизонт».

сейчас, а переводы уничтожают в Пастернаке Пастернака. Не мытьем, так катаньем, а умеют-таки помешать ему писать свое.

Я спросила о лесе.

– Какой лес! Я леса не вижу, не бываю в лесу, я перевожу без перерыва, и, когда вечером выхожу к Зине и Ленечке, – это одно тартюфство, потому что от работы я уже глух и слеп… Все кончилось, Когда я писал роман, я чувствовал вокруг себя особое племя, родное мне, с которым мне было не больно, а теперь все это осталось где-то далеко, как не бывало. Приезжал ко мне Асмус, с ним брат с женой, все привычные, милые люди; потом я был у Константина Александровича{117}, там Алянский{118}, – все мудры и рассудительны. Мы пили водку. Я потом говорю Зине: «Вот и водка мне перестала помогать». А она говорит: «Это не водка перестала, а люди перестали».

Расспрашивал подробно и ласково о моем житье-бытье. Я рассказывала (конечно, не рассказывая).

– Заходил как-то ко мне Корней Иванович. Я ему говорил снова о вашей поэме. Корней Иванович мне: «Бедная Лида». А я ему: «Почему она бедная? Она живет по закону поэтов, как все мы». Вот и вышло, что я вас не пожалел.

25 июня 1947

Была у Пастернака. Дед послал за Henry James'ом. Борис Леонидович взял книгу у Деда и еще не успел прочесть, а Деду срочно понадобилась. «Скажи, что мне только на один день для справки, а послезавтра я ему пришлю ее снова».

Пастернак, голый до пояса, копался на самом солнцепеке.

Увидев меня, он ушел в дом одеваться и крикнул из окна сверху, что книгу должен поискать.

Я была принята на террасе самой Зинаидой Николаевной, чего прежде никогда не случалось.

На ковровой дорожке молча играет Леничка. Белоснежная скатерть; белоснежная панама на голове у хозяйки, цветы в горшках на полу, на подоконниках. Уют и покой.

У Зинаиды Николаевны много тучных плеч и очень много тучной, черной от солнца спины: она в сарафане.

Говорит она как-то странно – отрывисто – в сторону, – глядя при этом не в лицо собеседнику, а куда-то мимо.

Она спросила, что я думаю о пленуме и о положении Бориса Леонидовича. Не следует ли Пастернаку обратиться с письмом «наверх»?

Я сказала, что в таких вещах я плохой советчик: газет не читаю, о пленуме не думаю ровно ничего, но, по-моему, всякие письма «наверх» – бессмысленны.

– Пока Борис не сделает заявления, его дела не поправятся, – сказала Зинаида Николаевна с резкостью.

– Каким же заявлением можно опровергнуть чушь? – спросила в ответ я. – Чушь тем и сильна, что неопровержима. Единственный способ, по-моему, – это молчать и работать. Ведь вот молчит же в ответ на все клеветы Ахматова – и молчит с достоинством.

– Ах, боже мой, нашли с кем сравнивать! Борис – и Ахматова! – Тут Зинаида Николаевна впервые взглянула мне прямо в лицо. – Борис – человек современный, вполне советский, а она ведь нафталином пропахла.

Лучше бы всего было сразу встать и уйти. Но как же – без книги? И тут как раз спустился сверху Борис Леонидович, сверкающий сединой, новым галстуком, щедрой улыбкой, радушием, пододвинул свой стул к моему – и уйти сделалось уж совсем невозможно. Ушла не я, а Зинаида Николаевна. Пока мы разговаривали (или, точнее, все время, пока Борис Леонидович произносил не воспринимаемый мною монолог), Зинаида Николаевна таскала воду в огород. Плечи и руки у нее сильные, мускулы, как у борца.

Борис Леонидович между тем рассказывал мне о молодой Марине. Что? Не помню. Я молчала и притворялась слушающей, но не слыхала ровно ничего. Зинаида Николаевна, уже невидимая, крикнула откуда-то издали, чтобы мы шли обедать. Прекрасный предлог проститься, но Борис Леонидович загудел, загородил мне дорогу, и я осталась. Перешли на другую веранду. Обедать я не обедала, но сидела. Обед прошел в полном молчании: Зинаида Николаевна и Борис Леонидович ели поспешно и друг с другом не разговаривая. Наконец я простилась – как будто для этого необходимо было дожидаться их последнего глотка!

Борис Леонидович проводил меня до калитки.

– Вы, кажется, чем-то расстроены? – спросил он вдруг, вручая мне книгу.

– Я? Нет.

– А вот Зинаида Николаевна все расстраивается из-за пленума. Она даже требует, чтобы я что-то кому-то писал. Но я читать их не могу, как же я им буду писать? Кланяйтесь, пожалуйста, папе.

22 июля 1947

Борис Леонидович встретил на улице Люшу и попросил, если я могу, чтобы я зашла к нему завтра в четыре.

24 июля 1947

Вчера к четырем я собралась было к Пастернаку, но без четверти четыре он внезапно явился сам. (Это что же – Зинаида Николаевна не желает меня более видеть? Ну и ну!) Борис Леонидович в белых одеждах, а лицо и руки перенасыщены солнцем. Мы втроем – он, Дед и я – сели за стол в тени под деревьями. И сразу начался разговор, мучительный своею незапоминаемостью. Ведь не запоминать и не записывать Пастернака – великий грех – а как запомнить? Запоминаешь только тему, не слова; или хуже: и слова запоминаешь, но не точно… Он прочел «Бурю» Эренбурга и «Необыкновенное лето» Федина. Кое-что все-таки записываю точно. О «Лете» сказал: «В пятом номере лучше, чем в предыдущих». (Ему хотелось похвалить Федина, но он не придумал – как.)

О «Буре»:

– Вы заметили? В наших романах живет и действует очень странное народонаселение. И такие поучительные происшествия случаются! Я не знаю, не могу проверить, существуют ли на Марсе марсиане, – быть может, да! – но *эти* не существуют наверняка.

Корней Иванович начал расспрашивать его о работе: Петефи, Шекспир… Борис Леонидович вместо ответа заговорил о переводах Маршака – хвалебно, восторженно и с какой-то странной запальчивостью:

– Я прочел Маршака, – сказал он. – То есть я его, конечно, и раньше читал и знал, но мало: я знал только, что он хорошо переводит. А теперь перечел и убит. Шут в «Лире» и сонеты!.. Сколько для этого нужно было благородства и, главное, честности. Человек выбрал себе участок, на котором он – полный хозяин. Какая находчивость рифмовки, какие эпитеты… И я со своими дилетантскими переводами почувствовал себя проходимцем, самозванцем…

Мы рассмеялись.

В эту минуту к нам робко приблизилась маленькая, миленькая, кудрявенькая, голубоглазенькая Люся П.{119}, которую Борис Леонидович однажды уже посылал ко мне с каким-то поручением. Теперь она явилась сюда как гонец от Зинаиды Николаевны: Борису Леонидовичу пора домой обедать.

– А он у нас пообедает, – сказал Корней Иванович.

Но поднадзорный Пастернак покорно встал. Дед и я пошли провожать его. Люся П. следовала за нами на почтительном расстоянии. Когда мы пересекли шоссе, Дед начал объяснять Пастернаку, что он, Корней Иванович, как это Борису Леонидовичу памятно («вы даже обиделись тогда на меня, Борис Леонидович!»), далеко не все принимает в его перево-

дах, но тем не менее рад, что кроме маршаковских – отличных! – существуют и пастернаковские переводы Шекспира. «Там у вас такие взлеты – недосягаемые».

Борис Леонидович остановился вдруг посреди дороги и даже не закричал – заорал:

– Перестаньте, пожалуйста!.. Не говорите, пожалуйста, ничего. Взлеты! Я сам от себя должен узнать, что я – порядочный человек… А не от вас. Даже не от вас!

Выкрикивал он громко, с надрывом, с отчаяньем и даже приседал от натуги, словно камни выталкивал из горла.

3 октября 1947

Утром, когда я еще в постели, звонок Бориса Леонидовича. В трубке напор счастливого голоса. Он сдал «Лира».

– Я как-то летом заходил к вам и к Корнею Ивановичу и пустил такую унылую, минорную ноту. Так вот, я хотел сказать вам, что теперь все другое, я очень счастлив, и все хорошо. Все дело в том, что надо быть прилежнее и больше работать.

Он берется теперь за роман и обещает вскорости устроить чтение новой главы.

О «Лире» сказал:

– Я его перевел совсем по-новому. Из него всегда делали шумную вещь, а она тихая, там шум только в одном месте, в ремарке.

12 октября 1947

Звонил Пастернак. Густой, тягучий звук наполнял и переполнял трубку. Выливался из трубки и наполнял комнату. Долго еще жил в комнате, уже умолкнув.

– …Звоню я вам потому, что сегодня запнулась моя работа над романом, а у вас на меня легкая рука… Да, да, это так… Сейчас я читаю книги о 14-м годе, но на втором часе чтения начинаю клевать носом. Я стал плохим читателем, я уже совсем не могу читать нечто *вообще,* понимаете? Заниматься *вообще* чтением, читать *вообще* книги… А эти меня возмущают, кажутся скукой и ложью, и мой роман представляется мне одной из форм протеста против них.

Затем он рассказал, что недавно вместе с Зинаидой Николаевной он побывал на «Дяде Ване».

– Ну и как?

– Да, да, да, это хорошая пьеса, пойдите непременно. И спектакль хороший, но с одной оговоркой. Понимаете, что с ним случилось? Он попал в руки Серебряковых: он поставлен Серебряковым, декорирован Серебряковым, сыгран Серебряковыми… Помните, у Чехова дядя Ваня говорит, что Серебряков двадцать пять лет пишет об искусстве, ничего в нем не понимая? Вот это с «Дядей Ваней» и случилось. Все покрыто лаком, это спектакль для современных генералов и генеральш, это не имеет никакого отношения к Чехову. Но когда привыкаешь к чужому языку, видишь, что спектакль все равно хорош… Таково искусство, оно все равно остается собою даже и в дурных руках.

Я вам только что сказал, что Чеховым там и не пахнет. Это не так. «Дядя Ваня» и в пошлых руках все равно «Дядя Ваня».

19 октября 1947

Звонил Пастернак. Он прочел мою статью о Герцене (посланную мной накануне через Ольгу). Мне посчастливилось: во-первых, статья пришлась ему по душе, а во-вторых (карандаш в минуту звонка был тут же, под локтем), я наконец записала Пастернака дословно. Он говорил, а я писала.

– Браво, браво, браво! Это ведь так трудно: литература о литературе, а у вас вышло литературное произведение большой силы и легкости, хотя вы ступили на беговую дорожку, на которой оступился бы всякий… Вот я попытался когда-то рассказать о Гансе Саксе, и у меня ничего не вышло, а ведь был такой интересный материал. Вы написали о Герцене по-

герценовски, это та же стихия, что он сам. Вы не теряете зрительности в изложении отвлеченной мысли.

– Но мою статью никто не желает печатать.

– Как вам не стыдно пользоваться такой меркой. А самого Герцена, вы думаете, сейчас напечатали бы хоть одну строку, будь он жив? Я не о мыслях его говорю, а о поэзии. Ведь и он и вы – инородное тело, органическое явление природы (значит, поэзии) среди неорганического, но организованного мира. Организованный мир вечно уничтожает органический. Организованный мир нюхом чует противоположность себе (чем бы она ни прикрывалась) и норовит все органическое уничтожить.

6 января 1948

…Я пришла рано[82]. Зал был почти пуст. Села не далеко, не близко – посреди. Скоро явилась запыхавшаяся Ксения Некрасова{120}. Она всегда льнет ко мне, помня мое заступничество за ее стихи в «Новом Мире». Села рядом. Я этому соседству не обрадовалась: я чту в ней поэта, но психически неуравновешенных людей переношу с трудом. Теперь уж, поняла я, от Ксении Некрасовой мне не уйти во весь вечер. Она от меня не отлипнет.

– Скажите, Лидия Корнеевна, – спросила она, положив мне руку на плечо, – вы из «Нового Мира» сами ушли или вас в конце концов Симонов выгнал?

– Скажите, Лидия Корнеевна, почему не печатают Чуковского? Он впал в немилость? Как вы думаете, это надолго?

Зал наполнялся. Входили слушатели, входили и усаживались за большой стол переводчики: Инбер, Обрадович. Рядом со мною по другую руку села Ольга Всеволодовна – раскрашенная, усмешливая, приветливая, фальшивая. Сразу же возле нее закружилась ее постоянная свита – Крученых и нарядненькая, маленькая, миленькая Люся П.

Входили и усаживались люди. Пришел и Борис Леонидович, которому сегодня читать. Пришли Мартынов, Замаховская и наш Коля. Выступающие садились за стол, но Борис Леонидович прошел в публику и расположился возле нас, точнее – возле Ольги Всеволодовны. Весь наш ряд был уже занят, поэтому, чтобы оказаться лицом к ней, он сел на стул предыдущего ряда верхом – то есть спиною к столу выступающих. Со мной он сначала забыл поздороваться (что так противоречит его обычной доброте и внимательности), вспомнил через несколько минут и, прервав на полуслове беседу с весело ухмыляющейся Ольгой, выпалил со внезапностью:

– Здравствуйте, Лидия Корнеевна! Спасибо, что пришли. Я очень рад вас видеть. Как здоровье Корнея Ивановича? Перестали уже наконец над ним измываться?

Я никогда еще не видела его таким взбудораженным. Волновался он перед чтением, что ли?

Председательствующий, Николай Семенович Тихонов, предложил Борису Леонидовичу сесть за стол переводчиков. Зал был уже полон. Пастернак, шумно извиняясь и всем мешая, неуклюже пробрался между рядами и наконец сел за стол – с краю.

Вечер начался. Загорелый под сединою Тихонов с грубоватыми чертами лица, выражающими, как всегда, непреклонную готовность прямодушно резать правду-матку, произнес, как всегда, несколько кривых и пустых слов – в данном случае о дружбе между русским и венгерским народом. Потом говорил Гидаш. Этот мне нравится. Быть может, какой-то крупностью, не только физической? Быть может, каким-то неуловимым сходством с Квитко? Гидаш – как и Квитко (хотя на другой лад) – коверкает русские слова. Обычно я этого не терплю, но словам их обоих легкий чужеродный акцент придает почему-то обаяние. Речь затруднена, и уже одна эта затрудненность делает ее не пустою. Мы слышим труд мысли… Гидаш очень сердечно рассказал о судьбе и поэзии Шандора Петефи.

[82] На вечер Петефи в Союзе писателей.

Потом началось чтение. По очереди поднимаясь на кафедру, переводы из Петефи читали: Обрадович, наш Коля, Вера Инбер, Замаховская, Мартынов.

Каждый по два стихотворения. Каждого усердно снимал фотограф.

Я слушала и думала: «Как высок у нас, однако, уровень перевода». Изо всех читающих плох оказался один Обрадович. Все остальные – на уровне, а наш Коля и Леонид Мартынов даже хороши. Слушаешь их и любишь Петефи. Слышны стихи.

Поднимались на кафедру по очереди – как сидели. Наступила очередь сидевшего последним – Пастернака.

Тихонов назвал его имя. Аплодисменты.

Борис Леонидович встал. Аплодисменты.

Пастернак не взошел на кафедру, как другие, он сделал один шаг вперед – навстречу переполненному залу.

В начале вечера, когда он сидел неподалеку от меня, – он, как обыкновенно, казался мне моложавым. Наверное, с мороза. А сейчас я увидела серое, осунувшееся, постаревшее лицо – запавшие глаза, синие губы.

Нет, не синие губы, трагическое выражение рта.

Чуть только сделал он шаг вперед, сразу к самому его лицу придвинул свой аппарат фотограф. Борис Леонидович отмахнулся от света, как от мухи.

– Меня не надо фотографировать, – громко, с вызывающей брезгливостью сказал он. – Я не знатный. Снимайте лауреатов. А мне не мешайте *читать*.

Фотограф не смутился и все-таки щелкнул.

Пастернак начал читать. И сразу все те хорошие переводы, которые читались здесь только что, перестали быть поэзией, переводами стихов, вообще чем-нибудь. Я не знаю, было ли поэзией то, что читал он. Но голос его был трагедией. «Недаром славит каждый род / Смертельно оскорбленный гений»[83]. И лицо трагедией. Явление обнаженной трагедии – народу.

Лицо и голос открывали себя нам навстречу. Всем вместе и каждому из нас.

Слушатели подолгу рукоплескали после каждого стихотворения. Рукоплескали – ему. Рукоплескали существованию на свете Пастернака.

Переводчики, сидевшие за столом, сделались не более чем фоном явления поэта. Они перестали быть не только поэтами, но даже людьми. Тем более что они были единственными, кто не хлопал. Они казались неодушевленными, как, например, кафедра, графин или стол. Духом и жизнью был один Пастернак.

В ответ на аплодисменты Борис Леонидович полуобернулся к Тихонову. Спросил через плечо:

– Можно я прочту еще две вещи?

Зал примолк, выжидая.

– Пожалуйста.

Снова грянули аплодисменты. И когда Пастернак прочел еще две вещи и сел – зал рукоплескал, не стихая, минут пять.

Но Борис Леонидович не читал больше. Вечер и так превратился из вечера Петефи в вечер Пастернака.

Тихонов объявил перерыв. Во втором отделении – музыка.

В перерыве Пастернак снова подошел к нам. Не к нам – к Ольге Всеволодовне. Он говорил только с нею, смотрел только ей в лицо, но говорил так громко, будто обращался по-прежнему ко всему залу. (Люди в это время – кто стоял, кто сидел, кто уходил покурить. Но оборачивались.) Длился монолог Пастернака. Лицо у него было мученическое. Он про-

[83] Строки из стихотворения А. Блока «В огне и холоде тревог…».

износил слова с такою глубиною искренности, что казался позирующим или нарочито изображающим искренне исповедующегося человека в каком-то спектакле. Я подумала: «Он сейчас заплачет». Об этом он и заговорил…

– Я – человек отвратительный, – сказал он. – Мне на пользу только дурное, а хорошее во вред. Моему организму вредно хорошее. Право, я словно рак, который хорошеет в кипятке. Случается вот что: я читаю и вдруг вижу у всех в глазах, что они понимают меня, что они видят своими глазами все, про что я говорю. И у меня сразу начинает першить в горле от слез… – Он пошевелил пальцами в воздухе, стараясь показать, как першит. – Читать надо с легкостью, как бы шутя, а я так не могу. Мне мешают слезы.

Он вцепился в обе руки Ольги Всеволодовны. Их лица были почти на одном уровне, и страшно было видеть ее раскрашенность рядом с его обнаженностью.

– Вы прекрасно, прекрасно читали, – сказала ему в утешение Люся П. – Совсем как настоящий артист. Профессионально.

– Борис Леонидович, – спросила Ксения Некрасова, – а почему вы не читаете *свои* стихи? Вам запрещено?

4 мая 1948

Дурные вести: новое издание «Девятьсот пятого года» разобрано после гнуснейшей статьи в «Октябре»{121}. Впрочем, бродят какие-то слухи о допущенных «перегибах» и грядущем «переломе». Да, если бы человек жил не 60–70 лет, а 200, то поэтам бояться было бы нечего: ведь полное собрание сочинений Бориса Леонидовича и Анны Андреевны выйдут, в сущности, совсем скоро. Я за них не беспокоюсь.

10 октября 1948

Ирина Владимировна Воробьева, редакторша Детгиза, рассказала мне, что по какому-то случаю Егорова, заведующая отделом классиков, кричала ей о Пастернаке: «Зачем вы пригреваете этого насквозь антисоветского человека? этого шизофреника?»

13 октября 1948

Я побывала у Барто, которая вытребовала меня к себе, чтобы я помогла ей разобраться в вариантах ее поэмы к тридцатилетию комсомола. Живет она в писательском доме, в Лаврушинском переулке, на той же лестнице, что и Пастернак.

Оказывается, Агния Львовна чуть не влюблена в Пастернака, «это мой идол», читает наизусть его стихи, пересказывает свои разговоры с ним и пр.

– Но, Лидия Корнеевна, скажите мне, почему, объясните мне, почему он не напишет двух-трех стихотворений – ну, о комсомоле, например! – чтобы примириться? Ведь ему это совсем легко, ну просто ничего не стоит! И сразу его положение переменилось бы, сразу было бы исправлено все.

6 июня 1952

Я вместе с Наташей Роскиной{122} в гостях у Вани{123}. Мне вдруг приходит на ум позвонить Борису Леонидовичу – ведь он от нас отделен всего тремя этажами! И в ответ обрадованный милый голос:

– Хорошо, через десять минут я спущусь.

У нас суета. Наташа демонстративно пудрит нос, Вова{124} заряжает аппарат, Ваня, моря нас со смеху, кричит:

– Подайте мне все мои ордена! – и взамен орденов Вова подает ему свою игрушечную позолоченную саблю.

Приходит Борис Леонидович. «Эра эта проходила в двери»[84]. Это он написал:

[84] Строка из поэмы В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин».

Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия{125}.

Он:

– А кто вы такие? – спросила Мария{126}.

Он: о пейзаже разлуки в этюде Шопена, где выражению подлежало не только нырянье саней по ухабам, не только плывущие белые хлопья и свинцовый черный горизонт, но и «кропотливый узор разлуки».

Я очень давно не видела его. Молодость, студенческость сделались в нем еще заметнее, еще разительнее – молодость движений. Движется он, как мальчик. Но седина побелела, он сильно похудел, говорит напряженно, и лицо у него – больное.

Мне он сказал:

– Это, конечно, звучит нехорошо, как «вчера у нас пирог был, а вы не пришли», но я вчера читал свой роман, а вас не было. Я думал о вас, но не позвал.

– Когда же я прочитаю?

– Не беспокойтесь, вот кончу и буду навязывать вам, не отвертитесь. Ведь я пишу роман для немногих, и вы – одна из них.

Перескакивал с предмета на предмет. Ему, наверное, так же трудно разговаривать со всеми вместе, как и мне. Вова сфотографировал сначала всех, а потом Бориса Леонидовича. Пришел Талик Халтурин{127}, бородатый. Борис Леонидович говорил с ним очень нежно. Потом нежно говорил о Вове, когда тот на минуту выбежал в кухню.

И скоро ушел.

8 мая 1954

Я видела их обоих вместе – Ахматову и Пастернака. Вместе, в крошечной комнате Анны Андреевны. Их лица, обращенные друг к другу: ее, кажущееся неподвижным, и его – горячее, открытое и несчастное. Я слышала их перемежающиеся голоса.

Вообще слишком много сегодня: я слышала новые куски «Поэмы».

Все это во мне остро и живо, как незаслуженное внезапное счастье, обернувшееся бедой… Какой-то пир горечи, жалости и гнева. Может быть, записывать следовало бы не сейчас, а позже, когда все уляжется и понимать я буду яснее. Но я боюсь утратить верный звук. Лучше уж запишу сразу – пусть неразборчиво, комом, подряд.

Анна Андреевна приехала сегодня и позвонила. Ранним вечером я помчалась к ней.

…Поспешно, без обычных расспросов и пауз, вынула из чемоданчика экземпляр «Поэмы» (на машинке и в переплете) и стала читать мне новые куски…

В столовой раздался телефонный звонок. Никто не подходил. Я подошла.

– Это вы, Анна Андреевна? – спросил Борис Леонидович.

– Нет, Борис Леонидович, это Лидия Корнеевна.

– Наконец-то я вас слышу! Вы еще не уходите? Не уходите, пожалуйста, я через полчаса на десять минут зайду.

Этого получаса я не помню.

Он пришел. В присутствии их обоих, как на какой-то новой планете, я заново оглядывала мир. Комната: столик, прикрытый потертым платком; чемоданчик на стуле; тахта не тахта, подушка и серое одеяло на ней; ученическая лампа на столике; за окном – нераспустившиеся ветви деревьев. И они оба. И ясно ощущаемое течение времени, как будто сегодня оно поселилось здесь, в этой комнате. И я тут же – надо уйти и нельзя уйти.

Комната наполнена его голосом, бурным, рокочущим, для которого она мала. Голос прежний, да сам он не прежний. Я давно не видала его. Все, что в нем было восторгом, стало страданием. «Август»:

То прежний голос мой провидческий
Звучал, не тронутый распадом…

Голос прежний, нетронутый, а он – тронут, уже тронут… чем? болезнью? горем? Его новый вид и смысл пронзает мне сердце. Никакой могучей старости. Измученный старик, скорее даже старичок. Старая спина. Подвижность, которая еще недавно казалась юношеской, теперь кажется стариковской и притом неуместной. Челка тоже неуместна. И курточка. А измученные, исстрадавшиеся глаза – страшны.

«Его скоро у нас не будет» – вот первая мысль, пришедшая мне на ум.

Войдя, он снял со стула чемодан, сел – и сразу мощным обиженным голосом заговорил о вечере венгерской поэзии, устроенном где-то за Марьиной рощей, нарочно устроенном так, чтобы никто из любящих не мог туда попасть; афиши были, но на них стояло «вход по билетам», а билеты нарочно разослали учащимся втузов, которым неинтересно.

– Вечер из серии: «лучше смерть», – сказала Анна Андреевна.

– Да, да, и они роздали своячениц…

Но бросаю – пересказывать речь Пастернака нет возможности, и я не берусь, это не Анна Андреевна. В его монологе были Ливанов, юбилей, Тихонов, кучера с ватными задами, вечер «Фауста» в Союзе писателей, где он, Борис Леонидович, заплакал, читая сцену Фауста с Маргаритой… И многое, многое еще, чего и пытаться не могу воспроизвести. Да и слушала я плохо, такую я чувствовала острую жалость к страданию, глядящему из его глаз.

Я спросила, как роман. Он сказал, что сейчас на несколько дней отложил роман, потому что занят срочной работой: переделывает «Фауста» для охлопковского театра. И стал объяснять нам, как именно он его переделывает.

28 января 1956

…Иду на поезд. В одной руке чемоданчик, в другой – муфта, которой я прикрываю от ветра лицо. Метель пастернаковская, и там, с левой стороны дороги, березы наряжены тоже в пастернаковский иней. «Мело, мело по всей земле / Во все пределы», а платок поверх шубы и шапки упорно наползал на лоб и хуже встречного снега мешал мне глядеть. И вдруг я вижу: навстречу человек – большой, широкий, в валенках. Хозяин здешних мест и метелей – Пастернак. Я бросила в снег чемоданчик и муфту, он – рукавицы, обнял меня и поцеловал прямо в губы. Потом поднял все мое, подал – «я немного провожу вас» – и пошел рядом. Я смотрела на него сбоку, искоса, платок и снег мешали видеть ясно. Кажется, он похудел, лицо заострилось. Он сразу заговорил о романе: «Шестьсот страниц уже. Это главное, а может, единственное, что я сделал. Я пришлю рукопись Корнею Ивановичу, а потом вам».

Я спросила про театр.

– «Малый» поставил «Макбета». Мне с ними легко, потому что они мне менее родственны, чем МХАТ. Они просто хорошие люди, хорошие актеры – Царев, Гоголева, – а в отношениях моих с МХАТом наличествует некий лунатизм.

Слева началась новая цитата из Пастернака: кладбище. Сам он обрастал снегом, белел, круглел, ширел, шапка и плечи в снегу, не человек – сугроб. Он спросил меня, что я делаю. Я ответила: пишу сценарий о Шмидте – и добавила, что Зинаида Ивановна, оказывается, еще жива{128}.

Он остановился и потер рукавицей лоб. Снег полетел между нами. «Зинаида Ивановна? – повторил он. – Жива?» – «Да, – сказала я, – она, говорят, сейчас работает медицин-

ской сестрой в каком-то ванном заведении в Крыму». Мне казалось, он все не понимает. «Та самая, Борис Леонидович: «Однако, как свежо Очаков дан у Данта!»{129}.

Он понял, помычал от удивления (в самом деле, то, что Зинаида Ивановна жива, так же удивительно, как если бы вдруг оказалась жива другая дама из другой эпохи – например, Наталия Николаевна Пушкина), и мы пошли дальше. Идти навстречу ветру в гору было трудно, он взял у меня из рук чемоданчик. Заговорили об ожидаемой «Литературной Москве».

– Нет, нет, никаких стихов. Только «Заметки о Шекспире», да и те хочу взять у них. Вышло у меня с ними так неприятно, так глупо… Какая-то странная затея: все по-новому, показать хорошую литературу, все сделать по-новому. Да как это возможно? К партийному съезду по-новому! Вот если бы к беспартийному – тогда и впрямь ново. У меня с ними вышла глупость. Я такой дурак. Казакевич прислал мне две свои книжки. Мне говорили: проза. Я начал смотреть первую вещь: скупо, точно. Я и подумал: в самом деле. В это время я как раз посылал ему деловую записку, взял да и приписал: «Я начал читать Вашу книгу и вижу, что это прекрасная проза». И потом так пожалел об этом! Читаю дальше: обычное добродушие… Конечно, если убить всех, кто был отмечен личностью, то может и это сойти за прозу… Но я не понимаю: зачем же этот новый альманах, на новых началах – и снова врать? Ведь это раньше за правду голову снимали – теперь, слух идет, упразднен такой обычай – зачем же они продолжают вранье?

Мы взошли на гору. Он умолк и на мои попытки продолжать разговор отзывался вяло. Я почувствовала, ему уже не хочется идти рядом со мной, а хочется туда, куда он спешил до нашей встречи. Он как оскудевающий ручей, который вдруг начинает просыхать, утекать в землю. Он ведь случайно встретил меня, случайно пошел рядом. Теперь он оскудевал…

– Вы похудели и потому стали похожи на Женю, – сказала я, не зная, что сказать.

Ответ прозвучал неожиданно:

– Разве Женя красивый?

Я не нашлась…

…Он поставил мой чемоданчик в снег, повернулся и побежал с горы вниз, и уже из далекой сплошной белой мути я услышала басистое, низкое, мычащее: «До свиданья!»

14 февраля 1958

Забегалась – заработалась – сбилась с ног – со сна – с толку…

Борис Леонидович болен… Опять, по-видимому, непорядок с почками, страшные боли. Зинаида Николаевна потеряла голову. Быть может, задет какой-то нерв позвонка. Ездят три профессора в день, а самые простые анализы не сделаны и диагноза, собственно, нет. Боль лютая, он кричит так, что слышно в саду. Сказал Корнею Ивановичу, который был у него три минуты: «Я думаю, как бы хорошо умереть… Ведь я уже сделал в жизни все, что хотел… Только бы избавиться от этой боли… Вот она опять…» Возле него, в помощь Зинаиде Николаевне, две деятельные женщины: Тамара Владимировна Иванова и Елена Ефимовна Тагер{130}. Дед бился дней пять, писал и звонил в Союз, в Литфонд, пытаясь устроить Пастернака в хорошую больницу, в отдельную палату. Все было неудачно, пока он сам не поехал в город к некоему благодетельному Власову (секретарю Микояна). В конце концов удалось устроить Бориса Леонидовича в больницу ЦК партии и, кажется, даже в отдельную палату.

22 апреля 1958

Поднимаясь по лестнице к Деду, я на мгновение остановилась, чтобы перевести дух. И сразу наверху голос: горячий, глуховатый, страстный голос Бориса Леонидовича.

К сожалению, у Деда были: Ираклий{131}, которого не терпит Пастернак, Оля Наппельбаум и Наталья Константиновна Тренева. Так что мое свидание ни с Дедом, ни с Борисом

Леонидовичем, в сущности, не состоялось. Но с Дедом я рассчитывала вечером увидеться наедине, а сейчас во все глаза смотрела на Бориса Леонидовича. И слушала во все уши.

Я зашла на середине монолога. Как всегда, запомнить бурный водопад его речи мне оказалось не по силам: словесные шедевры, рождаемые в кипении и грохоте, шли вереницей, один за другим, один уничтожая другой; зрительное сравнение здесь, пожалуй, более уместно: они шли, подобные облакам, которые только что напоминали гряду скал, а через секунду превращались в слона или змею.

Он говорил об искусстве (я застала конец): о Рабиндранате Тагоре (по-видимому, бранил): о письме, полученном на днях из Вильно от какого-то литовца, который его, Пастернака, призывает срочно устыдиться романа по причине успеха на Западе.

Мое первое впечатление было, что выглядит он отлично: загорелый, глазастый, моложавый, седой, красивый. И, наверное, оттого, что он красив и молод, печать трагедии, лежащая в последние годы у него на лице, проступила сейчас еще явственнее. Не утомленность, не постарелость, а Трагедия, Судьба, Рок.

И еще новизна: его отдельность. Ото всех. Он уже один – он ото всех отделен. Чем? Сиянием своей гениальности?

Но это мощное и щедрое свечение исходило от него всегда. Чем же? Судьбой, Роком? Обреченностью?

По-своему, на свой манер, лицо у него, вопреки загару и здоровью, не менее страшное теперь, чем у Зощенко. Но, глядя на того, сразу замечаешь болезнь. Михаил Михайлович худ, неуверен в движениях, у него впалые виски и жалкая улыбка. Он – «полуразрушенный, полужилец могилы»[85]. А Борис Леонидович красив, моложав, возбужден, голосист – и – гибель на лице.

Впрочем, подсев ко мне поближе и понизив голос, он пожаловался не на что иное, а именно на болезнь. Болит нога.

– Сильно болит? – спросила я.

– Да.

– Зачем же вы выходите в такую мокрую погоду?

– Эта боль больше погоды, больше всего, погода перед нею мелочь…

Он взял у Деда «Свет в августе» Фолкнера, шумно и весело простился с хозяином и гостями и вышел. Я проводила его до ворот. Он спешил.

26 октября 1958

Длится пастернаковская страстная неделя.

Сегодня «Правда» спустила на Пастернака Заславского{132}.

Этот «публичный мужчина», если воспользоваться терминологией Герцена, из тех, кто торгует красой своего слога, призван, видите ли, напомнить Пастернаку (он – Пастернаку!) о совести, о долге перед народом.

Все тонет в фарисействе…

Все это давно уже нашло свое изображение в 66-м сонете Шекспира и в «Гамлете» Бориса Леонидовича.

Где-то он сейчас? Что с ним? Каково ему?

Глядят на меня с газетных страниц кавычки – излюбленный знак того жаргона, на котором изъяснялись у нас журналисты палачествующего направления; так и вижу через десятилетия: «деятельность» – в кавычках, «группка» – в кавычках, «школка» – в кавычках; теперь: «награда» – в кавычках, «мученик» – в кавычках.

Только два слова – враг народа – всегда употреблялись без кавычек. И еще два: внутренний эмигрант.

---

[85] Первая строка из стихотворения А. Фета.

27 октября 1958

Может ли Борис Леонидович чувствовать себя оскорбленным статьей Заславского?

В 1938 году у меня был один спор с Г.: ощущает ли человек, когда его бьют в кабинете следователя, оскорбленность? или одну только боль? Я говорила – да, ощущает оскорбление, Г. говорил – нет. «Представь себе, – объяснял он, – что ты идешь по улице и тебя за ногу кусает собака. Рана глубокая, укус гноится, у тебя гангрена, ты страдаешь, ногу отнимают, ты остаешься калекой. Естественно, ты чувствуешь себя несчастной, но – оскорбленной ли? Оскорбить человека может, – говорил он, – только человек: кирпич, упавший на голову, наносит рану или смерть, но не наносит оскорбление».

Заславский, рядом с Борисом Леонидовичем, да и просто с любым порядочным человеком, всего лишь собака, науськиваемая на… Может ли Борис Леонидович чувствовать себя оскорбленным?

Да, я думаю, может. Потому что Заславский, какой бы он там ни был, все-таки человек. И потому, что побои эти наносятся словом и слова читают не собаки, не кирпичи, а люди…

Звонила в Переделкино. Деду хуже. Давление не снижается. Сна нет. Не потому ли, что там побывал Коля и заразил его общим страхом, царящим в Союзе писателей? И своим собственным в придачу – за то неловкое положение, в которое попал Дед?

Я-то считаю, что Дедовым поступком, совершившимся вполне естественно, следует гордиться, а как думает Коля – бог весть.

К вечеру в городе распространился слух: Пастернак исключен из Союза писателей. Какой-то президиум собрался и исключил. Или правление. Черт их знает. У нас сейчас много правлений, я не в состоянии запомнить, что – что и кто где.

Но как бы там ни было, я – член Союза, стало быть, и я исключила его.

Когда исключали Ахматову, мне было легче. Не потому, упаси Боже, что мы тогда, после ссоры, еще не начали снова встречаться, и не потому, что я любила ее поэзию меньше, чем стихи Пастернака. Нет, речь Жданова меня оскорбила, унизила – за нее, за нас всех, за Россию.

Но тогда мне было все-таки легче: я не была еще членом Союза.

А теперь – теперь – я тоже в ответе.

Пастернак называл меня своим другом. У меня есть его фотография с надписью: «Большому другу моему…»

Он возил меня на чтения своего романа. Он доверял мне.

Да если бы и не друг! Какая огромная часть созданного им мира стала моим!

Постепенно становится мной[86]…

Не становится – стала… И «Отплытие», и «Приедается все», «Не как люди, не еженедельно», и речь Шмидта, и «Я тоже любил, и она жива еще», и вся «Сестра моя жизнь», и «Рослый стрелок, осторожный охотник», и «В больнице». Всего не перечесть. И «Август», и «Гамлет», и стихи из романа…

28 октября 1958

С утра, встревоженная состоянием Деда, я поехала в Переделкино. Он лежал у себя на диване, укутанный одеялом по самое горло: балконная дверь полуоткрыта.

Глаза несчастные, потому что работать нельзя, и три ночи не спал, и, конечно, Пастернак, Пастернак.

Думает он, разумеется, только о том, что случилось. Эти мысли подняли давление, лишили его сна, уложили в постель. Не знаю, известно ли ему уже, что Пастернак вчера исключен из Союза?..

[86] Строка из поэмы Д. Самойлова «Ближние страны».

Я читала ему вслух какой-то роман Томаса Гарди, из середины, с того места, где кончила Клара{133}, не понимая ни единого слова, но «с толком, с чувством, с расстановкой». Он сначала будто вслушивался, потом опустил веки. Я отмахала еще страницы три и вгляделась в него, как столько раз вглядывалась в это засыпающее лицо в детстве. Спит? Притворяется? Хочет, чтобы я ушла? «Иди, иди, Лидочек, я сплю», – пробормотал он, и я вышла.

Спустилась, побродила по мокрому снегу и вдруг поняла, что́ я сейчас сделаю: пойду к Пастернаку.

Я с жадностью ухватилась за эту мысль.

По ту сторону нашей улицы, между нами и воротами Сельвинских, у обочины стояла машина. «Победа», что ли? Она и утром, когда я пришла со станции, была тут же; я еще подумала тогда: вот кто-то приехал мешать Деду, надо не пустить, а может быть, это к Сельвинским? И сразу же забыла про нее. Сейчас я рассмотрела четверых одинаково одетых мужчин, погруженных в чтение одинаково раскрытых газет. На меня они даже и не взглянули, но, идя своей дорогой к шоссе, я все время чувствовала затылком провожающие меня восемь глаз.

Я свернула на шоссе, потом на улицу Пастернака, имеющую наглость именоваться улицей Павленко. Тут, за поворотом, я им уже не могла быть видна. Зачем они там торчат? Объект наблюдения – Дедова дача? Вряд ли. На пастернаковской дороге пусто, никого. Заборы слева, канава и поле справа. Бесконечно тянется фединский забор. Я никогда не думала, что он такой длинный. Что я скажу Борису Леонидовичу? Как перенесу сегодня обычную грубость Зинаиды Николаевны?

Сегодня этот короткий путь казался мне удивительно длинным. Я шла мимо глухих заборов, по пустой дороге, мимо канавы и поля. Кругом – никого. Но, к стыду моему, страх уже тронул меня своей лапой. Я чувствовала, что не они, а я сама уже подозрительно кошусь на кусты, на канаву, на знакомую тропу, пересекающую поле… Так, наверное, ходят люди по дорогам оккупированной местности: все свое, родное, знакомое и в сущности ничем не измененное, оно вдруг становится источником страха.

Подойдя к воротам, я каждую секунду ожидала окрика: «Стой!»[87]

Толкнула калитку. Вошла. Во дворе пусто: я подалась к боковому, правому, кухонному крыльцу. «Дома Борис Леонидович?» – «Дома». Работница побежала сказать ему и, вернувшись, объявила: «Идите через двор, он вышел вам навстречу». Он в самом деле шел по двору, вглядываясь в меня и не узнавая. Серая куртка, серые брюки, заправленные в сапоги. Узнав, убыстрил шаг и обнял меня.

– Исключили? – спросил он.

Я кивнула.

– В газетах уже речи… и всё? У нас еще не было почты.

– Нет, только самое постановление. Я поглядела мельком.

Он повел меня в дом. Помог снять пальто. Мы вошли в комнатку налево, маленькую, где только рояль, а на стенах – рисунки отца.

Усадил меня, принес другой стул и сел прямо напротив. В ясном дневном свете я увидела желтоватое лицо, блестящие глаза и старческую шею.

Он заговорил, перескакивая с предмета на предмет и перебивая себя неожиданными вопросами:

– Как вы думаете, и Лёне они сделают худо?

– Как вы думаете, у меня отнимут дачу?

---

[87] Как я узнала впоследствии от Вячеслава Всеволодовича Иванова, прямо напротив дачи Пастернака в этот день и еще два-три дня спустя дежурил «Виллис», оснащенный подслушивающими приборами. Стоял он по другую сторону поля, мимо которого я шла (то есть довольно далеко), потому я его и не видела.

Рассказал, что вчера поехал в город с намерением явиться на собрание, но в городе ему сказал кто-то, будто состоится общее собрание, и он решил не идти. («На это сил нет».) Наспех написал записку, что не может прийти, потому что почувствовал себя дурно. Что отказывается от премии в пользу Комитета Мира. Что просит дать ему время – недели две, чтобы обдумать свое положение. Но что он решительно не согласен считать честь, ему оказанную, позором… Едва он успел вернуться в Переделкино, приехала на машине литфондовская докторша.

– Как вы думаете, почему ее послали? Потому что я написал о своем здоровье? Послали врача – лечить?

– Да, по-видимому, – сказала я без уверенности. – Это называется «беспощадность к врагу» в сочетании с «заботой о человеке».

– А мои близкие говорят, это была проверка: в самом ли деле я болен.

– И что же оказалось?

– Давление повышено… А знаете, – сказал он с раздумьем, взяв меня за руку и близко заглянув мне в глаза, – мои друзья, Ивановы, говорят, что мне следует уехать отсюда в город, потому что здесь, на улице, может кто-нибудь запустить в меня камнем.

Он вскочил и остановился передо мной.

– Ведь это вздор, не правда ли? У них воображение расстроено.

– Вздор! – сказала я решительно. – Совершеннейший вздор! Как это может быть!

(В ту секунду я была искренна: чья рука поднимется на Пастернака?! Но сегодня вечером, перед сном, вспомнила, как Дед в самом начале войны уверял нас, что Ленинград может не бояться бомбежек, потому что у кого же поднимется рука бросить бомбу в Адмиралтейство или на улицу Росси?..)

– Вздор! – повторила я опять. И потом, когда мне на секунду представилось, что мерзкая тема покинула нас, сказала, что из его последних стихов знаю «Птичку» и «Грозу» – от Деда.

Он отмахнулся раздраженно.

– Стихи – чепуха, – сказал он с сердцем. – Зачем люди возятся с моими стихами, не понимаю. Мне всегда неловко, когда этакой ерунде оказывает внимание ваш отец. Единственное стоящее, что я сделал в жизни, – это роман. И это неправда, будто роман люди ценят только из-за политики. Ложь. Книгу читают и любят.

Сегодня он говорил отчетливо и легко записываемо. Но в этой отчетливости была какая-то сухость и какое-то смятение – нечто более беспокойное, чем в обычных его бурных речах.

Я поднялась. Ничего путного я все равно не умела сказать ему. Он меня не удерживал. Надел пальто и вышел вместе со мною – он собирался дозваниваться из конторы городка в Москву. Я его уговорила идти лучше к нам: подумала, закрою поплотнее двери из столовой в переднюю, и Дед наверху не услышит голоса. Зачем Борису Леонидовичу идти сейчас в контору на всеобщее обозрение? Он согласился. Мы шли быстро. А машина у наших ворот? – мельком подумала я, но ему не сказала. Впрочем, теперь не все ли равно?

Безлюдье, пустота, безмолвие дороги и поля охватило нас и заставило умолкнуть. Я заметила, что Борис Леонидович одним глазом покосился на кусты и канаву.

– Как странно, – сказал он, с совершенною точностью выговаривая мою собственную мысль, – никого нет, а кажется, что кто-то смотрит.

– Упырь? – спросила я. – Тот, блоковский, или недавний, наш, все равно.

Он пробормотал что-то, кивнул, но, кажется, не понял. А я про себя молча прочитала этот блоковский отрывок, который воспринимаю и помню, как стихотворение из любимого третьего тома[88].

Мы подходили к нашей даче. Четверо сидели в машине вразвалку, уже не прикрываясь газетами, и во все глаза глядели на нас. Один даже высунулся. Они-то и есть – *око?* Нет, Блок прав, если бы это были только они, не было бы так странно и страшно. Око старого упыря… Борис Леонидович не обратил на них никакого внимания, не раздеваясь сел сразу в столовой звонить. Я плотно прикрыла дверь в переднюю, чтобы голоса не услыхал наверху Дед, и вышла на крыльцо, чтобы самой не слышать разговора. Борис Леонидович переговорил очень быстро. Я проводила его до ворот, а потом – так не хотелось расставаться с ним! – до перекрестка. Парни, развалясь, тосковали в машине.

– А вы видели, – сказал мне вдруг Борис Леонидович своим обычным бодрым и громким голосом, – как ваша Люша прекрасно вышла на фотографиях? Решительно на всех. И ямочка на щеке! Я был очень рад[89].

Его трогательное желание порадовать меня этим сообщением меня рассмешило. Хорошо, если этих отличных фотографий, где воспроизведена даже ямочка, не пожелают заметить в Люшином институте.

Мы простились. Он пошел было прочь (странно – мне впервые бросилось в глаза, как он хромает), но вернулся, обнял меня и поцеловал.

Только что я пришла домой и хотела было подняться к Деду, меня остановил телефонный звонок. Из Союза писателей. Просят Корнея Ивановича. Я сказала, что Корней Иванович очень болен, лежит, и повесила трубку. Снова звонок: Анна Андреевна приехала и требует, чтобы я как можно скорее предстала пред ее ясные очи[90]… Я отказалась ехать сегодня и обещала явиться завтра утром, когда меня сменят: боюсь оставить Деда.

И поднялась к нему.

Хорошо, что он не выходит на балкон и не видит машины.

29 октября 1958

Вспоминаю Герцена: «Какие вы все злодеи народа».

Сегодня я с утра вызвала такси и – к Анне Андреевне, в ее новую резиденцию на Малой Тульской.

Еду. Мальчишка шофер внезапно обернулся ко мне:

– Читали, гражданочка? Один писатель, Пастер, кажется, фамилие, продался зарубежным врагам и написал такую книгу, что ненавидит советский народ! Миллион долларов получил. Ест наш хлеб, а нам же гадит. Вот, в газете пишут.

И протянул мне «Правду».

Ах, какие мы все злодеи народа! Мы не прочитали тебе, мальчик, Пастернака, не дали вовремя его стихов, его Шопена, его статей, чтобы ты оказался в силах встретить этот номер газеты так, как он того заслуживает.

Идет настоящая охота на душу «простого человека», этого ни в чем не повинного, нами обокраденного мальчика. И он – по нашей вине – беззащитен.

---

[88] Мне припомнились строчки из статьи Блока «Солнце над Россией», опубликованной в 1908 году к восьмидесятилетию Льва Толстого. «Старым упырем» Блок называл Победоносцева. Вот несколько строчек из этого отрывка: «…Чья мертвая рука управляла пистолетами Дантеса и Мартынова?.. Кто увел Достоевского на Семеновский плац и в мертвый дом?.. Нет, не они смотрят за Толстым, их глазами глядит мертвое и зоркое *око,* подземный, могильный глаз упыря».

[89] В тот день, когда сделалось известно, что Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе, Корней Иванович, взяв с собой Люшу, отправился поздравить его. Иностранные фоторепортеры запечатлели минуты поздравления, и фотографии появились на страницах многих иностранных журналов.

[90] Ахматова приехала из Ленинграда в Москву.

Хуже того: его можно научить бросить камнем. Если это случится, это тоже будет наша вина…

Анна Андреевна расспросила меня о здоровье Корнея Ивановича, но то была лишь вежливость, а главный теперешний ее интерес, страстный интерес – Пастернак.

К моему удивлению, она была потрясена – да, именно потрясена! – другого слова не подберу – тем, что я вчера видела его собственными глазами. Вчера вечером она столь настойчиво вызывала меня из Переделкина, в надежде, что я привезу оттуда какие-нибудь слухи о нем, еще не дошедшие до Москвы, но что я попросту видела его и говорила с ним – это ей на ум не приходило. Так что, по ее внушению, я сама впервые удивилась, что это было. Я перенесла получасовой допрос. Каждое слово, его и свое, И как он сидел, и когда вскочил, и когда схватил меня за руку, и каждую свою вчерашнюю мысль я передала ей со всею возможною точностью, но я не уверена, удалось ли мне передать то чувство, которое я испытала, когда шла одна, а потом вместе с ним по знакомой, родной и почему-то уже чужой и опасной дороге.

Она спросила меня, могу ли я обещать, что достану машину и поеду с ней к нему, когда она решит ехать? Ей очень хочется.

Конечно, достану…

– По гроб жизни буду вам благодарна за ваш сегодняшний приход, – сказала Анна Андреевна. – Теперь я все знаю о Борисе, как будто побывала там сама. Не оставляйте меня без известий.

29 октября 1958, вечер

В городе новые слухи: какая-то речь Семичастного на сорокалетии комсомола, где он будто бы обозвал Пастернака свиньей…

Цицероны! И ведь говорят на века.

Но не это меня взбудоражило заново. Это как-то уже «по ту сторону». Поставила вверх дном душу другая весть: 31-го в двенадцать часов дня общемосковское собрание писателей.

Не чиновников – писателей!

Мне позвонили из Союза.

Повестка не объявлена, но догадаться легко: будут утверждать исключение Пастернака.

У, как заколотилось сердце, как сразу потянуло в эту прорубь, на эту вершину, на эту погибель, на трибуну: сказать. Все высказать им в лицо. Сказать, чтобы были произнесены и услышаны не только слова Семичастного. Но и мои.

А – Дед? Ведь меня исключат непременно. У него будет новый спазм.

На трибуну меня, конечно, не пустят. Там небось все распределено и прорепетировано заранее. Но я могу крикнуть с места, громко, на весь зал. Какую-нибудь одну фразу. Пусть потом меня выведут. Ну, например, такую:

– Пушкин говорил: надо быть заодно с гением!

Пусть зашикают, засвистят. Я сама уйду.

А Деду я нанесу рану. Ему 76 лет. Каждая рана сейчас может для него оказаться смертельной.

Наверное, те, кто любит Пастернака, просто на это собрание не пойдут. Заболеют. Уедут из города…

…А вдруг послезавтра придут хорошие люди и станут его защищать, а меня не будет и моих друзей не будет, чтобы в поддержку вырос лес рук?

30 октября 1958, день.

Нет. Никто из друзей, обожателей, поклонников идти не намерен. Я встретила одного знакомого, он сказал мне: «Сяду в машину и уеду в неизвестном направлении. Куда глаза глядят».

Врешь, от себя не уедешь.

Пятым действием драмы
Веет воздух осенний…{134}

И «Августом», и «Гефсиманским садом». А ощутимее всего – национальным позором.

Но, с другой стороны, я не в силах сообразить: справедливо ли счесть национальным позором то, чего не ощущает нация? Вообще не ощущает? Ведь для народа такого явления – Пастернак – просто нет.

* * *

Прочитала речь Семичастного в «Комсомольской правде». Переписываю сюда, чтобы перечитывать и никогда не забывать.

Сначала сравнение с овцой. Паршивая овца в стаде. Ну, это обыкновенно. Потом – образ не выдержан! – овца превращается в свинью:

«Иногда мы… совершенно незаслуженно говорим о свинье, что она такая-сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, – все люди, имеющие дело с этим животным, знают особенности свиньи, – она никогда не гадит там, где кушает… Поэтому если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья никогда не сделает того, что он сделал. (Аплодисменты)».

Самое примечательное тут слово – кушает. «Свинья кушает». Вот он кто такой, товарищ Семичастный. Он полагает, что слово «ест» – грубое слово, а сказать о свинье «кушает» – это представляется ему более интеллигентным.

* * *

Завтра собрание.

* * *

О Борисе Леонидовиче слухи разные. Будто он написал какое-то заявление. Будто он у Ольги.

0 президиуме рассказывают, что там выступали не сквозь зубы, не вынужденно, а с аппетитом, со смаком – в особенности Михалков… Выступил с каким-то порицанием и наш Коля. Коля, который любит его и был любим им, который знает наизусть его стихи, который получал от него такие добрые письма. Какой стыд.

Впрочем, я не вправе осуждать его. Он произнес те слова, от которых следовало воздержаться, а я не произнесу тех, которые должно произнести. Большая ли между нами разница?

1 ноября 1958

И в Москве, и в Переделкине (только не возле Деда) бесконечные разговоры о том, кто же, в конце концов, вел себя вчера на собрании гнуснее: Смирнов или Зелинский, Перцов, Безыменский. Трифонова или Ошанин?

Не все ли равно? Мы. Я.

А в газетах, газетах – бедный мальчишка-таксист и его обокраденные братья выражают «гнев и возмущение». Председатель колхоза, учитель, инженер, рабочий, машинист экскаватора… Я так и вижу девку из редакции, так и слышу, как она диктовала им текст.

Это те самые сейчас выражают свой очередной гнев, о которых у него сказано:

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

Он боготворил без взаимности.

Слесаря пишут: «Правильно поступили советские литераторы, изгнав предателя из своих рядов». Он и лягушка в болоте, он и свинья, и овца, и предатель.

А предатели-то на самом деле – мы. Он остался верен литературе, мы ее предали.

23 ноября 1958

Была в Переделкине. Заходила к Борису Леонидовичу. Домработница: «Ушел гулять. Не скоро вернется» (с усмешкой).

Я поняла, что он, видно, ушел к Ольге.

Оставила ему записочку с просьбой зайти, откликнуться.

Но не последовало ничего.

31 декабря 1958

Последние часы уходящего года.

Пишу письмо Борису Леонидовичу.

11 мая 1960

Трудный день.

В 6 часов вечера внезапно приехала Анна Андреевна: ее привезла в своей машине Наташа Ильина{135}.

В доме у нас тревожно. Корнею Ивановичу не лучше, гости к нему не поднялись. Анна Андреевна грузная, с одышкой, в лес не пошла, а села на скамью возле дома, радуясь воздуху и зелени.

Привезла показать мне новую строфу в «Поэму»…

Однако главные разговоры были о Борисе Леонидовиче.

Как раз накануне приезда Анны Андреевны я бегала в Дом творчества, к Ване, чтобы разузнать что-нибудь о Пастернаке: в Доме творчества всегда знают все раньше всех. И в самом деле: только мы вышли с Ваней на балкон, к нам подсел Асмус, который ходит к Пастернакам по три раза в день. Валентин Фердинандович сказал, что больного он не видел со дня болезни, но сегодня слышал из-за двери его голос – изменившийся, слабый; лечит Пастернака Фогельсон, а дежурят возле него литфондовские врачи и сестры; инфаркт тяжелейший. «Фогельсон говорит – тяжелее, чем у Олеши».

Зачем же он это говорит! Олеша вчера умер.

После ужина Анна Андреевна пожелала съездить к Пастернаку, справиться о здоровье. Поехали. Наташа осталась за рулем. И вот я опять веду Анну Андреевну по тому же двору. Пусто. Мрачно. Анна Андреевна ступает с трудом, задыхаясь. Взошли на крыльцо – правое, кухонное.

Нам навстречу – Леня и Нина Александровна Табидзе. Встретили сначала неприветливо: не узнали Ахматову. Потом подобрели. Нина Александровна, рассказывая, пошла нас проводить до ворот. Говорит, что сегодня Борису Леонидовичу лучше.

Анна Андреевна с измученными глазами еле сделала шаг вверх: в машину, внутрь. Все труднее и труднее с каждым месяцем дается ей этот единственный шаг.

В машине она сказала:

– Я так рада, что побывала здесь. Надеюсь, ему передадут.

(В последнее время она была недовольна Борисом Леонидовичем, и, я думаю, сейчас это ее точит.)

14 мая 1960

Фогельсон полагает – мне передавал Асмус: инфаркт еще страшнее, чем у Олеши, но организм гораздо могущественнее; состояние хотя и тяжелое, но далеко не безнадежное. Началась кровавая рвота. Собирают консилиум…

Я думаю о том: неужели я видела его в последний раз – вот тогда, в самом начале месяца, когда он пришел возвратить Деду деньги и книги? Дед лежал больной, после спазма, и к нему никого не пускали. Борис Леонидович очень торопился; он уже снял было калоши и пальто, но, услыхав, что Дед болен, стал сразу опять одеваться, хотя я и сказала, что поднимусь наверх, взгляну, что ему-то Корней Иванович будет рад и пр. Но он в передней совал мне в руки книги и какой-то конверт:

– Вот, передайте папе. Тут – я у него брал книги и деньги. Ваш отец удивительно благородный человек. Он, наверное, даже вам не сказал, что я давно уже должен ему пять тысяч.

И, оставив меня с книгами и тысячами в руках, побежал чуть не бегом, сильно хромая.

Нет, это был не последний – я его еще раз видела, но уже не вблизи, а издали. Я шла по дороге вдоль поля. Меня обогнало такси. У ворот Бориса Леонидовича машина остановилась, и оттуда вышла дама. Ей навстречу поспешил Борис Леонидович, взял под руку и повел к себе.

В последний? И его – в последний раз?

26 мая 1960

У Бориса Леонидовича – рак.

(Псевдоним смерти. У Бориса Леонидовича – смерть.)

31 мая 1960. Переделкино

Борис Леонидович скончался вчера вечером.

Мне сказала об этом наша Марина{136}: позвонила утром с дачи в город.

Деду они не говорят, ждут меня.

Я поехала. В Переделкино, где уже нет Пастернака. В Переделкино, которое будет носить его имя.

Дед впервые решился встать с постели и переселиться работать на балкон.

Сидит в кресле, укутанный по пояс пледом, и пишет на дощечке.

Когда я вошла, он не сразу услышал – сидел, опустив бумагу на колено и вглядываясь в любимую березу со скворечником.

Он всегда выискивает на ее стволе следующую свою строку.

Поморщился с досадой: я прервала строку.

– Ну, что ты?

Я взяла стул, села напротив.

– Несчастье, Дед.

И выговорила.

Совершая эту жестокую операцию, я видела ясно, при ярком свете солнца, какой он старый, как отекло лицо, какие синие губы, как он горбится в кресле. Маленький старичок. Только руки прежние, молодые, куоккальские. Но руки дрожат.

Он всхлипнул – без слез – и попросил принести из кабинета бумагу и конверт: письмо Зинаиде Николаевне.

Я принесла. Хотела остаться возле, но он не позволил.

– Иди, иди, я сам.

Я спустилась в сад, нарезала вишневых веток – целую охапку – и снова поднялась к Деду: за письмом.

Он уже был выпрямившийся. Расспросил меня о болезни, о последних днях Бориса Леонидовича. Я рассказала то немногое, что знала от Асмуса.

Взяла письмо, цветущую охапку – и туда.

На пастернаковской дороге (которая, смеху ради, называется улицей Павленко) я встретила Веру Васильевну{137}. Пошли вместе.

Пустая дорога. Яркое солнце. Жара.

Ворота распахнуты настежь. Бездомье, ничейность, брошенность, осиротелость.

Пустыня двора залита солнцем.

Нас облаяли две собаки, одна маленькая, другая большая.

Мы вошли в дом через левое крыльцо, никого не встретив. Постояли в прихожей. Ни звука, ни голоса.

На полу ведро с водой, и в нем гладиолусы. Направо, в спокойной столовой, на столе, большая ваза с цветами.

Я толкнула дверь в комнату налево – в ту самую, где я говорила с ним в день исключения из Союза.

Оглядевшись, не сразу поняла: это он лежит на узкой раскладушке, слева у стены, укрытый простыней.

Вера Васильевна откинула простыню.

Лицо искажено. Уста запали. И глаза. Глубоко подо лбом темные, черные, округлые веки.

Я начала укладывать вдоль тела ветки. Но тут вошла Берта Яковлевна Сельвинская и очень громко сказала нам, что класть цветы сейчас нельзя и открывать лицо нельзя. Засунула мои веточки в ведро у двери.

Я передала ей письмо для Зинаиды Николаевны, и мы ушли.

Двор был по-прежнему пуст, но на дороге уже началось шевеление. Кто-то топтался у ворот, кто-то что-то фотографировал. Видела я только двоих, но спиною чувствовала – как тогда! – что и поле, и дорога простреливаются незримыми взглядами.

Вера Васильевна пересказала мне слух, которым мне противно марать свою тетрадку: будто из Союза к Зинаиде Николаевне приезжал Воронков, предлагал ей, что Союз возьмет похороны на себя, если она разрешит поставить гроб в ЦДЛ.

(«Союз Профессиональных Убийц» – так называл Союз писателей Булгаков.)

Зинаида Николаевна, к чести ее, отказалась.

* * *

Дед снова слег.

Опять вызывали врачей, терзаясь телефоном.

Я думаю, новый спазм, потому что головокружение и тошнота.

Кляну себя.

Вечером я пошла к Ване в Дом творчества. У ворот мне встретился заплаканный Асмус. Минутку мы посидели рядом на скамье.

Видел он Пастернака в последний раз шестого мая, накануне инфаркта. Борис Леонидович жаловался на боль в левой лопатке. «Но это не сердце, – говорил он. – Скорее – легкое. Рак легкого».

Асмус думает, это была саркома. Очень быстро она развилась: легкие, печень, желудок.

Умирал Борис Леонидович в сознании. Прощался с домашними – с Женей, Стасиком, Леней. За несколько часов до смерти сказал Зинаиде Николаевне:

– Что же, конец, и нам пора проститься.

Асмус ушел от них в 11 часов вечера и еще слышал из-за двери его голос.

1 июня 1960. Переделкино, утро

Как бы узнать их имена и выгравировать – в назиданье потомству – на особой доске позора!

В «Литературе и жизни» объявление: «Литфонд с глубоким прискорбием сообщает о смерти члена *Литфонда* Бориса Леонидовича Пастернака»[{138}].

Не великая честь принадлежать к ихнему – и моему – Союзу. И сейчас, когда Пастернака уже нет, не все ли равно: член ли он Союза или всего лишь Литфонда?

Но ведь это нарочно придумано в оскорбление почившему! в уничижение славы России! Могли же они просто написать: извещаем о смерти Бориса Пастернака.

1 июня I960. Переделкино, вечер

Часов в 9 я снова к нему, с цветами из садоводства. Пышные их красные и желтые головки я все-таки окружила белыми веточками вишен – они ему ближе, родней. Никогда еще так рано не расцветали вишневые деревья на нашем участке, как в этом году.

Он в той же комнате, где вчера, но уже не на раскладушке, а выше, на столе, в гробу, весь в цветах. Кто-то рослый (я не разглядела кто) вошел вместе со мною, зажег свет и оставил меня одну.

Лицо другое. Словно он за ночь отдохнул немного от мучений и попривык быть мертвым. Спокойное лицо.

На простыне в ногах – красная роза. И я свои цветы положила к ногам.

Вошли и стали у гроба двое. Я узнала их, рабочие городка. Один монтер, один водопроводчик. Хмурые, робкие лица, озирающиеся, вглядывающиеся, пытающиеся понять. И я вглядываюсь и пытаюсь понять…

2 июня 1960. Переделкино

Горе, усталость, жара; изобилие шпиков; милиционер-регулировщик, заставляющий всех выходить из машин на шоссе и загоняющий машины на нашу улицу; Воронков, с утра лично обозревающий вверенный его попечениям поселок; иностранцы, лопающиеся от любопытства, карабкающиеся со своими аппаратами на заборы и деревья, – и сквозь все это какое-то странное чувство торжества, победы.

Чьей-то победы. Не знаю чьей. Быть может, его стихов? Русской поэзии?

Нашей с ним неразрывной связанности?

Никто над его могилой не произнес слова, которое жаждали услышать сосны, люди, поля. Но студенты до темного вечера читали его стихи. Наверное – это и было самое лучшее слово.

Толпа была пронизана гавриками.

Но гроб от стола до ямы пронесли на руках – по шоссе и на гору, к трем соснам. Вдоль заборов во весь путь молча, мужчины без шапок, женщины в платках, стояли люди. Встречные машины вынуждены были пятиться, отступать перед гробом, утыкаться в кюветы и не смели торопить нас гудками.

Толпа двигалась молча, торжественно, сознавая свою правоту.

Одни из пастернаковских ворот пошли через поле прямо на кладбище, другие – кругом, по шоссе, вслед за гробом.

Я пошла за гробом, хотя идти сегодня мне было совсем не по силам. Мучительнее всего, впрочем, было даже не идти, а перед этим стоять – час или более стоять накануне выноса на солнцепеке, уже простившись, но еще ожидая, когда вынесут гроб.

Я уже прошла через столовую, где он лежал сегодня высоко, пышно, среди лент, венков, цветов, уже откровенно торжествующий и победительный. В честь его торжества тихо и непрестанно играла музыка: сменялись Юдина и Рихтер[91]. На стуле в столовой плакала Нина

[91] Цитирую письмо ко мне Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской. (В 1972 г. я ознакомила ее с моими «Запис-

Табидзе. Стояли: Леня и Стасик. Стояла у гроба Зинаида Николаевна – я поклонилась ей, но она отвела глаза…

…А я, пройдя через столовую, оперлась на какие-то бревна, сваленные у правого крыльца, стояла и думала только об одном: как бы не упасть. Устоять.

Каверин. Паустовский. Аким. Рита Райт. Мария Сергеевна{139}. Володя Глоцер. Володя Корнилов. Фридочка{140}. Хавкин. Харджиев. Копелев. Смирнова. Ливанов. Коля и Марина. Калашникова. Волжина. Наташа Павленко. Ивич. Яшин. Казаков. Рысс. Рахтанов. Любимов. Вильмонт. Старший Богатырев. Нейгауз.

Старые дамы, неизвестные мне, откровенно или прикровенно седые, в перчатках и без.

Деревенские старухи с детьми.

Студенты.

Опираясь на бревна, я вглядывалась в лица. Болтовни было мало, толпа сосредоточена. Фридочка мне рассказала шепотом, что сразу после кончины Бориса Леонидовича, утром следующего дня, на Киевском вокзале появилось рукописное объявление:

«Граждане! Вчера скончался великий русский поэт Борис Пастернак. Похороны в Переделкине, 2 июня, в 2 часа дня».

Вот вам и «член Литфонда»!

Объявление сорвали. Но оно появилось вновь. Опять сорвали. Опять появилось.

Фридочка от меня отошла, утешив меня этим объявлением, а сзади незнакомый голос негромко сказал:

– Вот и умер последний великий русский поэт.

– Нет, еще один остался.

Я ждала, холодея, не оборачиваясь.

– Анна Ахматова.

(И этот день придется пережить?)

…Какие-то двое молодых людей вынесли крышку гроба[92].

Музыка.

Несут гроб. Несут венки.

На одной ленте я прочитала: «от семьи Ивановых». На другой: «от Литфонда».

Пронесли и наши два: «Корней Чуковский», «Лидия Чуковская».

Щелканье аппаратов. Нагло щелкают прямо в лица. Снимают не покойного, а нас, толпу.

И вот я иду вместе со всеми, в толпе, глотая пыль. Гроб от меня не очень далеко. Его несут Женя Пастернак, Кома Иванов, Копелев, Володя Корнилов.

Стоят, стоят люди вдоль заборов.

Когда, после мостика через Сетунь, толпа свернула и начала подниматься в гору – я задохнулась и отстала. Гроб уплыл далеко вперед – туда, наверх, к соснам.

– «И к лику сосен причтены». Помните? – спросил Харджиев.

Гроб плыл на вершину, к соснам. Люди, поспевая за ним, шли все быстрее, а я все медленнее. Здороваться и говорить я уже не могла, только головою мотала.

ками».)«…Сменялись Юдина и Рихтер» – так нельзя. Юдина непрерывно играла с утра, а Рихтер приехал незадолго до выноса и сыграл, если не ошибаюсь, две вещи Баха. Он заранее выбрал, задумал, *что* будет играть. Рихтер очень любил Пастернака, и скажу мимоходом, что факт его участия в похоронах был очень замечен и не одобрен властями, и даже пытались на него воздействовать. (О том, что Рихтер только единожды сменил Юдину, а затем смешался с толпой и долго оставался на могиле, – я знаю точно, так как приехала вместе с ним, на его машине.) Думаю, что и о Марии Вениаминовне Юдиной надо как-то сказать иначе. А то получается: два знаменитых тапера играли (как может подумать читатель) – по приглашению. Это ведь был живой акт любви, восхищения поэзией и в то же время – акт общественный, очень серьезный, значительный. Даже власти об этом догадывались».М. В. Юдина исполнила вместе с друзьями трио Чайковского «Памяти великого артиста», а по преимуществу исполняла произведения Шуберта.

[92] Как я узнала через несколько лет, это были Даниэль и Синявский.

Раневская. Ваничка Халтурин.

Когда я втащилась наверх, подойти к могиле уже было нельзя. Волна толпы прибила меня к сосне. Там я и осталась, из-за спин ничего не видя, но в тишине отчетливо слыша все.

Был когда-то немой кинематограф: лица, плечи, руки, движения – безголосье. Тут наоборот: голоса, движения – без лиц.

Я; толпа; корявый ствол – и впереди голоса.

Открыл митинг и произнес речь Асмус. Слова были какие-то никакие, несущественные, но они и не оскорбляли пустотою, потому что Валентин Фердинандович говорил горестно. Я слышала голос, горе, а не фразы.

(Паустовский нашел бы слово, но, как мне объяснили потом, он, из-за больной гортани, в этот день мог только шептать.)

Актер Николай Голубенцев прочел: «О, знал бы я, что так бывает».

Асмус закрыл митинг, сказав, что Борис Леонидович не любил длинных речей об искусстве.

И вдруг кто-то – я не видела кто, но голос неинтеллигентный, неприятный и фальшивый – заявил, что будет говорить «от имени рабочих».

– Ты написал книгу, но ее задержали. А ты был за правду…

Обрыв. Кто-то что-то прошипел. И в ответ на шип – девичий голос:

– Не затыкайте ртов!

Молчание. Жду нового голоса. Тот же? Другой?

Нет. Слава богу, юноша читает «Гамлета»:

– И неотвратим конец пути…

Потом другой юноша-невидимка говорит от имени богословов: Пастернак был христианин.

Начинают опускать гроб. Слышу по окрикам, стукам, топотам: гроб в яму не лезет. Зычная команда:

– Раз! Два! Три!

(Каково-то сейчас Жене?)

Мягко-жесткий, глухой, страшный звук комьев земли.

Опустили.

Мне сделалось темно. Если бы не сосна и не чужие тела, я упала бы. Но тьма была одну секунду. Когда она рассеялась, я, сквозь толпу, пошла вниз.

Одно у меня было желание: лечь. Дойти до дому и лечь. Не на дороге, не в поле, а дома.

Трудно идти, когда нету ног. В жару я их часто лишаюсь. Ни колен, ни ступней; только боль, тугими кольцами сжимающая щиколотки.

Я даже не вошла в дом спросить о Деде. Доковыляла до своего домика, сняла туфли, чулки и легла.

Минут через 40 – Фридочка. Принесла мне вести о Деде, накапала капли и посидела возле.

Девушка, которая крикнула «не затыкайте ртов!» – это, оказывается, дочка Ивинской, Ирина.

Молодежь до сих пор читает на могиле стихи. Наизусть – напечатанное и ненапечатанное. «Гамлет», «Август», «Другу». Толпа разошлась. Гаврики стали заметней. Фридочка, уходя, слышала разговор двоих, скучавших чуть пониже свежей могилы, у чьей-то ограды:

– А не разогнать ли нам это нарушение?

– Пусть понарушают, никуда не денутся.

Победа – оцепленная оперработниками.

Иосиф Бродский

11/XII 63. Переделкино

А мы пока с Фридой написали Черноуцану{141} письмо в защиту И. Бродского, ошельмованного в гнусной газетной статье{142}. Вот и экзамен Черноуцану. Мне не нравится Бродский, но он поэт, и надо спасти его, защитить.

Посмотрим…

15/XII 63. Москва

Два дня светлее – работаю. И дело идет. Теперь бы писать и писать. Но нет.

Дело Бродского, в которое меня втянуло, отнимает часы – и пока бесплодно. Разговоры, звонки в Ленинград, Фрида, Анна Андреевна, Найман…{143}И все зря. По-видимому, дыхание КГБ всех замораживает.

16/XII 63

Третьего дня работала – много и легко. Вчера и сегодня – нет. Все съедено очками, собесом, поликлиникой и делом Бродского.

Дело Бродского идет преплохо. Письмо Фриде от Эткинда{144}: за Бродского вступилась секция переводчиков, но более никто. Назначен общественный суд 25-го, который и должен приговорить его к высылке. Черноуцан не отвечает: пленум кончился, началась сессия… Мы написали для АА{145} шпаргалку записки к Суркову{146}. Выяснилось, что Шостакович – депутат Дзержинского района Ленинграда, где живет Бродский. Его тоже может просить АА, он ее обожает. Кроме того, в Переделкине я попробую поговорить с Расулом Гамзатовым.

17/XII 63. Переделкино

Звонила Фрида. Сегодня АА и Фрида и Ардов{147} принимали Д. Д. Шостаковича (АА у Ардовых). АА изложила эмоциональную сторону дела, Фрида и Ардов – фактическую. Кажется Д. Д. внял и будет действовать. Потом Анне Андреевне позвонил Сурков, получивший уже ее записку, и сказал, что «дело попахивает клеветой».

В самом деле «попахивает». И сильно.

7/I 64

Звонок Черноуцана мне о Бродском.

Статью он назвал подлой и доносительской (!). Газете «указано».

Он говорил с Толстиковым{148} и с «ленинградскими литераторами». Они – Гранин – дали о Бродском неблагоприятные сведения. Дневник. Назначена комиссия: Олег Шестинский (?) и Эльяшевич (!){149}.

Я произнесла речь о Лернере{150}. О подлости читать чужие дневники. О таланте и болезни Бродского.

Все очень плохо. Они его домучают.

9/I 64

Из Ленинграда весть: в той же газете – подборка «писем трудящихся» с требованием выселить Бродского.

Значит, неправда, что газете было указано?

Весь день тщетно звонила Черноуцану.

Бродский пытался перерезать себе вены. Ибо его оставила невеста.

Посылаем туда Алену Чайковскую{151}.

6/III 64

Вот уже третью неделю запрещено читать и писать.

Кровоизлияние в сетчатку левого (т. е. «здорового») глаза.

И вот – еще шаг в полную темноту, в слепоту.

В самый разгар слабости и тьмы – Фридин отъезд в Малеевку, – и на меня обрушились все ленинградские и московские телефоны по делу Бродского, вся суета в составлении телеграмм и писем, в посылке курьеров к Самуилу Яковлевичу{152} и Корнею Ивановичу и т. д.

Фрида шла на подвиг, на смертный бой: уехав из Малеевки, которая для нее спасение здоровья и труд над книгой, она поехала в Ленинград на суд над Бродским, зная, что едет на издевательство и бессилие, ибо «Лит. Газета» и «Известия» отказали ей в корреспондентской командировке.

13/III 64. Переделкино

Сегодня в пять часов снова судят Бродского. В Клубе строителей.

Вчера К. И. звонил Миронову (в ЦК зав. судами и адм.), которому они с С. Я. писали письмо.

Миронов: По вашему письму я приказал послать туда человека и все исследовать… Вы не знаете, за кого хлопочете… Он писал у себя в дневнике «Мне наплевать на Советскую власть»… Он кутит в ресторанах… Он хотел бежать в Америку… Он хуже Ионесяна{153}: тот *только* разбивал головы топором, а этот вкладывает в головы антисоветчину… Вы говорите, что он талантливый поэт и переводчик. Но он не знает языков; стихи за него пишут другие (!!!)… В Ленинграде общественность о нем самого нелестного мнения, Александр Андреевич [Прокофьев. – *Е. Ч.*] дал о нем отрицательный отзыв».

Вот что мы наделали своими хлопотами: раньше Бродского обвиняли только в тунеядстве, а теперь они уже вооружились булыжниками – даже свои стихи сочиняет не он!

Мне нравится человек, ездивший туда проверять и говоривший только с врагами подсудимого: Толстиковым, Лавриковым, Прокофьевым. А Герман, а Бахтин, а Долинина, а Эткинд, а мы все – это не общественность? Мнение общественности – это мнение начальства. Плюс шпиков – Лернера и пр.

Законных оснований для его осуждения нет. КГБ, рассмотрев его дело, отпустило его на волю – а расправу поручило, по-видимому, «общественности».

И никому из власть имущих не приходит на ум, что Бродский совершенно безопасен, ибо он человек не антисоветский, а просто а-советский… Если же правда, что он хотел бежать за границу (чего я не думаю), то почему бы его туда не отпустить? У нас 200 миллионов населения. Почему бы КГБ не воскликнуть: «одним дураком меньше! Скатертью дорога!»

* * *

Сегодня утром – симптоматический звонок (подходила Клара{154}) – по поручению Шостаковича (которого тоже просила АА) кто-то спрашивает – когда и как послана была К. И. и С. Я. телеграмма в суд?

Телеграмма была послана 17/II (накануне суда) председателю суда Румянцеву. По оплошности Клары Израилевны – незаверенная. К делу ее, воспользовавшись этим, не приобщили. «Мало ли кто ее послал!» – сказал умный Лернер. Тогда я послала в Барвиху Клару Израилевну с просьбой к СЯ и КИ написать текст от руки и этот текст, заверенный в Союзе Писателей, был послан в Ленинград Председателю суда и защитнице.

«Настаиваем на приобщении к делу нашей телеграммы от 17/II».

Теперь, очевидно, тамошние подлецы решили и этот текст как-то скомпрометировать…

Кого мне жаль больше всех, это Фриду. Второй раз едет она на суд. В первый раз она привезла шедевр: запись допроса. Она верила в необходимость своей поездки и ради этого бросила отдых в Малеевке, бросила книгу и приняла порицание семьи. Сейчас она поехала, не ощущая ни смысла, ни цели. Да и пустят ли ее в суд?

Вообще-то вполне естественно, что, если где-то убивают человека, окружающие отравлены – каждый на свой манер. Одни слепнут, другие не спят, четвертые получают спазмы и инфаркты – и лишь немногие силачи – вроде СЯ и КИ, заступаясь, могут продолжать работать.

* * *

Десять часов. Суд начался в пять. Жду звонка. Иногда звоню в Москву друзьям – Юле, Толе, Нике, Надежде Марковне{155}. Все ждут, ни у кого никаких вестей. Толя у Анны Андреевны и каждые тридцать минут звонит в Питер. Но там еще никто не вернулся… Значит, приговора еще нет. А вдруг – победа?

14/III 64

Как бы не так!

Суд начался в пять часов; приговор вынесен в 1.30 ночи. Пять лет ссылки.

Подробности неизвестны, потому что ни Фрида, ни Евгений Александрович{156} (который две недели тому назад сам, по собственному почину, туда поехал специально по этому делу) – еще не вернулись.

18/III 64

А Фрида воюет. Ею привезена такая запись процесса, что камни вопиют. Она уже дала экземпляр Чаковскому (чтобы хотя бы остановить возможное выступление газеты){157}, Суркову; дает Твардовскому, Федину… Пусть читают. И думает, думает неустанно – как быть, что делать.

Вот это, может быть, самая главная в ней черта: неспособность к предательству, ни грана предательства никогда.

Потому мне легко с ней. Фрида – совершенно устойчивый здоровый организм. Ясность, здравость ума в сочетании с добротой, светом, стойкостью, мужеством.

3/IV 64

Всё – плохо.

Кругом суета – и я суечусь, – бессильные попытки спасти Бродского. Очень видны люди, разницы – не случайные. За него страшно, он может быстро погибнуть; дело черное, гнусное; и в то же время радостное: сколько вокруг него объединилось хороших, доблестных людей! Не говоря о героине – Фриде, – сколько вокруг прекрасных людей!

В деле Бродского из порядочных людей оказались плохи – Панова, Дудинцев, Бергольц. Сначала – Гранин, но теперь он раскаялся; сначала – Алигер, но, кажется, и она уже разобралась.

7/IV 64

Очень складно выходит, что Воеводин – приключенец, строчит об убийствах и пр. Секция приключенцев в Союзе – это наиболее невежественная, бездарная и спекулянтская часть писателей. Штамп – сюжетный и стилистический – как идеал, как предел мечтаний. Ни грана поэзии, художества. Все элементарно, т. е. антихудожественно, т. е. античеловечно и реакционно. Вот почему я обрадовалась, узнав, что Воеводин, выдавший суду фальшивую справку, – приключенец. Складно выходит.

10/IV 64. Москва

Бродский возит навоз в совхозе.

Прокофьев напечатал в «Лит. Газете» статью об успехах ленинградских писателей за истекший год – и о своей работе с молодыми…

На пьянке у Расула Гамзатова [Кайсына Кулиева?] встретились Твардовский и Прокофьев. Рассказывают – со слов присутствовавшего там Козловского, – что Твардовский кричал Прокофьеву:

– Ты подлец! Ты погубил молодого поэта!

– Ну и что ж! И правда! Это я сказал Руденко{158}, что его надо арестовать!

– Ты негодяй! Как же ты по ночам спишь после этого!

– А ты в это дело не лезь! Оно грязное!

– А я непременно вмешаюсь!

– А кто тебе о нем наговорил?

– Оно мне известно как депутату Верховного Совета.

– И стихи тебе известны как депутату?

– Да, и стихи.

Тут Твардовский заметил Козловского и снова кинулся на Прокофьева.

– Что же ты его не арестовываешь? Ведь он тоже переводчик, тоже переводит по подстрочнику, и тоже еврей…

Правда ли это?

* * *

Теперь мы надеемся на Твардовского, который ничего не обещал, но, кажется, собирается что-то сделать, и… и… на Бажана.

Они вхожи.

Составляется справка по делу Бродского – схема событий со всеми приложениями, документами, письмами и пр. Основной удар – по Лернеру и прочим провокаторам. Что они, мол, ввели в заблуждение высшее начальство.

В Ленинграде плюют в морду Воеводину и корят Гранина. А он раскаялся только на минуту, а сейчас изворачивается.

20/IV 64

Дело Бродского по трем каналам пошло вверх – но – что будет? И когда? Неизвестно.

22/IV 64

А от него приехал ленинградский посетитель и московская посетительница и подробно рассказали о его быте и душевном состоянии.

Грязь, холод. Спит, не раздеваясь. Горячей пищи нет. Не переводит, не читает, потому что слишком холодно в комнатушке. В четыре часа дня, вернувшись с работы, ложится, не раздеваясь, на койку.

Уверяет, что никто ничем не хочет ему помочь. («Это психоз, – говорит АА – У Левы такой же. Он уверен, что я нарочно держала его в лагере».)

Посылаем ему спальный мешок, спиртовку, свечи.

* * *

Вся история Бродского навела меня на ясную и четкую мысль. Кажется, впервые за всю жизнь.

Я поняла, что сейчас нам всем надо делать – и в общем, и в частном плане.

Поняла с помощью двух лиц: Фриды и Герцена.

2–5/V 64. Москва

Писала – не Герцена, – а снова о Бродском. Кажется – все говорят, – удалось. Но какой ценой! Несчастные семь страниц на машинке выбили из сна; три дня я жила с мигренью, с горячим лицом, обожженными изнутри глазами – больная, потерянная…

Если бы ему помогло!

9/V 64. Вечер. Москва

А с делом так.

Сара Эммануиловна{159} добилась (по моему наущению) от Гранина, который был в Москве, что он не только Черноуцану сказал о безобразиях, но написал Руденко, что справка Воеводина – фальшивка. Еще до этого он заявил в Обкоме, что уйдет из комиссии, если Воеводина не снимут – и показал письмо «молодых». Толстиков на это ответил, что он еще посмотрит список молодых и разберется, кто они, а Прокофьев пригрозил Гранину, что тот положит билет.

Гранин мне удивителен. С. Э. дала ему мое письмо к Черноуцану и Фридину запись, и он сказал, что только теперь он все понял. А ему давно бы все следовало понять!

Остальное мрачно. Черноуцан тяжело болен. Между тем он тоже уже перешел на нашу сторону и мог бы помочь. Он сказал Гранину:

«Я жалею, что вовремя не обратил внимание на письмо Чуковской и Вигдоровой».

Новое мое письмо к Черноуцану все друзья превозносят как яснейший и сильнейший документ, но куда его послать – неясно.

И тут разночувствия у меня с Фридой. Она хочет – Миронову{160}, Руденко. Я не хочу к ним обращаться; если бы попало вместе с досье – пожалуйста.

Фрида, конечно, понимает лучше меня. А у меня как всегда: *написала* – а дальше не понимаю и даже не хочу. Будто это стихотворение.

Затем: Фрида все время хочет, чтобы я на что-то сдвигала СЯ и КИ. А я этого не хочу – раз они сами не рвутся в бой. Ведь тут нужны борцы, которые, как я, Фрида, Копелевы, СЭ{161}, сами рвутся, хотят, пробуют, а не люди, согласные что-то подписать.

Но Фрида настойчивее меня.

А я так не люблю ни на кого нажимать!

12/V 64. Переделкино

Дело Бродского – плохо.

К нему ездили молодые врачи. Повезли еду, деньги, книги. От денег отказался, еду и книги взял. Обрадовался моему письму Игорю Сергеевичу Черноуцану, которое ему показали. Врачи нашли, что плохо с сердцем: непосильный труд при пороке грозит сердцу декомпенсацией.

Я написала Черноуцану и послала вчера ему письмо и Фридину запись – в ЦК, хотя и знаю, что он в больнице. Но в больницу писать неприлично. А в ЦК надо просто для того, чтобы Фрида в своих хлопотах могла бы на мое письмо ссылаться.

Сейчас главное – спасти Иосифа от тяжелого труда, добиться, чтобы тамошние врачи его освободили.

Как это сделать?

Среди его стихов я нашла одно, которое мне очень полюбилось, – «Стансы городу».

Миронов пишет в «Правде» о необходимости соблюдать законы – Миронов!

19/V 64

Мать Иосифа.

Настырная, с первого же слова – неумная, измученная всем – и им! – несчастная женщина.

Она была у него, но не сделала главного: не отвезла его к врачу. А здесь она явно с одной целью: подталкивать нас. А надо бы другое – использовать свои материнские права, докричаться о его болезни.

Копелевы все же уговорили ее послать телеграммы Руденко, Тикунову{162}, Брежневу.

22/V 64

Но все кругом – худо.

Сурков передал нашу папку Руденко. Ответа нет. Он написал кому-то письмо в ЦК и его оттуда, по его выражению, фукнули. «Опять письмо пишешь?» (На знаменитой встрече ему попало за какое-то письмо, от которого он мгновенно отказался.)

Фрида собирается через Расула – к Тикунову и еще через кого-то – к председателю Верховного Суда РСФСР Смирнову.

Фрида!

Сегодня Сурков должен был быть у АА (она ведь летит в Рим – получать премию Европейского Содружества). Ей он должен рассказать об Иосифе, т. е. о хлопотах.

Ходят слухи, что о деле Иосифа передавали по Би-Би-Си.

Ходят слухи, что в Нью-Йорке вышла целая брошюра о суде.

Плохо это для него? Хорошо?

26/V 64

Пришла утром Фрида, села в кресло и заплакала.

Чувство бессилия, стены.

«Я хочу умереть»…

А вечером – некоторая радость: позвонила мать из Ленинграда, что она получила ответ на одну из своих телеграмм, которую по нашему настоянию она дала Руденко, Тикунову, Брежневу о болезни Иосифа; помощник Тикунова, Евдокимов, сообщает ей, что в Коношу дано распоряжение обследовать здоровье Иосифа.

27/V 64

Вечером – звонок и Фридин голос, срывающийся:

– Мне нужно сейчас, сию минуту увидеть вас… Я тут близко… Вы одна?

Я ждала ее минут пять, с напряжением, со страшной дрожью в сердце.

Одна новость хорошая: Иосиф позвонил Юле [Живовой], что у него в руках справка от врача, тамошнего, что тяжелая работа ему запрещена. Теперь ее должна заверить милиция. («А вдруг Коношская милиция начнет справляться в Ленинграде?» – говорит Фрида.)

Вторая новость – мутная и тревожная. Е. С. Романова передала Фриде, что в Иностр. Комиссию пришел кто-то из Агенства Новости с вопросом: надо ли опровергать статью в Лондонской «Gerald Tribune», где говорится… и дальше какая-то путаница – говорится, будто СЯМ, КИЧ и Шостакович прислали *им* (!?) письмо с просьбой вступиться за Бродского… Боже мой, теперь я ни жива, ни мертва, потому что это значит, что будут тревожить Деда! Почему бы не меня? Я была б спокойна. Но я надеюсь, что в статье на самом деле написано иначе – т. е. правда, – что поименованные лица обращались к здешним властям…

Завтра все выяснится.

Боюсь, что начальство начнет от них требовать какого-нибудь отречения – а они ведь – не Фрида… Отречься не отрекутся, но могут сделать какой-нибудь ложный или фальшивый шаг.

Что еще? Да, третьего дня я спокойно приняла из рук почтальонши пакет, но увидев штамп, обмерла обмиранием 38 года: на пакете штамп Ленинградской прокуратуры. Вскрыла. Оттуда выпали все бумаги, посланные мною в ЦК Черноуцану, кроме моего письма к нему… И короткая, малограмотная, лживая отписка из прокуратуры.

Это значит, что по случаю болезни Черноуцана, пакет мой был вскрыт в Отделе – и материал послан в Ленинград. Что вполне бессмысленно, потому что он был подобран как разоблачение общественное, а не юридическое.

5/VI 64. Москва

Интеллигенция, не утратившая бескорыстия и бесстрашия мысли.

Ее мало во всем мире. Но она все-таки есть.

Она ничего не может переменить – в настоящем. Мир движется своими путями, двигаемыми не ею. Но все плодотворное – от нее; эстафета культуры передается ею. Она постоянно разбита наголову – и всегда победительница.

23/VI 64. Пиво-Воды[93]

А в деле Бродского – просвет. Наконец мое письмо и Фридину запись прочел Черноуцан и обещал попробовать что-то сделать. Затем неожиданность: делом возмущен заведующий международным отделом КГБ.

Я его понимаю!

Уже и левая итальянская печать выступила.

От Иосифа пришло очень хорошо написанное письмо к Руденко. Пошлем его в разные места.

Фрида приезжала из Тарусы и была на приеме в Управлении Милиции с просьбой распорядиться послать его во ВТЭК. Ей сказали, что это может сделать Архангельск – сам. И Коноша. Но Архангельск – сам, увы! боится…

Иосиф на 3 дня ездил – с разрешения начальства – в Питер.

17/VII 64. Москва

Одной доброй силой в мире меньше – умер С. Я.

Наша личная беззащитность и общая беззащитность добра в мире увеличилась – нет Маршака.

К кому бежать с делом Бродского?..

2 июля, в 8.45 вечера меня, как я всегда ожидала, сшиб в Переделкине велосипед.

5-го у меня были Юля и Раиса Давыдовна{163}; сказали, что Иосиф Бродский прислал цикл стихов для «Нового Мира» – кто же передаст Твардовскому? «Только СЯ, – сказала я, – если еще ему понравятся эти стихи». «СЯ тяжело болен», – пробормотала Юля. «Я как встану, пойду к нему в больницу», – сказала я.

29/VII 64. Переделкино. Пиво-Воды

Об Иосифе дурные вести: отношение к нему на месте переменилось, Лернер принял свои меры. Врачи испугались, инвалидности не дадут.

11/IX 64

Сегодня дурные вести о деле Иосифа.

Несколько дней назад, в городе, была у меня Грудинина{164}. Она специально приехала из Ленинграда, чтобы добиться приема у Смирнова, Миронова, Суркова, Руденко и, кроме того, послать большое письмо Н. С.[Хрущеву]. Письмо составлено малограмотно (она член СП, руководитель лит. объединений), длинно – но горячо и убедительно. Женщина она малоинтеллигентная, ограниченная, даже не умная – но с прелестной улыбкой, доброй, застенчивой и смелой.

Вместе с Львом Зиновьевичем она посетила Воронкова{165} и толково объяснила ему, сколько в деле фальшивок.

---

[93] *«Пиво-воды»* – шутливое прозвище маленького домика, выстроенного Корнеем Ивановичем мне в подарок в самой глубине лесного участка. Размером он чуть больше вагонного купе: там помещается только столик, кресло и койка. Прозвище свое этот ярко зеленый дощатый домик получил за сходство с пивными ларьками. Это скорее беседка, чем дом, у него нету фундамента и жить в нем можно только в жару летом.

Попыталась охмурить Грибачева – но тот, не будь дурак, отказался вникать, сказав, что у него времени нет.

Ну вот, а сегодня КИ ходил к Федину, который читал начало его воспоминаний о Зощенке, – и Федин сказал, что:

дело Бродского (с Фридиной записью) было докладываемо лично Хрущеву (по-видимому, из-за криков за границей), и он сказал якобы, что суд велся безобразно, но пусть Бродский будет счастлив, что его судили за тунеядство, а не за политику, потому что за стихи ему причиталось бы 10 лет…

Значит, мерзавцы – или обманутые – обманули Никиту Сергеевича разного рода фальшивками, состряпанными Лернером…

Завтра я еду в город, увижусь с Фридой, с которой не виделась сто лет, и будем думать думу…

Да, еще НС спросил, как Фридина запись попала за границу…

Фрида посылала ее в «Известия», в «Лит. Газету», в прокуратуру и т. д. Очевидно, в каком-то из этих учреждений кто-то переписал и пустил по рукам, а то, что ходит по рукам, – неизбежно попадает за границу.

А от Иосифа вести плохие, и самая плохая та, что он не в силах переводить, хотя его завалили переводами.

Зима там близка. Переживет ли он ее?

8/X 64. Переделкино

Вернулась – после третьей – вторая ахматовская осень: тепло, синее небо, пышные, сквозные леса. Это было так явственно, так прекрасно, что я ехала по шоссе в Переделкино с редким светом в душе, будто и меня осенило золотом и синевой.

Приехав, по листьям, под синим небом, помчалась в Дом Творчества к Оксману, узнать, не прочитал ли он уже мою рукопись?

В коридоре я встретила Л. Н. Радищева, что тоже меня как-то развеселило.

Но Юлиан Григорьевич встретил меня мрачно и сухо, без обычных приветствий.

Приезжал Ильин, вручил ему повестку, что в три часа дня в Союзе будет разбираться вопрос о его недостойном поведении{166}.

Я уговорила его выйти на двадцать минут погулять. Он был возбужден. На улице мы сразу встретили К. И. Я ему сказала. Он с ходу стал давать ЮГ советы, совершенно неподходящие к случаю.

Пошли к Дому Творчества – ЮГ было пора собираться. Прибыла заранее заказанная машина.

Мы с Дедом побрели домой. Я понимала, что вечером КИ нельзя пускать в Дом Творчества – иначе он не будет спать.

Но сама я, конечно, пошла.

Его исключили единогласно.

Читался материал из папки КГБ. Причем КГБ от преследования отказывается (нет оснований); но его должна съесть «общественность».

С бешеными речами выступали матерые палачи: Софронов, В. Кожевников. Лучше других – Чаковский. Федин прислал письмо, что по болезни приехать не может, но присоединяется к решению исключить. То же – Сурков.

11/X 64

Вчера у меня был светлый день: Володя Корнилов, мой любимый читатель, которого я видела перед собой, когда писала о Герцене – пришел с рукописью, прочитав ее. Говорил, как поэт, напр.: «цитаты из Герцена и ваш текст естественно переходят друг в друга – как поле в лес, лес снова в поле». Все дошло до него, все он понял – вдаль и вглубь – текст и

подтекст. Но литературоведческая сторона, видимо, для него совсем пропала (глава 4) – и это жаль – потому что там есть новинки, находки.

Вчера съездила к Орьеву – юристу СП, а потом, по его рекомендации, к Келлерману – юристу Охраны авторских прав и подала по их совету заявление о взыскании с «Советского Писателя» 40% за «Софью». Если бы это удалось, я как-нибудь бы перебилась, пока до денег за «Былое и Думы». (А пройдет ли книга? А заплатят ли?) Меня удивило и порадовало, какая ненависть к Лесючевскому{167} и пр. сквозила в словах сухого и сдержанного Орьева, с каким уважением встретил меня Келлерман, с какой охотой взялся за дело (он читал «Софью»).

14/X 64. Переделкино

Осень, осень, осень… Не совсем голые, но полуголые деревья и золотые листья на земле.

Мы приехали вместе с Фридой – чтобы вместе (она так хотела) идти к Ивановой{168} договариваться о комнате. Но Дед позвал нас к себе наверх. Сообщил поразительную новость: к нему приезжал Дмитрий Алексеевич Поликарпов специально по делу Бродского. Просить, чтобы КИ взял назад свое заступничество{169}.

К. И., дорогой, отказался.

Странное дело: никаких политических обвинений, а все та же галиматья о тунеядстве, подстрочнике, каких-то попойках и пр.

22/X 64

В субботу, послезавтра, еду в Комарово.

За эти дни – многое случилось, многое хорошее.

1) Юлиан Григорьевич держится умно и стойко, хотя Шкловский его чуть не ежедневно терзает требованиями покаяния, хотя он уже изгнан из ИМЛИ, хотя в «Лит. Наследстве», по требованию Анисимова, снято его имя, хотя все узнала Антонина Петровна: Союз послал на дом выписку из постановления…{170}

2) Сдвиг по делу Бродского – большой, счастливый. Миронов – тот самый Миронов, который накануне суда так гнусно говорил с К. И., тот, который дал ход всему беззаконию, – 3/X позвонил в Ленинград Грудининой и сообщил, что он передал дело снова в Прокуратуру СССР, куда ее и вызовут. 19/X эта Жанна Д'Арк была на приеме у и. о. Прокурора СССР, Малярова. Решено: мы, хлопотавшие, 15 человек (число назвал он), берем Иосифа на поруки, срок сокращается до 8 месяцев. Вечером 19-го у Фриды – я, Гнедин, Грудинина написали соответствующее письмо; 20-го утром Шура{171}, я и Грудинина съездили к К. И.; он подписал; затем Грудинина поехала к Паустовскому, а от него – в Питер. Туда же – Фрида; там подпишут АА, Дар, Бахтин, Долинина, Эткинд, Адмони – и письмо будет представлено Малярову. А к Иосифу поедет Толя (из Ленинграда), с которым Фрида пошлет ему для осведомления наше поручительство.

23/X 64. Еще Москва

Да, а Миронов, Н. Р., который благословил суд над Бродским и только недавно, 3/X, сделал крутой поворот, – позвонил Грудининой и сказал, что он никогда не был против, что это было его частное (!) мнение и что он передал дело Малярову, – этот Миронов Н. Р. разбился в самолете, вместе с нашей делегацией, и сегодня его хоронили…

31/XII 64 – 1/I 65. Переделкино

Дед спит. Я одна.

Фрида в больнице – еще есть слабая надежда, что это не…

Без трех минут двенадцать. Тишина.

Дело Бродского все еще не кончено. Хотя – обещано. И он в отпуске в Питере.

«Оно изгрызло мне нутро», – сказала Фридочка – сама не зная, что говорит…

Фрида, будь жива.

11/I 65

Сейчас от Фриды.

Прощаюсь. И тогда она говорит мне – не печально, но деловито:

– Если со мной что случится… Вам детские дневники.

Я ее целую и ухожу.

Но сегодня я еще должна быть счастливой, потому что сегодня она еще там, в палате, такая, какой я ее только что видела, – смеется, шутит, читает Диккенса, посасывает виноград, думает о Бродском, о всех нас; сама может одеться, накинуть халатик, пойти в столовую…

Такая, как всегда. Жизнь. Фрида.

14/I 65

Нет, смерть.

Три часа вместе с другими я просидела в вестибюле больницы.

Рак поджелудочной железы. Неоперабельно.

18/I 65

Прокуратура СССР опротестовала приговор суда по делу Бродского и направила его в Ленинградский городской суд: говорят, насчет Савельевой{172} и клеветников будет вынесено «частное определение».

Но радости у меня нет – не Фридиной ли жизнью мы заплатим за эту победу?

В Ленинграде на писательском собрании провалили Прокофьева и в добавочном списке провели Эткинда, Грудинину, Долинину, Адмони – всех, кто защищал Бродского.

У нас собрание в среду. Орлова собирается говорить о подвиге Фриды Вигдоровой.

*** * ***

Дело Бродского длится, т. е. стоит на месте. Прокуратура обещает написать протест и передать дело в Верховный Суд РСФСР. Там – Л. Н. Смирнов, которому КИ написал письмо и к которому на прием пойдет Алена Чайковская. Но Прокуратура медлит. Говорят, Ленинградский обком ни за что не желает, чтобы Иосиф был выпущен.

Хочет опять вступиться Сурков. (Ему за границей неловко.) Но вступится ли?

Иосиф дважды звонил мне. Из Коноши. Фриды дома нету – он звонит мне. Он боится, что от него что-нибудь скрывают, «Вы меня не обманываете?» Чудак, он не понимает, что обманывают нас.

20/II 65. Москва

Иосиф получил только теперь извещение об отказе Ленинградского суда – и прислал Юле горькое письмо, что он будет ждать «не более двух недель».

Между тем из Прокуратуры СССР дело перешло, как и было обещано, в Верховный Суд РСФСР, к Смирнову.

Смирнов уехал на десять дней в Африку. Его будут ждать.

В день его возвращения ему будет передано письмо К. И.

За оставшиеся десять дней надо бы обратиться еще к кому-нибудь в то учреждение, от которого все зависит: в ЦК. Но к кому и как?

Дурное решение искалечит Иосифа, тяжело ударит больную Фриду.

14/III 65

Два месяца со дня Фридиной операции.

10-го ее выписали. 11-го перевезли в Переделкино. Я видела ее чуть-чуть.

Дело Бродского терзает, мучает, давит. Сегодня у меня была его мать: его «в порядке планового переселения» отправляют на север, на полуостров Ямал – на гибель. В шесть часов ко мне придут О. Чайковская и Гнедин – будем решать, как быть.

Что мы можем?

Дело в Верховном Суде, у Смирнова. Но решения нет. И разговор у Ольги Георгиевны Чайковской с Шубиным, зам. Смирнова, был худой.

А за границей передают и пишут, что он на свободе…

18/III 65. Переделкино

Дело Бродского держит в тисках меня, и Копелевых, и Анну Андреевну – в городе и на даче.

Вот и завтра – ко мне должен прийти Наровчатов, которого мобилизовала по этому делу АА.

У Алены, после ее разговора с Шубиным, кричавшим ей: «Тоже еще поэт! Какой он поэт! И больше всего меня возмущают Маршак и Чуковский, которые пишут о нем, его не зная», – явилась мысль, что АА должна пойти к Анастасу Ивановичу Микояну. Он сейчас в азарте правосудия. Необходимо, чтобы он дал возможность суду осуществить правосудие *вопреки* Ленинградскому обкому…

АА согласилась – но решила заручиться предварительно поддержкой Твардовского и Суркова; мы дали им знать, что она хочет их видеть, но они пока не отозвались.

А суд длится. Если будет отказ – не могу подумать об Иосифе, о Фриде…

И в то же время мне жаль АА, которая после трех инфарктов должна предпринимать эти хлопоты…

19/III 65 Москва

Был у меня Наровчатов, принес письмо к Л. Н. Смирнову в защиту Иосифа…

Сделала это АА – он *для нее* это написал.

Но письмо толковое.

Про него худо говорят, речь его на съезде произвела впечатление сильного уклона вправо.

В стихах он, безусловно, понимает – но – как возразил мне кто-то – «в начальстве он тоже хорошо разбирается».

Завтра приму меры, чтобы передать его письмо Смирнову. Самому ему «некогда»…

18/IV 65

Была у Деда в Кунцевской больнице. Условия идеальные: отдельная комната, с отдельным входом, отдельной ванной. Парк.

Спросил о деле Бродского.

Предложил, что в новое издание «Искусства перевода» вставит отрывки из его переводов (сейчас я отбираю).

Проводил до ворот. И пошел назад – я поглядела вслед – на слабых ногах. На слабых, на старых.

Вчера утром от глазной врачихи я забежала к Фриде. Первый ее вопрос: как дело Бродского? Ну, как обещано было «на днях», а оно до сих пор не назначено; О. Г. Чайковскую, которая хотела говорить со Смирновым, Смирнов к себе не пускает. Ходят слухи, что делом заинтересовался Микоян (ему давно писал и отправил все наши бумаги Паустовский, но ответа не последовало). Ира Огородникова{173} взялась поговорить с его сыном.

Фридочку завтра утром кладут в больницу, в ту же палату: второй курс лечения.

23/IV 65

Сегодня у меня была мать Иосифа. Он болен. Начальство тамошнее запретило врачам давать ему бюллетень. (Там *новое* начальство.)

Смирнов не принимает Чайковскую. Дело у него – он его все не назначает.

Вчера в Доме журналистов на диспуте «Мораль и суд» выступал Тендряков и сказал, что дело Бродского волнует людей во всех углах страны, что он читал запись Вигдоровой и, если это правда, – надо судить Суд…

Конечно, Савельеву и Лагунова давно пора судить{174}.

А Иосиф пока погибает…

17/V 65

Смирнов улетел в Берлин – и вернулся. Наш друг, Анна Моисеевна, видела его на вечере памяти Короленки, и он сказал – опять! – что дело Бродского будет решено на днях. На ее просьбу – разрешить ей прийти, он ответил: не стоит! его решат в минуту!

В дело уже вмешался Сартр, Арагон, Неруда.

Сегодня вечером в Союзе встреча писателей с зам. Пред. Верх. Суда СССР. Приглашен Копелев и готовится выступить (о Бродском).

25/V 65

На днях письмо от Бродского – просит для родственника лекарство от бронхиальной астмы. Три стихотворения, из которых одно – «В распутицу» – превосходно.

Лекарство ищу. (В Кремлевке нет.) Копелева оборвал высокий гость, не дал ему говорить («не надо на меня воздействовать»); писатели не поддержали; Атаров сказал: «не будем нарушать законы гостеприимства».

(Лучше бы не нарушать законы справедливости – и страны.)

29/V 65. Москва

Оказывается, Иосиф неделю сидел в тюрьме за то, что на два дня опоздал из Ленинграда. Мальчики, приехавшие к нему на день рождения (24/V), пошли к секретарю райкома и упросили, чтобы его выпустили на этот день…

Завтра пойду к Фридочке.

7/VI 65

По поводу Иосифа была тревога: мне позвонила из Ленинграда Грудинина, что будто дело уже решалось третьего июня. Решение неизвестно, просила узнать. Назавтра с утра милый Гнедин отправился в Секретариат Верх. Суда: дело было поставлено на повестку, но снова снято и снова находится у Л. Н. Смирнова.

10/VI 65. Переделкино

Дивные дни – теплые, сухие. Расцветающий сад.

И как всегда лгут – птицы, тишина, зелень. Пошла я в дом накапать капли в глаза. Телефонный звонок. Лев Зиновьевич. Ему сказала И. Огородникова (из Иностр. Комиссии), что по делу Бродского – отказ… Отказ в пересмотре.

Надо проверить – правда ли это.

12/VI 65. Москва

Нет, кажется, неправда.

Милый Гнедин ходил в секретариат Верх. Суда, там ему сказали, что все на прежнем месте: т. е. дело у Смирнова… Но, может быть, сведения Огородниковой были из более высокой инстанции?

20/VI 65. Москва

Дело Бродского стоит на месте. Стало и стоит.

17/VII 65

Вчера, после трехнедельного перерыва, вызванного моей болезнью, поехала к Фриде.

Она лежала на боку, раскинув руки, с закрытыми глазами. Потом:

– Как наш рыжий мальчик?

Медленно, трудно, но с отчетливой ясностью всех мыслей и ассоциаций.

20/VII 65

Фрида как-то еще выше лежит на подушке, словно бы на облаке. Или поднятая на крест.

Спросила, что нового.

Я рассказала ей о Евтушенке: вернувшись из Италии, он написал в ЦК записку – отчет и там о Бродском: как вредит нам это дело, как необходимо его выпустить поскорее и потом издать его книгу – причем он, Евтушенко, берется отобрать стихи и написать предисловие.

– Не до книги, – сказала Фрида. – Освободили бы поскорее.

11/VIII 65

Вчера мы похоронили Фриду – свет, жизнь.

В толпе – Над. Як. Мандельштам, приехавшие из Ленинграда: Дьяконова, Адмони, Эткинд, Руня Зернова, Нат. Долинина; Калабалин с детьми из своего детского дома; Фридина любимая учительница – Анна Ивановна; множество друзей (Савичи, Облонская, Галь, Грекова, Гнедины, Ивичи, Сана [Георгиевская], Оттены) множество знакомых – лечившие ее врачи, шившая ей портниха, В. Корнилов, Аким, Эмма Гр. Герштейн, Н. Иос. Ильина; журналисты из трех газет; читатели; незнакомцы.

За кулисами – чиновничья возня: кто будет «вести» траурный митинг. Копелев не годится, нужен член секретариата… Бегают друг за другом Галин, Борисов.

Сменяется почетный караул. И я постояла немного, посмотрела на Фридин лоб и брови – всё, что осталось неизменным.

Венки от «Нового Мира», от «Сов. Писателя», от К. И. (кот. еще не знает о смерти; это и телеграмму организовали мы с Кларой и Люшей), от «Известий», от «Комсомолки».

Распоряжающийся Арий{175}.

Я, присев в духоте, оказалась рядом с Над. Як. (чего вовсе не хотела) – она меня познакомила с Шаламовым. Я с истинным глубоким уважением пожала его руку.

Начался митинг. Открыл Галин. Произносил пошлые газетные приблизительности. Потом Калабалин. Это человек талантливый, оратор блестящий, но надгробные речи – не его жанр, к тому же он все время плакал. Потом Орлова – хорошо. В заключение она прочла телеграмму от А. А. «Пусть ее светлый образ останется для нас утешением и примером душевного благородства». Потом я. Став на свое место, я почему-то совсем перестала волноваться и говорила спокойно.

О деле Бродского, как мы условились с Копелевыми, говорили только отвлеченно, не называя фамилий.

Потом Глеб Семенов – стихи.

Оттен прочитал полстраницы очень трогательные, присланные Паустовским. Там была хорошая мысль: что с Фридой Абрамовной случилась такая беда, которую не может исправить даже сама Фр. Абр.

11/VIII 65

А неприятности своим чередом: сегодня позвонила мне И. Н. Лунина из Ленинграда, спрашивает, нет ли чего решительного плохого об Иосифе. «Нет, – говорю, – а что?»

«Меня вызвал директор издательства и в очень грубой форме предложил снять стихотворение «Последняя роза» с эпиграфом из Бродского «Вы напишете о нас наискосок» из книги АА» (Ленинград, «Советский Писатель»). «Почему?» – спросила я. «Бродский – антисоветский поэт, упоминать его мы не будем»… Вот я и подумала, – говорит мне Ирина Николаевна, – что здесь что-нибудь случилось». «Пока нет, – говорю я. – Ответа ни от Микояна, ни из Верховного Суда мы не получили».

«Значит, должна решать сама АА, – говорит И. Н. — А я боюсь, она снимет всю книгу…»

Я этого не думаю. Но вряд ли это фанаберия Ленинградского отделения. Что-то случилось.

12/VIII 65

Да, случилось.

Сегодня мне стало известно, что в Гослите Косолапов распорядился выбросить из сборника «Голоса друзей» переводы Бродского{176}.

Почему? А потому, что в ЦК было идеологическое совещание, на котором т. Семичастный (большой специалист по поэзии Пастернака) назвал Бродского «антисоветским явлением»… Вот и ответ. Никакой Верх. Суд, никакой Микоян теперь за него не заступятся…

На том же совещании некто Скоба с Украйны возмущался напечатанием «малограмотной повести Солженицына».

Кто-то взывал: чей журнал «Новый Мир»?

Словом, мы снова переживаем весну – весну 63 года.

Плоды совещания видны уже в прессе: «Правда» выступила против Семина, «Известия» против целой серии имен: Битов, Семин, Аксенов, Горышин.

Когда Фридочка умирала, я вспомнила чьи-то мудрые слова, сказанные по поводу других погибших: всегда старайтесь понять, *для чего* человек умер. Чтобы не дожить *до чего?*

Для чего умерла Фрида? Это мы скоро увидим.

15/VIII 65

Оказывается, уже после выступления знатока поэзии, Семичастного{177}, несколько ленинградцев, во главе с Дудиным, ходили к Демичеву{178} заступаться за Бродского…

17/VIII 65

Пробую кое-что предпринять в защиту выкидываемых переводов Иосифа. Но кроме всей обстановки – на шее – август! все, кого я хотела бы просить пойти к Косолапову, в отъезде…

А СЯ, говоривший с ним некогда, в могиле.

18/VIII 65

Из Ленинграда вернулись вездесущие и всемогущие Копелевы.

Сил у них – на зависть. Съездить в Ленинград и обратно, повидаться с десятками людей им ничего не стоит…

Видели АА, были у нее в Комарове.

Снять стихотворение «Последняя роза» (с эпиграфом из ИБ) она, к моему удивлению и огорчению, очень легко согласилась.

Зато сильно сердится на какую-то типографскую ошибку в листах книги, где 4 строки приклеены к какому-то не тому стихотворению… Конечно, это безобразие, но ведь гораздо меньшее… А там надо было упереться насмерть.

Виделись они с Граниным. Он действительно вместе с М. Дудиным объяснял Демичеву, как вредит нам за рубежом дело Бродского, и Демичев, оказывается, при них звонил в Верх. Суд РСФСР с просьбой ускорить дело…

Итак, Смирнов (или Французов?) между Семичастным и Демичевым.

А к Косолапову пошел Евг. Мих. Винокуров, редактор (внешний) сборника «Голоса друзей». Он не шибко храбрый, но, видно, общественного мнения боится больше, чем боится Косолапова. Это делает ему честь.

Косолапов отказал… Переводы Бродского велено снять. Какое беззаконие! Новое.

21/VIII 65

Придумали для защиты интересов Иосифа вот что: чтобы Гранин обратился к Демичеву с просьбой, чтоб тот позвонил в Гослит… Для них это перекрыло бы Семичастного… Удастся ли?

Новое наступление на «Новый Мир» и пр., кажется, «захлебнулось». Судя по газетам, литературу пока не травят. Весна 63 года не повторяется. Тем более обидно, если снимут переводы.

22/VIII 65

Обдумываю, как браться за новую книгу. Она должна быть памятником Фриде.

По-видимому, новое наступление на литературу «захлебнулось». Судя по газетам, оно не развивается. Очевидно, наверху не договорились.

Но с борьбой против изъятия переводов Иосифа ничего не выходит. Ленинградский вариант отпал.

Может быть, я сама напишу Демичеву. Я готова. Беда только в том, что мое слово мало значит.

25/VIII 65

Оказывается, Семичастный говорил о Фриде. В числе тех литераторов, которые сбивают молодежь (Аксенов, Солженицын, Семин, Вигдорова). Чем она сбивает? Распространением записи суда над «антисоветчиком» Бродским.

Произнесено это было 6 августа…

Какая дивная концовка для книги!

Его речь 6-го, ее смерть 7-го и моя речь 10-го{179}.

* * *

Я решила писать Демичеву. Завтра.

29/VIII 65

Письмо Демичеву я написала и послала.

1/IX 65

Вчера мне сказала Сара Эммануиловна, что Твардовский сказал Фишу, что он, Твардовский, говорил с горкомом и Руденко о деле Бродского. И те согласились, что дело беззаконное, но

«Толстиков сказал – через мой труп».

Толстиков – реальная власть, Верх. Суд – мнимость.

7/IX 65. Переделкино

Месяц со дня Фридиной смерти.

Перед отъездом – неприятность: от Демичева мне ответа нет, но, очевидно, он запросил Гослит не о том, почему выбрасывают принятые переводы Бродского, а почему они были приняты.

Такого поворота я не ожидала…

Значит, письмо мое принесло вред.

9/IX 65. Переделкино

Чудеса в решете – нет, принесло пользу!

Вчера мне позвонила сюда Юля, что все переводы Иосифа велено в сборнике восстановить. Таков звонок – приказ. Трус и гад Косолапов (вместе со своим покровителем Семичастным) съел гриб.

А сегодня, когда Марина привезла Деду «Правду» со статьей Румянцева об интеллигенции, либерализм в деле с переводами Иосифа сделался понятен{180}. Мое письмо нежданно-негаданно попало в самую точку.

А может быть, тут еще сработал мой разговор с Алексиным, которого я просила позондировать Михалкова?

А может быть, тут еще письмо Суркова и Сартра куда-то наверх, о чем мне вчера сообщила Юля?

10/IX 65. Москва

Как я мечтала: «Саша?{181} Это ты? Говорит ЛК. Скажи маме: дело пересмотрено, Иосиф свободен».

Нет, ей некуда позвонить.

Вчера – звонок и старческий голос нашей старушки{182}:

– В субботу, 4-го, дело пересмотрено, он свободен…

Сегодня – капля яда.

Лев Зиновьевич пошел сам в Верх. Суд РСФСР. Приговор отменен только в части срока; вместо 5 лет – 1 год 5 месяцев (т. е. отбытое наказание) – значит, все-таки он в чем-то виноват был? в чем же? значит, прописки в Ленинграде ему не дадут – и Толстиков, Лернер и Прокофьев снова могут сделать с ним, что хотят…

Все гадают: чье вмешательство побудило Верх. Суд наконец рассмотреть дело? Я думаю – капля долбит камень. Фрида своею записью докричалась до целого мира. На нас Толстиков может плевать. А на Сартра и европейское содружество ему плевать не позволяют. А Сартр, говорят, написал Микояну, что в октябре писатели содружества съедутся в Париже и там разговор о Бродском пойдет непременно{183}…

Фридочка, вот что вы сделали своими маленькими сильными руками…

13/IX 65

Позвонил некто т. Мелентьев из ЦК и сообщил то, что я уже знала: «указано Гослиту восстановить переводы Бродского»{184}.

17/IX 65. Москва

Вчера вечером на даче мне вдруг стало страшно, что нет вестей об освобождении Иосифа. Стала я звонить в город – Юле, Нике, – никого нет дома. А вечером позвонила мне Света Орлова, что звонил из Коноши Иосиф – ничего там о нем еще не получено… Сегодня я через старушку навела справки в Верх. Суде – бумага послана в Архангельск 9 сентября.

Я дала ему телеграмму.

22/IX 65. Переделкино

Сегодня здесь был Солженицын.

Беда: 7/IX он взял из «Нового Мира», из сейфа, 3 экз. своего романа и отвез друзьям. 11/IX там был обыск… Искали у хозяина какие-то теософские сочинения – всерьез? или для виду? неизвестно – и напоследок спросили: а что в этом чемодане? белье? Хозяйка ответила правду.

Они унесли чемодан.

– А роман мой обладает большой убойной силой, – говорит Солженицын. – Теперь они его читают.

Один экз. он сейчас же снес в ЦГАЛИ. Не знаю, по правде, зачем… Ведь ЦГАЛИ это то же министерство.

В Рязани житье ему плохое. Квартира в старом, развалившемся деревянном доме, напротив – база или склад, где бывает 40–50 грузовиков в день. Жить нельзя.

Он хотел перебраться в Обнинск. Жена его прошла там по конкурсу в каком-то институте. Но начальство отклонило ее принятие – всякими ухищрениями: Обнинск, как и Рязань, ненавидит Солженицына. (Разумеется, не население, а начальство.) И ненавидит не по приказу свыше, а из глубины души.

Рассказал, какие о нем распространяются слухи – нарочно, начальством:

Сначала Павлов заявил, что он уголовник{185}.

Теперь инструкторы сообщают слушателям, что он был в плену, что он – власовец, что он был полицаем…

Арестованы – уже довольно давно – Синявский (автор предисловия о Пастернаке) и переводчик Даниэль. Их обвиняют в том, что они – Абрам Терц.

Всюду ищут самиздат.

* * *

От Иосифа сведений нет. По-видимому, он еще в Коноше.

Я попрошу известинцев позвонить в Архангельскую область, куда 9/IX Верх. Суд послал свое решение.

24/IX 65. Москва

Алёна ходила в Верх. Суд и выяснила, к нашему ужасу, что по ошибке решение об Иосифе заслано вместо Архангельской области – в Ленинградскую… А он, бедняга, звонит оттуда, спрашивает, когда же.

25/IX 65

Иосиф.

Только что ушел от меня.

Освобожден. В Ленинграде еще не был. Приехал сначала сюда, говорит – чтобы получить деньги в Гослите.

Иосиф. Тот, кого не дождалась Фрида. Не я имела право обнять его в дверях, и жарить ему яичницу, и смотреть, как он ест…

Но – выпало это мне. И я старалась радоваться, и мне это почти удавалось.

Он как-то еще вырос и поширел. Большой, будто сильный. Но нет, болезнь видна: не кончает фраз, бегает по комнате, все время крутит пальцами…

Мы вместе звонили в Ленинград: Анне Андреевне. И его тетушке.

Очень плохо одет. Но и это его не портит.

Доброта, простодушие, ум, дурной нрав – ребячливость – прямой поэт.

Читал стихи – но бросал, забывал их…

Теперь предстоит Ленинград и последний барьер: прописка.

Хочет, прописавшись в Ленинграде, ехать в Таллин.

Зашла Юля. Подавая ей ее клетчатое пальто, Иосиф сказал:

– Все в клетку, как тюремная решетка!

Стараюсь догадаться, как поступила бы Фрида? Иосиф освобожден, но не реабилитирован. Решение Суда РСФСР (несомненно, под воздействием Толстикова) вопиющее: освободить как психически неполноценного. (А не как оклеветанного!)

Думаю – надо укрепить его благополучие, т. е. чтоб он был прописан, стал членом Группкома переводчиков и пр., а потом – а потом, когда страсти улягутся, – подумать.

6/X 65. Москва

Из Ленинграда ни звука. Не знаю – прописывают Иосифа или не прописывают? Берут на учет в Группком переводчиков – не берут?

Сегодня я постараюсь дозвониться Эткинду или Грудининой.

15/X 65. Вечер. Комарово

Да, Комарово. Море шумит. Тепло и сухо, Я в комнате № 4. Пока тишина полная.

Иосиф звонил мне из Ленинграда в Москву и повторял, что у него все хорошо: прописан на год; в Группком, вероятно, примут… Но за сорок минут до моего отъезда позвонил Толя и сказал, что нужна характеристика от К. И. Мне пришлось поручить создать шпаргалку и съездить к Деду Копелевым; они сделают это хуже, чем я, и я тревожусь.

Завтра Иосиф ко мне приедет. (Имя, звук, тревога, обратившаяся в человека!) Я хочу поговорить с ним о его дальнейшей жизни. Дело в том, что даже если ему дадут сейчас гору переводов – деньги воспоследуют не раньше чем через год…

Подарю ему Фридину фотографию (от Гали и Саши) и свое «Над гробом».

Меня огорчает, что ближайшие «соратники» – Копелевы, Гнедины – считают наши бродские дела конченными… Это не по-Фридиному: судьба его еще не устроена.

16/X 65. Комарово

Светлый день. В двенадцать часов приехали Иосиф и Яша{186}.

Дело не кончено, как я и боялась.

Прописка не осуществлена еще, потому что нет снятия с военного учета в Коноше.

Вопрос о принятии в Местком будет решаться 26-го.

А участковый уже приходил осведомляться: где он работает?

Членство в Группкоме, достаточное для всех, для него может оказаться защитой недостаточной. Да и денег ведь нет и за переводы не будет ранее чем через год. А деньги?

Стало быть, надо хоть на первое время идти куда-то на службу.

Так он и собирается поступить.

Мы пошли гулять. Яша скоро помчался на поезд. А мы гуляли вдвоем и впервые в жизни разговорились. Он умен, тонок, блистателен… «Прямой поэт». Более всех любит англичан: Браунинга, Саути, Кольриджа. И американцев: Фроста. Из русского XX века – Цветаеву.

Оказалось, что он живет в доме Мурузи… Подумать только, в двух шагах от моего детства, наискосок от Маршака, в доме, где была студия Дома Искусств, а до того, где жили Мережковские!

Считает гением переводчика Андрея Сергеева.

Элегантен: в куртке, привезенной из Италии Анной Андреевной, при галстуке. Красив. Очень внимателен, любезен, починил лампу от моего пюпитра, которая снова сломалась.

Необходимо достать ему переводы.

24/X 65

Вчера была телеграмма от Копелева, что рекомендация наконец выслана. Гора с плеч. Сегодня в городе я позвонила – рекомендация получена; Грудинина клянется, что тучи рассеиваются. Мальчики ходили к Гранину, рассказали о капкане; Грудинина – к Дудину. Кетлинская, нынешний председатель Комиссии по работе с молодыми, взялась очень горячо и устроила скандал той бабе из Группкома, которая затевала провалить его. Авось 26-го все обойдется.

31/X 65

Была на днях и Наташа Долинина – тоже человек из Фридиной жизни, тоже тревога{187}.

Сообщила мне Нат. Грудининой и Рунины{188} идеи насчет того, что «дело Бродского» погубило Фриду и что я виновата, послав Фриду на суд.

Фрида всю жизнь занималась спасением других. Я – нет. И не мне было втягивать Фриду в дело Бродского. Я сама втянулась в него поначалу только из желания помочь Фриде, разделить ее тяжесть. Ко времени 2-го суда она была в Малеевке. Ей туда позвонил кто-то из ленинградцев. Она приехала в Москву. Тут восстали родные: не пускали ее. Вечный аргумент: ты ничем не поможешь, а сама… Мне позвонила Саша, спросила совета. Я ответила:

– Маме надо ехать, Сашенька. Она очень глубоко уже вошла в это дело, она уже любит Иосифа, и, если она не поедет, – она съест себя.

Она поехала. И совершила свой подвиг.

Если бы она не поехала – она все равно продолжала бы за него драться, но у нее не было бы оружия – записи суда, – того оружия, которое в конце концов сокрушило стены его тюрьмы.

И неправда, что дело Бродского было для нас только мукой и болью. Сколько друзей, помощников, соратников принесла ей запись! какую она почувствовала силу – силу своего слова.

Сколько людей помогали ей – в деле Бродского она секунды не была одна.

Да, забыла записать главное: 26-го Иосифа приняли в Местком. По-видимому, он теперь для милиции недоступен. Теперь надо ему уезжать, уезжать, чтобы здешние Лернеры не учинили какой-нибудь провокации.

3/XI 65

Был Панич. (Я теперь друзей зову к шести.)

Гуляли, разговаривали. Я прочла ему стихи К. о стихах и дивные Иосифа – о Малой Охте, которыми я просто заворожена, которые я послала Деду{189}.

1/XII 65

Время бежит под откос. Скоро Москва.

Я живу здесь очень интенсивно: работаю, гуляю, лежу, пишу письма – день набит до отказа. Еле успеваю написать письмо, выстирать платки.

Была мечта: кончить о Фриде числа 5-го, а потом 10 дней жить вольно, отдыхать. Но нет. Хотя работаю ежедневно и много, вижу, что и к 15-му еле кончу.

Глина размялась, потеплела, лепится, и это дает счастье и чувство полета. Но хорошо ли то, что слеплено? Имеет ли оно хоть отдаленное сходство с нею, чей голос я слышу, очи вижу? Не знаю.

Вчера утром вдруг – Иосиф. Был у Гитовича, который отбирает с ним его стихи для книги. Чудеса! На днях он с успехом выступал в Союзе на семинаре молодых; все хвалили; Кетлинская («она всегда на два шага впереди прогресса», – говорит о ней Дар) в восторге и обещает напечатать стихи. Ездил он в Москву, видел трижды в больнице АА и получил множество переводов – в «Прогрессе» и Гослите. Все, казалось бы, хорошо. Но он грустен, темен, тяжел, невнятен. Два раза его слова полоснули меня по сердцу. Я позвала его обедать. Мы вообще-то всегда в складчину кормим всех гостей – жен Гладкова и Ляленкова, Наташу Долинину и пр. А тут был обед уехавшего Дара. Так что я звала Иосифа уверенно. Он пошел – по двору шел очень лихо, руки в брюки, свистал. И вдруг на крыльце:

– А меня там никто не унизит?

За столом быстро познакомился с Гладковым, поговорил с ним о Цветаевой… Вернулся в комнату, сел. И вдруг:

– Если бы меня хоть через день кормили таким обедом, я бы перевел все на свете…

Когда он поднялся, я стала предлагать ему денег – нет. Обещал приехать завтра.

* * *

Пойти бы к Фридочке на могилу, рассказать бы о нем ее холмику.

* * *

Из того, как развивается дело Синявского видно, что наша борьбы за Бродского принесла большую пользу.

11/XII 65. Еще Комарово

Читаю.

Полторак «Нюрнбергский процесс»{190}.

Вглядываюсь в лица негодяев. Убийцы, палачи – все это только слова. Что это? Как это случилось с человечеством – лагеря – это?

Природа фашизма до конца, до дна непонятна мне.

И тут же лица обвинителей, судей.

Руденко (не помню, что он делал при Сталине?).

Л. Н. Смирнов.

Это им полтора года мы без успеха писали об Иосифе, с ними говорил КИ – от них мы ждали помощи…

Слушаю, слушаю о Синявском и Даниэле. Ловлю каждое слово.

Шолохов попал под это дело, как под трамвай.

Поехал получать Нобелевскую премию – и должен скрываться от международных писательских петиций.

Отвечает о Пастернаке, что его стихи – бред, а сам БЛ – внутренний эмигрант… И отказывается заняться делом Синявского, хотя он член правительства.

И воображает себя патриотом (не любя Пастернака!), защитником мира (не защищая арестованных).

Сидел бы в Вешенской.

17/XII 65. Москва

Последние дни в Комарове были трудны. Я думала, три последних дня буду только гулять, читать, слушать музыку. Но вышло не так.

В понедельник, 13-го, утром, я прочитала статью о Фриде приехавшим специально Эткинду и Наташе{191}. Накануне не спала с шести часов. Читала час и от этого как-то вся распухла. Они сделали много замечаний, я записала. Еле стояла на ногах, хотела лечь.

Стук в дверь – Иосиф.

К счастью, они уехали и он ушел к Гитовичу, обещав вернуться в шесть. Я легла. Спать не могла (срок), но хоть уняла сердце лежанием. В шесть часов пришел Иосиф, я позвала Дара, Гладкова; приехали Тата{192} и Яша – Иосиф читал стихи.

Очень громко, почти крича.

14-го надо было потихоньку укладываться и гулять, а я села делать поправки и правила до одиннадцати часов вечера.

20/XII 65

Главное, я уже знаю, как напишу о Фриде – в стол.

О том, что она к гражданственности шла от материнства, от обороны человека. Не из задора.

5/I 66. Переделкино

В Москве Иосиф.

Прислал мне милое поздравление с картинками. Был – правда, ненадолго, на бегу. У него грипп – 38.3, – а он мчался в Гослит, к Слуцкому и пр. Подарил мне свои стихи о Боге в деревне и один перевод из Галчиньского. Сказал:

– Это будет смешно, но я, кажется, уеду обратно в Коношу. Там можно дешево прожить.

Рассказывают, что в Ленинграде где-то выступал Толстиков и объяснял, что освобождение Бродского – «крупная политическая ошибка Москвы».

На партсобрании в ТАССе делал кто-то официальный сообщение о Синявском и пр. И добавил: «Писатели вмешивались в дело Бродского и добились его освобождения совершенно незаконно».

7/I 66. Переделкино

Только что я проводила Иосифа – до мостика, до кладбища, и показала ему наверху две сосны.

Он приехал около часу. Сидел у меня, курил и читал отчет о беседе с собой. Мы ждали, когда нас позовет Дед.

Наконец, Дед нас позвал. И вот Дед сидит на диване, а Иосиф ходит, и Дед встает и подводит его к полкам англичан и американцев; и они перекидываются именами и оценками. Иосиф учтив, добр, внимателен – и, я вижу, не спорит, даже когда не согласен.

Все идет довольно хорошо, пока за обедом (Дед, я, Клара Израилевна и Бродский, наверху) Дед не просит Иосифа читать стихи. Тот читает – «Новые стансы к Августе». Дед очень слушал и очень хвалил: «Вдохновенно с начала до конца и виртуозно». Но Бродский, как я уже замечала не раз, сатанеет от собственных стихов. Он сразу стал напряжен, резок, неприятен. Выслушав похвалы, он сказал: «Вам это не понравилось, я прочту другое». И прочел «Послание одной поэтессе». – Кому это? – спросил Дед. – Конечно, никому! – отве-

тил зло Иосиф. Потом начал читать «На смерть Элиота» и, весь дрожа, бросил, когда заглянул в комнату Геннадий Матвеевич и поманил Клару. Вошла Марина и села с каменным лицом. Кончив, Бродский был весь в поту. Я видела, что он мучительно хочет курить. Я его увела. У меня ни от чего разрывалось сердце. Отчего? Оттого, что после стихов нельзя «обращаться к своим делам», как сделали К. И., Кл. Изр., Марина, – ведь человек только что пошел на смертный риск: прочел стихи. Оттого, что КИ не полюбил его. Оттого, что К. И. в силах смотреть на него просто как на одного из талантливых молодых поэтов, а не как на Фридину, нашу тоску и бессонницу. А я не умею видеть в человеке только его – без всей боли, с ним связанной.

Бродский отчаянно курил, дорвавшись донизу, и звонил Ласкиной и Гале Корниловой по поводу своих стихов (или переводов?). «Москва», «Знамя».

Потом мы вышли. Мороз. Я довела его до мостика, показала тропинку к могиле и ушла.

20/I 66. Переделкино

А в городе, в моей комнате живет Иосиф – как жил прежде Солженицын. Странный юноша. Радовался моей комнате, тишине и покою, темным занавескам, книгам – в первую же ночь, имея ключи, не пришел ночевать. Ночевал ли во вторую – еще не выяснила.

Странное существо – больное и привлекательное. Читал в Союзе с успехом свои стихи и переводы. Сидя у меня – пока я ждала такси, уже вручив ему ключи и объяснив ему все тайны замков и кранов, – читал мне наизусть Горбовского. Вкус точнейший, потому что он читал хорошие стихи Горбовского, а мне в журнале всегда попадались плохие. Потом мы заговорили о Мандельштаме и он вдруг сказал: «А я несчастнее его. Есть общее в судьбе, но я несчастнее». «Не грешите, Иосиф», – сказала я.

Он был накануне в «Новом Мире», у Твардовского, со своими стихами. Разумеется, отказ был предрешен – стихи не той системы.

– В ваших стихах не отразилось то, что вы пережили, – сказал ему Твардовский.

Странный упрек. А если б отразилось – он бы напечатал? И далее:

– Сейчас мне некогда, но, если хотите, я выберу время и потолкую с вами о ваших стихах.

– Не стоит, – ответил Иосиф.

23/I 66. Москва

В довершение радости: я дома! – тут же Иосиф: «И изгнанники в доме моем».

Мы встретились у входа. Он помог расплатиться и поднять вещи. Пришел и сразу заторопился (ждут друзья?), но попросил «Прозу» Цветаевой – на чуть-чуть. Пока я распаковывалась и мы с Марусей его переустраивали в маленькой комнате – он читал. Вскочил и схватился за сердце.

– Болит что?

– Нет. Но это ведь немыслимое чтение. Она одна все понимала – все поняла сразу. Маяковский поверил, пошел напрямик и пришел к обрыву. Ахматова и Мандельштам думали, что можно все-таки построить внутренний мир. А она поняла сразу – конец, гибель. И надо мерить себя и правду ею, только ею.

И дальше – слова о неизбежности гибели и что он хочет ее.

(Я ему немного рассказала о своей встрече с Цветаевой в Чистополе. Она: «Разве вы не видите, что все кончилось». – Я: «Все равно, я мобилизована, со мной дети… И у вас ведь сын». – «Я для моего сына только помеха. Ему без меня будет лучше».)

Я сказала Иосифу, что моя религия: 66-й сонет Шекспира. Что каждый человек – свет для кого-то. Погибнешь – и кому-то темней.

«Да другу худо будет без меня».

– Неверно. Им, всем нас любящим, будет лучше без нас… Мы им только мешаем.

Потом сказал тронутым голосом: «Мои старики»…

Читал мне стихи Горбовского: «Я свою соседку изувечу» – квинтэссенция коммунальной квартиры.

Вечером пришел, когда я еще не спала. Беглый разговор в маленькой комнате, где ему, он говорит, больше нравится, чем у меня.

Я ему прочла свое письмо в «Известия»[{193}].

Ему очень по душе. Сказал грустно:

– Вот, все готовятся. А мне соваться нельзя – это будет во вред им.

Назавтра к 8 ч. 30 м. – ему на самолет в Ленинград. Утром, в 7 ч. 30 м., я его разбудила. Пила чай, он сварил себе кофе.

С нежностью об А. А.

«Единственная радость, которая еще осталась в мире». «Возле нее становлюсь комплиментщиком». «Чувствует она себя прекрасно, говорит: «РОЭ 7, хожу по лестнице не задыхаясь, сердце не болит. Не совершить ли мне еще какое-нибудь чудо – например, родить близнецов».

Оделся, взял чемодан, отдал мне ключи.

И улыбнулся на прощание открытой, доброй [улыбкой].

23/I 66. Москва

Да – еще.

За кофе: «Меня Сергеев сосватал. Я уеду под Ригу в какую-то келью. Там дешево жить. Все время надо уезжать… Я – пыль».

*** * ***

Иногда он кажется очень красивым – словно юноша-Блок.

«Переводить стихи больше не могу. Они меня душат. Лучше буду делать технические переводы».

10/VI 66. Пиво-Воды

День счастливый и больной.

Утром кончила писать о Фриде.

Подняла голову – на тропочке Иосиф и Толя.

Иосиф и Толя – это ведь и Фрида, и АА…

Сидели на скамьях у костра. Оба читали стихи, оба очень хорошие.

Потом Толя увидел ежа. Они бросились. Иосиф снял пиджак и поймал его. Они его отнесли к КИ.

23/IV 67

Люди…

Вчера утром Бродский; вечером Peter Norman[{194}].

Бродский читал – кричал – стихи. То, что он любит в своих стихах: длинное, виртуозное, абстрактно-философское, ироническое, до меня не доходит; зато такие стихи, как «В деревне Бог живет не по углам», кажутся мне прекрасными.

Сам он мирен, даже добр, но изнурен, болен.

25 января 68 г.

Другая боль: Иосиф. Он был опять, принес мне прочитанные им мои «Записки» с высокой похвалой: «это комментарий к ее жизни и творчеству». Жаль мне его очень. Он на перепутье. Деньги наконец скоро будут большие (ему устроил Жирмунский перевод Джона Дона), но он их, конечно, истратит зря, а надо бы устроить жилье, где бы он мог работать.

23 апреля 68

Вчера внезапно появился Бродский с какой-то молоденькой англичанкой, приятельницей Аманды{195}, изучающей Епифания.

Иосиф гораздо спокойнее, ровнее; выглядит хорошо, розовый. Сообщил несколько неприятных вестей:

1) Толя подавал в Союз – чудак! – и его не приняли.

2) Его собственная, Иосифова, каша, на мели; издательство чего-то требует, чего он, конечно, не хочет.

Мельком Бродский обронил несколько интересных фраз. Он сказал, что всем обязан какому-то своему другу Гарри. «Я ныл, был болен, жаловался. Он мне сказал: «Ты ведь не тело». С тех пор я все понял».

1 января 69, среда

Бродский талантлив, умен, на границе гениальности, но всегда будет нищ и мало любим и неудачлив – как О. Э. [Мандельштам. – *Е. Ч.*], потому что он ничего человеческого не понимает и не хочет и не идет ни на какую другую работу, кроме поэзии, переводы – способ зарабатывать – делает неохотно.

Он совсем не литератор и очень мало человек – он *только* поэт, и это не сулит благополучия.

2 февраля 69, воскресенье

Иосиф мыкается без денег. Кончил какую-то поэму – Рейн говорил: «гениально», «грандиозно». Как помочь ему?

14 июля 69

Дважды за это время был Бродский. Это тоже радость. Мы с ним до сих пор встречались как-то «официально»: сначала, при АА, до ссылки, он мною вообще не интересовался, а мне не очень нравился, потом, после беды с ним и его ответов на суде, я поняла, что это за человек, потом – что за поэт; потом он приходил ко мне, но все как-то не клеилось – с его стороны это был скорее «долг благодарности». И только теперь я почувствовала с ним какой-то контакт. Был дважды – оба раза читал дивные стихи. У него снова над головой тучи – ленинградские власти пытаются впутать его в тамошнюю очередную историю. Он приехал сюда, спасаясь, но не может перенести здешней жары. Опять хочет в Ленинград. Мои записи ему понравились *очень*. Я польщена, потому что знаю его правдивость. Сказал:

– Это лучше, чем разговоры Эккермана с Гете… Тем более что А. гораздо выше Гете. (!)

Когда я сказала – в другой связи, – что А. А. часто бранила людей и иногда несправедливо и людям будет больно читать, он ответил:

– Это все равно. Важно, что она *так* думала. А если думала так, значит, была права.

«Делаю только это».

– Но я слепну, – *не* сказала я.

Еще о Бродском.

Его пригласили на какой-то писательский съезд за границу – не знаю, в Америку или Англию. – Наши ответили, что такого *поэта* в России нет: напечатаны какие-то три стишка в «Дне Поэзии»… История воистину гнусная. Не печатают его, а потом заявляют, что его *нет*. «Вас здесь не стояло», – как говорила АА… Рассказывая мне этот эпизод, Бродский добавил: «Если бы я знал, кто написал отсюда письмо, я бы набил ему морду». – «Хорошо, что не знаете», – сказала я.

Еще он сказал очень примечательно про жару:

«Такая безвыходная, словно Сталин вернулся и это по его приказу».

25 октября 71, понедельник

Читаю Бродского. Читала вслух Фине и, читая «От окраины к центру», – заплакала. Многое мощно и берет за душу, а многое мне не по силам. И как грустно, что К. И., встре-

чаясь, не встретился с ним и так и не понял, *кого* он помогал спасать. И какое счастье, что эта книга – есть.

18 мая 72, четверг. Переделкино

Мерзкий день.

Еще одно дурное известие. Иосифа почти насильно убирают из страны – в срочном порядке.

Лучше ли ему там будет? Или хуже, чем здесь? Сохраннее ли? И как же – родители?

И – Россия. Опять теряет поэта.

31 мая 72, среда. Переделкино

За час до отъезда сюда я простилась с Иосифом.

Навсегда?

Голос по телефону. Тот, из «дела Бродского», из Фридиного мира. Я ему открыла. Похудел; волосы поредели; морщинки у глаз: другой возраст. Одет, как всегда, не по погоде. Я его усадила против себя, дала пепельницу.

И сразу между нами потекло считанное время – время разлуки. Оно особенное – «Мы на учете».

– Я вам сделаю маленький подарок.

Надписал книжку (или оттиск?) «От слагаемого, меняющего место»[{196}].

На обороте – его лицо: обиженный древний еврейский мальчик.

– Вот и вторая ссылка, – сказала я.

– Да.

– А где в Ленинграде ОВИР?

Он оживился.

– На улице Желябова. Идешь дворами. Потом Михайловский сад…

Он говорил об этих местах уже будто с чужбины – о родине. Уже как о дорогом прошлом.

– Я думаю, вы вернетесь, – сказала я.

– Конечно. Через год-полтора.

(О родителях я не заговорила. Нельзя.)

– Я здесь ничего не сделал плохого, – сказал он. – Я писал стихи.

– И вообще ничего плохого, – сказала я. – Только хорошее.

(Время текло, туда и назад, так, что, кажется, его можно было потрогать рукой… Фрида!)

Я спросила, у кого он здесь остановился.

– У Мики Голышева[{197}]. Знаете?

– Да, знаю: это ваш друг.

– Дело не в том, что мой друг. Это вообще человек номер один. Единственный, кого можно оставить за старшего.

Я попросила его прочесть стихи.

– Нет, не надо. Они мешают. Попросите, чтобы вам прочли «Сретение». Это лучшее, что я написал.

– Вряд ли вы сами понимаете, что у вас лучшее.

– Я разбираюсь в изящной словесности.

Мы помолчали. Я сказала, что видела его вторую книгу и дала оттуда переписать для себя многие стихи.

– Какие же?

– «От окраины к центру»… Сейчас так мало греков в Ленинграде…

– Это все старое, 59-й год, – сказал он презрительно.

Я спросила, сколько времени он будет ехать – плыть – лететь.

– Не знаю и не хочу знать. Не хочу про это думать.

– Вот что, – сказала я, – имейте в виду, что я не боюсь переписываться с заграницей. Пожалуйста, пишите мне, и побольше, и почаще.

Он обрадовался – единственный раз.

– Хорошо, что сказали. Спасибо! Я помню ваш адрес.

– А кому вы обязаны своим отъездом? Новой ссылкой?

– Все тому же поэту.

(Я не поняла, но не спросила.)

– Что же, Иосиф, там, может быть, в вас хоть любопытство проснется.

– Нет. В тридцать два года уже не любопытствуешь.

(«Еще как!» – подумала я.)

Он поднялся, что-то сказав о времени. Я тоже встала. Мы обнялись. Я поцеловала его в колючую небритую щеку.

– Да хранит вас Бог, – сказал он (мне бы ему!).

Мы быстро прошли в переднюю, я отворила перед ним дверь.

– Вот и нету мальчика, – сказал он, перешагнув порог.

– Всё есть, – сказала я.

Комментарии

Лидия Чуковская вела подробные дневники на протяжении всей своей жизни. Сохранились ее записи за 1938–1996 годы. Дневники легли в основу ее «Записок об Анне Ахматовой» (Т. 1–3. М.: Согласие, 1997). Как увидит читатель – они же послужили опорой для написания повестей и воспоминаний – таких как «Спуск под воду», или «Памяти Фриды», или «Предсмертие».

Отрывки из дневника о Борисе Пастернаке Лидия Корнеевна сама подготовила к печати, и они были опубликованы в сборнике «Воспоминания о Борисе Пастернаке» (М.: Слово, 1993, с. 408–442).

В настоящем издании, наряду с дневниковыми записями о Б. Пастернаке, посмерно печатаются и два других отрывка.

Во-первых, это записи, касающиеся непродолжительной работы Лидии Чуковской в редакции «Нового мира» в 1946–1947 годах.

К. Симонов вспоминал об этом времени: «Через неделю или полторы после того, как я вместе с другими приступил к работе в Союзе (после Постановления от 14 августа «О журналах «Звезда» и «Ленинград» по указанию Сталина в Союзе писателей был создан пост генерального секретаря и на этот пост назначен А. Фадеев. Симонова сделали его заместителем. – *Е. Ч.*), меня назначили редактором «Нового мира»… Так уж вышло, что девятый номер, где были опубликованы постановление ЦК и доклад Жданова, был последним аккордом в работе прежней редколлегии, им нечто завершилось, а мы начинали как бы с чистого листа» (КС, с. 116).

Формируя свою новую редколлегию, К. Симонов пригласил Лидию Чуковскую заведовать отделом поэзии. Она начала работать в редакции с конца ноября 1946 года, когда новая редколлегия уже подготовила свой первый сдвоенный десятый-одиннадцатый номер, куда вошел, в частности, рассказ А. Платонова «Семья Иванова». О дальнейшей работе новой симоновской редакции и рассказано в записях Лидии Чуковской.

Все отрывки из дневника печатаются по рукописи. Тексты подготовила Е. Ц. Чуковская, у которой хранятся дневники. Знаки купюр опущены, а собственные имена, которые у автора часто сокращены или обозначены буквами, здесь развернуты полностью без квадратных скобок. В основном сохранена авторская орфография.

Комментарии к отрывку о К. Симонове составили Ж. О. Хавкина и Е. Ц. Чуковская, к остальным отрывкам – Е. Ц. Чуковская.

Условные сокращения:

ЛНМ-2 – подборка «Лирика» в «Новом мире» (1947. № 2).

З–1, З–2, З–3 – Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. М.: Согласие, 1997. Соответственно Т. 1 (1938–1941); Т. 2 (1952–1962); Т. 3 (1963–1966).

КС – Конст. Симонов (Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине. М.: Изд-во АПН, 1988).

Полгода в «Новом мире» (О Константине Симонове)

1 *Ян Сашин* – один из сотрудников журнала, автор многочисленных пародий, постоянно печатавшихся в «Новом мире», в «Литературной газете», в «Крокодиле».

2 *Туся* – Тамара Григорьевна Габбе, фольклористка, переводчица, драматург, близкий друг Лидии Корнеевны. Книга Лидии Чуковской «В лаборатории редактора» вышла в свет с посвящением Т. Г. Габбе.

3 *Петр Андреевич Семынин* – поэт и переводчик.

4 *Валентина Раковская* — сотрудница журнала, в те годы – постоянный автор критико-библиографического отдела.

5 *...спутала Николаеву с Некрасовой... Жарова с Уткиным.* – Речь идет о прозаике Галине Николаевой и поэте Ксении Некрасовой, о поэтах Александре Жарове и Иосифе Уткине.

6 *Павел Николаевич Шубин* — один из поэтов, чьи стихи вошли в подборку «Лирика».

7 *Сергей Александрович Борзенко* – автор повестей и рассказов об Отечественной войне. В «Новом мире» в 1947 году Борзенко не напечатан.

8 *С. Я.* – Самуил Яковлевич Маршак. *«Веселые нищие»* – поэма-кантата Роберта Бёрнса.

9 *Нивинская... стала читать поэму Ковынева.* – Имеются в виду Ольга Всеволодовна Ивинская, сотрудница отдела поэзии «Нового мира», и поэт Борис Константинович Ковынев. Ему принадлежат (совместно с Д. Алтаузеном и А. Ясным) несколько повестей в стихах. О какой поэме говорится здесь и далее, установить не удалось.

10 *Глеб Валентинович Пагирев* – поэт; стихи его в «Новом мире» напечатаны не были.

11 Переведенная Н. Заболоцким поэма венгерского поэта Антала Гидаша «Стонет Дунай» напечатана в № 3 «Нового мира» за 1947 год. Открывает поэму прозаическое предисловие. За предисловием следует стихотворный эпиграф, обращенный Анталом Гидашем к Заболоцкому, где есть строки: «На виолончели твоей подхватил ты напев мой печальный / И в русские звуки облек и, рыдая, над миром пронес».

12 *Я поняла: это Лелька.* — Речь идет о кинорежиссере Льве Оскаровиче Арнштаме. Л. Чуковская училась с ним в Тенишевском училище и поэтому со школьных лет называла его Лелька. Именно Лев Оскарович, который дружил с К. Симоновым, устроил Лидию Корнеевну в редакцию «Нового мира».

13 Переводы Я. Сашина из болгарских поэтов см.: Новый мир, 1947, №4. с. 120.

14 *Валентина Васильевна Серова* – жена К. М. Симонова, актриса.

15 Речь идет о поэме Заболоцкого «Творцы дорог». «Я работала в отделе поэзии журнала «Новый мир», – вспоминала Лидия Чуковская спустя много лет, – когда Заболоцкий, недавно вернувшийся из лагеря, предложил редакции поэму «Творцы дорог». Благодаря поддержке К. Симонова (главный редактор) и противодействию Кривицкого (комиссар при Симонове) поэму удалось напечатать (Новый мир, 1947, № 1). Это великолепные стихи о севере, о героях, прокладывающих дорогу в Арктике, всё очень величественно – а о том, что герои – заключенные, что изображен рабский труд, – ни слова… Замученным русским крестьянам, умирающим на севере лагерникам, «двум несчастным русским старикам» Заболоцкий посвятил другое стихотворение: «Где-то в поле возле Магадана», но уже значительно позднее» (З–2, с. 682).

16 *Кривицкий, до ужаса похожий на Мишкевича.* — Спустя много лет, в своей книге об Ахматовой, Чуковская дает им обоим развернутые характеристики:

«Александр Юльевич Кривицкий — журналист; основная профессия – руководящий член редколлегий газет и журналов. Во время войны А. Кривицкий – специальный корре-

спондент и член секретариата газеты «Красная звезда»; после войны – два раза (с 1946 по 1950 и с 1954 по 1958 год) – заместитель главного редактора (К. Симонова) в журнале «Новый мир»… Известность как журналисту принесли Кривицкому, главным образом, две статьи: «Завещание двадцати восьми павших героев» и «О двадцати восьми павших героях» – статьи, напечатанные в газете «Красная звезда» 28 ноября 41 года и 22 января 42-го. В них рассказано о бое под Москвой, происходившем 16 ноября 41 года у разъезда Дубосеково, где двадцать восемь советских воинов, жертвуя жизнью, задержали атаку на Москву пятидесяти немецких танков. Автор статей назвал героев поименно и привел вдохновившие их на подвиг слова политрука: «…отступать некуда, позади Москва» («Ребята, не Москва ль за нами?»). Пресса подхватила сенсацию, и двадцать восемь панфиловцев были канонизированы: в Дубосекове воздвигли им памятник, история их подвига вошла в тогдашние школьные учебники. А журналисту Кривицкому, первому о них написавшему, принесла почетную возможность заседать в редакциях журналов и газет в качестве одного из руководителей.

В 1966 году В. Кардин – критик, публицист, автор статей и книг о советских писателях; историк Великой Отечественной войны (и сам участник ее); в шестидесятые годы – специалист по военной мемуаристике (а впоследствии, в 70–80-е – и сам автор документальных повестей о войне) – подверг критике некоторые исторические факты, считавшиеся дотоле незыблемыми. Это был залп с крейсера «Аврора», произведенный накануне штурма Зимнего, победоносный бой красноармейцев с немцами под Псковом 23 февраля 1918 года и, наконец, обстоятельства боя под Москвой в Дубосекове, когда немцы одним рывком намеревались захватить Москву в 41-м. Ни в малой степени не отрицая героизм наших бойцов в битве под Дубосековым, Кардин однако уличал Кривицкого в сочинительстве. Он утверждал, что погибли там не двадцать восемь человек, а гораздо более; что некоторые из двадцати восьми, которых Кривицкий объявил погибшими, – в действительности живы, а если все двадцать восемь пали, то от кого же, например, могли бы стать известны Кривицкому вдохновляющие слова политрука?.. Указал он и на другие несообразности. На статью Кардина «Легенды и факты» Кривицкий ответил статьей «Факты и легенды», в которой, вместо доводов, прибег к привычному жанру политического доносительства: Кардин «бросает тень на одну из военных патриотических святынь нашего народа»; «рукою Кардина брошен ком грязи в сторону подвига двадцати восьми героев» и т. д. Последовали отклики военных, возмутившихся антипатриотической позицией Кардина, а затем и оргвыводы: в марте 67 года секретариат правления Союза писателей осудил Кардина, появились грозные заметки в газетах, после чего он на долгие годы был лишен возможности печататься». (З–2, с. 739–740.)
Григорий Иосифович Мишкевич – в 30-е годы главный редактор ленинградского Детиздата, где с 1928 по 1937 год работала Лидия Чуковская. Ленинградская редакция, руководимая С. Я. Маршаком, была разгромлена в 1937 году, многие авторы и редакторы были арестованы. Несколько человек расстреляны. Л. Чуковская так пишет об участии Мишкевича в этом разгроме: «По заданию ли НКВД, обкома партии или по собственной инициативе Г. И. Мишкевич, доказывая «вредительство группы Маршака», измышлял политические обвинения против М. П. Бронштейна, С. К. Безбородова, А. И. Любарской, Т. Г. Габбе, фальсифицировал, по свидетельству Самуила Яковлевича, сданные ими корректуры и т. д.». (З–1, с. 298).

17 Стихотворение А. Яшина «Что-то есть в тебе очень хорошее» было включено в следующий номер «Нового мира», в подборку «Лирика».

18 *Вождь и господин* — это сочетание слов могло вызвать политические обвинения. Вождем называли тогда только Сталина. Строфа была переделана так:

Нет, не напрасно трудится народ,
Вооруженный лампой Аладдина!
Настанет час – веществ круговорот

Признает в нем *творца и властелина.*

Впоследствии, публикуя «Творцы дорог» в сборнике 1957 года, Заболоцкий в числе многих строф снял и эту.

19 *Заболоцкий – ленинградский, и из-за его плеча: Леня Савельев, юность.* – Писатель Л. Савельев, так же как и Заболоцкий, один из авторов и сотрудников детского отдела ленинградского Госиздата. Они были связаны работой и дружбой с редакцией Маршака, в которой с конца двадцатых и по середину тридцатых работала Лидия Корнеевна. Л. Савельев погиб в 1941 году на фронте.

20 «Виолы» были изъяты: вместо них появились «сонные» гитары: «Колокола и сонные гитары». Все эти требования были вызваны объявленной партией борьбой с архаизмами.

21 *Но разве вы забыли, что было с «Торжеством Земледелия»?* — «Поэма… вызвала столь резкую критику со стороны партии, – сообщает В. Казак, – что номер журнала «Звезда» (1933, № 2–3), в котором она появилась в полной редакции, был изъят из обращения и после изменения стихов набран заново». (Лексикон русской литературы XX века. М., 1996, с. 145).

Политические обвинения, выдвинутые против Н. А. Заболоцкого в статьях Е. Усиевич, В. Ермилова и др.: «злобная карикатура на социализм», «пасквиль на коллективизацию сельского хозяйства» и т. п., – через несколько лет были четко сформулированы Лесючевским в написанной им по заказу НКВД рецензии-доносе: «Только заклятый враг социализма, бешено ненавидящий советскую действительность, советский народ, мог написать этот клеветнический, контрреволюционный, гнусный пасквиль». Эти обвинения и были предъявлены Заболоцкому на следствии и послужили основанием для приговора. Подробнее см.: Никита Заболоцкий. Жизнь Н. А. Заболоцкого. М., 1998, с. 211–217, 552–558.

22 Поэма Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом», напечатанная в «Новом мире» (1947, №1), действительно была отмечена Сталинской премией (1948).

23 Цитируется стихотворение Ф. Тютчева.

24 В 1947 году в «Новом мире» № 9 напечатаны переводы из М. Турсун-заде поэтессы и переводчицы Аделины Адалис.

25 *Борис Лейтин* – поэт и переводчик.

Эзра Фининберг – еврейский поэт, прозаик, драматург. В «Новом мире» переводы его стихов не появились.

26 Речь идет о поэте *Якове Львовиче Белинском* и литературоведе *Соломоне Абрамовиче Рейсере,* давнем знакомом Лидии Корнеевны еще с ленинградских времен. Стихотворение Я. Белинского «Баден» вошло в подборку «Лирика» (ЛНМ-2, с. 4).

27 Имеется в виду *Зинаида Константиновна Шишова,* поэт и прозаик.

28 *Кажется, интересен был Светлов – про ангелов.* — Речь идет о стихотворении Михаила Светлова «Возвращение». Там есть такая строфа:

Мы, признаться, хитрые немного —
Умудряемся в последний час,
Абсолютно отрицая Бога,
Ангелов оставить про запас…

Вскоре эти стихи были напечатаны в «Новом мире» (ЛНМ-2, с. 23).

29 *Ему понравился приложенный к письму Зыбковец.* – Речь идет о стихах уральского поэта Владимира Зыбковца. В архиве Л. К. Чуковской сохранилось его письмо, присланное

из села Ныроб Молотовской (т. е. Пермской) области. В «Новом мире» стихи напечатаны не были.

30 *...всюду поспею, и к Герцену моему.* – Начиная с 1944 года Л. Чуковская по договору с Детгизом готовила издание «Былого и Дум» Герцена. Сперва она должна была написать предисловие, потом ей поручили также подготовить сокращенный текст и сделать подстрочные примечания и комментарии. Л. К. работала с увлечением. В 1945 году, в разгар этой работы, в ее дневниках находим такие записи: «Читаю Герцена. Это как купаться в океане». «Работа над Герценом… чрезвычайно нужная. Я думаю, для живой части молодого поколения нету более насущно необходимой книги, чем «Былое и Думы». Это – лучший учебник по истории русской культуры и наиболее педагогическая книга изо всех существующих». «Поэтическое понимание политики роднит Герцена с Блоком. Для него это тоже – не логика, не умозаключение, а сердцезаключение. Вот почему он сильнее и прозорливее всех политиков».

Однако издание это осуществлено не было, так как издательство выдвинуло требования к комментариям, которые не были приняты автором.

31 *В двенадцатом номере плохие стихи Долматовского…* — Речь идет о стихотворении «Встреча», напечатанном с подзаголовком: «Отрывок из книги «Одна судьба» (Новый мир, 1946, № 12, с. 93).

32 *...ужасно дрянные стихи Щипачева и Жарова.* — Речь идет о стихотворениях «Застольное слово» Степана Щипачева и «Ну хотя б намеком осторожным…» Александра Жарова (ЛНМ-2, с. 33 и 9).

33 *И вот, оказывается, он написал ответ Трегубу.* – Упомянута статья Семена Трегуба в «Литературной газете» 26 октября 1946 года: «Новые стихи» Маргариты Алигер» – о цикле стихов, напечатанных в «Знамени» (1946, № 8–9). Со ссылками на доклад Жданова и недавнее постановление «О журналах…» Алигер была уличена в «порочности», в искажении «великого пути коммунизма», в «идейном убожестве» и в «упадочничестве». Ответ Симонова – «Открытое письмо Семену Трегубу» – помещен в первом номере «Нового мира» за 1947 год.

34 *...устраивать дела Бориса Леонидовича у Храпченко, Александрова и пр.* — Речь идет о партийных деятелях – *М. Б. Храпченко* (в то время председатель Комитета по делам искусств) и *Г. Ф.Александрове* (начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).

35 *Борис Николаевич Агапов* – очеркист. К. Симонов пишет о нем: «…умница и кладезь знаний Борис Николаевич Агапов, в которого я влюбился во время нашей поездки в Японию и с которым мы впоследствии, после того, как он пришел в «Новый мир», двенадцать лет бок о бок работали и в «Новом мире», и в «Литературной газете», и вновь в «Новом мире» (КС, с. 116).

36 Упомянуты поэт *Лев Николаевич Кондырев* и поэтесса и переводчица *Раиса Моисеевна Гинцбург.*

37 *Анисим Максимович Кронгауз* – поэт и переводчик Его стихотворение «У Днепра» напечатано в подборке (ЛНМ-2, с. 13).

38 *Стихи хорошие есть – Смеляков, Недогонов...* – В подборку «Лирика» вошли «Песня» Ярослава Смелякова и «Осень» Алексея Недогонова (там же, с. 25 и 18).

39 *«У меня еще один денек».* — Строка из стихотворения М. Алигер «Синие, опасные глаза…», обращенного к дочери Маше. Эти стихи и были опубликованы в подборке (ЛНМ-2, с. 3).

40 *Сегодня в «Лит. Газете» Ермилов ругает Платонова…* — Речь идет о рассказе А. Платонова «Семья Иванова» (впоследствии – «Возвращение»), опубликованном в «Новом мире» (1946, № 10–11). Статья Ермилова называется «Клеветнический рассказ». «А. Платонов давно известен читателю… как литератор, уже выступавший с клеветническими произведениями о нашей действительности, – утверждает Ермилов. – Мы не забыли его памфлета

против колхозного строя под названием «Впрок»… Советский народ дышит чистым воздухом героического упорного труда во имя великой цели – коммунизма… Особенно печально, что чуждый и враждебный советскому народу рассказ А. Платонова появился в том номере журнала «Новый мир», который впервые подписан новым составом редколлегии во главе с таким талантливым советским литератором, как К. Симонов» (Литературная газета, 4 января 1947).

41 *Александр Ойслендер* — поэт и переводчик, его стихотворение «Лавина» напечатано в подборке «Лирика» (ЛНМ-2, с. 20).

Рощин – по-видимому, Николай Рощин, автор очерка «Черный лагерь, письмо из Франции» (Новый мир, 1947, № 4).

42 *...очень хорошие, пьяные Любляны – и похуже.* – В подборке напечатано одно стихотворение Николая Тихонова: то, которое обращено к столице Словении, городу Любляна (ЛНМ-2, с. 27).

43 Речь идет о поэтах *Михаиле Львове* и *Владимире Замятине.*

44 *Ольга Алексеевна Мочалова* — автор многих стихотворных сборников, поэм, стихотворных переводов, статей о литературе, очерков и рецензий. Об ее стихах высоко отзывались Вячеслав Иванов и Марина Цветаева. Однако печаталась она очень мало. Подробный обзор ее архива помещен в журнале «Отечественные архивы» (1998, № 5; см. также: Вопросы литературы, 1999, № 7–8, с. 380–381). В «Новом мире»(1947, № 1, с. 153) были опубликованы лишь переводы О. Мочаловой с латышского.

45 *Александр Михайлович Борщаговский* — критик, театровед, в ту пору член редколлегии «Нового мира». «Самый молодой член редколлегии, ровесник тридцатилетнего редактора… переехавший для этого [из Киева] в Москву… на плечи которого пала обязанность организовать в журнале постоянный отдел братских литератур» (КС, с. 116).

46 *Неразлучные пираты – Сашин и Раскин. Пираты – паяцы.* — И Ян Сашин, и Александр Раскин, писатели-сатирики, активно сотрудничали в ту пору в отделе журнала «Пародии и шаржи».

47 *Щипачев… С ним Златова…* – С Еленой Викторовной Златовой, автором критических статей о советской литературе, Лидия Корнеевна была знакома издавна, еще по Ленинграду. Е. В. Златова – жена Щипачева.

48 *Зинаида Николаевна Пиддубная* – секретарь «Нового мира».

49 *...добавить Кумача…* — то есть добавить стихи поэта-песенника Василия Ивановича Лебедева-Кумача.

50 Вероятно, Долматовский говорит о стихотворении поэта Федора Фоломина «Не грусти о конце реки», напечатанном в подборке (ЛНМ-2, с. 32).

51 «Лилеи» удалось отстоять (см.: Новый мир, № 1, с. 101).

52 *«Скворец»* – стихотворение Заболоцкого «Уступи мне, скворец, уголок».

53 *Александр Михайлович Дроздов* – автор многочисленных повестей и рассказов, в ту пору заведующий отделом прозы в «Новом мире».

54 Среди перечисленных поэтов *Виктор Аркадьевич Урин* и *Александр Александрович Коваленков.* – Их стихи также вошли в подборку «Лирика» (ЛНМ-2, с. 30 и с. 12). В 1965 году по просьбе Анны Ахматовой С. Наровчатов заступился за Иосифа Бродского, а позже, в 1974-м, – в качестве председателя вел заседание секретариата Союза писателей, где исключили Лидию Чуковскую.

55 «Гостеприимство» – стихотворение Ксении Некрасовой, начинающееся строками:

Да присохнет язык к гортани
У отрицающих восточное гостеприимство.

Ни «Гостеприимство», ни «Кольцо» в «Новом мире» напечатаны не были.

В подборке «Лирика» опубликовано другое стихотворение – «Мальчик». Подробнее о нем см. примеч. 71. Все три стихотворения см. в кн.: Ксения Некрасова. Самые мои стихи. М., 1997, с. 30, с. 33 и 48.

56 *...работала с Капусто.* — Речь идет о писательнице Юдифи Борисовне Капусто, чья первая повесть «Наташа» была опубликована в 1947 году в седьмой книжке «Нового мира». Лидия Чуковская редактировала повесть по договору с редакцией журнала.

57 *...все это уже написано у Пушкина.* – Можно предположить, что Пастернак имеет в виду взгляды Пушкина, выраженные в стихах «Поэту» («Поэт! не дорожи любовию народной…») и «Из Пиндемонти» («Не дорого ценю я громкие права…»).

58 *...препоганая статья Фадеева, где опять он скучно лягает Пастернака (и Платонова).* — 2 февраля 1947 года «Правда» поместила статью А. Фадеева «О литературно-художественных журналах». Фадеев упрекает журнал «Знамя», на страницах которого «печатались, как известно, стихи Ахматовой» и «расточались реверансы аполитичной и индивидуалистической позиции Б. Пастернака». «Журналы «Знамя» и «Новый мир» не свободны от серьезных идейных срывов… серьезным провалом явилось напечатание в № 10–11 журнала «Новый мир» лживого и грязноватого рассказца А. Платонова «Семья Иванова».

59 *Шуня* — пасынок Фадеева.

60 Речь идет о стихотворении Пастернака «Рождественская звезда».

61 Это письмо сохранилось в архиве Л. К. Чуковской: «Прошу Вас, – пишет Симонов 5 февраля 1947 года, – позвонить Музе Николаевне, чтобы она прислала Вам книгу доктора Бару[т]чева – о Майданеке. Пусть Муза Николаевна также расскажет Вам обстоятельства, связанные с этой рукописью. Не торопясь прочтите ее…» Далее Симонов сообщает адрес и называет автора. Это – Барутчев Сурен Константинович. Упоминаемая в письме Муза Николаевна – М. Н. Кузько, секретарь Симонова.

62 *Ховкин* — печатался под псевдонимом Юрий Яковлев, детский писатель; о нем см. также в очерке литературной жизни «Процесс исключения».

63 *«И очень много конских морд».* — В своей книге «Высокое искусство» в главе «Неточная точность» Чуковский приводит строки из пушкинской «Полтавы» в обратном переводе с немецкого:

Был Кочубей богат и горд.
Его поля обширны были,
И очень много конских морд,
Мехов, сатина первый сорт —
Его потребностям служили…

64 *...Ермилов... Это ведь только псевдоним. Ведь и «Правда» повторила его версию, и «Культура и Жизнь».* – Имеется в виду статья Фадеева в «Правде» (см. примеч. 58), статьи в газете «Культура и жизнь» от 11 февраля 1947 года: передовая, где снова поминается «клеветнический рассказ А. Платонова» и статья И. Сергиевского, который повторяет вслед за Фадеевым, что «некоторые журналы допустили серьезнейшие ошибки и срывы». Среди них – «порочный и пошлый рассказ А. Платонова в «Новом мире».

В своих воспоминаниях Симонов подробно пишет об истории публикации в «Новом мире» этого рассказа А. Платонова (КС, с. 117–120).

65 Статья Лидии Чуковской о Л. Пантелееве «Воспитание мужества», написанная в 1947 году, не была напечатана.

66 Речь идет о стихах Сергея Васильева и Анатолия Софронова. По распоряжению Симонова Сергей Васильев был напечатан (ЛНМ-2, с. 5). Стихи Софронова в подборке «Лирика» не появились.

67 *Федор Александрович Петровский* – филолог-античник и поэт-переводчик. В подборке опубликовано его стихотворение «Нет, – правда не та, что плетется вослед…» (ЛНМ-2, с. 21).

68 О М. Н. Кузько см. примеч. 61.

69 Упомянуты поэтесса-переводчица *Наталия Вержейская* и *Василий Захарченко,* поэт и журналист.

70 *Григорий Иванович Владыкин* – директор Гослитиздата.

Петр Иванович Чагин — издательский деятель. Издательства находились в ведении Управления пропаганды и агитации, которое возглавлял в те годы Георгий Федорович Александров.

71 *О, как это непереносимо.* — Эта же самая встреча с Ксенией Некрасовой в «Новом мире» описана в воспоминаниях Маргариты Алигер. Начинаются воспоминания издалека – с того, что кто-то из знакомых Алигер называет Некрасову юродивой. Потом рассказано, как они вместе ехали в загородной электричке. Далее мы читаем:

«Журнал «Новый мир» – его тогда редактировал Константин Симонов – надумал открыть следующий, 1947 год, большой подборкой лирических стихов московских поэтов… Редакционное помещение… представляло собой одну огромную комнату, где на разных столах обитали разные отделы журнала… Меня вызвали посмотреть верстку моих стихов, и… я читала верстку, примостившись у края стола тогдашней заведующей отделом поэзии, еще не старой, но уже седой женщины, знающей и любящей свое дело и его предмет – русскую поэзию. Может быть, и женщина эта не забыла то, о чем я хочу рассказать сейчас всем.

Верстку я вычитала быстро, и мы с ней болтали о том о сем, о будущей подборке, о том, что в ней появится интересного.

– Вот, взгляните-ка это, – сказала моя собеседница, протягивая мне еще одну корректуру. И я прочитала набранное свежей краской стихотворение Ксении Некрасовой «Мальчик».

– Чудесно! – воскликнула я, дочитав. – Что за стихи! Что за чудо-стихи! – громко и безоглядно радовалась я. – Даже непонятно, что это, откуда? Чудо, да и только!

– Хотите сказать об этом автору? – спросила довольная моей реакцией заведующая отделом поэзии.

– Ну, скажу непременно как-нибудь при случае, – почти отмахнулась я. – Но вообще-то ведь это совсем разное, стихи и их автор. Я с ней общаться не умею. Не получается как-то… Все-таки она… И, не задумавшись, с размаху, я произнесла то самое слово, которое в просторечье звучит достаточно грубо и вульгарно, ибо люди охотно пользуются им всуе и давно уже затерли и затрепали ту возвышенность, то изумление души, тот священный трепет, который вложил в него однажды и навеки великий русский писатель. И вот оно слетело с моих губ, это жестокое слово, еще и упрощенное женским окончанием, прозвучав в переполненной комнате достаточно громко и слышно, и что-то вдруг дрогнуло и изменилось в лице моей собеседницы, и тотчас же я словно всем своим существом ощутила, что в комнате что-то случилось, что-то ужасное, что-то непоправимое. Испуганно оглянувшись, я увидела, как много вокруг народу, и поняла, что все эти люди слышали ужасное слово и что этого уже не поправишь, и в тот же миг я увидела, что через всю комнату, сквозь расступившуюся толпу, прямо на меня идет Ксения. И, встретившись с моим взглядом, она тотчас улыбнулась той самой большой, доброй улыбкой, которой всегда улыбалась мне в подмосковной электричке.

Сказать, что я растерялась, это значит ничего не сказать. Сказать, что я пришла в ужас, это тоже очень мало и бледно. Я не помню в жизни своей какой-либо хоть отдаленно похожей минуты. У меня словно железом перехватило горло и из глаз брызнули слезы, затуманившие весь окружающий мир. Я была в глубоком, в неизмеримом горе, в истинном отчаянии. Если бы я упала на колени, может быть, мне бы стало чуточку легче, но это сразу не пришло в голову.

– Ксения… Ксения… Ксения… Простите, простите меня! – лепетала я, задыхаясь от стыда, от муки, от страдания. Мне казалось, что кругом настала тишина, может быть, это только мне так казалось, и что все взгляды устремлены на нас, может быть, и этого не было на самом деле, – но не было меры моему мучению, и широко, ясно, открыто улыбалась Ксения.

Я схватила ее за руку, я готова была прижать к губам эту плотную, широкую, чистую ладонь, и она не отнимала ее, продолжая улыбаться. И вдруг сказала громко, просто и отчетливо:

– Спасибо вам. Спасибо, что вы так хорошо говорили о моих стихах.

И была в этих словах такая чистота и отрешенность, такое покойное и непобедимое человеческое достоинство, такая высокая сила духа, которые я никогда с тех пор не могу ни забыть, ни утратить. Слава богу, что мне довелось в судьбе моей, пусть даже столь постыдной ценой, услышать звучание этих нескольких слов, соприкоснуться с их глубиной и светом. На этом уровне для меня на всю жизнь осталась Ксения Некрасова». (Маргарита Алигер. Жгучее воспоминание // Ясная поляна, 1997, № 1, с. 39–40.)

72 *...последние стихи: На день рождения.* – Речь идет о стихотворении «День рождения», напечатанном с посвящением «В. В.», то есть Валентине Васильевне Серовой, в подборке «Лирика» (ЛНМ-2, с. 24).

73 *Николай Александрович Михайлов* – партийный и государственный деятель, член Оргбюро ЦК ВКП(б), первый секретарь ЦК ВЛКСМ.

74 *...бергсонианство, ничего, кроме 905-го и Шмидта.* — Доклад Фадеева на Всесоюзном совещании молодых писателей, организованном ЦК ВЛКСМ и Союзом писателей, в отрывках и в пересказе опубликован тогда же в центральной прессе. «Лучшие произведения Бориса Пастернака, – говорил докладчик, – «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт», в которых ему, как художнику, удалось выйти из личного мирка к общественной жизни… Но к сожалению, Пастернак не пошел по этому пути. Он целиком и полностью остался в плену идей аполитичности искусства, замкнулся в индивидуализме, в кругу формальных исканий» (Литературная газета, 8 марта 1947).

Бергсонианство — философское учение Анри Бергсона, французского философа и писателя, лауреата Нобелевской премии (1927). Слово это употреблялось в советской критике только в осуждение, как бранный термин.

75 Речь идет о стихотворении Пастернака «Урал впервые».

76 «Окраина» Семынина была напечатана в «Новом мире» (1947, №3, с. 112).

77 *Ивинская приносит газету, где ругают Пастернака…* – По-видимому, имеется в виду доклад Фадеева на Всесоюзном совещании молодых писателей, напечатанный в отрывках сначала 4 марта в «Комсомольской правде», а затем 8 марта 1947 года в «Литературной газете» (см. примеч. 74).

78 *Я ставлю еще один роковой вопрос: о Бирман.* – Речь идет о воспоминаниях актрисы и педагога Серафимы Германовны Бирман, которые Лидия Корнеевна редактировала для журнала, но редколлегия, в лице Симонова и Кривицкого, передумала их публиковать.

79 Вопросы А. М. Борщаговского относятся к строкам из поэмы Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом».

80 *Татьяна Александровна Спендиарова* – поэтесса и переводчица.

81 *Наталья Павловна* – Бианки.

82 *Дмитрий Миронович Стонов* — прозаик. Его повесть «Раннее утро» была опубликована в «Новом мире» (1947, № 1).

83 *«Не мог щадить он нашей славы»* — строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта».

84 О Г. И. Мишкевиче см. примеч. 16.

85 *Петр Авдиевич Кузько* – литератор, муж Музы Николаевны Кузько, секретаря К. М. Симонова.

86 *Много плохих стихов – Васильев, Рывина, Луконин.* – Перечислены Сергей Александрович Васильев, поэтесса Елена Израилевна Рывина, в годы войны входившая в группу писателей при Политуправлении Балтфлота, и поэт-фронтовик Михаил Кузьмич Луконин.

87 *Николай Иванович Замошкин* — критик, автор работ о Горьком, Пришвине, Алексее Толстом, в ту пору редактор отдела прозы «Нового мира».

88 *Эмма Григорьевна Герштейн* — литературовед, исследовательница творчества М. Ю. Лермонтова.

89 *Илья Самойлович Зильберштейн* – литературовед, один из основателей «Литературного наследства», искусствовед, коллекционер.

90 *Кроме Кушнерева…* – По-видимому, это Арон Давидович Кушниров, еврейский поэт. В 1947 году в № 4 «Нового мира» опубликованы три его стихотворения в переводе Р. Морана.

91 Имеется в виду статья Б. Рюрикова, озаглавленная, как и поэма Недогонова, – «Флаг над сельсоветом».

92 *Воображаю, как информирует его Кривицкий.* – Через четверть века после описываемых событий в 1980 году в журнале «Знамя» № 5 опубликованы воспоминания А. Кривицкого «Елка для взрослого». Они дают представление о том, как мог их автор информировать Симонова. Хотя в восьмидесятые годы имя Лидии Чуковской было в России под запретом, Кривицкий обходит эту трудность и пишет о своих идейных разногласиях с «заведующей отделом поэзии с холодными глазами»: «Война потребовала неслыханных жертв… А журналу предложены альбомные стихи…» Далее автор вспоминает «как бесновалась Зинаида Гиппиус», затем упомянуты «внутренние эмигранты», потом вновь повествование возвращается к «Новому миру» в 1947 году: «…для меня Гиппиус была тогда призраком отшумевшего времени, и я, признаюсь, с огромным удивлением услышал лаконичный, но красноречивый отголосок ее воплей над ухом». Всё это обвинения, хоть и несколько расплывчатые, но по тем временам серьезные.

93 Речь идет о пьесе Симонова «Русский вопрос», опубликованной в № 12 «Звезды» за 1946 год. После этого пьеса была по распоряжению Сталина быстро поставлена в пяти московских театрах и в трех ленинградских (подробнее см.: КС, с. 121).

94 Перечисленные стихи Лидии Чуковской см.: «Вишни», «Но пока я туда не войду», «И все-таки я счастлива бываю…», «В трамвае…», «Поэма» (окончательное название «Отрывки из поэмы», «Свернула в боковую тьму…» – стихотворение не входило в сборники Лидии Чуковской. Автограф сохранился в архиве Б. Л. Пастернака и любезно предоставлен Е. Б. и Е. В. Пастернаками. Вот эти стихи:

Свернула в боковую тьму
Усугубленную ветвями.
Прильнула к дому своему
Щекой, и грудью, и руками.
Устала? Плачешь? Стонешь?
Нет.
Ребенок спит. Ты слышишь?

Слышу.
Зачем не зажигаешь свет?
Боюсь, что свет разбудит душу.

1943

«Мертвая – равная» – слова из стихотворения «Я никогда не вернусь домой…».

«И зорче мы видим глазами» – из стихотворения «Ответ».

95 *Как он сам у Скрябина о музыке.* – Борис Пастернак рассказывает в «Охранной грамоте», как в юности он готовился стать музыкантом, как он благоговел перед своим учителем – Скрябиным и как решил бросить занятия музыкой после того, как сыграл ему свои произведения и Скрябин его очень похвалил (Борис Пастернак. Сочинения: В 5 т. Т. 4. М., 1991, с. 154–156).

96 *...в № 4 дадим Карпенко…* – В № 4 «Нового мира» были опубликованы пять стихотворений Бориса Карпенко.

97 *Оказывается, Михаил…* — Речь идет о Михаиле Львове, его стихотворение «Как будто я за веком…» было опубликовано под ошибочным именем (ЛНМ-2, с. 15).

98 *Владимир Федорович Шишмарев* – академик, филолог, специалист по истории французской поэтики.

99 *...с некиим Костериным.* – Речь идет о писателе Алексее Евграфовиче Костерине, который, так же как и Н. А. Заболоцкий, провел несколько лет в заключении.

100 *«Орган».* – Вероятно, имеется в виду стихотворение Н. А. Заболоцкого «Бетховен» (1946), где есть такая строка: «Свой львиный рык просунув сквозь орган».

101 *Алексей Иванович* – Л. Пантелеев. Его воспоминания о Горьком не были напечатаны в «Новом мире».

102 *Тамара* – Т. Г. Габбе. О ней см. примеч. 2.

103 Письмо печатается по черновику, сохранившемуся в архиве Л. К. Чуковской. Для удобства читателя оно помещено нами в текст дневника.

104 *А.* – Г. Ф. Александров. О нем см. примеч. 34.

105 *Говорят, Константин Михайлович 29-го был с Фадеевым у Сталина.* – На самом деле А. Фадеев, Б. Горбатов и К. Симонов были у Сталина 13 мая 1947 года. Встреча подробно описана у Симонова (КС, с. 124–142). По его воспоминаниям за некоторое время до этой встречи Фадеев подготовил вместе с другими секретарями Союза «соответствующие материалы и послал письмо Сталину с просьбой принять руководителей Союза писателей…» (КС, с. 123). Очевидно, слухи об этой подготовке к встрече и дошли до Лидии Корнеевны.

106 Письмо печатается по оригиналу, сохранившемуся в архиве Л. К. Чуковской. Для удобства читателя оно также помещено нами в текст дневника.

Борис Пастернак

1 *Митя* — Матвей Петрович Бронштейн (1906–1938) – физик-теоретик, доктор наук, сотрудник Ленинградского физико-технического института. Муж Л. К. Чуковской. В 1990-м, в издательстве «Наука», вышла книга Г. Е. Горелика и В. Я. Френкеля «Матвей Петрович Бронштейн». По свидетельству академика А. Д. Сахарова (см.: Знамя, 1990, № 11, с. 147) основные работы М. П. Бронштейна сохранили свое значение вплоть до нашего времени.

2 *Михаил Владимирович Алпатов* – историк искусства, и его жена Софья Тимофеевна.

3 Ивинская.

4 *Николай Павлович Анциферов* — литературовед, краевед, в 20-е годы преподаватель Тенишевского училища.

5 *Александр Александрович Веснин* — архитектор, и его жена Наталья Александровна.

6 О П. А. Кузько см. выше, в комментариях к отрывку о К. Симонове – примеч. 85.

7 *Иванов с Комой.* – Речь идет о писателе Всеволоде Вячеславовиче Иванове, друге и ближайшем соседе Пастернака в Лаврушинском переулке и в Переделкине. *Кома* – домашнее имя сына Всеволода Иванова – Вячеслава Всеволодовича, который тоже был очень дружен с Пастернаком.

8 *Виктор Викторович Гольцев* — критик, автор работ о литературе народов СССР, особенно о грузинской литературе.

9 В. Перцов писал о Пастернаке начиная с 1924 года, когда в журнале «На посту» в № 1 появилась его статья «Вымышленная фигура». Возможно, в данном случае речь идет о выступлении Перцова 3 марта 1947 года, описанном Лидией Чуковской.

10 Речь идет о статье А. Суркова «О поэзии Пастернака», опубликованной 21 марта 1947 году в газете «Культура и жизнь». Там, в частности, утверждалось: «…советская литература не может мириться с его поэзией».

11 *Константин Александрович* — Федин.

12 *Самуил Миронович Алянский* — издатель, основатель частного издательства «Алконост» (1918–1923), в 50-е годы сотрудник московского Детгиза, друг К. А. Федина.

13 *Люся П.* – Ольга Ильинична Попова, художница.

14 О К. Н. Некрасовой см. с. 514–515, 522, 537–538, 545–546 настоящего издания, а также комментарии к «Отрывку» о К. Симонове – примеч. 55 и 71.

15 Статья Н. Маслина «Маяковский и наша современность» (Октябрь, 1948, № 4), в которой было сказано, что «творчество Пастернака нанесло серьезный ущерб нашей поэзии».

16 *Наталья Александровна Роскина* – литературовед, мемуаристка.

17 *Ваня* – Иван Игнатьевич Халтурин, редактор детских журналов и составитель книг для детей.

18 *Вова* Смирнов – сын И. И. Халтурина и В. В. Смирновой. Девятнадцати лет он утонул на Рижском взморье в реке Лиелупе.

19 Строки из стихотворения Б. Пастернака «Осень».

20 Строка из стихотворения Б. Пастернака «Рождественская звезда».

21 *Талик* — Виталий Иванович Халтурин, старший сын И. Халтурина от первого брака, сейсмолог.

22 *Зинаида Ивановна Ризберг.* – Ее переписка с П. Шмидтом и воспоминания о нем были напечатаны в книге «Лейтенант П. П. Шмидт. Письма, воспоминания, документы» (М., 1922) и использованы Пастернаком в поэме «Лейтенант Шмидт».

23 Строка из поэмы Б. Пастернака «Лейтенант Шмидт» (Ч. III, гл. 4).

24 *Елена Ефимовна Тагер* — искусствовед, знакомая Пастернака.

25 *Ираклий* – Ираклий Луарсабович Андроников, литературовед, актер.

26 Речь идет о статье Д. О. Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка».

27 *Клара* – Клара Израилевна Лозовская, секретарь Корнея Ивановича с 1954-го по 1969-й.

28 Начальные строки стихотворения Ахматовой.

29 *Наталия Иосифовна Ильина* — автор фельетонов, пародий, мемуаров. Ей принадлежат воспоминания «Анна Ахматова, какой я ее видела».

30 *Марина Николаевна Чуковская* — жена Николая Корнеевича Чуковского.

31 *Вера Васильевна Смирнова* – литературный критик, специалистка по детской литературе. Жена И. И. Халтурина. Семья Халтуриных-Смирновых – соседи Пастернака по Лаврушинскому переулку и по Переделкину. О В. В. Смирновой см. также с. 206–207, 221 настоящего издания.

32 «Литература и жизнь» поместила это объявление 1 июня 1960 года, а «Литературная газета» 2 июня.

33 *Мария Сергеевна* — Петровых.

34 *Фридочка* — Фрида Абрамовна Вигдорова – журналистка и писательница. Близкий друг Л. Чуковской. О ней см. «Памяти Фриды».

Иосиф Бродский

1 *Черноуцан* Игорь Сергеевич, заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС.

2 Имеется в виду статья А. Ионина, Я. Лернера и М. Медведева «Окололитературный трутень» («Вечерний Ленинград», 29 ноября 1963). Авторы статьи в грубой и бездоказательной форме обвинили И. Бродского в «паразитическом образе жизни» и назвали его «окололитературным бездельником». Статья послужила увертюрой к начавшейся травле Бродского, завершившейся судом.

3 *...Анна Андреевна, Найман.* — Анна Андреевна Ахматова и Анатолий Генрихович Найман, исполнявший обязанности ее секретаря.

4 *Эткинд* Ефим Григорьевич – специалист по французской и германской литературе, переводчик, профессор.

5 *АА* – так для краткости в дневнике записано имя Анны Ахматовой.

6 *Сурков* Алексей Александрович, поэт, секретарь Союза писателей СССР.

7 *Ардов* Виктор Ефимович, писатель. Ахматова издавна была дружна с его женой Ниной Антоновной Ольшевской и, приезжая в Москву, чаще всего останавливалась у Ардовых на Ордынке.

8 *Толстиков* Василий Сергеевич – первый секретарь ленинградского обкома.

9 *Назначена комиссия: Олег Шестинский (?) и Эльяшевич (!). – «Аркадий Павлович Эльяшевич* – автор многих критических статей и книг, посвященных современной советской литературе. С 1960 года он – член редколлегии журнала «Звезда».

О нравственности Эльяшевич говорит, что «вообще» нравственности – не существует, а нравственность есть «категория социальная, классовая»; «подлинно человеческой в эпоху разделения мира на враждебные лагери выступает лишь нравственность людей, связанных со строительством коммунизма…» (см.: Арк. Эльяшевич. Советская литература в борьбе за коммунизм. Л., 1963, с. 19–20). Что же касается Олега Николаевича Шестинского, то для 1964 года характерна книга его стихов «Позиция» (М.; Л.: Сов. писатель). Сам он говорит о своей позиции так: «Моя позиция *железная»* и в том же стихотворении:

И перед дулом *пулемета*
моей партийности суровой
толкалась черная пехота
хулителей всего родного.

Обращаясь к партии в стихотворении «Коммунисты», он декларирует:

Ты считай меня штыком надежным,
сильный я еще и молодой,
никогда я не был осторожным,
если выходил с врагом на бой, —
потому иду победным шагом
по тебе, краса-земля моя…
И такую жизнь под красным стягом
просто счастьем называю я!

Прочитав подобные плоские вирши, понимаешь, почему т. Логунов, выступивший на суде над Бродским как свидетель обвинения, поставил Шестинского подсудимому в пример: «Я сравниваю Бродского с Шестинским…»; «Олег ездил с агитбригадой…»; «И еще Олег

работал в шахте…». И еще: «…надо трудиться, отдавать все культурные навыки. И стихи, которые составляет Бродский, были бы тогда настоящими стихами» (З–3, с. 382–383).

10 *Лернер* Яков Михайлович, деятель «народной дружины» Дзержинского района, работавший в институте Гипрошахт на хозяйственной должности. Осенью 1963 года было решено расправиться с Бродским именно руками «народной дружины». За спиной Лернера стоял Комитет госбезопасности в лице следователя идеологического отдела КГБ П. П. Волкова.

Вот какую характеристику Лернеру, «спровоцировавшему дело Бродского», дает Н. И. Грудинина: «…вылавливал фарцовщиков и от отдельных следователей КГБ получил оценку «полезного человека»… Лернер задерживал не только фарцовщиков… Пользуясь правами дружинника, он останавливал «подозреваемых лиц», производил личные обыски, отбирал документы и записные книжки, запугивал и шантажировал задержанных. Затем он заносил фамилии этих людей в картотеку и спустя полгода или год рассылал по месту их работы компрометирующие письма… Кроме того, Лернер вербовал из числа задержанных им тунеядцев и фарцовщиков личную агентуру, которую заставлял следить за интересовавшими его лицами.

От знающих Лернера лиц мы слышали такую его характеристику: это, мол, человек, глубоко неудовлетворенный своей работой хозяйственника, рвущийся к власти и усмотревший в правах дружинника возможность добиться этой власти. Он завязывал знакомство с милицией, прокуратурой, партийными работниками и следователями КГБ, оказывая им подчас ценные услуги… По характеру склонен к дешевой детективщине, к провокации. Подозрителен и честолюбив». (Архив Л. К. Чуковской.)

Позже Лернер был дважды осужден за мошенничество (в 1973 и 1984 годах).

11 *Алена Чайковская* – Ольга Георгиевна Чайковская, журналистка.

12 *Самуил Яковлевич* — Маршак.

13 *...хуже Ионесяна...* — В декабре 1963 года в Москве появился убийца, который проникал в квартиры, выдавая себя за служащего Мосгаза. Если ему открывали, он топором убивал свою жертву. 13 января 1964 года газеты сообщили о поимке этого убийцы. Им оказался Владимир Ионесян, актер Оренбургского театра музыкальной комедии. 1 февраля 1964 года он был расстрелян.

14 *Клара* – о ней см. комментарий 27 к «Отрывку» «Борис Пастернак».

15 *Юля, Толя, Ника, Надежда Марковна.* — Юлия Марковна Живова, сотрудница Гослитиздата, специалистка по польской литературе; А. Г. Найман (см. примеч. 3), Ника Николаевна Глен, специалистка по болгарской литературе, сотрудница Гослитиздата; Надежда Марковна Гнедина, переводчица, жена Е. А. Гнедина.

16 *Евгений Александрович Гнедин* – журналист.

17 *Чаковский Александр Борисович* — главный редактор «Литературной газеты».

18 *Руденко Роман Андреевич* – генеральный прокурор СССР.

19 *Сара Эммануиловна Бабенышева* — критик, преподавательница Литературного института.

20 *Миронов Николай Романович* – член Центральной ревизионной комиссии КПСС, заведующий отделом административных органов ЦК КПСС.

21 *Копелевы, СЭ...* – Лев Зиновьевич Копелев, германист, его жена Раиса Давыдовна Орлова, специалистка по англо-американской литературе. *СЭ* – С. Э. Бабенышева (см. примеч. 19).

22 *Тикунов Вадим Степанович* — министр охраны общественного порядка РСФСР.

23 *Юля и Раиса Давыдовна.* – Ю. М. Живова и Р. Д. Орлова (о них см. примеч.15 и 21).

24 *Грудинина Наталия Иосифовна* – поэтесса, переводчица, руководительница литературного объединения молодежи при заводе «Светлана».

25 *Воронков Константин Васильевич* – секретарь правления СП СССР.

26 *Юлиан Григорьевич Оксман* — историк литературы, специалист по XIX веку. Гонения на него в 1964 году начались из-за его переписки с американским славистом Г. П. Струве. Переписка касалась исключительно историко-литературных вопросов, однако одно из писем Оксмана к Струве, переданное через американку Кэтрин Фойер, было выкрадено у нее в гостинице. КГБ передал дело Оксмана в Союз писателей.

Ильин Виктор Николаевич — оргсекретарь Московской писательской организации.

27 *Лесючевский Николай Васильевич* – директор издательства «Советский писатель». В литературной среде было хорошо известно о причастности Н. В. Лесючевского к аресту Н. Заболоцкого и Б. Корнилова. В конце 80-х годов сведения о деятельности Н. В. Лесючевского в 30-е годы в качестве «консультанта» НКВД попали в печать.

Издательство сперва заключило договор и одобрило повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна». Но позже договор был расторгнут, Л. К. подала на издательство в суд и выиграла дело. Однако «Софья Петровна» была напечатана в России лишь четверть века спустя – в 1988 году.

28 *...идти к Ивановой...* — Речь идет о Тамаре Владимировне Ивановой, переводчице, жене писателя Всеволода Иванова.

29 *Поликарпов Дмитрий Алексеевич* – заведующий отделом культуры ЦК КПСС.

30 *Анисимов Иван Иванович* – директор Института мировой литературы, *Антонина Петровна* – жена Ю. Г. Оксмана, от которой он поначалу скрывал свои неприятности.

31 *Шура* — Александра Иосифовна Любарская, писательница.

32 *Савельева Е.А.* – судья.

33 *Ира Огородникова* – Ирина Федоровна Огородникова, переводчица с румынского, сотрудница Иностранной комиссии Союза писателей.

34 *Лагунов Ф. О.* – зам. директора Эрмитажа по хоз. части, до этого – инструктор РК Дзержинского района, свидетель по делу Бродского.

35 *Распоряжающийся Арий.* — Имеется в виду Арий Давидович Ротницкий, сотрудник Литфонда, который занимался организаций похорон писателей.

36 *Косолапое Валерий Алексеевич* – директор Гослитиздата.

37 *Семичастный Владимир Ефимович* — председатель Комитета государственной безопасности при СМ СССР.

38 *Демичев Петр Нилович* – секретарь ЦК КПСС.

39 *...моя речь...* — Л. К. имеет в виду свою речь «Над гробом» в день похорон Ф. А. Вигдоровой. Эту речь она закончила словами: «…без нее продолжать борьбу за ту судьбу, за которую она боролась» (Лидия Чуковская. Открытое слово. М.: IMApress, 1991, с. 7).

40 *Румянцев Алексей Матвеевич* — экономист, главный редактор газеты «Правда», академик.

41 *Саша* — дочь Ф. А. Вигдоровой.

42 *Наша старушка.* – Вероятно, речь идет об Анне Моисеевне Глузман, бывшей сотруднице аппарата Верховного суда. В другой записи (17.V.65) Л. К. называет ее «наш друг Анна Моисеевна».

43 *А. Сартр, говорят, написал Микояну...* — Письмо Сартра Микояну датировано 17 августа 1965 года. Теперь оно опубликовано. См.: Елена Якович. «Дело» Бродского на Старой площади // Литературная газета, 5 мая 1993.

44 *Мелентьев Юрий Серафимович* – сотрудник отдела культуры ЦК КПСС.

45 *Павлов С. П.* — первый секретарь ЦК ВЛКСМ.

46 *Яша* — Яков Аркадьевич Гордин, писатель, приятель И. Бродского. В 1989 году он опубликовал «Дело Бродского». История одной расправы по материалам Ф. Вигдоровой, И.

Меггера, архива родителей И. Бродского и по личным впечатлениям автора» («Нева», 1989, №2, с. 134–166).

47 *Наташа Долинина* — Наталья Григорьевна Долинина, прозаик, педагог.

48 *Руня* — Руфь Григорьевна Зернова, писательница.

49 *...дивные... о Малой Охте.* — Речь идет о стихотворении И. Бродского «От окраины к центру».

50 Речь идет о книге юриста Аркадия Иосифовича Полторака. В 1965 году вышел его «Нюрнбергский эпилог» (М.: Воениздат). А «Нюрнбергский процесс. Основные правовые проблемы» вышел годом позже (М.: Наука, 1966).

51 Упомянута статья Лидии Чуковской «Сколько станет сил», вскоре опубликованная в виде послесловия к сборнику повестей Ф. Вигдоровой. См.: Ф. Вигдорова. Дорога в жизнь. Это мой дом. Черниговка. М., 1967, с. 712–735.

52 *Тата* — Наталья Леонидовна Рахманова, переводчица, жена Я. А. Гордина.

53 Речь идет о письме Владимира Корнилова и Лидии Чуковской от 23 января 1966 года в редакцию «Известий» с протестом против статьи Дм. Еремина «Перевертыши». Дм. Еремин еще до суда назвал А. Синявского и Ю. Даниэля отщепенцами, подонками, хулиганами, «подручными тех, кто шурует в топке международной напряженности». Протест, разумеется, в газете напечатан не был. Теперь это письмо в «Известия» опубликовано в сборнике: «Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля» (М.: Книга, 1989, с. 36–37).

54 *Peter Norman* – Питер Норман, английский славист, переводчик «Реквиема» Анны Ахматовой.

55 *Аманда* – Аманда Хэйт, английская славистка, биограф Анны Ахматовой.

56 Оттиск с надписью сохранился в архиве Лидии Чуковской. Это – две поэмы Иосифа Бродского: «Разговор с небожителем» и «Post aetatem nostram» (После нашей эры. – *лат.*). Вторая поэма посвящена Андрею Сергееву. Поэмы опубликованы на с. 437–451 сборника, изданного в США в издательстве Ardis. На последней странице – портрет Бродского в кепке.

57 *Мика Голышев* – Виктор Петрович Голышев, переводчик.